

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

ВИКТОР ГЮГО

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В 15 ТОМАХ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Москва 1954

ВИКТОР ГЮГО

ТОМ СЕДЬМОЙ



ОТВЕРЖЕННЫЕ

*Части
третья и четвертая*



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1954

Издание осуществляется под редакцией
В. Н. Николаева, А. И. Пузикова,
М. С. Трескунова

Перевод с французского

ЧАСТЬ III

МАРИУС

Книга первая

ПАРИЖ, ИЗУЧАЕМЫЙ ПО ЕГО АТОМУ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Parvulus*¹

У Парижа есть ребенок, а у леса — птица; птица зовется воробьем, ребенок — гаменом.

Сочетайте оба эти понятия — печь огненную и утреннюю зарю, дайте обоим этим искрам — Парижу и детству — столкнуться, — возникнет маленькое существо. Нотинцио², сказал бы Плавт.

Это маленькое существо жизнерадостно. Ему не всякий день случается поест, но в театр, если вздумается, этот человечек ходит всякий вечер. У него нет рубашки на теле, башмаков на ногах, крыши над головой; он как птица небесная, у которой ничего этого нет. Ему от семи до тринадцати лет, он всегда в компании, день-деньской на улице, спит под открытым небом, носит старые отцовские брюки, спускающиеся ниже пят, старую шляпу какого-нибудь чужого родителя, нахлобученную ниже ушей; на нем одна подтяжка с желтой каемкой; он вечно рыщет, что-то ищет, кого-то подкарауливает; бездельничает, курит трубку, ругается на чем свет стоит, шляется по кабакам, знается с ворами, на «ты» с мамзелями, болтает на воровском жаргоне, поет непристойные песни, но в сердце у него нет ничего дурного. И это потому, что в душе у него жемчужина — невинность, а жемчуг не растворяется в грязи. Пока человек еще ребенок, богу угодно, чтобы он оставался невинным.

Если бы спросили у огромного города: «Кто же это?» — он ответил бы: «Мое дитя».

¹ Дитя (лат.).

² Человечек (лат.).

Парижский гамен — это карлик при великане.

Не будем преувеличивать: у нашего херувима сточных канав иногда бывает рубашка, но в таком случае она у него единственная; у него иногда бывают башмаки, но в таком случае они без подметок; у него иногда есть дом, и он его любит, так как находит там свою мать, но он предпочитает улицу, так как находит там свободу. У него свои игры, свои проказы, в основе которых лежит ненависть к буржуа; свои метафоры: умереть на его языке называется «сыграть в ящик»; свои ремесла: приводить фиакры, опускать подножки у карет, взимать с публики во время сильных дождей дорожный сбор за переход с одной улицы на другую, что он называет «сооружать переправы», выкрикивать содержание речей, произносимых представителями власти в интересах французского народа, шарить на мостовой между камнями; у него свои деньги: подбираемый на улице мелкий медный лом. Эти курьезные деньги именуются «пуговицами» и имеют у маленьких бродяг хождение по строго установленному твердому курсу.

Есть у него также и своя фауна, за ней он прилежно наблюдает по закоулкам: божья коровка, тля «мертвая голова», паук «коси-сено», «чорт» — черное насекомое, которое угрожающе крутит хвостом, вооруженным двумя рожками. У него свое сказочное чудовище; брюхо чудовища покрыто чешуей — но это не ящерица, на спине бородавки — но это не жаба; живет оно в заброшенных ямах для гашения извести и пересохших сточных колодцах; оно черное, мохнатое, липкое, ползает то медленно, то быстро, не издает никаких звуков, а только смотрит, и такое страшное, что его еще никто никогда не видел; он зовет это чудовище «глухачом». Искать глухачей под камнями — удовольствие из категории опасных. Другое удовольствие — быстро приподнять булыжник и поглядеть, нет ли мокриц. Каждый район Парижа славится интересными находками, на какие там можно набрести. На дровяных складах монастыря урсулинок водятся ухвертки, близ Пантеона — тысяченожки, во рвах Марсова поля — головастики.

Что касается «словечек», то у этого ребенка их не меньше, чем у Талейрана. Он не уступит последнему в цинизме, но порядочней его. Он подвержен неожиданным порывам веселости и может ни с того ни с сего ошарашить лавочника сумасшедшим хохотом. Гамма его настроений легко переходит от высокой комедии к фарсу.

Проходит похоронная процессия. Среди провожающих покойника — доктор. «Гляди-ка, — кричит гамен, — с каких это пор доктора сами доставляют свою работу?»

Другой затесался в толпу. Солидный мужчина в очках, при брелоках, возмущенно оборачивается: «Негодяй, как ты смеешь «хватать талию» моей жены?» — «Что вы, сударь! Можете обыскать меня».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Он не лишен привлекательности

По вечерам, располагая несколькими су, которые он всегда находит способ раздобыть, homuncio отправляется в театр. Переступив за волшебный его порог, он преображается. Он был гаменом, он становится «тюти́»¹. Театры представляют собой подобие кораблей, перевернутых трюмами вверх. В эти трюмы и набиваются тюти́. Между тюти́ и гаменом такое же соотношение, как между ночной бабочкой и ее личинкой; то же существо, но только летающее, парящее. Достаточно одного его присутствия, его сияющего счастьем лица, его бьющих через край восторгов и радостей, его рукоплесканий, напоминающих хлопанье крыльев, чтобы этот тесный, смрадный, темный, грязный, нездоровый, отвратительный, ужасный трюм превратился в парадиз.

Одарите живое существо всем бесполезным и отнимите у него все необходимое — и вы получите гамена.

Гамен не лишен литературного чутья. Однако, к крайнему нашему сожалению, классический стиль не в его вкусе. По природе своей гамен мало академичен. Так, например, м-ль Марс пользовалась у этих юных и буйных театралов популярностью, сдобренной некоторой дозой иронии. Гамен называл ее «мадмуазель Шептунья».

¹ Рабочий подросток парижских предместий.

Это существо горланит, насмешничает, зубоскалит, дерется; оно обмотано в тряпки, как грудной младенец, одето в рубище, как философ. Этот оборвыш что-то удит в сточных водах, за чем-то охотится по клоакам; в самых нечистотах находит предмет веселья; вдохновенно сыплет руганью на всех перекрестках; издевается, свистит, язвит и напеваает; равно готов и обласкать и оскорбить; способен умерить торжественность «Аллилуйи» какой-нибудь заливчатой «Матантюрюретой»; петь на один лад все существующие мелодии, от «упокой господи» до озорных куплетов включительно. Он за словом в карман не лезет, знает и то, чего не знает, обнаруживает спартанскую непреклонность даже в плутнях, легкомыслие — даже в благородии, лиризм — даже в сквернословии. С него стало бы присесть под кустик и на Олимпе; он мог бы вывалиться в навозе, а встать осыпанным звездами. Парижский гамен — это Рабле в миниатюре.

Он недоволен своими штанами, если в них нет кармашка для часов.

Он редко бывает удивлен, еще реже — испуган. Высмеивает в песенках суеверия, разоблачает всякую ходульность и преувеличение, подтрунивает над таинственным, показывает язык привидениям, не находит прелести в пафосе, смеется над эпической напыщенностью. Отсюда не следует, однако, что он совсем лишен поэтической жилки; нисколько! Он просто склонен рассматривать торжественные видения как шуточные фантазмагии. Предстань пред ним Адамастор, гамен, наверное, сказал бы: «Вот так чудело!»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Он может быть полезным

Париж начинается зевакой и кончается гаменом — двумя существами, каких неспособен породить никакой иной город; пассивное восприятие, удовлетворявшееся созерцанием, и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. Только в истории Парижа и можно найти нечто подобное. Зевака — воплощение монархического начала. Гамен — анархического.

Это бледное дитя парижских предместий живет и развивается, «зацветает» и «расцветает» в страданиях, в гуще социальной действительности и людских дел, вдумчивым свидетелем происходящего. Сам ребенок мнит себя беззаботным, но он не беззаботен. Он смотрит, готовый рассмеяться, но готовый и к другому. Кто бы вы ни были, вы, что зоветесь Предрассудком, Злоупотреблением, Подлостью, Угнетением, Насилием, Деспотизмом, Несправедливостью, Фанатизмом, Тиранией, берегитесь гамена, хотя он и глазеет, разинув рот.

Этот малыш вырастет.

Из какого теста он вылеплен? Из первого попавшегося комка грязи. Берут пригоршню земли, дунут — и Адам готов. Нужно только божественное прикосновение. А в нем никогда не бывает отказано гамену. Сама судьба принимает на себя заботу об этом маленьком создании. Под словом «судьба» мы подразумеваем отчасти случайность. Этот пигмей, вылепленный из грубой общественной глины, темный, невежественный, ошеломленный окружающим, вульгарный, дитя подонков, станет ли он ионийцем или беотийцем? Дайте срок, *currit rota*¹, и дух Парижа, этот демон, равно создающий и людей жалкой судьбы, и людей высокого жребия, в противоположность римскому горшечнику, превратит кружку в амфору.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Границы его владений

Гамен любит город, но, поскольку в гамене живет мудрец, он любит также и уединение. *Urbis amator*², как Фуск; *guris amator*³, как Гораций⁴.

Бродить, предаваясь раздумью, то есть прогуливаться прогулки ради, — самое подходящее времяпровождение для философа. В особенности же бродить по этому подо-

¹ Вертится колесо (лат.).

² Любитель столицы (лат.).

³ Любитель села (лат.).

⁴ <Фуску, любителю Рима, привет с пожеланьем здоровья, Шлю я — любитель села...> (Гораций, Послания, I.)

бию деревни, по этой ублюдочной, достаточно безобразной, но своеобразной и обладающей двойственным характером местности, что окружает многие большие города и в частности Париж. Наблюдать окраины — все равно что наблюдать амфибию. Конец деревьям — начало крышам, конец траве — начало мостовой, конец полям — начало лавкам, конец мирному житью — начало страстям, конец божественному шопоту — начало людскому говору, — вот что придает окраинам особый интерес.

Вот что заставляет мечтателя совершать свои с виду бесцельные прогулки в эти малопривлекательные окрестности, раз и навсегда заклеянные прохожими эпитетом «печальные».

Пишущий настоящие строки и сам когда-то любил бродить за парижскими заставами, что служит ныне для него источником неизгладимых воспоминаний. Этот подстриженный газон, эти каменистые тропинки, эта меловая, мергелевая или гипсовая почва, эта суровая монотонность лежащих под паром или невозделанных полей, эти огороды с грядками ранних овощей, неожиданно возникающие где-нибудь на заднем плане, эта смесь дикости с домовитостью, эти обширные и безлюдные задворки, где полковые барабаны, отбивая громкую дробь, пытаются напомнить о громах сражений, эти пустыри, превращающиеся по ночам в разбойничьи притоны, неуклюжая мельница с вертящимися на ветру крыльями, подъемные колеса каменоломен, кабачки на углах кладбищ, таинственная прелесть высоких мрачных стен, замыкающих в своих квадратах огромные пустые пространства, залитые солнцем и полные бабочек, — все это привлекало его.

Мало кому известны такие необычные места, как Гласьер, Кюнет, отвратительная, испещренная пулями стена Гренель, Мон-Парнас, Фос-о-Лу, Обье на крутом берегу Марны, Мон-Сури, Томб-Исуар, Пьер-Плат в Шатильоне, со старой истощенной каменоломней, где теперь лишь растут грибы и куда ведет откидной трап из сгнивших досок. Римская Кампанья есть некое обобщенное понятие; парижское предместье является таким же обобщенным понятием. Не видеть ничего, кроме полей, домов и деревьев, в открывающихся нашим взорам картинах — значит скользить по поверхности. Все зримые предметы суть мысли божии. Местность, где равнина сливается

с городом, всегда проникнута какой-то скорбной меланхолией. Здесь слышатся одновременно и голос природы и голос человека. Здесь все полно своеобразия.

Тем, кому, подобно нам, доводилось бродить по прилегающим к нашим предместьям пустынным окрестностям, которые можно было бы назвать преддвериями Парижа, наверное не раз случалось видеть в самых укромных и неожиданных местах, за каким-нибудь ветхим забором, или в углу у какой-нибудь мрачной стены, шумные ватаги дурно пахнувшей, грязной, запыленной, оборванной, нечесаной, но в венках из васильков, детворы, играющей в денежки. Все это — дети бедняков, покинувшие свой дом. За чертой города им легче дышится. Предмесье — их стихия. Они вечно пропадают здесь, болтаясь без дела. Здесь простодушно распевают они весь свой репертуар непристойных песен. Это завсегдатаи предмесья; вернее, тут, вдали от посторонних взоров, в легкой ясности майского или июньского дня, и протекает по-настоящему их жизнь. Вырвавшись на волю, ни перед кем не обязанные держать ответ, свободные, счастливые, они, собравшись в кружок, катают каменные шарики, загоняя их ударом большого пальца в ямку, и препираются из-за поставленной на кон полушки. Завидя вас, они тотчас же вспоминают, что у них есть ремесло, что им надо зарабатывать свой хлеб насущный, и предлагают вам купить у них то старый шерстяной чулок, набитый майскими жуками, то пучок сирени. Это необычные встречи с детьми придают особую и вместе с тем горькую прелесть прогулкам по парижским окрестностям.

Иногда в толпе мальчиков попадают и девочки — их сестры, быть может? — почти уже взрослые девушки, худенькие, возбужденные, с загорелыми руками и веснушчатými лицами, веселые, пугливые, босоногие, с колосьями ржи и маками в волосах. Некоторые из них, забравшись в рожь, едят вишни. По вечерам можно услышать их смех. Группы детей, то ярко освещенные знойными лучами полуденного солнца, то едва различимые в сумерках, надолго завладевают мечтателем, и эти картины примешиваются к его грезам.

Париж — центр, его предместья — окружность; вот, в представлении детей, и весь земной шар. Ничто не заставит их переступить за эти пределы. Им так же не обойтись без парижского воздуха, как рыбе без воды. За

два лье от заставы для них уже пустота; Иври, Жантильи, Аркейль, Бельвиль, Обервилье, Менильмонтан, Шуази-ле-Руа, Билянкур, Медон, Исси, Ванвр, Севр, Пюто, Нельи, Женевилье, Коломб, Роменвиль, Шату, Аньер, Буживаль, Нантер, Энгьен, Нуази-ле-Сэк, Ножан, Гурне, Дранси, Гонес — этим кончается вселенная.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Немножко истории

В эпоху, когда происходят описываемые в настоящей книге события,—кстати сказать, почти нам современную,—на углу каждой улицы (благодаяние, о котором здесь не время распространяться) не стоял, как ныне, постовой и Париж кишел тогда маленькими бродягами. Из статистических данных видно, что полицейскими облавами на неотгороженных пустырях, в строящихся зданиях и под сводами мостов ежегодно задерживалось в среднем до двухсот шестидесяти бесприютных детей. В одном из таких стяжавших себе известность гнезд вывелись «ласточки Аркольского моста». Вообще же говоря, это самый грозный из симптомов всех общественных болезней. Все преступления взрослых людей берут свое начало в бродяжничестве детей.

Однако для Парижа надо сделать исключение. Несмотря на вышеприведенную справку, Париж до известной степени имеет на это право. Тогда как во всяком другом большом городе маленького бродягу можно уже заранее считать человеком погибшим, тогда как почти везде ребенок, предоставленный самому себе, как бы уже самой судьбой обречен погрязнуть в пороках нашего общества, отнимающих у него честь и совесть, парижский гамен, такой искушенный и испорченный с виду, остается — мы настаиваем на этом — внутренне почти нетронутым. Это замечательное явление особенно ярко выражено в изумительной честности наших народных революций, и как в водах океана — соль, так в воздухе Парижа растворены некие идеи, предохраняющие от порчи. Дышишь парижским воздухом и сохраняешь душу.

Но, что бы мы ни говорили, сердце болезненно сжимается всякий раз, когда встречаешь этих детей, за кото-

рыми, кажется, так и видишь концы оборванных нитей, связывавших их с семьей. При нынешнем столь еще несовершенном состоянии цивилизации существование таких распадающихся семей, которые стараются потихоньку освободиться от лишних ртов, равнодушны к участи собственных детей и выбрасывают свое потомство на улицу, не представляется чем-то из ряда вон выходящим. Отсюда происхождение безродных людей. Это печальное явление стало настолько обыденным, что сложилось даже особое выражение «быть выкинутым на парижскую мостовую».

Укажем попутно, что старую монархию отнюдь не беспокоило подобное небрежение к детям. Существование некоторого количества праздношатающихся и бродяг в низших слоях общества устраивало высшие сферы и было на руку власти имущим. «Вред» распространения образования среди детей простого народа был возведен в догму. «Нам не нужны недоучки» — стало требованием дня. А детская невежественность логически вытекает из детской бесприютности.

Впрочем, по временам монархия испытывала нужду в детях и в таких случаях производила очистку улиц.

При Людовике XIV, чтоб не заходить слишком далеко, — по желанию короля, и желанию весьма разумному, — было решено создать флот. Идея сама по себе хорошая, но посмотрим, какими средствами она осуществлялась. Флот немислим, если наряду с парусными судами, являющимися игрушкой ветра, нет в помощь им также судов, свободно передвигающихся в любом направлении с помощью весел или пара. Место нынешних пароходов в те времена занимали во флоте галеры. Следовательно, нужно было обзавестись галерами. Но галеры не могут плавать без гребцов. Следовательно, нужно было обзавестись гребцами. Кольбер, при посредстве провинциальных интендантов и парламентов, увеличивал, сколько мог, число каторжников. Судейские весьма услужливо шли ему в этом навстречу. Человек не снял шляпы перед проходившей мимо церковной процессией — гугенотская повадка — его отправляли на галеры. Попадался мальчишка на улице, и если только оказывалось, что он уже достиг пятнадцатилетнего возраста и у него нет приюта, — его отправляли на галеры. Великое царствование, великий век!

При Людовике XV в Париже наблюдались случаи исчезновения детей. Полиция похищала их в каких-то неведомых, таинственных целях. Люди с ужасом перешептывались и строили чудовищные предположения относительно яркоалого цвета королевских ванн. Барбье простодушно повествует об этом. Случалось, что полицейские из-за нехватки детей забирали и таких, у которых были родители. Отцы в отчаянии набрасывались на полицейских. Тогда вмешивался в дело парламент и приговаривал к повешенью. — Кого? Полицейских? Нет, отцов!

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Гамены могли бы образовать индийскую касту

Парижские гамены — это почти что каста. И, надо сказать, не всякому открыт в нее доступ.

Слово «гамен» впервые попало в печать и перешло из простонародного языка в литературный в 1834 году. Оно появилось в первый раз на страницах небольшого рассказа, озаглавленного «Клод Ге». Разыгрался шумный скандал. Но слово привилось.

Основания, на которых зиждется уважение гаменов друг к другу, весьма разнообразны. Мы близко знали одного гамена, который пользовался большим почетом и вызывал необыкновенный восторг товарищей, потому что он видел, как человек упал с колокольни Собора Парижской богородицы. Другой добился такого же почета потому, что ему удалось пробраться на задний двор, где временно были сложены статуи с купола Дома инвалидов, и «стибровать» там малую толику свинца. Третий — потому, что видел, как опрокинулся дилижанс. Еще один — потому, что «знавал» солдата, который чуть было не выколол глаз какому-то буржуа.

Вот почему становится понятным восклицание одного парижского гамена — глубокомысленное восклицание, над которым по неведению смеются непосвященные: *«Господи, боже мой! Какой же я несчастный! Подумать только, ведь мне еще ни разу не пришлось видеть, как падают с шестого этажа!»* (Причем мне произносилось, как *мине*, а этаж, как *этаж*.)

Надо заметить, что недурно сказал и один крестьянин: «Послушай, отец, твоя жена хворала и умерла от болезни; почему ты не позвал доктора?» — «Воля ваша, сударь, мы люди бедные, нам приходится умирать *самосильно*». Но если в этих словах отражена вся крестьянская пассивность, то все вольнодумство и анархизм мальчонки из предместья нашли полное отражение в нижеследующем: преступник, приговоренный к смертной казни, слушает в тележке, везущей его к месту казни, напутствие духовника. «Он разговаривает с попом! — негодуяще восклицает дитя Парижа. — Экий трус!»

Некоторая смелость в вопросах религии придает гамену авторитет. Очень важно быть свободомыслящим.

Присутствовать при казнях — его долг. Гамены разглядывают гильотину, со смехом обмениваются замечаниями, дают ей разные шуточные прозвища: «Прощай, суп», «Ворчунья», «Голубая (небесная) мамаша», «Последний глоточек» и т. д. и т. д. Чтобы ничего не упустить из предстоящего зрелища, они влезают на стены, взбираются на балконы, карабкаются на деревья, виснут на решетках, цепляются за трубы. Гамен — прирожденный кровельщик, как и прирожденный моряк. Ни крыша, ни мачта ему не страшны. Никакое празднество не может для него сравниться с Гревской площадью. Сансон и аббат Монтес — поистине самые популярные имена. Чтобы подбодрить осужденного, его встречают гиканьем. Иногда им восхищаются. Ласнер, будучи гаменом и глядя, как мужественно умирал страшный Дотен, произнес слова, исполненные предчувствия собственной судьбы: «Я ему завидовал». Никто среди гаменов не слышал о Вольтере, но зато все отлично знают Папавуана. В этом сонме героев не делают различия между «политиками» и убийцами. Предание о том, кто какой вид имел в свой последний час, одинаково сохраняется обо всех. Известно, что Толерон был в шапке кочегара, Авриль — в меховой фуражке, Лувель — в круглой шляпе, что лысый старик Делапорт оставался с непокрытой головой, что Кастен был румян и очень красив, Бориес носил короткую романтическую бородку, Жан Мартен не снял подтяжек, а мать и сын Лекуфе ссорились между собой. «Хватит вам делить вашу корзину!» — крикнул им какой-то гамен. Другой, желая посмотреть, как повезут Дебакера, но из-за малого своего

роста ничего не видя в толпе, облюбовывает себе фонарный столб на набережной и лезет на него. Стоящий возле на посту жандарм хмурит брови. «Позвольте мне влезть, господин жандарм», — просит гамен. И, чтобы задобрить служителя власти, добавляет. «Я не свалюсь». — «А мне-то что, свалишься ты или нет», — отвечает жандарм.

Большое значение придается среди гаменов несчастным случаям. Высший почет обеспечен тому, кому случится, например, глубоко, «до самой кости», порезаться.

Немалым уважением пользуется у гаменов также кулак. Излюбленная фраза гамена: «Я здорово сильный. Во!» Быть левшой считается очень завидным свойством, а косить на оба глаза — весьма ценным качеством.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

*в которой прочтут об одной милой шутке
последнего короля*

С наступлением лета гамен превращается в лягушку. По вечерам, когда стемнеет, с какой-нибудь угольной баржи или плота, где стирают прачки, в полное нарушение всех законов стыдливости и полицейских правил, он бросается вниз головой в Сену, прямо против Аустерлицкого или Иенского моста. Но, поскольку полицейские не дремлют, положение частенько становится крайне драматичным, что и породило раздавшийся в один прекрасный день достопамятный братский клич. Клич этот, получивший славную известность около 1830 года, является стратегическим предостережением, передаваемым от гамена к гамену. Он скандируется, как строфы Гомера, почти с такими же малодоступными пониманию ударениями, как мелопеи элевзинских празднеств, и в нем слышится античное «Эвоэ!» Вот этот клич: «Гей, тюті, ге-эй, не заразись! Фараоны близко, шевелись, собирай свои пожитки, живо, сточной трубы держись!»

Иногда эта мошкара, как они сами себя называют, умеет читать, иногда писать, но рисовать, с грехом пополам, умеет всегда. Какими-то таинственными путями взаимного обучения гамен приобретает таланты, которые могут оказаться полезными общественному делу. С 1815

по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848 — малевал на всех стенах груши. Раз летним вечером Луи-Филипп, возвращаясь пешком во дворец, заметил карапуза, который, обливаясь потом и приподнимаясь на цыпочках, старался нарисовать углем огромную грушу на одном из столбов решетки в Нельи. С присущим ему добродушием, унаследованным от Генриха IV, король помог ребенку и сам нарисовал грушу, а затем дал ему луидор, пояснив: «Тут тоже груша». Гамен любит шум и гам, рад всякому скандалу. Он терпеть не может «попов». Как-то на Университетской улице одного из таких шельмецов застали рисующим нос на воротах дома № 69. «Зачем ты это делаешь?» — спросил его прохожий. «Здесь живет поп», — ответил ребенок. В доме действительно жил папский нунций. Но как бы ни был в гаме силен вольтерьянский дух, он не прочь при случае вступить в церковный хор, и тогда он добросовестно выполняет во время службы свои обязанности. Две вещи, которых он, страстно желая, никак не может достигнуть, обрекают его на муки Тантала, — это низвергнуть правительство и отдать починить свои штаны.

Гамен в совершенстве знает всех парижских полицейских и, встретившись с любым, безошибочно назовет его имя. Он может перечислить их всех по пальцам. Изучает их повадки, имеет о каждом определенное мнение. Как в открытой книге, читает он в душе полицейских и живо, без запинки, отрапортует вам: «Вот этот — ябеда; этот — злюка; этот — задавака; этот — сушая умора (все эти слова: ябеда, злюка, задавака, умора — имеют в его устах особый смысл); а вот тот вообразил себя хозяином Нового моста и не дает публике прогуливаться по карнизам по ту сторону перил; а вот у этого прескверная привычка драть людей за уши» и т. д., и т. д.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Древний дух Галлии

Что-то родственное с этим ребенком было у Поклена — сына рынка; было оно и у Бомарше. Гаменство — разновидность галльского характера. Примешанное к здравому

смыслу, оно придает ему порой крепость, как алкоголь вино, иногда же является недостатком. Если можно допустить, что Гомер пустословит, то про Вольтера можно сказать, что он гаменствует. Камилл Демулен был жителем предместий. Шампионе, весьма невежливо обращавшийся с чудесами, вырос на парижской мостовой. Еще мальчишкой он «орошал» паперти церковей Сен-Жан-де-Бове и Сент-Этьен-дю-Мон. А взяв себе привычку бесцеремонно «тыкать» раке святой Женевьевы, он, не задумываясь, отдал команду и фиалу святого Януария.

Парижский гамен одновременно почтителен, насмешлив и нагл. У него скверные зубы, потому что он плохо питается, и желудок его всегда не в порядке, но прекрасные глаза — потому что он умен. В присутствии самого Иеговы он не постеснялся бы вприпрыжку, на одной ножке, взбираться по ступенькам райской лестницы. Он мастер ножного бокса. Пути его развития неисповедимы. Вот он играет, согнувшись, в канавке, а вот уже выпрямляет спину, вовлеченный в восстание. Картечи не сломить его дерзости: миг — и сорви-голова становится героем. Подобно маленькому фиванцу, потрясает он львиной шкурой. Барабанщик Барà был парижским гаменом. Как конь священного писания подает голос: «Гу-гу!», так он кричит: «Вперед!», и мгновенно мальчонка вырастает в великана.

Это дитя не только скверны, но и высоких идеалов. Измерьте всю широту размаха от Мольера до Барà.

Итак, резюмируем: гамен — существо, которое забавляется, потому что оно несчастно.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

*Esse Paris, esse homo*¹

А теперь резюмируем еще раз: парижский гамен является ныне тем же, чем был некогда римский *graeculus*². Это народ-дитя с морщинами старого мира на челе.

Гамен — краса нации и одновременно — ее недуг. Недуг, который нужно лечить. Но чем? Учением.

¹ Се Париж, се человек (лат.).

² Грек (презрительно) (лат.).

Учение оздоравливает.

Учение просвещает.

Единственным источником, всего благородного в сфере социальных отношений является наука, литература, искусство, образование. Воспитывайте же, воспитывайте людей. Дайте им свет знаний, чтобы они могли согреть вас. Рано или поздно великий вопрос всеобщего обучения завоеует признание непреложной истины, и тогда тем, кто будет стоять у власти, придется под давлением французской прогрессивной мысли решать, на ком остановить свой выбор: на истинном ли сыне Франции, или на гамене Парижа; на ярком ли пламени, зажженном лучами просвещения, или на болотном огоньке, мерцающем во мраке невежества.

Гамен — олицетворение Парижа, а Париж — олицетворение мира.

Ибо Париж всеобъемлющ. Париж — мозг человечества. Этот изумительный город представляет собою изображение в миниатюре всех отживших и всех существующих нравов. Глядя на Париж, кажется, что видишь изнанку всеобщей истории человечества, а в разрывах — небо и звезды. У Парижа есть свой Капитолий — городская ратуша, свой Парфенон — Собор Парижской богородицы, свой Авентинский холм — Сент-Антуанское предместье, свой Азинарий — Сорбонна, свой Пантеон — тоже Пантеон, своя Священная дорога — бульвар Итальянцев, своя Башня ветров — общественное мнение; и он не сбрасывает с Гемоний — он отдает на посмешище. Его тајо¹ зовется хлыщом, транстеверинец — жителем предместья, hamtal² — крючником, ладзарони — мазуриком, кокней — фатом. Все, что существует где бы то ни было, есть и в Париже. Рыбная торговка Дюмарсе сумела бы подать реплику эврипидовой зеленщице; дискобол Веян оживает в канатном плясуне Фориозо; воин Ферапонтигон мог бы пройти с ручку с гренадером Вадебонкером, антикварий Дамасип, наверно, чувствовал бы себя как дома у парижских торговцев старым хламом; Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро посажен Агорой в тюрьму; и если Куртилусу принадлежит

¹ Щеголь (исп.).

² Носильщик (арабск.).

такое изобретение, как жареный еж, то Гримо де ла Реньеру — такое, как ростбиф в сале; в шарообразном куполе арки Звезды мы видим возрожденной трапецию Плавта; повстречавшийся Апулею пожиратель мечей с афинского портика Пойтиле теперь глотает шпаги на Новом мосту; племянник Рамо и прихлебатель Куркульон составили бы превосходную парочку; д'Эгрфейль не преминул бы познакомить Эргасила с Камбасересом; четырех римских щеголей — Алкесимарха, Федрома, Диабола и Аргириппа — в наши дни можно видеть возвращающимися из Куртиль в почтовой карете Лабатю; Авл Гелий задерживался перед Конгрионом не дольше, чем Шарль Нодье перед Полишинелем; правда, Мартон нельзя называть неумолимой, но и Пардалиска не была недоступной; весельчак Пантолаб и сейчас потешается в английском кафе над гулякой Номентаном; Гермоген стал тенором на Елисейских полях, а плут Фразий, нарядившись Бобешем, расхаживает возле него и собирает пожертвования; назойливый субъект, который останавливает вас в Тюильри, схватив за пуговицу сюртука, заставляет вас через две тысячи лет повторить апострофу Фесприона: «*Quis prorepantem meprehendit pallio?*»¹; сюренское вино — подделка албанского, а налитый до краев бокал Дезожье ничем не уступает полной чаше Балатрона; в дождливые ночи от Пер-Лашез исходит такое же свечение, как от Эскилина, и купленная на пять лет могила бедняка стоит взятого напрокат гроба рабов.

Попробуйте отыскать что-либо такое, чего бы не было в Париже. Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера; Эргафил воскресает в Калиюстро; брамин Вазафанта воплощается в графа Сен-Жермен; чудеса Сен-Медарского кладбища ничуть не менее поразительны, чем чудеса мечети Умумие в Дамаске.

У Парижа есть свой Эзоп — Майе, своя Канидия — девица Ленорман. Как некогда Дельфы, и его покой смущают явления светящихся духов, и он занимается верчением столов, как Додона — верчением треножников. Пусть Рим возводил на трон куртизанок, — он возводит на него гризеток; в конце концов если Людовик XV и

¹ Спешу я. Кто за плащ хватает? (лат.) — комедия Плавта «Эпидик».

хуже Клавдия, то г-жа Дюбарри лучше Мессалины. Сочетая греческую ясность с еврейской уязвленностью и галльским красноречием, Париж создает небывалый тип человека, который, однако, существовал и с которым нам приходилось сталкиваться. Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца, нарядив призрак в старые номера «Конституционалиста», он производит на свет божий Шодрюка Дюкло.

Хотя Плутарх и говорит, что «тирана ничто не смягчит», при Сулле и Домициане Рим был смирен и безропотно разбавлял свое вино водой. Тибр, если верить несколько доктринерской похвале Вара Вибиска, играл в данном случае роль Леты: «*Contra Gracchos Tiberim habemus. Bibere Tiberim, id est seditionem oblivisci*»¹, говорит Вар. Париж выпивает ежедневно миллион литров воды, что не мешает ему, однако, при случае бить в набат и поднимать тревогу.

А при всем том Париж — добрый малый. Он царственно приемлет все и не слишком щепетилен в любовных делах; его Венера — из готтентоток; он готов все простить, только бы посмеяться; физическое уродство его веселит, духовное забавляет, порок развлекает; ежели ты затейник — будь хоть мошенник; его не возмущает даже лицемерие — эта последняя степень цинизма; он достаточно начитан, чтобы не зажимать нос при появлении донна Базилио, а молитва Тартюфа шокирует его не больше, чем Горация «икота» Приапа. Чело Парижа повторяет все черты вселенского лика. Разумеется, бал в саду Мабиль — не полимнийские пляски на Яникулейском холме, но торговка галантереей вразнос выслеживает там лоретку, точь-в-точь как сводня Стафила — девственницу Планегию. Разумеется, застава Боев не Колизей, но и там проявляют кровожадность, как некогда в присутствии Цезаря. Надо думать, что сирийские трактирщицы отличались большей миловидностью, чем тетушка Саре; однако если Вергилий был завсегдатаем римских трактиров, то Давид д'Анже, Бальзак и Шарле сживали за столиками парижских кабачков. Париж царит. Там блещут гении и процве-

¹ «Против Гракхов у нас есть Тибр. Пить из Тибра — то есть за-
бывать о мятеже» (лат.).

тают шуты. Там на своей колеснице о двенадцати колесах в громах и молниях проносится Адонай; и сюда же въезжает на своей ослице Силен. Силен — читай Рампоно.

Париж — синоним космоса. Париж — это Афины, Рим, Сибарис, Иерусалим, Пантен. Здесь вкратце представлены все виды культур и все виды варварства. Отнять у Парижа гильотину — значило бы сильно его раздосадовать.

Гревская площадь в небольшой дозе не вредна. Мог ли такой вечный праздник без подобной приправы быть в праздник? Наши законы мудро это предусмотрели, и кровь с ножа гильотины капля по капле стекает на этот нескончаемый карнавал.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Глумясь, властвовать

Границ Парижа не укажешь, их нет. Из всех городов лишь ему удавалось утверждать господство над своими подъяремными, осмеивая их. «Понравится вам, о афиняне!» — воскликнул Александр. Париж не только создает законы, он создает нечто большее — моду; и еще нечто большее, чем мода, — он создает рутину. Вздумается ему, и он вдруг становится глупым, он разрешает себе иногда такую роскошь; и тогда весь мир глупеет вместе с ним; а потом Париж просыпается, протирает глаза и со словами: «Ну не дурак ли я!» — раздражается оглушительным смехом прямо в лицо человечеству. Что за чудо город! Самым непостижимым образом здесь грандиозное уживается с шутовским, пародия с подлинным величием, одни и те же уста могут нынче трубить в трубу Страшного суда, а завтра в детскую дудочку. У Парижа царственный веселый характер. В его забавах — молнии, его проказы державны. Здесь гримасе случается вызвать бурю. Гул его взрывов и битв докатывается до края вселенной. Его шедевры, диковины, эпопеи, как, впрочем, и весь его вздор, становятся достоянием мира. Его смех, вырываясь, как из жерла вулкана, лавой заливают землю. Его буффонады сыплются искрами. Он равно навязывает народам и свои нелепости и свои идеалы; высочайшие памятники челове-

чешской культуры покорно сносят его насмешки и отдают ему на забаву свое бессмертие. Он великолепен; у него есть беспрецедентное 14 июля, принесшее освобождение миру; он зовет все народы произнести клятву в Зале для игры в мяч; его ночь на 4 августа в какие-нибудь три часа свергает тысячелетнюю власть феодализма. Природное здравомыслие он умеет обратить в мускул согласованного действия людской воли. Он множится, возникая во всех формах возвышенного; отблеск его лежит на Вашингтоне, Костюшко, Боливаре, Боццарисе, Риго, Беме, Манине, Лопеце, Джоне Брауне, Гарибальди. Он всюду, где загорается надежда человечества: в 1779 году — он в Бостоне, в 1820 — на острове Леоне, в 1848 — в Пеште, в 1860 — в Палермо. Он повелительно шепчет на ухо пароль: *Свобода* и американским аболиционистам, толпящимся на пароме в Харперс-Ферри, и патриотам Анконы, собирающимся в сумерках в Арчи на берегу моря, перед таверной Гоцци. Он родит Канариса, Квиругу, Пизакане; от него берет начало все великое на земле; им вдохновленный Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне; под ногами Мирабо — он трибуна, под ногами Робеспьера — кратер вулкана; его книги, его театр, искусство, наука, литература, философия служат учебником, по которому учится все человечество; у него есть Паскаль, Ренье, Корнель, Декарт, Жан-Жак, Вольтер для каждой минуты, а для веков — Мольер; он заставляет говорить на своем языке все народы, и язык этот становится глаголом; он закладывает во все умы идеи прогресса, а выкованные им освободительные теории служат верным оружием для поколений; с 1789 года дух его мыслителей и поэтов почивает на всех героях всех народов. Все это несколько не мешает ему повесничать, и исполинский гений, именуемый Парижем, видоизменяя своей мудростью мир, может в то же время рисовать углем нос Бужинье на стене Тезеева храма и писать на пирамидах: «Кредевилъ — вор».

Париж всегда скалит зубы: он либо рычит, либо смеется.

Таков Париж. Дымки над его крышами — идеи, уносимые в мир. Груда камней и грязи, если угодно, но прежде всего и превыше всего — существо, богатое духом. Он не только велик, он необъятен. Вы спросите, почему? Да потому, что смеет дерзать.

Дерзать! Ценой дерзаний достигается прогресс.

Все блистательные победы являются в большей или меньшей степени наградой за отвагу. Чтобы революция совершилась, недостаточно было Монтескье ее предчувствовать, Дидро проповедовать, Бомарше провозгласить, Кондорсе рассчитать, Аруэ подготовить, Руссо провидеть, — надо было, чтобы Дантон дерзнул.

Смелее! Этот призыв — тот же *Fiat lux*¹. Человечеству для движения вперед необходимо постоянно иметь перед собой на вершинах славные примеры мужества. Подвиги храбрости заливают историю ослепительным блеском, и это одни из ярчайших светочей людей. Заря дерзает, когда занимается. Пытаться, упорствовать, не покоряться, быть верным самому себе, вступать в единоборство с судьбой, обезоруживать опасность бесстрашием, бить по несправедливой власти, клеймить захмелевшую победу, крепко стоять, стойко держаться — вот уроки, нужные народам, вот свет, их воодушевляющий. От факела Прометея к носогрейке Камброна змеится все та же грозная молния.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Будущее, таящееся в народе

Что касается простого парижского люда, то и в зрелом возрасте он остается гаменом. Дать изображение ребенка — значит дать изображение города; вот почему для изучения этого орла мы воспользовались обыкновенным воробышком.

Наилучшие представления о парижском племени, — мы настаиваем на этом, — можно получить в предместьях; тут самая чистая его порода, самое подлинное его лицо; тут весь этот люд трудится и страдает, а в страданиях и в труде и выявляются два истинных лика человека. Тут, в несметной толпе никому неведомых людей, кишмя кишат самые необычайные типы, начиная от грузчика с Винной пристани и кончая живодером с монфоконской

¹ Да будет свет (лат.).

свалки. *Fex urbis*¹, — восклицает Цицерон; *тоб*², — добавляет негодующий Берк; сброд, масса, чернь — эти слова произносятся с легким сердцем. Но пусть так! Что за важность? Что из того, что они ходят босые? Они неграмотны, тем хуже. Неужели вы бросите их за это на произвол судьбы? Их несчастья вы превратите в проклятие? Неужели просвещению не дано проникнуть в народную гущу? Так повторим же наш призыв к просвещению. Так не устанем же твердить: «Просвещения! Просвещения!» Как знать, быть может тьма эта и рассеется. Разве революции не несут преобразования? Слушайте же меня, вы, философы: обучайте, разъясняйте, просвещайте, мыслите вслух, говорите во всеуслышание, радостные духом, действуйте открыто, при блеске дня, братайтесь с площадями, возвещайте благую весть, щедро оделяйте букварями, провозглашайте права человека, пойте марсельезы, пробуждайте энтузиазм, срывайте зеленые ветки с дубов. Обратите идеи в вихрь. Толпу можно возвысить. Сумеем же использовать ту неукротимую бурю, какою в иные минуты разражается, бушует и шумит мысль и моральное чувство людей. Эти босые ноги, эти голые руки, эти лохмотья, это невежество, эта униженность и темнота — все это может быть направлено на завоевание великих идеалов. Вглядитесь поглубже в народ, и вы увидите истину. Киньте грязный песок из-под ваших ног в горнило, дайте этому песку плавиться и кипеть, и он превратится в дивный кристалл, благодаря которому Галилей и Ньютон откроют небесные светила.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Маленький Гаврош

Примерно восемь или девять лет спустя после событий, рассказанных во второй части настоящей повести, на бульваре Тампл и близ Шато-д'О можно было часто видеть мальчика лет одиннадцати — двенадцати, который вполне подошел бы под нарисованный нами выше портрет гамена,

¹ Подонки столицы (лат.).

² Чернь (англ.).

не будь у него так пусто и мрачно на сердце, хотя, как всякий в его возрасте, он непрочь был и посмеяться. Ребенок этот был наряжен в мужские брюки, но не отцовские, и в женскую кофту, но не материнскую. Чужие люди одели его из милости в лохмотья. А между тем у него были и отец и мать. Но отец не желал его знать, а мать его не любила. Он принадлежал к тем заслуживающим особого сострадания детям, которые, имея родителей, живут сиротами.

Лучше всего ребенок этот чувствовал себя на улице. Мостовая была для него менее жесткой, чем сердце матери.

Родители пинком ноги выбросили его в жизнь.

Он, не прекословя, покорился.

Это был шумливый, бойкий, смышленный, задорный мальчик, с живым, но болезненным выражением бледного лица. Он шнырял по городу, напевал, играл в бабки, рылся в канавках, поворовывал, но делал это весело, как кошки и воробьи, смеялся, когда его называли постреленком, и обижался, когда его называли бродяжкой. У него не было ни крова, ни пищи, ни тепла, ни любви, но он был радостен, потому что был свободен.

Когда эти жалкие создания вырастают, они почти неизбежно попадают под жернов существующего социального порядка и размалываются им. Но пока они дети и малы, они ускользают. Любая норка может укрыть их.

Однако, как ни заброшен был этот ребенок, изредка, раз в два или три месяца, он говорил себе: «Пойду-ка я повидаюсь с мамой!» И он покидал бульвар, минуя цирк и Сен-Мартенские ворота, спускался на набережную, переходил мосты, добирался до предместий, шел мимо больницы Сальпетриер и приходил — куда? Да прямо к знакомому уже читателю дому под двойным номером 50—52, к лачуге Горбо.

В ту пору лачуга № 50—52, обычно пустовавшая и неизменно украшенная билетиком с надписью: «Сдаются комнаты», оказалась — редкий случай — заселенной несколькими личностями, впрочем, как это водится в Париже, не поддерживавшими между собой никаких отношений. Все они принадлежали к тому неимущему классу, что начинается с мелкого, стесненного в средствах буржуа и, спускаясь от бедняка к бедняку все ниже, до самого

дна общества, кончается двумя существами, к которым стекаются одни лишь отбросы материальной культуры: золотарем, возящим нечистоты, и тряпичником, подбирающим рвань.

«Главная жилица» времен Жана Вальжана уже умерла, и ее сменила совершенно такая же. Кто-то из философов, не припомню кто, сказал: «В старухах никогда не бывает недостатка».

Эта новая старуха звалась тетушкой Бюргон, и в жизни ее не было ничего примечательного, если не считать династии трех попугаев, последовательно царивших в ее сердце.

Из всех живущих в лачуге в самом бедственном положении находилась семья, состоявшая из четырех лиц: отца, матери и двух уже довольно взрослых дочерей. Все четверо помещались в общей конуре, в одном из трех чердаков, которые были уже нами описаны.

На первый взгляд, семья эта ничем особенным, кроме своей крайней бедности, не отличалась. Отец, нанимая комнату, назвался Жондретом. Немного времени спустя после своего водворения, весьма напоминавшего, по столь памяtnому выражению главной жилицы, «въезд пустого места», Жондрет сказал этой женщине, которая, как и ее предшественница, одновременно исполняла обязанности привратницы и мела лестницу: «Матушка, как вас там, если случайно будут спрашивать поляка или итальянца, а может быть, и испанца, то знайте — это я».

Это и была семья веселого оборвыша. Он приходил сюда, но видел здесь лишь нищету и уныние и — что еще печальнее — не встречал ни единой улыбки: холодный очаг, холодные сердца. Когда он входил, его спрашивали: «Ты откуда?» Он отвечал: «С улицы». Когда уходил, спрашивали: «Ты куда?» Он отвечал: «На улицу». Мать попрекала его: «Зачем ты сюда ходишь?»

Этот ребенок, лишенный ласки, был как хилая травка, что вырастает в погребе. Он не страдал от этого и никого в этом не винил. Он по-настоящему и не знал, какими должны быть отец и мать.

Впрочем, мать любила его сестер.

Мы забыли сказать, что на бульваре Тамплъ этого мальчика называли маленьким Гаврошем. Почему звался

он Гаврошем? Да, вероятно, потому же, почему отец его звался Жондретом.

Инстинктивное стремление разорвать родственные узы свойственно, повидимому, некоторым бедствующим семьям.

Комната в лачуге Горбо, в которой жили Жондреты, была в самом конце коридора. Каморку рядом занимал небогатый молодой человек, которого звали г-н Мариус.

Расскажем теперь, кто такой этот г-н Мариус.

Книга вторая

ВАЖНЫЙ БУРЖУА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Девяносто лет и тридцать два зуба

Среди давних обитателей улиц Бушера, Нормандской и Сентонж еще и теперь найдутся люди, помнящие и поминающие добрым словом старичка по имени г-н Жильнорман. Старичок этот был стар уже и тогда, когда сами они были молоды. Для всех, кто предается меланхолическому созерцанию смутного роя теней, именуемого прошлым, этот образ еще не совсем исчез из лабиринта улиц, соседних с Тамплем, которым при Людовике XIV присваивали названия французских провинций совершенно так же, как в наши дни улицам нового квартала Тиволи присваивают названия всех европейских столиц. Явление, кстати сказать, прогрессивное, свидетельствующее о движении вперед.

Господин Жильнорман, в 1831 году еще совсем бодрый, принадлежал к числу людей, возбуждающих любопытство единственно по причине своего долголетия, и если в свое время они ничем не выделялись из общей массы, то теперь казались незаурядными, так как ни на кого не походили. Это был очень своеобразный старик — в полном смысле слова человек иного века, с головы до ног настоящий, чуть-чуть надменный буржуа XVIII столетия, носивший свое старинное и почтенное звание буржуа с таким видом, с каким маркизы носят свой титул. Ему уже перевалило за девяносто лет, но он держался прямо, говорил громко, хорошо видел, любил выпить, сытно поесть, во сне богатырски храпел. Он сохранил все свои тридцать два зуба. Надевал очки, только когда читал. Был влюбчив, но

утверждал, что уже свыше десяти лет решительно и бесповоротно отказался от **женщин**. По его словам, он больше не мог уже нравиться. Однако он никогда не прибавлял к этому: «Потому что **слишком стар**», но всегда: «Потому что **слишком беден**». «Не разорись я... ого-го!» — говорил он. Он и на самом деле располагал не более чем пятнадцатью тысячами ливров годового дохода. Его мечтой было получить наследство, иметь сто тысяч франков ренты и завести любовниц. Как видим, его отнюдь нельзя было причислить к тем немощным восьмидесятилетним старцам, которые, подобно господину Вольтеру, умирают всю жизнь. И долговечность его не была долговечностью битой посуды. Этот **бодрый старик** всегда отличался прекрасным здоровьем. Он был человеком неглубоким, порывистым и очень вспыльчивым. Из-за любого пустяка он мог разбушеваться, и по большей части — будучи совершенно неправым. Если же ему перечили, он замахивался тростью и давал людям таску не хуже, чем в «великий век». У него была незамужняя дочь в возрасте пятидесяти с лишком лет, которую он всердцах пребольно колотил и рад был бы высечь. Она все еще казалась ему восьмилетней девочкой. Он отпускал увесистые оплеухи своим слугам, приговаривая: «Ну и стервецы!» Одним из излюбленнейших его ругательств было: «Эх вы, *пентюхи, перепентюхи!*» Вместе с тем ему была присуща редкая невозмутимость; он каждодневно брился у полупомешанного цирюльника, который ненавидел его, ревнуя к нему свою хорошенькую кокетливую жену. Г-н Жильнорман очень высоко ставил свое умение судить обо всем на свете и хвастался своей проницательностью. Вот одна из его острот: «Ну, я ли не догадлив? Стоит блохе меня укусить, и я тотчас знаю, с какой женщины она на меня перескочила». Его речь постоянно пересыпалась словами: «чувствительный человек» и «природа». Он не вкладывал, впрочем, в это последнее такого широкого смысла, какое ему стали придавать в наше время, однако любил как-то по-своему вернуть его в свои шуточки у камелька. «Природа, — говаривал он, — желая наделить цивилизованные страны всем понемножку, ничего для них не жалеет, вплоть до забавных образцов варварства. В Европе существует, но в малом формате, все, что встречается в Азии и в Африке. Кошка — это домашний тигр, ящерица — кар-

манный крокодил. Танцовщицы из Оперы — те же людоедки, только розовенькие. Они съедают человека не сразу, они гложут его понемножку. А то — о волшебницы! — вдруг возьмут и превратят его в устрицу и проглотят. Караибы оставляют одни кости, они — одни черепки. Таковы уж наши нравы. Мы не пожираем пищу мигом, а смакуем. Мы не приканчиваем добычу одним ударом, а медленно рвем на части».

ГЛАВА ВТОРАЯ

По хозяйну и дом

Он жил в квартале Марэ на улице Сестер страстей господних, в доме № 6. Дом был его собственный. Он давно снесен, и теперь на его месте выстроен другой, а при постоянных изменениях, которые претерпевает нумерация домов парижских улиц, изменился, вероятно, и его номер. Г-н Жильнорман занимал просторную старинную квартиру во втором этаже, выходившую на улицу и в сады и увешанную до самого потолка огромными коврами, изделиями Гобеленовой и Бовеской мануфактур, изображавшими пастушеские сцены; сюжеты плафонов и панно повторялись в уменьшенных размерах на обивке кресел. Кровать скрывали большие девятистворчатые ширмы коромандельского лака. Длинные и пышные занавеси широкими величественными складками спадали с окон. В сад, расположенный прямо под окнами комнат г-на Жильнормана, попадали через угловую застекленную дверь, по лестнице в двенадцать — пятнадцать ступеней, по которым наш старичок весьма проворно бегал вверх и вниз. Кроме библиотеки, смежной со спальней, у него был еще будуар — предмет его гордости, изысканный уголок, обтянутый великолепно соломёнными шпалерами в геральдических лилиях и всевозможных цветах. Шпалеры эти были исполнены в эпоху Людовика XIV каторжниками на галерах, по распоряжению г-на де Вивона, заказавшего их для своей любовницы. Они достались г-ну Жильнорману по наследству от двоюродной бабки с материнской стороны — сумасбродной старухи, дожившей до ста лет. Он был дважды женат. Своими манерами

он напоминал отчасти придворного, хотя никогда им не был, а отчасти судейского, кем мог бы быть. При желании он бывал приветливым и радушным. В юности он принадлежал к мужчинам, которых постоянно обманывают жены и никогда — любовницы, ибо, будучи пренеприятными мужьями, они являются вместе с тем милыми любовниками. Он понимал толк в живописи. В его спальне висел чудесный портрет неизвестного, кисти Иорданса, сделанный в широкой манере, как бы небрежно, в действительности же выписанный до мельчайших деталей. Костюм Жильнормана не был ни костюмом эпохи Людовика XV, ни даже Людовика XVI; он одевался как шеголь Директории, — до той поры он считал себя молодым и следовал моде. Он носил фрак из тонкого сукна, с широкими отворотами, с длиннейшими заостренными фалдами и огромными стальными пуговицами. К этому — короткие штаны и башмаки с пряжками. Руки он всегда держал в жилетных карманах и авторитетно утверждал, что «французская революция дело рук отъявленных шалопаев».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Лука-Разумник

В шестнадцать лет он удостоился чести быть однажды вечером лорнированным в Опере сразу двумя знаменитыми и воспетыми Вольтером, но к тому времени уже перезревшими, красавицами — Камарго и Сале. Попав, таким образом, между двух огней, он храбро ретировался, направив свои шаги к маленькой, никому неведомой танцовщице по имени Наанри, которой, как и ему, было шестнадцать лет и в которую он был влюблен. Он сохранил бездну воспоминаний. «Ах, как она была мила, эта Гимар-Гимардини-Гимардинетта, — восклицал он, — когда я ее видел в последний раз в Лоншане, в локонах «неувядаемые чувства», в бирюзовых побрякушках, в платье цвета новорожденного младенца и с муфточкой «волнение»!» Охотно и с большим увлечением описывал он свой ненлондреновый камзол, который носил юношей. «Я был разряжен, как турок из восточного Леванта», — говорил он. В двадцатилетнем возрасте он случайно попался на

глаза г-же де Буфле, и она дала ему прозвище «очаровательный безумец». Он возмущался именами современных политических деятелей и людей, стоящих у власти, находя эти имена низкими и буржуазными. Читая газеты, «ведомости, журналы», как он их называл, он едва удерживался от смеха. «Ну и люди, — говорил он, — Корбьер, Гюман, Казимир Перье! И это, изволите ли видеть, министры! Воображаю, как бы выглядело в газете: «Господин Жильнорман, министр! Вот была бы потеха. Впрочем, у таких олухов и это сошло бы!» Он, не задумываясь, называл все вещи, пристойные, равно как и непристойные, своими именами, нисколько не стесняясь присутствия женщин. Грубости, грубизмы и сальности произносились им спокойным, невозмутимым и, если угодно, не лишенным некоторой изысканности тоном. Такая бесцеремонность в выражениях была принята в его время. Надо сказать, что эпоха парафраз в поэзии являлась вместе с тем эпохой неприкрытых откровенностей в прозе. Крестный отец Жильнормана, предсказывая, что из него выйдет человек не бесталанный, дал ему двойное многозначительное имя: Лука-Разумник.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Претендент на столетний возраст

В детстве он не раз удостоивался награды в коллеже своего родного города Мулена и однажды получил ее даже из рук самого герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским. Ни Конвент, ни смерть Людовика XVI, ни Наполеон, ни возвращение Бурбонов — ничто не могло изгладить из его памяти воспоминание об этом событии. В его представлении «герцог Неверский» являлся самой крупной фигурой века. «Что это был за очаровательный вельможа! — рассказывал он. — И как к нему шла голубая орденская лента!» В глазах г-на Жильнормана, Екатерина II искупила вину раздела Польши тем, что приобрела у Бестужева за три тысячи рублей секрет изготовления золотого эликсира. Тут он воодушевлялся: «Золотой эликсир, — восклицал он, — фла-

кон в пол-унции желтой бестужевской тинктуры и капель-генерала Ламота стоял в XVIII веке луидор и служил великолепным средством от несчастной любви и панацеей от всех бедствий, насылаемых Венерой! Людовик XV послал двести флаконов этого элексира папе». Старик был бы страшно разгневан и взбешен, если бы ему сказали, что золотой элексир не что иное, как хлористое железо. Г-н Жильнорман боготворил Бурбонов и питал сильнейшее отвращение к 1789 году; без конца готов он был повествовать о том, как ему удалось спастись при терроре и сколько ума и присутствия духа потребовалось от него, чтобы уберечь свою голову. Если кто-нибудь из молодежи осмеливался хвалить при нем республику, он приходил в такую ярость, что едва не терял сознания. Иной раз, намекая на свои девяносто лет, он говорил: «Я льшу себя надеждой, что мне не придется дважды пережить девяносто третий год». А иной раз признавался домашним, что рассчитывает прожить до ста лет.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Баск и Николетта

У него были собственные теории. Вот одно из его рассуждений: «Если мужчина питает большую слабость к прекрасному полу, а сам имеет жену, к которой равнодушен, безобразную, угрюмую, преисполненную сознания своих прав, восседающую на кодексе законов, как на насесте, и при всем том еще ревнивую, у него остается только один способ развязать себе руки и обрести покой: это отдать жене на растерзание кошелек. Такая добровольная отставка возвратит ему свободу. Теперь жене будет чем заняться. Она скоро войдет во вкус ворочать деньгами, марать пальцы о медяки, школить арендаторов, муштровывать фермеров, теребить поверенных, верховодить нотариусами, отчитывать писемоводителей, водиться с разными канцелярскими крысами, сутяжничать, сочинять контракты, диктовать договоры, чувствовать себя полновластной хозяйкой, продавать, покупать, вершить дела, командовать, обещать и надувать, сходиться и расходиться,

уступать, отступать и переуступать, налаживать, разлаживать, экономить гроши, проматывать сотни; она совершает — что составляет особое и главное ее счастье — глупость за глупостью и так развлекается. Меж тем как супруг пренебрегает ею, она находит себе утешение, разоряя этого супруга». Г-н Жильнорман испробовал эту теорию на собственной практике, и с ним произошло все как по-писаному. Жена, а именно вторая из них, столь усердно вела его дела, что когда в один прекрасный день он оказался вдовцом, у него едва набралось на жизнь около пятнадцати тысяч ливров в год, да и то лишь при помещении почти всего капитала в пожизненную ренту, на три четверти не подлежащую выплате после его смерти. Он, не задумываясь, пошел на эти условия, относясь безразлично к тому, останется ли после него наследство. Впрочем, он имел возможность убедиться, что и с родовым имуществом случаются всяческие истории. Оно может, например, сделаться национальным имуществом; он был свидетелем некоего чудесного превращения французского государственного долга, вдруг уменьшившегося на целую треть, и не слишком доверял книге росписей государственных долгов. «Все это — одна лавочка», — говорил он. Как мы уже указывали, дом на улице Сестер страстей господних, в котором он жил, был его собственным. Он всегда держал двух слуг: «человека» и «девушку». Когда к г-ну Жильнорману нанимался новый слуга, он считал необходимым окрестить его заново. Мужчинам он давал имена, соответствующие названиям провинций, из которых они были родом: Ним, Контуа, Пуатевен, Пикар. Его последний лакей, страдающий одышкой, толстяк лет пятидесяти пяти, с большими ногами, не мог пробежать и двадцати шагов, но, поскольку он был уроженцем Байоны, г-н Жильнорман именовал его Баском. Что касается служанок, то они все именовались у него Николеттами (даже сама Маньон, о которой речь будет впереди). Как-то раз к нему пришла наниматься знатная стряпуха, мастерица своего дела, из славной породы поварих. «Сколько вам угодно получать в месяц?» — спросил ее г-н Жильнорман. «Тридцать франков». — «А как вас зовут?» — «Олимпия». — «Ну так вот, ты будешь получать пятьдесят франков, а зваться Николеттой».

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

*в которой промелькнет Маньон с двумя своими
малютками*

У г-на Жильнормана горе выражалось гневом; огорчения приводили его в бешенство. Он был полон предрассудков, а в поведении позволял себе любые вольности. Как мы уже отмечали, больше всего старался он показать всем своим внешним видом, черпая в этом и глубокое внутреннее удовлетворение, что продолжает еще оставаться усердным поклонником женщин и прочно пользуется репутацией такового. Он называл это своей «высочайшей славой». Но эта «высочайшая слава» преподносила ему подчас самые неожиданные сюрпризы. Однажды ему принесли в продолговатой корзине, напоминающей корзину для устриц, запеленутого по всем правилам искусства и оравшего благим матом пухленького, недавно появившегося на свет божий мальчугана, которого служанка, прогнанная полгода назад, объявляла его сыном. Г-ну Жильнорману было в ту пору, ни много ни мало, восемьдесят четыре года. Это вызвало взрыв возмущения окружающих: «Кого эта бесстыжая тварь думала обмануть? Кто может ей поверить? Какая наглость! Какая гнусная клевета!» Но сам г-н Жильнорман несколько не рассердился. Он поглядел на младенца с ласковой улыбкой старичка, польщенного подобного рода клеветой, и сказал, как бы в сторону: «Ну что? Что тут такого? Что тут такого особенного? Вы совсем рехнулись, мелете вздор, как сущие невежды! Герцог Ангулемский, побочный сын короля Карла Девятого, женился восьмидесяти пяти лет на пятнадцатилетней пустельге; г-ну Виржиналю, маркизу д'Алюи, брату кардинала Сурди, архиепископа Бордоского, было восемьдесят три года, когда у него родился сын от горничной президентши Жакен — истинное дитя любви, впоследствии кавалер Мальтийского ордена и государственный советник при шпаге. Один из выдающихся людей нашего века — аббат Табаро — сын восьмидесяти-семилетнего старика. Таких случаев сколько угодно. Вспомним, наконец, библию! А засим заявляю, что сударик сей не мой. Все же позаботиться о нем надо. Его вины тут нет». Этому поступку нельзя отказать в сердечности. Через год та же особа, звали ее Маньон, прислала ему

второй подарок. Опять мальчика. На этот раз г-н Жильнорман сдался. Он возвратил матери обоих малышей, обязуясь давать на их содержание по восемьдесят франков ежемесячно, при условии, что вышеупомянутая мать не возобновит своих притязаний. «Надеюсь, — добавил он, — что она обеспечит детям хороший уход. Я же стану время от времени навещать их». Так он и делал. У него был когда-то брат священник, занимавший в течение тридцати трех лет должность ректора академии в Пуатье и умерший семидесяти семи лет от роду. «Я потерял его, когда он был еще молодым», — говорил г-н Жильнорман. Этот брат, оставивший по себе недолгую память, был безобидным, но скупым человеком; как священник, он считал своей обязанностью подавать милостыню встречным нищим, но подавал только изъятые из употребления монеты да стертые су и, таким образом, умудрился по дороге в рай попасть в ад. Что касается г-на Жильнормана-старшего, то он не старался выгадать на милостыне и охотно и щедро подавал ее. Он был доброжелательный, горячий, отзывчивый человек, и будь он богат, его слабостью являлась бы роскошь. Ему хотелось, чтобы все, имеющее к нему отношение, вплоть до мошенничества, было поставлено на широкую ногу. Как-то раз, когда он получал наследство, его обобрал самым грубым и откровенным образом один из поверенных. «Фи, какая грязная работа! — высокомерно воскликнул он. — Мне просто стыдно за такое жалкое жульничество. Все измельчало нынче, даже плуты. Чорт побери, можно ли подобным образом обманывать людей такого сорта, как я! Меня ограбили, как в дремучем лесу, но ограбили никуда не годным способом. *Sylvae sint consule dignae!*»¹

Мы уже сказали, что он был дважды женат. От первого брака у него была дочь, оставшаяся в девицах, от второго — тоже дочь, умершая примерно в тридцатилетнем возрасте и в свое время, по любви ли, случайно, или по какой-либо иной причине, вышедшая замуж за офицера из рядовых, служившего в республиканской и императорской армии, получившего крест за Аустерлиц и чин полковника за Ватерлоо. «Это — позор моей семьи», —

¹ Леса достойны консула (лат.).

говорил старый буржуа. Он беспрестанно нюхал табак и с каким-то особым изяществом приминал тыльной стороной руки свое кружевное жабо. В бога он почти совсем не верил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Правило: принимай у себя только по вечерам

Вот каков был г-н Лука-Разумник Жильнорман. Он сохранил еще свои волосы, скорей с проседью, нежели седые, и всегда носил одну и ту же прическу «собачьи уши». В общем, даже при всех своих слабостях, это была личность весьма почтенная.

Все в нем носило печать XVIII века, фривольного и величавого.

В первые годы Реставрации г-н Жильнорман, тогда еще молодой — в 1814 году ему исполнилось только семьдесят четыре года, — жил в Сен-Жерменском предместье, на улице Сервандони, близ церкви Сен-Сюльпис. Он переехал на покой в Марэ уже много времени спустя, после того как ему стукнуло восемьдесят лет.

Но и покинув свет, он продолжал придерживаться прежних своих привычек. Главная из них, которую он никогда не нарушал, состояла в том, чтобы держать днем свою дверь на замке и никого ни под каким видом не принимать у себя раньше вечера. В пять часов он обедал, и лишь засим двери его дома отворялись. Так было модно в его время, и он отнюдь не желал отступать от этого обычая. «День вульгарен, — говаривал он, — и ничего, кроме закрытых ставен, не заслуживает. У светских людей ум загорается вместе с звездами в небесах». И он накрепко запирался ото всех, будь то сам король. В этом сказывалась старинная изысканность его века.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Две, но не пара

Мы уже упоминали о двух дочерях г-на Жильнормана. Между ними было десять лет разницы. В юности они очень мало походили друг на друга и ни характером, ни лицом

несколько не напоминали сестер. Младшую — чудесной души создание — влекло ко всему светлому. Она любила цветы, поэзию, музыку; уносясь мыслями в лучезарные края, восторженная, невинная, с ранних детских лет, как нареченная невеста, ожидала она героя, смутный образ которого витал пред нею. У старшей также была своя мечта. В голубой дали ей мерещился поставщик, какой-нибудь добродушный, очень богатый толстяк, подряжавший провиант для армии, муж восхитительно глупый, человек-миллион или хотя бы префект; приемы в префектуре, швейцар с цепью на шее в прихожей, торжественные балы, речи в мэрии, она — «супруга г-на префекта» — все это вихрем носилось в ее воображении. Итак, каждая из сестер предавалась в юности своим девичьим грезам. У обеих были крылья, но у одной — ангела, а у другой — гусыни.

Однако ни одно желание на этом свете полностью не осуществляется. Рай невозможен нынче на земле. Младшая вышла замуж за героя своих мечтаний, но вскоре умерла. Старшая вовсе не вышла замуж.

К моменту появления последней в нашей повести она была уже старой девой, закоренелой недотрогой, на редкость остроносой и тупоголовой. Характерная подробность: вне узкого семейного круга никто не знал ее имени. Все звали ее «мадмуазель Жильнорман-старшая».

По части чопорности мадмуазель Жильнорман-старшая могла бы дать несколько очков вперед любой английской мисс. Ее стыдливость не знала пределов. Над ее жизнью тяготело страшное воспоминание: однажды мужчина увидел ее подвязку.

С годами эта неукротимая стыдливость еще усилилась. М-ль Жильнорман все казалось, что шемизетка ее недостаточно непроницаема для взоров и недостаточно высоко закрывает шею. Она усеивала бесконечным количеством застёжек и булавок такие места своего туалета, куда никто и не помышлял глядеть. Таковы всегда недотроги: чем меньше их твердыне угрожает опасность, тем большую они проявляют бдительность.

Однако да объяснит, кто может, сии тайны престарелой невинности: она охотно позволяла целовать себя своему внучатному племяннику, поручику уланского полка Теодюлю.

И все же, несмотря на особую благосклонность к улану, этикетка «недотроги», которую мы на нее повесили, необыкновенно подходила к ней. М-ль Жильнорман представляла собою какое-то сумеречное существо. Быть недотрогой — полудобродетель, полупорок.

Неприступность недотроги соединялась у нее с ханжеством — сочетание весьма подходящее. Она состояла членом Общества пресвятой девы, надевала иногда в праздник белое покрывало, бормотала себе под нос какие-то особые молитвы, почитала «святую кровь», поклонялась «святому сердцу Иисусову», проводила целые часы перед алтарем в стиле иезуитского рококо, в молельне, закрытой для простых верующих, предаваясь созерцанию и возносясь душою ввысь к мраморным облачкам, плывущим меж длинных деревянных лучей, покрытых позолотой.

У нее была приятельница по молельне, такая же старая дева, как и она сама, — м-ль Вобуа, круглая дура, рядом с которой м-ль Жильнорман имела удовольствие казаться себе ума палатой. Кроме всяких «agnus dei» и «ave Maria»¹, да различных способов варки варенья, м-ль Вобуа решительно ни о чем не имела понятия. Являясь в своем роде феноменом, она блистала глупостью, как горностаи — белизной, только без единого пятнышка.

Надо сказать, что, состарившись, м-ль Жильнорман скорее выиграла, нежели проиграла. Это судьба всех пассивных натур. Она никогда не была злой, что можно условно считать добротой, а годы сглаживают углы, и вот со временем она мало-помалу смягчилась. Ее томила какая-то неясная печаль, причины которой она сама не знала. Все ее существо являло признаки оцепенения уже кончившейся жизни, хотя в действительности ее жизнь еще и не начиналась.

Она вела хозяйство отца. Дочь занимала подле г-на Жильнормана такое же место, какое занимала подле его преосвященства отца Бьенвеню, как мы видели, его сестра. Подобные семьи, состоящие из старика и старой девы, отнюдь не редкость и всегда являют трогательное

¹ Католические молитвы.

зрелище двух слабых созданий, пытающихся найти опору друг в друге.

Кроме старой девы и старика, в доме был еще ребенок, маленький мальчик, всегда трепещущий и безмолвный в присутствии г-на Жильнормана. Г-н Жильнорман говорил с ним не иначе как строгим голосом, а иногда и замахнувшись тростью: «Пожалуйте-ка сюда, сударь! Подойди поближе, бездельник, сорванец! Ну, отвечай же, негодный! Да стой так, чтоб я тебя видел, шельмец!» и т. д. и т. д. Он обожал его.

Это был его внук. Мы еще встретимся с этим ребенком.

Книга третья

ДЕД И ВНУК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Старинный салон

Когда г-н Жильнорман жил на улице Сервандони, он был частым гостем нескольких самых избранных и аристократических салонов. Несмотря на его буржуазное происхождение, г-на Жильнормана принимали повсюду. А поскольку он был вдвойне умен, во-первых, действительным умом, а во-вторых — умом, который ему приписывали, общества его даже искали, а самого его окружали почетом. Но он бывал только там, где мог задавать тон. Есть люди, готовые любой ценой добиваться влияния, желающие во что бы то ни стало возбудить к себе интерес; если им не удастся играть роли оракулов, они переходят на роли забавников. Г-н Жильнорман не принадлежал к их числу. Он умел пользоваться весом в роялистских салонах, нисколько не в ущерб собственному достоинству. Он всюду слыл за оракула. Ему случалось выходить победителем из споров не только с г-ном Бональдом, но и самим г-ном Бенжи-Пюи-Валле.

Около 1817 года он неизменно проводил два вечера в неделю у жившей по соседству, на улице Феру, баронессы де Т., особы достойной и уважаемой, муж которой занимал в царствование Людовика XVI пост французского посла в Берлине. Барон де Т., страстно увлекавшийся при жизни животным магнетизмом, экстатическими состояниями и ясновиденьем, умер разоренным в эмиграции, оставив взамен всех богатств переплетенную в красный сафьян золотообрезную десяти томную рукопись очень любопытных воспоминаний о Месмере и его чане.

Г-жа де Т. из гордости не опубликовала этих воспоминаний и существовала на маленькую ренту, каким-то чудом уцелевшую. Г-жа де Т. держалась вдали от двора, представлявшего собою, по ее словам, слишком «сборное общество», и жила в бедности, в благородном и высокомерном уединении. Несколько друзей собирались два раза в неделю у ее вдовьего камелька, что и составляло роялистский салон самой чистой воды. Здесь пили чай и, в зависимости от того, откуда дул ветер и настраивал ли он на элегический лад или на дифирамбы, то сокрушенно вздыхали, то разражались криками возмущения по поводу современных порядков, хартии, бонапартистов, осквернения голубой орденской ленты, жалуемой буржуазии, и «якобинства» Людовика XVIII. Здесь вполголоса делились надеждами, которые подавал брат короля, будущий Карл X.

Здесь восторгались уличными песенками, в которых Наполеон назывался *Простофилей*. Герцогини, самые изящные и очаровательные светские женщины, восхищались такими куплетами по адресу «федератов»:

Эй ты, засунь в штаны рубаху!
Ведь скажут про тебя, дурак,
Что санкюлоты все со страху
Уж поднимают белый флаг!

Здесь забавлялись каламбурами, невинной игрой слов, казавшейся всем им необыкновенно меткой и язвительной. Сочиняли четверостишия или даже двустишия. Так, на умеренный кабинет министра Десоля, в который входили Деказ и Десер, были сочинены следующие строки:

Чтоб мигом укрепить сей шаткий трон,
Деказ, Десоль, Десер, вас надо выгнать вон.

Или же переделывали списки членов палаты пэров, этой «мерзостной якобинской палаты», комбинируя и переставляя фамилии в таком порядке, что получалась, например, подобного рода фраза: «Дамà, Сабран, Гувион, Сен-Сир»¹; в общем выходило смешно.

¹ Созвучие этих фамилий дает по-французски следующую игру слов: «Дамасский меч, который рубит сен-сирский болт».

В этом мирке пытались пародировать революцию. Во что бы то ни стало хотели обратить слова ее гнева против нее самой. Распевали, с позволения сказать, собственную «Са іга»:

Ах, дело пойдет на лад, на лад!
Буонапартистов на фонарь!

Песни напоминают гильотину. Они равнодушно рубят голову сегодня одному, завтра другому. Для них это только новый вариант.

Во время происходившего как раз в ту пору, в 1816 году, процесса Фюальдеса, здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону, потому что Фюальдес был «буонапартистом». Либералов именовали здесь «братьями и друзьями», — это рассматривалось как нечто крайне оскорбительное.

Как на иных церковных колокольнях, так и в салоне баронессы де Т. было два флюгера. Одним из них являлся г-н Жильнорман, другим — граф де Ламот-Валуа, о котором не без уважения говорили друг другу на ушко: «Вы знаете? Это тот самый Ламот, что был причастен к делу об ожерелье». Политические партии идут на подобного рода странные амнистии.

Добавим к этому, что в буржуазной среде человек теряется в глазах общества, если он слишком легко сходится с людьми. Здесь требуют осторожности в выборе знакомств; и совершенно так же, как от соседства с зябнувшими происходит убыль тепла, от близости к лицам, заслуживающим презрения, происходит убыль уважения. В старину высший свет ставил себя над этим законом, как и вообще над всеми законами. Мариньи, брат Помпадур, был вхож к принцу де Субиз. Несмотря на... Нет, именно потому. Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье, был желанным гостем у маршала Ришелье. Высший свет — тот же Олимп. Меркурий и принц де Геменэ чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом.

Старый граф де Ламот, которому в 1815 году исполнилось уже семьдесят пять лет, ничем особым не отличался, если не считать молчаливости, привычки говорить нравоучительным тоном, угловатого холодного лица, изысканно учтивых манер, наглухо, до самого шейного

платка, застегнутого сюртука и длинных, всегда скрещенных ног в обвислых панталонах цвета жженой глины. Одного цвета с панталонами было и его лицо.

С г-ном де Ламотом «считались» в салоне по причине его «известности» и — как ни странно, но это факт — потому, что он носил имя Валуа.

Что касается г-на Жильнормана, то он пользовался действительно самым неподдельным уважением. Слово его было законом. Несмотря на легкомыслие, он обладал, нисколько не в ущерб своей веселости, какой-то особой манерой держать себя: внушительной, благородной, добропорядочной и не лишенной некоторой примеси буржуазной спеси. К этому надо добавить его преклонный возраст. Иметь за плечами целый век чего-нибудь да стоит. Годы образуют в конце концов вокруг головы ореол.

К тому же старик славился шуточками, напоминавшими блески старого дворянского остроумия. Вот одна из них. Когда прусский король, восстановив на престоле Людовика XVIII, посетил его под именем графа Рюпена, потомок Людовика XIV оказал ему прием, приличествовавший разве только какому-нибудь маркграфу Бранденбургскому, и проявил по отношению к нему самую утонченную пренебрежительность. Жильнорману это очень понравилось. «Все короли, кроме французского, — сказал он, — захолустные короли». Однажды кто-то спросил при нем: «К чему приговорили редактора газеты «Французский курьер»? — «К пресеченью», — последовал ответ. «Пре в данном случае излишне», — заметил г-н Жильнорман. Подобного рода речами создается репутация.

В другой раз, во время *Te deum*¹ в день годовщины реставрации Бурбонов, увидев проходившего мимо Талейрана, он обронил: «А вот и его превосходительство Зло».

Господин Жильнорман появлялся обыкновенно в сопровождении дочери, долговязой девицы, которой было тогда лишь немного за сорок, а на вид все пятьдесят, и хорошенького мальчика лет семи, белокурого, розового,

¹ Тебя бога (хвалим) (лат.) — начало благодарственной католической молитвы.

свежего, с веселым, доверчивым взором. При появлении в салоне мальчик неизменно слышал вокруг себя шопот: «Какой хорошенький! Какая жалость! Бедное дитя!» Это был тот самый ребенок, о котором мы только что сказали несколько слов. Его называли «бедным» потому, что отцом его был «луарский разбойник».

А луарский разбойник был тем самым вышеупомянутым зятем г-на Жильнормана, которого последний именовал «позором своей семьи».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Один из кровавых призраков того времени

Всякий, кто посетил бы в те годы городок Вернон и кто, гуляя там по прекрасному каменному мосту, которому, несомненно, предстоит вскоре быть замененным каким-нибудь безобразным сплетением из железа и проволоки, взглянул бы через парапет, должен был заметить человека лет пятидесяти, в кожаной фуражке, в брюках и куртке из грубого серого сукна, с каким-то пришитым к ней желтым лоскутком, бывшим ранее красной орденской ленточкой, в деревянных башмаках, почти совсем седого, с обветренным и почти черным от загара лицом, с широким шрамом, пересекающим лоб и спускающимся на щеку, согнувшегося, сгорбленного, до срока состарившегося; целый день человек этот расхаживал с заступом и садовым ножом по одному из находившихся близ моста огороженных участков, словно цепью террас окаймляющих левый берег Сены, — по одному из тех очаровательных, заросших цветами уголков, которые, будь они несколько побольше, могли бы сойти за сад, а несколько поменьше — за букет. Все эти участки одним концом упираются в реку, а другим в дома. Самый маленький из этих уголков и самый убогий из этих домиков занимал около 1817 года вышеупомянутый человек в куртке и деревянных башмаках. Он жил тут одиноко и уединенно, тихо и бедно, в обществе служанки, о которой трудно было сказать — молода ли она, или стара, хороша или дурна собой, крестьянка это или мещанка. Он называл свой квадратик земли садом, и сад этот сла-

вился в городе чудесными цветами, которые он там выращивал. Цветы составляли единственное его занятие.

Трудом, упорством, тщательным уходом и обильной поливкой ему удалось вслед за творцом и самому сотворить несколько сортов тюльпанов и георгин, о чем, повидимому, позабыла природа. Он был изобретателен и определил Суланжа Бодена, употребив небольшие ранее поросшие вереском земельные площадки под редкие и ценные культуры американского и китайского кустарника. В летнюю пору, с рассветом, он появлялся на дорожках сада и принимался за подрезку, подчистку, прополку, поливку, расхаживая среди своих цветов с добрым, печальным и кротким видом. Иногда, задумавшись, он часами неподвижно простаивал, то слушая пение птиц на дереве или доносившийся из ближнего дома лепет младенца, то разглядывая росинку на кончике какой-нибудь травки, где она играла, как драгоценный камень в лучах солнца. Он довольствовался самой скромной пищей и молоко предпочитал вину. Любой ребенок мог бы командовать им; служанка разрешала себе бранить его. Он был застенчив до дикости, редко выходил из дому и ни с кем, кроме нищих, стучавшихся к нему, да своего духовника, добрейшего старого аббата Мабефа, не виделся. Впрочем, если кто-либо из местных жителей или приезжих, человек совершенно ему неизвестный, любопытствуя поглядеть на тюльпаны и розы, дергал за его звонок, он приветливо открывал двери своего домика. Это и был луарский разбойник.

И вместе с тем каждому, кто вздумал бы почитать воспоминания о военных походах, биографии военных деятелей, «Монитор» и бюллетени великой армии, должно было броситься в глаза довольно часто встречающееся там имя Жоржа Понмерси. Юношей этот Жорж Понмерси служил рядовым в Сентонжском полку. Наступила революция. Сентонжский полк вошел в состав Рейнской армии, ибо старые, существовавшие при монархии полки сохраняли присвоенные им названия провинций даже после падения монархии и были слиты в бригады лишь в 1794 году. Понмерси сражался под Шпейером, Вормсом, Нейштадтом, Тюркгеймом, Альцеем и под Майнцем, — в отряде из двухсот человек, составлявшем арьергард Гушара. Он был в числе двенадцати храбрецов, которые

стойко держались за старым Андернахским крепостным валом против корпуса принца Гессенского и отступили, присоединившись к основным силам, лишь после того как неприятельские пушки разворотили бруствер от гребня до основания. В войсках Клебера он сражался при Маршённе и у Мон-Палисея, где был ранен в руку картечью. Затем он отправляется на итальянскую границу; здесь мы находим его среди тридцати гренадеров, защищавших под командой Жубера Тендское ущелье. Жубер был произведен за это дело в генерал-адъютанты, а Понмерси — в подпоручики. Осыпаемый картечью в битве при Лоди, стоял он подле Бертье, который заслужил слова Бонапарта: «Наш пострел везде поспел: он и в артиллерии, он и в кавалерии, он и в инфантерии». Понмерси видел, как с поднятой саблей и с криком: «Вперед!» пал в сражении при Нови его бывший командир генерал Жубер. Выполняя какое-то боевое поручение, он со своей ротой отплыл на легком паруснике, шедшем из Генуи, в один из маленьких портов побережья, куда именно, уже не припомню, и попал в пренеприятное положение, очутившись между семью или восемью английскими кораблями. Капитан, родом генуэзец, хотел сбросить пушки в море, спрятать солдат в межпалубном пространстве и проскользнуть в темноте под видом торгового судна. Но Понмерси велел поднять на флагштоке национальный флаг и смело прошел под пушками английских фрегатов. Отвага его после этого так возросла, что в двадцати милях оттуда он на своем паруснике решился напасть на большой английский транспорт с войсками и захватил его. Транспорт шел в Сицилию и был до такой степени перегружен людьми и лошадьми, что сидел в воде по самые палубные крепления. В 1805 году Понмерси служил в дивизии Малера, отбившей Гюнцбург у эрцгерцога Фердинанда. При Вельтингене под градом пуль он вынес на руках смертельно раненного в сражении полковника Мопети, командира 9-го драгунского полка. Он отличился при Аустерлице во время прославленного перехода колонн под неприятельским огнем. Когда отряд русских конногвардейцев разбил батальон 4-го пехотного полка, Понмерси был в числе добившихся реванша. Император пожаловал его крестом. Понмерси был последовательно свидетелем пленения Вурмсера в Мантуе, Ме-

ласа в Александрии, Макка под Ульмом. Его часть принадлежала к 8-му корпусу доблестной армии Мортье, взявшей Гамбург. Затем он перешел в 55-й пехотный полк, преобразованный из прежнего Фландрского полка. При Эйлау он находился на том самом кладбище, где бесстрашный капитан Луи Гюго, дядя автора настоящей книги, со своей ротой из восьмидесяти трех человек в течение двух часов сдерживал натиск неприятельской армии. Понмерси был одним из трех ушедших живыми с этого кладбища. Он принимал участие в сражении при Фридланде. Видел затем Москву, Березину, Люцен, Бауцен, Дрезден, Вахау, Лейпциг и Гельнгаузенское ущелье; затем Монмирайль, Шато-Тьери, Краон, берега Марны, берега Эны и страшные лаонские позиции. При Арне-ле-Дюке, будучи в чине капитана, он зарубил десять казаков и спас, впрочем, не своего генерала, а своего капрала. Он вышел из этого дела совершенно израненным, и у него извлекли из одной только левой руки двадцать семь осколков кости. За неделю до капитуляции Парижа он поменялся местом с товарищем и перешел в кавалерию. Он был человеком, как говорили при старом режиме, *двойной сноровки*, то есть умел в качестве солдата одинаково хорошо управляться как с саблей, так и с ружьем, а в качестве офицера — как с эскадроном, так и с батальоном. Благодаря этому качеству, усовершенствованному военной выучкой, и возникли такие особые виды войск, как, например, драгуны, являющиеся одновременно и кавалеристами и пехотинцами. Он последовал за Наполеоном на остров Эльбу. При Ватерлоо он командовал эскадроном кирасир, входившим в бригаду Дюбуа. Это он отнял знамя у Люненбургского батальона. Он бросил знамя к ногам императора. Он был весь залит кровью. Вырывая знамя, он получил сабельный удар, рассекший ему лицо. Император, довольный, крикнул ему: «Поздравляю тебя полковником, бароном и кавалером ордена Почетного легиона!» — «Благодарю, ваше величество, за мою вдову», — ответил Понмерси. Час спустя он упал в овраг на оэнскую дорогу. А теперь скажите — кто же такой этот Жорж Понмерси? Да все тот же луарский разбойник.

Читатель уже кое-что о нем знает. После Ватерлоо, как вы помните, Понмерси вытащили из оврага на оэнской

дороге, и ему удалось присоединиться к армии, а затем в лазаретных фургонах он добрался до луарского лагеря.

В годы Реставрации он был переведен на половинный оклад, а затем отправлен на жительство — другими словами, под надзор — в Вернон. Людовик XVIII, рассматривая все, имевшее место в течение Ста дней, как недействительное, не признал ни его звания кавалера ордена Почетного легиона, ни его чина полковника, ни его баронского титула. А Понмерси, со своей стороны, никогда не упускал случая подписаться: «полковник барон Понмерси». Выходя из дома, он всегда прикреплял к своему старому синему, и к тому же единственному, сюртуку ленточку ордена Почетного легиона. Королевский прокурор велел предупредить его, что возбудит против него судебное преследование за «незаконное ношение этого знака отличия». Выслушав предупреждение, переданное ему через чиновника, Понмерси ответил с горькой усмешкой: «Не знаю, я ли перестал понимать по-французски, вы ли разучились говорить на французском языке, но я решительно ничего не понял». После этого целую неделю он изо дня в день появлялся в городе с орденской ленточкой. Его не посмели больше тревожить. Два-три раза военному министру и начальнику военного округа случилось направлять ему письма с надписью: «Господину майору Понмерси». Он отсылал письма обратно нераспечатанными. Подобным же образом поступал в это самое время на острове св. Елены и Наполеон с посланиями сэра Гудсона Лоу, адресованными: «Генералу Бонапарту». Понмерси отвечал — да простят нам это выражение — плевком, как и его император.

Вот так же в Риме среди пленных карфагенских солдат попадались воины, в которых жила частичка души Ганнибала, и они отказывались приветствовать Фламиния.

В одно прекрасное утро, встретив на улице Вернона королевского прокурора, Понмерси подошел к нему и задал ему вопрос: «Скажите, господин королевский прокурор, разрешается ли мне носить шрам на лице?»

Никаких средств, кроме своего жалкого половинного оклада эскадронного командира, он не имел. Он нанимал в Верноне самый маленький домишко, который только можно было сыскать. Он жил в нем один, и мы уже

познакомились с образом его жизни. При Империи он успел как-то между двумя войнами жениться на девице Жильнорман. Старый буржуа, в глубине души крайне недовольный, дал скрепя сердце согласие на брак, заявив, что и «самые знаменитые семьи бывают подчас вынуждены идти на этакое». В 1815 году г-жа Понмерси, женщина, кстати сказать, во всех отношениях превосходная, редкостных душевных качеств и вполне достойная своего мужа, умерла, оставив ребенка. Этот ребенок мог бы скрасить одинокую жизнь полковника. Но дед настоятельно потребовал внука к себе, заявив, что лишит мальчика наследства, если ему не отдадут его. Отец уступил, блюдя интересы сына, и, потеряв возможность удержать подле себя свое дитя, пристрастился к цветам.

Отказался он также от всякой политики, не бунтовал и не принимал участия в заговорах. Его мысли были сосредоточены либо на невинных делах, которым он отдавался сегодня, либо на великих делах, которые совершал ранее. Его время делилось между ожиданием цветения какой-нибудь гвоздики и воспоминаниями об Аустерлице.

Господин Жильнорман не поддерживал с зятем никаких отношений. В его глазах полковник был «бандитом», а сам он в глазах полковника «бестолочью». Г-н Жильнорман никогда не упоминал о полковнике, если не считать иронических намеков на его «баронство». Они раз навсегда договорились, что Понмерси не станет делать никаких попыток видаться или говорить с сыном, под угрозой, что мальчика возвратят ему, изгнав и лишив наследства. Понмерси представлялся Жильнорманам каким-то зачумленным. Они желали воспитать ребенка по-своему. Быть может, полковник и допустил ошибку, приняв такие условия, но он строго соблюдал их, полагая, что поступает правильно и жертвует только одним собой.

Наследство Жильнормана-отца сулило немного, зато наследство м-ль Жильнорман-старшей было весьма значительным. Эта тетушка, оставшаяся в девицах, владела крупными богатствами, полученными с материнской стороны, а сын сестры являлся прямым ее наследником.

Ребенок, которого звали Мариус, знал, что у него есть отец, и только. Никто никогда и словом не обмолвился

ему о нем. Однако шушуканье, намеки, перемигивания, какими встречали его в обществе, куда водил его дед, в конце концов дошли до сознания мальчика; он начал кое-что понимать. А поскольку ему приходилось подвергаться длительному воздействию окружающей среды, он, так сказать, впитывая ее в себя, естественно, проникся взглядами и идеями, как бы насыщавшими атмосферу, которою он дышал, и постепенно привык думать об отце лишь со стыдом и сердечной болью.

И вот, пока он так рос, полковник раз в два-три месяца покидал свой дом, украдкой, как беглый арестант, приезжал в Париж и шел в церковь Сен-Сюльпис к тому часу, когда тетка Жильнорман приводила туда Мариуса к обедне. Там, дрожа от страха, как бы тетка не обернулась, он, схоронившись за колонной, не смея пошевелиться и вздохнуть, смотрел на своего сына. Наш покрытый шрамами воин боялся старой девы.

Отсюда возникла и дружба его с вернонским кюре аббатом Мабефом.

Достопочтенный кюре приходился братом церковному старосте церкви Сен-Сюльпис, а последний неоднократно обращал внимание на мужчину, погруженного в созерцание ребенка; староста заметил и шрам на его щеке и крупные слезы на его глазах. Столь мужественный на вид человек, плачущий как женщина, произвел на него сильное впечатление. Ему запомнилось его лицо. Однажды, приехав в Вернон повидаться с братом, он встретил на мосту полковника Понмерси и узнал в нем человека, которого видел в Сен-Сюльпис. Староста рассказал о нем кюре, и под каким-то предлогом они вдвоем нанесли полковнику визит. За первым визитом последовали и другие. Полковник, вначале очень несловоохотливый, под конец разговорился. Таким образом кюре и старосте удалось узнать всю историю его жизни и то, как он жертвовал личным счастьем ради будущего своего ребенка. Это внушило кюре чувство уважения и нежности к полковнику, а тот тоже полюбил кюре. Впрочем, никто не сближается между собою так легко и не достигает такого взаимопонимания, как старый священник и старый солдат, если по счастливой случайности оба они искренни и добры. По сути эти люди ничем не отличаются друг от

друга. Один посвящает себя служению земной отчизне, другой — небесной. Вот и вся разница.

Два раза в год, к 1 января и ко дню св. Георгия, Мариус под диктовку тетки писал отцу официальные поздравительные письма, казавшиеся списанными с какого-нибудь письмовника. Это все, что допускал г-н Жильнорман. А отец отвечал очень нежными посланиями, которые дед, не читая, засовывал себе в карман.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Requiescant*¹

Салоном г-жи де Т. ограничивалось для Мариуса Понмерси познание жизни. Салон был единственным оконцем, через которое он мог глядеть в мир. Оно было тусклым, и сквозь эту отдушину проникало больше холода, нежели тепла, больше мрака, нежели света. Вступив радостным и сияющим в этот особый мирок, ребенок после недолгого пребывания там стал печальным и — что еще менее соответствовало его возрасту — серьезным. Окруженный всеми этими важными и странными фигурами, он глядел вокруг с глубоким изумлением. А все, что он видел, могло только усилить это чувство. В салоне г-жи де Т. можно было встретить старых знатных и очень почтенных дам, носящих фамилии Матан, Ноэ, Левис, произносившуюся как Леви, Камби, произносившуюся как Камбиз. Эти старые лица и эти библейские имена смешивались в голове мальчика с рассказами из ветхого завета, которые он учил наизусть. И когда, собравшись в кружок у потухающего камина, дамы молча восседали в полумраке лампы под зеленым абажуром, лишь изредка роняя одновременно торжественные и гневные слова, маленький Мариус испуганными глазами смотрел на их строгие профили, на седеющие и седые волосы, на их длинные, сшитые по моде прошлого века платья самых мрачных цветов. Ему казалось, что перед ним не женщины, а патриархи и волхвы, не живые существа, а призраки.

¹ Да починут (лат.).

К этим призракам присоединялось еще изрядное число духовных лиц — завсегдатаев старинного салона и несколько дворян: маркиз де Сассене, личный секретарь г-жи де Берри; виконт де Валори, печатавший под псевдонимом *Шарля-Антуана* моноритмические оды; князь де Бофремон, еще достаточно молодой, но уже седеющий, обладатель хорошенькой и остроумной жены, чьи туалеты из алого бархата с золотым шнуром и глубоким декольте несколько разгоняли окружающий мрак; маркиз Кариолис д'Эспинуз, лучший во Франции знаток «меры учтивости»; граф д'Амандр, холостяк с добродушным подбородком; и кавалер де Пор де Ги, столп Луврской библиотеки, именовавшейся «королевским кабинетом». Г-н де Пор де Ги, лысый и не столько старый, сколько преждевременно состарившийся, рассказывал, что в 1793 году, шестнадцати лет от роду, он был сослан на каторгу за отказ от присяги и закован в кандалы вместе с восьмидесятилетним епископом де Мирпуа, также осужденным за отказ от присяги, с той только разницей, что тот был непокорным священником, а он — непокорным солдатом. Дело происходило в Тулоне. На их обязанности лежало убирать по ночам с эшафота головы и тела гильотинированных за день. Взвалив на спину, уносили они обезглавленные, кровоточащие туловища, отчего сзади на воротах их красных арестантских халатов образовывалась корка запекшейся крови, к утру высыхавшая, а по вечерам снова влажная. В салоне г-жиде Т. можно было услышать множество подобного рода трагических рассказов. И в своих проклятиях Марату здесь докатывались до восхваления Трестальона. Депутаты из породы «бесподобных», г-н Тибор дю Шалар, г-н Лемаршан де Гомикур и знаменитый шутник правой г-н Жорне-Денкур, играли здесь в вист. Бальи де Ферет, носивший, несмотря на худые ноги, короткие штаны, забегал иногда по дороге к Талейрану в этот салон. Он был собутыльником графа д'Артуа и, в противоположность Аристотелю, ходившему на задних лапках перед Кампаспой, заставлял ползать на четвереньках девицу Гимар, явив, таким образом, векам образец бальи, отомстившего за философа.

Что касается духовных лиц, то здесь бывали: аббат Гальма, тот самый, которому г-н Лароз, сотрудничавший в газете «Фудр», говорил: «Ба, да кому же теперь меньше

пятидесяти? Разве только какому-нибудь молокососу-первокурснику!»; аббат Летурнер, королевский проповедник; аббат Фрейсину, в ту пору не бывший еще ни графом, ни епископом, ни министром, ни пэром и носивший старую сутану, на которой вечно нехватало пуговиц. Сюда же приходили: аббат Керавенан, кюре церкви Сен-Жермен-де-Пре; тогдашний папский нунций, преосвященный Макки, архиепископ Низибийский, впоследствии кардинал, отличавшийся длинным меланхолическим носом, и другой преосвященный аббат Пальмиэри, носивший звания: духовника папы, одного из семи действительных протонотариев святейшего престола, каноника знаменитой Либерийской базилики, ходатая по делам святых — *postulatore di santi*, что указывало на касательство его к делам канонизации и соответствовало примерно чину докладчика Государственного совета по райской секции. Наконец салон посещали два кардинала: г-н де ла Люзерн и г-н де Клермон-Тонер. Кардинал де ла Люзерн был писателем, и несколько лет спустя на его долю выпала честь помещать свои статьи в «Консерваторе» рядом со статьями Шатобриана. Г-н де Клермон-Тонер, тулузский архиепископ, в летнюю пору частенько приезжал вместо дачи в Париж, к своему племяннику маркизу де Тонеру, занимавшему пост морского и военного министра. Кардинал де Клермон-Тонер был маленький веселый старичок, из-под подвернутой сутаны которого виднелись красные чулки. Он избрал себе специальностью ненависть к «Энциклопедии» и страстно увлекался бильярдом. Парижане, которым случалось в описываемое время проходить вечером по улице Принцессы, где находился тогда особняк Клермон-Тонеров, невольно останавливались, привлеченные стуком шаров и резким голосом кардинала, кричавшего своему конклависту, преосвященному Котрету, епископу *in partibus*¹ Каристскому: «Примечай, аббат, я карамболю». Кардинала де Клермон-Тонера ввел к г-же де Т. его ближайший друг г-н де Роклор, бывший епископ Сенлисский и один из сорока Бессмертных. В г-не Роклоре заслуживали внимания высокий рост и усердное посещение академии. Через стеклянную дверь зала, смежного с библиотекой, где происходили тогда

¹ В иноверческой стране (лат.).

саседания французской академии, любопытствующие могли каждый четверг лицезреть бывшего Сенлисского епископа, свеженапудренного, в фиолетовых чулках, обычно стоявшего спиной к двери, — вероятно, для того, чтобы лучше был виден его поповский воротничок. Хотя все эти духовные отцы являлись по большей части столько же служителями церкви, сколько царедворцами, они накладывали печать сугубой строгости на салон г-жи де Т., а пять пэров Франции: маркиз де Вибре, маркиз де Таларю, маркиз д'Эрбувиль, виконт Дамбре и герцог де Валентинуа еще сильнее подчеркивали его аристократизм. Герцог де Валентинуа, будучи владетельным принцем Монако, то есть владетельным иностранным принцем, составил себе тем не менее такое высокое представление о Франции и ее институте пэрства, что все сводил к последнему. Это ему принадлежали слова: «Римские кардиналы — те же пэры Франции; английские лорды — те же пэры Франции». Впрочем, поскольку в ту эпоху революция проникала повсюду, тон в этом феодальном салоне, как мы уже сказали, задавал буржуа. В нем царил г-н Жильнорман.

Тут была эссенция и квинт-эссенция парижского реакционного общества. Тут принимались карантинные меры даже против самых громких роялистских репутаций. От славы всегда несколько отдает анархией. Попади сюда Шатобриан, и он бы выглядел здесь «Отцом Дюшенном». Все же кое-кому из признавших в свое время республику оказывалось снисхождение, и они допускались в это правоверное общество. Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться.

Современные «благородные» салоны совсем не походят на описываемый нами. Нынешнее Сен-Жерменское предместье заражено вольнодумством. Теперешние роялисты, не в обиду будь им сказано, — демагоги.

В салоне г-жи де Т., где собиралось наиболее избранное общество, под лоском изощренной учтивости господствовал самый утонченный и высокомерный тон. Установившиеся здесь нравы допускали великое множество всяких изысканностей, которые возникали сами по себе и возрождали доподлинный старый режим, давно погребенный, но все еще живой. Иные из принятых здесь манер вызвали недоумение, в особенности манера выражаться. Люди, в сих предметах не искушенные, легко

сочли бы эти в действительности лишь устаревшие формы речи за провинциализмы. Здесь широко употреблялось, например, обращение «госпожа генеральша». Можно было услышать, хотя и реже, даже такое, как «госпожа полковница». Очаровательная г-жа Леон, вероятно из уважения к памяти герцогинь де Лонгевиль и де Шеврез, предпочитала это обращение своему княжескому титулу. Маркиза де Креки также выражала желание, чтобы ее называли «госпожой полковницей».

Именно этому маленькому аристократическому кружку и принадлежала затейливая выдумка в интимных беседах с королем в Тюильри именовать его только в третьем лице: «король», избегая титулования «ваше величество», как «оскверненного узурпатором».

Здесь судили обо всем — и о делах и о людях. Насмехались над веком, что освобождало от труда понимать его. Подогревали друг друга сенсациями, спешили поделиться друг с другом всем слышанным и виденным. Здесь Мафусаил просвещал Эпименида. Глухой осведомлял слепого. Здесь объявляли не существовавшим время начиная от Кобленца. Здесь считали, что, подобно тому как Людовик XVIII достиг милостью божией двадцать пятой годовщины своего царствования, так и эмигранты милостью закона достигли двадцать пятой своей весны.

Тут все было в полной гармонии; тут жизнь чуть теплилась во всем; слова доносились едва уловимым вздохом; газета, отвечавшая вкусам салона, напоминала папирус. Здесь попадались и молодые люди, но они глядели какими-то полумертвыми. В прихожей посетителей встречали старенькие лакеи. Господам, время которых давно миновало, прислуживали такие же древние слуги. Все производило впечатление чего-то вконец отжившего, но упорно не желающего сходить в могилу. Охранять, охранение, охранитель — вот примерно и весь их лексикон. «Блюсти за тем, чтобы не запахло чужим духом», — к этому в сущности сводилось все. Взглядам почтенных сих группировок было действительно присуще свое особое благоухание. Их идеи распространяли запах камфары. Это был мир мумий. Господа были набальзамированы, из лакеев сделаны чучела.

Почтенная старая маркиза, разорившаяся в эмиграции и державшая только одну служанку, все еще говорила: «Мои слуги».

Чем же занимались в салоне г-жи де Т.? Там состояли в «ультра».

Быть ультра! Возможно, что явления, обозначаемые этим словом, не исчезли и по сей день, но самое слово потеряло уже всякий смысл. Постараемся объяснить его.

Быть «ультра» — это значит во всем доходить до крайности. Это значит во имя трона нападать на королевский скипетр и во имя алтаря — на митру; это значит опрокидывать собственный свой воз, брыкаться в собственной упряжке; это значит возводить хулу на костер за то, что он недостаточно жарок для еретиков; это значит упрекать идола, что в нем мало идольского; это значит подвергать надругательству от избытка почтительности; это значит винить папу в недостатке папизма, короля — в недостатке роялизма, а ночь — в избытке света; это значит не признавать за алебастром, снегом, лебедем, лилией их близны; это значит быть таким горячим защитником, что становишься врагом; так упорно стоять «за», что это превращается в «против».

Непримиримый дух «ультра» характеризует главным образом первую фазу Реставрации.

В истории не найдется эпохи, которая походила бы на этот краткий период, начавшийся в 1814 году и закончившийся около 1820 — со вступлением в министерство г-на де Вилель, исполнителя воли правой. Описываемые шесть лет представляют собой неповторимое время — и веселое и печальное, блестящее и тусклое, как бы освещенное лучами утренней зари, но и окутанное мраком великих потрясений, все еще заволакивающим горизонт и медленно погружающимся в прошлое. И среди этого света и тьмы существовал особый маленький мирок, новый и старый, комический и грустный, юный и дряхлый, протиравший глаза; ничто не напоминает так пробуждение ото сна, как возвращение с чужбины. Существовала группа людей, смотревшая на Францию с раздражением, на что Франция отвечала иронией. Улицы были полны старыми филинами-маркизами, возвратившимися из эмиграции аристократами, выходцами с того света, «бывшими людьми», с изумлением взиравшими на все

окружающее; славное вельможное дворянство и радовалось и печалилось, что оно снова во Франции, испытывая упоительное счастье оттого, что снова видит свою родину, но и глубокое отчаяние оттого, что не находит здесь своей старой монархии. Знатные отпрыски крестоносцев оплевывали знать Империи, то есть военную знать; историческая нация перестала понимать смысл истории; потомки сподвижников Карла Великого клеймили презрением сподвижников Наполеона. Как мы уже сказали, мечи скрестились, взаимно нанося оскорбления. Меч Фонтенуа подвергался насмешкам, как ржавое железо. Меч Маренго вселял отвращение и именовался солдатской шашкой. Давно прошедшее отрекалось от вчерашнего. И чувство великого и чувство смешного были утеряны. Нашелся даже человек, назвавший Бонапарта Скапеном. Этого мира больше уже нет. Теперь от него, повторяем, ничего не осталось. Когда мы извлекаем оттуда наугад какую-нибудь фигуру, пытаюсь воскресить его в воображении, он кажется нам таким же чуждым, как мир допотопных времен. Да он и на самом деле был поглощен потоком. Он исчез в двух революциях. О, сколь могуч поток освободительных идей! Сколь стремительно заливают он все, что надлежит ему разрушить и похоронить, и как быстро вырывает он глубочайшие пропасти!

Таков облик салонов тех отдаленных и простодушных времен, когда г-н Мартенвиль считался мудрее Вольтера.

У этих салонов была своя литература и своя политическая программа. Здесь веровали в Фьеве. Здесь законодательствовал г-н Ажье. Здесь занимались толкованием сочинений г-на Кольне, публициста и букиниста с набережной Малакэ. Наполеон был здесь только «корсиканским чудовищем». Позднее, в виде уступки духу времени, в историю вводится маркиз де Буонапарте, генерал-поручик королевских войск.

Салоны недолго сохраняли неприкосновенную чистоту своих воззрений. Уже с 1818 года сюда начинают проникать доктринеры, что являлось тревожным признаком. Доктринеры, будучи роялистами, держались так, словно старались оправдаться в этом. То, что составляло гордость «ультра», в них вызывало смущение. Они отличались умом; они умели молчать; они щеголяли своей в меру накрахмаленной политической догмой; успех был

им обеспечен. Они несколько злоупотребляли — впрочем, не без пользы для себя — белизной галстуков и строгостью наглухо застегнутых сюртуков. Ошибка, или несчастье, партии доктринеров заключалась в том, что они создали поколение юных старцев. Они становились в позу мудрецов. Они мечтали привить крайнему абсолютизму принципы ограниченной власти. Либерализму разрушающему они противопоставляли, и порой чрезвычайно остроумно, либерализм охранительный. От них можно было услышать такие речи: «Пощада роялизму! Ибо он оказал не одну услугу. Он восстановил традиции, культ, религию, взаимоуважение. Ему свойственны верность, храбрость, рыцарственность, любовь, преданность. Пусть сам того не желая, но он присовокупил к новому величию нации вековое величие монархии. Его вина в том, что он не понимает революции, Империи, нашей славы, свободы, новых идей, нового поколения, нашего века. Но если он виноват перед нами, то разве мы так уж неповинны перед ним? От революции, наследниками которой мы являемся, требуется понимание всего происходящего. Нападать на роялизм — значит грешить против либерализма. Это страшная ошибка, страшное ослепление! Революционная Франция отказывает в уважении исторической Франции, иначе говоря, собственной своей матери, и иначе говоря, себе самой. После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством Империи. Они были несправедливы к орлу, мы — к лилии. Неужели необходимо всегда иметь предмет гонения? Что пользы счищать позолоту с короны Людовика XIV или сдирать щиток с герба Генриха IV? Мы смеемся над г-ном Вобланом, стиравшим букву «Н» с Иенского моста. А что собственно такое он делал? Да то же, что и мы. Бувин, как и Маренго, принадлежит нам. Лилии, как и буквы «Н», — наши. Это наше родовое наследство. К чему уменьшать его? От прошлого своей отчизны так же не следует отрекаться, как и от ее настоящего. Почему не признать всей своей истории? Почему не любить всей Франции в целом?»

Вот так-то доктринеры критиковали и защищали роялизм, вызывая своей критикой недовольство крайних роялистов, а своей защитой — их ярость.

Выступлениями «ультра» ознаменован первый период Реставрации; выступление Конгрегации знаменует второй. На смену восторженным порывам пришла пронырливая ловкость. На этом мы и прервем наш беглый очерк.

В ходе повествования автор настоящей книги натолкннулся попутно на любопытное явление современной истории. Он не мог оставить его без внимания и не запечатлеть мимоходом некоторые своеобразные черты этого ныне уже никому неизвестного общества. Однако он долго не задерживается на этом предмете и рисует его без чувства горечи и без желания посмеяться. Его связывают с этим прошлым дорогие, милые ему воспоминания, ибо они имеют отношение к его матери. Впрочем, надо признаться, что маленький этот мирок не лишен был своего рода величия. Он может вызвать улыбку, но его нельзя ни презирать, ни ненавидеть. Это — Франция минувших дней.

Как и все дети, Мариус Понмерси кое-чему учился. Выйдя из-под опеки тетушки Жильнорман, он был отдан дедом на попечение весьма достойного наставника, чистейшей классической ограниченности. Эта юная, едва начавшая раскрываться душа прямо из рук ханжи попала в руки педанта. Мариус провел несколько лет в коллеже, а затем поступил на юридический факультет. Он был роялист, фанатик и человек строгих правил. Деда он недолюбливал, его оскорбляли игривость и цинизм старика, а об отце он мрачно молчал.

В общем же это был юноша пылкий, но сдержанный, благородный, великодушный, гордый, религиозный, экзальтированный, правдивый до жестокости, целомудренный до дикости.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Смерть разбойника

Мариус закончил среднее образование как раз к тому времени, когда г-н Жильнорман, покинув общество, удалился на покой. Старик, распроставшись с Сен-Жерменским предместьем и салоном г-жи де Т., переселился в собственный дом на улице Сестер страстей господних, в квартале Марэ. Он держал там в качестве прислуги, не

считая привратника, ту самую горничную Николетту, что сменила Маньон, и того самого страдающего одышкой, задыхающегося Баска, о котором уже говорилось выше.

В 1827 году Мариусу исполнилось семнадцать лет. Вернувшись однажды вечером домой, он заметил, что дед держит в руках какое-то письмо.

— Мариус, — сказал г-н Жильнорман, — тебе надо завтра ехать в Вернон.

— Зачем? — спросил Мариус.

— Повидать отца.

Мариус вздрогнул. Ему в голову не приходило, что может наступить день, когда придется встретиться с отцом. Вряд ли нашлось бы для него что-либо более неожиданное, более изумительное и, надо признаться, более неприятное. Отец был так ему далек, что он и не желал сближения с ним. Предстоящее свидание не столько огорчало его, сколько представлялось тяжелой повинностью.

Помимо мотивов политического характера, неприязнь Мариуса к отцу основывалась и на другом. Он был убежден, что отец, этот рубака, как в хорошие минуты называл его г-н Жильнорман, его не любит. В этом не приходилось сомневаться, иначе отец не бросил бы его, не отдал бы на чужое попечение. Чувствуя себя нелюбимым, Мариус и сам отказывался любить. Так и следует, уверял он себя.

Он был настолько ошеломлен, что не задал г-ну Жильнорману ни единого вопроса. А дед продолжал:

— Он, кажется, болен. Требуется тебя.

И, помолчав, добавил:

— Поезжай завтра утром. Мне помнится, что с постоянного двора Фонтен карета в Вернон отходит в шесть часов и приходит туда вечером. Отправляйся с ней. Он пишет, что нужно торопиться.

Затем старик скомкал письмо и положил его в карман. Мариус мог бы выехать в тот же вечер и быть у отца на следующее утро. В то время с улицы Булуа в Руан ходил ночной дилижанс, заезжавший в Вернон. Однако ни г-н Жильнорман, ни Мариус и не подумали справиться об этом.

На другой день, в сумерки, Мариус приехал в Вернон. В городе уже зажигались огни. Он спросил у первого

встретившегося прохожего, где живет «господин Понмерси». Ибо в душе он разделял точку зрения Реставрации и не признавал отца ни бароном, ни полковником.

Ему указали дом. Он позвонил. Женщина, с маленькой лампочкой в руке, отворила ему:

— Дома ли господин Понмерси? — спросил Мариус. Женщина не отвечала.

— Здесь живет господин Понмерси? — повторил Мариус свой вопрос.

Женщина утвердительно кивнула.

— Нельзя ли мне поговорить с ним?

Женщина отрицательно покачала головой.

— Но я его сын! — настаивал Мариус. — Он ждет меня.

— Он больше уже не ждет вас, — сказала женщина. Тут только Мариус заметил, что она плачет.

Она указала ему пальцем на дверь, ведущую в низкую залу. Он вошел.

В зале, освещенной горевшей на камине сальной свечой, находились трое мужчин. Один стоял выпрямившись во весь рост, другой — на коленях, третий, в одной рубашке, лежал распростертый на полу. Лежавший на полу и был полковник.

Двое других были доктор и священник, читавший молитву.

Три дня назад полковник заболел горячкой. В начале болезни, предчувствуя недоброе, он написал г-ну Жиль-норману, прося прислать сына. Болезнь приняла серьезный оборот. Вечером, уже в самый день приезда Мариуса, полковник начал бредить. Несмотря на попытки служанки удержать его, он с криком: «Мой сын все не едет. Пойду его встречать!» — вскочил с постели. Затем вышел из комнаты, упал в прихожей на каменный пол и тут же скончался.

Послали за доктором и кюре. Доктор пришел слишком поздно. Кюре пришел слишком поздно. Сын тоже приехал слишком поздно.

При тусклом огоньке свечи на бледной щеке недвижимо лежавшего полковника можно было различить крупную слезу, выкатившуюся из его мертвого глаза. Глаз потух, но слеза не высохла. Эта слеза означала, что сын опоздал.

Мариус смотрел на этого человека, которого видел в первый и в последний раз, на это благородное мужественное лицо, на эти открытые, но ничего не видящие глаза, на эти седые волосы, на это сильное тело, на котором то тут, то там выступали темные полосы — следы сабельных ударов и звездообразные красные пятна — следы пулевых ранений. Он смотрел на огромный шрам, знак героизма на этом лице, которое бог отметил печатью доброты. Он подумал о том, что человек этот его отец, что человек этот умер, но остался холоден.

Печаль, овладевшая им, ничем не отличалась от печали, которую он ощутил бы при виде всякого другого покойника.

А между тем горе, щемящее душу горе царило в комнате. В углу горькими слезами обливалась служанка; кюре молился, прерывая молитвы рыданиями; доктор утирал глаза; даже труп, и тот плакал.

Несмотря на всю свою скорбь, и доктор, и священник, и служанка время от времени посматривали на Мариуса, не произнося ни слова, — он был здесь чужим. Мариус, так мало тронутый смертью отца, испытывал некоторый стыд и не знал, как должен себя вести. В руках у него была шляпа. Он уронил ее на пол, чтобы подумали, будто скорбь лишила его сил держать ее.

И тут же он почувствовал нечто вроде угрызения совести и презрение к себе за этот поступок. Но был ли он виноват? Ведь он не любил отца!

Полковник не оставил никаких средств. Денег, вырученных от продажи его движимости, едва хватило на похороны. Служанка отдала Мариусу найденный ею клочок бумаги. Он был исписан рукой полковника, и на нем стояло.

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своей кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

На обороте полковник приписал:

«В этом же сражении при Ватерлоо один сержант спас мне жизнь. Его зовут Тенардье. В последнее время, насколько мне известно, он содержал маленький деревен-

ский трактир где-то в окрестностях Парижа, в Шеле или в Монфермейле. Если моему сыну случится встретить Тенардые, пусть он сделает для него все, что может».

Отнюдь не из благоговения к памяти отца, а лишь из смутного чувства почтения к смерти, всегда столь властного над сердцем человека, Мариус взял и спрятал за писку.

Из имущества полковника ничего не сохранилось. Г-н Жильнорман распорядился продать старьевщику его шпагу и мундир. Соседи разграбили сад и растащили редкие цветы. Остальные растения одичали, заглохли и погибли.

Мариус был в Верноне только двое суток. После похорон он вернулся в Париж, засел за свои учебники, совершенно не вспоминая об отце, словно отец никогда и не жил на свете. Через два дня полковника похоронили, а через три забыли.

Мариус носил на шляпе креп. Вот и все.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Чтобы стать революционером, подчас полезно ходить к обедне

Мариус сохранил религиозные привычки своего детства. Как-то в воскресенье, отправившись к обедне в церковь Сен-Сюльпис, он прошел в тот самый придел пресвятой девы, куда ребенком обычно водила его тетка. В тот день он был рассеянное и мечтательнее, чем всегда; остановившись за колонной, он машинально стал на колени на обитую утрехтским бархатом скамейку с надписью на спинке: «Господин Мабеф, церковный староста». Служба едва началась, как незнакомый старик, со словами: «Это мое место, сударь», подошел к Мариусу.

Мариус поспешил подняться, и старик занял свою скамейку.

По окончании обедни, задумавшись, Мариус продолжал стоять в нескольких шагах от скамейки. Старик снова приблизился к нему.

— Прошу извинения, сударь, я уже побеспокоил вас и вот беспокою опять, — сказал он. — Но вы, по всей

вероятности, сочли меня недобрым, мне нужно объясниться с вами.

— Это совершенно излишне, сударь, — ответил Мариус.

— Нет, нет, — возразил старик, — я не хочу, чтобы вы дурно обо мне думали. Видите ли, я очень дорожу этим местом. Отсюда и обедня кажется мне лучше. Вы спросите, почему? Извольте, я вам расскажу. На этом самом месте в течение десяти лет я наблюдал одного благородного, но несчастного отца, который, будучи по семейным обстоятельствам лишен иной возможности и иного способа видеть свое дитя, исправно приходил сюда раз в два-три месяца. Он появлялся к тому часу, когда, как ему было известно, сына приводили к обедне. Ребенок и не подозревал, что здесь рядом его отец. Возможно, он, глупенький, и не знал, что у него есть отец. А отец прятался за колонну, чтобы его не видели. Он смотрел на свое дитя и плакал. Он обожал малютку, бедняга! Мне это было ясно. Это место стало для меня как бы священным, и у меня вошло в привычку приходить сюда слушать обедню. Я предпочитаю мою скамью скамьям причта, занимать которые мог бы по праву как церковный староста. Я даже знавал немножко этого несчастного человека. У него был тесть, богатая тетушка — словом, хорошенько уже не припомню, какая-то родня, грозившая лишить ребенка наследства, если отец будет видаться с ним. Он принес себя в жертву ради того, чтобы сын стал впоследствии богат и счастлив. Его разлучили с ним из-за политических убеждений. Разумеется, я уважаю политические убеждения, но есть люди, не знающие ни в чем меры. Ведь нельзя же, помилуй бог, считать человека чудовищем только потому, что он дрался при Ватерлоо! За это не разлучают ребенка с отцом. При Бонапарте он дослужился до полковника. А теперь как будто уже и умер. Он жил в Верноне, где у меня брат кюре, и звали его не то Понмари... не то Монперси... и у него был, как сейчас вижу, огромный шрам от удара саблей.

— Понмерси? — произнес Мариус, бледнея.

— Именно так. Понмерси. А разве вы его знали?

— Сударь, — ответил Мариус, — это мой отец.

Престарелый церковный староста всплеснул руками.

— Так вы тот мальчик! — воскликнул он. — Да, конечно, ведь теперь он должен быть уже взрослым мужчиной. Ну, бедное мое дитя, вы можете смело сказать, что у вас был горячо любящий отец!

Мариус взял старика под руку и проводил до дома. На следующий день он сказал г-ну Жильнорману:

— Мы с друзьями затеяли поездку на охоту. Можно мне отлучиться на три дня?

— Хоть на четыре! — ответил дед. — Поезжай, развлекись.

И, подмигнув, шепнул дочери:

— Какая-нибудь интрижка!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

К чему может привести встреча с церковным старостой

Куда ездил Мариус, станет ясно несколько дальше.

Мариус отсутствовал три дня; по возвращении в Париж он тотчас отправился в библиотеку юридического факультета и потребовал комплект «Монитера».

Он прочитал от корки до корки весь «Монитер», все существующие исторические сочинения о Республике и Империи, «Мемориал святой Елены», воспоминания, дневники, бюллетени, воззвания, — он проглотил все. Встретив впервые имя отца на страницах бюллетеней великой армии, он целую неделю потом был как в лихорадке. Он побывал у генералов, под начальством которых служил Жорж Понмерси, в том числе и у графа Г. Церковный староста Мабеф, которого он вторично посетил, описал ему образ жизни полковника, существование на пенсией, рассказал о его цветах и уединении в Верноне. Мариусу удалось таким образом до конца узнать этого редкостного, возвышенной и кроткой души человека, это сочетание льва и ягненка, каким был его отец.

Между тем, погруженный в свои изыскания, поглощавшие целиком его время и мысли, он почти перестал видаться с Жильнорманами. В положенные часы он появлялся к столу, а потом его было не сыскать. Тетка ворчала, а дедушка Жильнорман посмеивался: «Ба, ба!

Пришла пора девчонок!» Иногда старик прибавлял: «Я-то думал, чорт побери, что это интрижка, а это, кажется, настоящая страсть».

Это и на самом деле была настоящая страсть. Мариус начинал боготворить отца.

Одновременно во взглядах его также совершался огромный переворот. Переворот этот имел множество последовательно сменявшихся фазисов. Поскольку описываемое нами является историей многих умов нашего времени, мы считаем небесполезным перечислить и шаг за шагом проследить эти фазисы.

Прошрое, в которое он заглянул, ошеломило его.

Он был прежде всего ослеплен им.

До тех пор Республика, Империя были для него лишь отвратительными словами. Республика — гильотиной, встающей из полутьмы, Империя — саблею в ночи. Бросив туда взгляд, он с каким-то беспредельным изумлением, смешанным со страхом и радостью, увидел там, где ожидал найти лишь хаос и мрак, сверкающие звезды — Мирабо, Верньо, Сен-Жюста, Робеспьера, Камилла Демулена, Дантона и восходящее солнце — Наполеона. Он не понимал, что с ним, и пылся назад, ничего не видя, ослепленный блеском. Когда первое чувство удивления прошло, он, понемногу привыкнув к столь яркому свету, стал воспринимать описываемые события, не чувствуя головокружения, и рассматривать действующих лиц без содрогания; Революция, Империя отчетливо предстали теперь перед его умственным взором. Обе эти группы событий, вместе с людьми, которые в них участвовали, свелись для него к двум фактам величайшего значения: Республика — к суверенитету прав гражданина, возвращенных народу; Империя — к суверенитету французской мысли, установленному в Европе. Он увидел за Революцией великий образ народа, а за Империей — великий образ Франции. И он признал в душе, что все это прекрасно.

Мы не считаем нужным перечислять здесь все, что при этом первом и чрезмерно обобщенном суждении ускользнуло от ослепленного взора Мариуса. Мы хотим показать лишь ход развития его мысли. Все сразу не дается. Сделав эту оговорку, относящуюся как к сказанному выше, так и к тому, что последует ниже, продолжаем наш рассказ.

Мариус убедился тогда, что до сих пор так же мало понимал свою родину, как и отца. Он не знал ни той, ни другого, добровольно опустив на глаза какую-то темную завесу. Теперь он прозрел и, с одной стороны, испытывал чувство восхищения, с другой — обожание.

Его мучили сожаления и раскаяние, и он с горестной безнадежностью думал о том, что только могиле можно передать ныне все то, что переполняло его душу. Ах, если бы отец был еще жив, если бы он не лишился его, если бы господь в своем милосердии и своей благодати не дозволил отцу умереть, как бы он бросился, как бы кинулся к нему, как крикнул бы: «Отец, я здесь! Это я! У нас с тобой в груди бьется одно сердце! Я твой сын!» Как горячо обнял бы он его побелевшую голову, сколько слез пролил бы на его седины! Как любовался бы шрамом на его лице, как жал бы ему руки, как поклонялся бы его одежам, лобызал бы его стопы! Ах, почему отец скончался так рано, до срока, не дождавшись ни правосудия, ни любви сына! Грудь Мариуса непрестанно теснили рыдания, сердце поминутно твердило: «Увы!» А наряду с этим он становился все более — и теперь уже понастоящему — серьезным и строгим, все более твердым в своих убеждениях и взглядах. Ум его, озаряемый лучами истины, поминутно обогащался. Какой-то процесс внутреннего роста происходил в Мариусе. Он чувствовал себя возмужавшим благодаря двум сделанным открытиям: он нашел отца и родину.

Теперь все раскрывалось перед ним, как если бы он владел ключом. Он находил объяснения тому, что ранее ненавидел; постигал то, что ранее презирал. Отныне ему стало ясно провиденциальное значение — божественное и человеческое — великих событий, проклинать которые его учили, и великих людей, в ненависти к которым его воспитали. Едва успев отказаться от своих прежних воззрений, он считал их уже устаревшими и, вспоминая о них, то возмущался, то посмеивался.

От оправдания отца он, что было естественно, перешел к оправданию Наполеона.

Надо, однако, сказать, что последнее далось ему нелегко.

С раннего детства его пичкали суждениями о Бонапарте, которых придерживалась партия 1814 года. А все

предрассудки, интересы и инстинкты Реставрации стремились исказить образ Наполеона. Наполеон вселял этой партии еще больший ужас, чем Робеспьер. Она довольно ловко воспользовалась усталостью нации и ненавистью матерей. Бонапарта она превращает в какое-то почти сказочное чудовище. И чтобы сильнее поразить воображение народа, в котором, как мы уже отмечали, много ребяческого, партия 1814 года показывает Бонапарта поочередно под всевозможными страшными масками, от Тиберия — до нелепого пугала, начиная с тех, что нагоняют страх, сохраняя все-таки величественность, и кончая теми, что вызывают смех. Итак, говоря о Бонапарте, каждый был волен рыдать или хохотать, лишь бы только в основе лежала ненависть. Никаких иных мыслей по поводу «этого человека», как было принято его называть, никогда и не приходило в голову Мариусу. Он утверждался в них благодаря упорству, свойственному его натуре. В нем сидел ненавидящий Наполеона маленький упрямец.

Однако чтение исторических книг, а в особенности знакомство с историческими событиями по документам и материалам мало-помалу разорвали завесу, скрывавшую Наполеона от Мариуса. Он почувствовал, что перед ним нечто громадное, и заподозрил, что в отношении Бонапарта ошибался не менее, чем в отношении всего остального. С каждым днем он все более прозревал. На первых порах почти с неохотой, а затем с упоением, словно влекомый какими-то неотразимыми чарами, начал он медленное восхождение, поднимаясь шаг за шагом, сперва по темным, далее по слабо освещенным и, наконец, по залитым сияющим светом ступеням энтузиазма.

Как-то раз ночью он был один в своей комнатке под кровлей. Горела свеча. Он читал, облокотившись на стол у открытого окна. Простирающаяся перед ним даль навевала мечты, и они смешивались с его думами. Как дивно твое зрелище, ночь! Слышатся глухие, неведомо откуда доносящиеся звуки, раскаленным угольком мерцает Юпитер, в двенадцать раз превышающий по величине земной шар; лазурь небес черна, звезды сверкают, необъятным кажется мир.

Он читал бюллетени великой армии — эти героические строфы, написанные на полях битв; он встречал там время от времени имя отца и постоянно — имя импера-

тора; вся великая Империя открывалась его взору. Он чувствовал, как душа его переполняется и вздымается, словно прилив; минутами ему чудилось, будто призрак отца, проносясь мимо как легкое дуновение, что-то шепчет ему на ухо. Им все сильнее овладевало какое-то странное состояние: ему слышались барабаны, пушки, трубы, размеренный шаг батальонов, глухой и отдаленный кавалерийский галоп. Временами он подымал глаза к небу и глядел на сияющие в бездонной глубине громады созвездий, потом снова опускал их на книгу, и тут перед ним вставали беспорядочно движущиеся громады иных образов. Сердце его сжималось. Он был в исступлении, весь дрожал, задыхался. Вдруг, сам не понимая, что с ним и кто им повелевает, он встал, протянул руки из окна и, устремив взгляд во мрак, в тишину, в туманную бесконечность, в беспредельный простор, воскликнул: «Да здравствует император!»

С этой минуты со старым было покончено. Корсиканское чудовище, узурпатор, тиран, нравственный урод, возлюбленный своих родных сестер, комедиант, бравший уроки у Тальма, яффский отравитель, тигр, Буонапарте — все это исчезло, уступив в его уме загадочному, всепоглощающему, ослепительному сиянию, в котором на недостижимой высоте сверкал бледный призрак мраморного Цезаря. Для его отца император был лишь любимым полководцем, которым восхищаются и которому со всей преданностью служат. Для Мариуса он представлял собой нечто большее. Он являлся избранным судьбой зодчим государства французской формации, унаследовавшего от государства римской формации владычество над миром; мастером чудодейственного разрушения, продолжателем дела Карла Великого, Людовика XI, Генриха IV, Ричелье, Людовика XIV и Комитета общественного спасения. Он имел, разумеется, свои недостатки, совершал ошибки и даже преступления, иными словами — был человеком, но царственным в своих ошибках, блистательным в своих недостатках, могущественным в своих преступлениях. Он был избранником, заставившим все народы заговорить о великой нации; больше того — олицетворением самой Франции и, побеждая Европу своим мечом, он побеждал мир своим светом. Для Мариуса Бонапарт был лучезарным видением, которому суждено,

охраняя грядущее, вечно стоять на страже границ. Он видел в нем деспота, но столько же и диктатора; деспота, выдвинутого Республикой и явившегося завершением Революции. И подобно тому как Иисус был бого-человеком, Наполеон стал для него народо-человеком.

Как всякий неофит, опьяненный новой верой, Мариус страстно стремился приобщиться к ней — и хватал через край. Это было в его натуре. Стоило только ему отдаться какому-нибудь чувству, и он уже не мог остановиться. Им овладело фанатическое увлечение наполеоновским мечом, сочетавшееся с восторженной приверженностью наполеоновской идее. Он не замечал, что, восторгаясь гением, заодно восторгается и грубой силой, — иными словами, создает двойной культ: с одной стороны, божественного, с другой — звериного начала. Он допускал и много других ошибок. Он принимал все безоговорочно. Так, в поисках истины, можно выйти и на ложную дорогу. Преисполненный какого-то безграничного доверия, он целиком соглашался со всем. Осуждая ли преступления старого режима, оценивая ли славу Наполеона, он, однажды вступив на новый путь, уже не признавал никаких поправок.

Как бы то ни было, шаг чрезвычайной важности был сделан. Там, где раньше он видел падение монархии, он увидел возвышение Франции. Угол зрения его изменился. Теперь то, что казалось закатом, стало восходом. Он повернулся в противоположную сторону.

Родные Мариуса и не подозревали о совершавшемся в нем духовном перевороте.

Когда же в процессе этой скрытой работы над собой ему удалось, наконец, окончательно сбросить с себя старую бурбонскую и ультра-правую оболочку, совлечь одежды аристократа, якобита и роялиста и по-настоящему превратиться в революционера, истого демократа и почти республиканца, он отправился к граверу на набережную Орфевр и заказал сотню визитных карточек, на которых стояло: *«Барон Мариус Понмерси»*.

Все это явилось лишь вполне логическим следствием произошедшей в нем перемены, всецело определявшей его тяготением к отцу. Но поскольку у Мариуса не было знакомых и он не мог оставлять свои карточки у портье, он положил их в карман.

Другим естественным результатом этой перемены явилось следующее: чем ближе делался Мариусу отец, чем дороже ему становилась память о нем и все то, за что в течение двадцати пяти лет боролся полковник, тем больше внук отдалялся от деда. Нрав г-на Жильнормана, как указывалось выше, уже давно был не по душе Мариусу. В их отношениях замечался разлад, обычный между серьезными молодыми людьми и фривольными стариками. Легкомыслие Жеронта всегда оскорбляет и раздражает меланхолию Вертера. Пока оба придерживались одинаковых политических мнений и взглядов, это служило для Мариуса своего рода мостом, переброшенным от него к г-ну Жильнорману. Стоило этому мосту рухнуть, как между ними сразу образовалась пропасть. Но помимо этого, Мариуса приводила в неопишное негодование мысль, что именно он, г-н Жильнорман, из-за каких-то глупых соображений безжалостно отнял его у полковника, лишив, таким образом, отца сына, а сына — отца.

В чувстве глубокой любви к отцу Мариус дошел почти до ненависти к деду.

Впрочем, как мы уже сказали, все это никак не проявлялось вовне. Мариус становился только все холоднее и холоднее. Бывал молчалив за столом и редко оставался дома. Когда тетка бранила его за это, он кротко ее выслушивал и ссылаясь на свою занятость, на лекции, экзамены, семинары и т. п. А дед, продолжая считать непогрешимым свой диагноз, все твердил: «Влюблен! В таких делах меня не проведешь».

Время от времени Мариус отлучался из города.

— Да куда же он ездит? — недоумевала тетка.

В одну из таких поездок, всегда очень коротких, выполняя завет своего покойного отца, он отправился в Монфермейль и попытался разыскать бывшего ватерлооского сержанта, трактирщика Тенардье. Трактир оказался закрытым. Тенардье, как выяснилось, разорился, и никто не знал, что с ним случилось. Занятый этими розысками, Мариус четыре дня не был дома.

— Ну, разумеется, куролесит, — заявил дед.

Между тем стали замечать, что на груди, под рубашкой, Мариус что-то носит на черной ленточке, надетой на шею.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Какая-нибудь юбка

Мы уже упоминали о некоем улане.

Это был внучатный племянник г-на Жильнормана с отцовской стороны, проводивший жизнь где-то в гарнизоне, вдали от родных и семейного уюта. Поручик Теодюль Жильнорман отвечал всем требованиям так называемого душики-военного. Талия у него была, как «у барышни», саблю он волочил на какой-то особо молодецкий манер, а усы лихо закручивал кверху. В Париж он приезжал очень редко, — так редко, что Мариус даже ни разу его и не видел. Кузены знали друг друга только по имени. Мы, кажется, уже говорили, что Теодюль был любимцем тетушки Жильнорман, отдававшей ему предпочтение по той причине, что ей почти не доводилось его видеть. Не видя человека, можно предполагать в нем любые совершенства.

Однажды утром м-ль Жильнорман-старшая вернулась к себе крайне возбужденная при всей невозмутимости своего характера. Мариус опять просил деда разрешить ему куда-то ненадолго уехать, добавив, что хочет отправиться вечером того же дня. «Поезжай!» — ответил дед, а про себя, многозначительно подняв брови, буркнул: «Повадился таскаться по ночам». М-ль Жильнорман поднялась в свою комнату крайне заинтригованная, бросив на лестнице в знак негодования: «Это уж чересчур!» и в знак удивления: «Но куда же в самом деле он ездит?» Она заподозрила, что здесь не без какой-нибудь предосудительной сердечной истории, что здесь не без женщины, свидания, тайны, и была непрочь сунуть сюда свой очкастый нос. Любовный секрет — не менее лакомый кусочек, чем свежеиспеченная сплетня, и святые души отнюдь непрочь его отведают. В глубоких тайниках ханжества всегда найдется некоторый запас любопытства к амурным делам.

Итак, она томила смутным вожделением узнать романтическое происшествие.

Дабы отвлечься от этого несколько непривычно волновавшего ее чувства любопытства, она прибегла к помощи своих талантов и принялась выводить бумажными нитками по бумажной материи фестоны, вышивая один

из распространенных узоров эпохи Империи и Реставрации, с многочисленными кружками вроде каретного колеса. Работа была уныла, работница — угрюма. Она провела так в своем кресле уже несколько часов, как вдруг дверь отворилась. М-ль Жильнорман подняла нос; перед ней стоял, приветствуя ее по всем правилам воинского устава, поручик Теодюль. Она вскрикнула от счастья. Можно быть старухой, недотрогой, богомолкой, тетушкой и все-таки испытывать удовольствие, видя у себя в комнате улана.

— Ты здесь, Теодюль! — воскликнула она.

— Проездом, тетенька.

— Поцелуй же меня.

— Рад стараться! — отвечивал Теодюль.

И он расцеловал ее. Тетушка Жильнорман подошла к своему секретеру и открыла его.

— Ну, уж недельку-то ты у нас погостишь?

— Уезжаю нынче же вечером, тетенька.

— Не может быть!

— Совершенно точно.

— Теодюль, дружок, прошу тебя, останься.

— Сердце говорит «да», а устав — «нет». Дело в следующем. Нас переводят в другой гарнизон. Мы стояли в Мелуне, а нас посылают в Гайон. Из старого гарнизона в новый надо ехать через Париж. Я и сказал себе: «Дай-ка повидаюсь с тетенькой».

— Вот тебе за труды.

Она вложила ему в руку десять луидоров.

— За удовольствие, хотите вы сказать, дорогая тетенька.

Теодюль вторично поцеловал ее, и она испытала приятное ощущение, когда галуны его мундира слегка царапнули ей шею.

— Ты едешь с полком, на коне? — спросила она.

— Нет, тетенька. Мне хотелось во что бы то ни стало повидать вас. Я получил особое разрешение. Денщик ведет мою лошадь, а я еду дилижансом. Да, кстати, в связи с этим у меня к вам вопрос.

— Что такое?

— Разве мой кузен Мариус Понмерси тоже куда-то уезжает?

— Откуда ты это знаешь? — воскликнула задетая за живое тетушка, загоревшись любопытством.

— По приезде я пошел в контору дилижансов, чтобы оставить за собою место в карете.

— И что же?

— Оказалось, что один из пассажиров уже приходил и оставил себе место на империале. Я видел в списке отъезжающих имя этого пассажира.

— Кто же это?

— Мариус Понмерси.

— Дрянной мальчишка! — возмутилась тетка. — Нет, твоему кузену далеко до тебя, он совсем не паинька. Не угодно ли, что затеял — ночевать в дилижансе.

— Как и я.

— Но ты это делаешь по обязанности, а он из распутства.

— Бездельник! — бросил Теодюль.

Тут с м-ль Жильнорман-старшей случилось нечто необычайное. у нее возникла мысль. Будь она мужчиной, она, наверно, хлопнула бы себя по лбу.

— Известно ли тебе, — озадачила она вопросом Теодюля, — что твой кузен тебя не знает?

— Нет. Я-то его видел, а он ни разу не удостоил меня вниманием.

— Значит, вы поедете вместе?

— Он на империале, я — внутри кареты.

— Куда идет дилижанс?

— В Андели.

— Значит, туда и едет Мариус?

— Если только, как и я, не выйдет где-нибудь раньше по пути. Я сойду в Верноне, мне надо захватить гайонскую почту. А о маршруте Мариуса я не имею ни малейшего представления.

— Мариус! Что за противное имя. И вздумалось же назвать его Мариусом. Вот у тебя, я понимаю, имя — Теодюль!

— Я предпочел бы, чтобы меня звали Альфредом, — заметил офицер.

— Слушай, Теодюль!

— Слушаю, тетенька.

— Но слушай внимательно.

— С превеликим вниманием.

— Итак, ты слушаешь?

— Да.

— Так вот, Мариус у нас то и дело в отлучке.

— Ай-я-яй!

— Он куда-то ездит.

— О-го-го!

— Не ночует дома.

— Э-ге-ге!

— Нам хотелось бы узнать, что за этим кроется.

— Какая-нибудь юбка, — проговорил со спокойствием многоискушенного человека Теодюль. И с затаенной усмешкой, не оставляющей места никаким сомнениям, добавил: — Девчонка.

— Так оно и есть! — воскликнула тетка, которой показалось, что она слышит самого г-на Жильнормана, и для которой слово «девчонка», произнесенное внучатым племянником и почти таким же тоном, каким оно произносилось двоюродным дедом, зазвучало с особой убедительностью.

— Сделай нам одолжение, последи немножко за Мариусом, — продолжала она. — Он тебя не знает, для тебя это не составит труда. А раз уж тут замешалась девчонка, постарайся и ее увидеть. Ты нам про все напишешь. Это позабавит дедушку.

Хотя Теодюль не имел особой охоты заниматься подобного рода слежкой, но он был глубоко растроган десятью луидорами и питал надежду, что продолжение последует. Со словами: «К вашим услугам, тетушка», он принял поручение, а про себя добавил: «Вот я и попал в дуэньи».

Мадмуазель Жильнорман расцеловала его.

— Ты-то, Теодюль, никогда не пошел бы на такие проделки. Ты повинешься дисциплине, ты раб своих служебных обязанностей, человек чести и долга, ты не стал бы бросать семью ради свидания с какой-то тварью.

Улан скорчил довольную гримасу, словно Картуш, которого похвалили за честность.

Вечером того же дня, когда происходил описанный диалог, Мариус сел в дилижанс, несколько не подозревая, что имеет соглядатая. Что до самого соглядатая, до нашего Аргуса, то он первым делом заснул самым честным, непробудным сном и всю ночь напролет прохрапел.

«Вернон! Станция Вернон! Кто едет до Вернона?» — крикнул кондуктор дилижанса на рассвете. И поручик Теодюль проснулся.

— Превосходно, — еще полусонный, пробормотал он, — мне здесь выходить.

А когда он окончательно стряхнул с себя сон и память его начала понемногу проясняться, ему вспомнилась тетка, десять луидоров и взятое им на себя обязательство представить отчет о поведении Мариуса. Это рассмешило его.

«Мариуса, может быть, давно уже и нет в дилижансе, — подумал он, застегивая куртку своего будничного мундира. — Он мог остановиться в Пуасси, в Триэле, с одинаковым успехом сойти как в Мелане, так и в Манте, если только не сошел раньше в Рольбуазе. А то, добравшись до Паси, мог свернуть налево в Эвре или направо — в Ларош-Гийон. Попробуй-ка, тетенька, угоняйся за ним! Но что же, чорт побери, напишу я милейшей старушке?»

В эту минуту в окне кареты показались спускающиеся с империала черные панталоны.

«Уж не Мариус ли это?» — промелькнуло в голове поручика.

Это был действительно Мариус.

У самого дилижанса молоденькая крестьянка, проталкиваясь между лошадьми и почтарями, предлагала пассажирам цветы.

— Купите цветов вашим дамам! — кричала она.

Мариус подошел и выбрал самые лучшие цветы из ее корзинки.

«Ну, дело принимает любопытный оборот, — подумал Теодюль, выскакивая из кареты. — Но кому, пропади он пропадом, собирается Мариус преподнести эти цветы? Такой чудесный букет заслуживает писаной красавицы. Я должен на нее поглядеть».

И подобно собакам, которые гонятся за дичью по собственному почину, он, теперь уже не по чужой указке, а удовлетворяя личное свое любопытство, стал следить за Мариусом.

Мариус не обратил на Теодюля никакого внимания. Из дилижанса выходили элегантные дамы, он не смотрел на них. Казалось, он совершенно не замечал окружающего.

«Здорово же он влюблен!» — решил Теодюль.

Мариус направился к церкви.

«Великолепно, — рассуждал сам с собой Теодюль. — Церковь! Очень хорошо. Свидания, чуточку подправленные обедней, — чего лучше! Перемигиваться за спиной у боженьки премилое дело».

Подойдя к церкви, Мариус не вошел в нее, а свернул за выступ алтарной части и тут же скрылся за углом одного из контрфорсов абсиды.

«Итак, свидание происходит не внутри, а снаружи, — подумал Теодюль. — Ну-ну, поглядим на девчонку».

И он стал на цыпочках пробираться к углу, за который свернул Мариус.

Дойдя до угла, он замер от удивления.

На могиле, опустившись на колени прямо в траву и закрыв лицо руками, стоял Мариус. Букет свой он оборвал и усыпал цветами могилу. Там, где возвышение обозначало изголовье, виднелся черный деревянный крест, и на нем можно было разглядеть написанное белыми буквами имя: ПОЛКОВНИК БАРОН ПОН-МЕРСИ. Слышались рыдания Мариуса.

Девчонка оказалась могилой.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Нашла коса на камень

Сюда-то и ездил Мариус, когда в первый раз отлучился из Парижа. Сюда же приезжал и всякий раз, когда, по выражению г-на Жильнормана, «таскался по ночам».

Поручик Теодюль совершенно растерялся, неожиданно очутившись бок о бок с гробницей. Он испытал неприятное и странное чувство, определить которое не умел и которое складывалось из почтения к смерти, смешанного с почтением к полковничьему чину. Он отступил, оставив Мариуса одного на кладбище, причем немалую роль здесь сыграла дисциплина. Смерть явилась ему в густых полковничьих эполетах, и он едва удержался, чтобы не отдать ей честь. Не зная, что написать тетушке, он решил совсем ничего не писать. И открытие, сделан-

ное Теодюлем относительно любовных походов Мариуса, не имело бы, по всей вероятности, никаких последствий, если бы, как это часто случается, сцена в Верноне, в силу непонятого стечения обстоятельств, не получила почти тотчас же известного отклика в Париже.

Мариус вернулся из Вернона на третий день и приехал в дом деда ранним утром. Утомленный двумя бессонными ночами, проведенными в дилижансе, чувствуя потребность освежиться и поплавать с часок, он быстро поднялся к себе, не мешкая снял дорожный сюртук и черную ленточку, которую носил на шее, и отправился купаться.

Господин Жильнорман, подобно всем здоровым старикам просыпавшийся спозаранку, услышал, как он приехал, и, насколько это позволяли его старые ноги, поспешил взобраться по лестнице в помещение под крышей, где жил Мариус, чтобы расцеловать внука, а среди поцелуев заодно попытаться расспросить и разузнать, где же он был.

Но юноше понадобилось меньше времени на то, чтобы спуститься вниз, нежели восьмидесятилетнему старцу, чтобы подняться вверх. И когда дедушка Жильнорман вошел в мансарду, Мариуса там уже не было.

Постель оставалась неразобранной, а на ней безмятежно покоились сюртук и черная ленточка.

— Тем лучше, — сказал Жильнорман.

И через минуту он проследовал в гостиную, где уже восседала м-ль Жильнорман-старшая, вышивая свои экипажные колеса.

Он вошел ликуя.

Держа в одной руке сюртук, а в другой черную нашийную ленточку Мариуса, г-н Жильнорман воскликнул:

— Победа! Теперь мы откроем тайну! Проникнем в святая святых, прощупаем нашего молчальника, узнаем все его шашни! Мы у самых истоков романа. У меня портрет!

Действительно, на ленточке висел маленький футляр из черной шагреновой кожи, напоминавший медальон.

Старик взял футляр и несколько времени, не раскрывая, глядел на него тем сладострастным, восхищенным и гневным взглядом, каким голодный смотрит на вкусный обед, проносимый у него, бедняги, перед носом, но не для него предназначенный.

— Совершенно очевидно, что там портрет. Мне ли этого не знать? Предметы подобного рода бережно носят у самого сердца. Ну что за болваны! Наверное, какая-нибудь потаскушка, от которой в дрожь бросает! Нынче у молодежи прескверный вкус!

— Давайте взглянем, отец, — сказала старая дева.

Футлярчик открывался нажатием пружины. Они не обнаружили в нем ничего, кроме тщательно сложенной бумажки.

— *От той же к тому же*, — с громким хохотом сказал г-н Жильнорман. — Я догадываюсь, что это такое. Любовная записка!

— Ну прочтемте же ее! — сказала тетка.

И она надела очки. Затем она развернула бумажку и прочла следующее:

«Моему сыну. Император пожаловал меня бароном на поле битвы при Ватерлоо. Реставрация не признает за мной этого титула, который я оплатил своею кровью, поэтому его примет и будет носить мой сын. Само собой разумеется, что он будет достоин его».

Невозможно передать, что почувствовали при этом отец и дочь. На них точно пахнуло леденящим дыханием смерти. Они не обменялись ни словом. Г-н Жильнорман чуть слышно, как бы про себя, прошептал:

— Это почерк рубаки.

Тетка подвергла бумажку обследованию, повертела ею и так и сяк, затем положила обратно в футляр.

В ту же минуту из кармана сюртука Мариуса выпал продолговатый четырехугольный сверточек, завернутый в голубую бумагу. М-ль Жильнорман подняла его и развернула голубую бумагу. Это была сотня визитных карточек Мариуса. М-ль Жильнорман протянула одну из них отцу, и тот прочел: *Барон Мариус Понмерси*.

Старик позвонил. Вошла Николетта. Г-н Жильнорман взял ленточку, футляр и сюртук, и, бросив все на пол посреди гостиной, приказал:

— Унесите этот хлам.

Добрый час прошел в глубочайшем молчании. И старик и старая дева сидели, отвернувшись друг от друга, но каждый, по всей вероятности, думал об одном и том же. На исходе этого часа тетка Жильнорман промолвила:

— Очень мило!

Несколько минут спустя вошел Мариус. Он только что вернулся. Не успел он переступить порог гостиной, как заметил в руке у деда свою визитную карточку, а дед, заведя его и тотчас впадая в свой насмешливый, исполненный буржуазного высокомерия тон, в котором было нечто уничижающее, закричал:

— Так, так, так! Оказывается, ты теперь барон. Ну, поздравляю тебя. А что это собственно значит?

— Это значит, — слегка покраснев, ответил Мариус, — что я сын своего отца.

Господин Жильнорман перестал смеяться и резко сказал:

— Твой отец — это я.

— Мой отец, — продолжал Мариус, опустив глаза и храня суровый вид, — был человек скромный, но героически храбрый, доблестно служивший Республике и Франции, показавший себя великим в величайших исторических делах, когда-либо совершенных людьми, проживший четверть века на бивуаке, днем под картечью и пулями, ночью в снегу, грязи и под дождем, — человек, получивший двадцать ранений, захвативший два знамени и умерший забытым, заброшенным и виновным единственно в том, что чрезмерно любил двух неблагодарных — родину и меня!

Это было уж чересчур, дольше г-н Жильнорман не мог стерпеть. При слове «республика» он встал, или, вернее, выпрямился во весь рост. Каждое слово, произносимое Мариусом, оказывало такое же действие на лицо старого роялиста, как воздушная струя кузнечных мехов на горящий уголь. Из темного оно стало красным, из красного — пунцовым, из пунцового — багровым.

— Мариус! Мерзкий мальчишка! — воскликнул он. — Я не знаю, каков был твой отец! И знать не хочу! Я о нем ничего не знаю и самого его не знаю! Но зато я хорошо знаю, что все эти люди были негодяи! Голодранцы, убийцы, каторжники, воры! Все, говорю тебе! Все без исключения! Все! Запомни это, Мариус! А ты, видишь ли, такой же барон, как моя туфля! Робеспьеру служили одни грабители! Бу-о-на-парту — одни разбойники! Одни изменники, только и знавшие, что изменять, изменять, изменять! И это законному своему королю! Одни трусы,

бежавшие от пруссаков и англичан при Ватерлоо! Вот это я знаю. А ежели почтенный ваш родитель, сие мне неведомо, попал в их число, — слуга покорный, — очень жаль, тем хуже!

Теперь наступила очередь Мариуса играть роль угля, а г-на Жильнормана — мехов. Мариус весь дрожал; он не знал, что делать, голова его пылала. Он испытывал то же, что должен был бы испытывать священник, на глазах которого выкидывают вон его облатки, или факир, на глазах которого прохожий плюет на его идола. Допустимо ли, чтобы подобного рода вещи безнаказанно проносились при нем? Но как тут быть? В его присутствии подвергали отца надругательству, топтали ногами. Но кем это делалось? Дедом. Как отомстить за одного, не обидев другого? Нельзя оскорбить деда, но равным образом нельзя оставить неотомщенным отца. С одной стороны — священная могила, с другой — седины. Несколько мгновений, под влиянием этих мыслей, вихрем кружившихся в его голове, он был как хмельной и не знал, на что решиться. Потом поднял глаза, пристально взглянул на деда и закричал громовым голосом:

— Долой Бурбонов! И этого жирного борова Людовика Восемнадцатого!

Людовика XVIII уже четыре года не было в живых, но Мариусу это было совершенно безразлично.

Старик из багрового сразу стал блее собственных волос. Он повернулся к стоящему на камине бюсту герцога Беррийского и с какой-то необычайной торжественностью отвесил ему низкий поклон. Затем, медленно и молча, дважды прошелся от камина к окну и от окна к камину, из конца в конец, через весь зал, тяжело, словно каменное изваяние, ступая по трещавшему под его ногами паркету. Проходя во второй раз, он нагнулся к дочери, которая присутствовала при столкновении, держась оробевшей старой овцой, и сказал, улыбаясь, почти спокойно.

— Барон, каковым является милостивый государь, и буржуа, каковым являюсь я, не могут оставаться под одной кровлей.

И вдруг, выпрямившись, бледный, дрожащий от ярости, ужасный, с набухшими на лбу жилами, он простер в сторону Мариуса руку и крикнул:

— Вон!

Мариус покинул дом деда.

На другой день г-н Жильнорман сказал дочери:

— Потрудитесь посылать каждые полгода по шестьдесят пистолей этому кровопийце и при мне никогда о нем не упоминайте.

Сохранив огромный запас неизлитого гнева, не зная, куда его девать, он продолжал в течение трех с лишним месяцев обращаться к дочери на «вы».

Мариус же удалился, кипя негодованием. Одно заслуживающее упоминания обстоятельство еще усилило его раздражение. Семейные драмы сплошь и рядом осложняются разными мелочами. И хотя по существу вины от этого нисколько не прибавляется, обида возрастает. Торопясь, по приказанию деда, отнести «хлам» Мариуса в его комнату, Николетта, должно быть, обронила на темной лестнице, ведущей в мансарду, медальон из черной шагреновой кожи с запиской полковника. Ни записка, ни медальон так и не нашлись. Мариус был уверен, что «господин Жильнорман» — с этого дня он иначе не называл его — бросил в огонь «завещание отца». Он знал наизусть немногие строки, написанные полковником, и, по сути дела, ничто не было потеряно. Но самая бумага, почерк являлись для него священной реликвией, все это составляло частицу его души. Что сделали с ними?

Мариус ушел, не сказав, куда он идет, да и сам не зная, куда пойдет. При нем было тридцать франков, часы и дорожный мешок с кое-какими пожитками. Он сел в наемный кабриолет, взяв его почасно, и отправился в Латинский квартал.

Что станется с Мариусом?

Книга четвертая

ДРУЗЬЯ АЗБУКИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Кружок, чуть было не ставший историческим

В ту эпоху, казалось бы, полного ко всему безразличия, однако, уже чувствовались первые дуновения революции. В воздухе веяло вырвавшимся из глубин дыханием 1789 и 1792 годов. Молодежь, да простят нам это выражение, начала линять. Люди менялись почти незаметно для себя самих, просто в силу движения времени. Стрелка, совершая свой путь по циферблату, совершает его и в душах. Каждый делал положенный ему шаг вперед. Роялисты становились либералами, либералы — демократами.

Это был как бы прилив, сдерживаемый тысячей отливов; отливам свойственно все смешивать; отсюда и самые неожиданные сочетания идей; одновременно преклонялись перед Наполеоном и перед свободой. Мы строго придерживаемся здесь исторических фактов, но таковы миражи того времени. Политические взгляды имеют свои стадии развития. Причудливая разновидность роялизма, вольтеррианский роялизм нашел себе не менее странную пару в бонапартистском либерализме.

Направление мыслей других групп отличалось большей серьезностью. Там доискивались первопричин, ратовали за право и справедливость. Там страстно увлекались учением об абсолютном, провидя бесчисленные возможности его проявления; абсолютное, уже в силу своей непреложности, влечет умы к лазурным высям и заставляет их витать в беспредельности. Ничто так не благоприятствует возникновению мечты, как догма, и ничто так не способствует рождению будущего, как мечта. Сегодняшняя утопия завтра облечется в плоть и кровь.

Но у передовых течений было как бы двойное дно. Уже обнаруживалась склонность к тайне, создававшая угрозу «существующему порядку», подозрительному и лицемерному. Это весьма показательный революционный признак. Скрытые помыслы власти, подводившей подкоп, столкнулись со скрытыми помыслами народа. Назревающие восстания явились ответом на замышляемый государственный переворот.

В ту пору во Франции еще не было таких крупных тайных обществ, как немецкий тугендбунд или итальянский союз карбонариев; но тут и там, разветвляясь, шла невидимая подземная работа. В Эксе уже намечалось возникновение Кугурды, а в Париже, среди прочих объединений подобного рода, существовало общество «Друзей азбуки».

Что представляли собой эти Друзья азбуки? Судя по названию, общество ставило себе целью обучение детей. В действительности же оно стремилось помочь взрослым людям распрямиться.

Члены общества объявили себя Друзьями азбуки, подразумевая под этим, что они друзья униженных и обездоленных, то есть народа ¹. Его хотели поднять. Каламбур, отнюдь не заслуживающий насмешки. Каламбуры играют подчас заметную роль в политике: например *Castratus ad castra* ², благодаря которому Нарсес стал командующим армией; например *Barbari et Barberini* ³; например *Fuegos y Fuegos* ⁴; например *Tu es Petrus et super hanc petram* ⁵ и т. д. и т. п.

Друзья азбуки были немногочисленны. Они представляли собою тайное общество в зачаточном состоянии; мы сказали бы даже — котерию, будь в возможностях котерий выдвигать героев. Члены общества собирались в Париже в двух местах: близ Рынка, в кабачке под названием «Коринф», о котором речь будет впереди, и близ Пантеона, на площади Сен-Мишель, в маленьком кафе под названием кафе «Мюзен», ныне снесенном. До первого сбор-

¹ По-французски слово «азбука» (А В С) звучит, как abaissé — униженный, обездоленный.

² Кастрат у лагерного костра (лат.).

³ Варвары и Барберини (лат.).

⁴ На страже закона — восстание (исп.).

⁵ Ты Петр — камень. и на сем камне... (лат.)

ного пункта было недалеко рабочим, до второго — студентам.

Тайные собрания Друзей азбуки происходили в заднем помещении кафе «Мюзен».

В этом зале, достаточно отдаленном от самого кафе, с которым его соединял длиннейший коридор, было два окна и выход по потайной лестнице на улочку Грe. Здесь курили, пили, играли в игры, смеялись. Здесь во всеуслышание говорили о всякой всячине, а шопотом о неких иных делах. К стене — обстоятельство достаточное, чтобы заставить насторожиться полицейского агента, — была прибита старая карта республиканской Франции.

Большинство Друзей азбуки составляли студенты, заключившие сердечный союз кое с кем из рабочих. Вот имена главарей. Они до некоторой степени принадлежат истории: Анжольрас, Комбефер, Жан Прувер, Фейи, Курфейрак, Баорель, Легль или л'Эгль, Жоли, Грантэр.

Молодые люди, связанные между собой дружбой, составляли как бы одну семью. Все, за исключением Легля, были южане.

Это был замечательный кружок. Он исчез в невидимых безднах, уже оставшихся позади. В начале драматических событий, к описанию которых мы подошли, пожалуй не будет лишним бросить луч света на эти юные головы, прежде чем читатель увидит, как они погрузятся во мрак своего трагического предприятия.

Анжольрас, которого мы называли первым, а почему именно его, станет ясно впоследствии, был единственным сыном богатых родителей.

Это был очаровательный молодой человек, способный, однако, внушать страх. Он был прекрасен, как ангел, и походил на Антиноя, но только сурового. По блеску его задумчивого взгляда можно было подумать, что в одном из предшествовавших своих существований он уже пережил апокалипсис революции. Он усвоил ее традиции как очевидец. Знал в самых малых деталях все великие ее дела. Как это ни странно для юноши, но по натуре он был первосвященник и воин. Священнодействуя и воинствуя, он являлся солдатом демократии, если рассматривать его с точки зрения нынешнего дня, и жрецом идеала — если подняться над современностью. У него были глубоко сидящие глаза со слегка красноватыми веками, рот с пух-

лой нижней губой, на которой часто мелькало презрительное выражение, большой лоб. Высокий лоб на лице — то же, что высокое небо на горизонте. Подобно некоторым молодым людям начала нынешнего и конца прошлого века, рано прославившимся, он весь сиял молодостью и, хотя бледность порой покрывала его щеки, был свеж, как девушка. Достигши зрелости мужчины, он все еще глядел ребенком. Ему было двадцать два года, а на вид — семнадцать. Строгий в поведении, он, казалось, не подозревал, что на свете есть существо, именуемое женщиной. Им владела одна только страсть — справедливость и одна только мысль — ниспровергнуть стоящие на пути к ней препятствия. На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте — Сен-Жюстом. Он почти не замечал цветения роз, не знал, что такое весна, не слышал пенья птиц. Обнаженная грудь Эвадней взволновала бы его не более, чем Аристогитона. Для него, как и для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. Серьезность не покидала его даже в часы веселья. Он целомудренно опускал очи перед всем, что не являлось республикой. Это был твердый, как гранит, возлюбленный свободы. Речь его дышала суровым вдохновением и звучала гимном. Ему были свойственны неожиданные взлеты мыслей. Затея завести с ним интрижку неминуемо грозил провал. Если какая-нибудь гризетка с площади Камбре или с улицы Сен-Жан-де-Бове, приняв его за вырвавшегося на волю школьника и пленившись этим обликом паж, этими длинными золотистыми ресницами, этими голубыми глазами, этими развевающимися по ветру кудрями, этими румяными ланитами, этими нетронутыми устами, этими чудесными зубами, всем этим утром юности, — вздумала бы испробовать над Анжольрасом чары своей красоты, изумленный и грозный взгляд его мгновенно разверз бы перед ней пропасть и научил бы не смешивать грозного херувима Езекииля с галантным Керубино Бомарше.

Рядом с Анжольрасом, воплощавшим логику революции, находился Комбефер, воплощавший ее философию. Разница между логикой и философией революции состоит в том, что логика может высказаться за войну, меж тем как философия в своих выводах приводит только к миру. Комбефер дополнял и исправлял Анжольраса. Он смотрел на все с менее возвышенных позиций, но зато свободнее.

Он хотел воспитывать умы в духе широких общих идей. «Революция нужна, — говорил он, — но не менее нужна и цивилизация»; и вокруг крутой горы ему раскрывался беспредельный голубой простор. Вот почему взгляды Комбефера всегда отличались известной доступностью и практичностью. Будь Комбефер во главе революции, при нем дышалось бы легче, чем при Анжольрасе. Анжольрас желал осуществить с ее помощью божественное право, а Комбефер — естественное. Первый был последователем Робеспьера, второй — сторонником Кондорсе. Комбефер больше Анжольраса жил обычной жизнью обычных людей. Если бы обоим юношам было суждено войти в историю, один оставил бы по себе память справедливого, другой — мудрого. Анжольрас был мужественнее, Комбефер — человечнее. *Hommo et Vir*¹, в этом в сущности и заключалась вся тонкость различия их характеров. Мягкость Комбефера, равно как и строгость Анжольраса, являлась следствием душевной чистоты. Комбефер любил слово «гражданин», но предпочитал ему «человек» и, наверно, охотно называл бы человека *Homme*, вслед за испанцами. Он читал все, что выходило, посещал театры, публичные лекции, слушал, как объясняет Араго явления поляризации света, восхищался сообщением Жоффруа Сент-Илера о двойной функции внутренней и наружной сонной артерии, питающих одна — лицо, другая — мозг, был в курсе всей жизни, не отставал от науки, занимался сопоставлением Сен-Симона и Фурье, расшифровывал иероглифы, любил, надломив поднятый камешек, порассуждать о геологии, мог нарисовать на память бабочку шелкопряда, обнаруживал погрешности против французского языка в словаре Академии, штудировал Пюисегюра и Делеза, воздерживался от всяких утверждений и отрицаний, до чудес и привидений включительно, перелистывал комплекты «Монитера» и размышлял. Он утверждал, что будущее — в руках школьного учителя, и живо интересовался вопросами воспитания. Он требовал, чтобы общество неутомимо трудилось над поднятием своего морального и интеллектуального уровня, над превращением науки в общедоступную ценность, над распространением возвышенных идей, над духовным развитием молодежи.

¹ Человек и муж (лат.).

Но он опасался, как бы скудость современных методов преподавания, убожество господствующих взглядов, ограничивающихся признанием двух-трех так называемых классических веков, тиранический догматизм казенных наставников, схоластика и рутина не превратили бы в конце концов наши коллежи в искусственные рассадники тупоумия. Это был ученый пурист, ясный ум, многосторонне образованный и трудолюбивый человек, склонный вместе с тем, по выражению друзей, к «несбыточным мечтаниям». Он верил в любую фантазию: и в железные дороги, и в обезболивание при хирургических операциях, и в возможность получения изображения предмета через камеру-обскуру, и в электрический телеграф, и в управляемый воздушный шар. Его отнюдь не пугали никакие крепости, повсюду воздвигнутые против человечества суеверием, деспотизмом и предрассудками. Он принадлежал к числу людей, полагающих, что наука в конечном счете должна изменить существующее положение вещей. Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком. С одним хорошо было бы вместе идти в бой, с другим — пуститься в странствие. Это вовсе не означает, что Комбефер не был способен к борьбе. Нет, он всегда был готов грудью встретить препятствия, дать сильный и страстный отпор. Но ему было больше по душе обучать истине, разъяснять позитивные законы, и так, постепенно, сделать человечество достойным его судьбы. Если бы он мог выбирать между двумя способами просвещения масс, он остановился бы скорее на лучах познания, нежели на огнях восстаний. Разумеется, и пламя пожара озаряет, но почему бы не дожидаться восхода солнца? Огнедышащий вулкан светит, но утренняя заря светит еще ярче. Очень возможно, что Комбеферу белизна прекрасного была милее, чем пурпур великолепного. Свет, застилаемый дымом, прогресс, купленный ценой насилия, не могли всецело удовлетворить эту нежную и глубокую душу. Стремительный, крутой переход народа к правде, повторение 1793 года страшили его. Однако еще менее приемлем был для Комбефера застой: он чувствовал в нем гниение и смерть. По сути дела он предпочитал пену бурлящей воды миазмам неподвижного болота, поток — клоаке, Ниагарский водопад — Монфоконскому озеру. Словом, он равно не признавал ни топтания на месте, ни спешки. Меж тем как его мятежные духом и

рыцарски влюбленные в абсолютное друзья преклонялись перед высокими революционными подвигами и призывали к ним, Комбефер стоял за прогресс, за истинный прогресс, пусть несколько холодноватый, но зато безупречный, пусть несколько педантичный, но зато незапятнанный, пусть несколько медлительный, но зато устойчивый. Комбефер готов был коленопреклоненно молить о том, чтобы будущее наступило во всей своей нетронутой чистоте и чтобы ничто не омрачало великого и благосродного поступательного движения народов. «Нужно, чтобы добро оставалось свободным от всякого зла», — неустанно повторял он. Действительно, если величие революции состоит в том, чтобы, не отрывая глаз от ослепительно сияющего идеала, стремиться к нему сквозь громы и молнии, обжигая-руки в огне, обагряя их в крови, то красота прогресса — в сохранении безукоризненной чистоты: и Вашингтон, олицетворяющий последний, и Дантон, воплощающий первую, разнятся между собой, как ангелы с крылами лебедя и с крылами орла.

Жан Прувер отличался еще большей мягкостью, чем Комбефер. Повинуясь мимолетной фантазии, примешавшейся к серьезному и глубокому побуждению, породившему в нем весьма похвальный интерес к изучению средних веков, он переименовал себя из Жана в Жеана. Жан Прувер был вечно влюблен, посвящал свои досуги возне с цветочными горшочками, игре на флейте, сочинению стихов; он любил народ, жалел женщин, оплакивал горькую участь детей, одинаково верил и в светлое будущее и в бога и осуждал революцию только за одну павшую по вине ее царственную голову — за голову Андре Шенье. У него был мягкий голос, с неожиданными переходами в резкий. Он был начитан до учености и мог почти сойти за ориенталиста, но превыше всего был добр, а потому — что вполне понятно каждому, кто знает, насколько доброта и величие близки между собою, — в поэзии отдавал предпочтение грандиозному. Он знал итальянский, латинский, греческий и еврейский языки, но пользовался ими лишь затем, чтобы читать четырех поэтов: Данте, Ювенала, Эсхила и Исаию. Из французских авторов он ставил Корнеля выше Расина, а Агриппу д'Обинье выше Корнеля. Он любил бродить по полям, заросшим диким овсом и васильками, и облака занимали его, пожалуй, не менее

дел житейских. У него был как бы двусторонний ум, одной стороной обращенный к людям, другой — к богу, и он делил свое время между изучением и созерцанием. По целым дням трудился он над социальными проблемами; заработная плата, капитал, кредит, брак, религия, свобода мысли, свобода любви, воспитание, карательная система, собственность, формы ассоциаций, производство, распределение — вот что составляло предмет его углубленных занятий. Он пытался разгадать загадку общественных низов, отбрасывающую тень на весь человеческий муравейник; а по вечерам следил громады ночных светил. Как и Анжольрас, он был единственным сыном богатых родителей. Он говорил всегда тихо, ходил опустив голову и потупя взор, улыбался смущенно, одевался плохо, казался неуклюжим, краснел по всякому поводу, был до крайности застенчив и при всем том неустрашимо храбр.

Фейи был рабочим-веерщиком и круглым сиротой. С трудом зарабатывая три франка в день, он имел одну заветную мечту — освободить мир. Впрочем, была у него еще и другая забота — стать образованным, что на его языке означало также стать свободным. Он без всякой посторонней помощи выучился грамоте и все свои знания приобрел самоучкой. Фейи был человек большого сердца, всегда готовый широко раскрыть миру свои объятия. Будучи сам сиротой, Фейи усыновил целые народы. Лишенный матери, он обратил все свои помыслы к родине. Он хотел, чтобы на земле не оставалось ни одного человека, не имеющего отчизны. С глубокой проницательностью выходца из народа он собственным умом дошел до того, что мы зовем теперь «идеей самосознания наций». Именно затем, чтобы негодовать с полным знанием дела, он и изучал историю. В кружке этих юных утопистов, занимавшихся преимущественно Францией, он один представлял интересы чужеземных стран. Его излюбленной темой являлись Греция, Польша, Венгрия, Румыния и Италия. Он без конца, кстати и некстати, говорил о них с настойчивостью, продиктованной сознанием права на это. Захват Греции и Фессалии Турцией, Варшавы — Россией, Венеции — Австрией — все эти акты насилия приводили его в сильнейшее раздражение. Но особенно возмущал его неслыханный грабеж, совершенный в 1772 году. Искреннее негодование — лучший вид красноречия; именно такое

красноречие и было ему свойственно. Снова и снова возвращался он к 1772 году, к этой позорной дате, к благородному и отважному народу, так изменнически лишенному независимости, к совместному преступлению троих, к чудовищной ловушке, ставшей прототипом и образцом всех ужасных разгромов, которым подвергся с тех пор ряд благородных наций, потерявших вследствие этого, так сказать, свое право на существование. Все наблюдаемые в наши дни покушения на государственную самостоятельность ведут начало от раздела Польши. Раздел Польши — теорема, а все современные политические злодеяния — ее выводы. В течение почти всего последнего века не было тирана и изменника, который не поспешил бы признать, подтвердить, скрепить своей подписью, парафировать *per varietur*¹ раздела Польши. В списке предательств новейшего времени это предательство стоит первым. Венский конгресс ознакомился с этим преступлением прежде, чем совершил свое собственное. В 1772 году трубят сбор, в 1815 — делят добычу. Таково было содержание речей Фейи. Этот бедняк-рабочий взял на себя роль заступника справедливости, а она наградила его за это величием. В праве заложено бессмертное начало. Варшава равно не может оставаться татарской, как и Венеция — немецкой. Бороться с этим напрасный труд и потеря чести для королей. Рано или поздно страна, пущенная ко дну, всплывает и снова появляется на поверхности. Греция вновь становится Грецией, Италия — Италией. Протест права против актов насилия никогда не смолкает. Кража целого народа не прощается за давностью. Плоды таких крупных мошенничеств недолговечны. С нации нельзя спорить метку, как с носового платка.

У Курфейрака был отец, которого все звали г-н де Курфейрак. К числу многих превратных понятий, которые составила себе буржуазия эпохи Реставрации об аристократизме и благородстве происхождения, принадлежит и вера в частичку «де». Частичка эта, как известно, не имеет ровно никакого значения. Однако буржуазия времен «Минервы» так высоко расценивала это ничтожное «де», что почитала за долг отказываться от него. Г-н де Шовелен стал именоваться г-ном Шовеленом, г-н де Комартен —

¹ Неизменность (лат.).

г-ном Комартеном, г-н де Констан де Ребек — Бенжаме-ном Констаном, а г-н де Лафайет — г-ном Лафайетом. Курфейрак, не желая отставать от других, также называл себя просто Курфейраком.

На этом мы могли бы, пожалуй, прервать дальнейший рассказ о Курфейраке, ограничившись в отношении всего остального ссылкой: Курфейрак — см. Толомьес.

Курфейрак и на самом деле был весь полон того молодого задора, который можно было бы назвать пылом молодости. Позднее это исчезает, как грациозность котенка, и, очаровательное наше создание превращается в конечном счете: двуногое — в буржуа, а четвероногое — в кота.

Такого рода душевный склад сохраняется в студенческой среде из поколения в поколение, переходит от молодежи старого к молодежи нового призыва, и его передают из рук в руки, *quasi cursores*¹, почти совсем не измененным. Вот почему, как мы уже сказали, всякий, кому довелось бы услышать Курфейрака в 1828 году, мог бы подумать, что слышит Толомьеса в 1817 году. Только Курфейрак был честным малым. Несмотря на все кажущееся внешнее сходство их характеров, между ним и Толомьесом было большое различие. То, что составляло их человеческую сущность, было у каждого совсем иным. В Толомьесе сидел прокурор, в Курфейраке таился рыцарь.

Если Анжольрас был вождем, Комбефер — вожаком, то Курфейрак представлял собой центр притяжения. Другие давали больше света, он — больше тепла, обладая действительно необходимым для центральной фигуры качеством: открытым, привстливым характером.

Баорель принимал участие в кровавых беспорядках, происходивших в июне 1822 года, в связи с похоронами юного Лалемана.

Баорель был хороший малый, славившийся дурным поведением, транжира, мот, болтун и наглец, не лишенный, однако, щедрости, красноречия и смелости, и добряк, каких мало. Он носил жилеты самых нескромных цветов и придерживался самых красных убеждений. Большой руки буян, иными словами — страстный любитель дебоша, предпочитавший его всему на свете, за исключением

¹ Как состязающиеся в беге (лат.). — Лукреций, О природе вещей

мятежа, которому в свою очередь предпочитал революцию, он всегда был готов для начала побить стекла, затем разворотить мостовую, а закончить низвержением правительства, любопытствуя, что же получится. Он одиннадцатый год числился студентом, но и не нюхал юриспруденции, не обременяя себя учением. Он избрал себе девизом: «Адвокатом не буду», а гербом — ночной столик с засунутым в него судейским беретом. Всякий раз, когда ему случилось проходить мимо здания юридического факультета, что бывало крайне редко, он наглухо застегивал свой редингот — до пальто в ту пору еще не додумались — и принимал разные гигиенические меры предосторожности. О портале здания факультета он говорил: «Ну и красавец-старик!», а о декане факультета г-не Дельвенкуре: «Ну и монумент!» Лекции, которые он посещал, служили ему темой для веселых песенок, а профессора, которых слушал, — сюжетом для карикатур. Он проживал, палец о палец не ударяя, довольно порядочный пенсион, что-то около трех тысяч франков. Родители его были крестьяне, и ему удалось внушить им почтение к собственному сыну.

Он говорил про них: «Они у меня деревенские, не городские, а потому и умные».

Человек непостоянный, Баорель слонялся по разным кафе; другие обзаваются привычками, у него их не было. Он вечно фланировал. Желание побродить свойственно всем людям, желание фланировать — одним парижанам. А в сущности Баорель был гораздо более прозорливым и вдумчивым, чем казалось на вид.

Он служил связью между Друзьями азбуки и некоторыми другими, к тому времени еще не совсем сложившимися кружками, которым предстояло, однако, в дальнейшем получить более четкую форму.

В нашем конклаве молодежи имелся один лысый сочлен.

Маркиз д'Аваре, возведенный Людовиком XVIII в герцоги за то, что он посадил короля в наемный кабриолет в день, когда тот бежал из Франции, рассказывал, что в 1814 году, по возвращении из эмиграции, не успел король вступить на берег Кале, как какой-то неизвестный подал ему прошение. «О чем вы просите?» — спросил король. — «О месте смотрителя почтовой конторы, ваше величество». — «Как вас зовут?» — «Л'Эгль».

Король нахмурился, но, взглянув на стоящую на прошении подпись, увидел, что фамилия писалась не Л'Эгль, а Легль¹. Такое отнюдь не бонапартистское правописание приятно тронуло короля. Он улыбнулся. «Ваше величество, — продолжал проситель, — мой предок был псарь, по прозвищу Легель, от этого прозвища произошла наша фамилия. По-настоящему я зовусь Легель, сокращенно — Легль, а искаженно — л'Эгль». Тут король перестал улыбаться. Впоследствии, намеренно или по ошибке, он дал все же просителю почтовую контору в Мо.

Лысый член кружка был сыном этого л'Эгля, или Легля, и подписывался Легль (из Мо). Товарищи звали его для краткости Боссюэ.

Боссюэ был веселым, но несчастливым парнем. Неудачником по специальности. Зато он ничего и не принимал близко к сердцу. В двадцать пять лет он успел уже облысеть. Отец его сумел в конце концов нажить и дом и землю, а сын, впутавшись в какую-то аферу, поторопился потерять и эту землю и этот дом. У него не осталось никаких средств. Он был и учен и умен, но ему не везло. Ничто ему не удавалось. Что бы он ни замыслил, что бы ни затеял — все оказывалось обманом и оборачивалось против него. Если он колет дрова, то непременно поранит палец. Если обзаведется подругой, то непременно вскоре обнаружит, что обзавелся и дружкой. Неприятности подкарауливали его на каждом шагу, но он не унывал. Он говорил про себя, что ему «на голову со всех крыш валятся черепицы». Спокойно, как должное, ибо неудачи являлись для него делом привычным, встречал он удары судьбы и посмеивался над вздорными ее выходками, как человек, понимающий шутку. Денег у него не водилось, зато не переводилось веселье. Ему случалось частенько терять все до последнего су, но ни при каких обстоятельствах не терял он способности смеяться. Когда к нему заявлялась беда, он дружески приветствовал ее как старую знакомую и похлопывал невзгоды по плечу. Он так сжился с лихой своей долей, что, обращаясь к ней, называл ее уменьшительным именем и говорил: «Добро пожаловать, Горюшко!»

¹ Л'Эгль (l'aigle) — по-французски — орел. Орел — был эмблемой в наполеоновском гербе.

Преследования судьбы развили в нем изобретательность. Он был очень находчив. И хотя постоянно сидел без гроша, тем не менее всегда изыскивал способы, ежели приходила охота, производить «безумные траты». В одну прекрасную ночь он дошел до того, что проел «целых сто франков», ужиная с какой-то вертихвосткой. Это вдохновило его на следующие, произнесенные в разгаре пиршества слова: «Эй ты, сотенная девица, стащи-ка с меня сапоги».

Боссюэ не торопился овладеть адвокатской профессией. Он проходил юридические науки на манер Баореля. Постоянного жилища у него не было, а подчас не бывало и вовсе никакого. Он жил то у одного, то у другого из приятелей. Чаще же всего у Жоли. Жоли изучал медицину и был на два года моложе Боссюэ.

Жоли представлял собой законченный тип мнимого больного, но из молодых. В результате занятий медициной он не столько сделался врачом, сколько сам превратился в больного. В двадцать три года он находил у себя всевозможные болезни и по целым дням рассматривал в зеркале свой язык. Он утверждал, что человек может намагничиваться совершенно так же, как магнитная стрелка, и ставил на ночь свою кровать изголовьем на юг, а ногами на север, чтобы, под влиянием магнитных сил земли, кровообращение его не нарушалось во сне. Во время грозы он всегда щупал себе пульс. Тем не менее это был самый веселый из всех друзей. Такие, казалось бы, несовместимые свойства, как молодость и доходящая до мании мнительность, вялость и жизнерадостность, прекрасно уживались в нем, и в итоге получалось эксцентричное, но премилое создание, которое его товарищи, щедрые на крылатые созвучия, называли «Жолллли». «Смотри, не улети на своих четырех «л», — шутил Жан Прувер¹.

Жоли имел привычку дотрагиваться набалдашником трости до кончика носа, что всегда служит признаком проныцательного ума.

Всех этих молодых людей, столь меж собою не схожих, объединяла общая вера в Прогресс, и в конечном счете они заслуживали полного уважения.

¹ По-французски согласная «л» произносится «эль», так же, как слово «эль» (aile) — крыло. Отсюда каламбур: «Не улети на четырех своих «л», то есть: «Не улети на четырех своих крыльях».

Все они были родными сынами французской революции. Самый легкомысленный из них становился серьезным, произнося: «Восемьдесят девятый год». Их отцы по плоти могли в прошлом, и даже в настоящем, принадлежать к фельянам, роялистам, доктринерам. Это не имело значения; им, молодежи, не было ровно никакого дела до всей неразберихи, царившей до них; в их жилах текла чистейшая кровь, облагороженная самыми высокими принципами, и они без колебаний и сомнений исповедовали религию неподкупного права и непреклонного долга.

Организовав братство посвященных, они начали втайне готовить осуществление своих идеалов.

Между этими людьми пылкого сердца и убежденного разума был и один скептик. Как попал он в их среду? Он появился как нарост на ней. Скептика этого звали Грантэром, и он имел обыкновение подписываться ребусом, ставя вместо фамилии букву R¹. Это был человек, отказывавшийся во что-либо верить. Впрочем, он принадлежал к числу студентов, приобретающих за время прохождения курса в Париже обширнейшие познания. Так, он твердо усвоил, что кафе «Лемблен» славится наилучшим кофе, кафе «Вольтер» — наилучшим бильярдом, а «Эрмитаж» на бульваре Мен — прекрасными оладьями и приятнейшими девицами, что у тетюшки Саге великолепно жарят цыплят, у Кюветной заставы подают чудесную рыбу по-флотски, а у заставы Боев можно получить недурное белое вино. Словом, он знал все хорошие местечки. Кроме того, был тонким знатоком правил ножной борьбы, опытным фехтовальщиком и умел немного танцевать, а ко всему прочему — не дурак выпить. Он был невероятно безобразен. Ирма Буаси, самая хорошенькая из сапожных мастериц того времени, негодуя на его уродство, изрекла следующую сентенцию: «Грантэр, — заявила она, — есть нечто недопустимое». Однако ничто не могло поколебать самовлюбленного Грантэра. Ни одна женщина не ускользала от его пристального и нежного взора; всем своим видом он словно говорил: «Захоти я только!», и всячески старался уверить товарищей, что у женщин он просто нарасхват.

¹ Прописная буква R по-французски — грант эр (grand R).

Такие слова, как: права народа, права человека, общественный договор, французская революция, республика, демократия, человечество, цивилизация, религия, прогресс — представлялись Грантэру чуть ли не бессмыслицей. Он посмеивался над ними. Скептицизм, эта костоеда ума, не оставил ему ни одной нетронутой мысли. Ко всему на свете относился он иронически. Любимый афоризм его гласил: «В жизни достоверно только одно — стакан, наполненный вином». Он глумился над всякой самоотверженностью, кто бы ни являл пример ее: брат или отец, Робеспьер ли младший, или Луазероль. «Да, ведь они на своей смерти немало выиграли!» — восклицал он. Распятие на его языке называлось «виселицей, которой здорово повезло». Бабник, игрок, гуляка, то и дело пьяный, он вечно напевал себе под нос: «Люблю красоток я да доброе вино» на мотив «Да здравствует Генрих IV», чем очень досаждал нашим юным мечтателям.

Впрочем, и у этого скептика имелся предмет фанатического увлечения. Им не являлась ни идея, ни догма, ни наука, ни искусство, им являлся человек, а именно — Анжольрас. Грантэр восхищался им, любил его и благоговел перед ним. К кому же в этой фаланге людей непреклонных убеждений примкнул сей во всем сомневающийся анархист? К самому непреклонному из всех. Чем же покори́л его Анжольрас? Своими воззрениями? Нет. Своим характером. Подобные случаи наблюдаются часто. Тяготение скептика к верующему так же в порядке вещей, как существование закона взаимодополняемости цветов. Нас всегда влечет то, чего недостает нам самим. Никто не любит дневной свет более слепца. Рослый полковой барабанщик — кумир карлицы. У жабы глаза всегда подняты к небу. Зачем? Затем, чтобы видеть, как летают птицы. Грантэру, в котором копошились сомнения, доставляло радость видеть, как в Анжольрасе парит вера. Анжольрас был ему необходим. Он не отдавал себе в том ясного отчета и не доискивался причин, но целомудренная, здоровая, стойкая, прямая, суровая, искренняя натура Анжольраса пленяла его. Он инстинктивно восхищался им, как своей противоположностью. В нравственной своей дряблости, неустойчивости, расхлябанности, болезненности и изломанности он цеплялся за Анжольраса, как за человека с крепким душевным костяком. Лишенный морального

стержня, Грантэр искал опоры в стойкости Анжольраса. Рядом с ним и он становился некоторым образом личностью. Нужно сказать также, что сам он представлял собою сочетание двух, казалось бы несовместимых, элементов. Он был насмешлив и вместе с тем сердечен. При всем своем равнодушии он умел любить. Ум его обходился без веры, но сердце не могло обойтись без привязанности. Факт глубоко противоречивый, ибо привязанность — та же вера. Такова была его натура. Есть люди, как бы рожденные служить изнанкой, обратной стороной другого. К ним принадлежат Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи. Они могут жить, лишь прислонившись к кому-нибудь; их имена — только продолжение чужих имен и пишутся всегда с союзом «и» впереди; у них нет собственной жизни, она — только изнанка чужой судьбы. Грантэр был одним из таких людей. Он представлял собою обратную сторону Анжольраса.

Можно, пожалуй, сказать, что в самих буквах алфавита заложено начало такой близости. В алфавите О и П неразрывны, и вы можете на выбор сказать: О и П или Орест и Пилад.

Грантэр, подлинный сателлит Анжольраса, дневал и ночевал в кружке молодежи. Там он жил, там только чувствовал себя хорошо и не отставал от молодых людей ни на шаг. И не было для него радости большей, чем следить, как в винном тумане перед ним мелькают их силуэты. Самого же его терпели за покладистый нрав.

Верующий и трезвенник, Анжольрас презирал этого скептика и пьяницу. Он снисходительно уделял ему немного жалости. Грантэр оставался на положении непризнанного Пилада. Вечно терпя от суровости Анжольраса, грубо отталкиваемый и отвергаемый, он неизменно возвращался к нему, говоря про Анжольраса: «Что за камень человек!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо

Однажды, в тот час, когда уже перевалило за полдень и, как увидят ниже, почти одновременно с описанными выше событиями, Легль из Мо стоял у кафе «Мюзен»,

томно прислонившись к дверному косяку. Он напоминал отдыхающую кариатиду и нес единственный груз — груз собственных мыслей. Взор его был устремлен на площадь Сен-Мишель. Стоять прислонившись к чему-нибудь — это один из способов, оставаясь на ногах, чувствовать себя развалившимся в постели. Мечтатели отнюдь этим не пренебрегают. Легль из Мо раздумывал, без всякой, впрочем, грусти, над маленькой неприятностью, приключившейся с ним два дня назад на юридическом факультете и спутавшей и без того достаточно неясные его планы на будущее.

Наши мечты не могут помешать кабриолету ехать своим путем, а нам, мечтателям, — обратить на него внимание. Легль из Мо, рассеянно поглядывая по сторонам, несмотря на полудремотное свое состояние, вдруг заметил тащившуюся по площади двуколку, еле-еле и как бы нерешительно продвигавшуюся вперед. Зачем ее сюда занесло? И почему она так медленно едет? Легль заглянул внутрь. Там, рядом с извозчиком, сидел молодой человек, а подле молодого человека лежал довольно большой дорожный мешок. К мешку была пришта картотчка, и на ней бросалось в глаза написанное жирными черными буквами имя: *Мариус Понмерси*.

Это имя заставило Легля изменить позу. Он выпрямился и заорал, обращаясь к молодому человеку, сидевшему в двуколке:

— Господин Мариус Понмерси!

Двуколка остановилась на оклик.

Молодой человек, повидимому также пребывавший в глубокой задумчивости, вскинул глаза.

— Что? — произнес он.

— Не вы ли будете господин Мариус Понмерси?

— Да, это я.

— Я вас разыскиваю, — сказал Легль из Мо.

— Как так? — удивился Мариус; ибо это был и на самом деле ехавший от деда Мариус, а стоявшего перед ним человека он видел впервые в жизни. — Я вас не знаю.

— И я вас не знаю, — отвечал Легль.

Мариус решил, что напал на шутника, которому вздумалось морочить его среди бела дня. В эту минуту ему было совсем не до шуток. Он насупил брови. Но Легль из Мо невозмутимо продолжал:

— Вас не было позавчера на лекциях.

— Возможно.

— Не возможно, а совершенно точно.

— Вы студент? — спросил Мариус.

— Как и вы, сударь. Позавчера я случайно забежал в университет. Иной раз взбредет вдруг, понимаете, такая странная фантазия. Профессор только что приступил к перекличке. Вид у него при этом, сами знаете, пренелепый. Ежели вы на трехкратный вызов не отзоветесь, вас вычеркивают из списка, и плакали ваши шестьдесят франков.

Мариус стал слушать внимательнее. А Легль рассказывал дальше:

— Перекличку делал Блондо. У него, как вам известно, очень острый и тонкий нюх. Блондо с наслаждением ищет отсутствующих. Он начал коварно с буквы П. Я не слушал, ибо не имею отношения к этой букве. Перекличка шла неплохо. Весь народ налицо, вычеркивать некого. Блондо сидел грустный, а я думал про себя: «Видно, не придется тебе, голубчик Блондо, нынче чинить расправу». Вдруг он вызывает: «Мариус Понмерси». Никто не отзывается. Блондо, окрыленный надеждой, повторяет громче: «Мариус Понмерси!», и уже берется за перо. Поверьте, сударь, я не бездушная скотина. Я тотчас сказал себе: «Эх, славного малого хотят тут вычеркнуть. Пойдите! Кто неаккуратен, тот и есть настоящий человек. Это вам не какой-нибудь первый ученик. Не зубрила, просяживающий над книжками штаны, не желторотый мальчишка, напичканный ученостью, задирающий нос, натаканный в науках, литературе, теологии и всякой прочей премудрости, не безмозглый фат и бездарность. Это почтенный лентяй и фланер, любитель загородных проулков, друг-приятель гризеток, волокита, быть может в сей самый миг посиживающий у моей же возлюбленной. Его надо спасти. Смерть Блондо!» В эту минуту Блондо обмакивает в чернила свое грязное от вымарок перо, окидывает хищным взором аудиторию и повторяет в третий раз: «Мариус Понмерси!» — «Здесь!» — ответил я. Вот потому-то вас и не вычеркнули.

— Позвольте, сударь... — начал было Мариус.

— А вычеркнули меня, — закончил Легль из Мо.

— Я вас не понимаю, — сказал Мариус.

— А дело очень простое, — принялся объяснять Легль. — Чтобы ответить, я подошел к кафедре, потом

поспешил к двери, чтобы удрать. Профессор же устался на меня и не спускал глаз. Вдруг Блондо, — он, видно, из той самой породы людей с верхним чутьем, о которой говорит Буало, — перескакивает на букву л. Л — это моя буква. Родом я из Мо, а фамилия моя Легль.

— Л'Эгль. Какое прекрасное имя! — прервал его Мариус.

— Ну так вот. Блондо доходит до этого прекрасного имени и выкрикивает: «Легль!» — «Здесь!» — отвечаю я. Блондо глядит на меня с кротостью тигра и произносит улыбаясь: «Ежели вы Понмерси, стало быть не Легль». Фраза, как будто и не совсем учитывая по отношению к вам, имела, однако, зловещий смысл только для меня. Произнеся ее, он меня вычеркнул.

— Я глубоко огорчен, сударь! — воскликнул Мариус.

— Прежде всего, — прервал его Легль, — я прошу разрешения почтить Блондо несколькими прочувствованными словами. Допустим, что он умер. От этого вряд ли бы он стал намного хуже, бледнее, холоднее, неподвижнее и зловоннее. И вот я говорю: «*Erudimini qui judicatis terram*»¹. Здесь покоится Блондо, Блондо Носатый, Блондо Nasica, вол дисциплины — *bos disciplinae*, цепной пес списков, гений перекличек. Был он прямолинеен, туп, пунктуален, непреклонен, неподкупен и отвратителен. Господь бог вычеркнул его из числа живых, как он меня — из числа студентов.

— Я крайне опечален... — начал было снова Мариус.

— Да послужит вам это уроком, молодой человек, — сказал Легль из Мо. — Впредь будьте аккуратнее.

— Примите самые искренние мои сожаления.

— Впредь ведите себя так, чтобы ближних ваших не вычеркивали из списков.

— Я просто в отчаянии...

Легль расхохотался.

— А я просто в восторге. Я чуть было не докатился до адвокатского звания. Это исключение меня спасает. Я отказываюсь от адвокатских лавров. Мне не придется ни защищать вдовиц, ни обижать сирот. Не нужно будет мне ни облекаться в мантию, ни проходить практики. Наконец-то добился я исключения. И этим я обязан вам,

¹ Учитесь, судьи земли (лат.).

господин Понмерси. А посему имею в мыслях торжественно нанести вам благодарственный визит. Где вы живете?

— В этом кабриолете, — ответил Мариус.

— Значит, вы богаты, — не моргнув глазом, подхватил Легль. — Очень рад за вас. Такая квартира должна стоить по меньшей мере девять тысяч франков в год.

В этот момент из кафе вышел Курфейрак.

Мариус печально улыбнулся:

— Я нахожусь на этой квартире два часа и не дождусь, когда с нее съеду. Но вот какая история — мне некуда деваться.

— Поедемте ко мне, сударь, — сказал Курфейрак.

— Первенство, собственно говоря, принадлежит мне, — заметил Легль, — но беда в том, что у меня у самого нет дома.

— Замолчи, Боссюэ, — оборвал его Курфейрак.

— Боссюэ? — с недоумением повторил Мариус. — А я полагал, что фамилия ваша Легль.

— Из Мо, — ответил Легль, — иносказательно же Боссюэ.

Курфейрак сел в кабриолет.

— Гостиница Порт-Сен-Жак, — приказал он извозчику.

И в тот же вечер Мариус поселился в одной из комнат гостиницы Порт-Сен-Жак, бок о бок с Курфейраком.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мариус все больше изумляется

Не прошло и нескольких дней, как Мариус уже подружился с Курфейраком. Юность — пора стремительных сближений и быстрого рубцевания ран. В обществе Курфейрака Мариусу легко дышалось — ощущение, ранее ему не знакомое. Курфейрак ни о чем его не расспрашивал. Ему это и в голову не приходило. В таком возрасте все сразу узнается по лицу. Слова излишни. Про физиономию иного юнца так и хочется сказать, что она у него сама все выкладывает. Для взаимного понимания им достаточно взглянуть друг на друга.

Тем не менее однажды утром Курфейрак вдруг неожиданно спросил Мариуса:

— Кстати, скажите, есть ли у вас какие-либо политические убеждения?

— Ну разумеется, — ответил Мариус, несколько даже обиженный вопросом.

— Кто же вы?

— Демократ-бонапартист.

— Окраска в достаточной мере серая, — заметил Курфейрак.

На следующий день Курфейрак взял Мариуса с собой в кафе «Мюзен». Там он с улыбкой шепнул ему на ухо: «Надо помочь вам вступить в революцию», — и провел Мариуса в комнату Друзей азбуки. Затем он представил его товарищам, добавив вполголоса: «Ученик». Мариус не понял, что хотел он сказать этим немудреным словом.

Очутившись здесь, Мариус попал в осиное гнездо остроумия. Впрочем, несмотря на молчаливость и серьезность, он и сам принадлежал к той же крылатой и жалоносной породе.

Мариусу, который вел до тех пор уединенный образ жизни, и в силу привычки и по натуре, склонному к монологам и разговорам с самим собою, было как-то не по себе среди обступившей его толпы молодежи. Ее кипучая, брызжущая энергия одновременно и привлекала и раздражала его. От водоворота идей, рождаемого этими вольными, неугомонно ищущими умами, мысли кружились у него в голове. И в эти минуты его душевного смятения они порой так разбегались, что он лишь с трудом собирал их. Он слышал вокруг неожиданные для него суждения о философии, литературе, искусстве, истории, религии, знакомился с самыми необычайными взглядами. А поскольку он воспринимал их вне всякой перспективы, то не был уверен, не хаос ли просто все это. Отрекшись от убеждений деда ради убеждений отца, Мариус полагал, что приобрел устойчивое мирозерцание; полный тревоги, не смея и самому себе в том признаться, начал он подозревать теперь, что это не так. Угол его зрения снова стал перемещаться. Под действием каких-то равномерно повторяющихся толчков умственный горизонт его был приведен в колебание. Это было состояние странной внутренней ломки. Оно почти причиняло ему страдание.

Для этих молодых людей, казалось, не существовало «ничего святого». По любому поводу Мариус мог

услышать самые поразительные речи, смущавшие его робкий еще ум.

Вот на глаза попалась театральная афиша с названием трагедии старого, так называемого классического, репертуара. «Долой трагедию, любезную сердцу буржуа!» — кричит Баорель, и Мариус уже слышит, как возражает ему Комбефер:

— Ты заблуждаешься, Баорель. Буржуазия любит трагедию, и пускай себе любит, оставим в данном случае буржуазию в покое. Трагедия, разыгрываемая в париках, имеет свое право на существование. И я не разделяю мнения тех, кто во имя Эсхила оспаривает у нее это право. В самой природе встречаются образцы топорной работы, и среди ее творений есть готовые пародии: клюв — не клюв, крылья — не крылья, плавники — не плавники, лапы — не лапы, крик жалобный, но вызывающий смех, — вот вам утка. И поскольку рядом с вольной птицей существует еще домашняя птица, я не вижу оснований, почему бы подле античной трагедии не существовать трагедии классицистов?

В другой раз, проходя случайно вместе с Анжольрасом и Курфейраком по улице Жан-Жака Руссо, Мариус стал свидетелем следующей беседы.

— Обратите внимание, — сказал Курфейрак, беря его под руку, — мы находимся на Штукатурной улице, которая именуется ныне улицей Жан-Жака Руссо по той причине, что лет шестьдесят назад здесь проживала забавная парочка: Жан-Жак со своей Терезой. Время от времени тут рождались маленькие существа. Тереза производила на свет божий детей, а Жан-Жак — подкидышей.

Но тут Курфейрака резко оборвал Анжольрас:

— Не оскверняйте памяти Жан-Жака! Я преклоняюсь пред этим человеком. Пусть он отрекся от своих детей, но он взял в сыновья себе народ.

Никто из наших молодых людей не употреблял слова «император». Один только Жан Прувер иногда еще говорил «Наполеон», все остальные называли его Бонапартом, а Анжольрас выговаривал даже *Буонапарте*.

Все это вызывало в Мариусе смутное чувство изумления. То было: *initium sapientiae*¹.

¹ Начало познания (лат.).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Заднее помещение кафе «Мюзен»

Один разговор между нашими молодыми людьми, при котором присутствовал Мариус и в который изредка вставлял слово, произвел на него поистине потрясающее впечатление.

Дело происходило в заднем помещении кафе «Мюзен». В тот вечер почти все Друзья азбуки были в сборе. По-праздничному горел женкет. Говорили о том, о сем шумно, но без особого увлечения. За исключением Анжольраса и Мариуса, которые хранили молчание, каждый разглагольствовал о чем придется. Товарищеские беседы принимают иногда такую форму мирной бестолковой болтовни. Это был не столько разговор, сколько игра, словесная неразбериха. Перебрасывались словами, подхватывали их на лету. Говор слышался во всех углах.

Ни одна женщина не допускалась в заднее помещение кафе, кроме Луизон, судомойки, время от времени проходившей здесь, направляясь из комнаты, где мылась посуды, в «лабораторию» кабачка.

Грантэр, сильно навеселе, забрался в угол и выкрикивал оттуда всякую чепуху, оглушая окружающих:

— Жажда томит меня, о смертные, — орал он, — мне приснился сон, будто с гейдельбергской бочкой случился удар, будто ей поставили дюжину пиявок и будто одна из них — я. Мне хочется выпить. Мне хочется забыться. Жизнь — кто ее только выдумал! — прегнусная штука. И длится она минуту, и цена ей грош. Станешь жить — непременно сломаешь себе на этом деле шею. Жизнь — только сцена с декорациями и почти без реквизита. Счастье — старая рама, выкрашенная с одной стороны. Все суета сует, говорит Екклезиаст. Я вполне разделяю мнение милейшего старца, хотя его, быть может, никогда не существовало на свете. Нуль, не желая ходить нагишом, рядится в суету. О суета! Стремление все приукрасить громкими словами. Ты превращаешь кухню в лабораторию, плясуна в учителя танцев, акробата в гимнаста, кулачного бойца в боксера, аптекаря в химика, парикмахера в художника, штукатура в архитектора, жокея в спортсмена, мокрицу в ракообразное из отряда равноногих. У суеты есть изнанка и лицо. С лица она тупа — это негр

в своих побрякушках; с изнанки глупа — это философ в своем рубище. Я плачу над первым и смеюсь над вторым. То, что зовется почестями и высоким саном, и даже настоящая честь и слава — подделка под золото. Человеческое тщеславие — игрушка для царей. Калигула сделал консулом коня, Карл Второй возвел в рыцарское достоинство жаркое. А после этого в компании консула Incitatus¹ и баронета Ростбифа не угодно ли кичиться чинами и орденами! Что же касается внутренних качеств человека, то и они немного стоят. Достаточно послушать панегирики, какие сосед поет соседу. Белое всегда жестоко к белому. Умей лилия говорить, не поздоровилось бы от нее голубке! Ханжа, которая судит о святоше, ядовитее ехидны и гадюки. Жаль, что я невежда, а не то я привел бы вам кучу примеров, но я ничего не знаю. Кстати, умом я никогда не был обижен. Когда я учился у Гро, то зря времени не тратил, но проводил его с пользой: картинок не мазал, а таскал яблоки. Что малевать, что воровать — все один чорт! Это я о себе. Впрочем, и вам всем цена не выше. Плевать я хотел на все ваши совершенства, достоинства и качества. Любое качество может обернуться недостатком: бережливый — родня скупому, щедрый — брат моту, храбрый — друг бахвала, от смиренных речей всегда отдает лицемерием. В добродетели столько же пороков, сколько дыр в плаще Диогена. Кому дарите вы восторги? Убиенному или убийце? Цезарю или Бруту? Обычно все на стороне убийцы. Да здравствует Брут, он совершил убийство! Вот это и называется добродетелью! Добродетелью — пускай, но и столько же безумством. У великих сих мужей большие странности. Брут, убивший Цезаря, был влюблен в статую мальчика. Статуя эта была изваяна греческим скульптором Стронгилионом, резцу которого принадлежит также фигура амазонки, так называемой Эвкнемозы Прекрасноногой, которую Нерон повсюду возил с собою. От Стронглиона остались только эти две статуи, послужившие почвой для сближения Брута и Нерона. Брут был влюблен в одну, Нерон — в другую. История — лишь нудная жвачка. Один век бесцеремонно сдирает все у другого. Битва при Маренго — точная копия битвы при Пидне; Толбиак Хлодвиг и Аустерлиц Наполеона

¹ Быстро бегущий (лат.).

похожи как две капли крови. Я не придаю победе никакого значения. Побеждать — глупейшее занятие. Не победить, а убедить — вот что достойно славы. А ну-ка, попробуйте хоть что-нибудь доказать! Но с вас достаточно преуспевать и покорять. Какая посредственность, какое ничтожество! Увы, куда ни глянь, повсюду тщета и низость. Все подчиняется успеху, даже грамматика. «*Si volet usus*»¹, говорит Гораций. Вот за что и презираю я род человеческий. А теперь не перейти ли нам от общего к частному? Быть может, вы ждете от меня похвалы народам? С кого же начать нам, разрешите спросить? Не угодно ли с Греции? Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона — здесь невольно напрашивается сравнение с убийством Колиньи — и до такой степени низкопоклонствовали перед тиранами, что Анацефор говорил про Пизистрата, будто «на запах его урины слетаются пчелы». В течение полувека влиятельнейшим лицом в Греции был маленький и щедушный грамматик Филет, которому приходилось подбивать свою обувь свинцом, чтобы его не унесло ветром. На главной площади Коринфа стояла статуя, изваянная Силанионом и описанная Плинием. Статуя изображала Эпистата. Что же такого великого совершил Эпистат? Он изобрел прием «подножку». Вот в основном и все, что можно сказать о Греции и славе. Пойдем дальше. Кому теперь вознести мне хвалу? Англии или Франции? Франции? За что, не за Париж ли? Но я уже высказал свой взгляд на Афины. Англии? За что? Не за Лондон ли? Но я ненавижу Карфаген. К тому же Лондон не только метрополия роскоши, но и столица нищеты. В одном лишь Чаринг-Кроссе ежегодно умирает от голода до ста человек. Вот он каков, Альбион! Для полноты картины добавлю, что видел однажды англичанку, танцовавшую в венке из роз и в синих очках. Так скорчим же Англии рожу! Однако не означает ли мой отказ от похвалы Джону Булю желание похвалить брата Джонатана? Ни-коим образом. Сей брат-рабовладелец мне совсем не внушает симпатии. Отнимите у Англии *time is money*², и что останется от Англии? Отнимите у Америки *cotton is king*³,

¹ Если потребует обычай (лат.).

² Время — деньги (англ.).

³ Хлопок — король (англ.).

и что останется от Америки? У Германии характер лимфатический, у Италии — желчный. Может быть, нам следует восторгаться Россией? Вольтер рассыпал ей похвалы. Впрочем, он рассыпал их и Китаю. Я не отрицаю, что у России есть свои преимущества, и в том числе крепкая деспотическая власть. Но мне жаль деспотов. У них хрупкий организм. Обезглавленный Алексей, заколотый Петр, один задушенный Павел, другой — затоптанный сапогами, ряд зарезанных Иванов, несколько отравленных Николаев и Василиев — все явно свидетельствует о том, что обстановка во дворце русских императоров вредна для здоровья. Одно явление, наблюдающееся среди всех цивилизованных народов, служит предметом удивления для мыслителей. Я имею в виду войну, ибо война, и война цивилизованная, применяет полностью все виды разбоя, начиная от нападения испанских трабукеров в горных ущельях Жакки и кончая грабежом индейцев-команчей. Ах, бросьте, скажете вы, Европа все-таки лучше Азии! Я не отрицаю, что Азия смехотворна. Однако я не вижу особых оснований вам, о народы Запада, потешаться над далай-ламой, — вам, которые внесли в свои моды и в свой элегантный обиход все нечистоплотные привычки царственных особ — и грязную сорочку королевы Изабеллы и стульчак дофина! Нет, дудки, господа человеки! В Брюсселе больше всего потребляют пива, в Стокгольме — водки, в Мадриде — шоколада, в Амстердаме — можжевельники, в Лондоне — вина, в Константинополе — кофе, в Париже — абсента. Вот вам и все полезные сведения. А вообще говоря, Париж всех их перещеголял. В Париже и тряпичник живет, как сибарит; Диогену, наверное, доставило бы не меньшее удовольствие быть тряпичником на площади Мобер, чем философом в Пирее. Запомните также следующее: кабачки тряпичников называются погребками. Самые знаменитые из них «Кастрюля» и «Скотобойня». Итак, о трактиры и кабаки, закусовые и питейные, рестораны и харчевни, распивочные и кофейни, караван-сарай халифов и погребки тряпичников! Сим свидетельствую, что я чревоугодник и столуюсь у Ришара по сорок су за обед и желаю иметь персидские ковры, чтобы завертывать в них нагую Клеопатру. Кстати, где же она, Клеопатра? Ах, это ты, Луизон? Давай поздороваемся.

Так разглагольствовал мертвецки пьяный Грантэр в углу дальней комнаты кафе «Мюзен», задев и проходившую мимо судомойку.

Боссюэ протянул руку, пытаясь заставить его замолчать, но Грантэр еще пуще разошелся.

— Лапы прочь, орел из Мо! Твой жест Гиппократы, отвергающего презренный дар Артаксеркса, ничуть меня не трогает. Я готов избавить тебя от труда и уговориться. Между прочим, мне очень грустно. Что вам еще сказать? Человек дурен, человек безобразен. Бабочка удалась, а человек не вышел. С этим животным господь бог опростоволосился. Толпа — богатейший выбор всяческих уродств. Кого ни возьми — одна дрянь. Женщина прелестна, рифмуется с «бесчестна». Да, разумеется, я болен сплином, осложненным меланхолией и ностальгией, а впридачу ипохондрией, и я злюсь, бешусь, зеваю, скучаю, томлюсь и изнываю. И ну его господя бога к чорту!

— Да замолчи же, наконец, ЭР прописное! — прервал его Боссюэ, обсуждавший в эту минуту какой-то юридический казус с воображаемым собеседником и по уши увязший в одной из фраз судейского жаргона, заключительные слова которой гласили:

«...А что до меня, то, будучи еще мало искушенным в юриспруденции и выступая в роли обвинителя не более как любитель, я все же решаюсь утверждать нижеследующее, а именно: что, согласно нрмандскому обычному праву, ежегодно в Михайлов день со всех, без всяких изъятий, землевладельцев взимался в пользу сеньора, помимо прочих, еще некий налог как с земельной собственности, так и с земель, переходящих по наследству, спорных, взятых в краткосрочную или долгосрочную аренду, свободных от обложений, сданных и принятых в залог, а равно с земельных купчих и...»

— «Эхо, жалобных нимф голоса», — затянул Грантэр.

По соседству с Грантэром за столиком царила почти гробовая тишина. Лист бумаги, чернильница и перо между двумя рюмками свидетельствовали о том, что здесь сочиняется водевиль. Это серьезное дело обсуждалось вполголоса, и две склоненные в трудах головы касались друг друга.

— Прежде всего надо придумать имена. Раз есть имена, нетрудно будет придумать и сюжет.

— Это верно. Диктуй. Я записываю.

— Господин Доримон.

— Рантье?

— Разумеется.

— Его дочь Целестина...

— ...тина. Дальше?

— Полковник Сенваль.

— Сенваль слишком избито. Лучше Вальсен.

Неподалеку от начинающих водевилистов другая пара, также воспользовавшись шумом, вполголоса обсуждала условия дуэли. Умудренный годами тридцатилетний старец наставлял восемнадцатилетнего юнца, расписывая, с каким противником ему предстоит иметь дело.

— Будьте осторожны, чорт побери! Это лихой дуэлист. Работает чисто. Ловко нападает и не даст противнику sluкавить. Руку имеет твердую, находчив, сообразителен, удары парирует мастерски, а наносит их математически точно, будь он неладен! И вдобавок еще левша.

В противоположном от Грантэра углу Жоли и Баорель играли в домино и рассуждали о любви.

— Ты настоящий счастливчик, — говорил Жоли. — Твоя возлюбленная только и знает, что смеется.

— И напрасно, — отвечал Баорель, — это с ее стороны большая оплошность. Возлюбленной вовсе не следует вечно смеяться. Это поощряет нас к измене. Видя ее веселой, не чувствуешь раскаяния; а если она печальна, как-то становится совестно.

— Неблагодарный! Так приятно, когда женщина смеется! И никогда-то вы не ссоритесь!

— Ну, на этот счет у нас особый уговор. Заклучая священный наш союз, мы определили друг другу границы, которые никогда не преступаем. То, что на север, отошло к Во, то, что на юг, — к Жексу. Отсюда и нерушимый мир.

— Мир — это спокойно перевариваемое счастье.

— А что слышно у тебя, Жол-л-л-л-и? Как твоя ссора с мамзель? Ты знаешь, кого я имею в виду?

— Да она все дуется на меня, жестоко и упорно.

— Казалось бы, такой тощий возлюбленный, как ты, уже одной своей худобой должен был ее разжалобить.

— Увы!

— На твоём месте я бы с ней распрощался.

— Это легко сказать.

— Не труднее, чем сделать. Если не ошибаюсь, ее зовут Мюзикетта?

— Да. Ах, дружище Баорель, что это за прелестная девушка, и какая начитанная! Ножка маленькая, ручка маленькая. Всегда мило одета, беленькая, пухленькая, а глазки, ну просто колдовские. Я от нее без ума!

— В таком случае надо постараться ей понравиться. Надо принарядиться. Купил бы ты себе у Штауба добротные шерстяные панталоны. Это действует.

— А надолго ли? — крикнул Грантэр.

В третьем углу шел жаркий спор о поэзии. Драка разгоралась между языческой и христианской мифологией. Вопрос касался Олимпа, защитником которого, уже в силу своих симпатий к романтизму, естественно выступал Жан Прувер. Последний бывал застенчив только в спокойном состоянии духа. Стоило ему прийти в возбуждение, как у него развязывался язык, появлялся какой-то задор, и он становился насмешлив и одновременно лиричен.

— Не будем оскорблять богов, — взывал он. — Быть может, боги еще живы. Мне лично Юпитер вовсе не кажется мертвым. По-вашему, боги — это только мечты. Однако и теперь, когда эти мечты рассеялись, в природе попрежнему находишь все великие мифы языческой древности. Какая-нибудь гора, ну хотя бы Виньмаль, очертаниями своими напоминающая крепость, для меня, как и встарь, — головной убор Кибелы; вы ничем мне не докажете, что Пан не приходит по ночам дуть в дуплистые стволы ив, поочередно перебирая пальцами дырочки; и я всегда был убежден, что образование водопада Писваш не обошлось без некоего участия Ио.

Наконец в последнем углу говорили о политике. Бранили королевскую хартию. Комбефер вяло защищал ее, а Курфейрак яростно нападал на нее. На столе лежал злополучный экземпляр хартии знаменитого издания Туке. Курфейрак, схватив листок и потрясая им в воздухе, подкреплял свои аргументы шелестом бумаги.

— Во-первых, я вообще против всяких королей, — заверял он. — Уже из одних соображений экономического порядка я считаю их излишними: король всегда паразит. Короля нельзя иметь даром. Послушайте только, во что

обходятся короли. После смерти Франциска Первого государственный долг Франции достигал тридцати тысяч ливров ренты; после смерти Людовика Четырнадцатого он возрос до двух миллиардов шестисот миллионов, считая стоимость марки в двадцать восемь ливров, что, по словам Демаре, равнялось бы в тысяча семьсот шестидесятом году четырем миллиардам пятистам миллионам, а в наши дни составляло бы двенадцать миллиардов. Во-вторых, не в обиду будь сказано Комбеферу, королевские хартии плохие проводники прогресса. Говорят, что конституционные фикции нужны для того, чтобы облегчить поворот к новому, сделать переход менее резким, ослабить удар, дать нации незаметно пройти путь от монархии к демократии. Эти аргументы никуда не годятся! Нет, нет и нет! Никогда не следует показывать народу факты в ложном свете. Самые лучшие принципы блекнут и вянут в ваших конституционных подвалах. Никаких половинчатых решений. Никаких компромиссов. Никаких всемилостивейших, дарованных народу вольностей. Во всех таких вольностях всегда наличествует какой-нибудь параграф четырнадцатый. Одной рукой дается, другой отнимается. Нет, я решительно против вашей хартии. Хартия — маска, под которой скрывается ложь. Народ, принимающий хартию, отрекается от своих прав. Право есть право лишь до тех пор, пока оно остается целостным. Нет! Никаких хартий!

Дело происходило зимой; два полена потрескивали в камине. Соблазн был велик, и Курфейрак не устоял. Скомкав в кулаке несчастную хартию Туке, он бросил ее в огонь. Бумага запылала. Комбефер с философским спокойствием глядел, как горело лучшее детище Людовика XVIII, и ограничился одной только фразой:

— Метаморфоза совершилась — хартия превращена в пламя.

А над всем этим здесь царило то, что у французов именуется оживлением, а у англичан — юмором. Насмешки, шутки, остроты, парадоксы и пошлости, трезвые мысли и глупости, шальные ракеты вопросов и ответов, поднимаясь сразу со всех концов комнаты, создавали впечатление какой-то веселой перестрелки, которая шла поверх голов присутствующих.

В столкновении юных умов чудесно то, что никогда нельзя предвидеть, блеснет ли искра, или засверкает молния. Что возникнет через минуту? Никто не знает. Трогательное может встретить взрыв смеха, а смешное — заставить серьезно задуматься. Первое попавшееся слово служит толчком. В таких беседах все капризы законны. Простая шутка открывает неожиданный простор мысли. Стремительный переход от темы к теме, внезапно меняющий всю перспективу, составляет отличительную черту подобных разговоров. Их двигатель — случайность.

Глубокая мысль, непонятно как родившаяся среди словесной трескотни, вдруг прорвалась сквозь гущу беспорядочных речей спорящих между собою Грантэра, Баореля, Прувера, Боссюэ, Комбефера и Курфейрака.

Как появляется иная фраза в диалоге? Почему вдруг, без всякого внешнего повода, останавливает она на себе внимание слушателей? Мы уже сказали, что это никому не известно. Посреди шума и гама Боссюэ вдруг неожиданно заключил какое-то возражение Комбеферу упоминанием даты:

— Восемнадцатого июня тысяча восемьсот пятнадцатого года, Ватерлоо.

Мариус сидел за стаканом воды, облокотившись на стол; при слове «Ватерлоо» он отнял руку от подбородка и принялся внимательно следить за присутствующими.

— Меня всегда поражало, бог ее знает (выражение «чорт знает» в ту пору начинало выходить из употребления), что это за странная цифра восемнадцать! — воскликнул Курфейрак. — Восемнадцать — роковое число для Бонапарта. Поставьте перед цифрой восемнадцать Людовик, а после нее — Брюмер, и вот вам вся судьба великого человека с одной лишь существенной разницей, что в данном случае конец опережает начало.

Тут Анжольрас, еще не проронивший ни звука, нарушил молчание и, обращаясь к Курфейраку, заметил:

— Ты хочешь сказать, что кара опережает преступление?

«Преступление!» — это слово переполнило чашу терпения Мариуса, уже и без того крайне взволнованного внезапным упоминанием о Ватерлоо.

Он встал, неторопливо подошел к висевшей на стене карте Франции, на которой внизу, в отдельной клетке был нарисован остров, и, коснувшись пальцем карты, сказал:

— Это Корсика. Маленький островок, сделавший Францию такой великой.

Сразу словно пахнуло ледяным дыханием. Все смолкло. Чувствовалось, что сейчас что-то начнется.

Баорель собирался в эту минуту пустить в ход один из излюбленных своих ораторских приемов для стремительного контрудара Боссюэ. Теперь он отказался от этого и приготовился слушать.

Анжольрас, голубые глаза которого, казалось, никого не замечая, были устремлены в пустоту, ответил, не глядя на Мариуса:

— Чтобы быть великой, Франция не нуждается ни в какой Корсике. Франция велика потому, что она — Франция. *Quia nominor leo*¹.

Однако Мариус не имел ни малейшего намерения отступать. Он обернулся к Анжольрасу и заговорил громким, дрожащим от внутреннего волнения голосом:

— Боже меня упаси умалять величие Франции! Но сливать воедино Францию и Напотеона вовсе не означает умалять ее. Послушайте, поговорим откровенно. Я новичок среди вас, но, должен признаться, вы меня удивляете. Объяснимся же, приведем в ясность, с кем мы и кто мы. Кто вы, кто я? Выскажемся чистосердечно об императоре. Вы зовете его не иначе, как Буонапарт с ударением на *у*, словно роялисты. Надо сказать, что мой дед в этом отношении вас превзошел: он произносит — *Буонапарте*. Я считал вас людьми молодыми. Так где же и в чем он, ваш молодой энтузиазм? Уж если император не заслуживает вашего восхищения, то кто же заслуживает? Чего еще ищете вы? Уж если этот великий человек вам не угодил, то какие еще великие люди нужны вам? Ему было дано все. Он являл собою совершенство. В его мозгу все человеческие способности были представлены возведенными в куб. Подобно Юстиниану, составлял он своды

¹ Ибо ношу имя льва (лат.).

законов; подобно Цезарю, предписывал их; в речах его, как у Паскаля, сверкали молнии и, как у Тацита, слышались грома; он равно и творил и писал историю, его бюллетени — те же песни «Илиады»; он владел искусством сочетать язык чисел Ньютона с языком метафор Магомета; на Востоке он оставлял на своем пути слова, великие, как пирамиды; в Тильзите учил императоров царственности; в Академии наук с успехом возражал Лапласу; в Государственном совете выходил победителем, споря с Мерленом; он умел вдохнуть живую душу в мертвую геометрию одних и в мелочную формалистику других; с юристами он превращался в законника и в астронома — с звездочетами; подобно Кромвелю, который из двух горящих свечей всегда задувал одну, он, чтобы подешевле купить какие-нибудь кисти для занавеси, самолично отправлялся в Тампль; он все замечал, все знал, что, однако, несколько не мешало ему добродушно улыбаться над колыбелью своего малютки. Но вот испуганная Европа уже слышит: армии выступают в поход, с грохотом катятся артиллерийские парки, пловучие мосты протягиваются через реки, тучи конницы несутся вихрем, крики, трубные звуки, всюду колеблются троны, границы государств меняются на карте, доносится свист выхваченного из ножен меча сверхчеловеческой тяжести, и, наконец, он, император, появляется на горизонте, с огнем в руках и пламенем в очах, раскинув среди громов и молний два крыла своих: великую армию и старую гвардию, — воистину архангел войны!

Все молчали, а Анжольрас потупил голову. Молчание всегда может быть до некоторой степени сочтено знаком согласия или свидетельством того, что противник прижат к стенке. Мариус, почти не переводя дыхания, продолжал с еще большим воодушевлением.

— Будем же справедливы, друзья! Империя такого императора! Какая блестящая судьба для народа, если это народ Франции и если он приобщает собственный гений к гению этого человека! Воцаряться всюду, где бы ни появился, торжествовать всюду, куда бы ни пришел, делать местом привала столицы всех государств, сажать королями своих гренадеров, росчерком пера упразднить династии, штыками перекраивать Европу, — пусть чувствуют, что когда он угрожает, рука его на эфесе божьего меча!

Какая блестящая судьба следовать за человеком, совмещающим в лице своем Ганнибала, Цезаря и Карла Великого, быть народом того, кто что ни день дарует вам благую весть успехов в ратном деле, пробуждает вас залпами пушки Дома инвалидов, бросает в пучину вечности чудесные, неугасимым пламенем горящие слова: Маренго, Арколь, Аустерлиц, Иена, Ваграм! Кто поминутно зажигает в зените веков созвездия новых побед, уподобляет Французскую империю Римской! Какая блестящая судьба быть великой нацией и создать великую армию и, подобно горе, посылающей орлов своих во все концы вселенной, дать разлететься по всей земле своим легионам, покорять, властвовать, повергать ниц, представлять собою какой-то исключительный народ в Европе, сверкающий золотом славы, оглашать историю фанфарами титанических труб, побеждать мир дважды: силой оружия и ослепительным светом! Это ли не прекрасно! И есть ли что-либо прекраснее этого?

— Быть свободным, — промолвил Комбефер.

Теперь Мариус в свою очередь потупил голову. Эти простые и сдержанные слова словно стальным клинком врезались в поток его эпических излияний, и он почувствовал, что поток этот иссякает. Когда он поднял глаза, Комбефера уже не было. Удовлетворившись, повидимому, своей репликой на тирады Мариуса, он ушел, и все, за исключением Анжольраса, последовали за ним. Комната опустела. Анжольрас остался теперь наедине с Мариусом и не сводил с него строгого взгляда. Между тем, собравшись немного с мыслями, Мариус не признал себя побежденным; все внутри у него еще кипело, и это кипение, наверное, вылилось бы в ряд длиннейших силлогизмов, направленных против Анжольраса, если бы внезапно не послышался чей-то голос. Кто-то пел, спускаясь по лестнице. Это был Комбефер, а пел он следующее:

Когда бы Цезарь дал мне славу,
И трон, и скипетр, и державу,
И мне велел за то предать
Мою возлюбленную мать,
Я Цезарю сказал бы прямо:
«Мне твоего не надо хлама,
Я мать свою люблю, слепец!
Я мать свою люблю!»

Нежное и вместе с тем суровое выражение, с каким Комбефер пел эти слова, придавали им какой-то особый и высокий смысл. Мариус задумчиво поднял глаза и почти машинально повторил:

Я мать свою люблю...

В ту же минуту он почувствовал на своем плече руку Анжольраса.

— Гражданин, — сказал, обращаясь к нему Анжольрас, — мать — это Республика.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Res angusta*¹

Этот вечер оставил в душе Мариуса глубокий след и погрузил его в печаль и тьму. Он испытывал то же, что, возможно, испытывает земля, когда ее вскрывают, врезаясь железом, чтобы бросить семя; она чувствует в этот момент только боль от раны; трепет зарождающейся жизни и радостное ощущение зреющего плода приходят позднее.

Мрачное настроение овладело Мариусом. Он так недавно обрел веру; неужели необходимо уже отречься от нее? Он убеждал себя, что не нужно. Твердил себе, что не поддастся сомнениям, и тем не менее невольно поддавался им. Стоять на распутье между двумя религиями, еще не расставшись с одной и еще не примкнув к другой, невыносимо тяжело; лишь человеку-нетопырю милы такие потемки. Мариус же принадлежал к людям со здоровым зрением, и ему нужен был неподдельный дневной свет. Полутьма сомнений угнетала его. Вопреки желанию оставаться на старых позициях и не трогаться с места, его неудержимо тянуло и влекло вперед, толкало исследовать, раздумывать, двигаться дальше. «Куда же это приведет меня?» — задавал он себе вопрос. Прodelав такой длинный путь, чтобы приблизиться к отцу, он боялся, как бы теперь снова не отдалиться от него. И чем больше он размышлял, тем тяжелее становилось у него на сердце.

¹ Тяготы жизни (лат.).

Всюду ему виделись крутые обрывы. Ни с дедом, ни с друзьями не достиг он единомыслия: для одного он был слишком вольнодумным, для других — слишком отсталым; он чувствовал себя вдвойне одиноким, отвергнутым и старостью и молодостью. Он перестал ходить в кафе «Мюзен».

Охваченный душевной тревогой, Мариус не думал даже о некоторых насущных сторонах существования. Но действительность не дает себя забыть. Она не преминула напомнить о себе пинком.

Однажды утром хозяин гостиницы, войдя в комнату Мариуса, заявил:

— Господин Курфейрак поручился за вас.

— Да.

— Но я хотел бы получить деньги.

— Попросите Курфейрака зайти ко мне. Мне надо переговорить с ним, — ответил Мариус.

Когда Курфейрак пришел и хозяин удалился, Мариус рассказал Курфейраку то, что до сих пор не удосужился рассказать, а именно, что теперь он одинок на свете и что родных у него больше нет.

— Как же вы будете жить? — спросил Курфейрак.

— Не знаю, — ответил Мариус.

— Что вы намерены делать?

— Не знаю.

— Есть ли у вас деньги?

— Пятнадцать франков.

— Не хотите ли занять у меня?

— Ни в коем случае.

— Есть ли у вас какое-нибудь носильное платье?

— Да вот же оно.

— А какие-нибудь ценные вещи?

— Часы.

— Серебряные?

— Нет, золотые. Вот они.

— У меня есть знакомый торговец платьем, который купит у вас редингот и панталоны.

— Превосходно.

— Значит, у вас останется тогда только одна пара панталон, жилет, шляпа и сюртук.

— И сапоги.

— В самом деле? Вам не придется ходить босиком? Какая роскошь!

— Большой мне и не требуется.

— У меня есть знакомый часовщик, который купит у вас часы.

— Очень хорошо.

— Совсем не хорошо. А что вы будете делать потом?

— Я согласен на любой труд, был бы только честный.

— Знаете ли вы английский язык?

— Нет.

— А немецкий?

— Тоже нет.

— Жаль.

— Почему?

— Да потому, что один мой приятель-книготорговец издает нечто вроде энциклопедии, для которой вы могли бы переводить статьи с немецкого или английского. Платят, правда, маловато, но жить на это все же можно.

— Я выучусь и английскому и немецкому языку.

— А до тех пор?

— До тех пор буду проедать свое платье и часы.

Позвали торговца платьем. Он купил добро Мариуса за двадцать франков. Сходили к часовщику. Он купил часы за сорок пять франков.

— Ну что же, это неплохо, — сказал Мариус Курфейраку, возвращаясь в гостиницу, — с моими пятнадцатью получится восемьдесят франков.

— А счет за гостиницу? — напомнил Курфейрак.

— Верно. Я и позабыл, — сказал Мариус.

Хозяин представил счет, который необходимо было немедленно оплатить. Он достигал семидесяти франков.

— У меня остается десять франков, — заметил Мариус.

— Чорт возьми, — воскликнул Курфейрак, — вам придется, таким образом, питаться на пять франков, пока вы будете изучать английский язык, и еще на пять, пока будете изучать немецкий! Для этого нужно либо очень быстро поглощать языки, либо очень медленно монеты в сто су.

Между тем тетушка Жильнорман, женщина в сущности добрая, что особенно сказывалось в трудные минуты жизни, докопалась в конце концов, где живет Мариус. Как-то

утром, вернувшись с занятий, Мариус нашел у себя письмо от нее и запечатанную шкатулку с «шестьюдесятью пистоллями», то есть шестьюстами франками золотом.

Мариус отослал тетушке деньги обратно с приложением почтительного письма, в котором заявлял, что имеет средства к существованию и может впредь сам себя содержать. К тому времени у него оставалось всего три франка.

Тетушка не сообщила деду об отказе Мариуса, боясь вконец рассердить старика. Тем более что он и сам приказал при нем «никогда не упоминать об этом кровопийце!»

Мариус, не желая входить в долги, покинул гостиницу Порт-Сен-Жак.

ПРЕИМУЩЕСТВО НЕСЧАСТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Мариус в нищете

Жизнь стала суровой для Мариуса. Проедать часы и платье — это еще полбеды. Но он отведал и такого, чего не передать, — как говорится, *хлебнул горя*. Страшная вещь — нужда; она означает дни без хлеба, ночи без сна, вечера без свечи, очаг без огня; она означает, что неделями нечего заработать и от будущего нечего ждать; она означает сюртук, протертый на локтях, и старую шляпу, возбуждающую у молодых девушек смех; дверь, которую, возвращаясь вечером к себе, находишь на замке, потому что не заплатил за квартиру; наглость портье и кухмистра, усмешечки соседей; унижение, уязвленное самолюбие, необходимость мириться с любой работой, отвращение ко всему, горечь, подавленность. Мариус научился проглатывать все это и не удивляться, что другого зачастую и глотать нечего. В ту пору жизни, когда человеку особенно необходимо сознание собственного достоинства, потому что необходима любовь, он видел себя посмешищем, потому что был плохо одет, и презираемым всеми, потому что был беден. В том возрасте, когда молодость переполняет наше сердце царственной гордыней, он не раз с краской стыда опускал глаза на дырявые свои сапоги и познал незаслуженный и мучительный позор нищеты. Чудесное и грозное испытание, из которого слабые выходят, потеряв честь, а сильные — обретя величие. Это горнило, куда судьба бросает человека всякий раз, когда ей нужен подлец или полубог.

Ибо в мелкой борьбе совершается много великих подвигов. В ней столько примеров упорного и скрытого мужества, шаг за шагом, невидимо отражающего роковой натиск лишений и низких соблазнов. В ней одерживаются благородные, но тайные победы, которых ни один глаз не видит, молва не восхваляет, трубный глас не приветствует. Жизнь, несчастье, одиночество, заброшенность, бедность — вот поле битвы, выдвигающее собственных героев, безвестных, но иной раз превосходящих доблестью самых прославленных.

Сильные и редкие натуры именно так и создаются. Нищета, являющаяся почти всегда мачехой, иногда бывает и матерью. Скудость материальных благ рождает духовную и умственную мощь; тяжкие испытания вскармливают гордость; несчастья служат здоровой пищей для благородного характера.

В жизни Мариуса было время, когда он сам подметал площадку на своей лестнице, когда, купив у торговли на одно су сыра бри, он дожидался сумерек, чтобы войти в булочную и купить маленький хлебец, который тайком, словно краденый, уносил к себе на чердак. Зачастую можно было наблюдать молодого человека с книгами подмышкой, который, направляясь в расположенную на углу мясную лавку, неловко пробирался сквозь толпу отпускавших грубые шутки и толкавших его кухарок. Вид у него был смущенный и дикий. Войдя в лавку, он стаскивал с головы шляпу, и на лбу его блестили капельки пота; он отвешивал низкий поклон удивленной лавочнице, затем такой же приказчику, спрашивал отбивную баранью котлетку, платил за нее шесть или семь су, заворачивал покупку в бумагу и, засунув подмышку между двух книг, уходил. То был Мариус. Этой котлеткой, которую он сам жарил, он питался три дня.

В первый день он съедал мясо, на другой — жир, а на третий обгладывал косточку.

Тетушка Жильнорман несколько раз возобновляла попытки переслать ему упомянутые шестьдесят пистолей. Мариус неизменно отсылал их назад, заявляя, что ни в чем не нуждается.

Он носил еще траур по отцу, когда с ним произошли описанные нами перемены. С тех пор он уже не мог отказаться от своего черного платья. Зато платье само отказа-

лось ему служить. В один прекрасный день сюртук уже нельзя было надеть, хотя панталоны еще могли кое-как сойти. Что делать? Курфейрак, которому Мариус со своей стороны оказал некоторые дружеские услуги, отдал ему старый сюртук. Какой-то портье взялся за тридцать су перелицевать его. Сюртук вышел как новенький. Но он был зеленого цвета. Тогда Мариус стал выходить из дома только с наступлением сумерек. Благодаря этому сюртук казался черным. Не желая снимать траура, Мариус облакался в темноту ночи.

Несмотря на все описанные трудности, ему удалось все же получить диплом адвоката. Считалось, что он живет в комнате Курфейрака, вполне приличной, где некоторое количество старых книг по юриспруденции, дополненное и обогащенное несколькими томами разрозненных романов, заменяло положенную по стажу библиотеку юриста. Письма Мариус просил адресовать ему на квартиру Курфейрака.

Став адвокатом, Мариус уведомил об этом деда холодным, но очень вежливым и почтительным письмом. Г-н Жильнорман взял письмо дрожащими руками, прочел и, разорвав на четыре части, бросил в корзину. Два-три дня спустя м-ль Жильнорман услышала, как отец, находясь один в комнате, громко разговаривал сам с собой. Это случалось с ним всякий раз, когда он бывал чем-нибудь сильно взволнован. Она прислушалась. «Не будь ты таким дураком, — говорил старик, — ты понял бы, что нельзя быть сразу бароном и адвокатом».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Мариус в бедности

Все на свете образуется, нищета тоже. Мало-помалу она становится не такой уже невыносимой. Она приобретает в конце концов какой-то устоявшийся определенный уклад. Человек прозябает — иными словами, влачит жалкое существование, но все же может прокормиться. Жизнь Мариуса Понмерси наладилась, и вот каким путем.

Самое худшее для него уже миновало. Теснина впереди несколько расступилась. Трудом, мужеством,

настойчивостью и выдержкой ему удавалось зарабатывать около семисот франков в год. Он выучился немецкому и английскому языку. Благодаря Курфейраку, который свел его с своим приятелем-книготорговцем, Мариус стал выполнять в книготорговле самую скромную роль *полезности*. Он составлял конспекты, переводил статьи из журналов, писал краткие отзывы о книжных новинках, биографические справки и т. п., что давало ему худо-бедно чистых семьсот франков ежегодно. На них он и жил. И жил сносно. А как именно? Это мы сейчас расскажем.

За тридцать франков в год Мариус нанимал в лачуге Горбо конуру без камина, важно именовавшуюся кабинетом; в ней по части обстановки имелось только самое необходимое. Обстановка эта являлась собственностью Мариуса. Три франка в месяц он платил старухе, главной жилище, за то, что она подметала конуру и приносила ему по утрам немного горячей воды, свежее яйцо и хлебец ценою в одно су. Хлебец и яйцо служили ему завтраком. Завтрак стоил от двух до четырех су, в зависимости от того, дорожали или дешевели яйца. В шесть часов вечера он спускался под горку на улицу Сен-Жак пообедать у Руссо, против торговца эстампами Басэ, на углу улицы Матюрен. Супа он не ел. Он брал обычно порцию мясного за шесть су, полпорции овощей за три су и десерта на три су. Хлеб стоил три су и давался вволю. А вместо вина он пил воду. Расплачиваясь у конторки, где величественно восседала в ту пору еще не утратившая полноты и свежести г-жа Руссо, он давал су гарсону и получал в награду улыбку г-жи Руссо. Затем уходил. Улыбка и обед обходились ему в шестнадцать су.

Трактир Руссо, где опорожнялось так мало винных бутылок и так много графинов с водой, можно было скорее причислить к заведению прохладительного, нежели горячительного типа. Теперь этого трактира уже нет. У хозяина было удачное прозвище, его называли: «водяным Руссо».

Итак, при завтраке в четыре су и обеде в шестнадцать, Мариус тратил на еду двадцать су в день, что составляло триста шестьдесят пять франков в год. Прибавьте сюда указанные тридцать франков за квартиру и тридцать

шесть франков старухе, кое-какие мелкие расходы — и получится, что за четыреста пятьдесят франков Мариус имел стол, квартиру и услуги. Одежда стоила ему сто франков, белье — пятьдесят, стирка — пятьдесят, а все в совокупности не превышало шестисот пятидесяти франков. У него оставалось еще пятьдесят франков. Он был богачом. Он мог в случае надобности дать приятелю десятку-другую взаймы; однажды Курфейрак занял у него даже целых шестьдесят франков. Что касается топлива, то эту статью расхода, поскольку в комнате не было камина, Мариус «упразднил».

У Мариуса всегда имелось два костюма: старый, «для каждого дня», и новый — для торжественных случаев. И тот и другой черного цвета. Сорочек у него было не больше трех: одна на нем, другая в комоде, третья у прачки. Он пополнял их по мере того, как они снашивались. Но они были почти всегда изорваны, что вынуждало его застегивать сюртук до самого подбородка.

Чтобы достигнуть такого цветущего состояния, Мариусу понадобились годы. То были тяжкие годы; их нелегко было прожить и нелегко выйти победителем. Мариус ни на один день не ослаблял усилий. И если говорить о лишениях, то чего только он не испытал и за что только не брался, избегая лишь одного — брать в долг. Он мог смело сказать, что никогда не был должен никому ни единого су. Для него всякий долг означал уже начало рабства. В его представлении кредитор был даже хуже господина; ибо господская власть распространяется только на ваше физическое я, а кредитор посягает на ваше человеческое достоинство и может унижить его. Мариус предпочитал отказываться от пищи, только бы не делать долгов, и не один день случалось ему сидеть голодным. Памятуя, что крайности сходятся и упадок материальной обеспеченности, если не принять мер предосторожности, может привести к моральному упадку, он ревниво оберегал свою честь. Иные выражения и поступки, которые при других обстоятельствах он счел бы за простую вежливость, теперь расценивались им как низкопоклонство, и при одной мысли об этом он принимал гордый вид. Он держал себя в жестких рамках, чтобы не приходилось позднее бить отбой. Строгость лежала на

его лице словно румянец, а в своей застенчивости он доходил до резкости.

Но во всех испытаниях его поддерживала, а порой и воодушевляла, тайная внутренняя сила. В известные минуты жизни душа приходит на помощь телу и вселяет в него бодрость. Это единственная птица, оберегающая собственную клетку.

Рядом с именем отца в сердце Мариуса крепко запечатлелось и другое имя — имя Тенардье. Со свойственной ему восторженностью и серьезностью Мариус мысленно окружил каким-то ореолом человека, которому был обязан жизнью отца, — этого неустрашимого сержанта, спасшего полковника среди ядер и пуль Ватерлоо. Он никогда не отделял память об этом человеке от памяти об отце, благоговейно объединяя обоих в своих воспоминаниях. Это был как бы культ двух степеней: большой алтарь был воздвигнут для отца, малый — для Тенардье. И Мариус испытывал еще большую благодарность и умиление, думая о Тенардье, когда узнал о случившейся с ним беде. В Монфермейле Мариусу сообщили о разорении и банкротстве злосчастного трактирщика. С тех пор он прилагал неслыханные усилия, чтобы найти след и разыскать Тенардье в мрачной бездне нищеты, где тот исчез. Мариус изъездил все окрестности, побывал в Шеле, Бонди, Гурне, Ножане, Ланьи. В течение трех лет он непрерывно отдавался этим поискам, тратя на них все скудные свои сбережения. Никто не мог дать ему о Тенардье никаких сведений. Предполагали, что он уехал в чужие края. Не столь любовно, но не менее усердно искали Тенардье и его кредиторы. Однако и они не могли его найти. Мариус готов был винить себя в неудаче, постигшей его розыски, и даже негодовал на себя. Это был единственный долг, оставленный ему полковником, и Мариус считал делом чести уплатить его. «Как же так, — думал он, — ведь сумел же Тенардье в дыму и под картечью найти моего отца, когда тот лежал умирающим на поле битвы, и вынести его оттуда на своих плечах, а он ничем не был обязан отцу. Неужели же я, будучи стольким обязан Тенардье, не сумею найти его во тьме, где он борется со смертью, и в свою очередь вернуть к жизни? Нет, я найду его!» И действительно, чтобы найти Тенардье, он, не задумываясь, дал бы отрубить себе руку, а чтобы вырвать

его из нищеты, отдал бы всю свою кровь. Увидеться с Тенардые, оказать Тенардые какую-нибудь услугу, сказать ему: «Вы меня не знаете, но я-то вас знаю! Вот я! Располагайте мною!» — было самой сладостной, самой высокой мечтой Мариуса.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мариус вырос

В ту пору Мариусу исполнилось двадцать лет. Прошло три года, как он расстался с дедом. Отношения между ними оставались прежними, — ни с той, ни с другой стороны не делалось никаких попыток к сближению, ни одна сторона не искала встречи. Да и к чему было искать ее? Чтобы опять начались столкновения? Кто из них согласился бы пойти на уступки? Ежели Мариус был тверд, как бронза, то г-н Жильнорман был крепок, как железо.

Нужно сказать, что Мариус ошибся в сердце деда. Он вообразил, что г-н Жильнорман никогда его не любил и что этот грубый, резкий, насмешливый старик, который вечно бранился, кричал, бушевал и замахивался тростью, в лучшем случае питал к нему не глубокую, но требовательную привязанность комедийных жеронтов. Мариус заблуждался. Встречаются отцы, которые не любят своих детей, но не бывает деда, который не боготворил бы своего внука. И, как мы уже сказали, в глубине души г-н Жильнорман обожал Мариуса. Обожал, конечно, по-своему, сопровождая свое обожание тумакami и даже затрещинами; но когда мальчика не стало, он почувствовал в сердце мрачную пустоту. Он потребовал, чтобы ему не напоминали о Мариусе, втайне сожалея, что приказание его так строго исполняется. В первое время он надеялся, что этот буонапартист, этот якобинец, этот террорист, этот сентябрист вернется. Но проходили недели, проходили месяцы, проходили годы, а кровопийца, к величайшему горю г-на Жильнормана, не показывался. «Но ведь ничего другого, как выгнать его, мне не оставалось», — убеждал себя дед. И тут же задавал себе вопрос: «А случись это сейчас, поступил бы я так же?» Его гордость, не задумываясь, отвечала: «Да», а старая голова молчаливым покачиванием печально отвечала: «Нет». Временами

он совсем падал духом: ему не доставало Мариуса. Привязанность нужна старикам, как солнце; это тоже источник тепла. Несмотря на стойкий его характер, с уходом Мариуса в нем что-то переменилось. Ни за что на свете не согласился бы он сделать шаг к примирению «с этим дрянным мальчишкой», но он страдал. Он никогда не справлялся о нем, но думал о нем постоянно. Образ жизни, который он вел в Марэ, становился все более и более замкнутым. Он оставался еще веселым и вспыльчивым, но веселость его проявлялась теперь резко и судорожно, словно пересиливая горе и гнев, а вспышки всегда заканчивались каким-то тихим и сумрачным унынием. «Эх, и здоровенную же оплеуху я бы ему отвесил, пусть только бы он вернулся!» — иногда говорил он себе.

Что же касается тетки, то она неспособна была мыслить, а значит, и по-настоящему любить; Мариус превратился для нее в некую тусклую, неясную тень, и в конце концов она стала интересоваться им гораздо меньше, нежели своей кошкой и попугаем, каковые, разумеется, у нее имелись.

Тайные муки старика Жильнормана усиливались еще и тем, что он наглухо замкнулся и ничем их не обнаруживал. Его горе походило на печи новейшего изобретения, поглощающие собственный дым. Случалось, что иной неудачливый собеседник, желая угодить ему, заводил с ним разговор о Мариусе и спрашивал: «Как поживает и что поделявает ваш милый внук?» Старый буржуа, вздыхая, если бывал в грустном расположении духа, или пощелкивая себя по манжетке, если хотел казаться веселым, отвечал: «Барон Понмерси изволит сутяжничать в какой-нибудь дыре».

Но между тем как старик терзался сожалениями, Мариус был доволен собой. Как это всегда происходит с добрыми людьми, несчастье заставило его забыть горечь обиды. Он всегда вспоминал теперь о г-не Жильнормане с теплым чувством, однако твердо решил ничего не принимать от человека, «дурно относившегося» к его отцу. Вот какую умеренную форму приняло теперь его бывшее возмущение. К тому же он был счастлив, что ему пришлось пострадать и что страдания его не прекращались. Ведь он страдал за отца. Жизнь, исполненная суровой нужды, удовлетворяла его и нравилась ему. С какой-то

радостью он твердил себе, что «все это еще слишком хорошо»; что это искупление; что, не будь этого, он был бы позднее еще не так наказан за свое кощунственное равнодушие к отцу, к такому отцу! Ведь было бы несправедливо, если бы на долю отца выпали все страдания, а на его долю ничего. Да и что значат его труды и лишения по сравнению с героической жизнью полковника? И он приходил к выводу, что единственный способ стать близким отцу и походить на него — это так же мужественно бороться с нищетой, как доблестно тот боролся с врагом, и что именно это, наверное, и хотел сказать полковник словами: «Он будет его достоин». Слова эти Мариус по-прежнему хранил — правда, теперь уже не на груди, потому что записка полковника пропала, но в сердце.

Напомним, что в тот день, когда дед его выгнал, Мариус был еще ребенком, теперь он стал взрослым мужчиной. Он и сам сознавал это. Нищета, повторяем, пошла ему на пользу. Бедность в дни юности, если искус ее проходит благополучно, хороша тем, что всецело направляет нашу волю к действию, а душу — к высоким стремлениям. Бедность сразу обнажает материальную изнанку жизни во всей ее неприглядности и внушает к ней отвращение; следствием же этого является неотвратимая тяга к жизни духовной. У богатого юноши имеются сотни столь же блестящих, сколь и грубых, развлечений: скачки, охота, собаки, табак, карты, вкусные яства и еще многое другое; все это удовлетворяет низменные стороны человеческой души, в ущерб возвышенным и благородным ее сторонам. Бедный же юноша трудом добывает свой хлеб насущный, он должен утолить голод, а когда утолит его, ему нечем заняться, кроме мечтаний. Ему доступны лишь бесплатные зрелища, даруемые богом: он созерцает небо, просторы, звезды, цветы, детей, человечество, среди которого томится в страданиях, мир творений, среди которого является светочем. И, созерцая, он познает через человечество душу людей, а через мир творений — бога. Отдавшись мечтам, он чувствует себя великим, но мечты уносят его дальше, и в нем пробуждается нежность. От эгоизма, который присущ страдающему человеку, он переходит к сочувствию, которое присуще человеку мыслящему. В нем проявляется чудесная способность забывать о себе и сострадать другим. При мысли о бесчисленных

радостях, которыми природа щедро награждает души, открытые ей, и в которых отказывает душам, для нее закрытым, — он, обладатель миллионов духовных благ, испытывает жалость к обладателям миллионного состояния. И чем больше просвещается его ум, тем меньше ненависти остается в сердце. Да и бывает ли он на самом деле несчастен? Нет. Молодого человека нищета никогда не делает нищим. Любой мальчишка, как бы беден он ни был, своим здоровьем, силой, быстрой походкой, блеском глаз, горячей кровью, переливающейся в жилах, темным цветом волос, румянцем щек, алостью губ, белизною зубов, чистотою дыхания — всегда составит предмет зависти для старика, будь то сам император. И потом, каждое утро юноша берется за работу, чтобы добыть себе пропитание; и пока руки его добывают это пропитание, спина гордо выпрямляется, а ум обогащается идеями. А закончив дневной свой урок, он снова весь отдается созерцанию, неизреченным своим восторгам и радостям. Жизненный путь его скорбен, полон препятствий и терний, под ногами его камни, а иной раз и грязь, но голова всегда озарена светом. Он тверд, кроток, спокоен, тих, вдумчив, серьезен, невзыскателен, снисходителен; и он благословляет бога за то, что тот даровал ему два сокровища, не доступные многим богачам: труд, с которым он обрел свободу, и мысль, с которой он обрел достоинство.

Это именно и произошло с Мариусом. По правде говоря, он, пожалуй, был чересчур склонен к созерцанию. Добившись более или менее верного заработка, он на этом и успокоился, находя, что не так уж плохо быть бедным, и урезал время работы, чтобы иметь больше досуга для размышления. Случалось, таким образом, что он проводил целые дни в раздумии, словно зачарованный, весь погрузившись в немое сладострастие внутренних восторгов и озарений. Жизненную задачу он разрешал для себя так: как можно меньше отдаваться труду ради материальных благ и как можно больше — ради духовной пользы. Иначе говоря — жертвовать повседневным нуждам лишь несколькими часами, а все остальное время отдавать вечному. Думая, что он ни в чем не нуждается, Мариус не замечал, что понятая подобным образом созерцательная жизнь превращается в итоге в одну из форм лени;

что он успокоился, удовлетворив лишь примитивные материальные потребности, и слишком рано вздумал отдыхать.

Совершенно очевидно, что для деятельной и благородной натуры Мариуса такое состояние могло быть лишь переходным и что при первом же столкновении с неизбежными для всякой человеческой судьбы трудностями он сбросит с себя дремоту.

А тем временем, несмотря на свое адвокатское звание и вопреки тому, что думал на этот счет старик Жильнорман, он не только не «сутяжничал», но и вовсе не занимался адвокатурой. Мечтательность внушила ему отвращение к юриспруденции. Водиться со стряпчими, торчать в судах, гоняться за практикой — какая тоска! Да и к чему это? Он не видел никаких оснований менять род занятий. Работа в упомянутой выше скромной книготорговле стала давать ему в конце концов без большой затраты труда надежный заработок, и его, как было уже нами сказано, вполне хватало Мариусу.

Один из книготорговцев, на которых он работал, — если не ошибаюсь, это был г-н Мажимель, — предложил ему поселиться у него, обещая предоставить хорошую квартиру и постоянную работу с жалованьем в полторы тысячи франков в год. Хорошая квартира! Полторы тысячи франков! Это, конечно, недурно. Но лишиться свободы! Превратиться в наемника! В своего рода литературного приказчика! По мнению Мариуса, принять предложение означало бы одновременно улучшить и ухудшить свое положение: выиграть с точки зрения материального благополучия и проиграть с точки зрения человеческого достоинства. Это означало бы променять неприкрашенную, но прекрасную бедность на уродливую и смешную зависимость. Все равно как если бы из слепого превратиться в кривого. Он отказался.

Мариус жил уединенно. В силу природной склонности держаться особняком, а также и потому, что его слишком отпугнули, он так и не вошел по-настоящему в кружок, возглавляемый Анжольрасом. Они остались приятелями, были готовы, если бы понадобилось, оказать любую взаимную услугу, но и только. У Мариуса было два друга: Курфейрак и г-н Мабеф, один был молод, другой — стар. Он больше льнул к старику. Во-первых,

ему он был обязан своим внутренним переворотом, во-вторых — благодаря ему он узнал и полюбил своего отца. «Он снял с глаз моих катаракту», — говорил Мариус.

И несомненно, церковный староста сыграл в судьбе Мариуса решающую роль.

Правда, г-н Мабеф явился лишь покорным и бесстрастным орудием провидения. Он осветил Мариусу истинное положение дел случайно и сам того не подозревая, как освещает комнату свеча, кем-нибудь внесенная в нее. И он был именно свечой, а не тем, кто ее вносит.

Что же касается перемены, происшедшей в политических воззрениях Мариуса, то г-н Мабеф был совершенно неспособен ни понять, ни приветствовать ее, ни руководить ею.

Так как впоследствии нам предстоит еще встретиться с г-ном Мабефом, нелишним будет сказать о нем несколько слов.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Г-н Мабеф

В тот день, когда г-н Мабеф сказал Мариусу: «Разумеется, я уважаю политические убеждения», он выразил подлинные свои чувства. Все политические убеждения были для него одинаково безразличны, и он готов был уважать любые из них, лишь бы они не нарушали его покоя, — он уподоблялся в этом случае грекам, именовавшим Фурий «прекрасными, благими, прелестными», *Эвменидами*. Самому г-ну Мабефу политические воззрения заменяла страстная любовь к растениям и еще большая — к книгам. Как и у всех его современников, у него имелся ярлычок, оканчивавшийся на *ист*, без которого тогда никто не обходился. Однако г-н Мабеф не был ни роялистом, ни бонапартистом, ни хартистом, ни орлеанистом, ни анархистом, — он был букинистом.

Он не понимал, как могут люди ненавидеть друг друга из-за такой «чепухи», как хартия, демократия, легитимизм, монархия, республика и т. п., когда на свете существует такое множество всякого рода мхов, трав и кустарников, которыми можно любоваться, и такое множество всяческих книг, не только *in folio*, но и в одну тридцать

вторую долю, которые можно листать. Впрочем, он желал приносить пользу. Коллекционирование книг не мешало ему читать, а занятия ботаникой — заниматься садоводством. Когда между ним и Понмерси завязалось знакомство, обнаружилось, что у них с полковником общая страсть. Опыты, которые полковник проделывал над цветами, г-н Мабеф проделывал над плодами. Ему удавалось получать семенные сорта груш, не менее сочные, чем сен-жерменские, и, повидимому, именно его трудам обязана своим происхождением знаменитая теперь октябрьская мирабель, не уступающая по ароматности летней. Он ходил к обедне скорее по мягкости характера, нежели из набожности, а также и потому, что, любя человеческие лица и ненавидя шум толпы, лишь в церкви видел людей собравшихся, но безмолвствующих. Полагая, что необходимо иметь какое-либо общественное положение, он избрал себе должность церковного старосты. Ко всему прочему, за весь его век ему не довелось полюбить женщину сильнее луковицы тюльпана, а мужчину — сильнее эльзевира. Ему уже давно перевалило за шестьдесят, когда кто-то однажды спросил его: «Разве вы никогда не были женаты?» — «Не припоминаю», — ответил он. Если ему случалось — а с кем это не случается? — вздыхать иногда: «Ах, будь я богат!» — то он говорил это отнюдь не как старик Жильнорман, заглядываясь на какую-нибудь красотку, а любясь старинной книгой. Он жил один со старухой экономкой. У него была легкая хирагра, и, когда он спал, его старые, скрюченные ревматизмом пальцы торчали бугорком под складками простыни. Он написал и издал книгу о «Флоре окрестностей Котерэ». Сочинение это, украшенное цветными таблицами, клише от которых хранились у него, пользовалось довольно широкой известностью, и он сам продавал его. Два-три раза в день в его квартире на улице Мезьер раздавался звонок покупателей. Он выручал таким путем около двух тысяч франков в год, чем и ограничивался почти весь его доход. Несмотря на бедность, он сумел, терпеливо отказывая себе во всем, постепенно собрать драгоценную коллекцию всевозможных редких изданий. Он выходил из дому не иначе как с книгой подмышкой, а возвращался нередко с двумя. Единственным украшением четырех комнат в нижнем этаже, которые вместе с примыкавшим

к ним садиком составляли его жилище, являлись опра-
вленные в рамки гербарии да гравюры старых мастеров.
От одного вида сабли или ружья кровь застывала у него
в жилах. Ни разу в жизни он и близко не подошел
к пушке, даже к той, что у Дома инвалидов. У него была
совершенно седая голова, здоровый желудок, беззубый
рот и такой же беззубый ум. Он весь подергивался, гово-
рил с пикардийским акцентом, смеялся детским смехом,
был очень пуглив и всем своим видом напоминал старого
барана. Надо добавить к этому, что у него был брат свя-
щенник и что, не считая старика Руайоля, хозяина книж-
ной лавки у ворот Сен-Жак, он ни к кому на свете не
питал ни дружбы, ни привязанности. Заветной мечтой его
было акклиматизировать во Франции индиго.

Образец святой простоты являла собой и его слу-
жанка. Добрая старушка так и осталась в девицах. Кот
Султан, мурлыканье которого могло бы поспорить для нее
с самым «Мизерере» Аллегри, в исполнении Сикстинской
капеллы, заполнял все ее сердце и поглощал весь запас
неистраченной нежности. О мужчинах она ни разу
в жизни и не помышляла. Ни за что не решилась бы она
изменить своему коту и была такой же усатой, как он.
Единственную ее гордость составляла белизна чепцов.
Воскресное послеобеденное время она посвящала пере-
считыванию белья в сундуке или раскладыванию на кро-
вати кусков материи, которые покупала себе на платья,
но никогда не отдавала шить. Она умела читать. Г-н Ма-
беф прозвал ее «тетушка Плутарх».

Мариус заслужил благосклонность г-на Мабефа, ибо
своей молодостью и мягкостью согревал его старость и
умел щадить его робкий характер. Молодость в соедине-
нии с мягкостью оказывает на стариков такое же дей-
ствие, как весеннее солнце в безветренный день. Когда
Мариус начинал чувствовать пресыщение военной славой,
пороховой гарью, бесчисленными походами и переходами
и всеми изумительными битвами, участвуя в которых его
отец то наносил, то получал страшные сабельные удары,
он шел повидать г-на Мабефа, и тот повествовал ему о
любви героя к цветам.

Около 1830 года умер его брат священник, и почти
тотчас же весь горизонт для г-на Мабефа омрачился,
словно наступила ночь. Банкротство нотариуса лишило

его десяти тысяч франков, в которых заключалось все его состояние как личное, так и доставшееся от брата. Июльская революция повлекла за собой кризис книжной торговли, а при любой заминке в делах прежде всего перестают продаваться всякие «Флоры». На «Флору окрестностей Котерэ» сразу же прекратился спрос. Недели за неделями проходили без единого покупателя. Если случилось вдруг зазвонить звонку, г-н Мабеф вздрагивал. «Это водовоз, сударь», — печально поясняла тетушка Плутарх. Короче говоря, в один прекрасный день г-н Мабеф покинул свою квартиру на улице Мезьер, сложил с себя обязанности церковного старосты, распрощался с Сен-Сюльпис, продал, не тронув книг, часть своих гравюр, так как дорожил ими меньше, и перебрался в маленький домик на бульваре Монпарнас. Впрочем, он прожил здесь только один триместр по следующим двум причинам: во-первых, нижний этаж с садом стоил триста франков, а он не имел возможности тратить на квартиру больше двухсот; во-вторых, он оказался тут по соседству с тиром «Фату», откуда непрерывно доносились пистолетные выстрелы, чего он совершенно не переносил.

Забрав свою «Флору», свои клише, гербарии, папки и книги, он покинул бульвар Монпарнас и поселился неподалеку от больницы Сальпетриер, в деревне Аустерлиц, где за пятьдесят экю в год нанимал нечто вроде хижины в три комнаты, с садом, обнесенным забором, и колодцем. Воспользовавшись переездом, он продал почти всю свою обстановку. В день водворения на новую квартиру он был очень весел, собственноручно вбивал гвозди для своих гравюр и гербариев, а покончив с этим занятием, все остальное время до сумерек копался в саду. Вечером, заметив, что тетушка Плутарх о чем-то призадумалась и пригорюнилась, он хлопнул ее по плечу и с улыбкой сказал: «Ничего, ничего, у нас есть еще индиго!»

Лишь двум посетителям — хозяину книжной лавки, помещавшейся у ворот Сен-Жак, да Мариусу — разрешалось навещать г-на Мабефа в его аустерлицкой хижине, откровенно говоря, достаточно ему неприятной своим громким наименованием.

Впрочем, как мы уже отмечали, до рассудка людей, поглощенных какой-либо мудрой или безумной мыслью или, что нередко бывает, обеими одновременно, лишь

очень медленно доходят житейские дела и заботы. Люди эти равнодушны к собственной судьбе. Сосредоточенность на одном предмете рождает пассивность, которая, не будь она бессознательной, могла бы сойти за философию. Человек начинает опускаться, катиться вниз, сходить на нет, даже разрушаться, почти незаметно для себя самого. Правда, пробуждение в конце концов наступает, но всегда слишком поздно. А до тех пор он кажется безучастным к игре, которая идет между его счастьем и несчастьем. Он — ставка в ней, а следит за партией с полным безразличием.

Вот каким образом, несмотря на сгущавшийся вокруг него мрак и угасавшие одна за другой надежды, г-ну Мабефу удалось сохранить несколько наивную, но глубокую душевную ясность. В его умственных навыках была инерция маятника. Создав себе иллюзию, он, словно заведенный, продолжал идти за ней, хотя она давно уже рассеялась. Часы не останавливаются тут же, когда от них теряют ключ.

У г-на Мабефа были свои невинные развлечения. Они не требовали расходов и всегда носили неожиданный характер; самый ничтожный повод доставлял их. Однажды тетушка Плутарх, сидя в уголке, читала роман. Она читала вслух, находя, что так понятнее. Читая вслух, как бы втолковываешь себе написанное. Громкое чтение имеет своих любителей, и вид у них такой при этом, словно они желают клятвенно убедить себя в истинности читаемого.

С такой именно выразительностью читала и тетушка Плутарх свой роман, держа книгу в руках. Г-н Мабеф слушал не вслушиваясь.

Тетушка Плутарх дошла до фразы, в которой говорилось о красавице и драгунском офицере:

«...Красавица рассердилась и сказала: «Буду». И драгуна...»

Тут тетушка Плутарх остановилась, чтобы протереть очки.

— Будду и Дракона, — повторил вполголоса г-н Мабеф. — Совершенно верно, был некогда дракон, который, укрывшись в пещере, поджигал оттуда небо, выбрасывая пламя из пасти. Уже не одна звезда сгорела от козней этого чудовища, наделенного к тому же когтями тигра.

Тогда Будда вошел в пещеру его, и ему удалось укротить дракона. Вы читаете очень хорошую книгу, тетушка Плутарх. Это прекраснейшая из легенд.

И г-н Мабеф погрузился в сладостную задумчивость.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Бедность и нищета — добрые соседи

Мариусу нравился этот простодушный старик, медленно засасываемый нуждой и уже начинающий с удивлением, но еще без огорчения, замечать это. С Курфейраком Мариус встречался, если к тому представлялся случай, общества же г-на Мабефа он искал. Впрочем, он бывал у него не часто, не более одного-двух раз в месяц.

Любимое удовольствие Мариуса составляли длинные одинокие прогулки по внешним бульварам, по Марсову полю или по наиболее безлюдным аллеям Люксембургского сада. Иногда он по полдня проводил у усадьбы какого-нибудь огородника, глядя на грядки, засаженные салатом, на кур, роющихся в навозе, на лошадь, вращающую колесо водочерпалки. Прохожие с любопытством оглядывали его. Иным его одежда внушала подозрение, а вид казался зловещим. Но то был просто-напросто бедный юноша, предававшийся беспредметным мечтам.

В одну из таких прогулок Мариус набрел на лачугу Горбо и, соблазнившись уединенностью и дешевизной, поселился здесь. Все знали его тут только под именем г-на Мариуса.

Кое-кто из старых генералов и старых товарищей отца, познакомившись с Мариусом, пригласил его бывать у них. Мариус не отказывался от этих приглашений. Они предоставляли ему возможность поговорить об отце. Итак, время от времени он появлялся то у графа Пажоля, то у генерала Белавена и Фририона, то в Доме инвалидов. Здесь занимались музыкой, танцевали. На эти вечера Мариус надевал свой новый костюм. Но он посещал их только в сильный мороз, ибо не имел средств нанять карету, а приходить в сапогах, которые не блестели бы как зеркало, не хотел.

«Уж так созданы люди», — не раз говорил он, без малейшей, впрочем, горечи. В салонах разрешается появляться всячески замаранным, но только не в замаранных сапогах. Вы можете рассчитывать на радушный прием лишь при условии безукоризненной чистоты — чего думали бы вы? Совести? Нет, сапог!

В мечтаниях рассеиваются все страсти, кроме сердечной. Политическая горячка Мариуса также нашла в них исцеление. Этому способствовала и революция 1830 года, принеся ему удовлетворение и успокоение. Он остался прежним, сохранив, помимо гнева, все прежние чувства. Воззрений своих он не переменял, они только смягчились. Собственно говоря, воззрений у него и не осталось, а сохранились одни симпатии. Сторонником какой же партии был он? Партии человечества. Из всех представителей человечества он отдавал предпочтение французам; из всей нации — народу, а из всего народа — женщине. К женщине он питал наибольшее сострадание. Теперь он стал считать мысль важнее действия, ставя поэта выше героя, а книгу, подобную книге Иова, выше события, подобного Маренго. И когда вечером, после дня, проведенного в раздумье, он, идя вечером бульварами домой, сквозь ветви деревьев вглядывался в беспредельные небесные пространства, в мерцающие безвестные огни, в бездну, мрак, тайну, — все человеческое казалось ему таким ничтожным.

Он думал, — и, быть может, справедливо, — что открыл настоящий смысл и настоящую философию человеческой жизни, и в конце концов сосредоточился только на созерцании неба, которое одно доступно взору истины из глубины ее колодца.

Это не мешало ему строить всевозможные планы, проекты и расчеты на будущее. Если бы кому-нибудь удалось заглянуть в душу Мариуса, когда тот погружался в мечты, он был бы изумлен ее ослепительной чистотой. И в самом деле, обладая наше зрение способностью видеть внутренний мир нашего ближнего, можно было бы гораздо вернее судить о человеке по его мечтам, нежели по его мыслям. В мыслях наличествует волевое начало, в мечтах его нет. Мечты, возникающие произвольно, всегда воспроизводят и сохраняют, даже если предметом их служит нечто грандиозное и идеальное, наш собственный

духовный облик. Нет ничего более непосредственно, более искренно идущего из сокровенных глубин нашей души, чем безотчетные и безудержные стремления наши к великому жребию. В этих стремлениях гораздо больше, чем в связных, продуманных, согласованных мыслях, виден подлинный характер человека. Больше всего походят на нас наши фантазии. Каждому мечта о неведомом и невозможном рисуется соответственно его натуре.

Примерно в середине 1831 года старуха, прислуживавшая Мариусу, рассказала ему, что его соседей, несчастное семейство Жондретов, гонят с квартиры. Мариус, чуть ли не по целым дням не бывавший дома, вряд ли даже знал, что у него есть соседи.

— А за что же гонят их? — спросил он.

— За то, что не платят и просрочили уже двойной срок.

— Сколько это составляет?

— Двадцать франков, — ответила старуха.

У Мариуса в ящике стола лежали про запас тридцать франков.

— Вот вам двадцать пять франков, — сказал он старухе. — Заплатите за этих бедных людей, а пять франков отдайте им. Только не говорите, что это от меня.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заместитель

Неожиданно полк, в котором служил поручик Теодюль, был переведен в Париж нести гарнизонную службу. Это обстоятельство способствовало зарождению второй мысли в голове тетушки Жильнорман. В первый раз она вздумала поручить Теодюлю наблюдение за Мариусом; теперь она затеяла заместить Мариуса Теодюлем.

На всякий случай, если у деда вдруг возникнет смутное желание видеть в доме молодое лицо, — лучи Авроры иногда бывают сладостны руинам, — она сочла полезным обзавестись другим Мариусом. «Ничего, что другой, — рассуждала она, — это все равно как ссылка на опечатку в книге: «Мариус — читай Теодюль».

Внучатный племянник — почти что внук; за отсутствием адвоката можно обойтись уланом.

Однажды утром, когда г-н Жильнорман был занят чтением «Ежедневника» или иной газеты того же сорта, вошла дочь и сладчайшим голосом, ибо речь шла об ее любимчике, сказала:

— Папенька, нынче утром Теодюль собирался прийти засвидетельствовать вам свое почтение.

— Это кто такой — Теодюль?

— Ваш внучатный племянник.

— А-а! — протянул дед.

Затем он снова принялся читать, совершенно выкинув из головы внучатного племянника — какого-то там Теодюля, и вскоре пришел в сильнейшее раздражение, что с ним случалось почти всякий раз, как он читал газеты. В «листке», который он держал в руках, само собою разумеется роялистского толка, без всяких околичностей сообщалось об одном незначительном и обыденном для Парижа той поры факте, а именно, что: «Завтра, в полдень, на площади Пантеона состоится совещание студентов юридического и медицинского факультетов». Дело шло об одном из злободневных тогда вопросов: об артиллерии национальной гвардии и конфликте между военным министром и «гражданской милицией» из-за установленных во дворе Лувра пушек. Вот что и должно было служить предметом «обсуждений» студенческого совещания. Этого было вполне достаточно, чтобы г-н Жильнорман вскипел.

Он вспомнил о Мариусе, который также был студентом и который, наверно, вместе с другими отправится в полдень «совещаться» на площадь Пантеона.

За этими мучительными мыслями и застал его поручик Теодюль, предусмотрительно одетый в штатское и тихохонько введенный в комнату м-ль Жильнорман. Улан рассудил, что «старый колдун, конечно, не все упрятал в пожизненную ренту, и ради этого, так уж и быть, можно себе позволить изредка наряжаться шпаком».

— Теодюль, ваш внучатный племянник, — громким голосом произнесла м-ль Жильнорман, обращаясь к отцу.

И тут же шепнула поручику:

— Смотри, ни в чем ему не перечь.

Затем она удалилась.

Поручик, не привыкший к столь почтенному обществу, не без робости пролепетал: «Здравствуйте, дядюшка», и отвесил какой-то смешанный поклон, машинально, по привычке, начав его по-военному и закончив по-штатски.

— А, это вы! Прекрасно, садитесь, — проговорил дед. И тотчас же позабыл об улане.

Теодюль сел, а г-н Жильнорман встал.

Засунув руки в жилетные карманы и сжимая своими старыми, дрожащими пальцами часы, которые лежали в обоих карманах, он принялся ходить взад и вперед по комнате, рассуждая вслух:

— Сопливая команда! А туда же — собираться! И слыханное ли дело, не где-нибудь, а на площади Пантеона! Несчастные сосунки, вчера только от кормилиц, молоко на губах не обсохло, а туда же — совещаться завтра в полдень! К чему, к чему это приведет? Совершенно очевидно, только к гибели. Вот куда завели нас эти голоштанники! Гражданская артиллерия! Совещаться о гражданской артиллерии! Выходить на улицу, горланить — полагается ли национальной гвардии палить из пушек или нет! А в какой компании они там очутятся? Полюбуйтесь на плоды якобинства! Чем угодно поручусь, миллион об заклад поставлю, что, кроме беглых да помилованных каторжников, там никого не сыщешь. Республиканец и острожник — два сапога пара. Карно спрашивал: «Куда прикажешь мне итти, изменник?» А Фуше отвечал: «Куда угодно, дурак!» Вот они и все здесь, ваши республиканцы.

— Совершенно верно, — подтвердил Теодюль.

Господин Жильнорман слегка повернул голову и, взглянув на Теодюля, продолжал:

— И подумать только, что у этого негодяя хватило низости стать карбонарием? Зачем ты покинул мой дом? Чтобы стать республиканцем! Вот выдумал! Во-первых, народ не хочет твоей республики. Она ему совсем не надобна. У него мозги на месте. Он прекрасно знает, что короли всегда были и будут; он прекрасно знает, что в конце концов народ — это только народ; его, понимаешь ли, смех берет на твою республику, глупая твоя голова! Что может быть омерзительнее этакой придури? Втюриться в «Отца Дюшена», строить глазки гильотине, распевать серенады и тренькать на гитаре под балконом

девьяносто третьего года! Да такая молодежь и плевка не стоит, до того она тупа! И все попадают на эту удочку. Ни один не уходит. Теперь достаточно вдохнуть воздуха улицы, и разума как не бывало! Деятнадцатый век — это яд. Глядишь, какой-нибудь шельмец-мальчишка, а уж отпустил себе козлиную бородку, вообразил, что он умнее всех, и скорей от стариков-родителей наутек. Это по-республикански, по-романтичному. А что это за штука такая — романтизм? Сделайте одолжение, объясните мне, что это за штука? Сплошное дурачество. Год назад все бегали на «Эрнани». Скажите на милость, «Эрнани»! Разные там антитезы, ужасы. И написано-то даже не по-французски! А теперь вдруг поставили пушки на Луврский двор. Вот до какого докатились разбоя!

— Вы совершенно правы, дядюшка, — сказал Теодюль.

— Пушки во дворе музея! С какой стати? К чему там пушки? — не унимался г-н Жильнорман. — Обстреливать Аполлона Бельведерского, что ли? Какое отношение имеют пушечные ядра к Венере Медицейской? Ну что за мерзавцы вся эта нынешняя молодежь! И сам их Бенжамен Констан тоже не велика фигура! А ежели и попадется среди них не подлец — значит, болван! Они всячески себя уродуют, безобразно одеваются, робеют перед женщинами и вьются подле юбок с таким видом, словно милостыню просят; девчонки, глядя на них, прыскают со смеху. Честное слово, можно подумать, что бедняги сгорают любвебоязнию. А при всей неказистости, еще и глупы; им любо повторять каламбуры Тьерселена и Потье. Сюртуки сидят на них мешком, в их жилетах щеголять только конюхам, сорочки у них из грубого полотна, панталоны из грубой шерсти, сапоги из грубой кожи; а какво оперенье — таково и пенье. Их словечки разве только на их собственные подметки годятся. И у всех этих безмозглых младенцев имеются, изволите ли видеть, политические воззрения. Следовало бы строжайше запретить всякие политические воззрения. Они фабрикуют системы, перекраивают общество, разрушают монархию, топчут в грязь законы, ставят дом вверх дном, моего портье превращают в короля, потрясают до основания Европу, переделывают весь мир, а сами рады-радешеньки, ежели доведется украдкой полюбоваться икрами прачек,

влезających на свои тележки! Ах, Мариус! Ах, бездельник! Вопить на площади, спорить, доказывать, принимать меры! Боже милосердный, это называется у них мерами! Смута все больше мельчает, становится глупостью. В мое время я видывал хаос, а теперь вижу одну кутерьму. Школяры, обсуждающие судьбы национальной гвардии! Да эдакое не видано и у каких-нибудь краснокожих оджибвеев и кадодахов! Дикари, что ходят нагишом, с башкой, утыканной перьями, словно волан, и с дубиной в лапах, — и те меньшие скоты, чем эти бакалавры! Молокососы! Цена-то им грош, а корчат из себя умников, хозяев, совещаются, рассуждают! Нет, это конец света. Совершенно очевидно — конец этого презренного шара, именуемого земным. Вот-вот и Франция вместе с ним испустит последний вздох. Совещайтесь же, дурачье! И так будет продолжаться, пока они не перестанут ходить читать газеты под арки Одеона. Стоит это всего лишь одно су да здравый смысл, разум, сердце, душа и ум впридачу. Побывают там — и вон из семьи. Все газеты — чума, даже «Белое знамя»! Ведь Мортенвиль был в сущности якобинцем. О боже милосердный! Теперь он может хвалиться, он довел-таки своего деда до отчаянья!

— Не подлежит никакому сомнению, — согласился Теодюль.

И воспользовавшись тем, что г-н Жильнорман на минуту замолк, чтобы перевести дух, улан нравоучительно добавил:

— Из газет следовало бы сохранить только «Монитер», а из книг — только «Военный ежегодник».

— Все они подобны Сьейесу! — снова начал г-н Жильнорман. — Из цареубийц — в сенаторы! Этим они все кончают. Сперва хлещут друг друга республиканским тыканьем, чтобы потом их величали сиятельными графами. Сиятельные сморчки, убийцы, сентябристы! Сьейес — философ! К чести своей должен сказать, что всегда ценил философию этих философов не выше очков гримасника из сада Тиволи. Однажды я видел проходившую по набережной Малакэ процессию сенаторов в бархатных фиолетовых мантиях, усеянных пчелами, и в шляпах как у Генриха Четвертого. Они были омерзительны. Настоящие придворные мартышки его величества тигра. Заверяю вас, граждане, что ваш прогресс — безумие, ваше человече-

ство — мечта, ваша революция — преступление, ваша республика — уродина, ваша молодая, девственная Франция выскочила из публичного дома. Довожу это до сведения всех вас, кто бы вы ни были — журналисты, экономисты, юристы, и пусть даже бóльшие ревнители свободы, равенства и братства, чем нож гильотины! Вот что я заявляю вам, друзья любезные!

— Чорт побери, — воскликнул поручик, — до чего изумительно верно!

Господин Жильнорман не закончил начатого было жеста, обернулся, посмотрел в упор на улана Теодюля и отрезал:

— Дурак.

Книга шестая

ВСТРЕЧА ДВУХ ЗВЕЗД

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Прозвище как способ образования фамилии

В ту пору Мариус был красивым юношей, среднего роста, с густой черной шапкой волос, высоким умным лбом и нервно раздувающимися ноздрями. Он производил впечатление человека искреннего и уравновешенного, и по всему его лицу было разлито какое-то горделивое, задумчивое и невинное выражение. В округлых, но отнюдь не лишенных четкости линиях его профиля было что-то от германской мягкости, проникшей во французский облик через Эльзас и Лотарингию, и то отсутствие угловатости, которое так резко выделяло сикамбров среди римлян и отличает львиную породу от орлиной. Он вступил в тот период жизни, когда ум мыслящего человека почти в равной мере и глубок и наивен. В сложных житейских обстоятельствах он легко мог оказаться несообразительным; однако новый поворот ключа — и он оказывался на высоте положения. В обращении он был сдержан, холоден, вежлив и замкнут. Но у него был прелестный рот, алые губы и белые зубы, и улыбка смягчала некоторую суровость его лица. В иные минуты эта чувственная улыбка представляла странный контраст с целомудренным его лбом. Глаза у него были небольшие, а взгляд открытый.

В худшие времена своей нищеты Мариус не раз замечал, что девушки оглядывались на него, когда он проходил, и, затаив в душе смертельную муку, спешил спастись бегством или спрятаться. Он думал, что они смотрят на него потому, что он одет в обноски, и смеются

над ним. В действительности же они смотрели на него потому, что он был красив, и мечтали о нем.

Это безмолвное недоразумение, возникшее между встречными красотками и Мариусом, сделало его нелюдимым. Он не остановил своего выбора ни на одной из них по той простой причине, что бегал от всех. Вот так он и жил сам по себе, — «по-дурацки», как говорил Курфейрак.

— Не лезь в святоши (они были на «ты», ибо в юности друзья легко переходят на «ты»), — говорил также Курфейрак. — Мой тебе совет, дружище: поменьше читай книжки и хоть изредка поглядывай на прелестниц. Плутówki не так уж плохи, поверь мне, о Мариус! А будешь бегать от них да краснеть, — только отупеешь.

Иногда при встрече Курфейрак приветствовал его словами: «Добрый день, господин аббат».

После подобных речей Курфейрака Мариус по меньшей мере с неделю еще усерднее избегал всех женщин, молодых и старых без исключения, а вдобавок и самого Курфейрака.

Все же нашлись на белом свете две женщины, от которых он не убегал и которых не опасался. По правде говоря, он был бы очень удивлен, если бы ему сказали, что это — женщины. Одна из них была бородатая старуха, подметавшая его комнату. Глядя на нее, Курфейрак уверял, будто «Мариус именно потому и не отпускает бороды, что ее отпустила себе его служанка». Другая — была какая-то девочка, которую он очень часто видел, но не обращал на нее внимания.

Уж более года назад Мариус заметил в одной из пустынных аллей Люксембургского сада, тянувшейся вдоль ограды Питомника, мужчину и совсем еще молоденькую девушку, сидевших бок о бок, почти всегда на одной и той же скамье, в самом уединенном конце аллеи, выходившем на Западную улицу. Всякий раз, когда случай, без вмешательства которого не обходятся прогулки людей, погруженных в свои мысли, приводил Мариуса в эту аллею, — а это бывало почти ежедневно, — он находил там эту парочку. Мужчине можно было дать лет шестьдесят; он казался печальным и серьезным, а своим крепким сложением и утомленным видом напоминал отставного военного. Будь на нем орден, Мариус подумал бы, что перед ним бывший офицер. Лицо у него было доброе,

но он производил впечатление человека необщительного и ни на ком не останавливал взгляда. Он носил синие панталоны, синий редингот и широкополую шляпу, всегда новенькие на вид, словно с иголочки, черный галстук и квакерскую сорочку, то есть ослепительной белизны, но из грубого полотна. «Что за чистюля-вдовец!» — воскликнула однажды, проходя мимо, какая-то гризетка. Голова у него была совсем седая.

В первый раз, когда девочка, сопровождавшая старика, уселась подле него на скамью, которую они себе, видимо, облюбовали, она казалась тринадцати-четырнадцатилетним подростком, почти до уродливости худым, неуклюжим и ничем не примечательным. Одни только глаза ее еще подавали надежду стать красивыми, но во взгляде этих широко открытых глаз таилась какая-то неприятная невозмутимость. Одета она была по-старушечьи и вместе с тем по-детски, на манер монастырских воспитанниц, в черное плохого покроя платье из грубой мериносовой материи. Старика и девочку можно было принять за отца и дочь.

Первые два-три дня Мариус с любопытством разглядывал пожилого человека, которого еще нельзя было называть стариком, и девочку, которую еще нельзя было назвать девушкой. Затем он совсем перестал думать о них. А те со своей стороны, видимо, даже не замечали его. Они мирно и безмятежно беседовали между собой. Девочка без умолку весело болтала. Старик говорил мало и по временам останавливал на ней взгляд, полный невыразимой отеческой нежности.

Незаметно для себя Мариус приобрел привычку гулять по этой аллее. Он всякий раз встречал их тут.

Вот как это происходило.

Чаще всего Мариус появлялся в конце аллеи, противоположном их скамье, шел через всю аллею, проходил мимо них, затем поворачивал обратно, возвращался к своему исходному пункту и начинал путь сызнова. Пять-шесть раз в течение своей прогулки мерил он шагами аллею в обоих направлениях, а прогулка эта повторялась пять-шесть раз в неделю, но ни разу ни ему, ни этим людям не пришло в голову обменяться поклоном. Старик и девушка явно избегали посторонних взглядов, но, не смотря на это, а может быть именно поэтому, их заметили

пять-шесть студентов, изредка приходивших погулять в аллею Питомника: прилежные — после занятий, а иные — после партии на бильярде. Курфейрак, принадлежавший к числу последних, некоторое время наблюдал за сидящими на скамейке, но, найдя девушку дурнушкой, вскоре стремительно ретировался. Он бежал как парфянин, метнув в них прозвище. Запомнив единственно цвет платья девочки и цвет волос старика, он назвал дочь «дезицей Черной», а отца — «господином Белым». А поскольку никто не знал, как их зовут, то, за отсутствием подлинного имени, вошло в силу прозвище. «Ага! Господин Белый уж тут как тут!» — говорили студенты. За ними и Мариус стал называть неизвестного г-ном Белым.

Мы последуем их примеру и для удобства будем также именовать его в нашем рассказе г-ном Белым.

В первый год Мариус видел отца и дочь почти ежедневно и всегда в один и тот же час. Старик нравился ему, девушку же он находил мало приятной.

ГЛАВА ВТОРАЯ

*Lux facta est*¹

На второй год, как раз к тому времени, до которого доведено наше повествование, случилось так, что Мариус, сам хорошенько не зная почему, прекратил привычные прогулки в Люксембургский сад и почти полгода ни разу не показывался в своей аллее. Но вот одним ясным летним утром он снова отправился туда. На душе у Мариуса было радостно, как у всех нас в солнечный день. Ему казалось, что это в его сердце на все голоса поет раздававшийся вокруг птичий хор и в его сердце голубеет вся лазурь небес, глядевшая сквозь листву деревьев.

Он направился к «своей аллее» и, дойдя до конца ее, увидел все на той же скамье знакомую пару. Поровнявшись с ними, он заметил, что старик нисколько не изменился, но девушка показалась ему совсем иной. Он видел теперь перед собою высокое красивое создание, наделенное всеми женскими прелестями в ту их пору, когда они

¹ И стал свет (лат.).

сочетаются еще с наивной грацией ребенка, — пору мимо-летнюю и чистую, которую лучше не определишь, чем двумя словами: пятнадцать лет. Чудесные каштановые волосы с золотистым отливом, лоб словно изваянный из мрамора, щеки словно лепестки розы, бледный румянец, заалевшая белизна, очаровательный рот, откуда улыбка слетала, как луч, а слова — как музыка, головка рафаэлевой Мадонны, покоящаяся на шее Венеры Жана Гужона. И наконец, чтобы довершить обаяние этого восхитительного личика, вместо красивого носа — хорошенький носик: ни прямой, ни с горбинкой, ни итальянский, ни греческий нос, а парижский, то есть нечто умное, тонкое, неправильное, но чистое по очертаниям — предмет отчаяния художников и восторга поэтов.

Проходя мимо нее, Мариус не мог разглядеть ее глаз, все время остававшихся потупленными. Он увидел только длинные каштановые ресницы, в тени которых таилась стыдливость.

Это не мешало милой девочке улыбаться, слушая седого человека, что-то ей говорившего, и трудно было придумать что-либо восхитительнее этого сочетания ясной улыбки и потупленных глаз.

В первую минуту Мариус подумал, что это, должно быть, вторая дочь старика, сестра первой. Но когда неизменная привычка прогуливаться взад и вперед привела его вторично к скамейке и он внимательно взгляделся в девушку, то убедился, что это была все та же. В полгода девочка превратилась в девушку. Вот и все. Ничего особенного в этом нет. Приходит час, и в мгновение ока бутон распускается в розу. Вчера девушка еще была ребенком — дня не прошло, и все чарует в ней.

Но наша девочка не только выросла, она приобрела и одухотворенность. Как трех апрельских дней достаточно для некоторых деревьев, чтобы зацвести, так для нее оказалось достаточным полгода, чтобы облечься красотой. Пришел ее апрель.

Мы наблюдаем иногда, как бедные, скромные люди вдруг, словно стряхнув с себя сон, сразу из нищенства бросаются в роскошество, сорят деньгами, неожиданно становятся заметными, расточительными, блистательными. Это означает, что в кармане у них завелись

деньги, — вчера был срок выплаты ренты. Так и тут: девушка получила свой полугодовой доход.

Ее уже больше нельзя было принять за пансионерку. Куда девалась ее плюшевая шляпка, мериновое платье, ботинки школьницы и красные руки? Вместе с красотой у нее появился вкус. Это была хорошо, с дорогой и изящной простотой и без всяких вычур одетая особа. На ней было платье из черного дамá, пелеринка из того же шелка и белая креповая шляпка. Белые перчатки обтягивали тонкие пальчики, которыми она вертела ручку зонтика из китайской слоновой кости, а шелковые полусапожки обрисовывали крошечную ножку. При приближении к ней чувствовался исходивший от всего ее туалета пьянящий аромат юности.

Что касается старика, то он совсем не изменился.

Когда Мариус проходил мимо нее вторично, девушка вскинула глаза. Они у нее были небесно-голубые и глубокие, но сквозь их подернутую поволокою лазурь еще сквозил взгляд ребенка. Она посмотрела на Мариуса так же равнодушно, как посмотрела бы на мальчугана, бегавшего под сикоморами, или на мраморную вазу, отбрасывающую тень на скамейку; Мариус продолжал прогулку, тоже размышляя о другом.

Он еще четыре-пять раз прошел мимо скамьи, на которой сидела девушка, ни разу даже не взглянув на нее.

В следующие дни Мариус попрежнему приходил в Люксембургский сад, попрежнему заставлял там «отца и дочь», однако не обращал больше на них внимания. Он думал об этой девушке теперь, когда она стала красавицей, не больше, чем тогда, когда она была дурнушкой. Он проходил возле самой ее скамьи только потому, что это вошло у него в привычку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Действие весны

Был теплый день; Люксембургский сад стоял залитый солнцем и тенью, небо было чисто, как будто ангелы вымыли его поутру; в густой листве каштанов чирикали

воробы. Мариус раскрыл всю душу природе, он ни о чем не думал, а только жил и дышал. Он шел мимо скамьи, девушка подняла на него глаза, их взоры встретились.

Что было на сей раз во взгляде девушки? На это Мариус не мог бы ответить. В нем не было ничего — и было все.словно неожиданно сверкнула молния.

Девушка опустила глаза, а Мариус пошел дальше.

То, что он увидел, не было бесхитростным, наивным взглядом ребенка, то была таинственная бездна, едва приоткрывшаяся и тотчас снова замкнувшаяся.

У каждой девушки бывает день, когда она так глядит. Горе тому, кто тут случится!

Этот первый взгляд еще не осознавшей себя души подобен занимающейся в небе заре. Это возникновение чего-то лучезарного и неведомого. Нельзя передать всего губительного очарования этого мерцающего света, внезапно вспыхивающего в священном мраке и сочетающего в себе всю невинность нынешнего дня и всю страстность завтрашнего. Это как бы нечаянное пробуждение робкой и полной ожидания нежности. Это сети, которые втайне от самой себя расставляет невинность и в которые, сама того не желая и того не ведая, она ловит сердца. Это девственница со взглядом женщины.

Редко случается, чтобы подобный взгляд не породил глубокой мечтательности в том, на кого он упадет. Все целомудрие, вся непорочность заключены в этом небесном и роковом луче, обладающем в большей степени, чем самые кокетливые взгляды, той магической силой, под действием которой мгновенно распускается в глубинах души мрачный цветок, полный благоухания и яда, называемый любовью.

Вечером, вернувшись к себе в каморку, Мариус поглядел на свое платье и тут только впервые понял, что с его стороны было неслыханной неряшливостью, неприличием и глупостью ходить на прогулку в Люксембургский сад в костюме «для каждого дня», иными словами, — в шляпе, продавленной у шнура, в грубых извозничьих сапогах, в черных панталонах, блестевших на коленях, и в черном сюртуке, потертom на локтях.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Начало серьезной болезни

На другой день Мариус достал из шкафа свой новый сюртук, новые панталоны, новую шляпу и новые ботинки, облачился во все эти доспехи, натянул — небывалая роскошь — перчатки и в обычный час отправился в Люксембургский сад.

По дороге ему встретился Курфейрак, но он сделал вид, что не замечает его. Курфейрак, вернувшись домой, заявил товарищам: «Я только что встретил новую шляпу и новый сюртук Мариуса и самого Мариуса впридачу. Он, наверно, шел на экзамен. Вид у него был самый дурацкий».

Придя в Люксембургский сад, Мариус обошел вокруг бассейна, полюбовался на лебедей, а потом долго стоял, погрузившись в созерцание, перед статуей с потемневшей от плесени головой и с отбитым бедром. У бассейна какой-то сорокалетний буржуа с брюшком, держа за руку пятилетнего мальчика, поучал ребенка: «Избегай крайностей, сын мой. Держись подальше и от деспотизма и от анархии». Мариус выслушал рассуждения буржуа, потом еще раз обошел вокруг бассейна. Наконец медленно, словно нехотя, направился в «свою аллею». Как будто что-то одновременно и толкало его туда и не пускало. Сам он не отдавал себе в том отчета и полагал, что ведет себя как всегда.

Войдя в аллею, он увидел на другом ее конце, на «их скамейке», г-на Белого и девушку. Он наглухо застегнул сюртук, обдернул его, чтобы не морщился, не без удовольствия отметил шелковистый отлив своих панталон и двинулся на скамью. Он напоминал человека, идущего в атаку и, конечно, уповающего на победу. Итак, я сказал: «Он двинулся на скамью», как сказал бы: «Ганнибал двинулся на Рим».

Впрочем, все это делалось совершенно бессознательно, нисколько не нарушая ни обычного течения мыслей Мариуса, ни привычной их работы. В эту самую минуту он думал только о том, какой глупейшей книгой является «Руководство к получению степени бакалавра» и какими редкостными крестинами должны были быть ее составители, раз в ней в качестве высших образцов, созданных человеческим гением, приводятся целых три трагедии

Расина и только одна комедия Мольера. В ушах у него стоял пронзительный звон. Приближаясь к скамейке и на ходу обдергивая сюртук, он в то же время не спускал глаз с девушки. Ему казалось, что вокруг нее, заполняя весь конец аллеи, разливается мерцающее голубое сияние.

Но, по мере того как он приближался к скамье, шаги его все замедлялись. На некотором расстоянии от нее, далеко еще не пройдя всей аллеи, он вдруг остановился и, сам не зная, как это случилось, повернул обратно. У него и в мыслях не было, что он не дойдет до конца. Едва ли девушка могла издали разглядеть его и увидеть, как он хорош в своем новом костюме. Тем не менее он старался держаться как можно прямее, чтобы иметь бравый вид на тот случай, если бы кому-нибудь из тех, что остались позади, вздумалось взглянуть на него.

Он достиг противоположного конца аллеи, затем снова вернулся и на этот раз обнаружил больше отваги. Ему удалось даже приблизиться к скамье настолько, что до нее осталось миновать всего три дерева, но тут он вдруг почувствовал, что почему-то не может идти дальше, и заколебался. Ему показалось, что девушка повернула головку в его сторону. И все же, мужественным и настойчивым усилием воли он поборол нерешительность и двинулся вперед. Несколько секунд спустя он твердой походкой проследовал мимо скамейки, выпрямившись, красный до ушей, не смея взглянуть ни направо, ни налево и засунув руку за борт сюртука, словно какой-нибудь государственный муж. В ту минуту, когда он проходил под огнем противника, сердце его страшно заколотилось. На ней было то же платье из дам и та же креповая шляпка, что накануне. До него донесся чей-то дивный голос — наверное, «ее голос». Она что-то неторопливо рассказывала. Она была прехорошенькой. Он чувствовал это, хотя не пытался взглянуть на нее. «А она, конечно, прониклась бы ко мне уважением и почтением, — думал он, — если бы узнала, что не кто иной, как я, — подлинный автор рассуждения о Маркосе Обрегоне де ла Ронда, которое господин Франсуа де Нефшато выдал за свое и поместил в качестве предисловия к своему изданию «Жиль Блаза»!»

Миновав скамью, он прошел в конец аллеи, до которого было совсем недалеко, затем повернул обратно и еще раз прошел мимо красавицы. Но этот раз он был очень

бледен. По правде говоря, он испытывал одни только неприятные ощущения. Теперь он удалялся от скамьи и от девушки, однако стоило ему очутиться к ней спиной, как он вообразил, что она смотрит на него, и начал спотыкаться.

Не пытаясь больше подойти к скамейке, он остановился посредине аллеи, затем, чего раньше никогда не делал, уселся и принялся посматривать все в ту же сторону, в глубине души думая, что вряд ли особа, чьей белой шляпкой и черным платьем он любовался, могла остаться совершенно нечувствительной к шелковистому отливу его панталон и новому сюртуку.

Через четверть часа он поднялся, как будто намереваясь снова направиться к лучезарной скамье. И вдруг застыл на месте. Впервые за пятнадцать месяцев ему пришлось в голову, что, наверное, господин, ежедневно приходивший в сад, чтобы посидеть на скамейке вместе с дочерью, тоже обратил на него внимание и находит странным его постоянное присутствие здесь.

Впервые почувствовал он также, что как-то неудобно даже в мыслях называть незнакомца прозвищем г-н Белый.

Несколько минут стоял он так, опустив голову и рисуя на песке тростью, которую держал в руке.

Затем круто повернул в сторону, противоположную скамье, г-ну Белому и его дочери, и пошел домой.

В тот день Мариус забыл пообедать. Он вспомнил об этом только в восемь часов вечера, а так как идти на улицу Сен-Жак было уже слишком поздно, он сказал себе: «Не беда!» и съел кусок хлеба.

Прежде чем лечь, он почистил и аккуратно сложил свое платье.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Громы небесные раздражаются над головой мамаши Бурчуньи

На другой день мамаша Бурчунья, — так прозвал Курфейрак старуху привратницу, главную жилицу и домоуправительницу лачуги Горбо; в действительности, как мы установили, ее звали г-жа Бюргон, но этот сорви-голова

Курфейрак никого не желал признавать, — итак, мамаша Бурчунья с изумлением заметила, что г-н Мариус опять ушел из дома в новом костюме.

Он и на этот раз отправился в Люксембургский сад. Но дальше своей скамьи посередине аллеи не пошел. Усевшись здесь, как и накануне, он стал издали глядеть на белую шляпку, черное платье и голубое сияние, которое особенно хорошо различал. Он не двигался с места до тех пор, пока не стали запираать ворота сада. Он не заметил, как ушел г-н Белый с дочерью, и заключил отсюда, что они прошли через калитку, выходящую на Западную улицу. Позднее, несколько недель спустя, перебирая все в памяти, он никак не мог припомнить, где же он обедал в тот вечер.

На другой день, это был уже третий по счету, мамашу Бурчунью снова как громом поразило: Мариус опять ушел в новом костюме.

— Три дня подряд! — воскликнула она.

Она попробовала было пойти за ним, но Мариус шел быстро, гигантскими шагами; это было равносильно попытке гиппопотама нагнать серну. Не прошло и двух минут, как она потеряла Мариуса из виду и вернулась еле живая, чуть не задохшись от своей астмы, вне себя от злости. «Наряжаться каждый день в парадное платье и заставлять людей вот так бегать за собой! Ну есть ли во всем этом хоть капля ума?» — ворчала она.

А Мариус опять пошел в Люксембургский сад.

Девушка и г-н Белый были уже там. Делая вид, будто он читает книгу, Мариус подошел к ним насколько мог близко, но все же их разделяло еще довольно большое расстояние, когда он обратился вспять. Вернувшись на свою скамейку, он просидел на ней битых четыре часа, наблюдая за воробьями, которые прыгали по аллее и словно насмехались над ним.

Так прошло две недели. Мариус ходил теперь в Люксембургский сад не для прогулок, а просто чтобы сидеть, неизвестно зачем, на одном и том же месте. Усевшись, он уже не поднимался. Каждое утро он надевал свой новый костюм, хотя никому в нем не показывался, а на другой день начинал все сызнова.

Девушка была и в самом деле изумительно хороша. И если можно было в чем-нибудь упрекнуть ее внешность,

то разве только в том, что контраст между грустным взглядом и веселой улыбкой придавал ее лицу что-то загадочное, и в иные минуты это нежное личико, оставаясь все таким же прелестным, вдруг приобретало странное выражение.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Взят в плен

Как-то в конце второй недели Мариус сидел по обыкновению на своей скамейке, с открытой книгой в руках, в течение двух часов не перевернув ни одной страницы. Вдруг он вздрогнул. В конце аллеи случилось необыкновенное происшествие. Г-н Белый и его дочь встали со своей скамейки, дочь взяла отца под руку, и оба медленно направились к середине аллеи, к тому месту, где находился Мариус. Он захлопнул книгу, затем снова ее раскрыл и попытался читать. Он весь дрожал. Лучезарное видение шло прямо на него. «О боже, — думал он, — мне никак не успеть принять надлежащую позу!» Между тем седовласый человек и девушка подходили все ближе. Мариусу то казалось, что это длится уже целую вечность, то мнилось, что не прошло и мгновенья. «Зачем они пошли этой стороной? — задавал он себе вопрос. — Неужели она пройдет здесь? Ее ножки будут ступать по этому песку, по этой аллее, в двух шагах от меня?» Он совсем растерялся, ему хотелось в эту минуту быть красавцем, иметь крест на груди. Он слышал, как приближался негромкий, размеренный шум их шагов. Ему вообразилось, будто г-н Белый бросает на него сердитый взгляд. «А вдруг этот господин заговорит со мной?» — думал он. Он опустил голову; а когда поднял ее, они были совсем рядом. Девушка прошла мимо и, проходя, взглянула на него. Взглянула так пристально, задумчиво и ласково, что Мариус весь затрепетал. Ему почудилось, будто она укоряет его за то, что он так долго не собрался подойти к ней, и говорит: «Вот я и пришла сама». Мариус был ослеплен ее лучистым и бездонным взором.

Он чувствовал, что мозг его пылает. Она пришла к нему, какая радость! А как она взглянула на него! Никогда еще не казалась она ему столь прекрасной. Пре-

красной — той совершенной красотой, одновременно женственной и ангельской, которая заставила бы Петрарку слагать песни, а Данте — преклонить колени. Мариус чувствовал себя на вершине блаженства. Вместе с тем он страшно досадовал на то, что у него запылились сапоги.

Он был уверен, что от ее взгляда не ускользнули и его сапоги.

Он не спускал с нее глаз, пока она не скрылась из виду, а потом, как безумный, принялся шагать по Люксембургскому саду. Не исключена возможность, что по временам он громко смеялся и разговаривал сам с собой. Он расхаживал с таким мечтательным видом среди гулявших с детьми нянюшек, что все они вообразили, будто он в них влюблен.

Затем он вышел из Люксембургского сада, надеясь встретить девушку где-нибудь на улице.

Под сводами Одеона он столкнулся с Курфейраком. «Пойдем со мной обедать», — предложил он. Они отправились вместе к Руссо и потратили шесть франков. Мариус ел за десятерых и дал шесть су гарсону. «А ты читал сегодня газету? — спросил он за десертом Курфейрака. — Какую превосходную речь произнес Одри де Пюираво!»

Он был безумно влюблен.

После обеда он предложил Курфейраку пойти в театр. «Плачу я», — заявил он. Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика в «Адретской гостинице». Мариус забавлялся от всей души.

А вместе с тем он стал еще застенчивее. При выходе из театра он не захотел взглянуть на подвязку модистки, перепрыгивавшей через канавку, а замечание Курфейрака: «Я был бы непрочь присоединить эту девицу к своей коллекции» — просто привело его в ужас.

На следующий день Курфейрак пригласил его завтракать в кафе «Вольтер». Мариус пришел и ел еще больше, чем накануне. Он был задумчив, но очень весел. Можно было подумать, что ему только и нужен повод, чтобы похотеть. Он нежно обнял какого-то провинциала, с которым его познакомили. Компания студентов окружила их столик. Разговор начался с рассказов о глупостях, произносимых за казенный счет с кафедры Сорбонны, а затем перешел к ошибкам и пропускам в словарях и просодиях

Кишерá. Мариус неожиданно прервал эти рассуждения, воскликнув: «А все-таки очень приятно иметь орден!»

— Это уж совсем смешно! — шепнул Курфейрак Жану Пруверу.

— Нет! — возразил Жан Прувер. — Тут не до смеха.

И действительно, тут было не до смеха. Мариус переживал то бурное и полное очарования время, которым всегда отмечено начало большой страсти.

И все это сделал один только взгляд.

Когда мина заложена, когда все подготовлено к взрыву, — ничего нет проще. Взгляд — это искра.

Свершилось. Мариус полюбил. Неведомы стали пути его судьбы.

Женский взгляд напоминает некие машины с зубчатыми колесами, с виду безобидные, а на деле страшные. Вы можете спокойно, ничего не подозревая, изо дня в день безнаказанно проходить мимо них. Наступает минута, когда вы даже забываете, что они тут. Вы приходите, уходите, думаете, разговариваете, смеетесь. Вдруг вы чувствуете себя пойманным. Все кончено. Машина не пускает вас, взгляд вас схватил. Схватил ли он вас за кончик нечаянно обнаруженной мысли, попались ли вы по рассеянности, — как и почему это случилось — неважно. Но вы погибли. Вас втянет туда всего целиком. Вас скосывают таинственные силы. Соппротивление напрасно. Никакая человеческая помощь здесь невозможна. От колеса к колесу потащит вас вместе с вашими мыслями, вашим счастьем, вашей будущностью, вашей душой, через все муки, через все пытки, и, в зависимости от того, попадете ли вы во власть существа злобного или благородного, вы можете выйти из этой ужасной машины лишь обезображенный стыдом или преображенный любовью.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы

Одиночество, оторванность от жизни, гордость, независимость, любовь к природе, свобода от каждодневного труда ради хлеба насущного, самоуглубление, тайная

борьба целомудрия, искренний восторг перед миром творений — все подготовило Мариуса к состоянию той одержимости, что именуется страстью. Обожание отца постепенно превратилось у него в религию и, как всякая религия, ушло вглубь души. Требовалось еще что-то, что заполнило бы все его сердце. И вот пришла любовь.

Целый месяц, изо дня в день, ходил Мариус в Люксембургский сад. Наступал назначенный час, и ничто уже не могло удержать его: «У него дежурство», — говорил Курфейрак. А Мариус упивался блаженством. Сомнения не было — девушка смотрела на него!

Мало-помалу он осмелел и стал подходить ближе к скамейке. Однако из инстинктивной робости и осторожности, свойственной всем влюбленным, он уже не решался теперь идти мимо нее. Он считал, что лучше не привлекать «внимания отца». С глубоким макиавеллизмом рассчитывал он, за какими деревьями и пьедесталами статуй надлежит ему располагаться, чтобы как можно больше быть на виду у девушки и как можно меньше у старого господина. Иногда он по полчаса неподвижно простаивал в тени какого-нибудь Леонида или Спартака, с книгой в руке, и, незаметно подняв от книги глаза, искал ими лицо девушки. А та, с едва уловимой улыбкой, также поворачивала к нему свое очаровательное личико. Самым спокойным и непринужденным образом беседуя с седовласым спутником, она посылала Мариусу полный мечтаний девственный и страстный взгляд. Прием незапамятной древности, известный еще Еве с первого дня творения и каждой женщине — с первого дня рождения! Губы ее отвечали одному, а глаза — другому.

Надо все же думать, что г-н Белый стал что-то замечать, ибо часто при появлении Мариуса он поднимался и начинал прогуливаться по аллее. Он оставил свое привычное место и выбрал другую скамью, на противоположном конце аллеи, рядом с Гладиятором, как бы желая проверить, не последует ли Мариус за ними. Мариус ничего не понял и совершил эту ошибку. «Отец» стал неаккуратно посещать сад и не каждый день брал с собой «дочь» на прогулку. Иногда он приходил один. В таких случаях Мариус не оставался в саду — вторая ошибка.

Мариус не замечал всех этих тревожных симптомов. Пережив фазу робости, он вступил — процесс естествен-

ный и неизбежный — в фазу ослепления. Любовь его все возрастала. Каждую ночь он видел Ее во сне. К тому же на его долю выпало неожиданное счастье, которое, подлив масла в огонь, еще больше затуманило ему глаза. Однажды вечером, в сумерках, он нашел на скамейке, только что покинутой «господином Белым и его дочерью», носовой платок. Самый обыкновенный, без всякой вышивки, но очень белый и тонкий носовой платок, который распространял, как ему показалось, дивный аромат. Он с восторгом схватил платок. На нем стояла метка «У. Ф.». Мариус ровно ничего не знал о милой девочке — ни ее фамилии, ни имени, ни адреса. Эти две буквы были первое, что ему удалось узнать о ней; и на этих божественных инициалах он тотчас принялся строить целое сооружение догадок. «Буква «У», — думал он, — должна обозначать имя. Наверное, Урсула! Какое восхитительное имя!» Он поцеловал платок, вдохнул его запах, весь день носил на груди, у самого сердца, а ночью приложил к губам, чтобы заснуть.

— Я чувствую в нем всю ее душу! — восклицал он.

А платок принадлежал старику, который просто-напросто выронил его из кармана.

В дни, последовавшие за находкой, Мариус стал появляться в Люксембургском саду не иначе, как целуя или прижимая к сердцу платок. Девушка ничего не понимала и едва заметными знаками старалась показать ему это.

— О стыдливость! — говорил себе Мариус.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Даже инвалиды могут быть счастливы

Если мы уже произнесли слова «стыдливость» и если не желаем здесь ничего таить, то нужно сказать, что, несмотря на все это упоение, Мариус однажды не на шутку разгневался на свою «Урсулу». Это случилось в один из тех дней, когда ей удалось уговорить г-на Белого покинуть скамью и пойти прогуляться по аллее. Дул сильный прерияльский ветер, колебавший верхушки платанов. Отец и дочь прошли под руку мимо скамьи Мариуса.

Мариус тотчас же поднялся и стал пристально глядеть им **вслед**, как это и подобало человеку, потерявшему от **любви** рассудок.

Вдруг порыв ветра, более резвый, чем остальные, и которому, по всей вероятности, было поручено творить дела весны, налетел со стороны Питомника, пронесся по аллее и, закружив девушку в упоительном вихре, достойном нимф Вергилия и фавнов Теокрита, приподнял ее платье — это не менее священное, чем покрывало Изиды, платье — почти до самых подвязок. Открылась прелестная ножка. Мариус увидел ее. Он пришел в страшное раздражение и ярость.

Божественным движением, полным испуга, девушка тотчас оправила платье. Но он тем не менее продолжал возмущаться. Правда, он был один в аллее. «Но ведь там, — думал он, — мог быть и еще кто-нибудь. А если бы на самом деле там кто-нибудь был! Только вообразить себе нечто подобное! То, что она натворила, — просто ужасно!» Увы, бедное дитя ровно ничего не натворило. Во всем виноват был только ветер; но Мариус, в котором смутно зашевелился Бартоло, таящийся в Керубино, был полон негодования и ревновал к собственной тени. Вот так именно пробуждается в человеческом сердце и завладевает им, даже без всякого на то права, горькое и неизъяснимое чувство плотской ревности. Впрочем, независимо от ревности, лицезрение очаровательной ножки не доставило ему никакого удовольствия; вид белого чулка первой попавшейся женщины был бы ему приятнее.

Когда «его Урсула», дойдя до конца аллеи и повернув обратно, прошла в сопровождении г-на Белого мимо скамейки, на которой снова уселся Мариус, он бросил на девушку угрюмый и свирепый взгляд. А она в ответ слегка откинула голову и удивленно приподняла брови, как бы спрашивая: «Что такое, что случилось?»

Это была их «первая ссора».

Едва Мариус перестал устраивать ей сцену глазами, как кто-то показался на аллее. Это был сгорбленный, весь в морщинах, белый как лунь инвалид в мундире времен Людовика XV; на груди у него была небольшая овальная нашивка из красного сукна с перекрещивающимися мечами — солдатский орден Людовика Святого, сверх того герой был украшен болтавшимся пустым рукавом, сере-

бряной нижней челюстью и деревяшкой вместо ноги. По мнению Мариуса, существо это имело в высшей степени самодовольный вид. Ему показалось даже, что старый циник, проковыляв мимо него, лукаво, по-приятельски подмигнул ему, словно неожиданный случай сделал их сообщниками и дал им возможность разделить какое-то непредвиденное удовольствие. С чего они так развеселились, эти Марсовы обломки? Что же такое произошло между этой деревянной ногой и той ножкой? Ревность Мариуса достигла высшего предела. «А вдруг он был здесь! А вдруг видел!» — повторял он себе. Ему хотелось уничтожить инвалида.

Но время притупляет остроту всяких чувств. Гнев Мариуса на «Урсулу», при всей своей справедливости и законности, миновал. В конце концов Мариус простил; но это стоило ему большого труда; он дулся на нее три дня.

Однако, несмотря на все это и благодаря всему этому, страсть его усиливалась и превращалась в безумие.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Затмение

Мы видели, как Мариус открыл — или же вообразил, что открыл, — будто «ее» зовут Урсулой.

Аппетит приходит с любовью. Знать, что имя ее Урсула, это, конечно, уже много; но вместе с тем и мало. Через три-четыре недели это счастье перестало утолять голод Мариуса. Ему захотелось иного. Ему захотелось узнать, где она живет.

Он допустил уже одну ошибку: не заметил ловушки со скамьей около Гладиятора. Он допустил и вторую: не оставался в Люксембургском саду, когда г-н Белый приходил туда один. Теперь он допустил третью, огромную ошибку: он решил проводить «Урсулу».

Она жила на Западной улице, в самой безлюдной ее части, в новом трехэтажном доме, скромном на вид.

С этой минуты к счастью Мариуса видеть ее в Люксембургском саду прибавилось счастье провожать ее до дома.

Но голод его все усиливался. Мариус знал, как ее зовут, во всяком случае знал если не фамилию, то ее имя — прелестное, самое подходящее для женщины имя; он знал также, где она живет; теперь он желал знать, кто она.

Однажды вечером, проводив их до дома и едва дав им скрыться в воротах, он вошел следом за ними и решительным тоном спросил у привратника:

— Скажите, это вернулся жилец второго этажа?

— Нет, — ответил привратник, — это жилец третьего.

Еще один факт установлен. Успех окрылил Мариуса.

— Его квартира выходит на улицу?

— Ну конечно! Весь дом построен окнами на улицу, — объяснил привратник.

— А кто он такой, этот господин? — продолжал Мариус.

— Он рантье, сударь. Человек очень добрый и, хотя сам не богат, много помогает бедным.

— А как его фамилия? — задал новый вопрос Мариус.

Привратник поднял голову.

— Уж не сыщик ли вы будете, сударь? — спросил он.

Мариус ушел сконфуженный, но в полном восторге. Дела его шли на лад.

«Превосходно, — думал он. — Итак, я знаю, что ее зовут Урсулой, что она дочь рантье, что она живет в доме на Западной улице, на третьем этаже».

На другой день г-н Белый и его дочь лишь ненадолго появились в Люксембургском саду. Они ушли оттуда еще засветло. Мариус проводил их до Западной улицы, как это теперь вошло у него в привычку. Дойдя до ворот, г-н Белый пропустил дочь вперед, а сам, прежде чем переступить порог, обернулся и пристально взглянул на Мариуса.

На следующий день они не пришли в Люксембургский сад. Мариус напрасно прождал их целый день.

С наступлением темноты он отправился на Западную улицу и в окнах третьего этажа увидел свет. Он прогуливался под окнами, пока свет в них не погас.

На следующий день в Люксембургском саду — никого. Мариус прождал до темноты, а потом пошел в свой ночной караул под окна. Это затянулось до десяти часов вечера. На обед он махнул рукой. Лихорадка питает больного, а любовь — влюбленного.

Так прошла неделя. Ни г-н Белый, ни его дочь больше не появлялись в Люксембургском саду. Мариус строил печальные предположения; днем он не решался караулить у ворот. Он довольствовался тем, что ходил по ночам глядеть на красноватый свет в окнах. Иногда за стеклами мелькали тени, и при виде их сердце его учащенно билось.

Когда он на восьмой день пришел под окна, огонь в них не горел. «Что бы это значило, — подумал он, — лампа еще не зажжена! А ведь совсем темно. Быть может, их нет дома!» Он ждал до десяти часов, до полуночи, до часу ночи. Свет в третьем этаже так и не зажигался, и никто не входил в дом. Мариус ушел крайне опечаленный.

На следующий день, — ибо теперь он жил только ожиданием завтрашнего дня, а сегодняшний для него, так сказать, больше уже не существовал, — на следующий день он никого не нашел в Люксембургском саду; но это его уже не удивило. В сумерках он отправился к знакомому дому. Окна не были освещены; жалюзи были спущены; весь третий этаж был погружен в мрак.

Мариус постучался и вошел в ворота.

— Дома ли господин, проживающий в третьем этаже? — спросил он привратника.

— Он съехал, — ответил тот.

Мариус пошатнулся и чуть слышно спросил:

— Когда?

— Вчера.

— А где он теперь живет?

— Не знаю.

— Разве он не оставил своего нового адреса?

— Нет.

И, задрав нос, привратник узнал Мариуса.

— Ах, это вы! — сказал он. — Стало быть, вы и впрямь шпион?

Книга седьмая

ПЕТУШИНЫЙ ЧАС

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рудники и рудокопы

Во всяком человеческом обществе есть то, что в театре носит название *третьего* или *нижнего трюма*. Весь социальный грунт изрыт вдоль и поперек, иногда это во благо, иногда — во зло. Места подземных разработок располагаются одно под другим. Есть шахты мелкого и глубокого залегания. Есть верх и есть низ в этом мрачном подземелье, которое порою обрушивается под тяжестью цивилизации и которое мы с таким равнодушием и беспечностью попираем ногами. В прошлом веке «Энциклопедия» представляла собою почти открытую штольню. Толщи мрака, породившего мир первобытного христианства, только и ждали случая, чтобы разверзнуться при цезарях и затопить человеческий род ослепительным светом. Ибо в священной тьме таится скрытый свет. Кратеры вулканов полны мглой, готовой обратиться в пламя. Лава вначале всегда черна, как ночь. Кагакомбы, где отслужили первую обедню, были не только пещерой Рима, но и подземельем мира.

Под зданием человеческого общества, под этим сочетанием архитектурных чудес и руин, существуют подземные пустоты. Там пролегают рудники религии, рудники философии, рудники политики, рудники экономики, рудники революции. Кто прорубает себе путь идеями, кто точным вычислением, кто гневом. Голоса окликают друг друга и переговариваются из одной катакомбы в другую. Утопии бредут боковыми ходами. Они разветвляются во все стороны. Иногда встречаются и братаются между собой.

Жан-Жак уступает кирку Диогену и взамен берет у него фонарь. Порою там происходят стычки. Кальвин хватается за волосы Содзини. Но ничто не задерживает и не прерывает напряженного стремления всех этих сил к цели, их бурной одновременной деятельности, — этого движения взад и вперед, вверх и вниз, происходящего во мраке и медленно преобразующего то, что наверху, тем, что внизу, и то, что извне, тем, что внутри; чудовищная, незримая суэта. Общество едва ли подозревает о процессе бурения, которое, не оставляя следа на поверхности, разворачивает все его недра. Сколько подземных ярусов, столько же различных разработок, столько же видов ископаемых. Что же добывают в этих глубоких коях? Будущее.

Чем глубже рудники, тем таинственнее рудокопы. До известного уровня, поддающегося определению социальной философии, их труд полезен, за этим пределом его польза становится сомнительной и ее можно оспаривать; еще ниже он становится губительным. На известной глубине в эти скрытые пустоты уже не проникает дух цивилизации; граница, где человек в состоянии дышать, перейдена; здесь начинается мир чудовищ.

Лестница спускается вниз причудливыми уступами, и каждая площадка соответствует новой ступени, где может обосноваться философия и где мы встречаем одного из ее тружеников, порою возвышенных духом, порою отщепенных. Ступенью ниже Яна Гуса находится Лютер; под Лютером Декарт; под Декартом Вольтер; под Вольтером Кондорсе; под Кондорсе Робеспьер; под Робеспьером Марат; под Маратом Бабеф. И так дальше. Еще ниже, на той грани, что отделяет неясное от невидимого, смутно вырисовываются другие туманные фигуры — быть может, еще не родившихся людей. Тени прошлого — это призраки; тени будущего — это личинки. Наш мысленный взор еще не ясно различает их. Эмбриональное развитие будущего — одно из видений философа.

Целый мир в завязи, в зачаточном состоянии — какие небывалые образы!

Сен-Симон, Оуэн, Фурье — они тоже там, в боковых ходах.

Хотя незримая чудесная цепь связует меж собою, неведомо для них, всех этих подземных разведчиков будущего, обычно считающих себя одиночками, — что отнюдь

неверно, — однако, без сомнения, труд их весьма различен, и мягкий свет, которым горят одни, составляет резкий контраст с пламенем, которым пылают другие. Есть среди них существа райски светлые, есть трагически мрачные. Впрочем, каково бы ни было это различие, у всех этих тружеников, от самого великого до самого ничтожного, от самого мудрого до самого безумного, есть одна общая черта, а именно — бескорыстие. Марат забывает о себе так же, как Иисус. Они пренебрегают собой, отстраняют себя, не думают о себе. Они видят что-то, лежащее вне их. Глаза их раскрыты, и эти глаза ищут истину. В очах у одного все сияние неба; и пусть загадочен взгляд другого, в глубине его все же мерцает отблеск бесконечности. Что бы он ни совершил, преклонитесь же перед тем, кто отмечен этим знаком — звездным взглядом.

Взгляд, полный мрака, — другой знак.

С него начинается зло. При встрече с тем, кто смотрит пустыми зрачками, призадумайтесь и трепещите. В системе общественного строя есть свои недобрые рудокопы.

Существует предел, за которым дальнейшее погружение превращается в погребение, там гаснет свет.

Под всеми перечисленными нами шахтами, под всеми этими подземными галлереями, под всей этой необъятной кровеносной системой прогресса и утопии, гораздо глубже в земле, ниже Марата, ниже Бабефа, ниже, гораздо ниже и без всякого сообщения с верхними пластами, залегает последняя штольня. Ужасное место. Это и есть то, что мы называли нижним трюмом. Это могильный мрак. Это подземелье слепых. *Inferi*¹.

Дальше уже начинается бездна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Самое дно

Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны; здесь каждый за себя. Безглазое «я» рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголино общественного строя заточен в этой пропасти.

¹ Преисподняя (лат.).

Свирепые существа, не то звери, не то призраки, бродят по этой пещере; их не интересует всемирный прогресс, им неведомо ни такое понятие, ни такое слово, их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари, и внутри у них удручающая пустота. У них две матери — и обе им мачехи — невежество и нищета. У них есть поводырь — их потребности; а взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, — но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступление; таково роковое следствие, потрясающий вывод, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа; это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томиться голодом, томиться жаждой — вот отправная точка; стать Князем тьмы — вот конечный пункт. Из такого подполья выходят Лас-неры.

Недавно, в четвертой книге, читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника, с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают; но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя: Прогресс.

Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости.

Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор пока не рассеется мрак невежества, великая пещера Зла.

Это подземелье залегает глубже других и враждебно всем другим. Здесь господствует одна беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах Картуша Бабеф — эксплуататор; для Шиндерганнеса Марат — аристократ. У этой пещеры одна цель: разрушить все.

Все. В том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только совре-

женный общественный строй: она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль, она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество.

У всех верхних ярусов одна лишь цель: уничтожить нижний. К этой цели всеми силами, всеми способами — и путем улучшения существующей действительности и путем размышления над идеалом — стремятся философия и прогресс. Разружьте нору Невежества, и вы уничтожите крота — Преступление.

Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это Мрак.

Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех — по крайней мере здесь, на земле — одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же брешная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее. И эта невытравимая чернота проникает внутрь человека и становится там Злом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас

С 1830 по 1835 год «нижним трюмом» Парижа правила четверка бандитов: Звенигрош, Живоглот, Бабет и Монпарнас.

Живоглот был Геркулесом подонков. Ему служила берлогой клоака Арш-Марион. При росте в шесть футов у него была каменная грудная клетка, железные бицепсы, дыхание — как ветер из ущелья, туловище великана и птичий череп. Казалось, перед вами Геркулес Фарнезский, напавший тиковые штаны и плисовую блузу, Живоглот, напоминавший своим сложением эту скульптуру, мог бы укрощать чудовищ; он нашел, что гораздо проще стать одним из них. Низкий лоб, широкие скулы, меньше сорока лет от роду — и уже морщины у глаз, короткие жесткие волосы, заросшие щеки, не борода, а щетина, — вот он

весь перед вами. Его мускулы томились по работе, а тупой мозг отказывался от нее. Это была могучая сила, пропадавшая втуне. Он стал убийцей от безделья. Его считали креолом. Возможно, что он был причастен к убийству маршала Брюна, так как в 1815 году служил носильщиком в Авиньоне. Имея за плечами такой опыт, он стал бандитом.

Легкий бесплотный Бабет представлял полную противоположность грузному Живоглуту. Бабет был тощ и умен. Прозрачен, но непроницаем. Тело его, можно сказать, просвечивало насквозь, но зрачки не выдавали мыслей. Он называл себя химиком. Ему доводилось выступать и балаганным зазывалой у Бобеша и клоуном у Бобино. В Сен-Мигиэле он подвизался в водевилях. Это был мастер на все руки, говорун, который умел придавать выразительность своим улыбкам и значительность жестам. Он промышлял тем, что торговал на площадях гипсовыми бюстами и портретами «главы государства», и еще тем, что рвал зубы. На своем веку ему случалось показывать разных уродов на ярмарках и быть владельцем фургона с оглушительной трубой и афишей, гласившей: «Бабет, виртуоз-зубодер, член ученых академий, производит физические опыты над металлами и металлоидами, также вырывает зубы, удаляет корни, оставленные его коллегами. Плата: один зуб — один франк пятьдесят сантимов; два зуба — два франка; три зуба — два франка пятьдесят. Пользуйтесь случаем!» (Это «пользуйтесь случаем» означало: спешите выдернуть как можно больше зубов.) Когда-то он был женат и народил детей. Но что случилось с его женой и детьми, он и понятия не имел. Он потерял их где-то, как теряют носовой платок. Редкое исключение в темном мире, его окружающем, — Бабет читал газеты. Как-то, еще в те времена, когда он кочевал с семьей в своем фургоне, ему попалась заметка в «Вестнике», что некая женщина произвела на свет вполне жизнеспособного младенца с телячьей мордой! «Вот кому счастье! — воскликнул он. — Что бы догадаться моей жене родить такого ребенка!»

Впоследствии он все это забросил, чтобы «взять в оборот Париж». Его собственное выражение.

Кто такой был Звенигрош? Сама ночь. Чтобы появиться, он ждал того часа, когда тьма зачернит небо. По

вечерам он вылезал из какой-нибудь норы и снова прятался туда перед рассветом. Где находилась эта дыра? Никто не знал. Даже в полной темноте, разговаривая со своими сообщниками, он становился к ним спиной. Точно ли звали его Звенигрош? Нет. «Меня зовут Никак», — говорил он. Если при нем зажигали свечу, он надевал маску. Вдобавок он был чревовещателем. Бабет говорил: «Звенигрош — это ночная птица о двух голосах». Звенигрош был загадочен, неуловим, страшен. Никто с уверенностью не сказал бы, есть ли у него настоящее имя, — Звенигрош было только кличкой; есть ли у него голос, — он чаще говорил животом, чем ртом; есть ли у него даже лицо, — его никогда не видали иначе, как в маске. Он исчезал, словно растворяясь в воздухе; он появлялся, словно вырастая из-под земли.

Но поистине зловещую фигуру представлял собой Монпарнас. Монпарнас был совсем мальчик; ему не исполнилось и двадцати лет, у него было смазливое лицо, губы точно вишни, прекрасные черные волосы, сияние весны в глазах; он олицетворял собой все пороки и был способен на всякое преступление. Дурное, перевариваясь, пробуждало в нем аппетит к худшему. Он начал с гамена, вырос в уличного шалопая, а из последнего превратился в грабителя. Ремеслом этого миловидного юноши, женственного, грациозного, сильного, томного и жестокого, являлся грабеж с убийством. Шляпа его была заломлена слева по моде 1829 года, чтобы видна была взбитая прядь волос. Он носил редингот, хотя и не первой свежести, но великолепного покроя. Монпарнас был ходячей модной картинкой, но картинка эта не выходила из нищеты и занималась убийством. Единственной причиной, которая толкала этого молодчика на преступления, было желание наряжаться по моде. Первая же гризетка, бросившая ему: «Какой красавчик!», наложила печать проклятия на эту душу и обратила этого Авеля в Каина. Считая себя красивым, он пожелал стать щеголем. А первое требование щегольства — праздность; но праздность бедняка — путь к преступлению. Мало кто из разбойников наводил такой ужас, как Монпарнас. В восемнадцать лет у него на совести уже было несколько трупов. Немало прохожих лежало, раскинув руки, ничком в луже крови на темном

пути этого негодяя. Завитой, напояженный, с талией в рюмочку, неизменно сопровождаемый восхищенным шопотом бульварных девок, с искусно повязанным галстуком, с кастетом в кармане и цветком в петлице, — таков был этот модник подземного мира.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Состав шайки

Эти четверо бандитов представляли собой нечто вроде Протея, ускользающего от лап полиции и старающегося увернуться от нескромных взглядов Видока, «пламени, древа, воды принимая обличья», заимствуя один у другого прозвища и уловки, прячась в собственной тени, служа друг другу тайником и убежищем, освобождаясь от собственной своей личности также легко, как от накладного носа в маскарade, то уменьшаясь до такой степени, что казались одним существом, то разрастаясь так, что даже сам Коко-Лакур принимал их за целую толпу.

Эту четверку нельзя было считать четырьмя людьми: то был таинственный разбойник с четырех головах, дерзко орудовавший в Париже, чудовищный полип зла, ютящийся в склепе, вырытом под зданием человеческого общества.

Пользуясь разветвленной сетью подземных связей, Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас взяли подряд на все злодеяния в департаменте Сены. Они расправлялись с прохожими, вдруг, как из-под земли, появляясь перед ними. Изобретатели новшеств по этой части, люди, замышлявшие черное дело, обращались к ним для его осуществления. Достаточно было представить четверем негодяям план, а постановку они уже брали на себя. Они сами разрабатывали сценарии драмы. Для них не составляло труда подыскать необходимое число и подходящий состав исполнителей для любого покушения, если нужна была подмога, а дело являлось достаточно выгодным. Когда готовилось преступление, где не хватало рук, они поставляли сообщников. Они держали труппу актеров тьмы, годных на все роли для трагедий, сочиняемых в разбойничьих трущобах.

Они собирались обычно с наступлением ночи — час их пробуждения — на одном из пустырей, прилегавших к больнице Сальпетриер. Там они держали совет. В их распоряжении было двенадцать часов темноты, и они обсуждали, как лучше их употребить.

«Петушиный час» — под таким названием было известно в подземном мире деловое товарищество четверых. На старом красочном народном языке, который с каждым днем все более и более забывается, «петушиный час» означает время перед рассветом, так же как «час, когда впору волка за собаку принять», означает сумерки. Прозвище Петушиный час происходило, вероятно, от того часа, когда кончалась ночная работа бандитов, ибо с рассветом привидения исчезают, а грабители разбегаются. Всех четверых знали под этой кличкой. Как-то председатель суда присяжных посетил в тюрьме Ласнера и допрашивал его по поводу одного преступления, в котором тот не сознавался. «Кто же это сделал?» — спросил председатель. Ласнер дал следующий ответ, загадочный для судьи, но понятный всякому полицейскому: «Может быть, Петушиный час».

Содержание пьесы можно иногда угадать по списку действующих лиц; таким же образом можно составить довольно близкое представление о шайке по перечню бандитов. Вот на какие прозвища откликались главные участники банды Петушиный час, — эти имена сохранились в специальных списках:

Крючок, он же Весенний, он же Гнус.

Брюжон (существовала целая династия Брюжонов, мы еще вернемся к ним).

Башка, шоссейный рабочий, он уже встречался в нашем рассказе.

Вдова.

Финистер.

Гомер Огю, негр.

Дай-срок.

Депеша.

Фаунтлерой, он же Цветочница.

Бахвал, отбывший срок каторжник.

Шлагбаум, он же господин Дюпон.

Южный вал.

Дроздище.

Карманьольщик.

Процентщик, он же Бизарро.

Кружевник.

Вверх-тормашки.

Пол-лиарда, он же Два миллиарда.

И т. д., и т. д.

Мы опускаем их, хотя они и не уступают перечисленным. У этих имен есть свое лицо. Они обозначают не отдельные личности, а типы. Каждое такое прозвище соответствует особой разновидности отвратительных лишаев, лепящихся в подземелье цивилизации.

Эти существа, неохотно показывающиеся в своем настоящем виде, были не из тех, кого встречаешь на улицах. С наступлением дня, усталые после кровавых ночных дел, они отсыпались то в ямах для обжига извести, то в заброшенных каменоломнях Монмартра или Монружа, а то и в сточных трубах. Они зарывались в землю.

Что случилось с этими людьми? Они существуют и посейчас. Они существовали всегда. Еще Гораций говорит о них. *Ambubaiarum collegia, pharmacopolae, mendici, timae*¹. И пока общество будет таким, каково оно теперь, они останутся такими, каковы они теперь. Они непрестанно возрождаются под мрачными сводами своего подвала из просачивающихся туда социальных нечистот. Они возвращаются, эти привидения, всегда одни и те же, только под новыми именами и в новой коже.

Пусть особи истребляются — род остается.

Им неизменно присущи одни и те же свойства. От нищего до разбойника, они блюдают чистоту породы. Они нюхом угадывают кошельки в карманах и чувствуют часы в жилетах. Они различают запах золота и серебра. Бывают прохожие настолько простоватого вида, что, кажется, грех было бы их не ограбить. Таких прохожих они терпеливо выслеживают. При встрече с иностранцем или провинциалом они вздрагивают, точно пауки.

Всякому, кто набредет на них или увидит мельком в глухую полночь на пустынном бульваре, эти люди внушают страх. Они кажутся не людьми, но ожившим туманами.

¹ Флейтщицы, нищие, мимы, шуты, лекаря площадные (лат.). — Гораций, Сатиры.

ном, принявшим человеческие формы; можно подумать, что они составляют одно целое с ночью, неотделимы от нее, не имеют иной души, чем душа тьмы, и что лишь на миг, ради нескольких минут своей ужасной жизни, они оторвались от мрака.

Что же нужно, чтобы заставить этих оборотней исчезнуть? Свет. Потоки света. Ни одна летучая мышь не выносит лучей зари. Залейте же светом общественное под-земелье.

Книга восьмая

КОВАРНЫЙ БЕДНЯК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

*Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречается
мужчину в фуражке*

Прошло лето, за ним осень; наступила зима. Ни г-н Белый, ни молодая девушка больше ни разу не показывались в Люксембургском саду. Теперь Мариус был поглощен одной только мыслью — как бы снова увидеть нежное, обожаемое личико. Он все искал, искал повсюду, но никого не находил. Это был уже не прежний восторженный мечтатель Мариус, не тот решительный, пламенный и непреклонный человек, который смело бросал вызов судьбе, не ум, что строил планы за планами, не юная голова, полная замыслов, проектов, гордых мыслей, идей, желаний: он уподобился псу, потерявшему хозяина. Им овладела беспросветная печаль. Все было кончено; работа ему опротивела, прогулки утомляли, одиночество наскучило; необъятная природа, раньше полная форм, красок, звуков, мудрых советов и наставлений, манящих далей и просторов, теперь опустела для него. Ему казалось, что все исчезло.

Он попрежнему предавался размышлениям, потому что это уже вошло у него в привычку; но размышления больше не доставляли ему радости. На все, что неустанно нашептывали ему мысли, он мрачно отвечал: «К чему?»

Он осыпал себя сотнями упреков. Зачем вздумалось мне провожать ее? Я был так счастлив уже тем, что видел ее! Она глядела на меня; разве это не величайшее блаженство? Она, казалось, любила меня. Разве это не предел желаний? Чего же мне еще хотелось? Ведь большего

и быть не могло. Я поступил нелепо. Это моя вина...» и т. д. Курфейрак, которого Мариус по свойству своего характера ни во что не посвящал, но который — что уже являлось свойством его, Курфейрака, характера — кое о чем догадывался, вначале похваливал друга за то, что тот влюбился, изумляясь, впрочем, этому обстоятельству. Однако, видя, в какую черную меланхолию впадает Мариус, он в конце концов заявил: «Все ясно, ты вел себя, как безмозглое животное. Давай-ка сходим в Шомьер».

Как-то раз, доверившись солнечному сентябрьскому дню, Мариус позволил Курфейраку, Боссюэ и Грантэру повести себя на бал в Со, надеясь — придет же такая фантазия! — что может встретить Ее там. Само собой разумеется, что он не нашел там той, кого искал. «А где же, как не здесь, находят потерянных женщин?» — бурчал себе под нос Грантэр. Мариус оставил друзей на балу и один пешком отправился домой, усталый, разгоряченный. Оглушая грохотом и осыпая пылью, обгоняли его шумные «кукушки», набитые публикой, которая, весело распевая, возвращалась с праздника, а он шел в глубоком унынии, всматриваясь беспокойным печальным взглядом в ночь и жадно вдыхая, чтобы освежиться, терпкий запах придорожного орешника.

Мариус снова стал жить одинокой и все более замкнутой жизнью. Растерянный, удрученный, весь отдавшийся сердечной муке, он метался, охваченный горем, как волк, попавший в капкан, и, отупев от любви, всюду искал ту, что исчезла.

В другой раз у Мариуса произошла встреча, которая произвела на него странное впечатление. В одной из улочек, прилегающих к бульвару Инвалидов, он столкнулся с мужчиной в одежде рабочего и в фуражке с длинным козырьком, из-под которой выбивались белоснежные пряди волос. Мариуса поразила красота этих седин, и он внимательно оглядел прохожего; тот шел медленно, словно погрузившись в тяжелое раздумье. Как ни странно, ему показалось, что перед ним г-н Белый. Те же волосы, тот же профиль, насколько его можно было разглядеть из-под фуражки, та же походка, только еще более усталая. Но к чему этот рабочий наряд? Что бы все это означало? Каков смысл этого переодевания? Мариус был

крайне удивлен. Когда же он опомнился, его первым побуждением было пойти за неизвестным: как знать, не попал ли он, наконец, на верный след? Во всяком случае надо посмотреть на этого человека вблизи и разрешить загадку. Но мысль эта пришла ему в голову слишком поздно — человека уже не было. Он свернул в одну из боковых улочек, и Мариус не мог его найти. Эта встреча занимала Мариуса несколько дней, затем изгладилась из памяти. «По всей вероятности, — говорил он себе, — это простое сходство».

ГЛАВА ВТОРАЯ

Находка

Мариус попрежнему жил в лачуге Горбо. Никто не привлекал там его внимания.

Правда, к тому времени в лачуге не оставалось других жильцов, кроме него да тех самых Жондретов, за которых он как-то внес квартирную плату, ни разу, впрочем, не удосужившись поговорить ни с отцом, ни с матерью, ни с дочерьми. Остальные обитатели дома или выехали, или умерли, или были выселены за неплатеж.

Однажды, той же зимой, солнце выглянуло на минутку после полудня, и случилось это 2 февраля, в самое сретенье, коварное солнце которого, предвестник шестинедельных холодов, вдохновило Матье Ленсберга на следующее двустиие, ставшее прямо классическим:

Пусть светит солнце, пусть сияет, —
Медведь в берлогу уползает.

А Мариус только что выполз из своей берлоги. Смеркалось. Пора было итти обедать, ибо — увы, таково несовершенство самой идеальной любви! — пришлось опять начать обедать.

Он вышел из своей комнаты, у самого порога которой мамаша Бурчунья в эту минуту мела пол, производя одновременно нижеследующий знаменательный монолог:

— Что нынче дешево? Все дорого. Дешево одно только горе. Вот его, горе-то, купишь прямо задаром!

Мариус медленно поднимался вверх по бульвару к заставе, направляясь на улицу Сен-Жак. Он шел задумавшись, понутив голову.

Вдруг он почувствовал, что кто-то толкнул его в плечо. Он обернулся и увидел двух девушек в лохмотьях — одну высокую и худую, другую поменьше, которые, тяжело дыша, пронеслись мимо, словно от кого-то спасаясь в испуге: девушки бежали ему навстречу, и поровнявшись с ним, не заметив, задели. Несмотря на полумрак, Мариус разглядел их иссиня-бледные лица, распущенные, растрепанные волосы, уродливые чепчики, изорванные юбки, босые ноги. На бегу они разговаривали между собою. Та, что была выше ростом, приглушенным голосом рассказывала:

— Легавые пришли. Меня чуть было не зацапали.

— Я их заметила, — сказала другая. — И как припущу! Как припущу!

Из этого зловещего жаргона Мариус понял, что жандармы или полицейские едва не задержали обеих девочек и что девочкам удалось убежать.

Они скрылись под деревьями бульвара, позади Мариуса, где их фигуры, мелькнув белым пятном, через мгновение исчезли.

Мариус на минуту остановился.

Не успел он двинуться дальше, как заметил на земле у своих ног маленький пакет сероватого цвета. Он нагнулся и поднял его. Это было что-то вроде конверта, содержащего, повидимому, какие-то бумаги.

«Верно, этот сверток обронили те несчастные создания», — подумал Мариус.

Он вернулся, стал звать их, но никто не откликнулся; решив, что они уже далеко, он положил пакет в карман и пошел обедать.

По дороге, в узком проходе на улице Муфтар, он увидел детский гробик под черным покрывалом, поставленный на три стула и освещенный свечой. Ему вспомнились две девушки, выросшие перед ним из полумрака.

«Бедные матери! — подумал он. — Есть нечто еще более печальное, нежели видеть смерть своих детей: это видеть их на дурном пути».

Потом эти тени, нарушившие однообразие его грустных мыслей, выскользнули у него из памяти, и он снова

погрузился в привычную тоску. Он вновь предался воспоминаниям о шести месяцах любви и счастья, на вольном воздухе, под ярким солнцем, под чудесными деревьями Люксембургского сада.

— Как мрачна стала моя жизнь, — говорил он себе. — Девушки и теперь встречаются на моем пути, но только прежде это были ангелы, а теперь ведьмы.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Четырехликий

Вечером, раздеваясь перед сном, Мариус нащупал в кармане сюртука поднятый на бульваре пакет. Он совсем позабыл о нем. Он решил, что его следует вскрыть, — возможно, в нем окажется адрес девушек, если пакет действительно принадлежал им, и уж во всяком случае найдутся необходимые указания для возвращения этого свертка лицу, его потерявшему.

Мариус развернул конверт.

Он не был запечатан и содержал четыре письма, которые также не были запечатаны.

На письмах были проставлены адреса.

От всех четырех разило запахом скверного табака.

Первое письмо было адресовано: «Милостивой государыне госпоже маркизе де Грюшере на площади супротив палаты депутатов в доме №...»

Мариус подумал, что в письме могут встретиться нужные ему сведения, а поскольку оно не заклеено, не будет предосудительным и прочесть его.

Оно содержало следующее:

«Милостивая государыня, маркиза!

Добродетель милосердия и сострадания есть та добродетель, которая крепче всякой иной спаивает общество. Исполнитесь христианского чувства и бросьте соболезный взгляд на горемычного испанца, жертву преданности и приверженности священному делу лигитимизма, за которое он заплатил своей кровью, отдал свое состояние и все прочее, чтобы защитить это дело, и теперь находится в страшной бедности. Он не сомневается, что Ваша

милость не откажет ему в помощи и пожелает облегчить существование, крайни тягостное для образованного, благородного и покрытого множеством ран военного. Заранее рассчитываю на воодушевляющие Вас человеколюбие равно как и на сочувствие, которое госпожа маркиза питает к столь несчастной нации. Наша просьба не останется щетной и наша признательность сохранит о ней самое приятное воспоминание.

Примите уверение в искреннем почтении, с которым имею честь быть,

Милостивая государыня,

Дон Альварес, испанский капитан кабалерии, роялист, нашедший убежище во Франции, а в настоящее время возвращающейся на родину, но не имеющей средств продолжать путь».

Подпись не сопровождалась адресом. Мариус, надеясь найти адрес, взялся за второе письмо, на конверте которого стояло: «Милостивой государыне госпоже графине де Монверне, улица Касет, дом № 9».

Вот что прочел Мариус в этом письме:

«Милостивая государыня, графиня!

К Вам обращается несчастная мать семейства, мать шестерых детей, из коих младшему едва исполнилось восемь месяцев. С последних родов я все болею. Муж уже пять месяцев как бросил меня. Не имею никаких средств к жизни, нахожусь в ужасной нищете.

Уповаю на Ваше Сиятельство, остаюсь, милостивая государыня, с глубоким почтением

тетушка *Бализар*».

Мариус перешел к третьему письму; как и предыдущие, оно являлось просительным, и в нем можно было прочесть следующее:

«Г-ну Пабуржо, избирателю, владельцу оптовой торговли вязаными изделиями, что на углу улицы Сен-Дени и О-Фер.

Беру на себя смелость обратиться к Вам с настоящим письмом, с целью просить Вас ошасливить меня драгоценным своим расположением и с целью заинтересовать Вас

судьбою литиратора, который недавно направил драму в театр-комедии. Сюжет ее исторический, а место действия — Овернь в эпоху Империи. Слог прост, локаничен и, мне думается, не лишен некоторых достоинств. В четырех местах в ней даются куплеты для пения. Комическое, серьезное и неожиданное сочитается в ней с разнообразием характеров и с легким романтическим налетом, окрашивающим всю интригу, которая, проделав запутанный путь развития, после ряда потрясающих перепитий и блестящих неожиданных сцен приводит к развязке.

Главной моей задачей является угадать все возрастающим требованиям современного человека, иными словами, угадать моде, этому капризному, причудливому флюгеру, который меняет положение при каждом дуновении ветра.

Несмотря на все эти достоинства, я имею основание опасаться, что вследствие зависти и себелюбия привилигированных авторов я окажусь отстраненным от театра, ибо мне ведомо, сколько огорчений выпадает на долю новичка.

Ваша заслуженная репутация просвещенного покровителя литираторов, г-н Пабуржо, внушает мне решимость послать к вам свою дочь, которая опишет Вам наше бедственное положение, без куска хлеба и без топлива среди зимы. Обращаясь к Вам с покорнейшей просьбой разрешить мне посвятить Вам как настоящую драму, так и все будущие свои произведения, я хочу показать этим, сколь дорога мне честь находится под Вашим покровительством и украшать свои сочинения Вашим именем. Если Вы сообразоволяете почтить меня хотя бы самым скромным подношением, я тотчас примусь за сочинение стихатварения, дабы заплатить Вам дань своей признательности. Я постараюсь довести это стихатварение до наивозможного совершенства и пошлю его Вам еще до того, как оно появится напечатанным впереди драмы и будет произнесено со сцены.

Мое нижайшее почтение господину и госпоже Па-буржо.

Жанфло, литиратор.

Р. S. Хотя бы 40 су.

Извините, что посылаю дочь, а не являюсь лично, но печальное состояние туалета, увы, не позволяет мне выходить...»

Наконец Мариус открыл четвертое письмо. Адрес его гласил: «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Оно содержало следующие немногие строки:

«Благодетель!

Если Вам угодно последовать за моей дочерью, Вы увидите картину бедственного положения, а я представляю Вам свои документы.

При ознакомлении с этими бумагами Ваше благородное сердце исполнится чувства горячей симпатии, ибо всякому истинному философу ведомы сильные душевные движения.

Вы человек сострадательный, Вы поймете, что только самая жестокая нужда и необходимость хоть немного обличить ее могут заставить, как это ни мучительно, обращаться за подтверждением своей бедности к властям, словно нам не дозволено без этого страдать и умирать от истощения в ожидании, пока придет помощь. Судьба столь же немилослива к одним, сколь щедра и благосклонна к другим.

В ожидании Вашего посещения или вспомоществования, если Вам угодно будет оказать таковые, покорнейше прошу принять уверение в глубоком почтении, с каким имею честь быть Вашим,

муж доподлинно великадушный, низайшим и покорнейшим слугой

П. Фабанту, драматический актер».

Прочитав эти четыре письма, Мариус ничуть не меньше прежнего оставался в неведении.

Во-первых, ни один из подписавшихся не указал своего адреса.

Далее, все письма исходили как будто от четырех различных лиц — дона Альвареса, тетушки Бализар, поэта Жанфло и драматического актера Фабанту, а вместе с тем, как ни странно, все четыре были написаны одним и тем же почерком.

Какое же иное заключение напрашивалось отсюда, как не то, что все они исходят от одного лица?

В довершение — и это делало догадку еще более вероятной — все четыре были написаны на одинаковой грубой, пожелтевшей бумаге, от всех шел одинаковый табач-

ный дух, и, несмотря на явные потуги разнообразить слог, во всех с безмятежным спокойствием повторялись одинаковые орфографические ошибки, и литератор Жан-фло грешил ими ничуть не менее испанского капитана.

Трудиться над разгадкой этой тайны было бесполезно. Не окажись указанные письма неожиданной находкой, все это можно было бы принять за мистификацию. Мариус был в слишком печальном настроении, чтобы откликнуться даже на случайную шутку и принять участие в игре, которую, как видно, хотела затеять с ним мостовая. Ему казалось, что у него завязаны глаза, а эти четыре письма играют с ним в жмурки и дразнят его.

Впрочем, ничто не указывало на то, что письма принадлежали девушкам, встреченным Мариусом на бульваре. Скорее всего это были просто какие-то ненужные бумаги.

Мариус вложил их обратно в конверт, бросил пакет в угол и лег спать.

Около семи часов утра, не успев подняться, позавтракать и приняться за работу, как кто-то тихонько постучал к нему в дверь.

Он не имел никакого ценного имущества, и лишь в очень редких случаях, когда у него бывала спешная работа, запирался на ключ. Больше того, даже уходя из дому, он оставлял ключ в замке. «Вас непременно обкрадут», — говорила мамаша Бурчунья. «А что у меня красть?» — отвечал Мариус. Тем не менее в один прекрасный день, к величайшему торжеству мамыши Бурчуньи, у него все же украли пару старых сапог.

В дверь снова постучали и опять так же тихо, как в первый раз.

— Войдите, — сказал Мариус.

Дверь отворилась.

— Что вам угодно, мамаша Бурчунья? — спросил Мариус, не отрывая глаз от книг и рукописей, лежавших перед ним на столе.

— Извините, сударь, — ответил чей-то незнакомый голос, но не голос мамыши Бурчуньи.

Это был глухой, надтреснутый, сдавленный, хриплый голос старого пьяницы, осипшего от спиртных напитков.

Мариус быстро обернулся и увидел девушку.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Роза в нищете

В полуотворенной двери стояла еще совсем юная девушка. Находившееся напротив двери окно каморки, за которым брезжил день, освещало ее фигуру беловатым светом. Это было худое, изможденное, жалкое создание, в одной рубашке и юбке прямо на голом теле, озябшем и дрожащем от холода, с бечевкой вместо пояса и с бечевкой в волосах. Острые плечи, резко выступавшие из-под рубашки, бледное, без признака румянца лицо, ключицы землистого цвета, красные руки, приоткрытый рот с бескровными губами, в котором уже не хватало зубов, тусклые, но дерзкие и хитрые глаза, сложение несформировавшейся девушки и взгляд развратной старухи: сочетание пятидесяти и пятнадцати лет. Словом, это было одно из тех слабых и вместе с тем страшных существ, вид которых если не внушает вам ужас, то вызывает слезы.

Мариус встал и, как остоленелый, смотрел на это существо, напоминавшее смутные образы, возникающие во сне.

Особенно тяжелое впечатление производило то, что от природы девушка вовсе не была уродливой. В раннем детстве она, наверное, была даже хорошенькой. Привлекательность юности еще и теперь боролась в ней с отвратительной преждевременной старостью, следствием разврата и нужды. Отблеск красоты угасал на этом шестнадцатилетнем лице, как на заре зимнего дня гаснет бледное солнце, обволакиваемое черными тучами.

Нельзя сказать, чтобы лицо ее было совсем незнакомо Мариусу. Ему казалось, что он где-то уже видел его.

— Что вам угодно, сударыня? — спросил он девушку.

— У меня письмо для вас, господин Мариус, — ответила она тем же голосом пьяного каторжника.

Она назвала Мариуса по имени; у него не оставалось, таким образом, сомнения, что именно он и был ей нужен. Но кто же эта девушка? Откуда она знает, как его зовут?

Не дожидаясь приглашения, она вошла в комнату. Вошла решительно и с какой-то развязностью, от которой сжималось сердце, принялась все разглядывать в комнате, даже неубранную постель. Гостья была босая.

Сквозь большие дыры в юбке виднелись ее длинные ноги с худыми коленями. Ее всю трясло от стужи.

В руке она и на самом деле держала письмо, которое протянула Мариусу.

Открывая письмо, Мариус заметил, что огромная, широкая облатка на конверте еще не высохла. Следовательно, послание не могло прийти издалека. Вот что он прочитал:

«Молодой человек, любезный мой сосед!

Я узнал о вашей ко мне доброте, что полгода тому назад вы заплатили мой квартирный долг. Благословляю вас за это, молодой человек. Моя старшая дочь расскажет вам, что вот уже два дня как мы все четверо сидим без куска хлеба, а жена моя больна. Я думаю, что не заблуждаюсь, льстя себя надеждой, что ваше великадушное сердце разжалобится вследствие этого и внушит вам желание прийти мне на помощь и уделить малую толику от щедрот своих.

Остаюсь с искренним почтением, с каким и надлежит быть к благодетелям рода человеческого.

Жондрет.

Р. S. Моя дочь будет ждать ваших распоряжений, дорогой г-н Мариус».

Письмо это сыграло в отношении загадочного случая, занимавшего Мариуса со вчерашнего вечера, роль свечи, зажженной в темном подвале. Все сразу прояснилось.

Письмо было одного происхождения с остальными четырьмя. Тот же почерк, тот же слог, то же правописание, та же бумага, тот же табачный запах.

Здесь имелось пять посланий, пять повествований, пять имен, пять подписей — и один отправитель. У испанского капитана дона Альвареса, у несчастной матери семейства Бализар, у драматического поэта Жанфло, у бывшего актера Фабанту — у всех четырех было одно имя: Жондрет, если только сам Жондрет действительно назывался Жондретом.

Мариус уже довольно давно жил в лачуге Горбо, но, как было сказано выше, ему очень редко случалось видеть даже мельком своих весьма жалких соседей. Его мысли

были далеко, а где наши мысли — там и глаза. Вероятно, он не раз встречался с Жондретами в коридоре и на лестнице, но для него это были только тени. Он так мало уделял им внимания, что, столкнувшись накануне вечером на бульваре с дочерьми Жондрета, — а это, несомненно, были они, — он не узнал их, и вошедшая девушка лишь с большим трудом пробудила в Мариусе вместе с жалостью и отвращением смутное воспоминание о том, что ему доводилось видеть ее и раньше.

Теперь все нашло свое объяснение. Мариус понял, что его сосед Жондрет, дойдя до крайней нищеты, стал злоупотреблять милосердием добрых людей, превратился в профессионала-попрошайку и, раздобывая адреса, под вымышленными именами писал письма различным лицам, которых считал богатыми и отзывчивыми, а его дочери разносили эти письма на свой страх и риск, ибо отец не останавливался перед тем, чтобы рисковать дочерьми. Он затеял игру с судьбой и ввел их в эту игру. По тому, как они убегали накануне, по их испугу, по прерывистому дыханию, по долетевшим до него словам воровского жаргона Мариус догадывался, что несчастные промышляли, видимо, еще каким-то темным ремеслом. Он понимал, что все эти обстоятельства при современном состоянии человеческого общества не могли не привести к появлению в нем двух отверженных существ — ни девочек, ни девушек, ни женщин, — двух порожденных нищетой уродов, порочных и невинных одновременно.

То были жалкие создания, без имени, без возраста, без пола, одинаково равнодушные и к добру и к злу, едва вышедшие из колыбели и уже утратившие все на свете: свободу, добродетель, чувство долга. Души, вчера распустившиеся, а сегодня поблекшие, подобны цветам, упавшим на мостовую и вянущим в грязи, пока их не раздавят колеса.

Между тем как Мариус стоял, устремив на девушку изумленный и печальный взгляд, та с бесцеремонностью привидения разгуливала по его мансарде. Движения девушки были порывисты, она несколько не стеснялась своей наготы. Ее незавязанная у ворота разорванная рубашка то и дело спускалась чуть ли не до пояса. Она передвигала стулья, беспорядочно переставляла на комоды

туалетные принадлежности, трогала одежду Мариуса, шарила по всем углам.

— Смотри-ка, да тут зеркало! — вдруг воскликнула она.

И стала напевать, словно была одна в комнате, игривые куплеты и отрывки из водевилей; исполняемые ее гортанным, хриплым голосом, они звучали заунывно. Но за всей этой наглостью ощущалась какая-то натянутость, беспокойство, робость. Бесстыдство порой скрывает стыд.

Трудно представить себе более грустное зрелище, чем эта резвящаяся и порхающая по комнате девушка, которая своими движениями приводила на память птицу, спугнутую дневным светом, или птицу с подбитым крылом. Чувствовалось, что при ином воспитании и иных условиях ее живая, непринужденная манера обращения не была бы лишена некоторой приятности и привлекательности. В мире животных существо, рожденное голубкой, никогда не превращается в орлана. Это можно наблюдать только среди людей.

Мариус, отдавшись своим мыслям, не мешал ей.

Она подошла к столу.

— Ах, книги! — сказала она.

В тусклых глазах ее блеснул огонек.

— Я тоже умею читать, — добавила она. И в тоне ее слышалась радость, что у нее тоже есть чем похвалиться, — стремление, не чуждое ни одному человеческому существу.

Она торопливо схватила со стола раскрытую книгу и довольно бегло прочла:

— «...Генерал Бодюэн получил приказ занять с пятью батальонами своей бригады замок Гугомон, расположенный посреди равнины Ватерлоо...»

Она остановилась.

— А, Ватерлоо! Это мне знакомо. Было такое сражение когда-то давно-давно. Отец в нем участвовал. Отец служил в императорской армии. Мы все отчаянные бонапаргисты, знай наших! Ватерлоо — там дрались с англичанами.

Она положила книгу и, взяв перо, воскликнула:

— И писать я тоже умею!

Затем обмакнула перо в чернила и, обернувшись к Мариусу, спросила:

— Хотите взглянуть? Я напишу что-нибудь.

И прежде чем он успел ответить, она написала на лежащем посреди стола чистом листе бумаги: «Легавые пришли».

— Ошибок нет, — бросив перо, заявила она. — Можете проверить. Нас с сестрой учили. Мы не всегда были такими, как сейчас. Нас не к тому готовили, чтобы...

Она умолкла, остановила угасший взгляд на Мариусе и, расхохотавшись, произнесла тоном, в котором слышалась заглушенная цинизмом скорбь:

— Э-эх!

И тотчас принялась напевать на мотив веселой песенки:

Голодно, папаша,
В доме хлеба нету.
Холодно, мамаша,
Мы совсем раздеты.
Дрожи,
Нанетта,
Рыдай,
Жанетта!

Едва закончив куплет, она снова заговорила:

— Вы ходите когда-нибудь в театр, господин Мариус? А я хожу. У меня есть братишка, он дружит с актерами и, случается, приносит мне билеты. Только я не люблю мест на галлерее, там тесно, неудобно. Туда ходит простая публика, а иной раз и такая, от которой плохо пахнет.

Затем она пристально, с каким-то странным выражением взглянула на Мариуса и сказала:

— А знаете, господин Мариус, вы настоящий красавчик!

И в ту же минуту у обоих мелькнула одна и та же мысль, заставившая его вспыхнуть, а ее улыбнуться.

Она подошла и положила ему руку на плечо.

— Вы не обращаете на меня никакого внимания, — продолжала она, — а ведь я вас знаю, господин Мариус. Я встречала вас здесь на лестнице, потом, когда гуляла близ деревни Аустерлиц, несколько раз видела, как вы заходили к какому-то старику по имени Мабеф, что живет там. А растрепанные волосы вам очень идут.

Она старалась придать своему голосу самое нежное выражение, но ничего, кроме шопота, у нее не получалось. Часть слов пропадала на пути между гортанью и губами, как звуки на клавиатуре, где нехватает клавиш.

Мариус тихонько отодвинулся.

— У меня тут пакет, — сказал он обычным своим холодным тоном. — Я полагаю, что он принадлежит вам, барышня. Разрешите вернуть его.

И он протянул ей конверт, заключавший четыре письма.

Она захлопала в ладоши и воскликнула:

— И где мы только его не искали!

Затем быстро схватила пакет и развернула его, приговаривая:

— Господи боже мой! А мы-то с сестрой просто обескались! Так это вы его нашли? И на бульваре, наверное? Не иначе, как на бульваре. Видите ли, он выпал, когда мы бежали. Это все по глупости моей сестренки. А когда вернулись, уже ничего не нашли. И так как мы не хотели, чтобы нас поколотили, нам это вовсе без надобности, совершенно без надобности, мы сказали домашним, что разнесли письма, но всюду получили шиш! Вот они, мои голубчики! А почему вы догадались, что они принадлежат мне? Впрочем, понятно — по почерку! Значит, это мы на вас налетели вчера, когда бежали? Ничего нельзя было разглядеть в такой темени! Я спросила сестру: «Это кто — мужчина?» А сестра говорит: «Как будто мужчина».

Тем временем она вынула из пакета слезницу, адресованную «Г-ну благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

— Ага, это к тому старикашке, что ходит к обедне. Очень кстати. Пойду снесу, может быть, он даст нам на завтрак.

И, снова засмеявшись, пояснила:

— Знаете, что будет означать, если мы сегодня позавтракаем? Да то, что нынче утром мы съедим позавчерашний завтрак, позавчерашний обед, вчерашний завтрак, вчерашний обед — и все в один присест! Так-то! Чорт побери! А ежели вам этого мало, так и подышайте, собаки!

Это напомнило Мариусу о цели прихода несчастной.

Он порылся в жилетном кармане, но ничего не нашел.

А девушка все не умолкала, как будто совсем забыв о присутствии Мариуса:

— Я иной раз ухожу с вечера. Иной раз до утра не возвращаюсь. Прошлой зимой, прежде чем переселиться сюда, мы жили под мостами. Чтобы не замерзнуть, бывало, прижмемся друг к другу. Сестренка плачет. Ох, уж

это вода! Какая от нее тоска! Вздумаешь утопиться и скажешь себе: «Нет, уж очень она холодная». Я хожу совсем одна, когда взбредет в голову. Иной раз ночую в канавах. Знаете, когда идешь ночью по бульвару, чудится, что деревья рогатые, как вилы, а дома черные, огромные, как башни Собора богородицы, и мерещится, будто белые стены — это река, и говоришь себе: «Гляди-ка, там вода!» Звезды, как плитки на иллюминации, — кажется, что они чадят и что ветер задувает их; а сама идешь словно одурелая, в ушах точно лошадиный храп стоит; и хотя ночь — слышатся то звуки шарманки, то шум прядильной машины, то еще неведь что. Все представляется, что в тебя бросают камнями, и бежишь без памяти, и все кружится, кружится перед глазами. Так чудно бывает, когда долго не ешь.

И она окинула его блуждающим взглядом.

Хорошенько обыскав свои карманы, Мариус наскреб в конце концов пять франков шестнадцать су. Это было все его богатство. «На обед сегодня мне во всяком случае хватит, — подумал он, — а завтра будет видно». И оставив себе шестнадцать су, он пять франков отдал девушке.

Она схватила монету.

— Здорово! Вот нам и засветило солнышко! — воскликнула она.

И словно это солнышко обладало свойством растоплять снежные лавины воровского жаргона в ее мозгу, она затараторила:

— Пять франков! Рыжик! Лобанчик! Да в такой дыре! Красота! А вы душка-малёк! Просто втюриться. Браво, блатари! Двое суток лопай, жри, — жареного, пареного! Ешь, пей, сколько влезет!

Она натянула на плечо рубашку, отвесила Мариусу низкий поклон, дружески помахала ему рукой и направилась к двери, бросив:

— До свидания, сударь. Все равно. Пойду к своему старикашке.

Проходя мимо комода, она заметила валявшуюся там в пыли заплесневевшую корку хлеба, с жадностью схватила ее и принялась грызть, бормоча:

— Какая вкусная! Какая жесткая! Прямо все зубы сломаешь!

Потом ушла.

В течение пяти лет Мариус жил в бедности, в лишениях и даже в нужде, но теперь он убедился, что настоящей нищеты не знал. Впервые настоящую нищету он увидел сейчас. Это ее призрак промелькнул перед ним. И на самом деле, тот, кто видел в нищете только мужчину, ничего не видел, — надо видеть в нищете женщину; тот, кто видел в нищете только женщину, ничего не видел, — надо видеть в нищете ребенка.

Дойдя до последней крайности, мужчина, уже не разбираясь, хватается за самые крайние средства. Горе беззащитным существам, его окружающим! У него нет более ни работы, ни заработка, ни хлеба, ни топлива, ни бодрости, ни доброй воли; он сразу лишается всего. Вовне как бы гаснет дневной свет, внутри — светоч нравственный. В этой тьме мужчине попадаются двое слабых — женщина и ребенок, и он с яростью толкает их на позор.

Тогда возможны любые ужасы. Только хрупкие преграды отделяют отчаяние от порока или преступления.

Здоровье, молодость, честь, святое, суровое целомудрие еще юного тела, сердце, девственность, стыдливость — эта эпидерма души, — все безжалостно попирается здесь в поисках средств спасения, и когда таким средством оказывается бесчестье, приемлют и его. Отцы, матери, дети, братья, сестры, мужчины, женщины, девушки — все они в этом сумрачном смешении полов, возрастов, родства, разврата и невинности образуют единую массу, по плотности напоминающую минерал. На короточках, спина к спине, теснятся они в какой-нибудь конуре, куда забросит их судьба, украдкой кидая друг на друга унылый взгляд. О несчастные! Как они бледны, как издрогли! Можно подумать, что они на другой планете, гораздо дальше от солнца, нежели мы.

Девушка явилась для Мариуса чем-то вроде посланницы мрака.

Она открыла ему новую, отвратительную сторону ночи.

Мариус готов был винить себя за то, что слишком много занимался мечтами и любовью, которые мешали ему до сих пор обращать внимание на соседей. А если он и заплатил за них квартирную плату, то это был безотчет-

ный порыв, — каждый на его месте повиновался бы такому порыву; но от него, Мариуса, требовалось большее. Как! Только стена отделяла его от этих заброшенных существ, которые ощупью пробирались в ночном мраке, находясь вне человеческого общества; он жил бок о бок с ними, и он, именно он, был, так сказать, последним звеном, связующим их с остальным миром. Он слышал их дыхание, или, вернее, хрипение, рядом с собою и не замечал этого! Ежедневно, ежеминутно слышал он через стену, как они ходят, уходят, приходят, разговаривают, но оставался ко всему этому глух. В речах их звучал стон, но до него это даже не доходило. Его мысли были поглощены иным: грезами, несбыточными мечтами, недостижимой любовью, безумствами, а между тем человеческие создания, его братья во Христе, его братья во народе, умирали рядом с ним. Умирали напрасно! И он до некоторой степени являлся как бы причиной их несчастья, усугублял его. Ибо будь у них другой сосед, не такой фантазер, как он, а человек внимательный, простой и отзывчивый, — разумеется, их нищета не осталась бы незамеченной, грозящая им опасность была бы обнаружена, и, наверно, они уже давным-давно были бы призрены и спасены! Правда, они производили впечатление развращенных, безнравственных, грубых и даже омерзительных созданий, но редко бывает, чтобы, впад в нищету, человек не опустился; к тому же существует грань, за которой стирается различие между несчастными и нечестными людьми. И тех и других можно определить одним словом — роковым словом «отверженные». Кого же винить в этом? И разве милосердие не должно проявляться с особенной силой именно там, где особенно глубоко падение?

Читая себе эту мораль, — ибо, как всякому подлинно честному человеку, ему случалось выступать в роли собственного наставника и бранить себя даже больше, чем он того заслуживал, — Мариус не отрывал взгляда, полного сострадания, от стенки, отделявшей его от Жондретов, словно пытаясь проникнуть взором за перегородку и согреть им этих несчастных. Стенка состояла из брусков и дранок, покрытых тонким слоем штукатурки, и, как мы уже сказали, через нее было слышно каждое слово, каждый звук. Надо было быть мечтателем Мариусом, чтобы раньше не заметить этого. Стенка не была оклеена

обоями ни со стороны, выходявшей к Жондретам, ни со стороны комнаты Мариуса; все грубое ее устройство было на виду. Не давая себе в том отчета, Мариус пристально разглядывал перегородку; мечтая, можно иногда исследовать, наблюдать и изучать не хуже, чем размышляя. Вдруг он поднялся. Наверху, у самого потолка, он заметил треугольную щель между тремя дранками. Штукатурка, которую было заделано отверстие, осыпалась, и, встав на комод, можно было заглянуть сквозь эту дыру в комнату Жондретов. В известных случаях сострадание не только может, но и должно обнаруживать любопытство. Эта щель являлась как бы потайным оконцем. Нет ничего недозволенного в том, чтобы быть соглядатаем чужого несчастья, если хочешь помочь. «Надо взглянуть, что это за люди и что у них там творится», — подумал Мариус.

Он взобрался на комод, приложил глаз к скважине и стал смотреть.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Хищник в своем логове

В городах, как в лесах, есть трущобы, где прячется все самое коварное, все самое страшное. Но то, что прячется в городах, свирепо, гнусно и ничтожно — иначе говоря, безобразно; а то, что прячется в лесах, свирепо, дико и величаво — иначе говоря, прекрасно. И тут и там берлоги, но звериные берлоги заслуживают предпочтения перед человеческими. Пещеры лучше вертепов.

Именно вертеп и увидел Мариус.

Мариус был беден, и комната его была убога, но бедность его была благородна, под стать ей была опрятна и его мансарда. А жилье, куда проник его взгляд, было отвратительно: смрадное, запачканное, загаженное, темное, гадкое. Соломенный стул, колченогий стол, несколько битых склянок, две неописуемо грязные постели по углам — вот и вся мебель; четыре стеклышка затянутого паутиной слухового оконца — вот и все освещение. Дневных лучей через оконце проникало как раз столько, сколько нужно для того, чтобы человеческое лицо казалось лицом призрака. Стены были словно изъязвлены — все в струпьях и

рубцах, как физиономия, обезображенная какой-нибудь ужасной болезнью. Сырость сочилась из них, подобно гною. Всюду виднелись намазанные углем непристойные рисунки.

В комнате, снимаемой Мариусом, был, правда, выщербленный, но все же кирпичный пол, тут же не было ни плиток, ни дощатого настила, ходили прямо по обмазанному глиной ветхому перекрытию чердака, почерневшему под ногами. На этой неровной, густо покрытой въевшейся в нее пылью поверхности, нетронутость которой щадили только веник, причудливыми созвездиями располагались старые башмаки, домашние туфли, замызганное тряпье; впрочем, в комнате был камин, поэтому-то она и сдавалась за сорок франков в год. А в камине можно было увидеть все что угодно: жаровню, кастрюлю, сломанные доски, лохмотья, свисавшие с гвоздей, птичью клетку, золу и даже еле теплившееся пламя. Уныло чадили две головки.

Еще страшнее чердак этот выглядел оттого, что был он огромен. Всюду выступы, углы, черные провалы, стропила, какие-то заливы, мысы, ужасные, бездонные ямы в закоулках, где, казалось, должны были таиться пауки величиной с кулак, мокрицы длиной в ступню, а может быть, даже и какие-нибудь человекообразные чудовища.

Одна кровать стояла у двери, другая у окна. Обе упирались в стенки камина и находились как раз против Мариуса.

В углу, недалеко от отверстия, через которое смотрел Мариус, на стене висела раскрашенная гравюра в черной деревянной рамке, а внизу гравюры крупными буквами стояло: СОН. Гравюра изображала спящую женщину и ребенка, спящего у нее на коленях; над ними в облаках парил орел с короной в когтях, и женщина, не пробуждаясь, отстраняла корону от головы ребенка; в глубине, окруженный сиянием, стоял Наполеон, опираясь на лазоревую колонну с желтой капителью, украшенную такой надписью:

Моренго
Аустерлис
Иена
Ваграм
Элоу

Под гравюрой на полу была прислонена к стене какая-то широкая доска, нечто вроде деревянного панно. Она походила на перевернутую картину, на подрамник с какой-нибудь мазней на обратной стороне, на снятое со стены зеркало, которое никак не соберутся опять повесить.

За столом, на котором Мариус заметил ручку, чернила и бумагу, сидел человек лет шестидесяти, низенький, сухопарый, угрюмый, с бескровным лицом, с хитрым, жестоким, беспокойным взглядом; на вид — отъявленный негодяй.

Лафатер, увидев такое лицо, определил бы его как пометь грифа с сутягой; пернатый хищник и человек-крючкотвор, дополняя друг друга, усиливали свое уродство, ибо черты крючкотвора придавали хищнику нечто подлое, а черты хищника крючкотвору — нечто страшное.

У человека, сидевшего за столом, была длинная седая борода. Он был в женской рубашке, обнажавшей его волосатую грудь и голые руки, заросшие седой щетиной. Из-под рубашки виднелись грязные штаны и дырявые сапоги, из которых торчали пальцы.

Во рту он держал трубку, он курил. Хлеба в берлоге уже не было, но табак еще был.

Он что-то писал, — вероятно, письмо вроде тех, которые читал Мариус.

На краю стола лежала растрепанная старая книга в красноватом переплете; старинный, в двенадцатую долю листа, формат изданий библиотек для чтения указывал на то, что это роман. На обложке красовалось название, крупно напечатанное прописными буквами: «БОГ, КОРОЛЬ, ЧЕСТЬ и ДАМЫ, СОЧИНЕНИЕ ДЮКРЕ-ДЮМИНИЛЯ. 1814 г.».

Старик писал, разговаривая сам с собой, и до Мариуса долетали его слова:

— Подумать только, что равенства нет даже после смерти! Прогуляйтесь-ка по Пер-Лашез! Вельможи, богачи покоятся на пригорке, на замощенной и обсаженной акациями аллее. Они могут прибыть туда в катафалках. Мелюзгу, голытьбу, незадачливых — чего с ними церемониться! — закапывают в низине, где грязь по колено, в яминах, в слякоти. Закапывают там, чтобы поскорее

стниги! Пока дойдешь туда к ним, сто раз в землю провалишься.

Он остановился, ударил кулаком по столу и, скрежеща зубами, прибавил:

— Так бы и перегрыз всем горло!

У камина, поджав под себя голые пятки, сидела толстая женщина, которой по виду могло быть и сорок и сто лет.

Она тоже была в одной рубашке и в вязаной юбке с заплатами из потертого сукна. Юбку наполовину прикрывал передник из грубого холста. Хоть женщина и съежилась и согнулась в три погибели, все же было видно, что она очень высокого роста. Рядом с мужем она казалась великаншей. У нее были безобразные рыжевато-соломенные с проседью волосы, в которые она то и дело запускала свои толстые лоснящиеся пальцы с плоскими ногтями.

Рядом с ней на полу валялась открытая книга такого же формата, что и лежавшая на столе, — вероятно, продолжение романа.

На одной из постелей Мариус заметил полураздетую мертвенно бледную долговязую девочку, которая сидела, свесив ноги, и, казалось, ничего не слышала, не видела, не дышала.

Это, несомненно, была младшая сестра приходившей к нему девушки.

На первый взгляд ей можно было дать лет одиннадцать — двенадцать. Но присмотревшись, вы убеждались, что ей не меньше четырнадцати. Это была та самая девочка, которая накануне вечером говорила на бульваре: «А я как припущу! Как припущу!»

Она принадлежала к той хилой породе, что долго отстает в развитии, а потом вырастает внезапно и сразу. И именно нищета — рассадник этой жалкой людской поросли. У подобных существ нет ни детства, ни отрочества. В пятнадцать лет они выглядят двенадцатилетними, в шестнадцать — двадцатилетними. Сегодня — девушка, завтра — женщина. Они как будто нарочно бегут бегом по жизни, чтобы поскорей покончить с нею.

Сейчас это создание казалось еще ребенком.

В комнате ничто не говорило о труде: не было в ней ни станка, ни прялки, ни инструмента. В углу валялся

какой-то подозрительный железный лом. Здесь царила та угрюмая лень, что является спутницей отчаяния и предвестницей смерти.

Мариус несколько минут рассматривал эту мрачную комнату, более страшную, нежели могила, ибо чувствовалось, что тут еще содрогается человеческая душа, еще трепещет жизнь.

Чердак, подвал, подземелье, где у самого подножия социальной пирамиды копошатся бедняки, — это еще не усыпальница, а преддверие к ней; но, подобно богачам, стремящимся с особым великолепием убрать вход в свои чертоги, смерть, всегда стоящая рядом с нищетой, нагромождает самую беспросветную нужду у этих врат своих.

Старик умолк, женщина не произносила ни слова, девушка, казалось, не дышала. Слышался только скрип пера.

Старик проворчал, не переставая писать:

— Сволочь! Сволочь! Кругом одна сволочь!

Сей вариант Соломоновой сентенции вызвал у женщины вздох.

— Успокойся, дружок, — промолвила она. — Не огорчайся, душенька. Все эти людишки не стоят того, чтобы ты писал им, муженек.

В бедности, точно в холод, люди жмутся друг к другу, но сердца их отдаляются. По всему было видно, что женщина эта когда-то любила мужа со всею заложеной в ней способностью любви; но в повседневных взаимных попреках, под тяжестью страшных невзгод, придавивших семью, все, должно быть, угасло. Сохранился лишь пепел нежности. Однако ласкательные прозвища, как часто случается, пережили чувство. Уста говорили: «душенька, дружок, муженек» и т. д., а сердце молчало.

Старик снова принялся писать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Стратегия и тактика

С тяжелым сердцем Мариус собрался уже было спуститься со своего импровизированного наблюдательного пункта, когда внимание его привлек какой-то шум; это удержало его на месте.

Дверь чердака внезапно распахнулась.

На пороге появилась старшая дочь.

Она была обута в грубые мужские башмаки, запачканные грязью, забрызгавшей ее до самых лодыжек, покрасневших от холода, и куталась в старый дырявый плащ, которого Мариус еще час тому назад на ней не видел; она, очевидно, оставила его тогда за дверью, чтобы внушить к себе большее сострадание, а потом, должно быть, снова накинула. Она вошла, хлопнула дверью, остановилась, чтобы перевести дух, потому что совсем запыхалась, и только после этого торжествующе и радостно крикнула:

— Идет!

Отец поднял глаза, мать подняла голову, а сестра не шелохнулась.

— Кто идет? — спросил отец.

— Тот господин.

— Филантроп?

— Да.

— Из церкви Сен-Жак?

— Да.

— Тот самый старик?

— Да.

— И он придет?

— Сейчас. Следом за мной.

— Ты уверена?

— Уверена.

— На самом деле придет?

— Едет в наемной карете.

— В карете! Да это настоящий Ротшильд!

Отец встал.

— Почему ты так уверена? Если он едет в карете, то почему же ты очутилась здесь раньше? Дала ты ему по крайней мере адрес? Сказала, что наша дверь в самом конце коридора, направо последняя? Только бы он не перепутал! Значит, ты его застала в церкви? Прочел он мое письмо? Что он тебе сказал?

— Та-та-та! Не надо пороть горячку, старина, — ответствовала дочка. — Слушай, вхожу я в церковь; благодетель на своем обычном месте; отвечаю реверанс и подаю письмо; он читает и спрашивает: «Где вы живете, дитя мое?» — «Я провожу вас, сударь», — говорю я. А он:

«Нет, дайте ваш адрес, моя дочь должна сделать кое-какие покупки, я найму карету и приеду одновременно с вами». Я ему даю адрес. Когда я назвала дом, он словно бы удивился и как будто поколебался, а потом сказал: «Все равно я приеду». Служба окончилась, я видела, как они с дочкой вышли из церкви, видела, как сели в фиакр, и я, конечно, не забыла сказать, что наша дверь последняя в конце коридора, справа.

— Откуда же ты взяла, что он приедет?

— Я сию минуточку видела фиакр, он свернул с Малой Банкирской улицы. Вот я и пустилась бегом.

— А кто тебе сказал, что это тот самый фиакр?

— Да ведь я же заметила номер!

— Ну-ка, скажи какой?

— Четыреста сорок.

— Так. Ты, девка, не дура.

Девушка дерзко взглянула на отца и, показав на свои башмаки, проговорила:

— Может быть, и не дура, да только не надену больше этих дырявых башмаков, очень они мне нужны, — во-первых, в них простудиться можно, а потом и грязища надоела. До чего противно слышать, как эти размокшие подошвы чавкают всю дорогу — чав, чав, чав! Буду уж лучше ходить босиком.

— Верно, — ответил отец кротким голосом, в противоположность грубому тону дочки, — но ведь тебя иначе не пустят в церковь. Бедняки обязаны иметь обувь. К гос-поду богу вход босиком воспрещен, — добавил он желчно. Затем, возвращаясь к занимавшему его предмету, спросил: — Так ты уверена, вполне уверена, что он придет, а?

— За мной по пятам едет, — сказала она.

Старик выпрямился. Лицо его словно озарилось сиянием.

— Слышишь, жена? — крикнул он. — Наш филантроп сейчас будет тут. Гаси огонь.

Мать, опешив, не двигалась с места.

Отец с ловкостью фокусника схватил стоявший на камине кувшин с отбитым горлышком и плеснул воду на головни.

Затем, обращаясь к старшей дочери, приказал:

— Тащи-ка солому из стула!

Дочь не поняла.

Тогда, схватив стул, он ударом каблука выбил соломенное сиденье. Нога прошла насквозь.

— На дворе холодно? — спросил он у дочки, вытаскивая ногу из пробитого сиденья.

— Очень холодно. Снег валит.

Он обернулся к младшей дочери, сидевшей на кровати у окна, и заорал громовым голосом:

— Живо! Слезай с кровати, лентяйка! От тебя никогда проку нет! Выбивай стекло!

Девочка, дрожа, спрыгнула с кровати.

— Выбивай стекло, — повторил он.

Она застыла в изумлении.

— Слышишь, что тебе говорят? Выбей стекло! — снова крикнул отец.

Девочка с какой-то пугливой покорностью встала на цыпочки и кулаком ударила в окно. Стекло с шумом разлетелось на мелкие осколки.

— Хорошо, — сказал отец.

Он был сосредоточен и решителен. Быстрый взгляд его обежал все закоулки чердака.

Ни дать ни взять, полководец, отдающий последние распоряжения перед битвой.

Мать, еще не произнесшая ни звука, встала и спросила таким тягучим и глухим голосом, будто слова застывали у нее в горле:

— Что это ты задумал, голубчик?

— Ложись в постель! — последовал ответ.

Тон, каким это было сказано, не допускал возражения. Жена повиновалась и грузно свалилась на кровать.

В это время в углу послышался плач.

— Что там еще? — закричал отец.

Младшая дочь, не выходя из темного закутка, куда забилась, показала окровавленный кулак. Она поранила руку, разбивая стекло; тихонько всхлипывая, она подошла к кровати матери.

Тут наступил черед матери. Она вскочила с криком:

— Полюбуйся! А все твои глупости! Она из-за тебя порезалась.

— Тем лучше, это было мною предусмотрено, — сказал муж.

— Как? Тем лучше? — завопила женщина.

— Молчать! Я отменяю свободу слова, — объявил отец.

Затем, оторвав от надетой на нем женской рубашки холщовый лоскут, он наспех обмотал им кровоточившую руку девочки.

Покончив с этим, он с удовлетворением посмотрел на свою изорванную рубашку.

— Рубашка тоже в порядке. Все выглядит как нельзя лучше.

Ледяной ветер свистел в окне и врывался в комнату. С улицы вползал туман и расстилался повсюду; казалось, чьи-то невидимые пальцы незаметно затягивают комнату белесой ватой. Через разбитое окно было видно, как падает снег. Холод, который предвещало накануне солнце сретенья, и в самом деле наступил.

Старик огляделся, словно желая удостовериться, нет ли каких-либо упущений. Взяв старую лопату, он забросал золой залитые водой головы, чтобы их совсем не было видно. Затем, выправившись и прислонившись спиной к камину, сказал:

— Ну, теперь мы можем принять нашего филантропа.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Луч света в притоне

Старшая дочь подошла к отцу, взяла его за руку и сказала:

— Пощупай, как я озябла!

— Подумаешь, я озяб еще больше, — ответил отец.

Мать запальчиво крикнула:

— Ну конечно, у тебя всегда всего больше, чем у других, даже худого!

— Заткнись! — сказал муж.

Он бросил на нее такой взгляд, что она замолчала.

На минуту наступила тишина. Старшая дочь хладнокровно счищала грязь с подола плаща, младшая продолжала всхлипывать; мать обхватила руками ее голову и, покрывая поцелуями, приговаривала тихонько:

— Ну, перестань, мое сокровище, прошу тебя, это скоро заживет, не плачь, а то рассердишь отца.

— Наоборот, плачь, плачь! Так и надо! — крикнул отец.

Затем обратился к старшей:

— Вот дьявольщина, его все нет! А вдруг он и вовсе не пожалует к нам? Зря, выходит, я затушил огонь, продавил стул, разорвал рубаху и разбил окно.

— И дочурку поранил! — прошептала мать.

— Известно ли вам, — продолжал отец, — что на нашем чортовом чердаке собачий холод? Ну, а если этот субъект возьмет и не придет? Ах, вот оно что! Он заставляет себя ждать! Он думает: «Подождут! Для того и существуют!» О, как я их ненавижу! С какой радостью, ликованием, восторгом и наслаждением я передушил бы всех богачей! Всех этих богачей! Этих так называемых благотворителей, сладкоречивых ханжей, которые ходят к обедне, перенимают поповские замашки, пляшут по поповской указке, рассказывают поповские сказки и воображают, что они люди высшей породы. Они приходят унижить нас! Одарить нас одеждой! По-ихнему, эти обноски, которые не стоят и четырех су, — одежда! Одарить хлебом! Не это мне нужно, сволочи! Денег, денег давайте! Но их-то никогда и не увидишь! Потому что мы, видите ли, пропьем их, потому что мы пьянчуги и лодыри! А сами-то! Сами-то что собой представляют и кем сами прежде были? Ворами! Иначе не разбогатели бы! Не плохо было бы схватить все человеческое общество, как скатерть, за четыре угла и встряхнуть хорошенько! Все бы перебилося, наверно, зато по крайней мере ни у кого ничего не осталось бы, вот в чем барыш! Да куда же запропастился твой господин благотворитель, поганое его рыло? Может быть, адрес позабыл, скот этакий? Бьюсь об заклад, что старая образина...

Тут в дверь легонько постучались. Жондрет бросился к ней, распахнул и, низко кланяясь и подобострастно улыбаясь, воскликнул:

— Входите, сударь! Окажите честь войти, мой глубоко-чтимый благодетель, а также и ваша прелестная барышня.

На пороге появился мужчина зрелых лет и юная девушка.

Мариус не покидал своего наблюдательного поста. То, что он пережил в эту минуту, не в силах передать человеческий язык.

То была Она.

Тому, кто любил, понятен весь лучезарный смысл коротенького слова «Она».

Действительно, то была она. Мариус с трудом различал ее сквозь светящуюся дымку, внезапно заставшую ему глаза. Перед ним было то нежное и утерянное им создание, та звезда, что светила ему полгода. Это были ее глаза, ее лоб, ее уста, ее прелестное, скрывшееся от него личико, с исчезновением которого все погрузилось во мрак. Видение пропало и вот — появилось вновь.

Появилось во тьме, на чердаке, в гнусном вертепе, среди этого ужаса!

Мариус весь дрожал. Как! Неужели это она! От сердцебиения у него темнело в глазах. Он чувствовал, что вот-вот разрыдается. Как! Он видит ее наконец, после стольких поисков! Ему казалось, что он вновь обрел свою утраченную душу.

Девушка нисколько не переменилась, только, пожалуй, немного побледнела; фиолетовая бархатная шляпка обрамляла ее тонкое лицо, черная атласная шубка скрывала фигуру. Из-под длинной юбки виднелась ножка, затянута в шелковый полусапожок.

Девушку, как всегда, сопровождал г-н Белый.

Она сделала несколько шагов по комнате и положила на стол довольно большой сверток.

Старшая девица Жондрет спряталась за дверь и угрюмо смотрела оттуда на бархатную шляпку, атласную шубку и очаровательное, радующее взгляд личико.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Жондрет чуть не плачет

В конуре было так темно, что всякий входивший с улицы испытывал такое чувство, словно очутился в погребу. Оба посетителя подвигались поэтому как-то нерешительно, еле различая смутные очертания окружающих их фигур, а обитатели чердака, привыкшие к этому сумраку, разглядывая вновь прибывших, видели их совершенно ясно.

Господин Белый подошел к Жондрету и, устремив на него свой грустный и добрый взгляд, сказал:

— Сударь, здесь в свертке вы найдете новое носильное платье, чулки и шерстяные одеяла.

— Посланец божий, благодетель наш, — воскликнул Жондрет, кланяясь до земли. Затем, пока посетители рассматривали убогое жилье, он, нагнувшись к самому уху старшей дочери, скороговоркой прошептал:

— Ну? А что я говорил? Обноски! А денежки где? Все эти господа на один манер! Кстати, как было подписано письмо к этому старому дуралею?

— Фабанту, — отвечала дочь.

— Драматический актер, великолепно.

Жондрет осведомился во-время, ибо в ту же секунду г-н Белый обернулся к нему и сказал с таким видом, с каким обычно стараются припомнить фамилию собеседника:

— Вижу, что вы в плачевном положении, господин...

— Фабанту, — быстро подхватил Жондрет.

— Господин Фабанту, да, так... Вспомнил.

— Драматический актер, сударь, некогда пожинавший лавры.

Тут Жондрет, очевидно, решил, что настал самый подходящий момент для натиска на «филантропа». — Я ученик Тальма, сударь! — воскликнул он, и в голосе его прозвучало и бахвальство ярмарочного фигляра и самоуничтожение нищего с проезжей дороги. — Ученик Тальма! И мне улыбалась некогда фортуна. Увы! Пришел черед беде. Сами видите, благодетель мой, нет ни хлеба, ни огня. Нечем обогреть бедных моих деток. Один-единственный стул, и тот сломан! Разбитое окно, и в такую-то погоду! Супруга в постели! Больна!

— Бедняжка! — сказал г-н Белый.

— И дочурка поранилась! — добавил Жондрет.

Девочка, отвлеченная приходом чужих, засмотрелась на «барышню» и перестала всхлипывать.

— Плачь! Реви! — сказал ей тихо Жондрет и ущипнул за больную руку. Все это он проделал с проворством настоящего жулика.

Девочка громко заплакала.

Прелестная девушка, которую Мариус в душе звал «моя Урсула», подбежала к ней со словами:

— Бедная детка!

— Взгляните, любезная барышня, — продолжал Жондрет, — у нее вся кисть в крови! Несчастный случай, — попала в машину, на которой она работает за шесть су в день. Возможно, придется отнять всю руку!

— Неужели? — встревоженно спросил старик.

Девочка, приняв слова отца за правду, начала всхлипывать еще сильнее.

— Увы, это так, благодетель! — ответил папаша.

Уже несколько секунд Жондрет с каким-то странным выражением всматривался в «филантропа». Не переставая говорить, он, казалось, внимательно изучал его, словно стараясь что-то вспомнить. Вдруг, воспользовавшись минутой, когда посетители участливо расспрашивали девочку о пораненной руке, он подошел к лежавшей в постели жене, лицо которой изображало тупое уныние, и торопливо шепнул:

— Вглядись-ка в него получше!

Затем, обернувшись к г-ну Белому, он снова принялся за свои плаксивые жалобы:

— Подумайте, сударь, вся моя одежда — это женина рубашка! Да к тому же рваная! В самые-то холода. Мне не в чем выйти. Был бы у меня хоть плохонький костюм, я бы навестил мадмуазель Марс, которая меня знает и очень благоволит ко мне. Ведь она, кажется, попрежнему живет на улице Тур-де-Дам? Видите ли, сударь, мы вместе играли в провинции, я разделял с нею лавры. Селимена пришла бы мне на помощь, сударь! Эльмира подала бы милостыню Велизарию! Но ничего-то у меня нет! И в доме ни единого су! Супруга больна, и ни единого су! Дочка опасно ранена, и ни единого су! У жены моей приступы удушья. Возраст, да и нервы к тому же. Ей нужен уход и дочке тоже! Но врач! Но аптекарь! Чем же им заплатить? Нет ни лиарда! Сударь, я готов пасть на колени перед монетой в десять су!

Вот в каком упадке искусство! И да будет вам известно, прелестная барышня и великодушный покровитель мой, исполненные добродетели и милосердия, что бедная моя дочь ходит молиться в тот самый храм, чьим украшением вы являетесь, и ежедневно лицезреет вас... Ибо я воспитываю своих дочек в благочестии, сударь. Я не желал, чтобы они пошли на сцену. Смотрите у меня, бесстыдницы! Вдумайте только свихнуться! Со мной

шутки плохи! Я не перестаю им долбить о чести, морали, добродетели. Спросите-ка их! Пусть идут по прямому пути. У них есть отец. Они не из тех несчастных, которые начинают жить безродными, а кончают тем, что роднятся со всем светом, и вот мамзель «Ничья» превращается в мадам «Всех-и-вся». Клянусь, этого не будет в семье Фабанту! Я надеюсь воспитать их в добродетели, чтобы они были честными, хорошими, верующими в бога, чорт возьми! Итак, сударь, достопочтенный мой благодетель, знаете ли вы, что готовит мне завтрашний день? Завтра четвертое февраля, роковой день, последняя отсрочка, которую мне дал хозяин; если я ему не уплачу сегодня же вечером, завтра моя старшая дочь, я, моя больная супруга, мое израненное дитя, мы все вчетвером будем лишены крова, выкинуты на улицу, на бульвар, под открытое небо, под дождь, под снег. Так-то, сударь! Я должен за четыре квартала, за год. То есть шестьдесят франков.

Жондрет лгал. Плата за год составляла всего сорок франков, и он не мог задолжать за четыре квартала: еще не прошло и полугода, как Мариус заплатил за два.

Господин Белый вынул из кармана пять франков и положил их на стол.

Жондрет буркнул на ухо старшей дочери: «Негодяй! На что мне сдались его пять франков? Ими не окупишь ни стул, ни оконное стекло. Решайся после этого на затраты!» В ту же минуту г-н Белый, сняв с себя широкий коричневый редингот, который он носил поверх своего синего редингота, бросил его на спинку стула.

— Господин Фабанту, — сказал он, — при мне только пять франков, но я провожу дочь домой и вернусь к вам вечером; ведь вы должны платить сегодня вечером?..

В глазах Жондрета промелькнуло какое-то странное выражение. Он поспешно ответил:

— Да, мой глубокоуважаемый покровитель. В восемь часов я должен быть у домохозяина.

— Я буду в шесть и принесу шестьдесят франков.

— Благодетель! — восторженно завопил Жондрет.

И добавил чуть слышно:

— Всмотрись в него хорошенько, жена!

Господин Белый взял снова под руку прелестную девушку и направился к двери.

— До вечера, друзья мои, — сказал он.

— В шесть часов? — переспросил Жондрет.

— Ровно в шесть.

Тут внимание старшей девицы Жондрет привлек висевший на спинке стула сюртук.

— Сударь, вы забыли ваш редингот, — сказала она.

Жондрет устремил на дочку угрожающий взгляд и гневно передернул плечами.

Господин Белый обернулся и ответил улыбаясь:

— Я не забыл, а нарочно оставил его.

— О мой покровитель, — сказал Жондрет, — мой высокочтимый благодетель, я не могу сдержать слез! Дозвольте, я провожу вас до фиакра.

— Если вы хотите выйти, то наденьте этот сюртук, — вместо ответа заметил г-н Белый. — На дворе очень холодно.

Жондрет не заставил просить себя дважды. Он быстро натянул коричневый редингот.

И они вышли втроем: Жондрет впереди, а за ним посетители.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Такса наемного кабриолета: два франка в час

Хотя вся эта сцена разыгралась на глазах у Мариуса, он в сущности почти ничего не видел. Взгляд его впился в молодую девушку, сердце его, так сказать, ухватилося за нее и словно вобрало всю целиком, едва она ступила на порог конуры Жондрета. Пока она была там, он находился в том состоянии экстаза, когда человек не воспринимает явлений внешнего мира, а сосредоточивает всю душу на чем-то одном. Он созерцал не девушку, а луч, одетый в атласную шубку и бархатную шляпку. Если бы даже сам Сириус, покинув небеса, появился в комнате, Мариус не был бы так ослеплен.

Пока молодая девушка развертывала пакет, раскладывала вещи и одеяла, с участием расспрашивала большую мать и ласково говорила с раненой девочкой, он ловил каждое ее движение и старался услышать ее голос. Ему были знакомы ее глаза, лоб, фигура, походка, вся ее краса, но он не знал, как звучит ее голос. Однажды в Люксембургском саду ему показалось, что до него до-

летело несколько сказанных ею слов, но он не был в этом вполне уверен. Он отдал бы десять лет жизни, чтобы услышать, чтобы запечатлеть в душе музыку ее голоса. Но все заглушалось жалостными причитаниями и высокопарными тирадами Жондрета. И к восхищению Мариуса примешивался гнев. Он не сводил с нее глаз. Ему не верилось, чтобы в отвратительной трущобе, среди человеческого отребья, он мог найти это божественное создание. Ему казалось, что он видит колибри среди жаб.

Когда она вышла, его охватило одно желание — следовать за ней, итти по пятам, не упускать из вида, пока не узнает, где она живет, чтобы не утратить ее вновь после того, как он чудом обрел ее! Он спрыгнул с комода и схватил шляпу. Он уже взялся за дверную ручку и хотел было выйти, но тут его остановила одна мысль. Коридор был длинный, лестница крутая, — Жондрет болтлив, г-н Белый, разумеется, еще не успел сесть в коляску; если, обернувшись в коридоре или на лестнице, он заметит здесь его, Мариуса, то, разумеется, встревожится и найдет способ снова ускользнуть, и тогда все будет кончено. Как быть? Подождать немного? Но пока будешь ждать, коляска может отъехать... Мариус был в нерешительности. Наконец он рискнул и вышел из комнаты.

В коридоре уже никого не было. Он побежал к лестнице. Никого не было и на лестнице. Он поспешно спустился и вышел на бульвар как раз в ту минуту, когда экипаж завернул за угол Малой Банкирской улицы и покатиł обратно в Париж.

Мариус бросился бежать в том же направлении. Достигнув угла бульвара, он вновь увидел экипаж, который быстро ехал вниз по улице Муфтар; экипаж был уже очень далеко, нечего было и пытаться догнать его. Что делать? Бежать за ним? Невозможно. К тому же из коляски, несомненно, заметили бы человека, бегущего за нею со всех ног, и отец девушки узнал бы его. И гут — чудесная неслыханная случайность — Мариус заметил свободный наемный кабриолет, проезжавший по бульвару. Оставалось только одно решение: сесть в кабриолет и поехать следом за фиакром. Это был верный, действительный и безопасный выход.

Мариус знаком остановил экипаж и крикнул:
— Почасно!

Мариус был без галстука, в старом будничном сюртуке, на котором нехватало пуговиц, манишка на сорочке была у него в одном месте разорвана.

Кучер остановился и, подмигнув, протянул в сторону Мариуса левую руку, слегка потирая один о другой большой и указательный пальцы.

— Что такое? — спросил Мариус.

— Плата вперед, — сказал кучер.

Мариус вспомнил, что при нем было всего шестнадцать су.

— Сколько? — спросил он.

— Сорок су.

— Уплачу по приезде.

Кучер вместо ответа засвистел песенку о Ла Палисе и стегнул лошадь.

Мариус растерянно смотрел вслед удаляющемуся кабриолету. Из-за двадцати четырех су, которых ему нехватало, он терял свою радость, свое счастье, свою любовь! Он вновь погружался во мрак! Он прозрел, а теперь снова лишился зрения. По правде говоря, он с горечью и глубоким сожалением подумал о пяти франках, отданных им поутру жалкой дочери Жондрета. Имей он эти пять франков, он был бы спасен, он бы возродился, он вышел бы из чистилища, из ада, из одиночества, тоски и душевного вдовства; он снова связал бы черную нить своей судьбы с дивной золотой нитью, промелькнувшей перед его глазами и еще раз оборвавшейся. Он вернулся в свою лачугу в полном отчаянии.

Он мог бы себя утешить тем, что г-н Белый обещал вернуться вечером, и на этот раз нужно было только лучше взяться за дело и постараться не упустить его, но, поглощенный созерцанием девушки, он едва ли что-нибудь слышал.

В ту минуту, когда Мариус собирался подняться по лестнице, он заметил на другой стороне бульвара, у глухой стены, идущей вдоль улицы заставы Гобеленов, Жондрета, облаченного в редингот «благодетеля». Он разговаривал с одним из тех субъектов, лица которых вселяют беспокойство и которых принято называть «хозяевами застав»; это люди, внешность которых двусмысленна, речь подозрительна, словно на уме у них что-то дурное;

спят они обычно днем, а следовательно, дают все основания думать, что работают ночью.

Собеседники, стоявшие неподвижно под хлопьями падающего снега, представляли собой группу, которая, наверно, остановила бы внимание полицейского, но взгляд Мариуса едва скользнул по ней.

Однако, как ни был он озабочен и огорчен, он невольно подумал, что этот «хозяин застав», с которым беседовал Жондрет, был похож на одного человека, по кличке Крючок, он же Весенний, он же Гнус, на которого как-то указал ему Курфейрак и который слыл в квартале весьма опасным ночным гулякой. В предыдущей книге упоминалось его имя. Крючок, он же Весенний, он же Гнус, позднее фигурировал в нескольких уголовных процессах и стяжал себе славу знаменитого мошенника. А в описываемое нами время он был еще просто ловким мошенником. Память о нем сохранилась и по сей час среди бандитов и грабителей. В конце последнего царствования он создал целую школу. И вечерами, в сумерках, в тот час, когда люди шепчутся, собравшись в кружок, о нем говорили в Львином рву тюрьмы Форс. В этой же тюрьме, как раз в том месте, где под дозорной дорожкой проходит сток нечистот, через который в 1843 году тридцать два заключенных среди бела дня совершили неслыханный побег, можно было даже прочесть над плитой, закрывающей отверстие сточной трубы, его имя *Крючок*. Он дерзко выцарапал его на стене у самой дозорной дорожки при одной из попыток к бегству. В 1832 году полиция уже следила за ним, но он еще ни в чем серьезном себя не проявил.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Ниццета предлагает услуги горю

Мариус медленно поднялся по лестнице. Он собирался уже войти в свою каморку, когда заметил, что за ним по коридору идет старшая дочь Жондрета. Ему было очень неприятно видеть эту девушку, — ведь именно к ней и перешли его пять франков, но требовать их обратно было уже поздно, кабриолет уехал, а коляски и след простыл. К тому же девушка и не вернула бы их. Так же

бесполезно было бы расспрашивать ее о том, где жили их посетители, очевидно она и сама не знала, раз письмо, подписанное Фабанту, было адресовано «господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па».

Мариус вошел в комнату и захлопнул за собой дверь.

Однако она не закрылась вплотную; он обернулся и заметил, что ее придерживает чья-то рука.

— Что такое? Кто там? — спросил он.

И увидел дочь Жондрета.

— Это вы? — почти грубо продолжал Мариус. — Опять вы? Что вам от меня нужно?

Но она, казалось, о чем-то думала и не глядела на него. В ней не было прежней самоуверенности. В комнату она не вошла, а осталась стоять в темном коридоре, и Мариус видел ее через неплотно притворенную дверь.

— Да отвечайте же! — воскликнул Мариус. — Что вам нужно от меня?

Она окинула его тусклым взглядом, в котором, казалось, смутно засветился какой-то огонек, и сказала:

— Господин Мариус, у вас такой печальный вид. Что с вами?

— Со мной?

— Да, с вами.

— Ничего.

— Что-то есть все же!

— Нет.

— А я говорю — есть.

— Оставьте меня в покое!

Мариус снова толкнул дверь, а она продолжала придерживать ее.

— Слушайте, вы это зря, — сказала она. — Вы небогаты, а какой были добрый сегодня утром. Ну станьте опять таким. Вы мне дали на пропитанье, скажите же, что с вами? Вы огорчены, это сразу видно. А мне не хочется, чтобы вы огорчались. Нельзя ли тут чем-нибудь помочь? Не могу ли я вам пригодиться? Положитесь на меня. Я не собираюсь выведывать ваши секреты, не прошу мне о них рассказывать, но как-никак я могу быть полезной. Я могу вам подсобить, ведь подсобляю же я отцу. Понадобится отнести кому письмо, обойти дома из двери в дверь, разыскать адрес, выследить кого-нибудь, — посылают меня. Так вот, можете спокойно мне все доверить,

я передам кому надо. Иной раз поговоришь с кем надо, и все уладилось. Распоряжайтесь мной.

В уме Мариуса промелькнула мысль. За какую только веточку не цепляется человек, когда чувствует, что сейчас упадет!

Он приблизился к дочери Жондрета.

— Послушай... — сказал он.

Девушка прервала его, и глаза ее радостно сверкнули.

— Да, да, говорите мне «ты», мне так больше нравится.

— Хорошо, — продолжал он, — ведь это ты привела сюда старика с дочкой...

— Да.

— Ты знаешь их адрес?

— Нет.

— Узнай мне его.

Взгляд девушки, ставший из угрюмого радостным, теперь из радостного стал мрачным.

— Только это вам и надо? — спросила она.

— Да.

— Вы с ними знакомы?

— Нет.

— Иначе говоря, — живо перебила его девушка, — вы незнакомы с нею, но хотите познакомиться.

В этой замене слов «с ними» словами «с нею» чувствовалось что-то многозначительное и горькое.

— Ну, как? Сумеешь? — спросил Мариус.

— Я добуду вам адрес красивой барышни.

И тон, каким были произнесены слова: «красивой барышни», почему-то опять покоробил Мариуса. Он сказал:

— В конце концов неважно! Адрес отца и дочери. Ну, адрес обоих.

Она пристально взглянула на него.

— Что вы мне за это дадите?

— Все, что пожелаешь.

— Все, что пожелаю?

— Да.

— Вы получите адрес.

Она опустила голову, затем порывистым движением захлопнула дверь.

Мариус остался один.

Он упал на стул, оперся локтями о кровать, обхватил руками голову и погрузился в водоворот неуловимых мыслей, испытывая состояние, близкое к обмороку. Все, что произошло с утра: появление небесного создания, его исчезновение, слова, только что услышанные им от жалкой девушки, луч надежды, блеснувший в беспредельном отчаянии, — вот что смутно проносилось в его мозгу.

Вдруг его задумчивость была грубо прервана.

Громкий и резкий голос Жондрета произнес следующие крайне заинтересовавшие Мариуса загадочные слова:

— Говорю тебе, что уверен в этом. Я узнал его.

О ком шла речь? Кого узнал Жондрет? Г-на Белого? Отца его «Урсулы»? Возможно ли! Разве Жондрет был с ним знаком? Неужели ему, Мариусу, вдруг так неожиданно откроется то, без чего жизнь его была такой беспросветной? Неужели, наконец, узнает, кого же он любит, узнает, кто эта девушка, кто ее отец? Неужели наступила минута, когда окутывающий этих людей густой туман рассеется, когда таинственный покров разорвется? О небо!

Он влез, вернее, вскочил на комод и занял место у своего потайного окошечка в переборке.

И снова увидел внутренность логова Жондрета.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

*На что была истрачена пятифранковая монета
г-на Белого*

С виду в семействе Жондрета все было попрежнему, если не считать того, что его жена и дочери успели уже вытащить кое-что из свертка, принесенного г-ном Белым, и нарядились в шерстяные чулки и кофточки. Новые одеяла были наброшены на обе кровати.

Жондрет, повидимому, только что пришел, так как не успел еще отдышаться. Дочки сидели на полу у камина, и старшая перевязывала руку младшей. Жена, казалось, утонула в кровати, стоявшей рядом с камином; лицо ее выражало удивление. Жондрет мерил комнату большими шагами. В его взгляде было что-то необычное.

Наконец жена, видимо глубоко изумленная и робевшая перед мужем, осмелилась произнести:

— Неужели правда? Ты уверен?

— Уверен, конечно! Прошло восемь лет. И все же я его узнал. Еще бы не узнать! Сразу же узнал! Неужто тебе ничего не бросилось в глаза?

— Нет.

— Но ведь я же тебе говорил: «Обрати внимание!» Тот же рост, то же лицо, почти не постарел, — некоторых даже и старость не берет, не знаю, как это они ухитряются, ну и голос тот же. Только одет получше, вот и все! Ага, старый проклятый притворщик, попался? Теперь держись у меня!

Он остановился и крикнул дочерям:

— Эй, вы, убирайтесь-ка отсюда! — и добавил, обращаясь к жене: — Чудно даже, что тебе не бросилось в глаза.

Дочери покорно встали.

— С больной рукой, — пробормотала мать.

— Воздух ей на пользу, — отрезал Жондрет. — Убирайтесь.

Очевидно, он был из породы людей, которым не возражают. Девушки вышли.

В ту минуту когда они уже были в дверях, отец удержал старшую за руку и каким-то многозначительным тоном сказал:

— Будьте здесь ровно в пять. Вы обе мне понадобятся.

Это заставило Мариуса удвоить внимание.

Оставшись наедине с женой, Жондрет опять стал ходить по комнате и два-три раза молча обошел ее. Затем несколько минут заправлял и засовывал за пояс штанов подол надетой на нем женской рубашки.

Вдруг он повернулся к жене, скрестил руки и воскликнул:

— Хочешь, я скажу тебе еще кое-что? Эта девица...

— Ну, что такое? — подхватила жена. — Что девица?

У Мариуса не могло быть сомнений: конечно, разговор шел о «ней». Он слушал с мучительным волнением. Вся его жизнь сосредоточилась в слухе.

Но Жондрет наклонился к жене и о чем-то тихо заговорил. Потом выпрямился и закончил громко:

— Она и есть!

— Эта вот? — спросила жена.

— Эта вот! — подтвердил муж.

Трудно передать то выражение, с каким жена Жондрета произнесла слова: «эта вот». Удивление, ярость, ненависть, злоба — все слилось и смешалось здесь в какой-то зловещей интонации. Достаточно было нескольких фраз и, вероятно, имени, сказанного ей на ухо мужем, чтобы эта сонная толстуха оживилась и чтобы ее отталкивающее лицо стало страшным.

— Быть не может! — закричала она. — И подумать только, что мои дочки ходят разутые, что им одеться не во что! А тут! И атласная шубка, и бархатная шляпка, и полусапожки — словом, все! Больше чем на две сотни франков надето! Прямо дама! Да нет же, ты ошибся! И, во-первых, та была уродина, а эта — недурна! Совсем недурна! Не может быть, это не она!

— А я говорю тебе — она. Сама увидишь.

При столь категорическом утверждении тетка Жондрет подняла свою широкую кирпично-красную физиономию и с каким-то отвратительным выражением уставилась в потолок. В этот миг она показалась Мариусу опасней самого Жондрета. То была свинья с глазами тигрицы.

— Вот как! — прошипела она. — Значит, эта расфуфыренная барышня, которая жалостливо смотрела на моих дочек, и есть та самая нищенка! А-а, так бы все кишки ей и выпустила! Затоптала бы!

Она соскочила с постели и постояла с минуту, растрепанная, с раздувающимися ноздрями, полуоткрытым ртом, со сжатыми и занесенными словно для удара кулаками. Затем рухнула на свое неопрятное ложе. Жондрет ходил взад и вперед по комнате, не обращая никакого внимания на супругу.

После нескольких минут молчания он подошел к жене и опять остановился перед ней, скрестив руки.

— А хочешь, я скажу тебе еще кое-что?

— Ну что? — спросила она.

— Да то, что я теперь богач, — ответил он отрывисто и тихо.

Жена устремила на него взгляд, казалось говоривший: «Уж не спятил ли ты?»

Жондрет продолжал:

— Проклятие! Давненько я состою в прихожанах, прихода Коль-есть-жратва-подыхай-с-холоду, коль-есть-дрова-подыхай-с-голоду! Довольно хлебнул нищеты! Довольно тащил свое и чужое бремя! Мне уже не до смеха, ничего забавного я больше здесь не вижу, довольно ты тешился надо мной, милосердный боже! Обойдемся без твоих шуток, отец предвечный! Я желаю есть вдоволь, пить вдосталь! Жрать! Дрыхнуть! Бездельничать! Я желаю, чтобы пришел и мой черед, — мой, вот что! Пока я не издох! Я желаю немножко пожить миллионером!

Он прошелся по своей конуре и прибавил:

— Не хуже иных прочих.

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила жена.

Он потрянул головой, подмигнул и, повысив голос, как бродячий лектор, приступающий к демонстрации физического опыта, начал:

— Что я хочу сказать? Слушай!

— Тсс... — заворчала тетка Жондрет, — потише! Если разговор о делах, не к чему посторонним про это слушать.

— Вот еще! Кому это слушать? Соседу? Я только что видел, как он выходил из дому. Да и что он разберет, эта дурья башка? А потом, говорю тебе, он ушел.

Тем не менее Жондрет как-то инстинктивно понизил голос, не настолько, однако, чтобы его слова могли ускользнуть от слуха Мариуса. К тому же, на счастье, падал снег и заглушал шум проезжавших по бульвару экипажей, что позволило Мариусу ничего не пропустить из беседы супругов.

Вот что услышал Мариус:

— Понимаешь, он попался, богатей! Можно считать, что дело в шляпе. Все сделано. Все устроено. Я видел наших. Он придет сегодня в шесть часов. Принесет шестьдесят франков, этакий мерзавец! Чего только я ему не наплел? Ты заметила? И насчет шестидесяти франков, и насчет хозяина, и насчет четвертого февраля! А какой в этот день может быть срок? Вот олух царя небесного! Значит, он прибудет в шесть часов! В это время сосед уходит обедать. Мамаша Бюргон отправляется в город мыть посуду. В доме никого. Сосед не возвращается раньше одиннадцати. Девчонки будут на карауле. Ты нам поможешь. Он расквитается с нами.

— А вдруг не расквитается? — спросила жена.

Жондрет сделал угрожающий жест.

— Тогда мы расквитаемся с ним.

И он засмеялся.

Мариус впервые слышал его смех. Это был холодный, негромкий смех, от которого дрожь пробежала по телу.

Жондрет открыл стенной шкаф около камина, вытащил старую фуражку и надел ее на голову, предварительно почистив рукавом.

— Ну, я ухожу, — сказал он. — Мне нужно еще кое-кого повидать из добрых людей. Увидишь, как у нас пойдет дело. Я постараюсь поскорее вернуться. Игра стоящая. Стереги дом.

И, засунув руки в карманы брюк, он на минуту остановился в задумчивости, потом воскликнул:

— А знаешь, хорошо все-таки, что он-то меня не узнал! Узнай он меня, ни за что бы не вернулся! Выскользнул бы из рук! Борода меня выручила! Романтическая моя бородка! Миленькая моя романтическая бородка!

И снова засмеялся.

Он подошел к окошку. Снег все еще падал с серого неба.

— Что за собачья погода! — сказал он.

Потом, запахнув редингот, он добавил:

— Эта шкура немного широковата. Но ничего, сойдет, старый мошенник чертовски кстати мне ее оставил! А то ведь мне не в чем выйти. Дело бы опять лопнуло. От какой ерунды иной раз все зависит!

И, нахлобучив фуражку, он вышел.

Едва ли он успел сделать и несколько шагов, как дверь приоткрылась и между ее створок появился его хищный и умный профиль.

— Совсем забыл, — сказал он. — Приготовь жаровню с углями.

И кинул в передник жены пятифранковую монету, которую ему оставил «филантроп».

— Жаровню с углем? — переспросила жена.

— Да.

— Сколько мер угля купить?

— Две с верхом.

— Это обойдется в тридцать су. На остальное я куплю что-нибудь к обеду.

- К чорту обед!
- Почему?
- Не вздумай растратить всю монету, все сто су.
- Почему?
- Потому что мне тоже нужно кое-что купить.
- Что же?
- Да так, кое-что.
- Сколько тебе на это потребуется?
- Где тут у нас ближняя скобяная лавка?
- На улице Муфтар.
- Ах да, на углу; знаю, где.
- Да скажи ты мне, наконец, сколько тебе потребуется на твои покупки?
- Пятьдесят су, а может, и все три франка.
- Не очень-то жирно остается на обед.
- Сегодня не до жратвы. Есть вещи поважнее.
- Как знаешь, мое сокровище.

При этих словах жены Жондрет снова закрыл дверь, и на сей раз Мариус услышал, как шум его шагов, поспешно удалявшихся по коридору, мало-помалу затих внизу лестницы.

На Сен-Медарской колокольне в этот миг пробило час.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

*Solus cum solo, in loco remoto, non cogitabuntur orare
pater noster*¹

Несмотря на то, что Мариус был мечтателем, он, как мы говорили, обладал решительным и энергичным характером. Привычка к сосредоточенным размышлениям, развив в нем участие и сострадание к людям, быть может ослабила способность возмущаться, но оставила нетронутой способность предаваться негодованию; доброжелательность брамина сочеталась у него с суровостью судьи; он пощадил бы жабу, но, не задумываясь, раздавил бы гадюку. А взор его только что проник в нору гадюк; перед его глазами было гнездо чудовищ.

«Надо уничтожить этих негодяев», — подумал он.

¹ Если двое встречаются с глазу на глаз в пустынном месте, вряд ли они будут читать «Отче наш» (лат.).

Вопреки его надеждам ни одна из мучивших его загадок не разъяснилась; напротив, мрак надо всем как будто еще более сгустился; ему не удалось узнать ничего нового ни о прелестной девушке из Люксембургского сада, ни о человеке, которого он звал г-ном Белым, если только не считать того, что Жондрету они были, оказывается, известны. Из туманных намеков, брошенных Жондретом, он явственно уловил лишь то, что здесь для них готовится ловушка, — какая-то непонятная, но ужасная ловушка; что над обоими нависла огромная опасность: над девушкой — возможно, а над стариком — несомненно; что нужно их спасти, что нужно расстроить гнусные замыслы Жондрета и порвать тенета, раскинутые этими пауками.

Мариус взглянул на жену Жондрета. Она вытащила из угла старую жестяную печь и рылась в железном ломе.

Он осторожно спустился с комода, постаравшись сделать это без всякого шума.

Полный страха перед тем, что подготовлялось, полный отвращения к Жондретам, Мариус все же испытывал какую-то радость при мысли, что ему, быть может, суждено оказать услугу той, которую он любит.

Но как поступить? Предупредить тех, кому угрожает опасность? А где их найти? Ведь он не знал их адреса. Они на миг появились перед его глазами и вновь погрузились в бездонные глубины Парижа. Ждать г-на Белого у дверей в шесть часов вечера и, как только он приедет, предупредить его о засаде? Но Жондрет и его помощники заметят, что он кого-то караулит; место пустынно, сила на их стороне, они найдут способ схватить и отделаться от него, и тогда тот, кого он хотел спасти, погибнет. Только что пробило час, а злодейское нападение должно совершиться в шесть. В распоряжении у Мариуса было пять часов.

Оставалось лишь одно.

Он надел свой сюртук, еще вполне приличный, повязал шею шарфом, взял шляпу и вышел так бесшумно, как будто ступал босиком по мху.

Вдобавок и тетка Жондрет продолжала гроыхать железом, копаясь в куче хлама.

Выбравшись из дома, Мариус пошел по Малой Банкирской улице.

Дойдя до середины ее, он поровнялся с отгораживавшей пустырь низенькой стеной, через которую в иных местах можно было перешагнуть. Поглощенный своими мыслями, он шел медленно, снег заглушал его шаги. Вдруг, совсем рядом, он услышал голоса. Он оглянулся, улица была пустынна, хотя дело происходило среди бела дня; нигде не было видно ни души; но он ясно слышал голоса.

Ему пришло в голову заглянуть за ограду.

И действительно, сидя на снегу и прислонившись к стене, там тихо разговаривали двое мужчин.

Их лица были ему незнакомы. Один из них был бородатый, в блузе, а другой — лохматый, в отрепьях. На бородаче красовалась греческая шапочка, а непокрытую голову его собеседника запустил снег.

Наклонившись над стеной, Мариус мог услышать их беседу.

Длинноволосый говорил, подталкивая локтем бородача:

— Уж если дружки из Петушиного часа взялись за это дело, промашки не будет.

— Так ли? — сказал бородач, а лохматый возразил:

— Отхватим по пятьсот монет на брата, а ежели обернется худо, получим годков по пять, по шесть, — ну по десять, никак не больше!

Бородач в греческом колпаке отвечал несколько нерешительно, стуча зубами от холода:

— Уж это-то наверное. Тут никак не отвертишься.

— А я тебе говорю, что промашки не будет, — возразил лохматый. — Тележка папаши Бесфамильного стоит наготове.

Затем они стали толковать о мелодраме, которую видели накануне в театре Гетэ.

Мариус пошел дальше.

Ему казалось, что непонятная речь обоих субъектов, столь подозрительно расположившихся в укромном местечке за стеной, прямо в снегу, возможно, имела некоторое отношение к гнусным замыслам Жондрета. Должно быть, это и было то самое *дело*.

Он направился к предместью Сен-Марсо и в первой же попавшейся лавке спросил, где можно найти полицейского пристава.

Ему сказали, что на улице Понтуаз, в доме № 14.

Мариус пошел туда.

Проходя мимо булочной, он купил на два су хлеба и съел, предвидя, что пообедать не удастся.

Размышляя дорогой, он возблагодарил провидение. Ведь не дай он утром дочери Жондрета пяти франков, он поехал бы вслед за фиакром г-на Белого и, таким образом, ничего бы не знал. Никакая сила не помешала бы тогда Жондрету устроить засаду, г-н Белый погиб бы, а вместе с ним, без сомнения, и его дочь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ,

в которой полицейский дает адвокату два карманных пистолета

Подойдя к дому № 14, что на улице Понтуаз, Мариус поднялся на второй этаж и спросил полицейского пристава.

— Господин полицейский пристав сейчас в отсутствии, — сказал один из писарей, — но его заменяет надзиратель. Может быть, поговорите с ним? У вас спешное дело?

— Да, — ответил Мариус.

Писарь ввел его в кабинет пристава. За решеткой, прислонившись к печке и приподняв заложенными назад руками полы широкого каррика о трех воротниках, стоял рослый человек. У него было квадратное лицо, тонкие, плотно сжатые губы, весьма свирепого вида густые баки с проседью и взгляд, выворачивающий вас наизнанку. Этот взгляд, можно сказать, не только пронизывал вас, но обыскивал.

С виду человек этот казался почти таким же хищным, таким же опасным, как Жондрет; встретиться с догом иногда не менее страшно, чем с волком.

— Что вам угодно? — обратился он к Мариусу, опуская обращение «сударь».

— Не вы ли будете господин полицейский пристав?

— Его нет. Я его заменяю.

— Я по весьма секретному делу.

— Ну, так говорите.

— И весьма срочному.

— Ну, так говорите скорее.

Этот спокойный и грубоватый человек пугал и в то же время ободрял. Он внушал и страх и доверие. Мариус рассказал ему обо всем: о том, что некоего человека, которого он, Мариус, знал лишь с виду, собирались нынче вечером заманить в ловушку; что, занимая комнату по соседству с притоном, он, Мариус Понмерси, адвокат, услышал через перегородку об этом заговоре; что фамилия негодяя, придумавшего устроить западню, Жондрет; что у него есть сообщники, по всей вероятности «хозяева застав», и в их числе некий Крючок, по прозвищу Весенний, он же Гнус; что дочерям Жондрета поручено стоять на карауле; что человека, которому грозит опасность, никоим образом предупредить нельзя, поскольку даже имя его неизвестно; что, наконец, все должно произойти в шесть часов вечера, в самом глухом конце Госпитального бульвара, в доме № 50/52.

Когда Мариус назвал номер дома, надзиратель поднял голову и бесстрастно спросил:

— Комната, что в конце коридора?

— Совершенно верно, — подтвердил Мариус и добавил: — Разве вы знаете этот дом?

Полицейский надзиратель помолчал, затем ответил, подставляя каблук сапога к дверце топившейся печи, чтобы согреть ногу:

— Повидимому, так.

Он продолжал цедить сквозь зубы, не столько обращаясь к Мариусу, сколько к собственному галстуку.

— Тут без Петушиного часа не обошлось.

Его слова поразили Мариуса.

— Петушиный час, — повторил он. — В самом деле, я слышал эти слова.

И он рассказал полицейскому надзирателю о диалоге между лохмачом и бородачом, в снегу, за стеной на Малой Банкирской улице.

Надзиратель пробурчал:

— Лохматый — должно быть, Брюжон, а бородач — Пол-Лиарда, он же Два Миллиарда.

Он снова опустил глаза и предался размышлениям.

— Ну, а насчет папаши Бесфамильного, — присовокупил он, — тоже догадываюсь. Так и есть, я подпалил

свой каррик. И чего они всегда так жарко топят эти проклятые печки! Номер пятьдесят — пятьдесят два. Бывшее домовладение Горбо.

Он взглянул на Мариуса:

— Вы видели только бородача и лохмача?

— И Крючка.

— А этакого молоденького франтика?

— Нет.

— А огромного плечистого детину, похожего на слона из зоологического сада?

— Нет.

— А этакого пройдоху, с виду старого паяца?

— Нет.

— Ну, а четвертый — тот вообще невидимка, даже для своих же помощников, пособников и подручных. Нет ничего удивительного, что вы его не заметили.

— Действительно, не заметил. А что это вообще за люди? — спросил Мариус.

— Впрочем, это совсем не их час... — сказал вместо ответа надзиратель.

Он снова помолчал, потом проговорил:

— Пятьдесят — пятьдесят два. Знаю я этот сарай. Нам в нем спрятаться негде, артисты нас сразу заметят. И отделаются только тем, что отменят водевиль. Это народ очень скромный. Стесняется публики. Нет, это не годится, не годится. Я хочу услышать, как они поют, и заставлю их поплясать.

Закончив этот монолог, он повернулся к Мариусу и спросил, глядя на него в упор:

— Вы боитесь?

— Кого?

— Этих людей.

— Не больше, чем вас, — сумрачно отрезал Мариус, заметив, наконец, что сыщик еще ни разу не назвал его сударем.

Полицейский надзиратель посмотрел на Мариуса еще пристальнее и произнес с какою-то нравоучительной торжественностью:

— Вы говорите, как человек смелый и как человек честный. Мужество не страшится зрелища преступления, а честность не страшится властей.

— Все это хорошо, но что вы думаете предпринять? — прервал его Мариус.

Полицейский надзиратель ограничился таким ответом:

— У всех жильцов дома пятьдесят — пятьдесят два есть ключи от наружных дверей; ими пользуются, возвращаясь ночью к себе домой. У вас есть такой ключ?

— Да, — сказал Мариус.

— Он при вас?

— Да.

— Дайте его мне, — сказал инспектор.

Мариус вынул ключ из жилетного кармана, передал его надзирателю и прибавил:

— Послушайте меня, приходите с охраной.

Надзиратель метнул на Мариуса такой взгляд, каким Вольтер подарил бы провинциального академика, подсажавшего ему рифму, и, рывком погрузив обе руки, обе свои огромные лапищи, в бездонные карманы каррика, вытащил оттуда два стальных пистолетика, из тех, что называются карманными пистолетами. Протянув их Мариусу, он заговорил быстро, короткими фразами:

— Возьмите. Отправляйтесь домой. Спрячьтесь у себя в комнате. Пусть думают, что вы ушли. Они заряжены. В каждом по две пули. Наблюдайте. Вы мне говорили, в стене есть щель. Пусть соберутся. Не мешайте им сначала. Когда сочтете, что время пришло и пора кончать, стреляйте. Только не спешите. Остальное предоставьте мне. Стреляйте в воздух, в потолок — безразлично куда. Но главное — не спешите. Выждите. Пусть они приступят к делу, вы — адвокат, вы понимаете, как это важно.

Мариус взял пистолеты и положил их в боковой карман сюртука.

— Очень топорщится, сразу заметно. Уж лучше суньте их в жилетные карманы, — сказал надзиратель.

Мариус спрятал пистолеты в жилетные карманы.

— А теперь, — продолжал надзиратель, — нам нельзя терять ни минуты. Посмотрим, который час. Половина третьего. Сбор в семь?

— К шести, — ответил Мариус.

— Время у меня есть, — сказал надзиратель, — а всего остального еще нет. Не забудьте ни слова из того, что я вам сказал. Паф! Один пистолетный выстрел.

— Будьте покойны, — ответил Мариус.

И когда Мариус взялся за дверную ручку, собираясь выйти, надзиратель крикнул:

— Кстати, если я вам понадобится раньше, приходите или пришлите сюда. Спросите полицейского надзирателя Жавера.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Жондрет делает закупки

Немного погодя, часов около трех, Курфейрак случайно проходил по улице Муфтар вместе с Боссюэ. Снег падал все гуще и засыпал все кругом.

— Посмотришь на падающие хлопья, и кажется, что в небесах пошел мор на белых бабочек, — начал было Боссюэ, обращаясь к Курфейраку, как вдруг заметил Мариуса, который поднимался вверх по улице, к заставе, и имел какой-то совершенно необычный вид.

— Смотри-ка! Мариус! — воскликнул Боссюэ.

— Вижу, — сказал Курфейрак. — Только не стоит с ним заговаривать.

— Почему?

— Он занят.

— Чем?

— Разве ты не видишь, какое у него выражение лица?

— Какое же?

— Да такое, будто он кого-то выслеживает.

— Верно, — согласился Боссюэ.

— А какие глаза сделал, взгляни только! — заметил Курфейрак.

— Какого же чорта он выслеживает?

— Какой-нибудь помпончик-бутончик-чепчик-с-цветочком! Он влюблен.

— Но я что-то не вижу на улице ни помпончика, ни бутончика, ни чепчика с цветочком, — заметил Боссюэ. — Словом, ни одной девицы.

Курфейрак посмотрел и воскликнул:

— Он выслеживает мужчину!

В самом деле, впереди Мариуса, шагах в двадцати, шел мужчина в фуражке; и хотя они видели только его спину, сбоку можно было различить его седоватую бороду.

На нем был новый, но непомерно большой для его роста редингот и ужаснейшие рваные брюки, побуревшие от грязи.

Боссюэ расхохотался.

— Это еще что за тип, а?

— Поэт, — заявил Курфейрак, — безусловно поэт! Они с одинаковым удовольствием щеголяют и в штанах торговцев кроличьими шкурками и в рединготах пэров Франции.

— Давай посмотрим, куда направится Мариус и куда этот человек, — предложил Боссюэ. — Выследим их, идет?

— О Боссюэ! — воскликнул Курфейрак. — Орел из Мо! Следить за тем, кто сам кого-то выслеживает! Вы просто осел!

Они повернули обратно.

И в самом деле, Мариус, увидев на улице Муфтар Жондрета, стал за ним следить.

Жондрет шел впереди, не подозревая, что уже взят на мушку.

Он свернул с улицы Муфтар, и Мариус заметил, как он вошел в один из самых дрянных домишек на улице Грасьез, пробыл там с четверть часа и вернулся на улицу Муфтар. Затем он задержался в скобяной лавке, что в ту пору помещалась на углу улицы Пьер-Ломбар, а через несколько минут Мариус увидел, как он выходит из лавки с большим, насаженным на деревянную ручку долотом, которое он тут же спрятал под своим рединготом. Дойдя до улицы Пти-Жантильи, он свернул влево и быстро достиг Малой Банкирской улицы. День склонялся к вечеру, снег, на минуту было прекратившийся, пошел снова. Мариус засел в засаду на углу Малой Банкирской улицы, как всегда безлюдной, и за Жондретом не последовал. И хорошо сделал, ибо, поровнявшись с той низкой стеной, где Мариус подслушал разговор лохматого и бородатого, Жондрет обернулся и, удостоверившись, что за ним никто не идет и никто его не видит, перешагнул через стену и скрылся.

Пустырь, обнесенный этой стеной, примыкал к задворкам дома бывшего каретника, пользовавшегося дурной славой. Когда-то он отдавал внаем экипажи, а потом обанкротился, но под навесами у него все еще стояло несколько ветхих тарантасов.

Мариус подумал, что благоразумнее всего, воспользовавшись отсутствием Жондрета, вернуться домой; к тому же время шло к ночи; по вечерам мамаша Бюргон, уходя в город мыть посуду, имела обыкновение запирасть входную дверь, — и с наступлением сумерек она всегда бывала на замке; Мариус отдал свой ключ полицейскому надзирателю, следовательно надо было поторапливаться.

Наступил вечер, почти совсем стемнело: и на горизонте и на всем необъятном небесном пространстве осталась лишь одна озаренная солнцем точка — то была луна.

Красный диск ее всплывал из-за низкого купола больницы Сальпетриер.

Мариус быстрым шагом направился к дому № 50/52. Когда он пришел, дверь оказалась еще открытой. Он поднялся на цыпочках по лестнице и прокрался по стенке, через коридор, в свою комнату. По обеим сторонам коридора, как известно читателю, были расположены каморки, все они тогда были не заняты и сдавались внаем. Двери в них мамаша Бюргон обычно оставляла открытыми настежь. Когда Мариус пробирался мимо одной из этих дверей, ему показалось, что в нежилой комнате перед ним промелькнули головы четырех неподвижно стоявших мужчин, смутно освещенные угасающим дневным светом, который проникал сквозь чердачное окно. Мариус не пытался их разглядеть, не желая, чтобы его увидели. Ему удалось незаметно и бесшумно войти к себе в комнату. Он пришел во-время. Через минуту он услышал, как вышла мамаша Бюргон и как закрылась входная дверь.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ,

в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году

Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяли его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах, — так в темноте слышится тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готови-

лось в эту минуту под прикрытием темноты: с одной стороны приближалось злодейство, с другой — надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием из ряда вон выходящим, ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара.

Снег перестал; луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, смешиваясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату какой-то сумеречной мглой.

В лачуге Жондретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым.

Было очевидно, что этот луч — не от свечи. Между тем из комнаты Жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздоха, — там царила леденящая глухая тишина, и не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп.

Мариус тихонько снял ботинки и задвинул их под кровать.

Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула в петлях дверь, и Мариус услышал шум грузных шагов, поспешно протопавших по лестнице и пробежавших по коридору; со стуком приподнялась дверная щеколда: то вернулся Жондрет.

Сразу же раздалось несколько голосов. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствие хозяина все притихли, словно волчата в отсутствие волка.

— Вот и я, — сказал Жондрет.

— Добрый вечер, папочка! — завизжали дочери.

— Ну как? — спросила жена.

— Помаленьку, — отвечал Жондрет, — но я прозяб, как пес, ноги окоченели. Ага, ты приделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие.

— Я готова, могу идти.

— Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал? Все сделаешь, как надо?

— Будь спокоен.

— Дело в том... — сказал Жондрет. И не закончил фразу.

Мариус услышал, как он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности купленное им долото.

— Кстати, вы уже поели? — спросил Жондрет.

— Да, — ответила жена. — У меня были три больших картофелины и соль. Я их испекла, — спасибо, огонь еще был.

— Отлично, — сказал Жондрет. — Завтра поведу всех вас обедать. Закажем утку и всякую всячину. Пообедаете по-королевски, не хуже Карла Десятого. Все идет как нельзя лучше!

Потом добавил, понизив голос:

— Мышеловка открыта. Коты начеку.

И еще тише:

— Сунь-ка это в огонь.

Мариус услышал, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом, а Жондрет продолжал:

— Дверные петли смазала, чтобы не скрипели?

— Да, — ответила жена.

— Который теперь час?

— Скоро шесть. Недавно пробило полшестого на Сен-Медаре.

— Чорт возьми! — произнес Жондрет. — Девчонкам пора идти караулить. Эй, вы, идите-ка сюда, слушайте.

Они зашущукались.

Потом снова послышался громкий голос Жондрета:

— Бюргонша ушла?

— Да, — ответила жена.

— Ты уверена, что у соседа никого нет?

— Он с утра не возвращался, и ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает.

— Ты в этом уверена?

— Уверена.

— Все равно, — сказал Жондрет, — невредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда.

Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать.

Едва успел он там свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях показался свет.

— Па-ап, его нет! — раздалось в коридоре.

Мариус узнал голос старшей дочери Жондрета.

— Ты входила в комнату? — спросил отец.

— Нет, — ответила дочь, — но раз ключ в дверях, значит он ушел.

— А все-таки войди, — крикнул отец.

Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещении казалась еще ужаснее.

Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неопишуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился лязг каких-то передвигаемых железных предметов.

Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом:

Семь или восемь дней пылал огонь сердечный,
И, право, стоило, чтоб он и впредь не гас!
Ах, если бы любовь могла быть вечной, вечной!
Но счастье лишь блеснет и покидает нас.

Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхания.

Она приблизилась к окошку и, окинув взглядом улицу, с обычным своим полубезумным видом громко проговорила:

— Надел Париж белую рубаху и стал уродиной!

Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль.

— Ну что же ты? — закричал отец. — Куда запропастилась?

— Сейчас! Смотрю под кроватью и под другой мебелью, — отвечала она, взбивая волосы. — Никого.

— Дуреха! — заревел отец. — Сейчас же сюда! Нечего время терять.

— Иду! Иду! Им вечно некогда! — сказала она и стала напевать:

Вы бросили меня, ушли дорогой славы,
Но сердцем горестным везде я там, где вы...

Кинув прощальный взгляд в зеркало, она вышла, закрыв за собою дверь.

А через минуту Мариус слышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам:

— Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой — угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома, и как что-нибудь заметите, сейчас же сюда! Пулей! Ключ от входной двери у вас с собой.

Старшая проворчала:

— Попробуй, покарауль босиком на снегу!

— Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки! — сказал отец.

Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук захлопнувшейся внизу двери оповестил о том, что они вышли.

В доме остались только Мариус и чета Жондретов да, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме, за дверью пустующей каморки.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса

Мариус решил, что наступило время вернуться на свой наблюдательный пост. В одно мгновение, со всем проворством, свойственным его возрасту, он очутился у щели в перегородке.

Он заглянул внутрь.

Жилье Жондретов представляло необыкновенное зрелище, и Мариус нашел, наконец, объяснение проникавшему оттуда странному свету. Там горела свеча в позеленевшем медном подсвечнике, но не она освещала чердак. Вся берлога была как бы озарена огнем большой железной жаровни, поставленной в камин и полной горящих угольев, — той самой жаровни, которую раздобыла утром жена Жондрета. Угли пылали, и жаровня раскалилась докрасна; там плясало синее пламя вокруг купленного Жондретом на улице Пьер-Ломбар долота, которое было теперь воткнуто в уголья и побагровело от накала. В углу возле дверей виднелись две груды каких-то предметов, вероятно положенных здесь неспроста: одна была похожа на связку веревок, другая на кучу железного лома. Человека, не посвященного в то, что здесь замыш-

лялось, эта картина заставила бы колебаться между самыми зловещими и самыми безобидными предположениями. Освещенная таким образом комната напоминала скорее кузницу, чем адское пекло, зато Жондрет при таком освещении смахивал больше на дьявола, чем на кузнеца.

От углей шел такой жар, что горевшая на столе свеча таяла со стороны, обращенной к жаровне, оплывая с одного края. На камине стоял старый медный потайной фонарь, достойный Диогена, обернувшегося Картушем.

Чад от жаровни, поставленной в самый очаг между тлеющих головешек, уходил в каминную трубу, и в комнате не чувствовалось его запаха.

Проникая сквозь оконные стекла, луна посылала свои бледные лучи в это пылающее пурпуром логово, и поэтическому воображению Мариуса, который оставался мечтателем даже тогда, когда нужно было действовать, они представлялись как бы небесной грезой, залетевшей в безобразные земные сны.

Ветер, врываясь через разбитое окно, в свою очередь рассеивал чад и помогал, таким образом, скрывать присутствие жаровни.

Берлога Жондрета, если читатель припомнит то, что мы говорили о лачуге Горбо, являлась самой прекрасной ареной для темного, кровавого дела и надежным местом для сокрытия преступления. Это была самая глухая комната в самом уединенном доме на самом безлюдном бульваре Парижа. Если бы не существовало на свете засад, то их изобрели бы там.

Вся толща стен и множество необитаемых помещений отделяло эту трущобу от бульвара, а единственное ее окно выходило на пустыри, обнесенные глухой стеной и заборами.

Жондрет разжег трубку, уселся на дырявый стул и задымил. Жена что-то говорила ему шопотом.

Если бы Мариус был Курфейраком, то есть принадлежал к той породе людей, которые смеются во всех случаях жизни, он расхохотался бы при виде супруги Жондрет. На ней была черная шляпа с перьями, весьма напоминавшая головные уборы герольдов на коронации Карла X, широченная клетчатая шаль поверх вязаной

юбки и мужские башмаки — те самые, которыми утром побрезговала ее собственная дочь. Повидимому, этот наряд и заставил Жондрета воскликнуть: «Ага! Ты приоделась! Правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие!»

Что касается самого Жондрета, то на нем был все тот же новый, слишком просторный редингот, подаренный г-ном Белым, и в его костюме попрежнему поражало несоответствие между рединготом и панталонами, столь любезное, по мнению Курфейрака, сердцу поэта.

Вдруг Жондрет повысил голос:

— Кстати! Дай сообразить. Ведь по такой погоде он, пожалуй, придет в фиакре. Бери-ка фонарь, зажги и спускайся вниз. Станешь там за дверью. Как только услышишь, что подъехала карета, живо отвори; пока он подыметя, ты посветишь ему на лестнице и в коридоре, а как только проводишь сюда, опять спустишься бегом, рассчитайся с кучером и отошли его.

— А деньги где? — спросила жена.

Жондрет пошарил в карманах штанов и протянул ей пять франков.

— Это еще откуда? — воскликнула она.

Жондрет степенно ответил:

— Тот лобанчик, что дал утром сосед. — Потом прибавил: — Знаешь что? Надо бы принести сюда два стула.

— Зачем?

— Чтобы было на чем сидеть.

У Мариуса пробежал по коже мороз, когда он услышал спокойный ответ тетки Жондрет:

— Ну ладно! Пойду приволоку их от соседа.

Она быстро отворила дверь и вышла в коридор.

Мариусу нехватило даже времени соскочить с комода, добраться до кровати и спрятаться.

— Возьми свечу! — крикнул Жондрет вдогонку.

— Не надо, — сказала она, — только помешает, ведь мне два стула тащить. От луны и так светло.

Мариус услышал, как тяжелая рука тетки Жондрет ощупью искала в темноте ключ. Дверь распахнулась. Он застыл, словно пригвожденный к месту неожиданностью и страхом.

Тетка Жондрет вошла в комнату.

Сквозь чердачное окно пробивался узкий лунный луч,

разрезавший тьму как бы на два полотнища. Одно из этих широких полотнищ тьмы целиком закрывало стену, к которой прислонился Мариус, и его не было видно.

Тетка Жондрет подняла глаза, не заметила никого, взяла оба стула, единственную мебель Мариуса, и вышла, оглушительно хлопнув дверью.

Она вернулась в свою конуру.

— Вот тебе стулья.

— А вот и фонарь, — сказал муж. — Спускайся, живо.

Она поспешно вышла, и Жондрет остался один.

Он поставил стулья по обеим сторонам стола, перевернул долото в угольях, придвинул к камину старые ширмы, загородив ими жаровню, затем направился в угол, где лежала груда веревок, и нагнулся над ней, что-то разглядывая. То, что Мариус принял было за бесформенную кучу хлама, оказалось прекрасно сложенной веревочной лестницей с деревянными перекладинами и двумя крючьями.

Ни этой лестницы, ни этих похожих на железные бруски тяжелых инструментов, добавленных к груде железного лома за дверью, не было утром в лачуге Жондрета, очевидно он принес их днем, во время отсутствия Мариуса.

«Это кузнечные инструменты», — подумал Мариус.

Если бы Мариус немного лучше разбирался в таких вещах, то понял бы, что он принимал за кузнечную снасть особый набор для отмычки замков или взлома дверей, а также колющие и режущие инструменты — два типа зловещих орудий, известных у воров под названием «жало» и «резь».

Камин и стол с двумя стульями находились как раз напротив Мариуса. Жаровня была заставлена ширмой, и комната освещалась только свечой; от малейшего черепка, валявшегося на столе или на камине, ложились длинные тени. Кувшин с отбитым горлышком затенял полстены. Комната застыла в каком-то жутком и зловещем покое. В воздухе нависло ожидание чего-то страшного.

Жондрет дал своей трубке погаснуть — верный признак озабоченности — и снова уселся к столу. При пламени свечи отчетливо выступили острые, хищные черты его лица. По временам он хмурил брови и резко

взмахивал правой рукой, как бы возражая на какие-то последние доводы мрачного внутреннего голоса. При одной из таких угрюмых реплик, обращенных к самому себе, он быстро выдвинул ящик стола, вытащил длинный кухонный нож, спрятанный там, и попробовал на ногте острие. Потом, сунув нож обратно, задвинул ящик.

Мариус в свою очередь нащупал пистолет в правом жилетном кармане, вытащил его и взвел курок.

Пистолет издал при этом отчетливый сухой треск.

Жондрет вздрогнул и привстал со стула.

— Кто там? — крикнул он.

Мариус затаил дыхание. Жондрет прислушивался с минуту, затем проговорил смеясь:

— Ну и болван же я! Это трещит перегородка.

Мариус зажал пистолет в руке.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Два стула Мариуса ставятся один против другого

Внезапно стекла задребезжали от унылого отдаленного звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов.

Жондрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда отзвонил шестой, он снял пальцами нагар со свечи.

Затем он принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. «Только бы не надул!» — пробормотал он, возвращаясь на свое место.

Не успел он сесть, как дверь отворилась.

Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь отвратительной льстивой гримасой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу, сквозь одну из щелей потайного фонаря.

— Милости просим, сударь, — сказала она.

— Милости просим, благодетель вы наш, — подхватил Жондрет, поспешно вскакивая.

Появился г-н Белый.

Его лицо выражало ясное спокойствие, невольное внушающее почтение.

Он положил на стол четыре золотых.

— Господин Фабанту, — проговорил он, — вот вам на квартиру и на самые неотложные расходы. А дальше будет видно.

— Да вознаградит вас господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тихо сказал:

— Отошли фиакр.

Покуда ее муж расточал поклоны и пододвигал стул г-ну Белому, она незаметно скрылась. Вернувшись через минуту, она шепнула ему на ухо:

— Готово!

Снег шел с утра не переставая и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал ни как подкатил, ни как отъехал фиакр.

Тем временем г-н Белый уселся.

Жондрет пристроился на другом стуле, напротив него.

Теперь, чтобы лучше представить себе то, что сейчас последует, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белеющие в лунном свете, словно огромные саваны; там и сям огоньки уличных фонарей, бросающие красный отсвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов; глухое безлюдье, быть может на четверть мили вокруг; лачугу Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака, а в этой лачуге, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе — двух людей, сидящих за одним столом: г-на Белого, сохраняющего невозмутимый вид, и ухмыляющегося страшного Жондрета, в углу — старую волчицу Жондрет, а за перегородкой — невидимого Мариуса, не упускающего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке.

Впрочем, Мариус не испытывал ни малейшего страха; им владело одно лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодя, как только сочту нужным», — думал он.

Он знал, что полиция где-то близко, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника.

Помимо всего, он надеялся, что трагическое столкновение г-на Белого с Жондретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Остерегайтесь темных углов

Не успел г-н Белый сесть, как тотчас же, окинув взглядом убогие кровати, на которых теперь никто не лежал, спросил:

— Как себя чувствует бедное раненое дитя?

— Плохо, — отвечал Жондрет с горькой и признательной улыбкой, — очень плохо, сударь. Старшая сестра повела ее в больницу Бурб на перевязку. Вы их увидите, они сейчас вернутся.

— А госпоже Фабанту как будто лучше? — продолжал г-н Белый, рассматривая причудливый наряд тетки Жондрет, которая, стоя перед дверью, словно она уже сторожила выход, уставилась на него с угрожающим, чуть ли не воинственным видом.

— Она смертельно больна, — заявил Жондрет. — Но что поделаешь, сударь? У нее столько мужества, у бедняжки! Это просто не женщина, а бык.

Супруга Жондрета, растроганная комплиментом, воскликнула с жеманством чудовища, которому польстили:

— Ты слишком добр ко мне, голубчик Жондрет!

— Жондрет? — удивился г-н Белый. — Я полагал, что вас зовут Фабанту?

— Фабанту, а по сцене — Жондрет, — живо нашелся муж. — Псевдоним артиста.

И, взглянув на супругу, он пожал плечами, но так, чтобы не заметил г-н Белый, затем снова затянул слащавым, воркующим голосом:

— Мы с моей бедной женушкой всегда жили душа в душу! Что бы у нас оставалось, не будь этого утешения? Мы так несчастны, сударь. Руки есть, а работы нет. Душа горит, а заняться нечем. Я не знаю, о чем думает правительство, но, честное слово, сударь, я не якобинец, не какой-нибудь горлопан республиканец, я не против властей, но если бы посадили меня вместо министров — честное благородное слово, все пошло бы по-другому. Вот я, к примеру, послал дочек обучаться картонажному ремеслу. Вы скажете: «Как, ремеслу?» Да, ремеслу, грубому ремеслу, чтобы иметь на кусок хлеба. Видите, до чего мы докатились, мой благодетель! До какого унижения! И это после того, кем мы были! Увы, у нас ничего не осталось

от прежнего благополучия. Ничего, кроме одной единственной вещи, кроме картины; но как ни дорожу я этой картиной, а придется ее спустить, ведь жить-то надо! Что ни говори, а жить надо!

Пока Жондрет разглагольствовал с какой-то нарочитой бессвязностью, что нисколько не отвечало настороженному и сосредоточенному выражению его лица, Мариус поднял глаза и увидел в углу комнаты какого-то мужчину, которого до сих пор не замечал. Человек, должно быть, недавно вошел, и так тихо, что даже не было слышно скрипа дверных петель. На нем была лиловая вязаная фуфайка, старая, заношенная, грязная, изодранная и вся зияющая прорехами, широкие плисовые штаны и грубые носки; он был без рубашки, с голой шеей, голыми татуированными руками и с лицом, вымазанным сажей. Скрестив руки, он молча уселся на ближайшей кровати, позади тетки Жондрет, и таким образом его почти не было видно.

Повинуясь какой-то внутренней магнетической силе, которая направляет наш взгляд, г-н Белый невольно посмотрел в угол почти одновременно с Мариусом. Он не мог удержаться от удивленного жеста, что сразу заметил Жондрет.

— Ага, понимаю, — с особой предупредительностью воскликнул Жондрет, застегивая на себе пуговицы, — вы изволите глядеть на ваш редингот? Он идет мне! Ей-богу, очень идет!

— Что это за человек? — спросил г-н Белый.

— Это?.. — протянул Жондрет. — Это так, сосед. Не обращайтесь внимания.

Вид у соседа был странный. Но в предместье Сен-Марсо расположено несколько химических заводов. У многих фабричных рабочих бывают черные лица. Впрочем, вся наружность г-на Белого говорила о полном доверии, и в нем не чувствовалось и тени страха.

— Простите, о чем это вы начали говорить, господин Фабанту?

— Я говорил вам, мой дорогой покровитель, — подхватил Жондрет, облокотясь на стол и вперив в г-на Белого неподвижный и нежный взгляд, слегка напоминающий взгляд удава, — я говорил, что у меня продается картина.

Чуть скрипнула дверь. Вошел второй мужчина и уселся на постели, позади тетки Жондрет. У него, как и у первого, были голые руки и черное от сажи или чернил лицо.

Хотя этот человек в буквальном смысле слова проскользнул в комнату, г-н Белый все же заметил и его.

— Не беспокойтесь, — продолжал Жондрет, — это здешние жильцы. Итак, я говорил, что у меня сохранилась ценная картина... Вот, сударь, извольте поглядеть.

Он поднялся, подошел к стене, где стояла на полу уже упомянутая нами картина, и, повернув ее лицом, опять прислонил к стене. При слабом свете свечи это действительно казалось чем-то похожим на живопись. Однако, что изображала картина, Мариус не мог разобрать, так как Жондрет загораживал ее; он разглядел только грубую мазню и нечто вроде человеческой фигуры на переднем плане; все это было размалевано с кричащей яркостью балаганного занавеса или ширмы марионеточного театра.

— Что это такое? — спросил г-н Белый.

Жондрет воскликнул с восторгом:

— Произведение мастера, картина огромной ценности, благодетель! Я дорожу ею не меньше, чем своими дочерьми, она мне многое напоминает! Но я уже говорил вам и опять скажу: нужда заставляет, придется ее спустить.

Было ли это случайно, или потому, что он начал испытывать какое-то беспокойство, но г-н Белый, рассматривая картину, снова перевел взгляд в глубину комнаты. Там уже оказались четыре человека — трое сидели на кровати, один стоял у дверей; все четверо — с голыми руками, неподвижные, с лицами, вымазанными черным. Один из сидевших на кровати прижался к стене и закрыл глаза; могло показаться, что он спит. Это был старик, и его седые волосы над черным лицом производили страшное впечатление. Остальные двое казались молодыми. Один был бородатый, другой лохматый. Все они были разуты — кто в носках, кто босиком.

Жондрет заметил, что г-н Белый не спускает глаз с этих людей.

— Это друзья. Живут по соседству, — сказал он. — Они все чумазые, потому что копаются в саже. Эти ребята — трубочисты. Не стоит ими заниматься, благодетель,

вы лучше купите у меня картину. Сжальтесь над моей нищетой. Я вам недорого уступлю. Во сколько вы ее оцените?

— Но ведь это вывеска с какого-нибудь кабачка, ей цена не больше трех франков, — проговорил г-н Белый, пристально глядя в глаза Жондрета, с настороженным видом.

Жондрет ответил вкрадчиво:

— При вас ли ваш бумажник? С меня довольно будет тысячи экю.

Господин Белый встал во весь рост, прислонился к стене и быстро окинул взглядом комнату. Слева от него, между ним и окном, находился Жондрет, справа, между ним и дверью, жена Жондрета и четверо мужчин. Все четверо не шевелились и как будто даже не замечали его. Жондрет снова жалобно забубнил таким плаксивым голосом и глядел таким блуждающим взглядом, что г-н Белый мог подумать, будто нищета, которую он видел перед собой, и впрямь помутила рассудок этого человека.

— Если вы не купите у меня картину, дорогой благодетель, — продолжал ныть Жондрет, — я совсем пропал, мне останется одно: броситься в воду. Подумать только, ведь я мечтал обучить дочек художественному картонажу, оклеиванию коробок для новогодних подарков. Не тут-то было! Оказывается, для этого нужен верстак с бортом, чтобы стекла не падали на пол, нужна печь по особому заказу, посудина с тремя отделениями для разных сортов клея: погуще — для дерева, пожиже — для бумаги или для материи; нужен резак для заготовки картона, колodka, чтобы прилаживать его, молоток — заколачивать скрепки, еще кисти и еще всякая чертовщина; почему я знаю, что еще? И все для того, чтобы заработать четыре су в день! А корпеть над ними четырнадцать часов. И каждую коробку раз по тринадцать брать в руки. Да смазывать бумагу, да нигде не насажать пятен, да разогревать клей. Проклятая работа, говорят вам! И за все — четыре су в день! Ну, разве на это проживешь?

Причитая так, Жондрет не глядел на г-на Белого, а тот пристально его рассматривал. Глаза г-на Белого были устремлены на Жондрета, а глаза Жондрета на дверь. Мариус с напряженным вниманием следил за ними

обоими. Г-н Белый, казалось, спрашивал себя: «Не умышленный ли это?» Жондрет несколько раз и на разные лады повторил тягучим, умоляющим голосом: «Мне остается одно: броситься в воду. Я уже недавно спустился было на три ступеньки у Аустерлицкого моста!»

Вдруг его мутные глаза вспыхнули отвратительным блеском, этот низкорослый человечек выпрямился и стал страшен; он шагнул навстречу г-ну Белому и крикнул громовым голосом:

— Все это вздор, не в том дело! Узнаете вы меня?

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Западня

Дверь логова Жондрета внезапно распахнулась, и в ней показались трое мужчин в синих холщовых блузах и черных бумажных масках. Один, очень худой, держал в руке длинную дубину, окованную железом; другой, рослый детина, нес за топориче, обухом вниз, топор, какой употребляют для убоя быков; третий, широкоплечий, не такой худой, как первый, но и не такой плотный, как второй, сжимал в кулаке огромный ключ, вероятно украденный в тюрьме от какой-нибудь двери.

Жондрет, видимо, только и ждал этих людей. Между ним и человеком с дубиной тотчас завязался торопливый диалог.

— Все готово? — спросил Жондрет.

— Все, — отвечал тот.

— А где Монпарнас?

— Первый любовник остановился поболтать с твоей дочкой.

— С которой?

— Со старшей.

— Фиакр стоит внизу?

— Стоит.

— А повозка запряжена?

— Да.

— А пару заложили хорошую?

— Отличную.

— Они ждут, где я велел?

— Да.

— Ну хорошо, — сказал Жондрет.

Господин Белый был очень бледен. Он внимательно и спокойно осматривал все вокруг себя, с видом человека, который понимает, куда он попал, и медленно и удивленно поворачивал голову, вглядываясь по очереди в каждого из окружавших его людей. Однако ни малейшего признака испуга не было на его лице. Стоя позади стола, он воспользовался им как заграждением; этот человек, за минуту до того казавшийся лишь добродушным стариком, вдруг превратился в настоящего богатыря, и движение, которым он опустил свой могучий кулак на спинку стула, дышало угрозой и неожиданной силой.

Этот старик, так стойко и мужественно державшийся перед лицом подобной опасности, принадлежал, повидимому, к числу тех натур, для которых быть храбрыми так же естественно и просто, как быть добрыми. Отец любимой женщины никогда не остается нам совсем чужим. Мариус испытывал гордость за незнакомца.

Между тем трое мужчин с голыми руками, про которых Жондрет сказал: «это трубочисты», вытащили из кучи железного лома: один — громадные ножницы для резки металла, другой — тяжелый лом, третий — молоток и, не проронив ни слова, молча стали в дверях. Старик, дремавший на постели, не тронулся с места и только открыл глаза. Тетка Жондрет уселась подле него.

Мариус решил, что момент для вмешательства наступает, и, подняв правую руку с пистолетом, приготовился стрелять вверх, в сторону коридора.

Жондрет, закончив беседу с человеком, вооруженным дубиной, снова обратился к г-ну Белому и повторил прежний вопрос, сопровождая его своим коротким, негромким и в то же время зловещим смешком.

— Итак, вы меня не узнаете?

— Нет, — ответил г-н Белый, глядя ему прямо в глаза.

Тогда Жондрет подошел вплотную к столу. Наклонившись над свечой, скрестив руки и подавшись насколько можно вперед, он приблизил к спокойному лицу г-на Белого, который при этом даже не пошевелился, свои угловатые свирепые челюсти и, застыв в этой позе дикого зверя, приготовившегося укусить, крикнул:

— Я не Фабанту, не Жондрет, я — Тенардье! Я трактирщик из Монфермейля! Слышите? Тенардье! Теперь узнаете меня?

Легкая краска залила лицо г-на Белого, но он сохранил обычную свою невозмутимость и ответил, нисколько не повышая голоса и без малейшей в нем дрожи:

— Не более, чем прежде.

Мариус не расслышал этого ответа. Если бы не темнота, можно было бы видеть, как он растерян, ошеломлен и поражен. Он весь задрожал, когда Жондрет произнес: «Я Тенардье», и прислонился к стене с таким ощущением, будто холодный клинок шпаги пронзил его сердце. Затем его правая рука, готовая уже было дать условный выстрел, медленно опустилась, и в то мгновение, когда Жондрет повторил: «Слышите? Тенардье!», ослабевшие пальцы Мариуса едва не выронили пистолет. Жондрет, открыв, кто он, ничуть не встревожил этим г-на Белого, но глубоко потряс Мариуса. Имя Тенардье, повидимому, совсем незнакомое г-ну Белому, было хорошо известно Мариусу. Вспомним, что оно означало для него. Это имя, вписанное в отцовское завещание, Мариус носил у сердца, хранил в сокровенных своих мыслях, в глубинах памяти, запечатлевшей строки священного поручения, гласившего: «Один человек, по имени Тенардье, спас мне жизнь. Если моему сыну случится встретиться с ним, пусть он сделает для него все, что может!»

Имя это, как, вероятно, помнит читатель, являлось одной из святынь Мариуса; он боготворил его наравне с именем отца. Неужели это и есть тот самый Тенардье, тот самый монфермейльский трактирщик, которого он так долго и так тщетно разыскивал? Но вот, наконец, он нашел его! И что же! Спаситель отца был разбойником! Человек, которому он, Мариус, горел желанием доказать свою преданность, был чудовищем! Избавитель полковника Понмерси собирался совершить тяжкое преступление, — какое именно, Мариус затруднился бы точно определить, но то, что он видел, походило на замышляющееся убийство! И кого замыслили убить, боже милосердный! Какая роковая случайность! Какая горькая насмешка судьбы! Отец из глубины могилы приказывал ему сделать для Тенардье все, что он может; в продолжение четырех лет Мариус жил одной мыслью — как бы заплатить отцов-

ский долг; и вот, в ту самую минуту, когда он хочет помочь правосудию задержать разбойника на месте преступления, судьба кричит ему: «Это Тенардье!» Наконец-то расплатится он с этим человеком за жизнь отца, спасенную под градом пуль в героической битве при Ватерлоо. Но чем? Эшафотом! Он дал себе слово при встрече с Тенардье, если только этой встрече суждено произойти, броситься к его ногам. И вот он встретился с ним, но затем, чтобы выдать палачу! Отец говорил: «Помоги Тенардье!» А он, в ответ на призыв обожаемого, священного голоса, погубит Тенардье! Пусть отец из могилы любит, как на площади Сен-Жак будут казнить человека, с опасностью для жизни вырвавшего его у смерти, — казнить по милости его сына, того самого Мариуса, которому он завещал заботиться об этом человеке! И разве не насмешка над самим собой — так долго носить на груди последнюю волю отца, собственноручно им написанную, чтобы потом самым кощунственным образом поступить вопреки ей! Но, с другой стороны, можно ли видеть, как затевается злодеяние, и не помешать ему? Неужели нужно предать жертву и пощадить убийцу? Можно ли считать себя обязанным какой-либо признательностью к столь презренному негодяю? Этот неожиданный удар произвел, можно сказать, полный переворот в мыслях Мариуса, которыми он жил в течение четырех лет. Его охватил ужас. Все зависело теперь только от него. Он держал в руках судьбу всех этих людей, которые, ничего не подозревая, суетились тут перед ним. Если он выстрелит, то спасет г-на Белого и погубит Тенардье; если не станет стрелять, г-н Белый окажется жертвой, а Тенардье, быть может, и ускользнет. Столкнуть ли в пропасть одного, не мешать ли падению другого? Совесть восставала против обоих решений. Как же быть? На чем остановиться? Изменить ли самым властным воспоминаниям, самым глубоким обязательствам перед самим собой, самому священному долгу, самым святым письменам? Изменить ли заветам отца, или дать совершиться преступлению? Мариусу казалось, что с одной стороны он слышит голос «своей Урсулы», умолявшей за отца, с другой — голос полковника, преноручающего ему Тенардье. Он чувствовал, что сходит с ума. У него подкашивались колени, а сцена, происходившая перед его глазами, разыгрывалась с такой бешеной

стремительностью, что раздумывать было некогда. Его, словно вихрем, закружили события, которыми ранее он предполагал распоряжаться. Он почти терял сознание.

Между тем Тенардье, — впредь мы уже не будем называть его иначе, — в каком-то иступлении расхаживал взад и вперед у стола, предаваясь буйному ликованию.

Схватив всей пятерней подсвечник, он с такой силой опустил его на камин, что свеча едва не погасла, а сало брызнуло на стену.

Затем с угрожающим видом он повернулся к г-ну Белому и зарычал:

— Проигрались, промотались, проторговались! В лоск!

И снова принялся шагать, выкрикивая, как одержимый:

— Ага, наконец-то вы мне попались, господин филантроп! Господин нищий миллионщик! Господин даритель кукол! Старый разиня! Так вы меня не узнаете? Значит, это не вы приходили ко мне в трактир в Монфермейле восемь лет тому назад, в сочельник тысяча восемьсот двадцать третьего года? Не вы увели с собой ребенка Фантины, Жаворонка? Значит, не на вас был желтый редингот? Скажете — нет? И не у вас был в руках сверток с тряпьем, точь-в-точь как нынче утром, когда вы явились сюда? Нет, ты только послушай, жена! Видно, такая уж у него придурь — таскать по домам свертки, набитые шерстяными чулками! Тоже, благодетель нашелся! Не чулочная ли у вас торговля случайно, господин миллионщик? Вы раздаете, стало быть, все запасы товара из своей лавки беднякам, святоша?! Шут вы гороховый! Так вы меня не узнаете? Зато я узнаю! Я вас сразу узнал, только вы сунули сюда свое рыло. Теперь-то, наконец, вы увидите, что не всегда проходит даром забираться в приличные дома, под предлогом, что это, мол, трактир, и жалким своим платьем и нищим видом, с каким только гроши собирают, морочить порядочных людей, прикидываться щедрым, отнимать у человека его заработок да еще потом стращать в лесу. Вы увидите, что, разорив людей, от них не отделаться рединготом со своего плеча да двумя дрянными больничными одеялами! У-у, старый бродяга, похититель детей!

Он на минуту остановился, казалось, что-то бормоча про себя. Его гнев напоминал бурное течение Роны, вдруг

исчезающее в какой-нибудь расщелине; затем, словно заканчивая вслух разговор с самим собой, он стукнул по столу кулаком и воскликнул:

— Да при этом еще корчить праведника!

И снова обратился к г-ну Белому:

— Когда-то вы надо мной насмеялись, провались вы пропадом! Вы причина всех моих несчастий! За полторы тысячи франков вы получили девчонку, что жила у меня, а она была, наверно, из богатого семейства. Я уже успел нажить на ней изрядные денежки и мог бы вытянуть еще столько, что хватило бы по гроб жизни! Девчонка покрыла бы все убытки от проклятого этого кабака, на котором, чорта с два, попробуй заработай и на который я ухлопал, как дурак, все свое добро! Эх, от души желаю, чтобы вино, выпитое там у меня, превратилось в яд для тех, кто его пил! Ну, да не об этом речь. Признайтесь, я вам казался очень смешным, когда вы ушли от меня, забрав с собой Жаворонка! В лесу при вас была дубинка. Тогда на вашей стороне была сила. Теперь моя взяла. Теперь козыри у меня! Дело ваше дрянь, старина. Право, меня смех разбирает, на него глядя! Простофиля! Я ему наплел, будто я актер, зовусь Фабанту, будто играл в комедиях с мадмуазель Марс, — подумайте только, с самой мадмуазель Шептуньей! — будто домовладелец требует с меня завтра, четвертого февраля, за квартиру, а ему, круглому болвану, и невдомек, что срок платежа бывает восьмого января, а никак не четвертого февраля! Он тащит мне свои поганые четыре монеты, подлец! Духу не хватило даже на сто франков раскошелиться! Уши разве-сил, слушая мою чепуху! Умора! А я про себя думал: «Врешь, не уйдешь, ворона! Не смотри, что утром я лижу тебе лапы. Наступит вечер, вгрызусь тебе в сердце!»

Тенардые умолк. Он задыхался. Его щуплая, узкая грудь ходила ходуном, раздуваясь, как кузнечные мехи. В глазах его светилось гаденькое счастье слабого, жестокого и подлого существа, радующегося, что наконец-то оно может угрожать тому, кого боялось, и оскорблять того, кому льстило, — счастье, с каким карлик попирает бы голову Голиафа, счастье, с каким шакал терзал бы больного, полумертвого быка, уже неспособного защищаться, но еще способного страдать.

Господин Белый не прерывал Тенардые. Когда же тот замолчал, он проговорил:

— Я не понимаю, что вы хотите сказать. Вы заблуждаетесь. Я человек очень бедный и какой уж там миллионер. Я вас не знаю. Вы меня принимаете за кого-то другого.

— Ага! — захрипел Тенардые. — Старая песня! Продолжаете в том же духе! Совсем заврались, старина! Ага, вы меня не помните? Не видите, кто я?

— Прошу извинения, сударь, — ответил г-н Белый вежливым тоном, прозвучавшим в такую минуту необычно и внушительно, — я вижу, что вы бандит.

Кому не доводилось замечать, что даже самые мерзкие люди по-своему самолюбивы; чудовища не лишены чувствительности. При слове «бандит» жена Тенардые соскочила с постели, а сам он с такой силой схватил стул, словно намеревался изломать его в щепки. «Эй ты, не суйся!» — крикнул он жене и, повернувшись к г-ну Белому, разразился следующей тирадой:

— Бандит! Да, я знаю, что вы, господа богачи, так нас именуете. Ничего не скажешь, правильно! Если я разорился, скрываюсь, сижу без куска хлеба, без гроша, — значит, бандит! Вот уже три дня, как у меня во рту крошки не было. Конечно, я бандит! Зато у всех вас ноги в тепле, на вас сапожки от Саковского, рединготы, подбитые ватой, как на архиепископах; вы квартируете в бельэтажах, в домах с привратниками, кушаете трюфели, лакомитесь спаржей в январе, когда ей цена сорок франков пучок, да зеленым горошком, обжираетесь, а ежели захотите узнать, холодно ли на улице, справляетесь в газете, что показывает термометр инженера Шевалье. Ну, а наш брат — сам себе термометр! Нам нет надобности бегать на набережную к Часовой башне смотреть, сколько градусов мороза; мы чувствуем, как крозь стынет в жилах, как леденеет сердце, и говорим: «Нет бога». А вы изволите посещать наши трущобы, именно трущобы, и обзывать нас бандитами! Но мы вас съедем, проглотим, голубчиков! Так знайте же, господин миллионщик, я был человеком с положением, имел патент, был избирателем, я буржуа! А вот вы — еще неизвестно, кто вы такой!

Тут Тенардые подошел к людям, стоящим у двери, и, дрожа от гнева, добавил:

— Подумать только! Он осмелился разговаривать со мной так, точно перед ним какой-нибудь сапожник!

Затем, адресуясь к г-ну Белому, с еще большим бешенством продолжал:

— И запомните также, господин филантроп, что я не какая-нибудь подозрительная личность, не какой-нибудь безродный человек. Я не шляюсь по домам и не увожу детей! Я старый французский солдат, меня должны были представить к ордену! Я дрался при Ватерлоо, да, да! Я спас в этом сражении генерала, какого-то, сам уж не помню какого, графа. Он назвал мне свою фамилию, но голос у него чертовски ослабел, и я ее не расслышал. Я разобрал только *мерси*. Но мне важнее было его имя, чем его мерси. Оно помогло бы мне разыскать его. А знаете, кого изображает вот эта картина, написанная Давидом в Брюсселе? Меня. Давид пожелал увековечить сей воинский подвиг. Взвалив на спину генерала, я уношу его под картечью. Вот как обстояло дело. Он же ровно ничего никогда для меня не сделал, этот самый генерал, он был не лучше других! И все-таки я спас ему жизнь с риском для собственной жизни, у меня полны карманы всяких бумажек, которые подтверждают это. Я солдат Ватерлоо, тысяча чертей! А теперь, раз уж я сделал вам милость и рассказал всю эту историю, давайте кончать. Мне нужны деньги, много денег, уйма денег! А не дадите, погублю, провались я на этом месте!

Мариус уже несколько справился со своим волнением и слышал слова Тенардье. Последние основания для сомнений исчезли. Перед ним был тот самый Тенардье, о котором упоминалось в завещании. Мариус задрожал, услышав упрек в неблагодарности, брошенный по адресу отца, ведь он едва не оправдал этот упрек, и столь роковым образом. Это повергло его в еще большую тревогу. Впрочем, во всех речах Тенардье, в его тоне, жестах, во взгляде, метавшем пламя при каждом слове, в этих вспышках распоясавшейся подлой натуры, в этой смеси бахвальства и унижения, гордости и низости, злобы и тупости, в этом хаосе подлинных обид и наигранных чувств, в этой наглости злодея, который сладострастно упивался совершаемым насилием, в этой бесстыдной наготе уродливой души, в этом взрыве человеческих страданий и ненависти, слитых воедино, — во всем этом было

нечто столь же отвратительное, как само зло, и столь же мучительное, как сама правда.

Читатель, вероятно, уже догадался, что произведение кисти знаменитого мастера, картина Давида, которую Тенардые предлагал г-ну Белому купить у него, было просто вывеской его трактира, им же самим, как мы помним, нарисованной, — единственным обломком, уцелевшим от монфермейльского крушения.

Поскольку Тенардые не загораживал больше Мариусу поле зрения, последний мог теперь рассмотреть картину. Эта пачкотня действительно изображала сражение в облаках дыма и человека, несущего на себе раненого. Группа должна была представлять Тенардые и Понмерси, спасителя-сержанта и спасаемого полковника. Мариус смотрел, будто опьяненный; эта картина словно оживляла перед ним отца; он видел уже не вывеску монфермейльского кабака, а воскрешение из мертвых, полуразверстую могилу и восстающий из гроба призрак. В висках у Мариуса стучало, в ушах ревели пушки Ватерлоо, образ истекающего кровью отца, неясно выписанный на этом мрачном холсте, пугал его, и ему казалось, что бесформенный силуэт пристально глядит на него.

Между тем Тенардые, отдышавшись и уставив на г-на Белого свои налитые кровью глаза, негромко и отрывисто спросил:

— Желаешь что-нибудь сказать перед последним угощением?

Господин Белый молчал. Среди наступившей тишины кто-то надтреснутым голосом бросил из коридора следующую полную зловещего смысла остроту:

— Кому наколоть дров? Я готов!

То была шутка человека с топором.

И тотчас в дверях, с отвратительным смехом, обнажившим не зубы, а клыки, показалась огромная, обросшая щетиной, ослабленная физиономия землистого цвета.

То была физиономия человека с топором.

— Ты зачем скинул маску? — в бешенстве заорал на него Тенардые.

— Чтобы посмеяться, — ответил человек.

Уже несколько минут, как г-н Белый внимательно следил за каждым движением Тенардые, а тот, ослепленный

яростью, ничего не замечая, шагал взад и вперед по своей берлоге, с полной уверенностью, что дверь охраняется, что он, вооруженный, имеет дело с безоружным, что их девять против одного, если даже считать тетку Тенардые только за одного мужчину. Делая выговор человеку с топором, он повернулся спиной к г-ну Белому.

Господин Белый воспользовался этим мгновением, оттолкнул ногой стул, кулаком — стол, и, прежде чем Тенардые успел повернуться, он с изумительным проворством, одним прыжком, очутился у окна. Открыть окно, вскочить на подоконник и перекинуть через него ногу было делом минуты. Он был уже наполовину снаружи, когда шесть крепких ручищ схватили его и сильным рывком втащили назад в логово. Это сделали три ринувшиеся на него «трубочиста». Тетка Тенардые тут же вцепилась ему в волосы.

На шум из коридора сбежались остальные бандиты. Старик, лежавший на постели и казавшийся навеселе, слез с койки, вооружился молотом каменщика и, покачиваясь, тоже подошел к ним.

Один из «трубочистов», на размалеванное лицо которого падал свет от свечи и в котором, несмотря на сажу, Мариус узнал Крючка, прозываемого также Весенним, а также Гнусом, занес над головой г-на Белого железный брусок со свинцовыми набалдашниками на обоих концах, напоминавший палицу.

Этого Мариус уже не мог выдержать: «Прости меня, отец!» — мысленно прошептал он и пальцем нащупал курок пистолета. Но выстрел еще не успел грянуть, как послышался окрик Тенардые:

— Не троньте его!

Отчаянная попытка жертвы спастись подействовала на Тенардые скорее успокаивающим, нежели раздражающим образом. Два человека жило в нем: жестокий и расчетливый. До сих пор, в упоении победой перед поверженной и недвижимой жертвой, главенствовал жестокий; теперь же, когда добыча начала сопротивляться и обнаружила желание бороться, в нем проснулся и взял верх человек расчетливый.

— Не троньте его! — повторил он. И, сам того не подозревая, сразу же добился успеха, остановив готовый выстрелить пистолет и удержав Мариуса, который, при

изменившейся обстановке, решил, что можно еще повременить. Кто знает, а вдруг счастливая случайность избавит его от мучительного выбора: дать ли погибнуть отцу Урсулы, или погубить человека, спасшего полковника.

Между тем завязалась исполинская борьба. Ударом кулака в грудь г-н Белый отбросил старика, и тот откатился на середину комнаты, потом двумя ударами наотмашь свалил двух других нападавших и прижал их коленями, под тяжестью которых негодяи хрипели словно под жерновами; но четверо остальных схватили грозного старика за руки, обхватили за шею и пригнули его к повергнутым на землю «трубочистам». И теперь, одолев одних и одолеваемый другими, придавив нижних и задыхаясь под грузом тех, что были сверху, тщетно отбиваясь от теснивших его врагов, г-н Белый исчез под этой омерзительной кучей убийц, как вепрь под воющей своей догов и ищеек.

Наконец им удалось опрокинуть его на кровать, стоявшую ближе к окну, где они оставили его лежать, держа под угрозой нового нападения. Но тетка Тенардые так и не выпустила из своих рук его волос,

— Тебе нечего в это путаться, — прикрикнул на нее Тенардые. — Еще шаль порвешь.

Она повиновалась с рычаньем, как волчица волку.

— Обыскать его, ребята, — приказал Тенардые.

Господин Белый решил, повидимому, больше не оказывать сопротивления. Его обыскали. Кроме кожаного кошелька с шестью франками и носового платка, при нем ничего не оказалось.

Тенардые положил платок к себе в карман.

— Неужели нет бумажника? — спросил он.

— Ни бумажника, ни часов, — ответил кто-то из «трубочистов».

— Неважно, — пробормотал голосом чревоушателя человек в маске, который держал в руке большой ключ. — Что и говорить, неподатливый старик!

Тенардые подошел к дверям, взял в углу связку веревок и бросил бандитам.

— Привяжите его в ногах кровати, — приказал он. И, заметив неподвижно лежащего посреди комнаты старика, сбитого ударом г-на Белого, спросил: — Что, Башка помер?

— Нет, пьян, — ответил Гнус.

— Оттащите его в угол, — распорядился Тенардье.

Двое «трубочистов» ногами подтолкнули пьяницу к куче железного лома.

— Зачем ты привел столько народу, Бабет? — тихо спросил Тенардье у человека с дубиной. — Этого не требовалось.

— Не отвяжешься от них, — ответил человек с дубиной. Все захотели участвовать. Времена плохие. Дела не делаются.

Кровать, на которую был брошен г-н Белый, представляла собой нечто вроде больничной койки на четырех грубо обтесанных деревянных ножках. Г-н Белый не сопротивлялся разбойникам. Они поставили его на землю и крепко привязали к спинке той из кроватей, что находилась дальше от окна и ближе к камину.

Когда последний узел был затянут, Тенардье взял стул и уселся почти напротив г-на Белого. Тенардье уже не походил больше на самого себя, в одно мгновение дикая ярость на его лице сменилась спокойным, кротким и лукавым выражением. Под услужливой чиновничьей улыбкой Мариус с трудом узнавал только что пенившуюся злобой звериную его пасть. Он с изумлением следил за этой фантастической и подозрительной метаморфозой, испытывая то чувство, какое должен испытывать человек, на глазах которого насильник вдруг превратился бы в любезного ходатая по делам.

— Сударь, — начал было Тенардье.

Но тотчас остановился и сделал разбойникам, все еще не отпускавшим г-на Белого, знак удалиться.

— Отойдите немножко. Дайте мне переговорить с господином, — сказал он.

Все отошли к дверям. Тенардье снова заговорил:

— Сударь, зря вы это вздумали прыгать в окошко. Этак можно и ноги себе сломать. А теперь, если не возражаете, потолкуем спокойно. Прежде всего я хочу поделиться с вами одним своим наблюдением: я заметил, что вы еще ни разу не крикнули.

Тенардье был прав. Это соответствовало действительности, хотя и ускользнуло от внимания взволнованного Мариуса. За все время г-н Белый едва произнес несколько слов, не возвышая голоса, и даже во время борьбы у окна

с шестью бандитами хранил самое глубокое и самое странное молчание. Тенардые продолжал:

— Да разве бы я нашел это неуместным, господи боже мой, если бы вы крикнули, например: «Грабят, режут!» При известных обстоятельствах обычно кричат «караул», и, уверяю вас, я не истолковал бы это дурно. Можно ведь немножко пошуметь, когда попадаешь в общество людей, не совсем внушающих доверие. Никто не стал бы вам мешать. Даже рта бы вам не заткнули. А почему, сейчас объясню. Дело в том, что из этой комнаты очень плохо слышно. Вот единственно, что в ней есть хорошего, но уж этого от нее не отнимешь. Настоящий погреб. Взорвись здесь бомба, на соседней караульне подумали бы, что храпит пьяница. Отсюда пушечный выстрел донесся бы не более как «бум!», а гром как «трах!». Удобное помещенье. Впрочем, вы не кричали, с чем вас и поздравляю. Тем лучше. Позвольте же сообщить вам, какое именно я отсюда делаю заключение. Скажите, любезный, кто является, когда зовут на помощь? Полиция, не правда ли? А за полицией? Юстиция. Но вы не звали на помощь, значит вам, как и нам, не такая уж охота встречаться с полицией и юстицией. Значит, вам, как я уже давно заподозрил, некоторым образом важно кое-что скрывать. Нам, со своей стороны, тоже это важно — стало быть, можно договориться.

Произнося эти слова, Тенардые не сводил глаз с г-на Белого, как будто желая проникнуть острым своим взглядом в самую глубину души пленника. Тем не менее речь его, несмотря на оттенок скрытой, сдержанной наглости, была осторожна и почти изысканна; в этом негодяе, за минуту до того бывшем всего только разбойником, чувствовался человек, который «готовился в священники».

Надо сказать, что молчание пленника — эта необычайная осмотрительность, граничившая с пренебрежением к жизни, это упорство, с каким он подавлял в себе первое, естественное желание позвать на помощь, все эти обстоятельства, теперь, когда Мариус это заметил, были ему крайне неприятны и вызывали у него мучительное чувство недоумения.

Вполне обоснованные замечания Тенардые еще больше сгустили таинственный мрак, окутывавший суровую и

странную фигуру, получившую от Курфейрака прозвище г-на Белого. Впрочем, как бы то ни было, но и связанный веревками, окруженный палачами, находясь, так сказать, наполовину в могиле и с каждым мгновением все глубже туда опускаясь, испытываемый то яростью, то вкрадчивостью Тенардые, человек этот оставался невозмутимым; и Мариус не мог не восхищаться в эту минуту его лицом, хранившим выражение гордой печали.

Несомненно, это была душа, недоступная страху, не ведающая растерянности. Это был один из тех людей, которые умеют владеть собою даже в самом безвыходном положении. Как ни грозен был момент, как ни страшна и неизбежна катастрофа, здесь ничто не напоминало агонию утопающего и тот ужас, которым полон взгляд его широко открытых под водою глаз.

Тенардые непринужденно поднялся со своего места, подошел к камину и отодвинул ширмы, прислонив их к стоявшей рядом кровати. Открылась жаровня, полная пылающих угольев, среди которых пленнику было отчетливо видно раскаленное добела долото, усеянное пурпурными искрами.

Затем Тенардые снова подсел к г-ну Белому.

— Итак, последуем дальше, — сказал он. — Мы можем договориться. Закончим дело полюбовно. Я виноват, признаюсь, я слишком погорячился, хватил через край, не знаю, где у меня только голова была, я наговорил всякого вздору. На том основании, что вы миллионер, я заявлял, например, что требую денег, много денег, уйму денег. Это неправильно. Пусть вы богаты, но у вас свои расходы; господи боже мой, у кого их нет? Я вовсе не хочу вас разорять, не обирала ведь я в самом деле какой-нибудь. Я не из тех людей, которые слишком злоупотребляют выгодами своего положения и остаются в конце концов в дураках. Послушайте, я готов приложить свое, я согласен пойти на уступки. Мне нужно только двести тысяч франков.

Господин Белый не проронил ни слова. Тенардые продолжал:

— Как видите, я лишнего не запрашиваю. Мне неизвестен размер вашего капитала, но я знаю, что деньги для вас ничто. И такому благотворителю, как вы, конечно, ничего не стоит дать двести тысяч франков несчастному

отцу семейства. Впрочем, вы сами человек рассудительный и, конечно, не думаете, что я положил столько труда на это дельце и так здорово, по мнению вот этих господ, его наладил, только для того, чтобы попросить у вас на бутылочку красного да порцию жаркого и сходить разок поужинать у Денуайе. Двести тысяч франков — вот моя цена. Это сушие пустяки. А как только денежки вылетят из вашего кармана, на том, ручаюсь, все и кончится. Никто вас и пальцем не тронет. Вы можете возразить: «Помилуйте, да при мне нет двухсот тысяч франков». О, я не ставлю невыполнимых условий! Этого и не требуется. Я прошу вас только об одном, не откажите в любезности написать то, что я вам продиктую.

Тут Тенардье прервал свою речь и, помолчав немного, добавил, нарочито подчеркивая каждое слово и поглядывая с многозначительной усмешкой на жаровню:

— Предупреждаю, никаких отговорок насчет неграмотности я слушать не буду.

Сам великий инквизитор мог бы позавидовать этой усмешке.

Тенардье придвинул стол вплотную к г-ну Белому, вынул из ящика чернила, перо и лист бумаги, оставив ящик полуоткрытым; там блестело длинное лезвие ножа.

Лист он положил перед г-ном Белым.

— Пишите, — сказал он.

Тут, наконец, заговорил и пленник:

— Как же вы хотите, чтобы я писал? Я привязан.

— Совершенно верно, вы правы. Извините! — ответил Тенардье.

И обратившись к Крючку, прозываемому также Весенним, а также Гнусом, приказал:

— Развяжите господину правую руку.

Крючок, он же Весенний, он же Гнус, выполнил приказанье Тенардье. Когда правая рука пленника была освобождена, Тенардье обмакнул перо в чернила и подал ему.

— Советую хорошенько запомнить, сударь, — сказал он, — что вы в полной нашей власти, в полном нашем распоряжении, что никакая человеческая сила уже не вырвет вас отсюда и что мы будем поистине огорчены, если нас вынудят прибегнуть к крайним и неприятным мерам. Я не знаю ни вашего имени, ни адреса, но предупреждаю,

что вас не развяжут до тех пор, пока не вернется особа, которой будет поручено отвезти ваше письмо. А теперь соблаговолите писать.

— Что же я должен писать? — спросил пленник.

— Я продиктую.

Господин Белый взял перо.

Тенардые стал диктовать:

— «Дочь моя...»

Пленник вздрогнул и вскинул глаза на Тенардые.

— Напишите: «Дорогая моя дочь», — продолжал Тенардые. Г-н Белый повиновался.

— «...приезжай немедленно...»

Он приостановился:

— Ведь вы говорите ей «ты», не правда ли?

— Кому? — спросил г-н Белый.

— Ну девчонке, Жаворонку, чорт побери!

— Я не понимаю, что вы хотите сказать, — ответил г-н Белый без малейших признаков волнения.

— Пишите, пишите, — оборвал его Тенардые и снова принялся диктовать:

— «Приезжай немедленно. Ты мне крайне нужна. Особе, которая передаст тебе настоящую записку, поручено доставить тебя ко мне. Жду тебя. Приезжай не раздумывая».

Господин Белый написал все, что ему было продиктовано. Но Тенардые не успокоился:

— Нет, вычеркните: «приезжай не раздумывая»; она может заподозрить, что тут не все ладно и что есть основания раздумывать.

Господин Белый зачеркнул эти три слова.

— А теперь, — продолжал Тенардые, — подпишитесь. Как вас зовут?

Пленник положил перо и спросил:

— Кому предназначается это письмо?

— Вы сами прекрасно знаете. Девчонке. Вам уже это сказано.

Тенардые явно избегал называть по имени девушку, о которой шла речь. Он говорил: «Жаворонок», «девчонка», но имени ее не произносил. Это обычная предосторожность жулика, старающегося скрыть от сообщников свою тайну. Назвать имя — означало бы раскрыть им все

«дело» и дать возможность узнать о нем больше, чем им надлежало знать.

— Подпишитесь. Как вас зовут? — повторил он.

— Урбен Фабр, — сказал пленник.

Тенардье кошачьим движеньем быстро запустил руку в карман и вытащил носовой платок, отобранный у г-на Белого. Отыскав метку, он поднес платок к свече.

— У. Ф. Так, подходит. Урбен Фабр. Ну, ставьте подпись «У. Ф.».

Пленник поставил подпись.

— Одной рукой письма не сложить, — сказал Тенардье. — Давайте я сложу.

— Пишите адрес: «Мадмуазель Фабр», на вашу квартиру. Я знаю, что вы живете неподалеку отсюда, где-то близ церкви Сен-Жак-дю-О-Па, так как ходите туда каждый день к обедне, но на какой улице, не знаю. Я вижу, что вы поняли свое положение. А раз уж вы не скрыли настоящего своего имени, надо думать, не скроете и адреса. Напишите его сами.

Пленник на минуту задумался, затем взял перо и написал:

«Мадмуазель Фабр у г-на Урбена Фабра на улице Сен-Доминик-д'Анфер, № 17».

Тенардье с какой-то лихорадочной поспешностью схватил письмо.

— Жена! — позвал он.

Она подбежала.

— Вот письмо. Что с ним делать, ты знаешь. Фиакр ждет внизу. Сейчас же поезжай и живо назад.

И, обращаясь к человеку с топором, распорядился:

— А ты, если уж не хочешь ходить ряженым, проводишь хозяйку. Сядешь на запятки. Хорошо помнишь, где поставил повозку?

— Помню, — ответил тот.

И поставив свой топор в угол, он последовал за теткой Тенардье.

Не успели они выйти, как Тенардье, просунув голову в полуоткрытую дверь, крикнул в коридор:

— Главное, не потеряй письма! не забудь, что везешь двести тысяч франков.

— Не беспокойся. Оно у меня за пазухой, — отвечал сильный голос супруги.

Не прошло и минуты, как послышалось щелканье кнута; оно становилось все тише и вскоре совсем заглохло.

— Отлично, — пробормотал Тенардье. — Здорово гонят. Таким галопом хозяйка в три четверти часа обернется.

Он придвинул стул к камину и сел, скрестив руки и приблизив к жаровне подошвы своих грязных сапог.

— Ноги у меня совсем окоченели, — сказал он.

Теперь, кроме Тенардье и пленника, в трущобе оставалось лишь пятеро бандитов. Хотя лица их были скрыты под масками или под черным клеем, что, в зависимости от степени внушаемого страха, делало их похожими на угольщиков, негров или чертей, — люди эти казались угрюмыми и сонными. Чувствовалось, что они совершают преступление как бы по обязанности, не спеша, без злобы, без жалости, с какой-то неохотой. Словно скот, они сгрудились в углу и притихли. Тенардье грел ноги. Пленник снова погрузился в молчание. Мрачная тишина сменила дикий шум, наполнявший несколько минут до того логово Тенардье.

Нагоревшая свеча едва освещала огромное грязное жилье, уголья в жаровне потускнели, и уродливые головы бандитов отбрасывали на стены и потолок чудовищные тени.

Слышалось только мирное посапывание спящего в углу пьяного старика.

Мариус ждал, охваченный все возрастающей тревогой. Загадка стала теперь еще непостижимее. Кто же она, «эта девчонка», которую Тенардье называл также «Жаворонком»? Уж не его ли «Урсула»? Пленник, казалось, несколько не смутился при слове «Жаворонок» и ответил совершенно просто: «Я не понимаю, что вы хотите сказать». Наряду с этим нашли свое объяснение буквы «У» и «Ф»: они означали «Урбен Фабр», и Урсула уже перестала, таким образом, быть Урсулой. Последнее особенно отчетливо врезалось в сознание Мариуса. Словно какие-то страшные чары приковали его к месту, откуда он мог наблюдать за всей сценой. Он стоял там, почти неспособный двигаться и мыслить, как бы уничтоженный зрелищем подлости, открывшимся в такой непосредственной близости от него. Он ждал, надеясь на что-то, сам не

зная на что, не в силах собраться с мыслями и принять какое-либо решение.

«Во всяком случае, — думал он, — если Жаворонок — это она, я, конечно, увижу ее, так как жена Тенардые должна привезти ее сюда. А тогда решено: если понадобится, я не пощажу ни жизни, ни своей крови, но освобожу ее! Я ни перед чем не остановлюсь».

Так прошло около получаса. Тенардые, казалось, был поглощен какими-то угрюмыми размышлениями. Пленник застыл в неподвижной позе. Между тем Мариусу уже несколько минут слышался по временам как бы легкий заглушенный звук, доносившийся оттуда, где находился пленник.

— Господин Фабр, — вдруг обратился к пленнику Тенардые. — Запомните хорошенько то, что я сейчас скажу.

Эта краткая фраза походила на начало объяснения. Мариус насторожился.

— Потерпите немного, — продолжал Тенардые. — Жена моя скоро вернется. Я думаю, что Жаворонок — на самом деле ваша дочь, и нахожу в порядке вещей, чтобы она оставалась с вами. Только вот какое дело. Жена поехала за нею с вашим письмом. Я велел жене принарядиться так, чтобы ваша барышня без опаски отправилась с ней, вы это видели. Обе они сядут в фиакр, приятель мой станет на запятки. За заставой, в одном местечке поджидает повозка, запряженная парой добрых коней. Туда-то и доставят вашу барышню. Там она выйдет из фиакра. Приятель посадит ее вместе с собой в повозку, а жена вернется к нам и доложит: «Все сделано». Что касается вашей барышни, то никакого зла ей не причинят, повозка отвезет ее туда, где ей будет спокойно, и как только вы выложите эти несчастные двести тысяч, вам ее вернут. Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка. Вот и все.

Пленник не проронил ни слова. Тенардые после небольшой паузы продолжал:

— Как видите, все очень просто. Ничего дурного не случится, если вы сами этого не захотите. Я вам для того все и рассказываю. Я предупреждаю вас о том, как обстоит дело.

Он остановился, но пленник не нарушал молчания, и Тенардые снова заговорил:

— Как только супруга моя вернется и подтвердит, что Жаворонок находится в пути, мы вас отпустим, и вы можете беспрепятственно идти домой ночевать. Вы видите, что дурных намерений у нас нет.

Потрясающие картины проносились в воображении Мариуса. Как! Разве похищенную девушку не привезут сюда? Одно из этих чудовищ потащит ее куда-то в ночной мрак? Но куда?.. А вдруг это она? А что это была она, он не сомневался. Мариус чувствовал, как сердце его перестает биться в груди. Что делать? Выстрелить? Отдать в руки правосудия всех этих негодяев? Но это не помешает страшному человеку с топором, увозящему девушку, остаться вне пределов досягаемости. Мариусу вспомнились слова Тенардье, и ему приоткрылся их кровавый смысл: *«Если же по вашей милости меня арестуют, приятель уберет Жаворонка»*.

Теперь он чувствовал, что его удерживают не только заветы полковника, но и любовь, а также опасность, нависшая над любимой.

Это ужасное положение длилось уже больше часа, поминутно рисуя ему все происходившее в новом свете. Мариус имел мужество последовательно перебрать все самые страшные возможности, которыми оно грозило, стараясь отыскать выход, но так и не нашел его. Возбуждение, царившее в его мыслях, составляло резкий контраст с могильной тишиной притона.

Стук открывшейся и вновь захлопнувшейся наружной двери нарушил эту тишину.

Связанный пленник пошевелинулся.

— А вот и хозяйка, — сказал Тенардье.

Не успел он договорить, как в комнату действительно ворвалась тетка Тенардье, вся красная, задыхающаяся, запыхавшаяся, с горящим взглядом и, хлопнув себя толстыми руками по бедрам, завопила:

— Фальшивый адрес!

Вслед за ней появился бандит, которого она возила с собой, и поспешил снова схватить свой топор.

— Фальшивый адрес? — повторил за ней Тенардье.

— Никого! На улице Сен-Доминик, в доме номер семнадцать никакого господина Урбена Фабра нет! Там никто такого и не знает! — продолжала она.

Затем остановилась, чтобы перевести дыхание, и сейчас же опять заговорила:

— Эх ты, господин Тенардье! Ведь старик-то тебя околпачил! Ты, видишь ли, слишком добр! На твоём месте, я прежде всего дала бы ему хорошенько по роже для острастки, а стал бы упираться — живьем бы изжарила! Надо было его заставить открыть рот, сказать, где девчонка и куда он запрятал свою кубышку! Вот как бы я, доведись это мне, повела дело! Недаром говорят, что мужчины куда глупее женщин! В доме семнадцать — никого! Это дом с большими воротами. Никакого господина Фабра на улице Сен-Доминик нет! А я-то мчусь очертя голову, а я-то бросаю на водку кучеру и все такое! Расспрашивала я и привратника и привратницу, женщину очень толковую, они о нем и слыхом не слыхали!

Мариус облегченно вздохнул. Она, Урсула или Жаворонок, — та, имени которой он теперь не сумел бы уже назвать, — была спасена.

Между тем как жена продолжала иступленно вопить, Тенардье уселся на стол. Покачивая свисавшей правой ногой, он несколько минут, молча, со свирепым и задумчивым видом, глядел на жаровню.

Наконец, обернувшись к пленнику, он медленно, с каким-то злобным клокотанием в голосе, спросил:

— Фальшивый адрес! На что же ты, собственно говоря, надеялся?

— Выиграть время! — крикнул в ответ пленник. В то же мгновение он сбросил с себя веревки; они были перерезаны. Теперь пленник оставался привязанным к постели только за одну ногу.

Прежде чем кто-либо из всех семерых успел опомниться и кинуться к нему, он нагнулся над камином, протянул руку к жаровне и снова выпрямился; Тенардье, его жена и бандиты отпрянули в глубь логова и оцепенели от ужаса, увидев, как он, почти свободный от уз, в грозной позе, поднял над головой раскаленное докрасна долото, светившееся зловещим светом.

Судебное расследование, произведенное впоследствии по делу о злоумышлении в лачуге Горбо, установило, что при полицейской облаве в мансарде была обнаружена монета в два су, особым образом разрезанная и отделанная. Эта монета являлась одной из диковинок ремеслен-

ного мастерства каторги, порождаемого ее терпением во мраке и для мрака, — одной из тех диковинок, которые представляют собой не что иное, как орудие побега. Эти отвратительные и в то же время тончайшие изделия изумительного искусства занимают в ювелирном деле такое же место, какое метафоры воровского аргю в поэзии. На каторге существуют свои Бенвенуто Челлини, совершенно так же, как в языке — Вийоны. Несчастный, жаждущий освободиться, умудряется иной раз даже без всякого инструмента, с помощью какого-нибудь ножичка или старого токарного долота, распилить су на две тонкие пластинки, выскоблить их, не повредив чекана, и сделать по ребру нарезы, чтобы можно было снова соединять пластинки. Монета по желанию закручивается и развинчивается; это — коробочка. В нее прячут часовую пружинку, а часовая пружинка в умелых руках перепиливает цепи любой толщины и железные решетки. Глядя на этого бедного каторжника, мы полагаем, что он обладает одним только су. Ничуть не бывало, он обладает свободой. Таковую-то монету стоимостью в два су, обе отвинченные половинки которой валялись под кроватью у окна, и нашли при последующих полицейских обысках в логове Тенардье. Равным образом была обнаружена и маленькая стальная пилка голубого цвета, умещавшаяся в монете. Когда бандиты обыскивали пленника, монета, вероятно, была при нем, но ему удалось спрятать ее в руке, а как только ему освободили правую руку, он развинтил монету и воспользовался пилкой, чтобы перерезать веревки, которыми был привязан. Этим объясняются и легкий шум и едва уловимые движения, замеченные Мариусом.

Боясь нагнуться, чтобы не выдать себя, пленник не перерезал пут на левой ноге.

Между тем бандиты вскоре опомнились от первого испуга.

— Не беспокойся, — обращаясь к Тенардье, сказал Гнус, — одна нога у него еще привязана, и ему не уйти. Могу поручиться. Эту лапу я сам ему затянул.

Но тут возвысил голос пленник:

— Вы подлые люди, но жизнь моя не стоит того, чтобы так уж за нее бороться. А если вы воображаете, что меня можно заставить говорить, заставить писать то, чего я не хочу говорить и чего не хочу писать, то...

Он засучил рукав на левой руке и прибавил:

— Вот, глядите!

С этими словами он вытянул правую руку и приложил прямо к голому телу раскаленное до свечения долото, которое держал за деревянную ручку.

Послышалось потрескивание горящего мяса, чердак наполнился запахом камеры пыток. У Мариуса, обезумевшего от ужаса, подкосились ноги; даже бандиты, и те содрогнулись. Но едва ли хоть один мускул дрогнул на лице изумительного старика. Меж тем как раскаленное железо все глубже погружалось в дымящуюся рану, невозмутимый, почти величественный, он остановил на Тенардье беззлобный прекрасный взор, в возвышенной ясности которого растворялось страдание.

У сильных, благородных натур, когда они становятся жертвой физической боли, бунт плоти и чувств побуждает их душу открыться и явить себя на челе страдальца; так солдатский мятеж заставляет выступить на сцену командира.

— Несчастные, — сказал он, — я не боюсь вас и вы меня не бойтесь.

И резким движением вырвав долото из раны, он бросил его за окошко, оставшееся открытым. Страшный огненный инструмент, кружась, исчез в темноте ночи и, упав где-то далеко в снег, погас.

— Делайте со мной, что угодно, — продолжал пленник. Теперь он был безоружен.

— Держите его! — крикнул Тенардье.

Двое из бандитов схватили пленника за плечи, а человек в маске, говоривший голосом чревоушателя, встал перед ним, готовый при малейшем его движении, размозжить ему череп ключом.

В ту же минуту внизу за перегородкой и в такой непосредственной от нее близости, что Мариус не мог видеть собеседников, он услышал тихие голоса, обменявшиеся следующими фразами:

— Остается только одно.

— Укокошить?

— Вот именно.

Это совещались супруги Тенардье.

Тенардье медленно подошел к столу, выдвинул ящик и вынул нож.

Мариус беспокойно сжимал рукоятку пистолета. Непростительная нерешительность! Вот уже целый час два голоса звучали в его душе: один призывал чтить завет отца, другой требовал оказать помощь пленнику. Непрерывно шла эта борьба голосов, причиняя ему смертельные муки. До сих пор он лелеял надежду, что найдет средство примирить оба своих долга, но никакой возможности для этого не возникало. Между тем опасность все приближалась, истекли все сроки ожидания. Тенардьё, с ножом в руках, над чем-то раздумывал, стоя в нескольких шагах от пленника.

Мариус растерянно водил вокруг глазами, — к этому, как последнему средству, бессознательно прибегает отчаяние.

Вдруг он вздрогнул.

Прямо у его ног, на столе, яркий луч полной луны освещал, как бы указуя на него, листок бумаги. Мариусу бросилась в глаза строчка, которую не дольше чем нынешним утром вывела крупными буквами старшая дочь Тенардьё:

Легавые пришли.

Неожиданная мысль блеснула в уме Мариуса: средство, которое он искал, решение страшной, мучившей его задачи, как, пощадив убийцу, спасти жертву, было найдено. Не слезая с комода, он опустился на колени, протянул руку, поднял листок, осторожно отломил от перегородки кусочек штукатурки, обернул его в листок и бросил через щель на середину логова Тенардьё.

И как раз во-время. Тенардьё, поборов последние свои страхи и сомнения, уже направлялся к пленнику.

— Что-то упало! — закричала тетка Тенардьё.

— Что такое? — спросил Тенардьё.

Жена со всех ног кинулась подбирать завернутый в бумагу кусочек штукатурки. Она подала его мужу.

— Откуда он сюда попал? — удивился Тенардьё.

— А откуда же, чорт побери, мог он, по-твоему, попасть сюда? Из окна, конечно, — объяснила жена.

— Я видел, как он влетел, — заявил Гнус.

Тенардьё поспешно развернул листок и поднес его к свече.

— Почерк Эпонины. Проклятие!

Он сделал знак жене и, когда та поспешно подошла, показал ей написанную на листе строчку. Затем глухим голосом добавил:

— Живо! Лестницу! Оставить сало в мышеловке, а самим смываться!

— Не свернув ему шею? — спросила тетка Тенардье.

— Теперь некогда этим заниматься.

— А как будем уходить? — задал вопрос Гнус.

— Через окно, — ответил Тенардье. — Раз Понина бросила камень в окно — значит, дом с этой стороны не оцеплен.

Человек в маске, говоривший голосом чревовещателя, положил на пол громадный ключ, поднял обе руки и трижды быстро сжал и разжал кулаки. Это было как бы сигналом бедствия команде корабля. Разбойники, державшие пленника, тотчас оставили его; в одно мгновение была спущена за окошко веревочная лестница и прочно прикреплена к краю подоконника двумя железными крюками.

Пленник не обращал никакого внимания на то, что происходило вокруг. Казалось, он о чем-то думал или молился.

Лишь только лестница была прилажена, Тенардье крикнул:

— Хозяйка, идем! — И бросился к окошку.

Но едва он занес ногу, как Гнус грубо схватил его за шиворот.

— Нет, шалишь, старый плут! После нас!

— После нас! — зарычали бандиты.

— Бросьте ребячиться, — принялся увещевать их Тенардье, — мы теряем время. Фараоны у нас за горбом.

— Давайте тянуть жребий, кому первому вылезать, — предложил один из бандитов.

— Да что вы, рехнулись? Спятили? — завопил Тенардье. — Видали таких олухов? Терять время! Тянуть жребий! Как прикажете, на мокрый палец? На соломинку? Или, может, напишем наши имена? Сложим записочки в шляпу?..

— Не пригодится ли вам моя шляпа? — крикнул с порога чей-то голос.

Все обернулись. Это был Жавер.

Держа в руке свою шляпу он, улыбаясь, протягивал ее бандитам.

Надо было бы всегда начинать с ареста пострадавших

Как только стемнело, Жавер расставил своих людей, а сам спрятался за деревьями на улице Застава Гобеленов, против лачуги Горбо, по другую сторону бульвара. Он хотел прежде всего «засунуть в мешок» обеих девушек, которым было поручено сторожить подступы к логову. Но ему удалось «упрятать» одну только Азельму. Что касается Эпонины, то ее на месте не оказалось, она исчезла, и он не успел ее задержать. Покончив с этим, Жавер уже не выходил из своей засады, прислушиваясь, не раздастся ли условный сигнал. Уезжавший и вновь вернувшийся фиакр его сильно встревожил. Наконец Жавер потерял терпение; он узнал кой-кого из вошедших в дом бандитов, заключил отсюда, что «напал на гнездо», что ему «повезло», и решил подняться наверх, не дожидаясь пистолетного выстрела.

Читатель помнит, конечно, что Мариус отдал ему ключ от входной двери.

Жавер пришел в самый нужный момент.

Испуганные бандиты схватились за оружие, брошенное ими где попало при попытке бежать. Через минуту эти страшные люди, все семеро, уже стояли в оборонительной позиции, один с топором, другой с ключом, третий с дубиной, остальные — кто со щипцами, кто с клещами, кто с молотом, а Тенардьё — сжимая в руке нож. Жена его подняла большой камень, который валялся в углу у окна и служил скамейкой ее дочерям.

Жавер снова надел на голову шляпу и, скрестив руки, засунув трость подмышку, не вынимая шпаги из ножен, сделал два шага вперед.

— Стоп, ни с места! — крикнул он. — Через окно не лазить. Выходить через дверь. Так оно будет лучше. Вас семеро, нас пятнадцать. Нечего зря затевать потасовку, давайте по-хорошему.

Гнус вынул спрятанный за пазухой пистолет и вложил его в руку Тенардьё, шепнув ему на ухо:

— Это — Жавер. В этого человека я стрелять не смею. А ты?

— Плевать я на него хотел, — ответил Тенардьё.

— Тогда стреляй.

Тенардые взял пистолет и прицелился в Жавера.

Жавер, находившийся в трех шагах от Тенардые, пристально взглянул на него и произнес только:

— Не стреляй. Все равно даст осечку.

Тенардые спустил курок. Пистолет дал осечку.

— Я ведь тебе говорил, — заметил Жавер.

Гнус бросил к ногам Жавера свою дубину.

— Ты, видно, сам дьявол! Сдаюсь.

— А вы? — обратился Жавер к остальным бандитам.

— Мы тоже, — последовал ответ.

— Вот это дело, вот это правильно. Ведь я же говорил, надо по-хорошему, — спокойно добавил Жавер.

— Я попрошу только об одном, — снова заговорил Гнус, — пусть не лишают меня курева, пока буду сидеть в одиночке.

— Согласен, — ответил Жавер.

Тут он обернулся и крикнул в дверь:

— Пора, входите!

Группа постовых, с саблями наголо, и полицейских, вооруженных кастетами и короткими дубинками, ввалилась в комнату на зов Жавера. Бандитов связали. От такого скопления людей в логове Тенардые, освещенном лишь одной свечой, стало совсем темно.

— Всем наручники! — распорядился Жавер.

— А ну-ка, подойдите! — раздался вдруг чей-то, не мужской, но отнюдь и не женский, голос

Это рычала тетка Тенардые, загородившаяся в углу у окна.

Полицейские и постовые отступили.

Она сбросила с себя шаль, но осталась в шляпе. Муж, скорчившись за ее спиной, почти исчезал под упавшей шалью, а жена прикрывала его своим телом и, подняв обеими руками над головой булыжник, раскачивала им, словно великанша, собирающаяся швырнуть утес.

— Берегитесь! — крикнула она.

Все попятились к выходу. Середина чердака сразу опустела

Тетка Тенардые взглянула на бандитов, давших себя связать, и гортанным, хриплым голосом пробормотала:

— У-у, трусы!

Жавер улыбнулся и пошел прямо в опустевшую часть

комнаты, находившуюся под неусыпным наблюдением супруги Тенардые.

— Не подходи, убирайся! Не то расшибу! — завопила она.

— Экий гренадер! — сказал Жавер. — Ну, мамаша, *хоть* у тебя борода, как у мужчины, зато у меня когти, *как* у женщины.

И он продолжал идти вперед.

Растрепанная, страшная тетка Тенардые расставила ноги, откинувшись назад и с бешеной силой запустила камнем в голову Жавера. Жавер наклонился. Камень перелетел через него, ударился в заднюю стену, отбив от нее громадный кусок штукатурки, затем рикошетом, от угла к углу, пересек все, к счастью теперь почти пустое, помещение и упал, совсем уже на излете, к ногам Жавера.

В одну минуту Жавер очутился возле четы Тенардые. Одна из огромных его ручищ опустилась на плечо супруги, другая на голову супруга.

— Наручники! — крикнул он.

Полицейские всей гурьбой вбежали назад в комнату, и через секунду приказание Жавера было выполнено.

Это сломило тетку Тенардые. Взглянув на свои закованные руки и на руки мужа, она упала на пол и, рыдая, воскликнула:

— Дочки, мои дочки!

— Они за решеткой, — заявил Жавер.

Тем временем полицейские заметили и растолкали спавшего за дверью пьяницу.

— Уже успели управиться, Жондрет? — пробормотал он спросонья.

— Да, — ответил Жавер.

Шестеро бандитов стояли теперь связанные; впрочем, они все еще походили на привидения; трое сохраняли свою черную размалевку, трое других — маски.

— Масок не снимать, — распорядился Жавер.

Он окинул всю компанию взглядом, точно Фридрих II, производящий смотр на потсдамском параде, и, обращаясь к трем «трубочистам», бросил:

— Здорóво, Гнус. Здорóво, Башка. Здорóво, Два Миллиарда!

Затем, повернувшись к трем маскам, приветствовал человека с топором:

— Здорóво, Живоглóт.

Человека с дубиной:

— Здорóво, Бабет.

А чревовещателя:

— Здравия желаю, Звенигрош.

Тут Жавер заметил пленника, который с момента прихода полицейских не проронил ни слова и стоял опустив голову.

— Отвяжите господина, и никому не уходить! — приказал он.

Потом, важно усевшись за стол, на котором еще стояли свеча и чернильница, он вынул из кармана лист гербовой бумаги и приступил к допросу.

Написав первые строчки, всегда состоящие из одних и тех же условных выражений, он поднял глаза.

— Подведите господина, который был связан этими господами.

Полицейские огляделись вокруг.

— В чем дело, где же он? — спросил Жавер.

Но пленник бандитов, — г-н Белый, г-н Урбен Фабр, отец Урсулы или Жаворонка, — исчез.

Дверь охранялась, а про окно забыли. Едва почувствовав себя свободным, он воспользовался шумом, суматохой, давкой, темнотой, минутой, когда внимание от него было отвлечено, и, пока Жавер возился с протоколом, выпрыгнул в окно.

Один из полицейских подбежал и выглянул на улицу. Там никого не было видно.

Веревочная лестница еще покачивалась.

— Экая чертовщина! — процедил сквозь зубы Жавер. — Видно, этот был почище всех.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Мальчи, плакавший во второй части нашей книги

На другой день после описанных событий, происшедших в доме на Госпитальном бульваре, какой-то мальчик поднимался вверх по правой боковой аллее бульвара, направляясь, повидимому, от Аустерлицкого моста к заставе Фонтенебло. Уже совсем стемнело. Это был бледный,

худой ребенок, в лохмотьях, одетый, несмотря на февраль, в холщовые панталоны; он шел, распевая во все горло.

На углу Малой Банкирской улицы сгорбленная старуха при свете фонаря рылась в куче мусора. Проходя мимо, мальчик толкнул ее и тотчас же отскочил, крикнув:

— Вот тебе раз, а я-то думал, тут большущая, пре-большущая собака!

Слово «пребольшущая» он произнес, как-то особенно насмешливо его отчеканивая, что довольно близко можно передать с помощью прописных букв: большущая, ПРЕ-БОЛЬШУЩАЯ собака!

Взбешенная старуха выпрямилась.

— У, висельник! — заворчала она. — Мне бы прежнюю мою силу, такого бы тебе пинка дала!

Но ребенок находился уже на почтительном от нее расстоянии.

— Куси, куси! — поддразнил он. — Ну если так, то я, пожалуй, и не ошибся.

Задыхаясь от возмущения, старуха выпрямилась теперь уже во весь рост, и красноватый свет фонаря упал прямо на бесцветное, костлявое, морщинистое ее лицо с сетью гусиных лапок, спускавшихся до самых углов рта. Вся она тонула в темноте, и виднелась одна только голова. Можно было подумать, что, потревоженная лучом света, из ночного мрака выглянула страшная маска самой дряхлости. Вглядевшись в нее, мальчик заметил:

— Красота ваша не в моем вкусе, сударыня.

И пошел дальше, снова принявшись распевать:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок.

Пропев эти три стиха, он замолк. В эту минуту он подошел к дому № 50/52 и, найдя дверь запертой, принялся колотить в нее ногами, причем раздававшиеся в воздухе мощные, гулкие удары обличали не столько его детские ноги, сколько обутые на них мужские сапоги.

Между тем следом за ним, вопя и неистово жестикулируя, подоспела та самая старуха, которую он встретил на углу Малой Банкирской улицы.

— Что такое? Что такое? Боже милосердный! Разламывают двери! Разносят дом! — орала она.

Удары не прекращались.

— Да разве нынешние постройки на этакое рассчитаны? — надрывалась старуха.

И вдруг неожиданно замолкла. Она узнала гамена.

— Да ведь это же наш дьяволенок!

— Ага! Да ведь это же наша бабка! — сказал мальчик. — Здравствуйте, Бюргончик. Я пришел повидать своих предков.

Старуха скорчила сложную гримасу, великолепно симпровизированную злсбой, применившей для этой цели уродство и дряхлость, но, к сожалению, пропавшую даром из-за темноты.

— Никого нет, бесстыжая твоя рожа, — ответила она.

— Вот тебе раз! — воскликнул мальчик. — А где же отец?

— В тюрьме Форс.

— Смотри-ка! А мать?

— В Сен-Лазаре.

— Так, так! А сестры?

— В Мадлонет.

Мальчик почесал за ухом, поглядел на мамашу Бюргон и вздохнул:

— Э-эх!

Затем повернулся на каблуках, и через минуту старуха, продолжавшая стоять на пороге у дверей, услышала, как он запел своим чистым, юным голосом, уходя куда-то все дальше и дальше под черные вязы, дрожащие на зимнем ветру:

Король наш Стуконог,
Взяв порох, дробь и пули,
Пошел стрелять сорок,
Взобравшись на ходули.
Кто проходил внизу,
Платил ему два су.

ЧАСТЬ IV

**ИДИЛЛИЯ
УЛИЦЫ ПЛОМЕ
И ЭПОПЕЯ
УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ**

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Хорошо скроено

Два года, 1831 и 1832, непосредственно примыкающие к Июльской революции, представляют собою одну из самых поразительных и своеобразных страниц истории. Эти два года среди предшествующих и последующих лет — как два горных кряжа. От них веет революционным величием. В них можно различить пропасти. Народные массы, самые основы цивилизации, мощный пласт наслоившихся один на другой и сросшихся интересов, вековые очертания старинной французской формации то возникают, то исчезают ежеминутно под грозовыми облаками систем, страстей и теорий. Эти возникновения и исчезновения были названы противодействием и возмущением. Время от времени они озаряются сиянием истины, этим светом человеческого души.

Замечательная эта эпоха ограничена достаточно узкими пределами и достаточно от нас отдалена, чтобы сейчас уже мы могли уловить ее главные черты.

Попытаемся это сделать.

Реставрация была одним из тех промежуточных периодов, трудных для определения, где налицо усталость, смутный гул, ропот, сон, смятение, иначе говоря была не чем иным, как остановкой великой нации на привале. Это эпохи совсем особые, и они обманывают политиков, которые хотят извлечь из них выгоду. Вначале нация требует только отдыха; все жаждут одного — мира; у всех одно притязание — умалиться. Это означает — жить спокойно. Великие события, великие случайности, великие

начинания, великие люди, — нет, покорно благодарим, довольно их видели, сыты по горло. Люди променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето: «Какой это был славный, скромный король!» Шли с самого рассвета, а теперь вечер долгого и трудного дня; первый перегон сделали с Мирабо, второй — с Робеспьером, третий — с Бонапартом; все выбились из сил, каждый требует постели.

Уставшее самопожертвование, состарившийся героизм, насытившееся честолюбие, нажитое богатство ищут, требуют, умоляют, добиваются — чего? Пристанища. Они его обретают. Они вступают в обладание миром, спокойствием, досугом. Они довольны. Однако в это же время возникают некоторые факты, которые заявляют о себе и в свою очередь стучатся в дверь. Эти факты порождены революциями и войнами, они есть, они существуют, они имеют право занять свое место в обществе, и они занимают его. Чаще всего факты — это квартирмейстеры и фурыеры, только подготовляющие квартиры для принципов.

И вот что открывается тогда перед политическим мыслителем.

Пока утомленные люди требуют покоя, совершившиеся факты требуют гарантий. Гарантия для фактов — то же, что покой для людей.

Это то, что Англия требовала от Стюартов после протектората; это то, что Франция требовала от Бурбонов после Империи.

Эти гарантии — требование времени. Волей-неволей приходится на них соглашаться. Короли их «даруют», в действительности же их дает сила обстоятельств. Истина глубокая и полезная, чего Стюарты не подозревали в 1660 году и что даже не пришло в голову Бурбонам в 1814.

Обреченная династия, вернувшаяся во Францию после падения Наполеона, имела роковую наивность верить, что дарует именно она и что дарованное может быть ею взято обратно; что дом Бурбонов обладает священным правом, а Франция не обладает ничем, и что политические права, пожалованные Людовиком XVIII, — всего только ветвь священного права, отломленная династией Бурбонов и милостиво дарованная народу до того дня, когда королю заблагорассудится взять ее обратно. Однако уже по тому

неудовольствию, которое причинял Бурбонам этот дар, они должны были чувствовать, что он исходит не от них.

Они были угрюмы в девятнадцатом веке. Они хмурились при каждом новом подъеме нации. Бурбоны «надулись» — воспользуемся этим ходовым выражением, то есть народным и верным. Народ это видел.

Династия полагала, что она сильна, так как Империя исчезла перед нею, словно театральная декорация. Она не заметила, что сама появилась таким же способом. Она не видела, что находится в тех же руках, которые убрали прочь Наполеона.

Она полагала, что у нее есть корни, потому что за нею прошлое. Она заблуждалась: она составляла только часть прошлого, а прошлым была Франция. Корни французского общества были не в Бурбонах, а в нации. Эти скрытые и живучие корни составляли не право какой-либо одной семьи, а историю народа. Они тянулись повсюду, но только не под тронем.

Дом Бурбонов был для Франции блистательным и кровавым средоточием ее истории, но он не представлял больше важнейшего элемента ее судьбы и необходимой основы ее политики. Можно было обойтись без Бурбонов; без них и обходились двадцать два года; здесь был пробел, а они этого и не подозревали. Да и как могли они это подозревать, — они, полагавшие, что Людовик XVII царствовал 9 термидора, а Людовик XVIII — в день битвы при Маренго? Никогда, от первых дней истории, государи не были столь слепы перед лицом фактов и перед той долей божественной власти, которую эти факты содержат и возвещают. Никогда еще эти притязания брэнного мира, именующиеся правом королей, не отрицали до такой степени высшего права.

Это существеннейшая ошибка Бурбонов, приведшая их к тому, что они вновь наложили руку на гарантии, «дарованные» в 1814 году, на эти «уступки», как они их называли. Печальное явление! То, что они именовали своими «уступками», было нашими завоеваниями; то, что они называли «незаконным захватом», было нашим законным правом.

Когда, по ее мнению, час пробил, Реставрация, вообразив, что она победила Наполеона и укоренилась в стране, то есть поверив в свою силу и устойчивость,

внезапно приняла решение и отважилась на удар: Однажды утром она стала лицом к лицу с Францией и, возвысив голос, начала оспаривать право народное и право личное: у нации верховное главенство, у гражданина — свободу. Другими словами, она попыталась отнять у нации то, что делало ее нацией, и у гражданина то, что делало его гражданином.

В этом сущность тех знаменитых актов, которые называются июльскими ордонансами.

Реставрация пала.

Она пала по справедливости. Тем не менее, признаем это, она не была до конца враждебной всем формам прогресса. Бок о бок с нею свершилось немало великих событий.

При Реставрации нация привыкла совмещать споры со спокойствием, чего не было при Республике, и величие — с миром, чего не было при Империи. Сильная и свободная Франция являлась ободряющим примером для других народов Европы. При Робеспьере слово взяла Революция; при Бонапарте слово взяли пушки; при Людовике XVIII и Карле X слово взяла мысль. Ветер утих, светоч зажегся снова. На безоблачных вершинах затрепетал чистый свет разума. То было великолепное, поучительное и привлекательное зрелище. В течение пятнадцати лет, при невозмутимом мире, совершенно открыто действовали великие принципы, столь старые для мыслителя, столь новые для политического деятеля: равенство перед законом, свобода совести, свобода слова, свобода печати, доступ ко всем должностям всех способных людей. Так продолжалось до 1830 года. Бурбоны были орудием цивилизации, сломавшимся в руках провидения.

Падение Бурбонов было исполнено величия, проявленного, однако, не ими, а нацией. Они покинули трон с чинной важностью, но без всякой внушительности; они ушли во тьму, но это не было одним из тех торжественных исчезновений, которые оставляют мрачный волнующий след в истории; это не было ни потустороннее спокойствие Карла I, ни орлиный клекот Наполеона. Они просто ушли, вот и все. Они сняли корону и не сберегли ореола. Они совершили это с достоинством, но не королевским. В какой-то степени они оказались ниже величия постигшего их несчастья. Карл X по пути в Шербург распоря-

дился сделать из круглого стола четырехугольный и, казалось, был более обеспокоен угрозой этикету, чем крушением монархии. Такая мелкость его натуры опечалила людей преданных, которые любили королевскую семью, и людей положительных, чтивших королевский род. Зато народ был достоин восхищения. Нация, атакованная однажды утром, почувствовала в себе столько силы, что даже не разгневалась на этот своего рода королевский вооруженный мятеж. Она дала отпор, но сдержалась, поставила все на место, вернула управление страной в рамки закона, Бурбонов — в изгнание и, увы, на этом остановилась. Она извлекла старого короля Карла X из-под того балдахина, что осенял Людовика XIV, и тихонько поставила его на землю. Она коснулась особ королевского дома лишь с грустью и осторожностью. Не один и не несколько людей, а Франция, вся Франция, победоносная и опьяненная своей победой, казалось, вспомнила и осуществила перед всем миром эти замечательные слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад: «Тем, кто привык срывать цветы милости у великих мира сего и перепрыгивать, словно птичка, с ветки на ветку, от скорбящих к преуспевающим, легко быть дерзким к своему государю, когда его постигнет злая судьба; я же всегда буду чтить жребий моих королей, особенно скорбящих».

Бурбоны унесли с собой уважение Франции, но не ее сожаление. Как мы уже сказали, они оказались мельче постигшего их несчастья. Они исчезли с горизонта.

Июльская революция тотчас приобрела друзей и врагов во всем мире. Одни устремились к ней с восторгом и радостью, другие отвернулись, каждый сообразно своей природе. Государи Европы словно совы на этой утренней заре, в первую минуту ослепленные и растерянные, зажмурились и открыли глаза только для того, чтобы перейти к угрозам. Испуг их понятен, гнев вполне объясним. Эта странная революция почти не была потрясением, она даже не оказала побежденным Бурбонам чести обойтись с ними как с врагами и пролить их кровь. В глазах деспотических правительств, всегда заинтересованных в том, чтобы свобода очернила самое себя, Июльская революция была виновна в том, что, будучи грозной, она проявила кротость. Ничего, впрочем, не было против нее замышлено или предпринято. Самые напуган-

ные, самые недовольные, самые раздраженные приветствовали ее. Как бы мы ни были эгоистичны и злопамятны, нам внушают таинственное уважение события, в которых ощущается соучастие кого-то, действующего в области более высокой, чем это дано человеку.

Июльская революция — торжество права, повергнувшего во прах грубый факт. Событие, исполненное величия.

Право, повергшее во прах грубый факт! Отсюда блеск революции 1830 года, отсюда и ее снисходительность. Торжествующему праву нет нужды прибегать к насилию.

Право — это все то, что истинно и справедливо.

Неотъемлемая черта права — пребывать вечно прекрасным и чистым. Факт, даже как будто самый неизбежный, даже наилучшим образом принятый современниками, если он существует только в качестве факта и если у него на это слишком мало права или вовсе никакого, бесповоротно обречен стать со временем уродливым, омерзительным, быть может даже чудовищным. Если кто-нибудь пожелает удостовериться в том, насколько уродливым может оказаться факт на расстоянии веков, пусть обратит свой взор на Макьявелли. Макьявелли — это вовсе не злой дух, не демон, не презренный и жалкий писатель; он не больше, чем факт. И этот факт характерен не только для Италии, но и для Европы, для всего шестнадцатого столетия. Он кажется отвратительным, он и есть таков с точки зрения нравственной идеи девятнадцатого века.

Эта борьба между правом и фактом длится со времени возникновения общества. Закончить поединок, сплавить чистую идею с реальностью человеческой жизни, заставить право мирно проникнуть в область факта и факт в область права — вот работа мудрых.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Дурно сшито

Но одно дело — работа людей мудрых и другое дело — работа людей ловких.

Революция 1830 года быстро закончилась.

Как только революция терпит крушение, ловкие люди растаскивают по частям корабль, севший на мель.

Ловкие люди нашего времени присваивают себе название государственных мужей; в конце концов это наименование «государственный муж» стало почти выражением шутки. В самом деле, не следует забывать, что там, где нет ничего, кроме ловкости, всегда налицо посредственность. Сказать «человек ловкий» — все равно, что сказать «человек заурядный».

Точно так же сказать: «государственный муж» — иногда значит то же, что сказать «изменник».

Итак, если поверить ловким, то революции, подобные Июльской, — не что иное, как перерезанные артерии; нужно немедленно перевязать их. Право, слишком громко провозглашенное, вызывает смятение. Поэтому, раз право утверждено, следует укрепить государство. Раз свобода обеспечена, следует подумать о власти.

Пока еще мудрые не отделяют себя от ловких, но уже начинают испытывать недоверие. Власть — пусть так. Но, во-первых, что такое власть? Во-вторых, — откуда она?

Ловкие как будто не слышат заглушенных возражений и продолжают свое дело.

По мнению этих политиков, хитроумно прикрывающих выгодную для них ложь маской необходимости, первая потребность народа после революции, — если этот народ составляет часть монархической Европы, — это раздобыть себе династию. Таким способом, говорят они, можно обрести после революции мир, то есть время для того, чтобы залечить свои раны и починить свой дом. Династия прикрывает строительные леса и заслоняет госпиталь.

Однако не всегда легко добыть себе династию.

В сущности первый одаренный человек или даже первый удачливый встречный может сойти за короля. В одном случае это Бонапарт, в другом — Итурбиде.

Но первая попавшаяся фамилия не может создать династию. Необходима известная древность рода, а отметина веков не создается внезапно.

Если стать на точку зрения «государственных мужей», со всеми подразумеваемыми оговорками, то каковы же должны быть качества появляющегося после революции нового короля? Он может — и это даже полезно — быть революционером, иначе говоря, быть лично причастным к революции, приложившим к ней руку, независимо от

того, набросил ли он тень на себя при этом, или прославился, брался ли за ее топор, или действовал шпагой.

Какими качествами должна обладать династия? Она должна быть приемлемой для нации, то есть казаться на расстоянии революционной — не по своим поступкам, но по воспринятым ею идеям. Она должна иметь прошлое и быть исторической, иметь будущее и пользоваться расположением народа.

Все это объясняет, почему первые революции довольствуются тем, что находят человека — Кромвеля или Наполеона, и почему вторые во что бы то ни стало стремятся найти имя — династию Брауншвейгскую или Орлеанскую.

Королевские дома похожи на те фиговые деревья в Индии, каждая ветка которых, нагибаясь до самой земли, пускает корень, и сама становится деревом. Любая ветвь королевского дома может стать династией, но при условии, что склонится к народу.

Такова теория ловких.

Итак, вот в чем величайшее искусство: добиться, чтобы в фанфарах успеха зазвучала нота катастрофы, чтобы те, кто пользуется его плодами, в то же время трепетали перед ним; пробудить страх перед свершившимся событием, увеличить кривую перехода до степени замедления прогресса, обесцветить эту зарю, обличить и отбросить крайности энтузиазма, срезать острые углы и когти, обложить торжество победы ватой, плотно закутать право, завернуть народ-гигант во фланель и немедленно уложить его в постель, посадить на диету этот избыток здоровья, прописать Геркулесу режим выздоравливающего, растворить важное событие в мелких повседневных делах, предложить этот разбавленный лекарственной настойкой нектар умам, жаждущим идеала, принять предосторожности против слишком большого успеха, надеть на революцию абажур.

1830 год воспользовался этой теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.

1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости точно так же, как солнце не признает огонька свечи.

Кто останавливает революции на полдороге? Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия — это удовлетворенное вождение. Вчера было желание поест, сегодня это сытость, завтра настанет пресыщение.

То, что случилось в 1814 году после Наполеона, повторилось в 1830 году после Карла X.

Напрасно хотели сделать буржуазию классом. Буржуазия — это просто-напросто удовлетворенная часть народа. Буржуа — это человек, у которого теперь есть время посидеть. Кресло — это вовсе не каста.

Но желая усесться слишком рано, можно остановить самое движение человечества вперед. Это часто бывало ошибкой буржуазии.

Допущенная ошибка не может служить причиной образования класса. Эгоизм не является одним из подразделений общественного порядка.

В конце концов, — следует быть справедливым даже к эгоизму, — состояние, на которое уповала после потрясения 1830 года часть народа, именуемая буржуазией, нельзя назвать бездействием, слагающимся из равнодушия и лени и затаившим в себе крупицу стыда; это не было и дремотой, предполагающей мимолетное забытие, доступное сну; это был привал.

Привал — слово, имеющее двойной, особенный и почти противоречивый смысл: отряд в походе, то есть движение; остановка отряда, то есть покой.

Привал — это восстановление сил, это покой настороженный и бодрствующий: это совершившийся факт, который выставил часовых и держится настороже. Привал обозначает сражение вчера и сражение завтра.

Это и есть промежуток между 1830 и 1848 годом.

То, что мы называем здесь сражением, может также называться прогрессом.

Таким образом, для буржуазии, как и для государственных мужей, нужен был человек, олицетворявший это понятие — привал. Человек, который мог бы называться Однако-Ибо. Сложная индивидуальность, означающая революцию и означающая устойчивость, другими словами, утверждающая настоящее, являя собой наглядный пример совместимости прошлого с будущим.

Этот человек оказался тут же, под рукой. Имя его было Луи-Филипп Орлеанский.

Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем. Лафайет взял на себя труд миропомазания. Он назвал Луи-Филиппа «лучшей из республик». Парижская ратуша заменила собор в Реймсе.

Эта замена целого трона полутроном и была «делом 1830 года».

Когда ловкие люди достигли своей цели, обнаружилась глубочайшая порочность найденного ими решения. Все это было совершено вне абсолютного права. Абсолютное право вскричало: «Я возражаю!» Затем — грозное знамение! — оно вновь скрылось в тени.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Луи-Филипп

У революций тяжелая рука и верное чутье; они бьют крепко и метко. Даже у такой неполной революции, такой захудалой, подвергшейся осуждению и сведенной к положению младшей, как революция 1830 года, почти всегда остается достаточно пророческой зоркости, чтобы не оказаться несвоевременной. Затмение революций никогда не бывает отречением.

Однако не будем слишком самоуверенными; даже революции, даже и они заблуждаются, и тогда видны крупные промахи.

Вернемся к 1830 году. Отклонившись от своего пути, 1830 год оказался удачливым. При том положении вещей, которое после куцой революции было названо порядком, монарх стоил больше, чем монархия. Луи-Филипп был редким человеком.

Сын того, за кем история, конечно, признает смягчающие обстоятельства, но в такой же мере достойный уважения, как отец — порицания, он обладал всеми добродетелями частного лица и некоторыми — общественного деятеля; заботился о своем здоровье, о своем состоянии, о своей особе, о своих делах, знал цену минуты и не всегда — цену года; воздержанный, спокойный, миролюбивый, терпеливый; добряк и добрый государь; был

верен жене и держал в своем дворце лакеев, обязанных показывать буржуа его супружеское ложе, — хвастовство добропорядочной брачной жизнью стало полезным после выставлявшихся напоказ незаконных связей старшей ветви; знал все европейские языки и, что еще более редко, язык всех интересов и умел говорить на нем; был восхитительным представителем «среднего сословия», но превосходил его, будучи во всех отношениях более значительным, чем оно; отличаясь незаурядным умом и отдавая должное своей родословной, он прежде всего ценил свои внутренние качества и даже в вопросе о своем происхождении занимал весьма своеобразную позицию, объявляя себя Орлеаном, а не Бурбоном; когда он был только «светлейшим», он держался как первый принц крови, а в тот день, когда стал «величеством», превратился в настоящего буржуа; многоречивый на людях, но скупой на слова в тесном кругу близких; по общему мнению — скряга, но не уличенный; в сущности это был один из тех бережливых людей, которые становятся расточительными, когда дело идет об их прихотях или выполнении долга; начитанный, но мало чувствующий литературу; дворянин, но не рыцарь; простой, спокойный и сильный; обожаемый своей семьей и слугами; обворожительный собеседник, трезвый государственный деятель, внутренне холодный, всегда поглощенный только насущной необходимостью, всегда учитывающий только сегодняшний день, не способный ни к злопамятству, ни к благодарности, он безжалостно пользовался лицами выдающимися, оставляя в покое посредственность, и хитро умел при помощи парламентского большинства перекладывать вину на те тайные объединения, которые глухо рокочут где-то под тронами; откровенный, порой неосторожный в своей откровенности, но в этой неосторожности удивительно ловкий; неистощимый в выборе средств, личин и масок; он пугал Францию Европой и Европу Францией; бесспорно любил свою родину, но преимущественно свою семью; предпочитал власть авторитету и авторитет достоинству — склонность, пагубная в том смысле, что, ставя все на службу успеху, она допускает хитрость и не всегда отрицает низость, но зато в ней есть то преимущество, что она предохраняет политику от резких толчков, государство от ломки, общество от катастроф; это был

человек мелочный, вежливый, бдительный, внимательный, проницательный, неутомимый, иногда противоречащий самому себе и берущий свое слово обратно; смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду; убежденно поет марсельезу; недоступен унынию, усталости, увлечению красотой и идеалом, безрассудному великодушию, утопиям, химерам, гневу, тщеславию, боязни; он обладал всеми формами личной неустрашимости; генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе; восемь раз его покушались убить, но он неизменно улыбался; смелый, как гренадер, неустрашимый, как мыслитель, он испытывал тревогу лишь пред возможностью потрясения основ европейских государств и был неспособен на крупные политические авантюры; всегда готовый подвергнуть опасности свою жизнь и никогда — свое дело; проявлял свою волю в форме влияния, предпочитая, чтобы ему повиновались как умному человеку, а не как королю; был одарен способностью к наблюдению, но не прозорливостью; мало интересовался дүхами, но был отличным знатоком людей, иначе говоря, мог судить только о том, что видел; обладал здравым смыслом, живым и проницательным практическим умом, даром слова, огромной памятью; он всегда черпал из запаса этой памяти, — единственная черта сходства с Цезарем, Александром и Наполеоном; зная факты, подробности, даты, собственные имена, он не знал устремлений, страстей, духовной многоликости толпы, тайных упований, сокровенных и темных порывов душ — одним словом, всего того, что можно назвать подводными течениями сознания; признанный верхними слоями Франции, но имевший мало общего с ее низами, он выходил из затруднений с помощью хитрости; он слишком много управлял и недостаточно царствовал; был своим собственным первым министром; неподражаемо умел создавать из мелких фактов препятствия для великих идей; соединял с подлинным умением способствовать прогрессу, порядку и организации какой-то дух формализма и крюкотворства; наделенный чем-то от Карла Великого и чем-то от ходатая по делам, он был основателем династии и ее стряпчим; в целом, личность значительная и своеобразная, государь, который сумел упрочить власть, вопреки тревоге

Франции, и мощь, вопреки недоброжелательству Европы, Луи-Филипп будет причислен к выдающимся людям своего века; он занял бы в истории место среди самых прославленных правителей, если бы немного больше любил славу и если бы обладал чувством великого в той же степени, в какой он обладал чувством полезного.

Луи-Филипп был красив в молодости и остался привлекательным в старости; не всегда в милости у нации, он всегда пользовался расположением толпы. У него был дар нравиться. Ему не доставало величия; он не носил короны, хотя был королем, не отпускал седых волос, хотя был стариком. Манеры он усвоил при старом порядке, а привычки при новом: то была смесь дворянина и буржуа, подходящая для 1830 года; Луи-Филипп являлся, так сказать, царствующим переходным периодом; он сохранил старое произношение и старое правописание и применял их для выражения современных взглядов; он любил Польшу и Венгрию, однако писал: *polonois* и произносил: *hongrais*¹. Он носил мундир национальной гвардии, как Карл X, и ленту Почетного легиона, как Наполеон.

Он редко посещал обедню, не ездил на охоту и никогда не появлялся в опере. Не питал слабости к попам, псарям и танцовщицам, что являлось одной из причин его популярности среди буржуа. У него совсем не было двора. Он выходил на улицу с дождевым зонтиком подмышкой, и этот зонтик надолго стал одним из слагаемых его славы. Он был немного масон, немного садовник, немного лекарь. Однажды он пустил кровь фореитору, упавшему с лошади; с тех пор Луи-Филипп не выходил без своего ланцета, как Генрих III без своего кинжала. Роялисты потешались над этим смешным королем, — первым королем, пролившим кровь в целях излечения.

Что касается жалоб истории на Луи-Филиппа, то здесь нужно кое-что отбросить; одни обвинения падают на монархию, другие — на царствование Луи-Филиппа, третьи — на короля; три столбца, каждый со своим итогом. Отмена прав демократии, отодвинутый на задний план прогресс, жестоко подавленные выступления масс, расстрелы восставших, мятеж, укрощенный оружием, улица Транснонен, военные суды, поглощение страны,

¹ В новом правописании: *polonais* (поляки) и *hongrois* (венгры)

реально существующей, страной, юридически признанной, управление на компанейских началах с тремястами тысяч привилегированных — за это должна отвечать монархия; отказ от Бельгии, с чересчур большим трудом покоренный Алжир, и, как Индия англичанами, — скорее способами варваров, чем носителей цивилизации, вероломство по отношению к Абд-эль-Кадему, Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард — за это должно отвечать время царствования Луи-Филиппа; политика, более семейная, нежели национальная, — за это отвечает король.

Как видите, сделав вычет, можно уменьшить вину короля.

Его важнейшая ошибка такова: он был скромен во имя Франции.

Где корни этой ошибки?

Скажем об этом.

В короле Луи-Филиппе слишком громко говорило отцовское чувство; высиживание семьи, из которой должна вылупиться династия, связано с боязнью перед всем и нежеланием быть потревоженным; отсюда крайняя робость, невыносимая для народа, у которого в его гражданских традициях имело место 14 июля, а в традициях военных — Аустерлиц.

Впрочем, если отвлечься от общественных обязанностей, которые должны быть на первом плане, то глубокая нежность Луи-Филиппа к своей семье была ею вполне заслужена. Его домашний круг был восхитителен. Там добродетели сочетались с дарованиями. Одна из дочерей Луи-Филиппа, Мария Орлеанская, прославила имя своего рода среди художников так же, как Шарль Орлеанский — среди поэтов. Она воплотила свою душу в мрамор, названный ею Жанной д'Арк. Двое сыновей Луи-Филиппа исторгли у Меттерниха следующую демагогическую похвалу: «Это молодые люди, каких не встретишь, и принцы, каких не бывает».

Вот, без всякого умаления, но и без преувеличения, правда о Луи-Филиппе.

Быть «принцем Равенством», носить в себе противоречие между Реставрацией и Революцией, обладать теми внушающими тревогу склонностями революционера, которые становятся успокоительными в правителе, — такова причина удачи Луи-Филиппа в 1830 году; никогда

еще не бывало столь полного приспособления человека к событию; один вошел в другое, и воплощение свершилось. Луи-Филипп — это 1830 год, ставший человеком. Вдобавок за него говорило и это великое предназначение к престолу — изгнание. Он был осужден, беден и скитался. Он жил своим трудом. В Швейцарии этот наследник самых богатых королевских поместий Франции продал свою старую лошадь, чтобы пропитаться. В Рейхенау он давал уроки математики, а его сестра Аделаида занималась вязаньем и шитьем. Эти воспоминания, связанные с особой короля, приводили в восторг буржуа. Он разрушил собственными руками последнюю железную клетку в Мон-Сен-Мишеле, устроенную Людовиком XI и послужившую Людовику XV. Он был соратником Дюмуре, другом Лафайета, он был членом клуба якобинцев; Мирабо похлопывал его по плечу; Дантон обращался к нему со словами: «молодой человек». В возрасте двадцати четырех лет, в 93 году, он, тогда еще г-н де Шартр, присутствовал, сидя в глубине маленькой темной ложи в зале Конвента, на процессе Людовика XVI, столь удачно названного: «этот бедный тиран». Он видел все, он созерцал все эти головокружительные превращения; слепое ясновидение революции, которая сокрушила монархию в лице монарха и монарха вместе с монархией, почти не заметив человека во время этого яростного уничтожения идеи; он видел могучую бурю народного гнева в революционном трибунале, допрос Капета, не знающего, что ответить, ужасающее бессмысленное покачивание этой царственной головы под мрачным дыханием этой бури, относительную невиновность всех участников катастрофы — как тех, кто осуждал, так и того, кто был осужден; он видел века, представшие перед судом Конвента; он видел, как за спиной Людовика XVI, этого злополучного прохожего, на которого пало все бремя ответственности, вырисовывался во мраке главный обвиняемый — Монархия, и его душа исполнилась почтительного страха перед необъятным правосудием народа, почти столь же безличным, как правосудие бога.

След, оставленный в нем революцией, был неизгладим. Его память стала как бы живым отпечатком этих великих годин, минута за минутой. Однажды перед

свидетелем, которому невозможно не доверять, он исправил по памяти весь список членов Учредительного собрания, фамилии которых начинались на букву «А».

Луи-Филипп был королем, царствующим при ярком дневном свете. Во время его царствования печать была свободна, трибуна свободна, слово и совесть свободны. В сентябрьских законах есть просветы. Хотя он и знал, какое разрушительное действие оказывает свет на привилегии, тем не менее он оставил свой трон освещенным. История зачтет ему эту лояльность.

Луи-Филипп, как все исторические деятели, сошедшие со сцены, сегодня подлежит суду человеческой совести. Его дело проходит теперь лишь первую инстанцию.

Час, когда история вещает свободным и внушительным голосом, еще для него не пробил; не настало еще время, когда она произнесет об этом короле окончательное суждение; строгий и прославленный историк Луи Блан сам недавно смягчил прежний приговор, который вынес ему; Луи-Филипп был избран теми двумя недоносками, которые именуются большинством двухсот двадцати одного и 1830 годом, то есть полупарламентом и полуреволюцией; и во всяком случае, с той нелицеприятной точки зрения, на которой должна стоять философия, мы могли судить его здесь, как это вытекает из сказанного нами выше, лишь с известными оговорками, во имя абсолютного демократического принципа. Пред лицом абсолютного всякое право, помимо права человека и права народа, есть незаконный захват. Но уже в настоящее время, сделав эти оговорки и взвесив все обстоятельства, мы можем сказать, что Луи-Филипп, как бы о нем ни судили, сам по себе, по своей человеческой доброте, останется, если пользоваться языком древней истории, одним из лучших государей, когда-либо занимавших престол.

Что же свидетельствует против него? Именно этот престол. Отделите Луи-Филиппа от его королевского сана, он останется человеком. И человеком добрым. Порою добрым на удивление. Часто, среди самых тяжелых забот, после дня, проведенного в борьбе против дипломатии Европы, он вечером возвращался в свои покои и там, изнемогая от усталости и желания уснуть, — что делал он? Он брал судебное дело и проводил всю ночь за пересмотром какого-нибудь процесса, полагая, что давать

отпор Европе — дело важное, но еще важнее вырвать человека из рук палача. Он возражал своему министру юстиции, он оспаривал шаг за шагом владения, захваченные гильотиной, у прокуроров, этих «присяжных болтунов правосудия», как он их называл. Иногда груды судебных дел заваливали его стол; он просматривал их все; ему было мучительно тяжело предоставлять эти несчастные обреченные головы их участи. Однажды он сказал тому же свидетелю, на которого мы ссылались: «Сегодня ночью я отыграл семерых». В первые годы его царствования смертная казнь была как бы отменена, и вновь воздвигнутый эшафот был насилием над волей короля. Гревская площадь исчезла вместе со старшею ветвью, но вместо нее появилась застава Сен-Жак — Гревская площадь буржуазии; «люди деловые» чувствовали необходимость в какой-нибудь хоть с виду узаконенной гильотине; то была одна из побед Казимира Перье, представителя узко корыстных интересов буржуазии, над Луи-Филиппом, представителем ее либеральных сторон. Луи-Филипп собственноручно делал пометки на полях книги Беккарии. После взрыва адской машины Фиески он воскликнул: «Как жаль, что я не был ранен! Я мог бы его помиловать». Другой раз, намекая на сопротивление своих министров, он написал по поводу политического осужденного, который представлял собой одну из наиболее благородных личностей нашего времени: «Помилование ему даровано, мне остается только добиться его». Луи-Филипп был мягок, как Людовик IX, и добр, как Генрих IV.

А для нас, знающих, что в истории доброта — редкая жемчужина, тот, кто добр, едва ли не стоит выше того, кто велик.

Луи-Филипп был строго осужден одними и, быть может, слишком жестоко другими, поэтому вполне понятно, что человек, знавший этого короля и сам ставший призраком сегодня, предстательствует за него перед историей; это предстательство, каково бы оно ни было, несомненно и прежде всего бескорыстно; эпитафия, написанная умершим, искренна; тени дозволено утешить другую тень; пребывание в одном и том же мраке дает право воздать хвалу; и вряд ли нужно опасаться, что когда-нибудь скажут о двух могилах изгнанников: «Обитатель одной польстил другому».

К тому времени, когда драма, о которой мы повествуем в этой книге, должна проникнуть в толщу одной из мрачных туч, заволакивающих начало царствования Луи-Филиппа, нам не следовало допускать недомолвок и необходимо было дать объяснение личности короля.

Луи-Филипп взошел на престол, не применяя насилия, без прямого воздействия со своей стороны, благодаря революционному повороту, несомненно очень далекому от действительной цели революции, но в котором он, герцог Орлеанский, никакого личного почина не проявил. Он родился принцем и считал себя королем по избранию. Он не сам дал себе эти полномочия, не присваивал их; они были ему предложены, и он их принял, пусть ошибочно, но глубоко убежденный, что предложение отвечало его праву, а согласие принять — его долгу. Отсюда его уверенность в законности своей власти. Да, мы утверждаем это по чистой совести, Луи-Филипп был уверен в законности своей власти, а демократия была уверена в законности своей борьбы с нею, поэтому вина за то страшное, что порождает социальные битвы, не падает ни на короля, ни на демократию. Столкновение принципов подобно столкновению стихий. Океан защищает воду, ураган защищает воздух; король защищает королевскую власть, демократия защищает народ; относительно, то есть монархия, сопротивляется абсолютному, то есть республике; общество истекает кровью в этой борьбе, но то, что сейчас является его страданием, станет позднее спасением. Во всяком случае, не приходится порицать борющихся: одна из двух сторон явно находится в заблуждении; право не стоит, подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах — одной ногой опираясь на республику, другою — на монархию; оно неделимо и целиком находится на одной стороне; но заблуждающиеся заблуждаются искренно; слепой — не преступник, как вандеец — не разбойник. Припишем же эти страшные столкновения лишь роковому стечению обстоятельств. Каковы бы ни были эти бури, люди за них не ответственные.

Закончим наше изложение.

Правительству 1830 года тотчас же пришлось туго. Вчера родившись, оно должно было сегодня сражаться.

Едва успев утвердиться, оно сразу почувствовало смутное воздействие сил, направленных отовсюду на июльскую систему правления, столь недавно созданную и столь непрочную.

Сопротивление появилось на следующий же день; быть может даже, оно родилось накануне.

С каждым месяцем враждебность росла и из тайной стала явной.

Июльская революция, как мы отмечали, плохо встреченная королями вне Франции, была в самой Франции истолкована различно.

Бог открывает людям свою волю в событиях — это темный текст, написанный на таинственном языке. Люди тотчас же делают переводы, — переводы поспешные, неправильные, полные промахов, пропусков и искажений. Очень немногие понимают язык божества. Наиболее прозорливые, спокойные, глубокие расшифровывают его медленно, и когда они приходят со своим текстом, оказывается, что работа эта давно уже сделана — на площади выставлено двадцать переводов. Из каждого перевода рождается партия, из каждого искажения — фракция; и каждая партия полагает, что только у нее правильный текст, каждая фракция полагает, что истина — лишь ее достояние.

Нередко и сама власть является фракцией.

Во всех революциях встречаются пловцы, которые плывут против течения, — это старые партии.

По мнению старых партий, признающих лишь наследственную власть божией милостью, если революции возникают по праву на восстание, то по этому же праву можно восставать и против них. Заблуждение. Ибо во время революции бунтовщиком является не народ, а король. Именно революция и является противоположностью бунта. Каждая революция, будучи естественным завершением, заключает в самой себе свою законность, которую иногда бесчестят мнимые революционеры; но даже запятнанная ими, она держится стойко, и даже обогрелая кровью, она выживает. Революция не случайность, а необходимость. Революция — это возвращение от

искусственного к естественному. Она происходит потому, что должна произойти.

Тем не менее старые легитимистские партии нападали на революцию 1830 года со всей яростью, порожденной их ложными взглядами. Заблуждения — отличные метательные снаряды. Они умело поражали эту революцию там, где она была уязвима за отсутствием брони, — за недостатком логики; они нападали на эту революцию в ее королевском обликии. Они ей кричали: «Революция, а зачем же у тебя король?» Старые партии — это слепцы, которые целят метко.

Республиканцы в свою очередь кричали о том же. Но с их стороны это было последовательно. То, что являлось слепотой у легитимистов, было прозорливостью у демократов. 1830 год обанкротился в глазах народа. Негодующая демократия упрекала его в этом.

Июльское установление отражало атаки прошлого и будущего. В нем как бы воплощалась минута, вступившая в бой и с монархическими веками и с вечным правом.

Кроме того, перестав быть революцией и превратившись в монархию, 1830 год был обязан за пределами Франции идти в ногу с Европой. Сохранять мир — значило еще больше усложнить положение. Гармония, которой добиваются вопреки здравому смыслу, нередко более обременительна, чем война. Из этого глухого столкновения, всегда сдерживаемого намордником, но всегда рычащего, рождается вооруженный мир — разорительная политика цивилизации, самой себе внушающей недоверие. Какова бы ни была Июльская монархия, но она вставала на дыбы в запряжке европейских кабинетов. Меттерних охотно взял бы ее в повод. Подгоняемая во Франции прогрессом, она в свою очередь подгоняла европейские монархии, этих тихоходов. Взятая на буксир, она сама тащила на буксире.

А в то же время внутри страны обнищание, пролетариат, заработная плата, воспитание, карательная система, проституция, положение женщины, богатство, бедность, производство, потребление, распределение, обмен, валюта, кредит, права капитала, права труда — все эти вопросы множились, нависая над обществом черной тучей.

Вне политических партий в собственном смысле этого слова обнаружилось и другое движение. Демократиче-

скому брожению отвечало брожение философское. Избранные умы чувствовали себя встревоженными, как и толпа; по-другому, но в такой же степени.

Мыслители размышляли, в то время как почва, — то есть народ, — изрытая революционными течениями, дрожала под ними, словно в каком-то глухом эпилептическом припадке. Эти мечтатели, некоторые в одиночестве, другие — объединившись в тесные семьи, почти в сообщества, исследовали социальные вопросы мирно, но глубоко; бесстрастные рудокопы, они тихонько прокладывали свои ходы в глубинах вулкана, мало обеспокоенные отдаленными толчками и вспышками пламени.

Это спокойствие занимало не последнее место в ряду прекрасных зрелищ той бурной эпохи.

Люди эти предоставили политическим партиям вопросы права, сами же занялись вопросом человеческого счастья.

Человеческое благополучие — вот что хотели они добыть из недр общества.

Они подняли вопросы материальные, вопросы земледелия, промышленности, торговли, почти до высоты религии. В цивилизации, такой, какою она создается, — отчасти богом и, гораздо больше, людьми, — интересы переплетаются, соединяются и сплавляются так, что образуют настоящую скалу, согласно закону движения, терпеливо изучаемому экономистами, этими геологами политики.

Люди эти, объединившиеся под разными названиями, но которых можно в целом определить их родовым наименованием — социалисты, пытались просверлить скалу, чтобы забил из нее живой родник человеческого счастья.

Их труды охватывали все, начиная от смертной казни и кончая вопросом о войне. К правам человека, провозглашенным французской революцией, они прибавили права женщины и права ребенка.

Пусть не удивляются, что мы, по разным соображениям, не обсуждаем здесь исчерпывающим образом, с точки зрения теоретической, вопросы, затронутые социалистами. Мы ограничиваемся тем, что указываем на них.

Все проблемы, выдвинутые социалистами, за исключением космогонических бредней, грез и мистицизма, могут быть сведены к двум основным проблемам.

Первая проблема: создать материальные богатства.

Вторая проблема: распределить их.

Первая проблема включает вопрос о труде.

Вторая — вопрос о плате за труд.

В первой проблеме речь идет о применении производительных сил.

Во второй — о распределении жизненных благ.

Следствием правильного применения производительных сил является общественная мощь.

Следствием правильного распределения жизненных благ является счастье личности.

Под правильным распределением следует понимать не равное распределение, а распределение справедливое. Основа равенства — справедливость.

Из соединения этих двух начал — общественной мощи вовне и личного благоденствия внутри — следует социальное процветание.

Социальное процветание означает: счастливый человек, свободный гражданин, великая нация.

Англия разрешила первую из этих двух проблем. Она превосходно создает материальные богатства, но плохо распределяет их. Такое однобокое решение роковым образом приводит ее к двум крайностям: чудовищному богатству и чудовищной нужде. Все жизненные блага — одним, все лишения — другим, то есть народу, причем привилегии, исключения, монополии, власть феодалов являются порождением самой формы труда. Положение ложное и опасное, ибо общественное могущество зиждется тут на нищете частных лиц, а величие государства — на страданиях отдельной личности. Это — дурно созданное величие, где сочетаются все материальные его основы и куда не вошло ни одно нравственное начало.

Коммунизм и аграрный закон предполагают разрешить вторую проблему. Они заблуждаются. Такое распределение убивает производство. Равный дележ уничтожает соревнование и, следовательно, труд. Так мясник убивает то, что он делит на части. Стало быть, невозможно остановиться на этих притязающих на правильность решениях. Уничтожить богатство — не значит его распределить.

Чтобы хорошо разрешить обе проблемы, их нужно рассматривать совместно. Оба решения следует соединить, образовав из них лишь одно.

Решите только первую из этих двух проблем, и вы станете Венецией, вы станете Англией. Как Венеция, вы будете обладать мощью, созданной искусственно, или, как Англия, — материальным могуществом; вы будете неправедным богачом. Вы погибнете или насильственным путем, как умерла Венеция, или обанкротившись, как падет Англия. И мир предоставит вам погибнуть и пасть, потому что мир предоставляет падать и погибать всякому себялюбю, всему тому, что не являет собой для человеческого рода какой-либо добродетели или идеи.

Само собой разумеется, что словами: Венеция, Англия мы называем здесь не народ, а определенный общественный строй, — олигархии, стоящие над нациями, а не самые нации. Народы всегда пользуются нашим уважением и сочувствием. Венеция как народ возродится; Англия как аристократия падет, но Англия как народ — бессмертна. Отметив это, мы продолжаем.

Разрешите обе проблемы: поощряйте богатого и покровительствуйте бедному, уничтожьте нищету, положите конец несправедливой эксплуатации слабого сильным, наложите узду на неправую зависть того, кто находится в пути, к тому, кто достиг цели, по-братски и точно установите оплату за труд соответственно с работой, подарите бесплатное и обязательное обучение подрастающим детям, сделайте из знания основу зрелости; давая дело рукам, развивайте и ум, будьте одновременно могущественным народом и семьей счастливых людей, демократизируйте собственность, не отменив ее, но сделав общедоступной, чтобы каждый гражданин без исключения был собственником, а это легче, чем кажется, короче говоря, умейте создавать богатство и умейте его распределять; тогда вы будете обладать всем материальным величием и величием нравственным; тогда вы будете достойны называть себя Францией.

Вот что, пренебрегая некоторыми заблуждающимися сектами и возвышаясь над ними, утверждал социализм; вот чего он искал в фактах, вот что он подготовлял в умах.

Усилия, достойные восхищения! Святые порывы!

Эти учения, эти теории, это сопротивление, неожиданная для государственного человека необходимость считаться с философами, смутно намечавшиеся новые

истины, попытки создать новую политику, согласованную со старым строем и не слишком противоречащую революционным идеалам, положение вещей, при котором приходилось пользоваться услугами Лафайета для защиты Полиньяка, ощущение просвечивающего сквозь мятеж прогресса, палата депутатов и улица, необходимость уравнивать разгоревшиеся вокруг него страсти, вера в революцию, быть может, некое предвидение отречения в будущем, рожденное смутной покорностью высшему, неоспоримому праву, собственная честность, желание остаться верным своему роду, дух семейственности, искреннее уважение к народу — все это поглощало Луи-Филиппа почти болезненно и порой, при всей его стойкости и мужестве, угнетало его, давая чувствовать, как трудно быть королем.

Он чувствовал, что почва под ним в состоянии какого-то страшного распада, однако это не было полным разрушением, так как Франция оставалась Францией более, чем когда-либо.

Темные сгрудившиеся тучи покрывали горизонт. Странная тень, надвигавшаяся все ближе и ближе, мало-помалу распростерлась над людьми, над вещами, над идеями, — тень, отбрасываемая распрями и системами. Все, что было поспешно придушено, вновь оживало и начинало бродить. Иногда совесть честного человека задерживала дыхание, столько было нездорового в воздухе, где софизмы перемешивались с истинами. В этой тревоге, овладевшей обществом, умы трепетали, как листья перед близящейся бурей. Вокруг было такое скопление электричества, что в иные мгновения первый встречный, никому неведомый дотоле, мог вызвать вспышку света. Затем снова спускалась сумеречная тьма. Время от времени глухие отдаленные раскаты грома свидетельствовали о том, какой грозой чреваты были облака.

Едва прошло двадцать месяцев после Июльской революции, как в роковом и мрачном облике явил себя 1832 год. Народная нищета, труженики без хлеба, последний принц Конде, исчезнувший во мраке, Брюссель, изгнавший династию Нассау, как Париж — Бурбонов, Бельгия предлагавшая себя французскому принцу и отданная английскому, ненависть русского императора Николая, позади нас два беса полуденных — Фердинанд

Испанский и Мигель Португальский, землетрясение в Италии, Меттерних, протянувший руку к Болонье, Франция, оскорбившая Австрию в Анконе, на севере злобущий стук молотка, вновь заколачивающего в гроб Польшу, подстерегающие Францию раздраженные взгляды всей Европы, Англия — эта подозрительная союзница, готовая толкнуть то, что колеблется, и наброситься на то, что упадет, суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора, лилии, соскобленные с кареты короля, крест, сорванный с Собора Парижской богородицы, униженный Лафайет, разоренный Лафит, умерший в бедности Бенжамен Констан, потерявший все свое влияние и скончавшийся Казимир Перье; болезнь политическая и болезнь социальная, вспыхнувшие сразу в обеих столицах королевства — одна в городе мысли, другая в городе труда: в Париже война гражданская, в Лионе — война рабочих; в обоих городах один и тот же отблеск бушующего пламени; багровый свет извергающегося вулкана на челе народа; пришедший в исступление юг, возбужденный запад, герцогиня Беррийская в Вандее, заговоры, злоумышления, восстания, холера — все это прибавляло к смутному гулу идей смутную сумятицу событий.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые

К концу апреля все осложнилось. Брожение переходило в кипение. После 1830 года там и сям вспыхивали небольшие отдельные бунты, быстро подавляемые, но возобновлявшиеся, — признак широко разлившегося, скрытого пожара. Назревало нечто страшное. Проступали еще недостаточно различимые и плохо освещенные очертания возможной революции. Франция смотрела на Париж; Париж смотрел на Сент-Антуанское предместье.

Сент-Антуанское предместье, втайне подогреваемое, начинало бурлить.

Кабачки на улице Шарон стали серьезными и грозными — как ни покажется странным применение двух этих эпитетов к кабачкам.

Правительство попросту и откровенно было там взято под сомнение. Открыто обсуждалось: *драться или сохранять спокойствие*. Кое-где в задних помещениях кабачков с рабочих брали клятву, что они выйдут на улицу при первой тревоге и «будут драться, невзирая на численность врага». Как только обязательство было принято, человек, сидевший в углу кабачка, «повышал голос» и говорил: *Ты дал согласие! Ты в этом поклялся!* Иногда поднимались на второй этаж в запертую комнату, и там происходили сцены, почти напоминавшие масонские обряды. Посвященного приводили к присяге «служить делу так же, как дети служат отцу». Такова была ее формула.

В общих залах читали «крамольные» брошюры. Они поносили правительство, как сообщает секретное донесение того времени.

Там слышались такие слова: *Мне неизвестны имена вождей. Что до нас, то мы узнаем о назначенном дне только за два часа*. Один рабочий сказал: *Нас триста человек, дадим каждый по десять су — вот вам сто пятьдесят франков на порох и пули*. Другой сказал: *Мне не нужно шести месяцев, не нужно и двух. Не минет и двух недель, как мы сравняемся с правительством. Собрав двадцать пять тысяч человек, можно схватиться вплотную*. Третий заявил: *Я почти совсем не сплю, всю ночь делаю патроны*. Время от времени появлялись люди «хорошо одетые, по виду буржуа», «производили замешательство» и, держась «распорядителями», пожимали руки *самым главным*, потом уходили. Они никогда не оставались больше десяти минут. Понизив голос, они обменивались многозначительными словами: *Заговор созрел. Дело готово*. «Об этом твердили все, кто был там», — как выразился один из присутствовавших. Возбуждение было таково, что однажды в переполненном кабачке какой-то рабочий закричал: *У нас нет оружия!* Один из его приятелей ответил: *Оно есть у солдат!* — пародируя, сам того не зная, обращение Бонапарта к Итальянской армии. «Когда дело касалось какой-нибудь более важной тайны, — прибавляет один из рапортов, — то там они ее не сообщали друг другу». Непонятно, что еще они могли скрывать, сказав то, что ими было сказано.

Нередко такие собрания принимали вполне регулярный характер. На иных никогда не бывало больше восьми

или десяти человек, всегда одних и тех же. На другие ходил всякий, кто хотел, и зал бывал так переполнен, что люди принуждены были стоять. Одни шли туда, потому что были охвачены страстным энтузиазмом, другие — потому что это им было по пути на работу. Как и во время революции 1789 года, эти собрания посещали женщины-патриотки, встречавшие поцелуем вновь прибывших.

Стали известны и другие красноречивые факты.

Человек входил в кабачок, выпивал и уходил со словами: *Должок мой, дядюшка, уплатит революция.*

У кабатчика, что напротив улицы Шарон, намечали революционных уполномоченных. Избирательные записки собирали в фуражки.

Рабочие сходились на улице Котт, у одного фехтовальщика, который учил приемам нападения. Там имелся набор оружия, состоявший из деревянных эспадронов, тростей, палок и рапир. Настал день, когда пуговицы с рапир сняли. Один рабочий сказал: *Нас двадцать пять, но я не в счет, потому что меня считают рохлей.* Этим «рохлей» впоследствии оказался не кто иной, как Кениссе.

Некоторые замыслы мало-помалу становились каким-то непонятным образом известными. Одна женщина, подметавшая у своего дома, сказала другой: *Уже давно повсю выдвывают патроны.* На улицах открыто читали прокламации, обращенные к национальным гвардейцам департаментов. Одна из прокламаций была подписана: *Борто, виноторговец.*

Однажды на рынке Лемуар, возле лавочки, торговавшей водочными настойками, какой-то бородач с итальянским акцентом, взобравшись на тумбу, громко читал необычное рукописное послание, казалось исходившее от некой таинственной власти. Вокруг него собрались кучками слушатели и рукоплескали ему. Отдельные выражения, особенно сильно возбуждавшие толпу, были собраны и записаны: «...Нашему учению ставят препятствия, наши воззвания уничтожают, наших людей выслеживают и заточают в тюрьмы...». «Беспорядки, имевшие место на мануфактурах, привлекли на нашу сторону умеренных людей». «...Будущее народа создается в наших неизвестных рядах». «...Выбор возможен лишь один: действие или противодействие, революция или контрреволюция.

Ибо в нашу эпоху больше не верят ни бездеспотности, ни неподвижности. С народом или против народа — вот в чем вопрос. Другого не существует». «...В тот день, когда мы окажемся для вас неподходящими, замените нас, но до тех пор помогайте нам идти вперед». Все это говорилось среди бела дня.

Другие выступления, еще более дерзкие, были подозрительны народу именно по причине этой дерзости. 4 апреля 1832 года прохожий, вскочив на тумбу на углу улицы св. Маргариты, вскричал: «Я бабувист!» Но за именем Бабефа народ учуял Жиске.

Между прочим этот прохожий говорил:

— Долой собственность! Левая оппозиция — это трусы и предатели. Когда ей надо доказать, что она в здравом уме, она проповедует революцию. Она объявляет себя демократкой, чтобы не быть побитой, и роялисткой, чтобы не драться. Республиканцы — мокрые курицы. Не доверяйте республиканцам, граждане трудящиеся!

— Молчать, гражданин шпик! — крикнул ему рабочий.

Этот окрик положил конец его речи.

Бывали и таинственные случаи.

Как-то к вечеру один рабочий встретил возле канала «хорошо одетого господина», который его спросил: «Куда идешь, гражданин?» — «Сударь, — ответил рабочий, — я не имею чести вас знать». — «Зато я тебя хорошо знаю, — сказал тот и прибавил: — Не бойся. Я уполномоченный комитета. Подозревают, что ты не очень надежен. Знай, если ты что-нибудь выболтаешь, то это будет известно, за тобою следят». Потом, пожав рабочему руку, он ушел, сказав: «Мы скоро увидимся».

Полиция, подслушивая разговоры, отмечала уже не только в кабачках, но и на улицах странные диалоги.

— Постарайся-ка получить поскорей, — говорил ткач краснодеревцу.

— Почему?

— Да придется пострелять малость.

Двое оборванных прохожих обменялись следующими примечательными словами, явно отдававшими жаке-рией:

— Кто нами правит?

— Господин Филипп.

— Нет, буржуазия..

Те, кто подумают, что мы употребляем слово «жакерия» в дурном смысле, ошибутся. Участники жакерии — это бедняки.

В другой раз слышали, как один прохожий говорил другому: «У нас отличный план наступления».

Из конфиденциального разговора, происходившего между четырьмя мужчинами, сидевшими во рву круглой площади возле Тронной заставы, только и удалось слышать, что: «Сделают все возможное, чтобы он не разгуливал больше по Парижу».

Кто это «он»? Неизвестность, исполненная угрозы.

«Вожаки», как их называли в предместье, держались в стороне. Полагали, что они сходятся для согласования действий в кабачке возле церкви Сент-Эташ. Некто, по прозвищу «Ог», председатель общества взаимопомощи портных на улице Мондетур, считался главным посредником между вожаками и Сент-Антуанским предместьем. Тем не менее эти вожаки всегда были в тени и ни одна самая неопровержимая улика не могла поколебать замечательной сдержанности следующего ответа, данного позже одним обвиняемым на суде пэров.

— Кто ваш руководитель? — спросили его.

— *Я этого не знал, да и не разузнавал, кто он.*

Впрочем, пока это были только слова, прозрачные по смыслу, но неопределенные; иногда пустые предположения, слухи, пересуды. Но появлялись и другие признаки.

Плотник, обшивавший тесом забор вокруг строящегося дома на улице Рейи, нашел на этом участке клочок разорванного письма, где можно было еще разобрать следующие строки:

«...Необходимо, чтобы комитет принял меры с целью помешать набору людей в секции некоторых обществ...»

И в приписке:

«Мы узнали, что на улице Фобур-Пуасоньер № 5 (б) у оружейника во дворе имеются ружья в количестве пяти или шести тысяч. У секции совсем нет ружей».

Это привело к тому, что плотник встревожился и показал свою находку соседям, тем более что немного подалее он подобрал другую бумажку, тоже разорванную

и еще более многозначительную. Мы воспроизводим ее начертание, имея в виду исторический интерес этого странного документа.

К	Ц	Д	Р	Выучите этот листок наизусть. Потом разорвите. Посвященные пусть сделают так же, после того как вы передадите им приказание. Привет и братство. Л. ю ог а¹ фе
---	---	---	---	--

Лица, знавшие тогда об этой таинственной находке, поняли только впоследствии скрытое значение четырех прописных букв — это были *квинтурионы*, *центурионы*, *декурионы*, *разведчики*, а буквы *ю ог а¹ фе* означали дату: 15 апреля 1832 года. Под каждой прописной буквой были написаны имена, сопровождавшиеся весьма примечательными указаниями: «К — *Банерель*. 8 ружей, 83 патрона. Человек надежный. Ц — *Бубьер*. 1 пистолет, 40 патронов; Д — *Роле*. 1 рапира, 1 пистолет, 1 фунт пороха; Р — *Тейсье*. 1 сабля, 1 патронташ. Точен; *Террор*. 8 ружей. Храбрец» и т. д.

Наконец тот же плотник нашел все внутри этой же ограды третью бумагу, на которой карандашом, но вполне разборчиво, был начертан следующий загадочный список.

Единство. Бланшар. Арбр-Сэк, 6.

Барра. Суаз. Счетная палата.

Костюшко. Обри-Мясник?

Ж. Ж. Р.

Кай Гракх.

Право осмотра. Дюфон. Фур.

Падение жирондистов. Дербак. Мобюэ.

Вашингтон. Зяблик. 1 пист. 86 патр.

Марсельеза.

Главенст. народа. Мишель. Кенкампуа. Сабля.

Гош.

Марсо. Платон. Арбр-Сэк.

Варшава. Тилли, продавец газеты «Попюлер».

Почтенный буржуа, в чьих руках осталась записка, распознал ее смысл. Повидимому, этот список был полным

перечнем секций четвертого округа общества Прав человека с именами и адресами главарей секций. В настоящее время, когда все эти факты, оставшиеся неизвестными, принадлежат лишь истории, можно их обнародовать. Нужно прибавить, что основание общества Прав человека как будто произошло позже той даты, когда эта бумага была найдена. Возможно, то был черновой набросок.

Тем не менее за намеками, словами и письменными свидетельствами начали обнаруживаться реальные дела.

На улице Попенкур, при обыске у старьевщика, в ящике комода нашли семь листов оберточной бумаги, одинаково сложенных пополам, а потом вчетверо; под этими листами были спрятаны двадцать шесть четвертушек такой же бумаги, свернутых для патронов, и карточка, на которой значилось:

Селитра	12 унций.
Сера	2 унции.
Уголь	2 с половиной унции.
Вода	2 унции.

Протокол обыска гласил, что ящик сильно отдавал запахом пороха.

Один каменщик, возвращаясь после рабочего дня, забыл небольшой сверток на скамье возле Аустерлицкого моста. Этот сверток отнесли на караульный пост. Его развернули и обнаружили два напечатанных диалога, подписанных *Лотьер*, песню, озаглавленную «Рабочие, соединяйтесь!», и жестяную коробку, полную патронов.

Один рабочий, выпивая со своим приятелем, в доказательство того, что ему жарко, предложил себя пощупать; тот, притронувшись к нему, обнаружил у него под курткой пистолет.

На бульваре, между Пер-Лашез и Тронной заставой, дети, игравшие в самом глухом его уголке, нашли в канаве, под кучей стружек и мусора, мешок, в котором была форма для отливки пуль, деревянная колодка для патронов, деревянная чашка с крупинками охотничьего пороха и маленький чугунный котелок с явными следами расплавленного свинца внутри.

Полицейские агенты, неожиданно явившись в пять часов утра к некоему Пардону, ставшему впоследствии

членом секции Баррикада-Мерри и убитому во время восстания в апреле 1834 года, застали его стоящим возле постели, в руке он держал патроны, изготовлением которых был занят.

Во время обеденного отдыха рабочих заметили двух человек, встретившихся между заставами Пикпюс и Шарантон на узкой дорожке дозорных, между двумя стенами, возле кабачка, у входа в который обычно играют в сиамские кегли. Один вытащил из-под своей блузы и передал другому пистолет. Вручая его, он заметил, что порох несколько отсырел на потной груди. Он проверил пистолет и подсыпал пороху на полку. После этого они расстались.

Некто, по имени Галле, впоследствии убитый на улице Бобур во время апрельских событий, хвастал, что у него есть семьсот патронов и двадцать четыре ружейных кремня.

Как-то раз правительство было извещено, что в предместьях роздано оружие и двести тысяч патронов. Неделию спустя было роздано еще тридцать тысяч патронов. Замечательно, что ни один патрон не попал в руки полиции. Перехваченное письмо сообщало: «Недалек день, когда восемьдесят тысяч патриотов встанут под ружье, как только пробьет четыре часа утра».

Все это брожение происходило в открытую и, можно сказать, почти спокойно. Назревавшее восстание готовило бурю на глазах у правительства. Все особенности этого пока еще тайного, но уже ощутимого кризиса были налицо. Буржуа мирно беседовали с рабочими о том, что предстояло. Осведомлялись: «Ну как восстание?» тем же тоном, каким спросили бы: «Как поживает ваша супруга?»

Мебельщик на улице Моро спрашивал: «Ну что ж, когда начнете?»

Другой лавочник говорил: «Дело начнется скоро, я это знаю. Месяц тому назад вас было пятнадцать тысяч, а теперь двадцать пять». Он предлагал свое ружье, а сосед — маленький пистолет, за который он хотел семь франков.

Впрочем, революционная горячка усиливалась. Ни один уголок Парижа и Франции не был исключением. Всюду ощущалось биение ее пульса. Подобно оболочкам,

которые образуются в человеческом теле вокруг тканей, пораженных воспалительным процессом, сеть тайных обществ начала распространяться по всей стране. Из общества Друзей народа, открытого и тайного одновременно, возникло общество Прав человека, датировавшее одно из своих распоряжений так: *Плювиоз, год 40-й республиканской эры*, — общество, которому было суждено пережить даже постановление уголовного суда о своем роспуске и которое, не колеблясь, давало своим секциям следующие многозначительные названия:

Пики.

Набат.

Сигнальная пушка.

Фригийский колпак.

21 января.

Нищие.

Бродяги.

Робеспьер.

Нивелир.

Настанет день.

Общество Прав человека породило общество Действия. Его образовали нетерпеливые, отколовшиеся от общества и забежавшие вперед. Другие союзы пополнялись за счет единомышленников из больших основных обществ. Члены секций жаловались, что их тянут в разные стороны. Так образовался *Галльский союз* и *Организационный комитет городских самоуправлений*. Так образовались союзы: *Свобода печати*, *Свобода личности*, *Народное образование*, *Борьба с косвенными налогами*. Затем общество Рабочих — поборников равенства, делившееся на три фракции: поборников равенства, коммунистов и реформистов. Затем Армия Бастилии, род когорты, организованной по-военному: каждой четверкой командовал капрал, десятую — сержант, двадцатую — младший лейтенант, четырьмя десятками — лейтенант; в ней никогда не знали друг друга больше, чем пять человек. Эта выдумка, где осторожность сочеталась со смелостью, казалось, была отмечена гением Венеции. Стоящий во главе центральный комитет имел две руки — общество Действия и Армию Бастилии. Легитимистский союз Рыцарей верности сеял смуту среди этих республиканских объединений. Он был разоблачен и изгнан.

Парижские общества разветвлялись в главных городах. В Лионе, Нанте, Лилле и Марселе были свои общества Прав человека, Карбонариев, Свободного человека. В Эксе было революционное общество под названием Кугурда. Мы уже упоминали о нем.

В Париже предместье Сен-Марсо кипело не меньше, чем предместье Сент-Антуан, и учебные заведения волновались не меньше, чем предместья. Кафе на улице Сент-Иасент и кабачок «Семь бильярдov» на улице Матюрен-Сен-Жак служили местом сборища студентов. Общество Друзей азбуки, тесно связанное с обществами взаимопомощи в Анжере и Кугурды — в Эксе, как известно, устраивало собрания в кафе «Мюзен». Те же самые молодые люди встречались, о чем мы уже упоминали, в кабачке «Коринф», близ улицы Мондетур. Эти собрания были тайными. Другие, насколько обстоятельства допускали, были открытыми, и об их вызывающе смелом характере можно судить по отрывку допроса в одном из последующих процессов: «Где происходило собрание? — На улице Мира. — У кого? — На улице. — Какие секции были там? — Одна. — Какая именно? — Секция Манюэль. — Кто был ее руководителем? — Я. — Вы еще слишком молоды, чтобы самостоятельно принять это опасное решение вступить в борьбу с правительством. Откуда вы получали указания? — Из Центрального комитета».

Армия была в такой же степени взбудоражена, как и народ, что подтвердилось позднее волнениями в Бельфоре, Люневиле и Эпинале. Мятежники рассчитывали на пятьдесят второй полк, пятый, восьмой, тридцать седьмой и двадцатый кавалерийский. В Бургундии и южных городах водружали дерево Свободы, то есть шест, увенчанный красным колпаком.

Таково было положение дел.

И это положение дел, как мы уже говорили в самом начале, особенно сильно и остро давало себя чувствовать в Сент-Антуанском предместье. Именно там был очаг возбуждения.

Это старинное предместье, населенное, как муравейник, работающее, смелое и сердитое, как улей, трепетало в нетерпеливом ожидании взрыва. Там все волновалось, но работа из-за этого не осганавливалась. Ничто не могло бы дать представления о его живом и сумрачном

облике. В этом предместье под кровлями мансард скрывалась потрясающая нищета; там же можно было найти людей пылкого и редчайшего ума. А именно нищета и ум являются особенно грозным сочетанием крайностей.

У предместья Сент-Антуан были еще и другие причины для волнений: на нем всегда отражаются торговые кризисы, банкротство, стачки, безработица, неотделимые от великих политических потрясений. Во время революции нужда — одновременно и причина и следствие. Удар ее разящей руки отзывается и на ней самой. Население этого предместья, исполненное неустрашимого мужества, способное таить в себе величайший душевный пыл, всегда готовое взяться за оружие, легко воспламеняющееся, раздраженное, непроницаемое, подготовленное к восстанию, казалось, только ожидало искры. Каждый раз, как только на горизонте реяли эти искры, гонимые ветром событий, нельзя было не подумать о Сент-Антуанском предместье и о грозной случайности, поместившей у ворот Парижа эту пороховницу страдания и мысли.

Кабачки «предместья Антуан», уже не раз упомянутые в предшествующем очерке, отмечены исторической известностью. Во времена смут здесь опьянялись словом больше, чем вином. Здесь чувствовалось воздействие некоего пророческого духа и веяний будущего, переполнявших сердца и возвеличивавших душу. Кабачки Антуанского предместья походят на таверны Авентинского холма, построенные над пещерой Сивиллы, откуда проникали в них идущие из глубин ее священные дуновения, — на те таверны, где столы были почти подобны треножникам и где пили тот напиток, который Энний называет *сивиллиным вином*.

Сент-Антуанское предместье — это запасное хранилище народа. Революционное потрясение вызывает в нем трещины, сквозь которые пробивается верховная власть народа. Эта верховная власть может поступать дурно, у нее, как и у всякой другой, возможны ошибки; но, даже заблуждаясь, она остается великой. О ней можно сказать, как о слепом циклопе: *Ingens*¹.

В 93-м году, в зависимости от того, хороша или дурна была идея, владевшая умами, говорил ли в них в этот

¹ Могучий (лат.).

день фанатизм или благородный энтузиазм, из Сент-Антуанского предместья выходили легионы дикарей или отряды героев.

Дикарей. Объяснимся по поводу этого выражения. Чего хотели эти озлобленные люди, которые в дни создающего революционного хасса, оборванные, рычащие, свирепые, с дубинами наготове, с поднятыми пиками неистово бросались на старый потрясенный Париж? Они хотели положить конец угнетению, конец тирании, конец войнам; они хотели работы для взрослого, грамоты для ребенка, общественной заботы для женщины, свободы, равенства, братства, хлеба для всех, превращения всего мира в рай земной, Прогресса. И доведенные до крайности, вне себя, страшные, полуголые, с дубинами в руках, с проклятиями на устах, они требовали этого святого, доброго и мирного прогресса. То были дикари, да; но дикари цивилизации.

Они с остервенением утверждали право; пусть даже путем страха и ужаса, но они хотели принудить человеческий род жить в раю. Они казались варварами, а были спасителями. Они требовали света, сами скрытые под маской тьмы.

Наряду с этими людьми, свирепыми и страшными, мы признаем это, но свирепыми и страшными во имя блага, есть и другие люди, улыбающиеся, в расшитой золотой одежде, в лентах и звездах, в шелковых чулках, белых перьях, желтых перчатках, лакированных туфлях; облокотившись на обитый бархатом столик возле мраморного камина, они кротко высказываются за сохранение и поддержку прошлого, средневековья, священного права, фанатизма, невежества, рабства, смертной казни и войны, вполголоса и учтиво прославляя меч, костер и эшафот. Что до нас, то если бы мы были вынуждены сделать выбор между варварами цивилизации и цивилизованными варварами, — мы выбрали бы первых.

Но, благодарение небу, возможен другой выбор. Нет необходимости низвергаться в бездну ни ради прошлого, ни ради будущего. Ни деспотизма, ни террора. Мы хотим идти к прогрессу пологой тропинкой.

Господь позаботится об этом. Сглаживание неровностей пути — в этом вся политика бога.

Незадолго до этого времени Анжольрас, предвидя возможные события, произвел нечто вроде скрытой проверки.

Все были на тайном собрании в кафе «Мюзен».

Вводя в свою речь несколько полузагадочных, но многозначительных метафор, Анжольрас сказал:

— Не мешает знать, чем мы располагаем и на кого можем рассчитывать. Кто хочет иметь бойцов, должен их подготовить. Должен иметь, чем воевать. Повредить это не может. Когда на дороге быки, у прохожих больше вероятности попасть им на рога, чем тогда, когда их нет. Подсчитаем же примерно, каково наше стадо. Сколько нас? Не стоит откладывать это дело на завтра. Революционеры всегда должны спешить; у прогресса мало времени. Не будем доверять неожиданному. Не дадим захватить себя врасплох. Нужно пройтись по всем швам, которые мы сделали, и посмотреть, прочны ли они. Доведем дело до конца, и сегодня же. Ты, Курфейрак, пойди взглянуть на политехников. Сегодня среда — у них день отдыха. Фейи, вы взглянете на тех, что в Гласьер, не так ли? Комбефер обещал мне побывать в Пикпюсе. Там все здорово кипит. Баорель посетит Эстрападу. Прувер, масоны охладевают; ты принесешь нам вести о ложе на улице Гренель-Сент-Оноре. Жоли пойдет в клинику Дюпюитрена и пощупает пульс у Медицинской школы. Боссюз прогуляется до судебной палаты и поговорит с начинающими юристами. Сам я займусь Кугурдой.

— Вот и все в порядке, — сказал Курфейрак.

— Нет.

— Что же еще?

— Очень важное дело.

— Какое? — спросил Курфейрак.

— Менская застава, — ответил Анжольрас.

Он немного помедлил, как бы раздумывая, потом снова заговорил:

— У Менской заставы живут мраморщики, художники, ученики ваятелей. Это ребята горячие, но склонные остывать. Я не знаю, что с ними происходит с некоторого времени. Они думают о чем-то другом. Их пыл угасает.

Они тратят время на домино. Совершенно необходимо поговорить с ними немного, но крепко. Они собираются у Ришфе. Там их можно застать между двенадцатью и часом. Надо бы раздуть этот уголь под пеплом. Я рассчитывал на этого беспамятного Мариуса, малого в общем славного, но он не появляется. Мне бы нужен был кто-нибудь для Менской заставы. Но у меня нет людей.

— А я? — сказал Грантэр. — Я-то ведь здесь.

— Ты?

— Я.

— Тебе поучать республиканцев! Тебе раздувать, во имя принципов, огонь в охладевших сердцах!

— Почему же нет?

— Да разве ты на что-нибудь годишься?

— Но я, некоторым образом, стремлюсь к этому.

— Ты ни во что не веришь.

— Я верю в тебя.

— Грантэр, хочешь оказать мне услугу?

— Какую угодно! Могу даже почистить тебе сапоги.

— Хорошо, в таком случае не вмешивайся в наши дела. Потягивай свой абсент.

— Анжольрас, ты неблагодарен.

— И ты скажешь, что готов пойти к Менской заставе? Ты способен на это?

— Я способен спуститься по улице Гре, пересечь площадь Сен-Мишель, пройти улицей Принца до улицы Вожиар, потом миновать Кармелитов, свернуть на улицу Ассас, добраться до улицы Шерш-Миди, оставить за собой Военный совет, пробежать Старым Тюильри, проскочить бульвар, наконец, следуя по Менскому шоссе, перейти через заставу и попасть прямо к Ришфе. Я способен на это. И мои сапоги тоже способны.

— Знаешь ли ты хоть немного товарищей у Ришфе?

— Не так, чтобы очень. Однако я с ними на «ты».

— Что же ты им скажешь?

— Я поговорю с ними о Робеспьере, чорт возьми! О Дантоне. О принципах.

— Ты?!

— Я. Меня не ценят. Но когда я берусь за дело, берегись! Я читал Прюдома, мне известен «Общественный договор», я знаю наизубок конституцию Второго года! «Свобода одного гражданина кончается там, где начи-

нается свобода другого». И по-твоему, я невежда? У меня в письменном столе хранится старая ассигнация. Права человека, верховная власть народа, чорт меня побери! Я даже немного эбертист. Я могу с часами в руках толковать о самых изумительных вещах шесть часов подряд.

— Будь посерьезнее, — сказал Анжольрас.

— Уж куда серьезнее! — ответил Грантэр.

Анжольрас подумал немного и вскинул голову, словно человек, который принял решение.

— Грантэр, — сказал он значительно, — я согласен испытать тебя. Отправляйся к Менской заставе.

Грантэр жил в меблированных комнатах рядом с кафе «Мюзен». Он ушел и вернулся через пять минут. Он побывал дома, чтобы надеть жилет во вкусе эпохи Робеспьера.

— Красный, — сказал он, входя и пристально глядя на Анжольраса.

Потом энергично похлопал ладонью по двум пунцовым отворотам жилета у себя на груди.

Подойдя к Анжольрасу, он шепнул ему на ухо:

— Не беспокойся.

Затем решительно нахлобучил шляпу и отбыл.

Четверть часа спустя задняя комната кафе «Мюзен» была пуста. Все Друзья азбуки разошлись каждый по своему делу. Анжольрас, взявший на себя Кугурду, вышел последним.

Члены Кугурды из Экса, находившиеся в Париже, собирались тогда в долине Исси, в одной из заброшенных каменоломен, столь многочисленных по эту сторону Сены.

Анжольрас, шагая к месту встречи, обдумывал про себя положение вещей. Серьезность того, что происходило, была очевидна. Когда события, предвестники некоей скрытой общественной болезни, развертываются медленно, малейшее осложнение останавливает их и запутывает. Здесь причина развала и возрождения. Анжольрас прозревал блистательное восстание под темным покровом будущего. Кто знает? Быть может, эта минута приближается. Народ, снова завоевывающий свои права! Какое прекрасное зрелище! Революция снова величественно завладевает Францией, вещая миру: «Продолжение завтра». Анжольрас был доволен. Горнило дышало жаром. За Анжольрасом тянулась в этот самый

миг длинная пороховая дорожка — его друзья, рассеянные по всему Парижу. Мысленно он соединял философское и проникновенное красноречие Комбефера с восторженностью Фейи — этого гражданина мира, с пылом Курфейрака, смехом Баорея, грустью Жана Прувера, ученостью Жоли, сарказмами Боссюэ, — все вместе производило своего рода электрическое потрескивание, повсюду и одновременно сопровождающееся искрами. Все за работой. Результат без сомнения будет достоин затраченных усилий. Это хорошо. И тут он вспомнил о Грантэре. «Собственно говоря, Менская застава мне почти по пути, — сказал он про себя. — Не пойти ли мне к Ришфе? Посмотрим-ка, что делает Грантэр и чего он успел добиться».

На колокольне Вожирар пробило час, когда Анжольрас добрался до курильни Ришфе. Он вошел, отпустив дверь, с размаху хлопнувшую его по спине, скрестил руки и окинул взглядом залу, заполненную столами, людьми и табачным дымом.

Чей-то голсс грохотал в этом тумане, нетерпеливо прерываемый другими. То был Грантэр, споривший со своим противником.

Грантэр сидел с кем-то за столиком из крапчатого мрамора, посыпанным отрубями и усеянным созвездиями костяшек домино. Он стучал кулаком по этому мрамору, и вот что услышал Анжольрас:

- Два раза шесть.
- Четверка.
- Свинья! У меня таких нет.
- Ты пропал. Двойка.
- Шесть.
- Три.
- Очко!
- Мне ходить.
- Четыре очка.
- Неважно.
- Тебе ходить.
- Я здорово промазал.
- Ты пошел правильно.
- Пятнадцать.
- И еще семь.

— Теперь у меня двадцать два. (Задумчиво.) Двадцать два!

— Ты не ожидал двойной шестерки. Если бы я ее поставил в самом начале, вся игра пошла бы иначе.

— Та же двойка.

— Очко!

— Очко? Так вот тебе пятерка.

— У меня нет.

— Но ведь ты ее как будто выставил?

— Да.

— Пустышка.

— Ну и везет тебе! Да... Тебе повезло! (Длительное раздумье.) Два.

— Очко!

— Ни пятерки, ни очка. Не очень-то приятная штука для тебя.

— Домино!

— Чорт тебя побери!

Книга вторая

ЭПЮНИНА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жаворонково поле

Мариус присутствовал при неожиданной развязке событий в той западне, на след которой он навел Жавера; но лишь только Жавер покинул лачугу, увозя с собой на трех фнакрах своих пленников, как Мариус в свою очередь ускользнул из дома. Было только девять часов вечера. Мариус отправился к Курфейраку. Курфейрак больше не был старожилом Латинского квартала: «по соображениям политическим», он жил теперь на Стекольной улице; этот квартал принадлежал к числу тех, где в описываемые времена охотно находило себе прибежище восстание. Мариус сказал Курфейраку: «Я пришел к тебе ночевать». Курфейрак стащил с кровати один из двух тюфяков, разложил его на полу и ответил: «Готово».

На следующий день в семь часов утра Мариус отправился в лачугу Горбо, заплатил за квартиру и все, что причиталось тетушке Бурчунье, нагрузил на ручную тележку книги, постель, стол, комод и два стула и удалился, не оставив своего адреса, так что когда утром явился Жавер, чтобы допросить его о вчерашних событиях, то застал только тетушку Бурчунью, ответившую ему: «Съехал!»

Тетушка Бурчунья была убеждена, что Мариус в какой-то мере был сообщником воров, схваченных ночью. «Кто бы подумал! — восклицала она, болтая с соседними привратницами. — Такой скромный молодой человек, ну прямо красная девушка!»

У Мариуса было два основания для столь быстрой перемены жилья. Первое — испытываемый им теперь ужас при мысли об этом доме, где он видел так близко, во всем его расцвете, в самом отвратительном и свирепом облике, социальное уродство, быть может еще более страшное, чем злодей богач: он видел злодея бедняка. Второе — его нежелание участвовать в каком бы то ни было судебном процессе, который, по всей вероятности, был неизбежен, и выступать свидетелем против Тенардье.

Жавер думал, что молодой человек, имени которого он не запомнил, испугался и убежал или, быть может, даже вовсе не вернулся домой к тому времени, когда была поставлена засада; тем не менее он пытался разыскать его, но безуспешно.

Прошел месяц, затем другой. Мариус все еще жил у Курфейрака. Через знакомого начинающего адвоката, завсегда судя, он узнал, что Тенардье в одиночном заключении. Каждый понедельник Мариус передавал для него в канцелярию тюрьмы Форс пять франков.

Мариус, у которого денег больше не было, брал эти пять франков у Курфейрака. Впервые в жизни он занимал деньги. Эти регулярно занимаемые пять франков стали двойной загадкой: для Курфейрака, дававшего их, и для Тенардье, получавшего их. «Для кого бы это?» — раздумывал Курфейрак. «Откуда бы это?» — вопрошал себя Тенардье.

Однако Мариус глубоко страдал. Все снова как бы скрылось в подполье. Он ничего более не видел впереди; его жизнь опять погрузилась в тайну, где он бродил ощупью. Одно мгновение в этой тьме, совсем близко от него, вновь промелькнули молодая девушка, которую он любил, и старик, казавшийся ее отцом, — неведомые ему существа, составлявшие единственный смысл его жизни, единственную надежду в этом мире; и в тот миг, когда он надеялся их обрести, какое-то дуновение унесло с собой эти тени. Ни проблеска истины, ни искры уверенности не вспыхнуло в нем даже при таком страшном ударе. Никакой догадки. Больше того, теперь он не знал даже имени, а прежде думал, что знает. Несомненно одно: Урсулой она не звалась. А «Жаворонок» — только прозвище. Что же думать о старике? Действительно ли он скрывался от полиции? Мариусу вспомнился ведеволасый рабочий,

которого он встретил недалеко от Дома инвалидов. Теперь ему стало казаться вероятным, что этот рабочий и г-н Белый были одним и тем же лицом. Значит, он переодевался? В этом человеке было что-то героическое и что-то двусмысленное. Почему он не позвал на помощь? Почему он бежал? Был ли он или не был отцом молодой девушки? Наконец был ли он именно тем человеком, которого Тенардые якобы признал? Разве Тенардые не мог ошибиться? Сколько неразрешимых задач! Все это, правда, ничуть не умаляло ангельского очарования молодой девушки из Люксембургского сада. Мариуса снедала мучительная тоска, страсть жгла его сердце, тьма стояла в глазах. Его отталкивало и влекло одновременно, и он не мог двинуться с места. Все исчезло, кроме любви. Но ему изменил самый инстинкт любви, исчезли ее внезапные озарения. Обычно то пламя, которое сжигает нас, вместе с тем и несколько просветляет, отбрасывая мерцающий отблеск вовне и указуя нам путь. Но Мариус уже больше не слышал этих тайных советов страсти. Никогда он не говорил себе: «Не пойти ли туда-то? Не попробовать ли это?» Та, которую он больше не мог называть Урсулой, очевидно, где-то жила, но ничто не возвещало Мариусу, где именно он должен искать. Вся его жизнь могла быть теперь изложена в нескольких словах: полная неуверенность среди непроницаемого тумана. Увидеть, увидеть ее! Он жаждал этого непрестанно, но ни на что больше не надеялся.

В довершение всего снова наступила нужда. Он чувствовал вблизи, за своей спиной, ее леденящее дыхание. Во время всех этих тревожений, и давно уже, он бросил свою работу, а нет ничего более опасного, чем прерванный труд; это исчезающая привычка. Привычка, которую легко оставить, но трудно восстановить.

Некоторая мечтательность хороша, как наркотическое средство в умеренной дозе. Она успокаивает лихорадку деятельного ума, нередко жестокую, и порождает в нем мягкий прохладный туман, смягчающий слишком резкие очертания ясной мысли, заполняет там и здесь пробелы и пустоты, связывает отдельные группы идей и затушевывает их острые углы. Но слишком большая мечтательность все затопляет и поглощает. Горе труженику ума, позволившему себе, покинув высоты мысли, всецело отдаться

мечте! Он думает, что легко воспрянет, и убеждает себя, что, так или иначе, это одно и то же. Заблуждение!

Мышление — работа ума, мечтательность — его сладострастие. Заменить мысль мечтой — значит принять яд за пищу.

Как помнит читатель, Мариус с этого и начал. Неожиданно овладевшая им страсть в конце концов низвергла его в мир химер, беспредметный и бездонный. В таких случаях выходят из дому только для того, чтобы мечтать. Ленивые попытки жить! Пучина и бурная и стоячая! Но по мере того как работа уменьшалась, нужда увеличивалась. Это закон. Человек в состоянии мечтательности, естественно, расточителен и слабovolен. Праздный ум не приспособлен к скромной, расчетливой жизни. Наряду с плохим, в таком образе жизни есть и хорошее, ибо если вялость губительна, то великодушие здорово и похвально. Но человек бедный, щедрый, благородный и не работающий — погиб. Средства иссякают, потребности возрастают.

Это роковой склон, на которой ступают самые честные и самые стойкие, равно как и самые слабые и самые порочные; он приводит к одной из двух ям — самоубийству или преступлению.

Если у человека завелась привычка выходить из дому, чтобы мечтать, то настанет день, когда он уйдет из дому, чтобы броситься в воду.

Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.

Мариус медленно спускался по этому склону, сосредоточив взоры на той, которую он больше не видел. То, о чем мы говорим, может показаться странным, и, однако, это так. В темных глубинах сердца зажигается воспоминание об отсутствующем существе; чем безвозвратнее оно исчезло, тем ярче светит. Душа отчаявшаяся и мрачная видит этот свет на своем горизонте — то звезда ее ночи. Она, только она и поглощала все мысли Мариуса. Он не думал ни о чем другом, он смутно чувствовал, что его старый фрак неприличен, а новый становится старым, что его рубашки износились, шляпа износилась, сапоги износились, что его жизнь изжита, и повторял про себя: «Только бы увидеть ее перед смертью!»

Лишь одна сладостная мысль оставалась у него: о том, что она его любила, что ее взоры сказали ему об этом,

что пусть она не знала его имени, но зато знала его душу, что, быть может, там, где она сейчас, каково бы ни было это таинственное место, она все еще любит его. Кто знает, не думает ли она о нем так же, как он думает о ней? Иногда, в неизъяснимые, знакомые всякому любящему сердцу часы, имея основания только для скорби и все же ощущая смутный трепет радости, он твердил: «Это ее думы нашли меня!» Потом он прибавлял: «И мои думы, быть может, так же находят ее».

Это была иллюзия, и мгновение спустя, опомнясь, он сам покачивал головой, но она тем не менее успевала бросить в его душу луч, порой походивший на надежду. Время от времени, особенно в вечерние часы, которые всего сильнее располагают к грусти мечтателей, он заносил в свою тетрадь, служившую только для этой цели, самую чистую, самую бесплотную, самую идеальную из грез, которыми любовь заполняла его мозг. Он называл это «писать к ней».

Но не следует думать, что его ум пришел в расстройство. Напротив. Он потерял способность работать и настойчиво идти к определенной цели, но более, чем когда бы то ни было, отличался проницательностью и прямоотой. Мариус видел в спокойном и верном, хотя и необычном освещении все, что происходило перед его глазами, даже события или людей, наиболее для него безразличных; он судил обо всем правильно, но с какой-то нескрываемой подавленностью и откровенным равнодушием. Его разум, почти утративший надежду, парил на недостижимой высоте.

При таком состоянии его ума ничто не ускользало от него, ничто не обманывало, и каждое мгновение он прозревал сущность жизни, человечества и судьбы. Счастлив даже в тоске своей тот, кому господь даровал душу, достойную любви и несчастья! Кто не видел явлений этого мира и сердца человеческого в таком двойном освещении, не видел ничего истинного и ничего не знает.

Душа любящая и страдающая — возвышенна.

Но дни сменялись днями, а нового ничего не было. Мариусу лишь казалось, что мрачное пространство, которое ему оставалось пройти, укорачивается с каждым мгновением. Ему чудилось, что он уже отчетливо различает край этого бесконечного откоса.

— Как! — повторял он, — и я ее перед этим не увижу!

Если подняться по улице Сен-Жак, оставив в стороне заставу, и идти некоторое время вдоль прежнего внутреннего бульвара, с левой его стороны, то добираться до улицы Санте, затем до Гласьер, а далее, не доходя немного до речки Гобеленов, встречаешь нечто вроде поля, которое в длинном и однообразном поясе парижских бульваров является единственным местом, где Рейсдаль поддался бы соблазну отдохнуть.

Все там исполнено прелести, источник которой неизвестен; зеленый лужок, пересеченный протянутыми веревками, где сушится на ветру разное тряпье, старая, окруженная огородами, ферма, построенная во времена Людовика XIII, с высокой крышей, причудливо прорезанной мансардами, полуразрушенные изгороди, вода, поблескивающая между тополями, женщины, смех, голоса; на горизонте — Пантеон, дерево, что возле Школы глухонемых, церковь Валь-де-Грас, черная, приземистая, причудливая, забавная, великолепная, а в глубине — строгие четырехугольные башни Собора богородицы.

Местечко это стоит того, чтобы на него посмотреть, поэтому-то никто и не приходит сюда. Изредка, не чаще, чем раз за четверть часа, здесь проезжает тележка или ломовой извозчик.

Однажды уединенные прогулки Мариуса привели его на этот лужок у реки. В тот день на бульваре оказалась редкость — прохожий. Мариус, глубоко пораженный почти диким очарованием местности, спросил его: «Как называется это место?»

Прохожий ответил: «Жаворонково поле».

И прибавил: «Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври».

Но после слова «Жаворонково» Мариус больше ничего не слышал. Порою человеком, погружившимся в мечты, овладевает внезапное оцепенение, для этого довольно какого-либо слова. Мысль сразу сосредоточивается вокруг одного образа и неспособна более ни к какому другому восприятию. «Жаворонок» — было название, которым в глубокой своей меланхолии Мариус заменил имя Урсулы. «Ах, — сказал он в каком-то беспричинном изум-

лении, свойственном этим таинственным беседам с самим собой, — так это ее поле. Здесь я узнаю, где она живет».

Это было бессмысленно, но непреодолимо.

И он каждый день стал приходить на Жаворонково поле.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Зародыши преступления в тюремном гнездилище

Успех Жавера в лачуге Горбо казался полным, чего, однако, не было в действительности.

Прежде всего, — и это являлось главной заботой Жавера, — ему не удалось сделать пленника бандитов собственным пленником. Если жертва убийцы скрывается, то она более подозрительна, чем сам убийца; вполне возможно, что эта личность, представлявшая столь драгоценную находку для преступников, была бы не менее хорошей добычей для властей.

Кроме того, ускользнул от Жавера и Монпарнас.

Приходилось выжидать другого случая, чтобы наложить руку на этого «чортова франтика». Действительно, Монпарнас, встретив Эпонино, караулившую под деревьями бульвара, увел ее с собой, предпочитая быть Неморином с дочерью, чем Шиндерганнесом с отцом. Он избрал благую часть. Он остался на свободе. Что до Эпонины, то Жавер снова «сцапал» ее. Но это было для него слабым утешением. Эпонина присоединилась к Азельме в Мадлонет.

Наконец во время перевозки арестованных из лачуги в тюрьму Форс один из главных преступников, Звенигрош, исчез. Никто не знал, как это случилось, агенты и сержанты «ничего здесь не понимали», он словно превратился в пар, он выскользнул из ручных кандалов, он просочился сквозь щели кареты — а щели в ней были — и убежал; прибыв к тюрьме, только и могли сказать, что Звенигроша нет. Это было или волшебство, или дело полиции. Не растаял ли Звенигрош во мраке, как тают хлопья снега в воде? Или то было соучастие не признавшихся в этом агентов? Не связан ли был этот человек с двойной загадкой — беззакония и закона? Не был ли он олицетворением как проступка, так и возмездия? Не опирался ли

этот сфинкс передними лапами на преступление, а задними на власть? Жавер никак не признавал этих сочтаний и возмутился бы при мысли о такой сделке; но в его отделении были и другие надзиратели, хотя и состоявшие под его начальством, но лучше посвященные в тайны префектуры, а Звенигрош был таким злодеем, что мог оказаться очень хорошим агентом. Иметь столь близкие отношения с ночным мраком, позволяющим незаметно исчезать, — выгодно для бандитов и удобно для полиции. Подобные мошенники о двух личинах существуют. Как бы то ни было, исчезнувший Звенигрош не отыскался. Жавер, казалось, был этим скорее раздражен, чем удивлен.

Что до Мариуса, «этого простофили адвоката, наверное трусизшего», то Жавер, забывший его имя, не придавал ему большого значения. Кроме того, он — адвокат, значит всегда разыщется. Но был ли он только адвокатом?

Следствие началось.

Судебный следователь нашел полезным одного из шайки Петушиного часа не сажать в одиночку, рассчитывая, что он выболтает что-нибудь. Этот человек был Брюжон, космач с Малой Банкирской улицы. Его выпустили во двор тюрьмы Шарлемань, где сторожа бдительно надзирали за ним.

Имя Брюжона — одно из памятных в тюрьме Форс. В отвратительном дворе так называемого Нового здания, который администрация именovala Сен-Бернарским двором, а воров — Львиным рвом, с левой стороны есть стена, покрытая чешуей и лишаями плесени и поднимающаяся в уровень с крышами. На этой стене, недалеко от старых заржавленных железных ворот, ведущих в прежнюю часовню герцогского дворца Форс, ставшую спальней преступников, можно было видеть еще лет двенадцать тому назад нечто вроде изображения крепости, грубо нацарапанного гвоздем на камне, и под ним надпись:

БРЮЖОН, 1811

Брюжон 1811 года был отцом Брюжона 1832 года.

Последний, которого мы видели лишь мельком в засаде Горбо, был молодой парень, очень хитрый и очень ловкий, прикидывавшийся растерянным и жалким. Именно по причине жалкого его вида судья и предоставил ему

некоторую свободу, полагая, что он больше будет полезен на дворе Шарлемань, чем в одиночном заключении.

Воры не прекращают своей работы, попадая в руки правосудия. Такой пустяк их не затрудняет. Сидеть в тюрьме за уже совершенное преступление — отнюдь не помеха для подготовки другого. Так художники, выставив картину в Салоне, продолжают работать над новым творением в своей мастерской.

Брюжон, казалось, одурел в тюрьме. То он целыми часами простаивал на дворе Шарлемань перед оконцем буфетчика, как идиот, созерцая гнусный прейскуронт этой тюремной лавочки, начинавшийся: «чеснок — 62 сантима» и кончавшийся: «сигара — 5 сантимов», то весь тряся, стучал зубами и, жалуясь на лихорадку, спрашиваясь, не освободилась ли одна из двадцати восьми кроватей в больничной палате для лихорадочных.

Вдруг во второй половине февраля 1832 года узнали, что Брюжон, эта рохля, дал трем тюремным рассыльным от имени трех своих приятелей три разных поручения, обошедшихся ему в пятьдесят су, — непомерная сумма, обратившая внимание начальника тюремной стражи.

Разузнав об этом и справившись с тарифом поручений, вывешенным в приемной тюрьмы, пришли к выводу, что пятьдесят су были распределены таким образом: из трех поручений одно было в Пантеон — десять су, другое в Валь-де-Грас — пятнадцать су, третье на Гренельскую заставу — двадцать пять су. Последнее обошлось дороже всего согласно тарифу. А вблизи Пантеона, в Валь-де-Грас и у Гренельской заставы находились пристанища трех весьма опасных ночных бродяг: Процентщика, или Бизарро, Бахвала — каторжника, отбывшего наказание, и Шлагбаума. Этот случай привлек к ним внимание полиции. Предполагалось, что они были связаны с Петушиным часом, двух главарей которого, Бабета и Живоглота, засадили в тюрьму. Заподозрили, что в посланиях Брюжона, переданных не по домашним адресам, а людям, поджидавшим на улице, содержалось сообщение относительно какого-то злодейского умысла. Для этого были еще и другие основания. Трех бродяг схватили и успокоились, решив, что козни Брюжона предупреждены.

Приблизительно через неделю после того, как приняли эти меры, ночью, один из надсмотрщиков, надзиравший за

нижней спальней Нового здания, уже собираясь опустить в ящик свой жетон, — таким способом проверяют, все ли надсмотрщики точно выполнили свои обязанности, ибо каждый час в ящики, прибитые к дверям спален, опускается по жетону, — через глазок в дверях спальни увидел Брюжона, который, сидя на своей койке, что-то писал при свете ночника. Сторож вошел, Брюжона посадили на месяц в карцер, но не могли найти того, что он писал. Полиции также ничего не удалось узнать.

Достоверно только, что на следующий день через пятиэтажное здание, разделяющее два тюремных двора, из Шарлемань в Львиный ров был переброшен «почтальон».

Заключенные называют «почтальоном» артистически скатанный хлебный шарик, который посылается «в Ирландию», иными словами, через крыши тюрьмы с одного двора на другой. Смысл этого выражения: через Англию, с одного берега на другой, то есть в Ирландию. Шарик падает во двор. Поднявший раскатывает его и находит записку, адресованную кому-либо из заключенных в этом дворе. Если находка попадает в руки арестанта, то он вручает записку по назначению; если же ее поднимает сторож или один из тайно оплачиваемых заключенных, которых в тюрьмах называют «наседками», а на каторге «лисами», то записка относится в канцелярию и вручается полиции.

На этот раз «почтальон» был доставлен по адресу, хотя тот, кому он предназначался, был в это время в одиночке. Адресатом оказался не кто иной, как Бабет, один из четырех главарей шайки Петушиного часа.

Почтальон заключал в себе свернутую бумажку, содержащую всего две строки:

«Бабету. Можно оборудовать дельце на улице Плюме Сад за решеткой»

Это и писал Брюжон ночью.

Несмотря на надзирателей и надзирательниц, Бабет нашел способ переправить записку из Форс в Сальпетриер, к одной своей «подружке», которая отбывала там заключение. Эта девица в свою очередь передала записку близкой своей знакомой, некоей Маньон, находившейся под наблюдением полиции, но пока еще не арестованной. Маньон, чье имя читатель уже встречал, состояла с супругами Тенардые в близких отношениях, о которых будет

точнее сказано в дальнейшем, и могла, встретившись с Эпониной, послужить мостом между Сальпетриер и Мадлонет.

Как раз в это самое время, ввиду недостатка улик против дочерей Тенардье при расследовании его дела, Эпонина и Азельма были освобождены.

Когда Эпонина вышла из тюрьмы, Маньон, караулившая ее у ворот Мадлонет, вручила ей записку Брюжона к Бабету, поручив ей *осветить дельце*.

Эпонина отправилась на улицу Плюме, нашла решетку и сад, осмотрела дом, последила, покараулила и несколько дней спустя отнесла к Маньон, жившей на улице Клошперс, сухарь, который Маньон передала любовнице Бабета в Сальпетриер. Сухарь на темном символическом языке тюрем означает: *нечего делать*.

Таким образом, не прошло и недели, как Бабет и Брюжон столкнулись на дорожке дозорных тюрьмы Форс — один, идя «допрашиваться», а другой, возвращаясь с допроса. «Ну, что улица П.?» — спросил Брюжон. «Сухарь», — ответил Бабет.

Так преступление, зачатое Брюжоном в тюрьме Форс, окончилось выкидышем.

Однако это привело к некоторым последствиям, правда, совершенно чуждым планам Брюжона. Читатель узнает о них в свое время.

Нередко, думая связать одни нити, человек связывает другие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Видение бабушки Мабефа

Мариус никого больше не навещал, и только изредка ему случалось встретить бабушку Мабефа.

В то самое время, когда Мариус медленно спускался по мрачным ступеням, которые можно назвать лестницей подземелья, ведущей в беспросветную тьму, где слышишь над собой шаги счастливых, спускался туда и г-н Мабеф.

«Флора Котере» больше не находила покупателей. Опыты с индиго в маленьком, плохо расположенном Аустерлицком саду окончились неудачей. Г-ну Мабефу

удалось вырастить там лишь несколько редких растений, любящих сырость и тень. Однако он не отчаивался. Он добился хорошего уголка земли в Ботаническом саду, чтобы произвести там «на свой счет» опыты с индиго. Для этого он заложил в ломбарде медные клише «Флоры». Он ограничил завтрак двумя яйцами, причем одно из них оставлял своей служанке, которой не платил жалованья уже пятнадцать месяцев. И часто этот завтрак являлся единственной его трапезой за весь день. Он уже не смеялся своим детским смехом, стал угрюм и не принимал гостей. Мариус правильно поступал, не посещая его больше. Но иногда, в часы, когда г-н Мабеф отправлялся в Ботанический сад, старик и юноша встречались на Госпитальном бульваре. Они не вступали в беседу и только грустно обменивались поклоном. Страшно подумать, что приходит минута, когда нищета разъединяет! Были друзьями, а стали друг для друга прохожими.

Книготорговец Руайоль умер. Мабеф знался теперь только со своими книгами, своим садом и своим индиго; в эти три формы облеклись для него счастье, удовольствие и надежда. Этого ему было достаточно, чтобы жить. Он говорил себе: «Когда я изготовлю синие шарики, я разбогатею, выкуплю из ломбарда медные клише, потом при помощи шумной рекламы и газетных объявлений ловко создам новый успех моей «Флоре» и куплю, уж я-то знаю где, «Искусство навигации» Пьера де Медина, с гравюрами на дереве, издания 1559 года». Пока же он целые дни работал над своей грядкой с индиго, а вечером возвращался к себе, поливал свой садик и читал книги. В это время ему было без малого восемьдесят лет.

Однажды вечером ему представилось странное видение.

Он вернулся к себе еще совсем засветло. Тетушка Плутарх, здоровье которой пошатнулось, была бо́тна и лежала в постели. Обглодав вместо обеда косточку, на которой оставалось немного мяса, и съев кусок хлеба, найденный на кухонном столе, он уселся на опрокинутую каменную тумбу, служившую скамьей в его саду.

Возле этой скамьи стояло, как водилось прежде в плодовых садах, нечто вроде большого, сколоченного из брусьев и теса весьма ветхого ларя, нижнее отделение

которого служило кроличьим садком, а верхнее — кладовой для фруктов. В садке не было больше кроликов, но в кладовой еще лежало несколько яблок. Это были остатки зимнего запаса.

Господин Мабеф, надев очки, принялся перелистывать и просматривать две книги, весьма его волновавшие и даже, что еще примечательнее в его возрасте, занимавшие до крайности. Природная робость способствовала некоторой его восприимчивости к суевериям. Первой из этих книг был знаменитый трактат президента Деланкра «О личинах демонов», вторая, *in quarto*, Мютор де ла Рюбодьера «О воверских дьяволах и бьеврских кобольдах». Последняя книжица интересовала его тем более, что сад его являлся местом, которое встарь посещали кобольды. Наступавшие сумерки окрасили в бледные цвета небо и в темные — землю. Читая, дедушка Мабеф поглядывал поверх книги, которую держал в руке, на свои растения и, среди них, на великолепный рододендрон, бывший его утешением. Вот уже четыре дня как стояла жара, дул ветер, палило солнце и не выпало ни капли дождя; стебли растений согнулись, бутоны поникли, листья повисли, — все это нуждалось в поливке. Вид рододендрона был особенно печален. Дедушка Мабеф принадлежал к числу тех людей, которые и в растениях чувствуют душу. Старик целый день проработал над своей грядкой индиго и выбился из сил; все же он встал, положил книги на скамью и отправился неверными шагами, совсем сторбившись, к колодцу; но, ухватившись за цепь, не мог даже дернуть ее настолько, чтобы снять с крюка. Тогда он обернулся и поднял взгляд, полный мучительной тоски, к загорававшемуся звездами небу.

В вечернем воздухе была разлита спокойная ясность, которая смягчает боль человеческой души какой-то скорбной и вечной радостью. Ночь обещала быть столь же знойной, как и день.

«Все небо в звездах! — думал старик. — Нигде ни облачка! Ни одной дождинки!»

И снова опустил поднятую было голову.

Затем, опять взглянув на небо, прошептал:

— Хоть бы одна росинка! Хоть капля жалости!

Он попытался еще раз снять цепь с крюка на колодце и не мог.

Тут он услышал голос, произнесший:

— Дедушка Мабеф, хотите, я полью ваш сад?

В то же время в изгороди послышался треск, словно через нее пробирался дикий зверь; из-за кустов вышла высокая худая девушка, которая остановилась против него, смело глядя ему в глаза. Казалось, это было не человеческое существо, а видение, порожденное сумерками.

Прежде чем дедушка Мабеф, который, как мы отмечали, легко приходил в смущение и легко пугался, мог произнести хотя бы один звук, девушка, чьи движения в темноте приобрели какую-то странную порывистость, сняла с крюка цепь, спустила в колодец и, вытащив наверх ведро, наполнила лейку, а затем добрый старик увидел, как это босоное, одетое в драную юбчонку привидение стало носиться среди грядок, одаряя все вокруг себя жизнью. Шум воды, льющейся по листьям, наполнял душу дедушки Мабефа восхищением. Ему казалось, что теперь рододендрон счастлив.

Вылив одно ведро, девушка вытащила второе, затем третье. Она полила весь сад.

Когда она бегала по аллеям в развевающейся изорванной косынке, размахивая длинными костлявыми руками, черный ее силуэт чем-то напоминал летучую мышь.

Лишь только она окончила свое дело, дедушка Мабеф со слезами в глазах подошел к ней и положил ей руку на голову.

— Да благословит вас господь, — сказал он, — вы ангел, потому что вы заботитесь о цветах.

— Ну нет, — ответила она, — я дьявол, а впрочем, мне это все равно.

Старик, не ожидая ее ответа и не слыша его, воскликнул:

— Как жаль, что я так несчастен и так беден и не могу ничего сделать для вас!

— Кое-что вы можете сделать, — ответила она.

— Что же?

— Сказать мне, где живет господин Мариус.

Старик сначала не понял.

— Какой господин Мариус?

Он поднял свой тусклый взгляд, казалось, всматриваясь во что-то исчезнувшее.

— Да тот молодой человек, который прежде бывал у вас.

Тем временем г-н Мабеф усиленно рылся в памяти.

— А, да... — вскричал он, — понимаю, что вы хотите сказать. Стойте! Господин Мариус... барон Мариус Понмерси, чорт возьми! Он живет... или, вернее, он там больше не живет... Ах, нет, я не знаю.

Разговаривая с нею, он наклонился, чтобы поправить веточку рододендрона.

— Подождите, — продолжал он, — теперь я вспомнил. Он очень часто проходит по бульвару в сторону Гласьер. На улицу Крульбарб. На Жаворонково поле. Идите туда. Там его легко встретить.

Когда г-н Мабеф выпрямился, уже никого не было, девушка исчезла.

Само собою разумеется, что он немного испугался.

«Право, — подумал он, — если бы мой сад не был полит, я бы решил, что это дух».

Часом позже, когда он лег спать, эта мысль к нему вернулась, и, засыпая, в тот неуловимый миг, когда малопомалу мысль принимает форму сновидения, чтобы пронестись сквозь сон, подобно сказочной птице, превращающейся в рыбу, чтобы переплыть море, он невнятно пробормотал:

— В самом деле, это очень похоже на то, что рассказывает Рюбодьер о кобольдах. Не был ли это кобальд?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Видение Мариуса

Спустя несколько дней после того как «дух» посетил дедушку Мабефа, однажды утром, в понедельник, — день, когда Мариус обычно брал займы у Курфейрака сто су для Тенардье, — Мариус опустил монету в сто су в карман и, прежде чем отнести ее в канцелярию тюрьмы, отправился «немного прогуляться», в надежде, что, возвратившись, будет лучше работать. Впрочем, это повторялось изо дня в день. Встав, он тотчас садился за стол с книгой

и листом бумаги, думая состряпать какой-нибудь перевод, — как раз в это время он взялся перевести на французский язык знаменитый немецкий спор — контроверзы Ганса и Савиньи; он открывал Савиньи, открывал Ганса, прочитывал четыре строки, пытался написать хотя бы одну и не мог, он видел какую-то звезду, сиявшую между ним и бумагой, и вставал со словами: «Надо пройтись. Это меня оживит».

И шел на Жаворонково поле.

А там еще ярче сияла перед ним звезда, и еще тусклее становились Савиньи и Ганс.

Он возвращался домой, пытался снова взяться за работу, но безуспешно; ему не удавалось связать ни одной оборванной нити своих мыслей. Тогда он говорил: «Завтра я не выйду из дома. Это мешает мне работать». И выходил каждый день.

Он жил скорее на Жаворонковом поле, чем на квартире Курфейрака. Его настоящий адрес был таков: бульвар Санте, седьмое дерево от улицы Крульбарб.

В это утро он покинул свое седьмое дерево и уселся на парапете набережной речки Гобеленов. Веселые солнечные лучи пронизывали свежую, распутившуюся и блестящую листву.

Он думал о «ней». И его думы, переходя в упрек, обращались к нему самому; он с горечью размышлял о своей лени, об этом параличе души, о тьме, которая все сильнее сгущалась перед ним, так что он уже не видел и солнца.

У него даже не было сил отчаиваться. Однако сквозь эту грустную сосредоточенность, сквозь этот поток мучительных и неясных мыслей, которые не являлись даже монологом, настолько ослабела в нем способность к действию, Мариус все же воспринимал впечатления внешнего мира. Он слышал, как позади него, где-то внизу, на обоих берегах речушки, прачки колотили белье вальками, а над головой, в ветвях вяза, пели и щебетали птицы. С одной стороны — шум свободы, счастливой беззаботности, крылатого досуга; с другой — шум работы. Эти-то веселые звуки и навевали на него глубокую задумчивость, почти переходившую в размышления.

Отдавшись этому восторженно-угнетенному состоянию, он вдруг услышал знакомый голос:

— А вот и он!

Он поднял голову и узнал ту несчастную девочку, которая пришла к нему однажды утром, — старшую дочь Тенардые, Эннину; теперь ему было известно ее имя. Страшно, на вид она еще больше обнищала, но похорошела, — перемена, на которую она отнюдь не казалась прежде способной. Она осуществила двойной прогресс: на пути к свету и к нужде. Она была босая и в лохмотьях, как в тот день, когда столь решительно вошла в его комнату, только теперь ее лохмотья были на два месяца старше: дыры стали шире, рубище еще омерзительнее. У нее был тот же хриплый голос, тот же поблекший и сморщенный от загара лоб, тот же бойкий, блуждающий и неуверенный взгляд. На ее физиономии еще сильнее, чем прежде, проступало то неопределенное испуганное и жалкое выражение, которое придает нищете знакомство с тюрьмой.

В волосах у нее запутались стебельки соломы и сена, но по иной причине, чем у Офелии: она не заразилась безумием от безумного Гамлета, а просто переночевала где-нибудь на сеновале.

И несмотря на все это, она была хороша. О юность, какая звезда сияет в тебе!

Она остановилась перед Мариусом, на бледном ее лице появился слабый проблеск радости и что-то напоминавшее улыбку.

Некоторое время она молчала, словно не в силах была говорить.

— Все-таки я вас нашла! — сказала она наконец. — Дедушка Мабеф правильно сказал про этот бульвар! Как я вас искала, если бы вы знали! Я была под арестом. Знаете? Две недели! Меня выпустили! Потому что никаких улик не было, да и к тому же по возрасту я не отвечаю. Мне нехватает двух месяцев. Сколько я вас искала! Целых шесть недель. Значит, теперь вы там не живете?

— Нет, — ответил Мариус.

— А! Понимаю. Из-за того дела? До чего неприятны эти полицейские налеты. Вы, значит, переехали? Послушайте, почему вы носите такую старую шляпу? Молодой человек, такой как вы, должен хорошо одеваться. Знаете, господин Мариус, дедушка Мабеф называет вас бароном Мариусом, а дальше — не упомяну как. Но ведь вы не барон? Бароны — они старые, они гуляют в Люксембург-

ском саду, перед дворцом, где много солнышка, они читают «Ежедневник», по су за номер. Мне один раз пришлось отнести письмо к такому вот барону. Ему было больше ста лет. Ну, скажите, где вы живете теперь?

Мариус не отвечал.

— Ах, — продолжала она, — у вас рубашка порвалась! Я вам зашью.

Она прибавила с печальным выражением:

— Вы как будто не рады меня видеть?

Мариус молчал; она тоже помолчала минутку, потом вскричала:

— А все-таки, если я захочу, то вы будете очень рады!

— Как? — спросил Мариус. — Что вы этим хотите сказать?

— Ах, вы прежде говорили мне «ты»! — заметила она.

— Ну хорошо, что же ты хочешь сказать?

Она закусил губу; казалось, она колеблется, словно борясь с собой. Наконец, повидимому, решилась.

— Тем хуже, но все равно. Вы грустите, а я хочу, чтобы вы радовались. Обещайте только, что засмеетесь. Я хочу увидеть, как вы засмеетесь и скажете: «А, вот это хорошо!» Бедный господин Мариус! Помните, вы сказали, что дадите мне все, что я захочу...

— Да, да! Говори же!

Она посмотрела Мариусу прямо в глаза и сказала:

— Я знаю адрес.

Мариус побледнел. Вся кровь хлынула ему к сердцу.

— Какой адрес?

— Адрес, который вы у меня просили!

И прибавила как бы с усилием:

— Адрес... Ну, вы ведь сами знаете...

— Да, — пролепетал Мариус.

— Той барышни!

Произнеся это слово, она глубоко вздохнула.

Мариус вскочил с парапета, на котором он сидел, и вне себя схватил ее за руку.

— О! Так проводи меня! Скажи! Проси у меня чего хочешь! Где это?

— Пойдемте со мной, — ответила она. — Я не знаю точно номера и улицы. Это совсем в другой стороне, но я хорошо помню дом, я вас провожу.

Она высвободила свою руку и сказала тоном, который глубоко тронул бы даже постороннего человека, но не опьяненного, охваченного восторгом Мариуса.

— О, как вы рады!

Лицо Мариуса омрачилось. Он схватил Эпонию за руку.

— Поклянись мне в одном!

— Поклясться? Что это значит? Ах! Вы хотите, чтобы я поклялась вам?

И она засмеялась.

— Твой отец!.. Обещай мне, Эпонина! Поклянись, что ты не скажешь этого адреса отцу!

Она обернулась к нему, ошеломленная.

— Эпонина! Откуда вы знаете, что меня зовут Эпонина?

— Обещай мне сделать то, о чем я тебя прошу!

Но она, казалось, не слышала.

— Как это мило! Вы называли меня Эпониной!

Мариус взял ее за обе руки.

— Но ответь же мне! Ради бога! Слушай внимательно, что я тебе говорю, поклянись мне, что ты не скажешь этого адреса твоему отцу!

— Моему отцу? — переспросила она. — Ах, да, моему отцу! Будьте спокойны. Он в одиночке. Очень он мне нужен, отец!

— Да, но ты мне не обещаешь! — вскричал Мариус.

— Ну, пустите же меня! — рассмеявшись, сказала она. — Как вы меня трясете! Хорошо! Хорошо! Я обещаю! Клянусь! Мне это ничего не стоит! Я не скажу адреса отцу. Ну, идет? В этом все дело?

— И никому?

— Никому.

— А теперь, — сказал Мариус, — проводи меня.

— Сейчас?

— Сейчас.

— Идем. О, как он рад! — вздохнула она.

Сделав несколько шагов, она остановилась.

— Вы идете почти рядом со мной, господин Мариус. Пустите меня вперед и идите позади, как будто вы сами по себе. Нехорошо, когда видят такого приличного молодого человека, как вы, с такой женщиной, как я.

Никакой язык не мог бы выразить того, что было заключено в слове «женщина», произнесенном этой девочкой.

Пройдя шагов десять, она снова остановилась. Мариус ее нагнал. Не оборачиваясь к нему и как бы в сторону, она проговорила:

— Кстати, вы ведь обещали мне кое-что?

Мариус порылся у себя в кармане. У него было всего-навсего пять франков, предназначенных для Тенардье. Он вынул их и сунул в руку Эпонине.

Она разжала пальцы, уронила монету на землю и, мрачно глядя на него, сказала:

— Не нужны мне ваши деньги.

Книга третья

ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Таинственный дом

В середине прошлого столетия председатель парижской судебной палаты, у которого была тайная любовница, — в ту эпоху знатные господа выставляли своих любовниц напоказ, а буржуа их прятали, — построил «загородный домик» в предместье Сен-Жермен, на пустынной улице Блуме, ныне именуемой Плюме, недалеко от того места, что некогда называлось «Бой зверей».

Этот дом представлял собой двухэтажный особняк: две залы в первом этаже, две комнаты во втором, внизу кухня, наверху будуар, под крышей чердак, перед домом сад с широкой решеткой, выходящей на улицу. Сад занимал почти арпан, — только его и могли разглядеть прохожие. Но за особняком был еще узенький дворик, а в его глубине — низкий флигель из двух комнат, с погребом, словно приготовленный на тот случай, если придется скрывать ребенка и кормилицу. Из флигеля, через потайную калитку позади него можно было выйти в длинный, узкий коридор, вымощенный, но без свода, и извивавшийся между двух высоких стен. Скрытый с замечательным искусством и как бы затерявшийся между оградами садов и огородов, все углы и повороты которых он повторял, этот проход вел к другой потайной калитке, открывавшейся в четверти мили от сада, почти в другом квартале, в пустынном конце Вавилонской улицы.

Господин председатель пользовался именно этим входом, так что даже если бы кто-нибудь следил за ним неотступно и установил его ежедневные таинственные отлучки,

то не мог бы догадаться, что идти на Вавилонскую улицу — значит отправиться на улицу Блюме. Благодаря ловко прикупленным земельным участкам, изобретательный судья мог проложить потайной ход у себя, на своей собственной земле, и, стало быть, не опасаясь никакого надзора. Позднее он распродал небольшими участками, под сады и огороды, землю по обе стороны этого коридора, и собственники участков полагали, что перед ними просто пограничная стена, не подозревая даже о существовании длинной вымощенной тропинки, змеившейся между двух заборов, среди их гряд и фруктовых садов. Только одни птицы видели эту любопытную штуку. Возможно, малиновки и синички прошлого столетия немало посплетничали насчет господина председателя.

Каменный особняк, построенный во вкусе Мансара, отделанный и обставленный во вкусе Ватто — рокайль внутри, рококо снаружи, — окруженный тройной цветущей изгородью, производил впечатление какой-то скрытности, кокетливости и важности, как и подобает капризу любви и судебного ведомства.

Этот дом и проход, исчезнувшие теперь, еще были на месте пятнадцать лет тому назад. В 93-м году некий медник купил дом на слом, но так как он не мог уплатить всей суммы в срок, его объявили несостоятельным. Таким образом, дом, предназначенный на слом, сломил медника. С тех пор дом оставался необитаемым и постепенно ветшал, как всякое здание, которому присутствие человека не сообщает больше жизни. Он сохранил всю свою старую меблировку и снова продавался или сдавался внаймы; выцветшее и малоразборчивое объявление, висевшее на решетке сада с 1810 года, извещало об этом тех десять или двенадцать горожан, которые в течение года проходили по улице Плюме.

К концу Реставрации те же прохожие могли заметить, что объявление исчезло и даже открылись ставни первого этажа. Дом и в самом деле был занят. Окна его украсились занавесочками — признак того, что там жила женщина.

В октябре 1829 года явился человек солидного возраста и снял усадьбу целиком, включая, разумеется, и задний флигель и внутренний проход, кончавшийся на Вавилонской улице. Он велел привести в прежний вид два

потайных выхода этого коридора. В доме, как мы упоминали, сохранилась почти вся старая обстановка господина председателя; новый жилец приказал кое-что обновить, прибавил там и сям то, чего нехватало, перемостил кое-где двор, восстановил выпавшие из стен кирпичи, ступеньки на лестнице, бруски в паркете, стекла в окнах и, наконец, вместе с молодой девушкой и старой служанкой незаметно переехал туда, словно проскользнув, а не открыто вступив хозяином в свой дом. Соседи не болтали об этом по той причине, что соседей не было.

Этот скромный жилец был Жан Вальжан, молодая девушка — Козетта. Служанка, по имени Тусен, которую Жан Вальжан спас от больницы и нищеты, была старая дева, провинциалка и заика — три качества, повлиявшие на решение Жана Вальжана взять ее с собой. Он снял дом на имя г-на Фошлевана, рантье. На основании всего того, что было рассказано раньше, читатель, без сомнения, еще быстрее признал Жана Вальжана, чем это удалось сделать Тенардье.

Почему Жан Вальжан покинул монастырь Малый Пикпюс? Что с ним случилось?

Ничего не случилось.

Как читатель помнит, Жан Вальжан был счастлив в монастыре, так счастлив, что в нем в конце концов заговорила совесть. Он видел Козетту каждый день, он ощущал, как растет и крепнет в нем отцовское чувство, он нежно лелеял этого ребенка, он говорил себе, что она принадлежит ему, что никто ее не отнимет и так будет длиться бесконечно, что она, наверно, сделается монахиней, ибо ее каждый день к этому мягко понуждали, что монастырь, таким образом, станет для нее, как и для него, вселенной, что он там состарится, а она вырастет, потом и она состарится, а он умрет, что — о восхитительная надежда! — они никогда не разлучатся. Размышляя об этом, он впал в сомнение. Он подверг себя допросу. Он спрашивал себя, имеет ли он право на все это счастье, не создано ли оно из чужого счастья, из присвоенного и утаенного им, стариком, счастья этого ребенка? Не было ли это кражей? Он говорил себе, что это дитя имело право узнать жизнь, прежде чем отказаться от нее; что отнять у ребенка заранее, и как бы помимо его согласия, все радости, под предлогом спасения от всех испытаний, восполь-

зоваться его неведением и одиночеством, чтобы искусственно взрастить в нем жизненное призвание, — значит изуродовать человеческое существо и солгать богу. И, кто знает, не возненавидит ли его когда-нибудь Козетта, отдав себе отчет во всем этом и сожалея о своем монашестве? Последняя мысль, менее самоотверженная, чем другие, почти эгоистическая, была для него невыносима. Он решил покинуть монастырь.

Он решился на это с отчаяньем, признав, что должен так поступить. Что касается препятствий, то их не было. Пять лет жизни, проведенные между этими четырьмя стенами со времени его исчезновения, должны были уничтожить или рассеять всякий страх. Он мог спокойно появиться среди людей. Он состарился, и все изменилось. Кто его узнает теперь? И кроме того, если предположить самое худшее, угроза опасности существовала только для него одного, и он не имел права присуждать Козетту к монастырю на том основании, что сам был присужден к каторге. Да и что такое опасность по сравнению с долгом? Наконец ничто не мешает ему быть осмотрительным и принять меры предосторожности.

К этому времени воспитание Козетты было почти полностью закончено.

Остановившись на определенном решении, он стал ожидать случая, который не замедлил представиться. Умер старый Фошлеван.

Жан Вальжан спросил приема у достопочтенной настоятельницы и сказал ей, что, получив после смерти брата небольшое наследство, отныне позволяющее ему жить не работая, он оставляет службу в монастыре и берет с собою дочь; но так как было бы несправедливо, чтобы девочка, не принявшая монашеского обета, бесплатно воспитывалась в обители, то он смиренно просит достопочтенную настоятельницу согласиться на возмещение в пять тысяч франков, которое он и предлагает иноческому общежитию за пять лет, проведенных Козеттой под его кровом.

Так Жан Вальжан покинул монастырь Неустанного поклонения.

Оставляя монастырь, он сам нес, не доверяя носильщику, небольшой чемодан, ключ от которого всегда имел

при себе. Чемоданчик возбуждал любопытство Козетты, так как от него исходил запах бальзама.

Заметим тут же, что отныне он не расставался с этим чемоданом и всегда держал его в своей комнате. То была первая, а иногда и единственная вещь, которую он уносил во время своих переселений. Козетта смеялась над этим и называла чемодан *неразлучным*, добавляя: «Я ревную к нему».

Однако Жан Вальжан вновь вышел на волю не без глубокой тревоги.

Он снял дом на улице Плюме и укрылся там под именем Ультима Фошлевана.

В это же время он снял две другие квартиры в Париже, чтобы не слишком привлекать внимание, всегда проживая на одной улице, и иметь возможность, в случае необходимости, исчезнуть при малейшей тревоге, — словом, не быть захваченным врасплох, как в ту ночь, когда он таким чудесным образом спасся от Жавера. Эти два помещения были убогими и бедными с виду квартирками в двух кварталах, весьма отдаленных друг от друга, — одна на Западной улице, другая на улице Вооруженного человека.

Время от времени вместе с Козеттой, но без Тусен, он отправлялся то на улицу Вооруженного человека, то на Западную улицу, чтобы провести там месяц, полтора. Он пользовался там услугами привратников и выдавал себя за живущего в предместье рантье, у которого было пристанище и в городе. Столь высокая добродетель имела три жилища в Париже, чтобы ускользнуть от полиции.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Жан Вальжан — национальный гвардеец

Впрочем, основным его жилищем был дом на улице Плюме, где он устроил свое существование следующим образом:

Козетта со служанкой занимала особняк; у нее была большая спальня с росписью в простенках, будуар с золоченым багетом на стенах, гостиная председателя с коврами, обоями и широкими креслами; Козетта была и хозяйкой сада. Жан Вальжан велел поставить в спальне

Козетты кровать с балдахином из старинного трехцветного штофа и застелить пол старым прекрасным персидским ковром, купленным на улице Фигье-Сен-Поль у старухи Гоше; желая смягчить строгость великолепной старины, он подбавил к этим древностям легкую и изящную обстановку, подобающую молодой девушке: этажерку, книжный шкаф и книги с золотыми обрезами, письменные принадлежности, бювар, рабочий столик, инкрустированный перламутром, несессер золоченого серебра, туалетный прибор из японского фарфора. На окна во втором этаже были повешены длинные, подбитые красным узорчатым шелком занавеси того же трехцветного штофа, что и на постели. В первом этаже висели вышитые занавеси. Всю зиму маленький дом Козетты отапливался сверху донизу. Сам Жан Вальжан поселился во флигеле, расположенном на заднем дворе и напоминающем сторожку, где была складная кровать с тюфяком, некрашенный деревянный стол, два соломенных стула, фаянсовый кувшин для воды, несколько потрепанных книг на полке, а в углу — его драгоценный чемодан. Здесь никогда не топили. Он обедал с Козеттой, к столу ему подавали пеклеванный хлеб. Когда Тусен перебралась в дом, он ей сказал: «Здесь хозяйка — барышня». — «А вы, су-сударь?» — спросила озадаченная Тусен. «Я гораздо больше, чем хозяин: я — отец!»

В монастыре Козетта была подготовлена к ведению хозяйства и распоряжалась расходами, весьма, впрочем, скромными. Каждый день Жан Вальжан, взяв Козетту под руку, шел с нею на прогулку. Он водил ее в Люксембургский сад, в самую малолюдную аллею, а каждое воскресенье — к обедне, обычно в церковь Сен-Жак-дю-О-Па, именно потому, что она находилась далеко от их дома. Квартал этот был очень бедный, Жан Вальжан щедро раздавал там подаяние, и в церкви вокруг него толпились нищие; последнее обстоятельство и послужило причиной послания Тенардье, направленного «Господину благодетелю из церкви Сен-Жак-дю-О-Па». Он охотно брал с собой Козетту навещать бедняков и больных. Чужие люди не допускались в особняк на улице Пюме. Тусен доставляла съестные припасы, а сам Жан Вальжан ходил за водой к водоразборному крану, оказавшемуся совсем близко, на бульваре. Для запасов дров и вина воспользовались подобием полуподземной, выложенной раковинами

пещеры, по соседству с калиткой на Вавилонской улице и служившей когда-то гротом господину председателю: во времена «загородных домиков» и «приютов страсти нежной» не было любви без грота.

К калитке на Вавилонской улице был прибит ящик для писем и газет; но трое обитателей особняка на улице Плюме не получали ни писем, ни газет, и вся польза ящика, бывшего некогда посредником и наперсником любовных шалостей судейского любезника, теперь состояла лишь в передаче повесток сборщика налогов и извещений национальной гвардии, ибо господин Фошлеван, рантье, числился в национальной гвардии; он не мог проскользнуть через густую сеть учета 1831 года. Муниципальные списки, заведенные в эту эпоху, распространились и на монастырь Малый Пикпюс — на это своего рода непроницаемое и священное облако, выйдя из которого, Жан Вальжан в глазах мэрии был особой почтенной и, следовательно, достойной вступить в ряды национальной гвардии.

Три или четыре раза в год Жан Вальжан надевал мундир и нес свою караульную службу, впрочем, весьма охотно; то было законное переодевание, которое связывало его со всеми другими людьми, оставляя в то же время обособленным Жану Вальжану уже минуло шестьдесят лет — возраст законного освобождения от воинской службы; но ему нельзя было дать больше пятидесяти, к тому же он вовсе не хотел расставаться со званием старшего сержанта и беспокоить графа Лобо. У него не было общественного положения, он скрывал свое имя, скрывал свое подлинное лицо, скрывал свой возраст, скрывал все, и, как мы только что говорили, был национальным гвардейцем по доброй воле. Походив на первого встречного, который выполняет свои обязанности перед государством, — в этом заключалось все его честолюбие. Нравственным идеалом этого человека был ангел, но внешностью он стремился уподобиться буржуа.

Отметим, однако, одну особенность. Выходя из дома вместе с Козеттой, он одевался, как всегда, напоминая всем своим видом военного в отставке. Когда же он выходил один, а это бывало обычно вечером, то надевал куртку и штаны рабочего, а на голову картуз, скрывавший под козырьком его лицо. Что это было — предосторожность или скромность? И то и другое. Козетта привыкла к тому,

что в жизни ее много загадочного, и едва замечала странности отца. Что касается Тусен, то она почитала Жана Вальжана и находила хорошим все, что он делал. Как-то раз мясник, повстречавший Жана Вальжана, сказал ей: «Это какой-то чудак». Она ответила: «Это святой».

Ни Жан Вальжан, ни Козетта, ни Тусен не уходили и не возвращались иначе, как через калитку на Вавилонской улице. Трудно было догадаться, что они живут на улице Плюме, — разве только увидев их сквозь решетку сада. Эта решетка всегда была заперта. Сад Жан Вальжан оставил заброшенным, чтобы он не привлекал внимания.

Но в этом он, быть может, заблуждался.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Foliis ac frondibus*¹

Сад, разраставшийся на свободе в продолжение полувека, стал чудесным и необыкновенным. Лет сорок тому назад прохожие останавливались на улице, засматриваясь на него и не подозревая о тайнах, которые он скрывал в своей свежей и зеленой чаще. Не один мечтатель в ту пору, и при этом не раз, пытался взором и мыслью дерзко проникнуть сквозь прутья старинной, шаткой, запертой на замок решетки, покривившейся меж двух позеленевших и замшелых столбов и причудливо увенчанной фронтоном с какими-то непонятными арабесками.

Там в уголке была каменная скамья, одна или две поросшие мхом статуи, несколько шпалер, сорванных временем и догнивавших на стене; от аллей и газонов не осталось следа; куда ни взглянешь, — всюду пырей. Садовник удалился отсюда, и вновь вернулась природа. Сорные травы разрослись в изобилии, это было удивительной удачей для такого жалкого клочка земли. Там роскошно цвели левкой. Ничто в этом саду не препятствовало священному порыву сущего к жизни; там было царство окруженного почетом произрастания. Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось

¹ Листья и ветви (лат.).

вверх, ветка склонялась долу, то, что расстиляется по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе, то, что колеблет ветер, влеклось к тому, что прозябает во мху; стволы, ветки, листья, жилки, пучки, усики, побеги, колючки — все это смешалось, перепуталось, переженилось, слилось; растительность, в проникновенном и тесном объятии, славилась и свершала там, под благосклонным взором творца, на замкнутом клочке земли в триста квадратных футов, свое святое таинство братства, — символ братства человеческого. Этот сад уже не был садом, — он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа.

В флореале эта огромная заросль, вольная за своей решеткой и в своих четырех стенах, страстно вступала в глухую работу вселенского размножения, содрогаясь на восходе солнца почти так же, как животное, которое вдыхает веяния космической любви и чувствует, как в его жилах разливаются и кипят апрельские соки; потрясая по ветру своей чудесной зеленой гривой, она сыпала на влажную землю, на потрескавшиеся статуи, на ветхое крыльцо особняка и даже на мостовую пустынной улицы звезды цветов, жемчуга рос, плодородие, красоту, жизнь, радость, благоухание. В полдень множество белых бабочек слеталось туда, и было упоительно смотреть, как хлопьями вихрился в тени этот живой летний снег. Там, в веселых зеленых сумерках, целый хор невинных голосов нежно сообщал что-то душе, и то, что забывал сказать птичий щебет, досказывало жужжание насекомых. Вечером словно испарения грез поднимались в саду и застилали его; он был окутан пеленой тумана, божественной и спокойной печалью; пьянящий запах жимолости и повилики наплывал отовсюду, словно изысканный и тончайший яд; слышались последние призывы поползней и трясогузок, засыпавших на ветвях; там чувствовалась священная близость дерева и птицы: днем крылья оживляли листву, ночью листва охраняла эти крылья.

Зимою заросль становилась черной, мокрой, взъерошенной, дрожащей от холода; сквозь нее виднелся дом. Вместо цветов на ветвях и капелек росы на цветах длинные серебристые следы улиток тянулись по холодному и

толстому ковру желтых листьев; но каков бы ни был этот обнесенный оградой уголок, каким бы ни казался в любое время года — весной, зимой, летом, осенью, — от него всегда веяло меланхолией, созерцанием, одиночеством, свободой, отсутствием человека, присутствием бога; и старая заржавевшая решетка, казалось, говорила: «Этот сад — мой».

Пусть тут же вокруг были улицы Парижа, в двух шагах — великолепные классические особняки улицы Варенн, совсем рядом — купол Дома инвалидов, недалеко — палата депутатов; пусть по соседству, на улицах Бургундской и Сен-Доминик, катили щегольские кареты, пусть желтые, белые, коричневые и красные омнибусы проезжали на ближайшем перекрестке, — улица Плюме оставалась пустынной. Довольно было смерти старых владельцев, минувшей революции, крушения былых состояний, безвестности, забвения, сорока лет заброшенности и свободы, чтобы в этом аристократическом уголке обосновались папоротники, царские скипетры, цикута, дикая гречиха, высокие травы, крупные растения с широкими, словно из бледнозеленого сукна, узорчатыми листьями, ящерицы, жуки, суетливые и быстрые насекомые; чтобы из глубины земли возникло и снова появилось среди этих четырех стен неведомое, дикое и нелюдимое величие и чтобы природа, расстраивающая жалкие ухищрения людей и всегда до конца проявляющаяся там, где она себя проявляет, будь это муравейник или орлиное гнездо, развернулась здесь, в убогом парижском садике, с такой же необузданностью и величием, как в девственном лесу Нового Света.

На самом деле в природе нет ничего незначительного; тот, кто наделен даром глубокого проникновения в нее, знает это. И хотя полное удовлетворение не дано философии, как не дано ей точно определять причины и указывать границы следствий, все же созерцатель приходит в бесконечный восторг при виде всего этого расчленения сил, кончающегося единством. Все работает для всего.

Алгебра приложима к облакам; излучение звезды приносит пользу розе; ни один мыслитель не осмелится сказать, что аромат боярышника бесполезен созвездиям. Кто может измерить путь молекулы? Кому ведомо, не вызвано ли создание миров падением песчинок? Кто знает

о взаимопроникновении бесконечно великого и бесконечно малого, об отголосках первопричин в безднах отдельного существа и в лавинах творения? И клещ — явление значительное; малое велико, великое мало; все уравнивается необходимостью; видение, устрашающее разум! Между живыми существами и мертвой материей есть чудесная связь; в этом неисчерпаемом целом, от солнца до букашки, нет презрения друг к другу; одни нуждаются в других. Свет, уносящий в лазурь земные благоухания, знает, что делает; ночь оделяет звездной эссенцией заснувшие цветы. Каждая летящая птица держит в когтях нить бесконечности. Животворящее начало усложняется — от образования метеора и до удара клювом, которым птенец ласточки, выходя из яйца, разбивает скорлупу; оно приводит равно к созданию дождевого червя и к появлению Сократа. Там, где кончается телескоп, начинается микроскоп. У кого из них поле зрения более велико? Выбирайте. Плесень — это плеяда цветов; туманность — муравейник звезд. Та же тесная близость, и еще более удивительная, между явлениями разума и состояниями материи. Стихии и законы бытия смешиваются, сочетаются, вступают в брак, размножаются одни через других, — и в конечном счете приводят мир материальный и мир духовный к одной и той же ясности. Явления природы беспрерывно повторяют себя. В широких космических взаимных перемещениях жизнь вселенной движется вперед и назад в неведомых объемах, вращая все в невидимой мистерии возникновений, пользуясь всем, не теряя даже грезы, даже сновидения, — здесь зарождающая инфузорию, там дробя на части звезду, колеблясь и извиваясь, творя из света силу, а из мысли стихию, рассеянная повсюду и неделимая, растворяя все, за исключением одной геометрической точки, называемой «я»; сводя все к душе — атому; раскрывая все в боге; смешивая все деятельные начала, от самых возвышенных до самых низменных, во мраке этого головокружительного механизма, связывая полет насекомого с движением земли, подчиняя — кто знает? быть может, лишь по тождеству закона, — передвижение кометы на небесном своде кружению инфузории в капле воды. Это механизм, созданный разумом. Гигантская система зубчатых колес, первый двигатель которой — мошка, а последнее колесо — зодиак.

Казалось, этот сад, созданный некогда для того, чтобы скрывать тайны волокитства, преобразился и стал достойным укрывать тайны целомудрия. В нем не было больше ни беседок, ни лужаек, ни темных алтей, ни гротов; здесь воцарился великолепный сумрак, который, сгущаясь то здесь, то там, ниспадал наподобие вуаля отовсюду. Пафос вновь превратился в Эдем. Словно чье-то покаяние очистило этот укромный уголок. Эта цветочница предлагала теперь свои цветы душе. Кокетливый садик, имевший в свое время весьма подозрительную репутацию, снова стал девственным и стыдливым. Председатель, с помощью некоего садовника, — один из этих чудаков вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой — продолжателем искусства Ленотра, — исковеркал его, обкромсал, прилизал, выфрантил, приспособил для галантных походов; природа снова завладела им, наполнила тенью и приутожила для любви.

Теперь в этом уединенном уголке очутилось и сердце, готовое любить. Осталось лишь появиться любви; для нее здесь был храм из зелени, трав, мха, птичьих стонов, мягких сумерек, колеблющихся ветвей, и была душа, созданная из нежности, веры, чистоты, надежды, порывов и иллюзий.

Козетта вышла из монастыря почти ребенком; ей едва исполнилось четырнадцать лет, и она вступила в «неблагодарный возраст»; как мы уже упоминали, если не говорить о глазах, она глядела скорее дурнушкой, чем красивой; в ней не было, впрочем, ничего неприятного, но она казалась нескладной и худой, робкой и смелой одновременно, — словом, это был подросток.

Ее воспитание считалось законченным, то есть ей преподали закон божий и, в особенности, благочестие; затем «историю», то есть то, что под этим названием подразумевают в монастыре, географию, грамматику, спряжения, имена французских королей, немного музыки, научили рисовать профили и т. д., но в общем она не знала ничего, а в этом таится и очарование и опасность. Душу молодой девушки не следует оставлять в потемках, — впоследствии в ней возникают миражи, слишком резкие,

слишком яркие, как в темной комнате. Рассеять в ней тьму должно мягко и исподволь, скорее отблеском действительности, нежели ее прямым и жестким лучом. Этот полусвет, полезный и привлекательно строгий, разгоняет ребяческие страхи и препятствует падениям. Только материнский инстинкт, — это изумительное прирожденное чувство, с которым слиты девические воспоминания и женская опытность, — знает, как, каким образом должно создавать такой полусвет. Ничто не может заменить этот инстинкт. Когда дело идет о воспитании души молодой девушки, все монахини на свете не стоят одной матери.

У Козетты не было матери. Были только матери-монахини, всего лишь множественное число от слова «мать».

Что же касается Жана Вальжана, то хотя в нем воплощались все нежные отцовские чувства и заботливость, он был не более как старик, ничего в этом не понимавший.

Действительно, в подвиге воспитания, в этом важном деле подготовки женщины к жизни, сколько нужно знаний, чтобы бороться с тем великим неведением, которое именуется невинностью!

Ничто так не предрасполагает молодую девушку к страстям, как монастырь. Монастырь обращает мысль в сторону неизвестного. Сердце, сосредоточившееся на самом себе, страдает, потеряв возможность излиться, и замыкается, потеряв возможность расцвести. Отсюда видения, предположения, догадки, придуманные романы, жажда приключений, фантастические волшебные замки, целиком созданные во внутренней тьме разума, — сумрачные и тайные жилища, где страсти находят себе пристанище, как только оставленная позади монастырская решетка открывает им туда доступ. Монастырь — это гнет, который, чтобы восторжествовать над человеческим сердцем, должен длиться всю жизнь.

Покинув монастырь, Козетта не могла найти ничего более приятного и опасного, чем дом на улице Плюме. Это было продолжение одиночества, но и начало свободы; замкнутый сад, но яркая, богатая, сладострастная и благоуханная природа; те же сны, что и в монастыре, но и мельком увиденные молодые люди; решетка, но на улицу.

Однако, повторяем, прибыв сюда, она была еще только ребенком. Жан Вальжан предоставил ей этот запущенный сад. «Делай здесь все, что хочешь», — сказал он ей. Это забавляло Козетту; она обшарила кусты, перевернула камни, она искала там «зверушек»; она там играла, пока не пришла пора мечтать; она любила этот сад ради тех насекомых, которых находила у себя под ногами в траве, пока не пришла пора любить его ради тех звезд, которые она увидит сквозь ветви над своей головой.

И потом она любила своего отца, то есть Жана Вальжана, всею своей душой, с наивной дочерней страстью, и видела в старике желанного и приятного товарища. Как помнит читатель, г-н Мадлен много читал; Жан Вальжан продолжал чтение и стал хорошим рассказчиком; он обладал скрытым богатством и красноречием подлинного пытливого и смиренного ума. В нем осталось ровно столько жесткости, сколько требовалось, чтобы оттенить его доброту; то был суровый ум и нежное сердце. В Люксембургском саду, в беседах с глазу на глаз, он давал пространные объяснения всему, черпая их из того, что читал, и из того, что пережил. Козетта слушала с мечтательным блуждающим взором.

Этот простой человек удовлетворял мысль Козетты так же, как этот дикий сад — ее глаза. Устав гоняться за бабочками, она, запыхавшись, прибегала к нему и восклицала: «Ах, как я набегалась!» Он целовал ее в лоб.

Козетта обожала доброго старика. Она всегда ходила за ним по пятам. Ей было хорошо всюду, где был Жан Вальжан. Так как он не жил ни в саду, ни в особняке, то и она предпочитала задний мощный дворик своему уголку, заросшему цветами, и маленькую каморку с соломенными стульями — большой гостиной, обтянутой ковровыми обоями, где у стен стояли мягкие кресла. Иногда Жан Вальжан, счастливый тем, что ему докучают, говорил улыбаясь: «Ну, поди же к себе! Дай мне побыть одному».

Козетта ему отвечала очаровательной нежной воркотней, которая приобретает особенную прелесть в устах дочери, обращающейся к отцу:

— Отец, мне очень холодно у вас, почему вы не положите здесь ковер и не поставите печку?

— Дорогое дитя, на свете столько людей, лучших, чем я, а у них нет даже крыши над головой.

— Почему же, в таком случае, у меня тепло и есть все, что нужно?

— Потому что ты женщина и ребенок.

— Вот еще! Значит, мужчины должны мерзнуть и плохо жить?

— Некоторые мужчины.

— Очень хорошо, я буду так часто приходить сюда, что вам волей-неволей придется топить.

Потом она ему говорила:

— Отец, почему вы едите такой гадкий хлеб?

— Потому... дочь моя.

— Ах так? Ну и я буду есть такой же.

Тогда, чтобы Козетта не ела черного хлеба, Жан Вальжан принимался есть белый.

Козетта очень смутно помнила детство. Утром и вечером она молилась за свою мать, которой не знала. Тенардые остались у нее в памяти, как два отвратительных существа из какого-то страшного сна. Она припоминала, что «в один прекрасный день, ночью» ходила в лес за водой. Она думала, что это было далеко-далеко от Парижа. Ей казалось, что жизнь ее началась в пропасти и что Жан Вальжан извлек ее оттуда. Собственное детство представлялось ей временем, когда вокруг себя она видела лишь сороконожек, пауков и змей. Так как у нее не было твердой уверенности в том, что она дочь Жана Вальжана и что он ее отец, то, мечтая по вечерам перед сном, она воображала, что душа ее матери переселилась в этого доброго старика и живет рядом с ней.

Когда он сидел возле нее, она прижималась щекой к его седым волосам и молчаливо роняла слезу, думая: «Быть может, это моя мать!»

Материнство — понятие совершенно непостижимое для девственности, и Козетта, как это ни странно звучит, в глубоком неведении девочки в конце концов вообразила, что у нее «почти совсем» не было матери. Она даже не знала ее имени. Всякий раз, когда ей случалось спросить об этом Жана Вальжана, тот молчал. Если она повторяла вопрос, он отвечал улыбкой. Однажды она была слишком настойчивой, тогда его улыбка сменилась слезой.

Молчание Жана Вальжана покрывало непроницаемым мраком Фантину.

Сказывалась ли в этом его осторожность? Или уважение? Или боязнь предать ее имя на волю случая, доверив его чужой памяти?

Пока Козетта была мала, Жан Вальжан охотно говорил ей о матери, но когда она превратилась в молодую девушку, это стало для него невозможным. Ему казалось, что он больше не имеет на то права. Была ли тому причиной Козетта или Фантина, но он испытывал какой-то священный ужас при мысли, что поселит эту тень в сердце Козетты и сделает усопшую третьей участницей их судьбы. Чем более священной становилась для него эта тень, тем более грозной казалась она ему. Он думал о Фантине и чувствовал всю тяжесть молчания. Неясно различал он во мраке что-то, походившее на приложенный к устам палец. Быть может, целомудрие Фантины, которого она была насильственно лишена при жизни, вернулось после ее смерти и, негодующее и угрожающее, распростерлось над ней, чтобы бодрствовать над усопшей и охранять ее покой в могиле. Не испытывал ли Жан Вальжан, сам того не ведая, его воздействия? Мы, веруя в смерть, не принадлежим к числу тех, кто мог бы отклонить это мистическое объяснение. Потому-то он и не мог произнести имя Фантины даже перед Козеттой.

Как-то Козетта сказала ему:

— Отец, сегодня я видела маму во сне. У нее было два больших крыла. Наверно, моя мать при жизни удостоилась святости.

— Да, мученичеством, — ответил Жан Вальжан.

Тем не менее Жан Вальжан был счастлив.

Выходя с ним, Козетта опиралась на его руку, гордая и счастливая до глубины души. При всяком проявлении ее нежности, столь необыкновенной и сосредоточенной лишь на нем одном, Жан Вальжан чувствовал, что душа его тонет в блаженстве. Бедняга трепетал, проникнутый небесной радостью; он восторженно твердил себе, что так будет длиться всю жизнь; он говорил в душе, что, право, недостаточно страдал, чтобы заслужить такое лучезарное счастье, и в глубине души благодарил господя, позволившего, чтобы он, отверженный, был столь любим этим невинным существом.

Роза замечает, что она стала орудием войны

Однажды Козетта случайно взглянула на себя в зеркало и изумилась. Ей почти показалось, что она хорошенькая. Она почувствовала какое-то странное волнение. До сих пор она совсем не думала о своей внешности. Она смотрелась в зеркало, но не видела себя. И кроме того, ей часто говорили, что она некрасива; только один Жан Вальжан мягко повторял: «Да нет же, нет!» Как бы там ни было, Козетта всегда считала себя дурнушкой и выросла с этой мыслью, легко, по-детски, свыкнувшись в нею. Но вот зеркало сразу сказало ей, как и Жан Вальжан: «Да нет же!» Она не спала всю ночь. «А если и вправду я хороша? — думала она. — Как это было бы забавно, если бы оказалось, что я хороша собой!» И она вспоминала своих блиставших красотой монастырских подруг и повторяла про себя: «Неужели я буду, как мадам-муазель такая-то!»

На следующий день она уже нарочно посмотрела на себя в зеркало и успокоилась. «Что за вздор пришел мне в голову? — подумала она. — Нет, я дурнушка». Она просто-напросто плохо спала, была бледна, с синевой под глазами. Она не очень обрадовалась накануне, поверив в свою красоту, но теперь была огорчена, разуверившись в ней. Больше она не смотрелась в зеркало и в течение двух недель старалась причесываться, повернувшись к нему спиной.

Вечером, после обеда, она обычно занималась в гостиной вышиванием по канве или какой-нибудь другой работой, которой научилась в монастыре; Жан Вальжан читал, сидя возле нее. Однажды она подняла голову, и ее очень удивило выражение беспокойства, которое она уловила в устремленном на нее взоре отца.

В другой раз, проходя по улице, она слышала, как кто-то позади сказал: «Красивая женщина! Но плохо одета». «Ну, — подумала она, — это не про меня. Я хорошо одета и некрасива». Она была в плюшевой шапочке и в старом мериновом платье.

Наконец, однажды днем, когда она была в саду, она слышала, как старая Тусен сказала: «А вы замечаете, сударь, что наша барышня хорошеет?» Козетта не слы-

шала, что ответил ее отец, слова Тусен были для нее каким-то откровением. Она убежала из сада, поднялась в свою комнату, бросилась к зеркалу — уже три месяца как она не смотрелась в него — и вскрикнула. Она была ослеплена собой.

Она была хороша, она была прекрасна; она не могла не согласиться с Тусен и своим зеркалом. Ее стан сформировался, кожа побелела, волосы стали блестящими, какое-то неведомое сияние зажглось в голубых глазах. Сознание своей красоты пришло к ней мгновенно, как ярко вспыхнувший свет; но и другие заметили, что она хороша, и Тусен сказала об этом, и прохожий, повидимому, говорил о ней, — сомнений больше не оставалось. Растерянная, ликующая, полная невыразимого восхищения, она вернулась в сад, чувствуя себя королевой, и хотя стояла зима, она слышала пение птиц, видела золотое небо, солнце, светившее сквозь ветви, цветы на кустах.

А Жан Вальжан испытывал глубокую и неизъяснимую сердечную тревогу.

Действительно, с некоторых пор он с ужасом глядел на эту красоту, которая с каждым днем все ярче расцветала на нежном личике Козетты. Взошла заря, пленительная для всех, зловещая для него.

Козетта была хороша задолго до того, как заметила это. Но омраченный взор Жана Вальжана с первого же дня был ранен медленно разгоравшимся и постепенно заливавшим молодую девушку неожиданным светом. Он почувствовал это как перемену в своей счастливой жизни, столь счастливой, что он не осмеливался шевельнуться из опасения нарушить в ней что-либо. Этот человек, прошедший через все несчастья, человек, чьи раны, нанесенные ему судьбой, до сих пор кровоточили, бывший почти злодеем и ставший почти святым, влачивший после цепей каторжника невидимую, но тяжелую цепь скрытого бесчестия, человек, которого закон еще не освободил и который мог быть каждую минуту схвачен и выведен из темницы своей добродетели на яркий свет общественного позора, — этот человек принимал все, прощал все, оправдывал все, благословлял все, соглашался на все и молил у провидения, у людей, у законов, у общества, у природы, у вселенной только одного: любви Козетты!

Только бы Козетта продолжала его любить! Только бы господь не мешал сердцу этого ребенка стремиться к нему и принадлежать ему всегда! Любовь Козетты его исцелила, успокоила, умиротворила, удовлетворила, вознаградила, вознесла. Любимый Козеттой, он был счастлив! Он не просил большего. Если бы его спросили: «Хочешь быть счастливее?» — он бы ответил: «Нет». Если бы бог его спросил: «Хочешь райского блаженства?» — он бы отвечал: «Я прогадал бы на этом».

Все, что могло нарушить их жизнь, хотя бы даже слегка, заставляло его трепетать от ужаса, как начало перемены. Он не слишком понимал, что такое женская красота, но инстинкт говорил ему, что это нечто страшное.

Ошеломленный, глядел он из глубины своего несчастья, отверженности, угнетенности, безобразия и старости на эту красоту, расцветавшую подле него, перед ним, все торжественнее и величавее, на невинном, но таящем угрозу челе ребенка.

Он говорил себе: «Как она прекрасна! Что же теперь станет со мной?»

В этом и сказывалось различие между его нежностью и нежностью матери. То, что внушало ему душевную тревогу, для матери было бы радостью.

Первые признаки наступившей перемены не замедлили обнаружиться.

На следующий же день после того, как Козетта воскликнула: «Конечно, я хороша!» — она обратила внимание на свои наряды. Она вспомнила слова прохожего: «Красива, но плохо одета»; это пророческое дуновение, пронесшееся возле нее и исчезнувшее, успело заронить в ее сердце одно из двух зерен, которые позже, разившись, заполняют всю жизнь женщины, — зерно кокетства. Второе зерно — любовь.

Как только она поверила в свою красоту, в ней раскрылась вся ее женская сущность. Она почувствовала отвращение к мериновому платью и плюшевой шляпке. Отец никогда и ни в чем ей не отказывал. Она сразу овладела искусством одеваться, тайной шляпки, платья, накладки, ботинок, манжеток, материи и цвета к лицу, — тем искусством, которое делает парижанку столь очаровательной, столь загадочной и столь опасной. Выражение «пленительная женщина» было придумано для парижанки.

Не прошло и месяца, как маленькая Козетта стала в этой пустыне, именуемой Вавилонской улицей, не только одной из самых красивых женщин Парижа, — а это немало, но и одной из самых «хорошо одетых», — что гораздо больше. Ей хотелось бы встретить «того прохожего», чтобы услышать его мнение теперь и чтобы «проучить его»! Действительно, она была прелестна и превосходно отличала шляпку Жерара от шляпки Эрбо.

Жан Вальжан с тревогой смотрел на эти разорительные новшества. Он, которому дано было только ползать, самое большое — ходить, видел, как у Козетты вырастают крылья.

Но все же любая женщина, взглянув на туалет Козетты, сразу поняла бы, что у нее нет матери. Некоторые незначительные правила приличия, некоторые условности не были ею соблюдены. Например, мать сказала бы ей, что молодые девушки не носят платья из тяжелого шелка.

Выйдя из дому в первый раз в своем черном шелковом платье и накидке, в белой креповой шляпке, веселая, сияющая, розовая, гордая, блестящая, она, взяв под руку Жана Вальжана, спросила: «Ну, как вы меня находите, отец?» Жан Вальжан ответил тоном, в котором словно сквозила горькая нотка зависти: «Восхитительной!» На прогулке он держался, как обычно. Вернувшись, он спросил Козетту:

— Разве ты никогда больше не наденешь свое платье и шляпку, те, прежние?

Это происходило в комнате Козетты. Козетта обернулась к платяному шкафу, где на вешалке висело ее разжалованное монастырское одеяние.

— Этот костюм для ряженого! — воскликнула она. — На что он мне? О нет, я никогда не надену эти ужасные вещи! С этой штукой на голове я похожа на чучело!

Жан Вальжан глубоко вздохнул.

С тех пор он стал замечать, что Козетта, которая раньше всегда просила его остаться дома и говорила: «Отец, мне приятнее побыть здесь с вами», — теперь всегда просила его пойти погулять. В самом деле, зачем нужны хорошенькое личико и восхитительный наряд, если не показывать их?

Он заметил также, что Козетта уже не так любила задний дворик, как прежде. Теперь она охотнее бывала в саду, не без удовольствия прогуливаясь перед решеткой.

Жан Вальжан, замкнувшись в себе, туда не показывался. Он не покидал своего заднего дворика, словно сторожевой пес.

Козетта, поняв, что она красива, утратила прелесть неведения; прелесть утонченную, потому что красота, сочетающаяся с простодушием, — невыразима, и нет ничего милее сияющей невинности, которая шествует, держа в руке, не зная того сама, ключи от рая. Но, потеряв прелесть наивности, она приобрела очарование задумчивости и серьезности. Вся проникнутая радостью юности, невинности, красоты, она дышала блистательной грустью.

Именно в это время Мариус, после шести месяцев перерыва, снова увидел ее в Люксембургском саду.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Битва начинается

Козетта в своем затишье, как и Мариус в своем, готова была встретить любовь. Судьба, с присущим ей роковым и таинственным терпением, медленно сближала эти два существа, словно заряженные электричеством и истомленные зарницами надвигающейся страсти; эти души, чреватые любовью, как облака — грозой, должны были столкнуться и слиться во взгляде, как сливаются облака во вспышке молнии.

В любовных романах так злоупотребляли силой взгляда, что в конце концов вовсе перестали ей верить. Теперь едва осмеливаешься говорить, что двое полюбили друг друга, потому что их взгляды встретились. И однако, именно так начинают любить, и только так. Все остальное является лишь остальным и приходит позже. Нет ничего реальней этих глубочайших потрясений, которые вызывают друг в друге две души, обменявшись такой искрой.

В тот час, когда Козетта бессознательно бросила взгляд, взволновавший Мариуса, Мариус не подозревал, что и его взгляд взволновал Козетту.

Он причинил ей то же зло и то же благо.

Уже давно она заметила его и наблюдала за ним, как замечают и наблюдают девушки, хотя и глядят в другую сторону. Мариус еще считал Козетту дурнушкой, когда

Козетта уже находила Мариуса красивым. Но он не обращал на нее внимания, и она оставалась равнодушной к молодому человеку.

Все же она не могла не признаться, что у него прекрасные волосы, прекрасные глаза и зубы, приятный голос, который она слышала, когда он разговаривал с товарищами, что у него, если угодно, неловкая походка, но в ней есть своеобразное изящество, что он вовсе не кажется глупым, что весь его облик отмечен благородством, мягкостью, простотой и гордостью, что, наконец, пускай на вид он беден, но полон достоинства.

В тот день, когда их глаза неожиданно встретились и, наконец, сказали друг другу те темные и невыразимые слова, которые невнятно передает взгляд, Козетта сначала ничего не поняла. Задумчиво она вернулась в дом на Западной улице, куда, по своему обыкновению, перебрался на полтора месяца Жан Вальжан. На следующий день, проснувшись, она подумала об этом молодом незнакомце, который так долго был равнодушен и холоден, а теперь как будто обратил на нее внимание, однако ей показалось, что это внимание несколько не льстит ей. Скорее она немного сердилась на красивого гордеца. Что-то воинственное шевельнулось в ней. Ей казалось, что она, наконец, отомстит за себя, и при мысли об этом Козетта испытывала какую-то еще почти ребяческую радость.

Сознавая себя красивой, она чувствовала, хотя и смутно, что обладает оружием. Женщины играют своей красотой, как дети ножом. Им случается самих себя поранить.

Читатель помнит колебания Мариуса, его трепет, его страхи. Он продолжал сидеть на своей скамье и не подходил к Козетте. Это вызывало в ней досаду. Однажды она сказала Жану Вальжану: «Пойдем, отец, погуляем по этой стороне». Видя, что Мариус не идет к ней, она направилась к нему. В таких случаях каждая женщина похожа на Магомета. И затем, как это ни странно, первый признак истинной любви у молодого человека — робость, у молодой девушки — смелость. Это удивительно и, однако, нет ничего проще. Два пола, стремясь сблизиться, заимствуют недостающие им свойства друг у друга.

В этот день взгляд Козетты свел Мариуса с ума, взгляд Мариуса заставил затрепетать Козетту. Мариус ушел с

надеждой в душе, Козетта с беспокойством. С этого дня они стали обожать друг друга.

Первое, что испытала Козетта, была смутная и глубокая грусть. Ей казалось, что за один день ее душа потемнела. Она больше не узнавала себя. Чистота девичьей души, слагающаяся из холодности и веселости, похожа на снег. Она тает под солнцем любви.

Козетта не знала, что такое любовь. Она никогда не слышала этого слова, произнесенного в земном его значении. В тетрадах светской музыки, попадавших в монастырь, слово «любовь» было заменено словами: «морковь» или «свекровь». Это порождало загадки, подстрекавшие воображение старших пансионеров, например: «Ах, как приятна морковь!» или: «Жалость — не свекровь». Но Козетта вышла из монастыря слишком юной, чтобы особенно интересоваться «свекровью». И она не знала, как назвать то, что испытывала теперь. Но разве в меньшей степени болен человек оттого, что не ведает названия своей болезни?

Она любила с тем большей страстью, что любила в неведении. Она не знала, хорошо это или плохо, полезно или опасно, благотворно или смертельно, вечно или преходяще, дозволено или запрещено; она любила. Она бы очень удивилась, если бы ей сказали: «Вы не спите? Но ведь это непозволительно! Вы перестали есть? Но это очень дурно! У вас тяжесть в груди и сердцебиение? Но это никуда не годится! Вы то краснеете, то бледнеете, когда известное лицо в черном костюме появляется в конце известной зеленой аллеи? Но ведь это ужасно!» Она не поняла бы и ответила: «Как же я могу быть виновата в том, в чем я не вольна и чего не понимаю?»

Случаю было угодно, чтобы посетившая ее любовь была именно той, которая лучше всего соответствовала ее душевному состоянию. То было своего рода обожание издали, безмолвное созерцание, обоготворение незнакомца. То было явление юности — другой такой же юности, ночная греза, превратившаяся в роман и оставшаяся грезой, желанное видение, наконец воплотившееся, но еще не имеющее ни имени, ни вины за собой, ни пятна, ни требований, ни недостатков, — словом, далекий возлюбленный, обитающий в идеальном мире, мечта, принявшая четкий облик. Всякая встреча, более определенная и на

более близком расстоянии, в это первое время вспугнула бы Козетту, еще наполовину погруженную в сумрак монастырской жизни, который преувеличивал опасности мирской жизни. Все детские и монашеские страхи перепутывались в ней. Монастырский дух, которым она прониклась за пять лет и которым до сих пор веяло от нее, показывал ей все окружающее в неверном свете. И сейчас ей нужен был не возлюбленный, даже не влюбленный: ей нужно было только видение. Она начала обожать Мариуса как нечто восхитительное, светозарное и недостижимое.

Крайнее простодушие граничит с крайним кокетством, поэтому она ему улыбалась без всякого стеснения.

Каждый день она нетерпеливо ожидала часа прогулки, встречала Мариуса, чувствовала себя невыразимо счастливой и думала, что вполне чистосердечно выражает все свои мысли, говоря Жану Вальжану: «Какая прелесть этот Люксембургский сад!»

Мариус и Козетта пребывали друг для друга во тьме. Они не разговаривали, не здоровались, они не были знакомы; они виделись, подобно небесным светилам, разделенным миллионами миль, и жили созерцанием друг друга.

Так, мало-помалу Козетта становилась женщиной, прекрасной и влюбленной, сознающей свою красоту и не ведающей о своей любви. Сверх всего — кокетливой по своей невинности.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

За одной печалью печаль еще бо́льшая

При всех обстоятельствах в человеке бодрствует особым инстинкт. Старая и вечная мать-природа глухо предупреждала Жана Вальжана о присутствии Мариуса. И Жан Вальжан содрогался в самых темных глубинах своей души. Он ничего не видел, ничего не знал, но всматривался с настойчивым вниманием в окружавший его мрак, как будто чувствуя, что где-то рядом нечто создается, нечто разрушается. Мариус, так же предупрежденный той же матерью-природой, — и в этом мудрость божественного закона, — делал все возможное, чтобы «отец» девушки его не видел. Случалось, однако, что Жан Вальжан его иногда замечал. Поведение Мариуса было не совсем естествен-

ным. Его осторожность была подозрительной, а смелость неловкой. Он уж больше не подходил так близко, как раньше; он садился поодаль и словно погружался в экстаз; он приносил с собой книгу и притворялся будто читает. Зачем он притворялся? Раньше он приходил в своем старом фраке, теперь же всегда в новом; нельзя было утверждать с уверенностью, что он не завивался, у него были какие-то странные глаза, он стал носить перчатки. Короче говоря, Жан Вальжан от всей души ненавидел этого молодого человека.

Козетта не давала никаких поводов для догадок. Не понимая в точности, что с ней происходит, она тем не менее чувствовала в себе нечто новое, что нужно скрывать.

Между желанием наряжаться, возникшим у Козетты, и обыкновением надевать новый фрак, появившимся у этого незнакомца, существовала какая-то взаимосвязь, мысль о которой была несносна для Жана Вальжана. Быть может, вполне вероятно, даже несомненно, то была случайность, но случайность опасная.

Он никогда не говорил ни слова Козетте об этом незнакомце. Все же как-то раз он не мог удержаться и, полный того смутного отчаяния, которое побуждает человека неожиданно погрузить зонд в собственную рану, сказал ей: «Как важничает этот молодой человек!»

Годом раньше Козетта, с безразличием девочки, ответила бы ему: «Вовсе нет, он очень милый». Десятью годами позже, с любовью к Мариусу в сердце, она бы сказала: «Вы правы, просто противно смотреть, как он важничает!» Но теперь, в этот период своей жизни и своей любви, она ограничилась тем, что с невозмутимым спокойствием ответила:

— Кто? Ах, этот молодой человек! — словно она его увидела в первый раз в жизни.

«Как я глуп! — подумал Жан Вальжан. — Она его и не заметила. Я сам обратил ее внимание на него».

О простота старцев! О мудрость детей!

Таков уж закон этих ранних лет страданий и забот, этого жаркого поединка первой любви с первыми препятствиями: девушка не попадает ни в одну ловушку, юноша попадает в каждую. Жан Вальжан начал тайную борьбу с Мариусом, а Мариус в святом неразумии, свойственном его возрасту и его страсти, даже не догадывался

об этом. Жан Вальжан строил ему множество козней: он менял часы прогулок, пересаживался на другую скамью, забывал там свой платок, приходил в сад один; Мариус опрометчиво попадался во все эти тенета, и на все вопросительные знаки, расставленные Жаном Вальжаном на его пути, простодушно отвечал: «Да!» Однако Козетта была настолько замкнутой в своей кажущейся беззаботности и непроницаемом спокойствии, что Жан Вальжан пришел к следующему выводу: «Этот дурачина без памяти влюблен в Козетту, а она даже не подозревает о его существовании».

И все же сердце его мучительно сжималось. Мгновение, когда Козетта полюбит, могло наступить с минуты на минуту. Не начинается ли все с равнодушия?

Один раз Козетта допустила ошибку и испугала его. Когда, просидев три часа, он поднялся со скамьи, она воскликнула: «Уже?»

Жан Вальжан не прекратил прогулок в Люксембургском саду, не желая прибегать к исключительным мерам и особенно опасаясь возбудить подозрение Козетты; но во время этих, столь сладких для влюбленных часов, когда Козетта улыбалась Мариусу, а он, опьяненный этой улыбкой, только и видел обожаемое лучезарное лицо, Жан Вальжан не сводил с него сверкающих страшных глаз. Он более не считал себя способным к какому-либо недоброму чувству, однако порой, при виде Мариуса, ему казалось, что он снова становится диким и свирепым зверем, что вновь раскрываются и восстают против этого юноши те глубины его души, где некогда было заключено столько злобы. Ему почти казалось, что в нем оживают неведомые, давно потухшие вулканы.

«Как! Он здесь, этот малый! Зачем он пришел? Он пришел повертеться, поразнюхать, поразведать, попытаться! Он думает: «Гм, почему бы и нет?» Он бродит вокруг моего счастья, чтобы схватить его и унести!»

«Да, — продолжал думать Жан Вальжан, — это так! Чего он ищет? Приключения! Чего он хочет? Любовной интрижки! Да, любовной интрижки! А я? Как! Стоило ли тогда быть самым презренным из всех людей, потом самым несчастным, шестьдесят лет своей жизни стоять на коленях, выстрадать все, что можно выстрадать, состариться, никогда не быв молодым, жить без семьи, без

родных, без друзей, без жены, без детей, оставить свою кровь на всех камнях, на всех терниях, на всех дорогах, вдоль всех стен, быть мягким, хотя ко мне были жестоки, и добрым, хотя мне делали зло, и, несмотря на все, стать честным человеком, раскаяться в том, что сделал дурного, простить зло, мне причиненное, чтобы теперь, когда я вознагражден, когда все кончено, когда я достиг цели, когда получил все, чего хотел, — а это справедливо, это хорошо, я заплатил за это, я заслужил это, — чтобы теперь все пропало, все исчезло! И я потеряю Козетту и лишусь жизни, радости, души лишь только потому, что какому-то долговязому бездельнику вздумалось таскаться в Люксембургский сад!»

И тогда его глаза загорались зловещим и необычным светом. Это уж не был человек, взирающий на другого человека; это не был враг, взирающий на своего врага. То был сторожевой пес, увидевший вора.

Остальное известно. Мариус продолжал безумствовать. Однажды он проводил Козетту до Западной улицы. В другой раз он вступил в разговор с привратником. Тот в свою очередь заговорил с Жаном Вальжаном. «Сударь, что это за любопытный молодой человек спрашивал о вас?» — осведомился он. На следующий день Жан Вальжан бросил на Мариуса взгляд, который тот, наконец, понял. Неделью спустя Жан Вальжан переехал. Он дал себе слово, что ноги его больше не будет ни в Люксембургском саду, ни на Западной улице. Он вернулся на улицу Плюме.

Козетта не жаловалась, ничего не говорила, не задавала вопросов, не добивалась никаких ответов; она уже достигла возраста, когда бояться быть понятыми и выдать себя. Жан Вальжан был совершенно не искушен в несчастьях подобного рода, ибо из всех несчастий только эти одни таят в себе очарование, и только этих ему не довелось испытать; вот почему он не постиг всего значения молчаливости Козетты. Он только заметил, что она стала печальной, и сам стал мрачен. С обеих сторон это свидетельствовало о неопытности в борьбе.

Однажды, желая испытать ее, он спросил:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

Луч света озарил бледное личико Козетты.

— Да, — ответила она.

Они отправились туда. Уже прошло три месяца с тех пор, как они перестали его посещать. Мариус больше туда не ходил. Мариуса там не было.

На следующий день Жан Вальжан снова спросил Козетту:

— Хочешь пойти в Люксембургский сад?

— Нет, — печально и кротко ответила она.

Жан Вальжан был оскорблен этой печалью и огорчен этой кротостью. Что происходило в этом уме, столь юном и уже столь непроницаемом? Какие решения там созревали? Что делалось в душе Козетты? Иногда вместо того, чтобы лечь спать, Жан Вальжан целые ночи просиживал около своего жалкого ложа, охватив руками голову. Спрашивая себя: «Что же такое на уме у Козетты?», он старался представить себе, о чем она могла думать.

О, какие скорбные взоры он обращал в эти минуты к монастырю, этой белоснежной вершине, этому жилищу ангелов, этому недоступному глетчеру добродетели! С каким безнадежным восхищением взирал он на монастырский сад, полный неведомых цветов и заточенных в нем девственниц, где все ароматы и все души возносятся прямо к небу! Как он любил этот навсегда закрывшийся для него рай, откуда он ушел по доброй воле, безрассудно покинув эти высоты! Как он сожалел о своем самоотречении и своем безумии, толкнувшем его на мысль вернуть Козетту в мир, — этот бедный герой, принесенный в жертву и повергнутый в прах собственной преданностью долгу! Сколько раз он повторял себе: «Что я наделал!»

Впрочем, он ничем не выдал себя Козетте. Ни дурным настроением, ни резкостью. При ней всегда у него было то же ясное и доброе лицо. Обращение его с нею было более нежным и более отцовским, чем когда-либо. Если что-нибудь и позволяло догадываться о его грусти, то лишь еще большая мягкость.

Томилась и Козетта. Она страдала, не видя Мариуса, так же сильно и не давая себе в том ясного отчета, как радовалась его присутствию. Когда Жан Вальжан перестал брать ее с собой на обычные прогулки, женское чутье невянятно прошептало ей в глубине души, что не следует выказывать интерес к Люксембургскому саду и что если бы она была к нему равнодушна, отец снова повел бы ее туда. Но проходили дни, недели и месяцы. Жан Вальжан

молчаливо принял молчаливое согласие Козетты. Она пожалела об этом. Но было слишком поздно. Когда она снова пришла в Люксембургский сад, Мариуса там уже не было. Стало быть, Мариус исчез; все кончено, что делать? Найдет ли она его когда-нибудь? Она почувствовала какое-то стеснение в груди, оно не проходило, а увеличивалось с каждым днем. Она больше не знала, зима теперь или лето, солнце или дождь, поют ли птицы, цветут георгины или маргаритки, приятнее ли Люксембургский сад, чем Тюильри, слишком или недостаточно накрахмалено белье, принесенное прачкой, дешево или дорого Тусен купила провизию; она оставалась угнетенной, ушедшей в себя, сосредоточенной на одной только мысли и глядела на все пустым и пристальным взглядом человека, всматривающегося ночью в черную глубину, где исчезло видение.

Впрочем, она также ничем, кроме бледности, не выдавала себя Жану Вальжану. Он видел то же обращенное к нему кроткое личико.

Этой бледности было более чем достаточно, чтобы встревожить его. Иногда он ее спрашивал:

— Что с тобой?

Она отвечала:

— Ничего.

И так как она понимала, что и он грустит, то, помолчав немного, добавляла:

— А вы, отец, что с вами такое?

— Со мною? Ничего, — говорил он.

Эти два существа, связанные такой редкостной и такой трогательной любовью, столь долго жившие друг для друга, теперь страдали друг возле друга, друг из-за друга, молча, не седуя, улыбаясь.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Жандальники

Жан Вальжан был несчастней Козетты. Юность даже в горести сохраняет в себе какой-то свет.

В иные минуты Жан Вальжан горевал так сильно, что, казалось, превращался в ребенка. Страданию свойственно

пробуждать во взрослом человеке дитя. Им владело какое-то непреодолимое чувство, ему казалось, что Козетта ускользает от него. И в нем родилось желание бороться, удержать ее, вызвать у нее восхищение чем-нибудь внешним и блестящим. Эти мысли, как мы уже говорили, ребяческие и в то же время стариковские, внушали ему, в силу самой их наивности, довольно справедливое мнение о влиянии мишуры на воображение молодых девушек. Как-то ему пришлось увидеть на улице проезжавшего верхом генерала в полной парадной форме, — то был граф Кутар, комендант Парижа. Он позавидовал этому раззолоченному человеку, подумав, какое было бы счастье надеть такой мундир, представлявший собой нечто неотразимое; если бы Козетта увидела его в нем, она была бы ослеплена, и если бы он под руку с ней прошел мимо ворот Тюильри, а караул отдал бы ему честь, этого было бы довольно, чтобы у Козетты пропало желание заглядываться на молодых людей.

К этим печальным мыслям добавилось неожиданное потрясение.

В уединенной жизни, какую они вели с тех пор, как переехали на улицу Плюме, у них появилась новая привычка. Время от времени они отправлялись посмотреть на восход солнца, — тихая отрада тех, кто вступает в жизнь, и тех, кто уходит из нее.

Утренняя прогулка для любящего одиночество равноценна ночной прогулке, с тем лишь преимуществом, что утром природа веселее. Улицы пустынные, поют птицы. Козетта, сама точно птичка, охотно вставала в ранние часы. Эти утренние путешествия готовились накануне. Он предлагал, она соглашалась. Устраивалось нечто вроде заговора, выходили еще до рассвета — то были ее скромные утхи. Такие невинные чудачества нравятся юности.

Как известно, у Жана Вальжана была склонность отправляться в местности, мало посещаемые, в уединенные уголки, в заброшенные места. В те времена вблизи парижских застав тянулись скудные, почти сливавшиеся с городом поля, на которых летом росла тощая пшеница и которые осенью, после сбора урожая, казались не скошенными, а выщипанными. Жан Вальжан отдавал им особенное предпочтение. Козетта там не скучала. Для

него это было уединение, для нее — свобода. Там она опять превращалась в маленькую девочку, могла бегать и почти веселиться, она снимала свою шляпку, клала ее на колени Жану Вальжану и рвала цветы. Она рассматривала бабочек на цветах, но не ловила их; вместе с любовью рождаются доброта и мягкость, и молодая девушка, живущая хрупкой и трепетной мечтой, жалеет крылышко бабочки. Она плела венки из маков, надевала их на голову, и алые цветы, пронизанные и насыщенные солнцем, пылавшие, как пламя, венчали огненной короной ее свежее розовое личико.

Даже после того, как их жизнь омрачилась, они сохранили обычай утренних прогулок.

Однажды в октябрьское утро, соблазненные безмятежной ясностью осени 1831 года, они вышли из дому и к тому времени, когда начало светать, оказались возле Менской заставы. Была не заря, а рассвет — восхитительный и суровый час. Мерцавшие там и сям в бледной и глубокой лазури созвездия, совсем черная земля, совсем побелевшее небо, вздрагивающие стебельки травы, всюду таинственное трепетание сумерек. Жаворонок, словно затерявшийся среди звезд, пел где-то на неслыханной высоте, и, казалось, этот гимн бесконечно малого бесконечно великому умиротворял беспредельность. На востоке церковь Валь-де-Грас вырисовывалась темной громадой на чистом, стального цвета горизонте; ослепительная Венера восходила позади ее купола, словно душа, ускользающая из мрачной темницы.

Всюду были мир и тишина; никого на дороге; кое-где в низинах едва различимые фигуры рабочих, отправлявшихся на свою работу.

Жан Вальжан уселся в боковой аллейке на бревнах, сваленных у ворот лесного склада. Он сидел лицом к дороге, спиной к свету; он забыл о восходившем солнце; им овладело то глубокое раздумье, которое поглощает все мысли, делает невидящим взгляд и словно заключает человека в четырех стенах. Есть размышления, которые можно было бы назвать вертикальными, — они заводят в такую глубь, что требуется время для того, чтобы вернуться на землю. Жан Вальжан погрузился в одно из таких размышлений. Он думал о Козетте, о возможном счастье, если бы ничто не вставало между ними, о свете,

которым она наполняла его жизнь, о том свете, которым дышала его душа. Он был почти счастлив, отдавшись этой мечте. Козетта, стоя возле него, смотрела на розовеющие облака.

Вдруг она вскричала: «Отец, вон оттуда как будто едут». Жан Вальжан поднял голову.

Она была права.

Дорога, ведущая к прежней Менской заставе, как известно, составляет продолжение Севрской улицы и перерезана под прямым углом бульваром. У поворота с бульвара на дорогу, в том месте, где они пересекаются, слышался трудно объяснимый в такое время шум и виднелась какая-то неясная громоздкая масса. Что-то бесформенное, появившееся со стороны бульвара, выбиралось на дорогу.

Все это выросло и спокойно двигалось вперед, но казалось в то же время каким-то взъерошенным и колыхающимся; это походило на повозку, но нельзя было понять, с каким она грузом. Смутно виднелись лошади, колеса, слышались крики, раздавалось хлопанье бичей. Постепенно очертания этой массы обрисовывались, хотя еще и тонули во мгле. Действительно, то была повозка, свернувшая с бульвара на дорогу и направлявшаяся к заставе, у которой сидел Жан Вальжан; другая такая же повозка следовала за ней, потом третья, четвертая; семь телег появились одна за другой, голова каждой лошади упиралась в задок ехавшей впереди повозки. Какие-то силуэты шевелились на этих телегах, поблескивало в сумерках что-то похожее на обнаженные шашки, слышался лягз, напоминавший звон цепей, голоса звучали все громче, это двигалось вперед и было таким же страшным, как то, что возникает лишь в пещере сновидений.

Приближаясь, все приняло определенную форму и выступило из-за деревьев с призрачностью видения; вся эта масса словно побелела; мало-помалу разгоравшийся день заливал тусклым брезжущим светом это скопище, одновременно потустороннее и живое, головы силуэтов превратились в лица мертвецов. А было это вот что:

По дороге цепочкой тянулись семь повозок. Из них первые шесть имели особое устройство. Они походили на дроги бочаров; то было нечто вроде длинных лестниц,

положенных на два колеса и переходивших на переднем конце в оглобли. Каждые дроги, скажем лучше, каждую лестницу тащили четыре лошади, запряженные гуськом. Лестницы были усеяны странными гроздьями людей. При слабом свете дня различить этих людей еще нельзя было, но их присутствие угадывалось. По двадцать четыре человека на каждой повозке, по двенадцати с каждой стороны, спиной друг к другу, лицом к прохожим, со свесившимися вниз ногами, — так эти люди совершали свой путь. За спинами у них что-то позвякивало, то была цепь; на шеях что-то поблескивало, то были железные ошейники. У каждого отдельный ошейник, но цепь общая; таким образом, эти двадцать четыре человека, если бы им пришлось спуститься с дрог и пойти, неминуемо составили бы какое-то единое членистоногое существо, с цепью вместо позвоночника, извивающееся по земле почти так же, как сороконожка. На передке и на задке каждой повозки стояло два человека с ружьями, каждый придерживал ногами конец цепи. Ошейники были квадратные. Седьмая повозка, четырехколесная поместительная фура с дощатыми стенками, но без верха, была запряжена шестью лошадьми; в ней гремела куча железных котелков, чугунных горшков, жаровен и цепей, и лежали, вытянувшись во весь рост, несколько связанных человек, с виду больных. Эта фура, сквозная со всех сторон, была снабжена разбитыми решетками, которые казались отслужившими свой срок орудиями старинного позорного наказания.

Повозки держались середины дороги. С обеих сторон шествовали двумя рядами гнусного вида конвойные, в складывающихся треуголках, как у солдат Директории, грязные, рваные, омерзительные, наряженные в сероголубые и почти изодранные в клочья мундиры инвалидов и панталоны факельщиков, с красными эполетами, желтыми перевязями, с тесаками, ружьями и палками, — настоящие обозные солдаты. В этих сбирах приниженность попрошаек сочеталась с властью палачей. Тот, кто казался их начальником, держал в руке бич почтаря. Эти подробности, ступшеванные сумерками, все яснее вырисовывались в свете наступавшего дня. В голове и в хвосте шествия торжественно выступали конные жандармы, с саблями наголо.

Процессия была такой длинной, что, когда первая повозка достигла заставы, последняя только съезжала с бульвара.

По обеим сторонам дороги теснилась толпа зрителей, появившаяся неизвестно откуда и собравшаяся во мгновение ока, как это часто бывает в Париже. В соседних улочках слышались голоса людей, окликающих друг друга, и стук сабо огородников, бежавших взглянуть на это зрелище.

Скученные на дрогах люди молча переносили тряску. Они посинели от утреннего холода. Все были в холщовых штанах и в деревянных башмаках на босу ногу. Остальная одежда свидетельствовала о причудах нищеты. Она была отвратительно пестра; нет ничего более мрачного, чем шутовское рубище. Шляпы с проломанным дном, клеенчатые фуражки, ужасные шерстяные колпаки и, рядом с блузой, черный фрак с продранными локтями; на некоторых были женские шляпы, у других на головах — плетушки; виднелись волосатые груди, сквозь прорехи в одежде можно было различить татуировку: храмы любви, пылающие сердца, амуры, а рядом лишай и нездоровые красные пятна. Двое или трое привязали к перекладинам дрог свисавший наподобие стремени соломенный жгут, который служил опорой их ногам. Один из них держал в руке нечто, похожее на черный камень, и, поднося его ко рту, казалось, вгрызался в него; то был хлеб, который он ел. Глаза у всех были сухие, потухшие или светящиеся каким-то недобрым светом. Конвойные ругались; люди в цепях не издавали ни звука; время от времени слышался удар палкой по голове или по спине; некоторые из этих людей зевали; их лохмотья внушали ужас; ноги болтались, плечи колыхались; головы сталкивались, цепи звенели, глаза дико сверкали, руки сжимались в кулаки или неподвижно висели, как у мертвецов; позади обоза толпа ребятишек заливалась смехом.

Эта вереница повозок, какова она ни была, вызывала мрачные мысли. Можно было ожидать, что если не сегодня, так завтра разразится ливень, за ним еще и еще, что рваная одежонка промокнет насквозь, что, вымокнув, эти люди не обсохнут, озябнув, не согреются, что их мокрые холщовые штаны прилипнут к телу, в башмаки нальется вода, что удары бича не помешают их зубам

стучать, цепь попрежнему будет держать их за шею, ноги попрежнему будут висеть; и нельзя было не содрогнуться, глядя на этих людей, связанных, беспомощных под холодными осенними тучами и, подобно деревьям и камням, отданных на волю дождя, студеного ветра, всех неистовств непогоды.

Палочные удары не миновали даже связанных веревками больных, неподвижно лежавших на седьмой телеге, точно сваленные туда мешки с мусором.

Внезапно взошло солнце; с востока брызнул огромный луч и как будто воспламенил все эти страшные головы. Языки развязались, полился бурный поток насмешек, проклятий и песенок. Широкая горизонтальная струя света разрезала надвое всю эту вереницу повозок, озарив головы и туловища, оставив ноги и колеса в темноте. На лицах проступили мысли; это мгновение было ужасно: то демоны глянули из-под упавших масок, то обнажили себя свирепые души. Даже освещенное, это сборище оставалось темным. Некоторые, развеселившись, вставили в рот трубочки от перьев и выдували на толпу насекомых, стараясь попасть в женщин. Заря резко подчеркивала черными тенями жалкие профили; каждый был изуродован нищетой; это было настолько чудовищно, что, казалось, солнечный свет потускнел, превратившись в мерцающий отблеск молнии. Повозка, открывшая поезд, затянула во всю мочь и загнусавила с дикой игривостью попури из прославленной в то время «Весталки» Дезожье; деревья уныло шелестели листьями; в боковой аллее буржуа слушали с идиотским блаженством эти шуточки, исполняемые призраками.

В этой процессии, как в первозданном хаосе, смешались все человеческие бедствия. Там можно было увидеть лицевой угол всех животных, там были старики, юноши, голые черепа, седые бороды, чудовищная циничность, угрюмая покорность, дикие оскалы, нелепые позы, свиные рыла под фуражками, подобия девичьих головок с выпущенными на виски завитками, детские и поэтому страшные лица, тощие лики скелетов, которым нехватало только смерти. На первой телеге сидел негр, быть может, когда-то невольник, который мог сравнить свои прежние цепи с настоящими. Страшный уравниватель низов, позор, тронул все лица; на этой ступени падения, в последних

глубинах общественного дна, испытали они последнее свое превращение: невежество, перешедшее в тупость, сравнялось с разумом, перешедшим в отчаяние. Никакой выбор не был возможен среди этих людей, являвших взору как бы самые сливки грязи. Было ясно, что случайный распорядитель гнусной процессии не распределял их по группам. Эти существа были связаны и соединены неудачу, вероятно, по произволу алфавита, и, как попало, погружены на повозки. Однако ужасы, собранные вместе, в конце концов выявляют свою равнодействующую; всякое объединение несчастных дает некий итог; каждая цепь имела общую душу, каждая телега — свое лицо. Рядом с той, которая пела, была другая, на которой вопили; на третьей выпрашивали милостыню; можно было заметить такую, на которой скрежетали зубами; на следующей стращали прохожих; на шестой богохульствовали; последняя была молчалива, как могила. Данте решил бы, что он видит семь кругов ада в движении.

Это был зловещий марш осужденных к месту наказания, но совершался он не на ужасной огненной колеснице апокалипсиса, а, что еще более мрачно, на позорных тюремных повозках.

Один из конвойных, державший палку с крючком на конце, время от времени обнаруживал намерение поворочить ею эту кучу человеческого отребья. Какая-то старуха в толпе показывала на них пальцем мальчику лет пяти, говоря при этом: «Это тебе урок, негодник!»

Так как пение и брань все усиливались, тот, кто казался командиром охраны, щелкнул бичом, и по этому сигналу ужасающие палочные удары, глухие и слепые, подобно граду, обрушились на семь повозок; люди рычали, бесновались, что удвоило веселье уличных мальчишек, налетевших на этот гнойник, подобно рою мух.

Взгляд Жана Вальжана стал страшен. То были уже не глаза; то было непроницаемое стекло, заменяющее зрачок у некоторых несчастных, не отражающее действительности, но словно горящее отсветами ужасов и катастроф. Он не замечал открывшегося перед ним зрелища; его взору предстало страшное видение. Он хотел встать, бежать, исчезнуть, — и не мог двинуть пальцем. Иногда то, что видишь, как бы хватает и удерживает нас. Он застыл пригвожденный к месту, окаменевший, остолбенелый,

спрашивая себя в невыразимой смутной тревоге, что означает это преследование из-за гроба, откуда взялось это скопище демонов, обратившееся против него. Внезапно он поднял руку ко лбу, — обычное движение у тех, к кому внезапно возвращается память, — он вспомнил, что таков был постоянный маршрут, что сюда обычно сворачивали, чтобы избежать встречи с королем, всегда возможной по дороге в Фонтенебло, и что тридцать пять лет тому назад он сам проезжал через эту заставу.

Козетта была испугана по-другому, но не меньше. Она ничего не понимала; у нее перехватило дыхание; то, что она видела, казалось ей невозможным. Наконец она воскликнула:

— Отец, что же там такое в этих повозках?

Жан Вальжан ответил:

— Каторжники.

— Куда же они едут?

— На каторгу.

В это время палочные удары посыпались особенно щедро и часто, к ним прибавились удары саблей плашмя, — то было какое-то неистовство бичей и палок; каторжники скорчились, наказание привело их к отвратительной покорности, все замолчали, бросая по сторонам взгляды затравленных волков.

Козетта дрожала с головы до ног; она снова спросила:

— Отец, и все это — люди?

— Некоторые из них, — ответил несчастный.

Действительно, то был этап, выступивший до рассвета из Бисетра и направлявшийся по дороге в Ман, чтобы обогнуть Фонтенебло, где тогда пребывал король. Этот объезд должен был продлить ужасный путь на три или четыре дня, но, чтобы уберечь августейшую особу от неприятного зрелища, можно, разумеется, продолжить пытку.

Жан Вальжан вернулся домой совершенно подавленным. Такая встреча равносильна удару, и память, которую она по себе оставляет, похожа на потрясение.

Однако Жан Вальжан, возвратившись с Козеттой на Вавилонскую улицу, не заметил, чтобы она еще задавала вопросы по поводу того, что им довелось увидеть; возможно, он был слишком погружен в себя и угнетен, чтобы воспринять ее слова и ответить на них. Только вечером,

Когда Козетта уходила спать, он услышал, как она вполголоса, словно разговаривая сама с собой, сказала: «О господи, мне кажется, если бы я встретилась с кем-нибудь из этих людей, я умерла бы только оттого, что увидела его вблизи!»

К счастью, на следующий день после этой трагической встречи, в Париже, по случаю какого-то официального торжества, состоялись празднества: парад на Марсовом поле, фехтование шестами лодочников на Сене, представление на Елисейских полях, фейерверки на площади Звезды, иллюминация повсюду. Жан Вальжан, вопреки своим привычкам, повел Козетту на этот праздник, чтобы рассеять воспоминания о вчерашнем дне и заслонить веселой суматохой, поднявшейся во всем Париже, отвратительную картину, промелькнувшую перед ней накануне.

Парад, бывший приправой к празднеству, естественно вызвал круговращение мундиров; Жан Вальжан надел форму национального гвардейца, смутно испытывая чувство укрывшегося от опасности человека. Так или иначе цель прогулки была, казалось, достигнута. Козетта, считавшая для себя законом угождать отцу, согласилась на это развлечение с легкой и непритязательной радостью, свойственной юности; впрочем, для нее всякое зрелище было внове, и она не отнеслась слишком пренебрежительно к этому общему котлу веселья, именуемому «народное гулянье»; таким образом, Жан Вальжан мог полагать, что он добился своего и что в памяти Козетты не осталось и следа от мерзкого видения.

Несколько дней спустя, утром, когда ярко светило солнце, они оба вышли на крыльцо в сад — это было новым нарушением правил, установленных для себя Жаном Вальжаном, и привычки сидеть в своей комнате, которую привила Козетте ее печаль; Козетта, в пеньюаре, восхитительно окутанная этим небрежным утренним нарядом, подобно звезде, прикрытой облачком, вся розовая после сна и озаренная светом, стоя возле старика, молча ее созерцавшего растроганным взглядом, обрывала лепестки маргаритки. Она не знала прелестного гадания: «любит не любит» и т. д.; да и кто мог ее этому научить? Она ощипывала цветок инстинктивно, невинно, не подозревая, что обрывать маргаритку — значит обнажать свое сердце.

Если бы существовала четвертая Грация, именуемая Меланхолией и при этом улыбавшаяся, то она походила бы на эту Грацию. Жан Вальжан был заморожен созерцанием беленьких пальчиков, обрывавших цветков; он забыл обо всем, растворившись в сиянии, окружавшем эту девушку. Рядом, в кустарнике, щебетала малиновка. Белые облачка так весело неслись по небу, словно только что вырвались на свободу. Козетта продолжала сосредоточенно обрывать цветок; казалось, она мечтала о чем-то, и ее мечта должна была быть очаровательной. Внезапно, с изящной медлительностью лебедя, она повернула голову и спросила: «Отец, а что это такое — каторга?»

Книга четвертая

ПОМОЩЬ СНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОЩЬЮ СВЫШЕ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Рана снаружи, исцеление внутри

Так, день за днем, омрачалась их жизнь.

У них осталось только одно развлечение, некогда бывшее счастьем, — оделять хлебом голодных и одеждой страдавших от холода. Навещая бедняков, Жан Вальжан и Козетта, которая часто сопровождала его, чувствовали, как вновь оживает в них что-то от бывшей задушевной их близости; иногда, если случался хороший день и удавалось облегчить нужду многих страдальцев, согреть и порадовать многих малышей, Козетта вечером была несколько веселее. Именно в эту пору их жизни они и посетили ко-нуру Жондрета.

На следующее же утро после этого посещения Жан Вальжан появился в доме спокойный, как всегда, но с широкой раной на левой руке, сильно воспаленной, злокачественной и похожей на ожог; о причине ее он сказал весьма уклончиво. Из-за этой раны его целый месяц лихорадило, и он сидел дома. Обращаться к врачу он не хотел. Когда Козетта настаивала, он отвечал: «Позови ветеринара».

Козетта перевязывала рану утром и вечером с такой божественной кротостью, с таким выражением ангельского счастья быть ему полезной, что Жан Вальжан чувствовал, как к нему возвращается прежняя радость, как рассеиваются его опасения и тревоги. И, глядя на Козетту, он твердил: «О целебная рана! О целебная болезнь!»

Пока отец был болен, Козетта покинула особняк, она снова полюбила маленький флигель и задний дворик.

Почти весь день она проводила с Жаном Вальжаном и читала ему книги по его выбору, главным образом путешествия. Жан Вальжан воскресал; его счастье вновь расцвело, сияя неизъяснимым светом; Люксембургский сад, молодой неизвестный бродяга, охлаждение Козетты — все эти тучи не застилали больше его души. Он даже сказал себе: «Я выдумал все это. Я старый сумасброд».

Его счастье было так велико, что страшная и столь неожиданная встреча с семейством Тенардые в конуре Жондрета, можно сказать, почти не затронула его. Он успел ускользнуть, его след был потерян. Что ему до остального! Если он и вспоминал о ней, то лишь с чувством жалости к этим несчастным. «Теперь они в тюрьме, — думал он, — и уже не в состоянии мне вредить, но какая жалкая, несчастная семья!»

Что до отвратительного видения на Менской заставе, то Козетта больше не заговаривала об этом.

В монастыре сестра Мехтильда преподавала Козетте музыку. У Козетты был голос малиновки, наделенной душой, и порой, вечерами, в скромном жилище раненого, она пела печальные песенки, радовавшие Жана Вальжана.

Наступила весна, сад в это время года был так прекрасен, что Жан Вальжан сказал Козетте: «Ты никогда не гуляешь в саду, поди прогуляйся». — «Хорошо, отец», — сказала Козетта.

И, повинуясь его желанию, она снова начала гулять в саду, большею частью одна, потому что, как мы уже упоминали, Жан Вальжан, по всей вероятности боясь быть замеченным через решетку, почти никогда не ходил в сад.

Его рана дала другое направление мыслям обоих.

Козетта, увидев, что отцу стало легче, что он выздоравливает и кажется счастливым, испытывала удовлетворение, которого она даже не заметила сама, настолько естественно и незаметно оно пришло. Кроме того, был март, дни становились длиннее, зима проходила, а она всегда уносит с собой что-то от наших горестей; потом наступил апрель — этот рассвет лета, свежий, как всякая заря, веселый, как всякое детство, иногда немного плаксивый, как всякий новорожденный. Природа в этом месяце исполнена пленительного мерцающего света,

лющегося с неба, из облаков, от деревьев, лугов и цветов прямо в человеческое сердце.

Козетта была еще слишком молода, чтобы не проникнуться этой радостью апреля, который был сам похож на нее. Нечувствительно и незаметно для нее мрачные мысли исчезали. Весной в опечаленной душе становится светлее, как ярким полднем в подвале. Козетта даже и не печалилась уж так сильно. Это было очевидно, хотя она и не отдавала себе в том отчета. Утром, часов около десяти, после завтрака, когда ей удавалось увлечь отца на четверть часа в сад и погулять с ним на солнышке возле крылечка, поддерживая его больную руку, она сама не замечала, что то и дело смеялась и была счастлива.

Жан Вальжан в упоении убеждался, что она снова стала новилась свежей и румяной.

— О целебная рана! — тихонько повторял он.

И он был благодарен Тенардье.

Как только рана зажила, он возобновил свои одинокие вечерние прогулки.

Но было бы заблуждением думать, что можно по вечерам гулять одному по малонаселенным окраинам Парижа, не натолкнувшись на какое-нибудь приключение.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление

Как-то вечером маленькому Гаврошу нечего было есть; он вспомнил, что не обедал и накануне; это становилось скучным. Он решил попытаться поужинать и отправился побродить в пустынных местах за Сальпетриер; именно там и можно было рассчитывать на удачу. Где нет никого, что-нибудь да найдется. Он добрался до какого-то поселка, ему показалось, что это деревня Аустерлиц.

Однажды, разгуливая там, он заметил старый сад, где появлялись старик и старуха, и в этом саду — довольно сносную яблоню. Возле яблони находилось нечто вроде неплотно прикрытого ларя для хранения плодов, откуда можно было стащить яблоко. Яблоко — это ужин; яблоко — это жизнь. Яблоко погубило Адама, но могло спасти Гавроша. К саду примыкала пустынная немощеная

улочка, за отсутствием домов окаймленная кустарником; сад от улицы отделяла изгородь.

Гаврош направился к этому саду, нашел улочку, узнал яблоню, убедился, что ларь для плодов на месте, и внимательно обследовал изгородь; а что такое изгородь? — раз-два, и перескочил. Вечерело, на улице не было ни души, время казалось подходящим. Гаврош собрался уже итти на приступ, но вдруг остановился. В саду разговаривали. Гаврош посмотрел сквозь щель в изгороди.

В двух шагах от него, по другую сторону изгороди, как раз против того места, которое он наметил, чтобы проникнуть внутрь, лежал камень, служивший скамьей; на этой скамье сидел старик, хозяин сада, а перед ним стояла старуха. Старуха брюзжала. Гаврош, не отличавшийся скромностью, прислушался.

— Господин Мабеф! — сказала старуха.

«Мабеф! — подумал Гаврош. — Да это прямо смех».

Старик не шевельнулся. Старуха повторила:

— Господин Мабеф!

Старик, не поднимая глаз, наконец ответил:

— Что скажете, тетушка Плутарх?

«Тетушка Плутарх! — подумал Гаврош, — да это прямо умора».

Тетушка Плутарх заговорила, и старик вынужден был вступить с ней в беседу.

— Хозяин недоволен.

— Почему?

— Мы ему должны за девять месяцев.

— Через три месяца мы ему будем должны за двенадцать.

— Он говорит, что выставит нас на улицу.

— Что ж, я пойду.

— Зеленщица просит денег. И нет больше ни одной охапки поленьев. Чем вы будете отапливаться зимой? У нас совершенно нет дров.

— Зато есть солнце.

— Мясник больше не дает в долг и не хочет отпускать говядину.

— Это очень кстати. Я плохо переносу мясо. Оно для меня слишком тяжело.

— Что же подавать на обед?

— Хлеб.

— Булочник требует по счету и говорит, что раз нет денег, не будет и хлеба.

— Хорошо.

— Что же вы будете есть?

— У нас есть яблоки.

— Но, сударь, ведь нельзя жить просто так, без денег.

— У меня их нет.

Старуха ушла, старик остался один. Он погрузился в размышления. Гаврош тоже размышлял. Уже почти совсем стемнело.

Вместо того чтобы перебраться через изгородь, Гаврош уселся под ней — таково было первое следствие его размышлений. Внизу ветки кустарника были немного реже.

«Смотри-ка, — воскликнул про себя Гаврош, — да тут настоящая спальня!» И забравшись поглубже, свернулся в комочек. Спinoй он почти прислонился к скамье дедушки Мабефа. Он слышал дыхание старика.

Затем, вместо того чтобы пообедать, он попытался заснуть.

Сон кошки — сон вполглаза. Гаврош и сквозь дремоту караулил.

Бледное сумеречное небо отбрасывало белый свет на землю, и улица обозначалась сизой полосой между двумя рядами темных кустов.

Внезапно на этой белесоватой ленте возникли два силуэта. Один шел впереди, другой — на некотором расстоянии сзади.

— А вон и еще двое, — пробормотал Гаврош.

Первый силуэт напоминал старого, согбенного и задумчивого буржуа, одетого более чем просто, ступавшего медленно, по-стариковски, и вышедшего побродить вечером под звездным небом.

Другой был тонкий, стройный, подобранный. Он соизмерял свои шаги с шагом первого, но в преднамеренной медлительности его походки чувствовалась гибкость и проворство. В нем было что-то хищное и внушавшее беспокойство, вместе с тем весь его облик выдавал «модника», по выражению того времени. У него была отличная шляпа, черный сюртук в талию, хорошо сшитый и, вероятно, из прекрасного сукна. В том, как он держал голову, сквозила сила и изящество, а под шляпой, в сумерках, можно было различить бледный юношеский профиль

с розой во рту. Этот второй силуэт был хорошо знаком Гаврошу: то был Монпарнас.

Что же касается первого, то о нем нельзя было ничего сказать, кроме того, что это добродушный на вид старик.

Гаврош тотчас уставился на них.

Один из этих двух прохожих, повидимому, имел какие-то намерения относительно другого. Гаврош мог отлично видеть, что произойдет дальше. Его спальня очень кстати оказалась удобным укрытием.

Монпарнас на охоте, в такой час, в таком месте — это не обещало ничего хорошего. Гаврош почувствовал, как его мальчишеская душа прониклась жалостью к старику.

Что делать? Вмешаться? Это будет помощью одного слабосильного другому! Монпарнас бы только посмеялся. Гаврош был уверен, что этот страшный восемнадцатилетний бандит справится со стариком и ребенком в два счета.

Пока Гаврош раздумывал, нападение было совершено, внезапное и отвратительное. Нападение тигра на оленя, паука на муху. Монпарнас, неожиданно бросив розу, прыгнул на старика, схватил его за ворот, сжал руками и повис на нем. Гаврош едва удержался от крика. Мгновение спустя один из этих людей лежал под другим, придавленный, хрипящий, бьющийся; каменное колено упиралось ему в грудь. Но только произошло не совсем то, чего ожидал Гаврош. Лежавший на земле был Монпарнас; победителем был старик. Все это произошло в нескольких шагах от Гавроша.

Старик устоял на ногах и на удар ответил ударом с такой страшной силой, что нападающий и его жертва мгновенно поменялись ролями.

«Ай да старик!» — подумал Гаврош.

И, не удержавшись, захлопал в ладоши. Но его рукоплескания не были услышаны. Они не донеслись до слуха занятых борьбой и прерывисто дышавших противников, оглушенных друг другом.

Воцарилась тишина. Монпарнас перестал отбиваться. Гаврош подумал: «Уж не прикончил ли он его?»

Старик не произнес ни слова, ни разу не крикнул. Потом он выпрямился, и Гаврош услышал, как он сказал Монпарнасу:

— Вставай.

Монпарнас поднялся, но старик продолжал его держать. У Монпарнаса был униженный и разъяренный вид волка, пойманного овцой.

Гаврош смотрел и слушал во все глаза и во все уши. Он забавлялся от души.

Он был вознагражден за свое добросовестное беспокойство зрителя. До него долетел следующий разговор, приобретающий в ночной тьме какой-то трагический оттенок. Старик спрашивал, Монпарнас отвечал.

— Сколько тебе лет?

— Девятнадцать.

— Ты силен и здоров. Почему ты не работаешь?

— Ну, это скучно.

— Чем же ты занимаешься?

— Бездельничаю.

— Говори серьезно. Можно ли сделать что-нибудь для тебя? Кем бы ты хотел быть?

— Вором.

Воцарилось молчание. Казалось, старик глубоко задумался. Он стоял неподвижно, не выпуская, однако, Монпарнаса.

Время от времени молодой бандит, сильный и ловкий, делал внезапные движения животного, пойманного в капкан. Он вырывался, пытался дать подножку, бешено извивался всем телом, стараясь ускользнуть. Старик, казалось, этого не замечал, держа обе его руки в одной своей с властным спокойствием беспредельной силы.

Задумчивость старика длилась несколько минут, потом, пристально взглянув на Монпарнаса, он слегка повысил голос и среди обступившей их тьмы обратился к нему с чем-то вроде торжественной речи, которую Гаврош выслушал, не проронив ни звука.

— Дитя мое, из-за своей лени ты начинаешь самое тяжкое существование. Ты объявляешь себя бездельником? Так готовься же работать! Видел ли ты одну страшную машину? Она называется прокатным станом. Следует ее остерегаться — она кровожадна и коварна; стоит ей только схватить человека за полу платья, как он весь будет втянут в нее. Праздность подобна этой машине. Остановись, пока еще есть время, и спасайся! Иначе конец; ты не успеешь оглянуться, как попадешь в шестерню. И раз ты пойман, не надейся больше ни на что. За работу,

лентяй! Отдых кончился. Железная рука неумолимого труда схватила тебя. Зарабатывать на жизнь, делать свое дело, выполнять свой долг — ты этого не хочешь? Жить как другие тебе скучно? Ну так вот! Ты будешь жить иначе. Работа — закон; кто отказывается от нее, видя в ней скуку, узнает ее как мучительное наказание. Ты не хочешь быть тружеником, так станешь рабом. Труд если и отпускает нас, то только для того, чтобы снова схватить, но уже по-иному; ты не хочешь быть его другом, так будешь его невольником. Ты не хотел честной человеческой усталости, так будешь обливаться потом грешника в преисподней! Когда другие будут петь, ты будешь хрипеть. Ты увидишь издали, снизу, как другие работают, и тебе покажется, что они отдыхают. Пахарь, жнец, матрос, кузнец явятся тебе, залитые светом, подобно блаженным в раю. Что за свет излучает наковальня! Вести плуг, вязать снопы — какое наслаждение! Барка на свободе под ветром, — ведь это праздник! А ты, лентяй, работай киркой, таскай, ворочай, двигайся! Плетись в своем ярме, ты уже стал вьючным животным в адской запряжке! Ничего не делать — это твоя цель? Ну так вот! Ни одной недели, ни одного дня, ни одного часа без чувства изнеможения. Поднять что-нибудь станет для тебя мукой. Каждая минута заставит трещать твои мускулы. То, что для других будет легким, как перышко, для тебя будет каменной глыбой. Вещи, самые простые, обернутся крутым откосом. Жизнь станет чудовищной для тебя. Ходить, двигаться, дышать — какая ужасная работа! Твои легкие будут казаться тебе стофунтовой тяжестью. Здесь ли пройти или там — станет для тебя трудно разрешимой задачей. Любой человек, желающий выйти из дому, открывает дверь, и готово — он на улице. Для тебя же выйти из дому — значит пробуровать стену. Чтобы очутиться на улице, что обычно делают? Спускаются по лестнице; ты же разорвешь простыни, сошьешь полоска за полоской веревку, потом ты вылезешь в окно и на этой нити повиснешь над пропастью, — и это будет ночью, в дождь, в бурю, в ураган; если же веревка окажется слишком короткой, у тебя останется только один способ спуститься — упасть. Упасть, как придется. Или же тебе придется карабкаться в дымовой трубе, рискуя сгореть, или ползти по стокам отхожих мест, рискуя там утонуть. Я уж не говорю

о дырах, которые нужно маскировать, о камнях, которые нужно вынимать и снова вставлять по двадцать раз в день, о штукатурке, которую нужно прятать в своем тюфяке. Допустим, перед тобой замок; у горожанина в кармане есть ключ, изготовленный слесарем. А ты, если захочешь обойтись без ключа, будешь обречен на изготовление страшной и диковинной вещи. Ты возьмешь монету в два су и разрежешь ее на две пластинки. При помощи каких инструментов? Ты их изобретешь. Это уж твоя забота. Потом ты выскоблишь внутри эти две пластинки, стараясь не попортить наружной их поверхности, и нарежешь их винтом так, чтобы они плотно скреплялись друг с другом, как дно и крышка. Свинченные таким образом, они ничем себя не выдадут. Для надзирателей, — ведь за тобой будут следить, — это просто монета в два су, для тебя — ящичек. Что же ты спрячешь в него? Маленький кусочек стали. Часовую пружинку, на которой ты сделаешь зубцы и которая превратится в пилочку. Этой пилочкой, длиной с булавку и спрятанной в твою монету, ты должен будешь перепилить замочный язычок и задвижку, дужку висячего замка, перекладину в твоём окне и железное кольцо на твоей ноге. Изготовив этот изумительный, дивный инструмент, свершив все эти чудеса искусства, ловкости, сноровки, терпенья, что ты получишь в награду, если обнаружат твоё изобретение? Карцер. Вот твоё будущее. Лень, удовольствие — да ведь это бездонный омут! Ничего не делать — печальное решение, знаешь ли ты об этом? Жить праздно за счёт общества! Быть бесполезным, то есть вредным! Это ведёт прямо вглубь нищеты. Горе тому, кто хочет быть тунеядцем! Он станет отвратительным червем. А тебе не нравится работать? У тебя только одна мысль — хорошо попить, хорошо поесть, хорошо поспать? Так ты будешь пить воду, ты будешь есть чёрный хлеб, ты будешь спать на досках, в железных цепях, сковывающих твоё тело, и ночью будешь ощущать их холод. Ты разобьёшь эти цепи, ты убежишь? Отлично. Ты поползёшь на животе в кусты, и ты будешь есть траву, как звери лесные. И ты будешь пойман. И тогда ты проведёшь целые годы в подземной тюрьме, прикованный к стене, нащупывая кружку, чтобы напиться, будешь грызть ужасный тюремный хлеб, от которого отказались бы даже собаки, и будешь есть бобы, изъеденные до тебя червями. Ты

станешь мокрицей, живущей в погребке. Пожалей же себя, несчастное дитя, ведь ты еще совсем молод, не прошло и двадцати лет с тех пор, как ты лежал у груди кормилицы; наверно, и мать у тебя еще жива! Заклинаю тебя, послушайся меня. Ты хочешь платья из тонкого черного сукна, лакированных туфель, завитых волос, ты хочешь умащать свои кудри душистым маслом, нравиться женщинам, быть красивым? Так ты будешь обрит наголо, одет в красную куртку и деревянные башмаки. Ты хочешь носить перстни — на тебя наденут ошейник. Если ты взглянешь на женщину — получишь удар палкой. Ты войдешь в тюрьму двадцатилетним юношей, а выйдешь пятидесятилетним стариком! Ты войдешь туда молодой, румяный, свежий, у тебя сверкающие глаза, прекрасные зубы, великолепные волосы, а выйдешь согнувшийся, разбитый, морщинистый, беззубый, страшный, седой! О бедное мое дитя, ты на ложном пути, безделье подает тебе дурной совет! Воровство — самая тяжелая работа! Поверь мне, не бери на себя этот мучительный труд — лень. Быть мошенником не легко. Гораздо легче быть честным человеком. А теперь иди и подумай о том, что я тебе сказал. Кстати, чего ты хотел от меня? Тебе нужен мой кошелек? На, бери.

И старик, выпустив Монпарнаса, положил ему в руку кошелек. Монпарнас сразу взвесил его на руке и, с привычной осторожностью, как если бы он украл его, тихонько опустил в задний карман своего сюртука.

Затем старик повернулся и спокойно продолжал прогулку.

— Дуралей! — пробормотал Монпарнас.

Кто был этот добрый старик? Читатель, без сомнения, догадался.

Озадаченный Монпарнас смотрел, как он исчезал в сумерках. Эти минуты созерцания были для него роковыми.

В то время как старик удалялся, Гаврош приближался.

Бросив искоса взгляд на изгородь, Гаврош убедился, что дедушка Мабеф, повидимому задремавший, все еще сидит на скамье. Тогда мальчишка вылез из кустов и потихоньку пополз к Монпарнасу, который стоял к нему спиной. Невидимый во тьме, он неслышно подкрался к нему, осторожно засунул руку в задний карман его черного изящного сюртука, схватил кошелек, вытащил руку и

снова пополз обратно, как уж, ускользящий в темноте. Монпарнас, не имевший никаких оснований остерегаться и задумавшийся в первый раз в жизни, ничего не заметил. Гаврош, вернувшись к тому месту, где сидел дедушка Мабеф, перекинул кошелек через изгородь и пустился бежать со всех ног.

Кошелек упал на ногу бабушки Мабефа. Это его разбудило. Он наклонился и поднял кошелек. Ничего не понимая, он открыл его. То был кошелек с двумя отделениями; в одном лежало немного мелочи, в другом — шесть золотых монет.

Господин Мабеф, совсем растерявшись, отнес находку своей домоправительнице.

— Это упало с неба, — сказала тетюшка Плутарх.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Уединенность в сочетании с казармой

Горе Козетты, такое острое, такое тяжкое четыре или пять месяцев тому назад, неведомо для нее, начало утихать. Природа, весна, молодость, любовь к отцу, ликование птиц и цветов заставили мало-помалу, день за днем, капля за каплей, просочиться в эту столь юную и девственную душу нечто, походившее на забвение. Действительно ли огонь в ней погасал или же только покрывался слоем пепла? Во всяком случае, она почти не ощущала того, что прежде жгло ее и мучило.

Однажды она вдруг вспомнила Мариуса: «Как странно, — сказала она, — я больше о нем не думаю».

На той же неделе, проходя мимо садовой решетки, она заметила блестящего уланского офицера, в восхитительном мундире, с ссиной талией, девическими щечками, с саблей на боку, нафабранными усами, блестящим кивером и сигарой в зубах. Вдобавок у него были белокурые волосы, голубые глаза навывкате, круглое, пустое, красивое и наглое лицо — полная противоположность Мариусу. Козетта подумала, что этот офицер, наверное, из полка, размещенного в казармах на Вавилонской улице.

На следующий день она увидела его снова. Она запомнила час.

Начиная с этого момента, — была ли это только случайность? — она видела, как он проходил мимо почти каждый день.

Приятели офицера заметили, что в этом «запущенном» саду, за этой ржавой решеткой в стиле рококо, почти всегда обретается некое довольно миловидное создание в те часы, когда мимо проходит красавец-лейтенант, безызыскный читателю Теодюль Жильнорман.

— Послушай-ка, — говорили они ему, — тут есть малютка, которая умильно на тебя поглядывает, обрати на нее внимание!

— Вот еще! Стану я обращать внимание на всех девчонок, которые на меня поглядывают! — отвечал улан.

Это было как раз в то время, когда Мариус был уже по-настоящему близок к агонии и повторял: «Только бы снова увидеть ее перед смертью!» Если бы его желание осуществилось и он увидел Козетту, поглядывавшую на улана, он, не произнеся ни слова, умер бы с горя.

Кто был бы в этом виноват? Никто.

Мариус принадлежал к числу людей, которые, погрузившись в печаль, в ней и пребывают; Козетта — к числу тех, которые, окунувшись в нее, выплывают наверх.

Кроме того, Козетта переживала то опасное время, то роковое состояние предоставленной самой себе мечтательной женской души, когда сердце молодой одинокой девушки походит на усики виноградной лозы, цепляющейся по прихоти случая за капитель мраморной колонны или за стойку кабачка. Это быстролетное и решающее время, опасно для всякой сироты, бедна она или богата, потому что богатство не защищает от дурного выбора: вступают в неравный брак и в высшем обществе; подлинное неравенство в браке — это неравенство душ. Молодой человек, безвестный, без имени, без состояния, может оказаться мраморной колонной, поддерживающей храм великих чувств и великих идей, а какой-нибудь светский человек, богатый и самодовольный, щеголяющий начищенными сапогами и лакированными словами, если его рассмотреть не извне, а изнутри, что выпадает на долю только его жены, оказывается полным ничтожеством, подверженным свирепым, гнусным и пьяным страстям, — настоящей кабацкой стойкой.

Что же таилось в душе Козетты? Утихшая или заснувшая страсть; витавшая ли там любовь; нечто прозрачное, сверкающее, но замутненное на некоторой

глубине и темное на дне? Образ красивого офицера отражался на поверхности этой души. Было ли там, в глубине ее, какое-то воспоминание? В самой глубине? Быть может. Козетта не знала.

Вдруг произошел странный случай.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Страхи Козетты

В первой половине апреля Жан Вальжан куда-то уехал. Как известно, ему случалось уезжать иногда, хоть и через значительные промежутки времени. Он отсутствовал день или два, самое большее. Куда он отправлялся? Никто этого не знал, даже Козетта. Только раз, в один из этих отъездов, она провожала его в фиакре до маленького глухого переулочка, на углу которого можно было прочесть: «Дровяной тупик». Там он сошел, и фиакр отвез Козетту обратно на Вавилонскую улицу. Обычно Жан Вальжан предпринимал эти маленькие путешествия, когда в доме не оставалось денег.

Итак, Жан Вальжан был в отсутствии. Уезжая, он сказал: «Я вернусь через три дня».

Вечером Козетта была одна в гостиной. Чтобы развлечься, она открыла фисгармонию и начала петь, аккомпанируя себе, «В лесу заблудились охотники!» — хор из «Эврианты», быть может, самое прекрасное из всех музыкальных произведений. Окончив, она задумалась.

Внезапно послышались чьи-то шаги в саду.

Это не мог быть ее отец, он отсутствовал. Это не могла быть Тусен, она спала. Было десять часов вечера.

Она подошла к окну гостиной, закрытому внутренней ставней, и прильнула к ней ухом.

Ей показалось, что это мужские шаги и что ходят очень осторожно.

Она быстро поднялась на второй этаж, в свою комнату, открыла прорезанную в ставне форточку и выглянула в сад. Стояло полнолуние. Было светло, как днем.

В саду никого не оказалось.

Она открыла окно. В саду было спокойно, а на улице, насколько удавалось разглядеть, — пустынно, как всегда.

Козетта подумала, что ошиблась, очевидно ей только показалось, что она слышала шум. Это была галлюцинация, вызванная чудесным и мрачным хором Вебера, который открывает духу путающие неведомые глубины и трепещет перед вами, подобно дремучему лесу, — хором, где слышится потрескивание сухих веток под торопливыми шагами скрывающихся в сумраке охотников. Она перестала об этом думать.

Впрочем, по натуре Козетта не была слишком робкой. В ее жилах текла кровь простолюдинки, босоногой искальницы приключений. Припомним, что она более походила на жаворонка, чем на голубку. В основе ее характера лежали нелюдимость и смелость.

На другой день вечером, но пораньше, когда еще только стало темнеть, она гуляла в саду. Среди смутных мыслей, занимавших ее, ей казалось, что время от времени она ясно различает шум, подобный вчерашнему, словно кто-то ходил в темноте под деревьями, не очень далеко от нее. Но она подумала, что ничто так не напоминает шаги человека в траве, как шорох двух качающихся веток, задевающих друг друга, и не встревожилась. Впрочем, она ничего и не видела.

Она вышла из «заросли»; ей оставалось лишь пересечь маленькую зеленую лужайку, чтобы дойти до крыльца. Когда Козетта направилась к дому, луна, всхлывшая позади, отбросила ее тень на эту лужайку.

Козетта остановилась в испуге.

Рядом с ее тенью луна отчетливо вырисовывала на траве другую тень, внушившую ей особенный страх и ужас, — тень в круглой шляпе.

Казалось, это была тень человека, стоявшего на опушке зарослей кустарника, в двух-трех шагах от Козетты.

Несколько мгновений она не могла ни заговорить, ни крикнуть, ни позвать, ни пошевелинуться, ни повернуть голову.

Наконец она собралась с духом и решительно оглянулась.

Никого не было.

Она посмотрела на землю. Тень исчезла.

Она снова вернулась в заросли кустарника, смело

обыскала все углы, дошла до решетки и ничего не обнаружила.

Она вся похолодела. Неужели это новая галлюцинация? Может ли быть? Два дня подряд! Одна галлюцинация — это еще куда ни шло, но две галлюцинации? Особенно тревожило ее то, что тень безусловно не была привидением. Привидения никогда не носят круглых шляп.

На следующий день Жан Вальжан возвратился. Козетта рассказала ему все, что ей прислышалось и привиделось. Она ожидала, что отец ее успокоит и, пожав плечами, скажет: «Ты маленькая дурочка».

Но Жан Вальжан задумался:

— Тут что-нибудь да есть, — сказал он.

Под каким-то предлогом он оставил ее и отправился в сад, и она заметила, что он очень внимательно осматривал решетку.

Ночью она проснулась; на этот раз она ясно услышала, что кто-то ходит возле крыльца под ее окном. Она подбежала к форточке и открыла ее. В саду на самом деле был какой-то человек с большой палкой в руке. Она уже собралась крикнуть, как вдруг луна осветила профиль этого человека. То был ее отец.

Она снова улеглась, подумав: «Значит, он очень встревожен!»

Жан Вальжан провел в саду эту ночь и две следующих ночи. Козетта видела его в щель ставни.

На третью ночь убывающая луна начала подниматься позже, и, возможно, был уже час ночи, когда она услышала взрыв громкого хохота и голос отца, который звал ее:

— Козетта!

Она вскочила с постели, надела капот и открыла окно.

Ее отец стоял внизу, на лужайке.

— Я разбудил тебя, чтобы ты успокоилась, — сказал он, — смотри. Вот твой призрак в круглой шляпе.

И он показал ей лежащую на траве длинную тень, обрисованную луной, действительно очень похожую на силуэт человека в круглой шляпе. Это была тень железной печной трубы с колпаком, возвышавшейся над соседней крышей.

Козетта тоже рассмеялась, все ее мрачные предположения исчезли, и на следующий день, завтракая с отцом, она потешалась над этим зловещим садом, который посещали призраки печных труб.

К Жану Вальжану вернулось его спокойствие; что же до Козетты, то она даже хорошенько не заметила, могла ли печная труба отбрасывать свою тень туда, где она ее видела или думала, что видит, и находилась ли луна в той же точке неба. Она не задалась вопросом относительно странного поведения печной трубы, боявшейся быть захваченной с поличным и скрывшейся при взгляде на ее тень, ибо тень исчезла, как только Козетта обернулась, — Козетта была в этом уверена. Однако она успокоилась совершенно. Доказательство отца показалось ей неоспоримым, и мысль о том, что кто-то вечером или ночью мог ходить по саду, оставила ее.

Но через несколько дней случилось новое происшествие.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

обогащенная комментариями Тусен

В саду, возле решетки, выходящей на улицу, стояла каменная скамья, скрытая от взглядов любопытных ветвями граба, тем не менее, при желании, прохожий мог дотянуться до нее рукой через решетку и ветви.

Как-то вечером, в том же апреле месяце, Жана Вальжана не было дома, и Козетта после заката солнца пришла посидеть на этой скамье. Свежий ветер шумел в деревьях. Козетта задумалась, беспредметная печаль мало-помалу овладела ею, — та непреодолимая печаль, которую приносит вечер и которую, быть может, навевает приоткрывшая себя в этот час загробная тайна.

Как знать, не присутствовала ли здесь Фантина, скрытая в этой вечерней тьме?

Козетта встала, медленно обошла сад, ступая по росистой траве, и, несмотря на меланхолический сон наяву, в который она погрузилась, все же промолвила про себя: «Чтобы ходить по саду в это время, непременно нужны деревянные башмаки. А то можно простудиться».

Она снова направилась к скамье.

Опускаясь на нее, она заметила на том месте, где раньше сидела, довольно большой камень, которого там, несомненно, не было за несколько мгновений до этого.

Козетта смотрела на камень, спрашивая себя, что это может означать? Внезапно в ней возникла мысль, испугавшая ее, — мысль о том, что этот камень появился на скамье не сам собой, что кто-то положил его сюда, что чья-то рука дотянулась сюда сквозь прутья решетки. На этот раз страх имел основания; камень был налицо. Сомнений не оставалось; даже не прикоснувшись к нему, она убежала, боясь оглянуться, влетела в дом и тотчас закрыла на ставень, на замок и засов стеклянную входную дверь.

— Отец вернулся? — спросила она Тусен.

— Нет еще, барышня.

(Мы как-то уже указали на заикание Тусен. Да будет позволено нам больше его не отмечать. Нам претит звуковое изображение прирожденного недостатка.)

Жан Вальжан, склонный к задумчивости, любил ночные прогулки и часто возвращался довольно поздно.

— Тусен, — продолжала Козетта, — хорошо ли вы запираете ставни на болты, хотя бы в сад? Закладываете ли вы в петли железные клинышки?

— О, будьте спокойны, барышня.

Тусен делала все добросовестно, и хотя Козетта хорошо знала об этом, все же она не могла не прибавить:

— Ведь здесь так пустынно вокруг!

— Вот уж правда, барышня, — подхватила Тусен. — Убьют, и ликнуть не успеешь! А наш хозяин еще и дома не ночует. Но не бойтесь ничего, барышня, я запираю окна все равно как в крепости. Одни женщины в доме! Ну как тут не дрожать от страха! Только подумать! Вдруг ночью к тебе в комнату ввалятся мужчины, прикажут: «Молчи», и начнут полосовать тебе горло. И не так уж боишься смерти, все умирают, ничего тут не поделаешь, ведь все равно когда-нибудь помрешь, но, поди, противно чувствовать, как эти люди берутся за тебя. А потом, наверно, и ножи у них тупые! О господи!

— Полно вам, — сказала Козетта. — Заприте все хорошенько.

Козетта, испуганная мелодрамой, выдуманной Тусен, а быть может, и ожившим в ней воспоминанием о привидении прошлой недели, даже не посмела сказать: «Сту-

пайте же, посмотрите, там кто-то положил камень на скамью!» Она боялась открыть двери в сад из страха перед тем, как бы «мужчины» не вошли в дом. Она приказала тщательно запереть двери и окна, заставила Тусен обойти весь дом от погреба до чердака, заперла дверь в своей комнате, посмотрела под кроватью и легла спать, но спала плохо. Всю ночь ей мерещился камень, огромный, как гора, и весь изрытый пещерами.

Утром, когда взошло солнце, — а восходящему солнцу свойственно вызывать у нас смех над всеми ночными страхами, и смех этот тем радостнее, чем сильнее испытанный нами страх, — Козетта, проснувшись, ощутила свой ужас, как мучительный сон. «Что это мне привиделось? — сказала она себе. — Вот и на прошлой неделе померещились мне ночью шаги в саду! А потом я испугалась тени печной трубы! Неужели я стала трусихой?» Яркое солнце, пробившееся сквозь щели ставен и окрасившее пурпуром шелковые занавеси, настолько ободрило ее, что все эти ужасы померкли в ее воображении, даже камень.

«Никакого камня нет на скамейке, как не было и человека в круглой шляпе в саду, — решила она. — Мне приснился этот камень, как и все сстальное».

Она оделась, спустилась в сад, подбежала к скамье и облилась холодным потом. Камень был там.

Но это длилось одно мгновение. То, что пугает ночью, днем возбуждает любопытство.

«Какой вздор! — сказала она себе. — Ну-ка посмотрим, что тут такое!»

Она приподняла камень, оказавшийся довольно тяжелым. Под ним лежало что-то похожее на письмо.

Это был конверт из белой бумаги. Козетта схватила его. На нем не было ни адреса, ни печати на обратной стороне. Тем не менее конверт, хотя и не заклеенный, не был пуст. Внутри лежали какие-то бумаги.

Козетта открыла его. Теперь ею уже владели не страх и не любопытство, а тревога.

Она вынула из конверта маленькую тетрадь, где каждая страница была пронумерована и заключала несколько строк, написанных довольно красивым, как подумала Козетта, и очень мелким почерком.

Козетта стала искать имени — его не было; подписи — ее не было. Кому это адресовано? Вероятно, ей, так как

чья-то рука положила пакет на ее скамью. От кого бы это? Она почувствовала себя во власти каких-то непреодолимых чар, она попыталась отвести глаза от этих листков, трепетавших в ее руке, взглянула на небо, на улицу, на акации, залитые светом, на голубей, летавших над соседней кровлей, потом вдруг взор ее упал на рукопись, и она подумала, что должна узнать, о чем там написано.

Вот что она прочла:

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Сердце под камнем

Сосредоточение вселенной в одном существе, претворение одного существа в божество — вот любовь.

Любовь — это приветствие, которое ангелы шлют звездам.

Как печальна душа, когда она опечалена любовью!

Как пусто вокруг, когда нет рядом существа, которое одним собою заполняет весь мир! Как верно, что любимое существо становится богом! Как понятно, что бог возревновал бы, если бы он, отец всего сущего, не создал, а это очевидно, вселенную для души, а душу для любви.

Достаточно одной улыбки из-под белой креповой шляпки с лиловым бантом, чтобы душа вступила в чертог мечты.

Бог за всем, но все скрывает бога. Вещи темны, живые творения непроницаемы. Любить живое существо, значит проникнуть в его душу.

Некоторые мысли — те же молитвы. Есть мгновения, когда душа, независимо от положения тела, — на коленях.

Разлученные возлюбленные обманывают разлуку тысячью химер, которые, однако, по-своему реальны. Им не дают видеться, они не могут переписываться; тогда они находят множество таинственных средств общения. Они

посылают друг другу пение птиц, аромат цветов, детский смех, солнечный свет, вздохи ветра, звездные лучи, весь мир. Почему же нет? Все творения божии созданы служить любви. Любовь достаточно могущественна, чтобы обязать всю природу передавать свои послания.

О весна! Ты — письмо, которое я ей пишу.

Будущее в гораздо большей степени принадлежит сердцу, нежели уму. Любить — вот то единственное, что может завладеть вечностью и наполнить ее. Бесконечное требует неисчерпаемого.

В любви есть что-то от самой души. Она той же природы. Подобно душе, она — божественная искра, подобно душе, она неуязвима, неделима, неистребима. Это огненное средоточие, бессмертное и бесконечное, которое ничто не может ограничить и ничто не может в нас погасить. Чувствуешь его жар, пронизывающий до мозга костей, и видишь его сияние, достигающее самой глубины небес.

О любовь! Обожание! Наслаждение двух душ, понимающих друг друга, двух сердец, отдающихся друг другу, двух взглядов, проникающих друг в друга! Ведь ты придешь, не правда ли, о счастье? Одинокие прогулки вдвоем! Дни благословенные и лучезарные! Иногда мне грезилось, что время от времени от жизни ангелов отделяются мгновения и спускаются сюда на землю, чтобы пронестись сквозь человеческую судьбу.

Бог ничего не может прибавить к счастью тех, кто любит друг друга, кроме бесконечной длительности этого счастья. После жизни, полной любви, — вечность, полная любви; это действительно продление ее; но увеличить самую силу невыразимого счастья, которое любовь дает душе в этом мире, невозможно даже для бога. Бог — это полнота неба; любовь — это полнота человеческого существа.

Мы смотрим на звезду по двум причинам: потому, что она излучает свет, и потому, что она непостижима. Но возле нас есть еще более нежное сияние и еще более великая тайна — женщина!

У всех нас, кто бы мы ни были, есть существо, которым мы дышим. Лишенные его, мы лишены воздуха, мы задыхемся. И тогда — смерть. Умереть из-за отсутствия любви — ужасно. Это смерть от удушья.

Когда любовь соединила и слила два существа в небесное и священное единство, тайна жизни найдена ими; теперь они лишь две грани единой судьбы; теперь они лишь два крыла единого духа. Любите, парите!

В тот день, когда вам покажется, что от проходящей мимо вас женщины исходит свет, вы погибли, вы любите. Тогда вам остается только одно: думать о ней так неотступно, что она будет принуждена думать о вас.

То, что начинает любовь, может быть завершено только богом.

Истинная любовь приходит в отчаяние или в восхищение из-за потерянной перчатки или найденного носового платка и нуждается в вечности для своего самоотвержения и своих надежд. Любовь слагается одновременно из бесконечно великого и из бесконечно малого.

Если вы камень — будьте магнитом; если вы растение — будьте мимозой, если вы человек — будьте любовью.

Ничем не удовлетворяется любовь. Человек обрел счастье, — он хочет рая; он обрел рай, — он хочет неба.

О, любящие друг друга, все это включает в себе любовь. Умейте лишь найти это в ней. У любви есть то же, что у неба, — созерцание, и больше, чем у неба, — наслаждение.

— Бывает ли она еще в Люксембургском саду? — Нет, сударь. — Она ходит к мессе в эту церковь, не правда ли? — Она больше в нее не ходит. — Она попрежнему живет в этом доме? — Она переехала. — Где же она теперь живет? — Она не сказала.

Как безотраднo не знать адреса своей души!

Любви свойственна ребячливость, другим страстям — мелкость. Позор страстям, делающим человека мелким! Честь той, которая превращает его в ребенка!

Как странно! Знаете? Я — во тьме. Одно существо, уходя, унесло с собою небо.

О, лежать рядом, бок о бок, в одной гробнице и время от времени во мраке тихонько касаться пальцев друг друга — этого было бы достаточно мне на целую вечность!

Вы, страдающие, потому что любите, любите еще сильнее. Умирать от любви — значит жить ею.

Любите. Непостижимое мерцающее звездами преобразование соединено с этой мукой. В агонии есть упоение.

О, радость птиц! У них есть песни, потому что у них есть гнезда.

Любовь — божественное вдыхание воздуха рая.

Глубокие сердца, мудрые умы, берите жизнь такой, какой ее создал бог; это длительное испытание, непонятное приурочивание к неведомой судьбе. Эта судьба — истинная судьба — открывается перед человеком на первой ступени, ведущей внутрь гробницы. Тогда нечто предстает ему, и он начинает различать конечное. Конечное! Вдумайтесь в это слово. Живые видят бесконечное; конечное зримо только мертвым. В ожидании любите и страдайте, надейтесь и созерцайте. Увы, горе тому, кто любил только тела, формы, видимость! Смерть отнимет у него все. Старайтесь любить души, и вы найдете их вновь.

Я встретил на улице молодого человека, очень бедного и влюбленного. Он был в поношенной шляпе, в потертой одежде; у него были дыры на локтях; вода проникала в его башмаки, а звездные лучи — в его душу.

Какое великое дело быть любимым! И еще более великое — любить! Сердце становится героическим силою страсти. Оно хранит в себе лишь то, что чисто; оно

опирается лишь на то, что возвышенно и велико. Недостойная мысль уже не может в нем пустить росток, как не может прорасти крапива на льду. Душа, высокая и ясная, недоступна для грубых чувств и страстей; вознесясь над облаками и тенями земного мира, над безумствами, ложью, ненавистью, тщеславием, суетой, она живет в небесной синеве и ощущает лишь глубинные, скрытые колебания судьбы; так горные вершины ощущают подземные толчки.

Не найдись на свете хоть один любящий, солнце угасло бы.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Козетта после письма

Читая, Козетта мало-помалу погружалась в мечтательную задумчивость. Как раз в ту минуту, когда она подняла глаза от последней строки, красивый офицер, — это было время его обычного появления, — победоносно прошествовал мимо решетки. Козетта нашла его отвратительным.

Она снова принялась созерцать тетрадку. Почерк записей показался Козетте восхитительным; они были сделаны одной и той же рукой, но разными чернилами, иногда бледноватыми, иногда густо черными, как бывает, когда в чернильницу подливают чернила, — следовательно, они сделаны были в разные дни. Значит, это была мысль, изливавшаяся там, вздох за вздохом, беспорядочно, неровно, без выбора, без цели, случайно. Козетта никогда не читала ничего подобного. Эта рукопись, в которой для нее было больше сияния, чем тьмы, действовала на нее, как приоткрывшееся перед ней святилище. Ей казалось, что каждая из этих таинственных строк сверкает, заливая ее сердце странным светом. Полученное ею воспитание всегда твердило ей о душе и никогда — о любви; так можно говорить о костре, не упоминая о пламени. Эта рукопись в пятнадцать страниц внезапно и мягко открыла ей всю любовь, скорбь, судьбу, жизнь, вечность, начало, конец. словно чья-то рука разжалась и бросила ей вдруг пригоршню лучей. Она почувствовала в этих нескольких строках страстную, пылкую, великодушную, честную

натуру, твердую волю, бесконечную скорбь и бесконечную надежду, страдающее сердце, пылкий восторг. Что собой представляла эта рукопись? Письмо. Письмо без адреса, без имени, без числа, без подписи, настойчивое и ничего не требующее, загадка, составленная из истин, весть любви, достойная быть принесенной ангелом и прочитанной девственницей, свидание, состоявшееся вне земных пределов, любовная записка от призрака к тени. Это был некто отсутствующий, изнемогший и смиренный, казалось, готовый скрыться в обитель смерти и посылавший той, которая ушла, тайну судьбы, ключ к жизни, любовь. Это было написано на краю могилы, со взором, поднятым к небу. Эти строки, оброненные одна за другой на бумагу, могли быть названы каплями души.

Но от кого могли быть эти страницы? Кто мог их написать?

Козетта не колебалась ни одного мгновения. Только один человек.

Он!

Душа ее вновь озарилась светом. Все ожило в ней. Она испытывала небывалую радость и глубокую тревогу. То был он! Он писал ей! Он был здесь! Его рука проникла сквозь решетку! Она уже стала забывать о нем, а он снова разыскал ее! Но разве она его забыла? Нет, никогда! Она сошла с ума, если могла на мгновение этому поверить. Она всегда любила его, всегда обожала. Огонь в ней подернулся пеплом и некоторое время тлел внутри, но — она ясно это видела — он успел пробраться еще глубже и теперь, вспыхнув снова, охватил ее всю целиком. Эта тетрадь была как бы искрой, упавшей из другой души в ее душу. Она чувствовала, как разгорается пожар. Она впитывала в себя каждое слово рукописи. «О да! — говорила она. — Как мне знакомо все это. Я уже раньше прочитала все в его глазах».

Когда она в третий раз кончала чтение тетради, лейтенант Теодюль снова возник перед решеткой, позванивая шпорами по мостовой. Это заставило Козетту взглянуть на него. Она нашла его бесцветным, нелепым, глупым, никчемным, пошлым, отталкивающим, наглым и очень безобразным. Офицер считал долгом улыбнуться. Она отвернулась, пристыженная и негодующая. С удовольствием швырнула бы она ему чем-нибудь в голову.

Она убежала и, войдя в дом, заперлась в своей комнате, чтобы еще раз прочитать рукопись, выучить ее наизусть и помечтать. Хорошенько перечитав тетрадь, она поцеловала ее и спрятала у себя на груди.

Итак, свершилось. Козетта снова предалась глубокой ангельски-чистой любви. Райская бездна снова открылась перед ней.

Весь день Козетта провела в каком-то чаду. Она почти не в состоянии была думать, ее мысли походили на спутанный клубок, она терялась в догадках; объятая трепетом, она таила надежду. На что? На что-то неясное. Она не осмеливалась ничего обещать себе и не хотела ни от чего отказываться. Лицо ее то и дело бледнело, по всему телу пробегала дрожь. Мгновениями ей казалось, что она начинает бредить; она спрашивала себя: «Неужели это правда?» И тогда она дотрагивалась до скрытой под платьем драгоценной тетради, прижимала ее к сердцу, чувствовала ее прикосновение к телу, и если бы Жан Вальжан видел ее в это время, он содрогнулся бы, глядя на неведомую лучезарную радость, изливавшуюся из ее глаз. «О да, — думала она, — это наверное он! Это он написал для меня».

И она твердила себе, что он возвращен ей благодаря вмешательству ангелов, благодаря божественной случайности.

О превращения любви! О мечты! Этой божественной случайностью, этим вмешательством ангелов был хлебный шарик, переброшенный одним вором другому со двора Шарлемань во Львиный ров через крыши тюрьмы Форс.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

*Старики существуют, чтобы во-время
уходить из дома*

С наступлением вечера, когда Жан Вальжан ушел, Козетта нарядилась. Она причесалась к лицу и надела платье с вырезанным несколько глубже обычного корсажем, приоткрывавшим шею и плечи, и поэтому, как говорили молодые девушки, «немножко неприличным». Это ни в какой мере не было неприличным, но зато как нельзя

более красивым. Она сама не знала, для чего так принарядилась.

Собиралась ли она выйти из дому? Нет.

Ожидала ли чьего-нибудь посещения? Нет.

В сумерках она спустилась в сад. Тусен была занята в кухне, выходявшей окнами в задний дворик.

Она тихо бродила по аллеям, время от времени отстраняя рукой низко свисавшие ветви деревьев.

Так она дошла до скамьи.

Камень попрежнему лежал на ней.

Она уселась и положила нежную белую руку на этот камень, точно желая его приласкать и поблагодарить.

Вдруг ею овладело то неопределимое чувство, которое испытывает человек, когда кто-нибудь, пусть даже не видимый им, стоит позади.

Она повернула голову и встала.

Это был он.

Он стоял с обнаженной головой. Он казался бледным и исхудавшим. Во тьме едва можно было различить его черную одежду. В сумерках белел его прекрасный лоб, тонули в тени глаза. Под дымкой необычайного умиротворения в нем было что-то от смерти и ночи. Свет угасавшего дня и мысль отлетавшей души озаряли его лицо.

Казалось, то был еще не призрак, но уже не человек.

Его шляпа лежала неподалеку на траве.

Козетта, готовая лишиться сознания, не вскрикнула. Она медленно отступала назад, потому что чувствовала, как ее влечет к нему. Он не шевельнулся. От него веяло чем-то неизреченным и печальным, и она чувствовала его взгляд, хотя глаз его не видела.

Отступая, Козетта встретила дерево и прислонилась к нему. Не будь этого дерева, она бы упала.

Тогда она услышала его голос, этот голос, которого она никогда еще не слыхала, чуть различимый в шелесте листьев и шептавший ей:

— Простите меня, я здесь. Сердце мое истосковалось, я не мог больше так жить, и вот я пришел сюда. Читали вы то, что я положил здесь на скамью? Узнаете ли вы меня? Не бойтесь. Помните ли тот день, когда вы на меня взглянули? С тех пор прошло так много времени. Это было в Люксембургском саду, возле статуи Гладиятора. И день, когда вы прошли мимо? То было шестна-

дцатого июня и второго июля. Почти год тому назад. Я не видел вас очень давно. Я спрашивал у женщины, сдающей стулья, и она мне сказала, что больше не видала вас. Вы жили в новом доме на Западной улице на третьем этаже, окнами на улицу, — видите я знаю и это. Я провожал вас. Что же мне оставалось делать? И потом вы исчезли. Однажды, когда я читал газеты под аркадой Одеона, мне показалось, что вы прошли. Я побежал. Но нет. То была какая-то женщина в такой же шляпке, как у вас. Ночью я прихожу сюда. Не бойтесь, никто меня не видит. Я прихожу посмотреть на ваши окна вблизи. Я ступаю очень тихо, чтобы вы не услышали, потому что вы, может быть, испугались бы. Недавно вечером я стоял позади вас, но вы обернулись, и я убежал. Один раз я слышал, как вы пели. Я был счастлив. Ведь правда, вам не могло помешать то, что я слушал, когда вы пели в комнате? В этом нет ничего дурного. Правда, нет? Видите ли, вы — мой ангел. Позвольте мне изредка приходить; мне кажется, что я скоро умру. О, если бы вы знали! Я обожаю вас! Простите меня, я не знаю, что говорю вам. Быть может, вы сердитесь на меня? Скажите, вы рассердились?

— О матушка! — промолвила она.

И, словно умирая, начала медленно склоняться долу.

Он ее подхватил, она не держалась на ногах, он обнял ее, он крепко сжал ее в объятиях, не сознавая, что делает. Он поддерживал ее, сам шатаясь. Его голова была, как в чаду; перед глазами вспыхивали молнии, мысли исчезали куда-то; ему казалось, что он выполняет религиозный обряд и что он совершает святотатство. И все же у него не было никакого вожделения к этой пленительной женщине, которую он прижимал к груди. Он обезумел от любви.

Она взяла его руку и приложила к своему сердцу. Он почувствовал бумагу, спрятанную под платьем, и пролепетал:

— Так вы меня любите?

Она ответила так тихо, словно то был чуть слышный вздох:

— Молчи! Ты это знаешь!

И спрятала раскрасневшееся лицо на груди у гордого и опьяненного юноши.

Он опустился на скамью, она села возле него. Слов больше не было. В небе зажигались звезды. Как случилось, что их уста встретились? Как случается, что птица поет, что снег тает, что роза распускается, что май расцветает, что за черными деревьями на зыбкой вершине холма загорается заря?

Один поцелуй — это было все.

Оба вздрогнули и посмотрели друг на друга сиявшими в темноте глазами.

Они не чувствовали ни свежести ночи, ни холодного камня, ни влажной земли, ни мокрой травы, они глядели друг на друга, и сердца их были полны воспоминаний. Они сами не заметили, как их руки сплелись.

Она его не спрашивала, она даже не думала о том, как он вошел сюда, как проник в сад. Ей казалось таким естественным, что он здесь!

Иногда колено Мариуса касалось колена Козетты, и они оба вздрагивали.

Время от времени Козетта что-то невнятно шептала. Казалось, на устах ее трепещет душа, подобно капле росы на цветке.

Мало-помалу они разговорились. За молчанием, которое означает полноту чувств, последовали излияния. Над ними простиралась ясная, блистающая звездами ночь. Эти два существа, чистые, как духи, поведали все свои сны, свои восторги, свои упоения, мечты, тоску, поведали о том, как они обожали друг друга издали, как они стремились друг к другу, как отчаивались, когда перестали видаться. Ощущая ту идеальную близость, которую ничто уже не могло сделать полнее, они поделились всем, что было у них самого тайного, самого сокровенного. Они рассказали с чистосердечной верой в свои иллюзии все, что любовь, юность и еще не изжитое детство вложило в их мысль. Эти два сердца излились друг в друга так, что через час юноша обладал душой девушки, а девушка — душой юноши. Они постигли, очаровали, ослепили друг друга.

Когда они сказали все, она положила голову на его плечо и спросила:

— Как вас зовут?

— Мариус. А вас?

— Козетта.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Злая шалость ветра

С 1823 года, пока монфермейльская харчевня приходила в упадок и погружалась мало-помалу не столько в пучину разорения, сколько в помойную яму мелких долгов, супруги Тенардые обзавелись еще двумя детьми, двумя мальчиками. Всего их теперь было пятеро: две девочки и три мальчика. Это было много.

Тетка Тенардые отделалась от двух последних, совсем еще младенцев, с особым удовольствием.

Отделалась — подходящее слово. В этой женщине осталась лишь частица человеческой природы. Подобный феномен, впрочем, встречается не так редко. Как жена маршала де ла Мот-Гуданкур, Тенардые была матерью только для своих дочерей. Ее материнского чувства хватало лишь на них. С мальчиков же начиналась ее ненависть к человеческому роду. По отношению к сыновьям ее злоба достигала предела, и ее сердце вставало перед ними зловещей крутизной. Как мы уже видели, она питала отвращение к старшему и ненависть к обоим младшим. Почему? Потому. Самый страшный повод и самый неоспоримый ответ — это «потому». «Мне не нужна такая куча пискунов», — говорила мамаша.

Объясним, каким образом супругам Тенардые удалось избавиться от двух младших детей и даже извлечь из этого пользу.

Маньон — о ней речь шла выше — была та самая девица, которой удалось предоставить попечению добряка Жильнормана своих двух детей. Она жила на набережной

Целестинцев, на углу старинной улицы Малая Кабарга, которая сделала все возможное, чтобы заменить свой дурной запах доброй славой. Все помнят сильную эпидемию крупа, опустошившую тридцать пять лет тому назад прибрежные кварталы Парижа; наука широко воспользовалась ею, чтобы проверить полезность вдувания квасцов, столь целесообразно замененного теперь наружным смазыванием иодом. Во время этой эпидемии Маньон потеряла в один день — одного утром, другого вечером — своих двух мальчиков, еще совсем малюток. То был удар. Дети были очень дороги своей матери; они представляли собой восемьдесят франков ежемесячного дохода. Эти восемьдесят франков аккуратно выплачивались от имени г-на Жильнормана его управляющим г-ном Баржем, оставшимся судебным приставом, проживавшим на улице Сицилийского короля. Со смертью детей на доходе надо было поставить крест. Маньон искала выхода из положения. В том темном братстве зла, членом которого она состояла, все знают обо всем, взаимно хранят тайны и помогают друг другу. Маньон нужно было найти двух детей. У Тенардье они оказались, — того же пола, того же возраста. Выгодное дело для одной, выгодное помещение капитала для другой. Маленькие Тенардье стали маленькими Маньон. Маньон покинула набережную Целестинцев и переехала на улицу Клошперс. В Париже, при переезде с одной улицы на другую, тождественность личности исчезает.

Гражданская власть, не будучи ни о чем извещена, не возражала, и подмен детей был произведен легче легкого. Но Тенардье потребовал за своих детей, отданных на подержание, десять франков в месяц, которые Маньон обещала платить и даже выплачивала. Само собой разумеется, что г-н Жильнорман продолжал выполнять свои обязательства. Каждые полгода он навещал малышей. Он не заметил никакой перемены. «Как они похожи на вас, судары!» — твердила ему Маньон.

Тенардье, для которого превращения были делом привычным, воспользовался этим случаем, чтобы стать Жонд্রেом. Обе его дочери и Гаврош едва имели время заметить, что у них были два маленьких братца. На известной ступени нищеты человеком овладевает какое-то равнодушие призрака, и он смотрит на живые существа,

как на выходцев с того света. Самые близкие люди часто оказываются смутными формами мрака, едва различимыми на туманном фоне жизни, и легко сливаются с невидимым.

Вечером того дня, когда тетка Тенардье доставила Маньон двух своих малюток, с нескрываемым желанием отказаться от них навсегда, она испытала или притворилась, что испытывает, какие-то угрызения совести. Она сказала мужу: «Но ведь это значит покинуть своих детей!» Тенардье, самоуверенный и бесстрастный, излечил эту недомогающую совесть следующими словами: «Жан-Жак Руссо делал еще почище!» От угрызений совести мать перешла к беспокойству: «А что, если полиция возьмется за нас? Скажи, Тенардье, то, что мы сделали, это разрешается?» Тенардье ответил: «Все разрешается. Никто ни черта не узнает. А кроме того, кому охота интересоваться ребятами, у которых нет ни гроша?»

Маньон была в некотором роде модницей в преступном мире. Она любила наряжаться. У нее на квартире, обставленной убого, но с притязаниями на роскошь, проживала опытная воровка — одна офранцузившаяся англичанка. Эта англичанка, ставшая парижанкой и пользовавшаяся доверием благодаря обширным связям, имела близкое отношение к краже медалей библиотеки и бриллиантов м-ль Марс и впоследствии стала знаменитостью в судейских летописях. Ее называли «мамзель Мисс».

Двум детям, попавшим к Маньон, не на что было жаловаться. Препорученные ей восемьюдесятью франками, они были ухожены, как все, что приносит выгоду, недурно одеты, неплохо накормлены, почти на положении «барчуков»; им было лучше с подставной матерью, чем с настоящей. Маньон разыгрывала «даму» и не говорила на арго в их присутствии.

Так прошло несколько лет. Тетка Тенардье увидела в этом хорошее предзнаменование. Как-то раз она даже сказала Маньон, вручавшей ей ежемесячную мзду в десять франков: «Надо, чтобы отец дал им образование».

И вдруг эти дети, до сих пор достаточно опекаемые даже своей злой судьбой, были грубо брошены в жизнь и принуждены начинать ее самостоятельно.

Арест целой шайки злодеев, как это имело место в притоне Жондрета, и неизбежно следующие за этим

обыски и тюремное заключение — настоящее бедствие для этих отвратительных противообщественных тайных сил, гнездящихся под узаконенной общественной формой; событие подобного рода влечет за собой всяческие крушения в этом темном мире. Катастрофа с Тенардые вызвала катастрофу с Маньон.

Однажды, вскоре после того как Маньон передала Эпонине записку относительно улицы Плюме, полиция произвела неожиданную облаву на улице Клошперс; Маньон была схвачена, мамзель Мисс также, и все подозрительное население дома попало в расставленные сети. Оба мальчика играли на заднем дворе и не видели полицейского налета. Когда им захотелось вернуться домой, дверь оказалась запертой, а дом пустым. Башмачник, державший лавочку напротив, позвал их и сунул им бумажку, оставленную для них «матерью». На бумажке был адрес: «Г-н Барж, управляющий, улица Сицилийского короля, № 8». «Вы больше здесь не живете, — сказал им башмачник. — Идите туда. Это совсем близко. Первая улица налево. Спрашивайте дорогу по этой бумажке».

Дети двинулись в путь; старший вел младшего, держа в руке бумажку, которая должна была указать им дорогу. Было холодно, плохо сгибавшиеся окоченелые пальчики едва удерживали бумажку. На повороте улицы Клошперс порыв ветра вырвал ее, а так как время было к ночи, ребенок не мог ее найти.

Они пустились блуждать по улицам наугад.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

*в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из
великого Наполеона*

Весною в Париже довольно часто дуют пронизывающие насквозь резкие северные ветры, от которых если и не леденеешь в буквальном смысле слова, то сильно зябнешь; эти ветры, омрачавшие самые погожие дни, производят совершенно такое же действие, как те холодные дуновения, которые проникают в теплую комнату через щели окна или плохо притворенную дверь. Кажется, что

мрачные ворота зимы остались приоткрытыми и оттуда вырывается ветер. Весной 1832 года — время, когда в Европе вспыхнула первая в нынешнем столетии огромная эпидемия, — ветры были жестокими и пронизывающими как никогда. Приоткрылись ворота еще более леденящие, чем ворота зимы. То были ворота гробницы. В этих северных ветрах чувствовалось дыхание холеры.

С точки зрения метеорологической, особенностью этих холодных ветров было то, что они вовсе не исключали сильного скопления электричества в воздухе. И в ту весну разражались частые грозы с громом и молнией.

Однажды вечером, когда ветер дул с такой силою, как будто возвратился январь, и когда горожане снова надели теплые плащи, маленький Гаврош, веселый, как всегда, хотя и дрожащий от холода в своих лохмотьях, словно замирая от восхищения, стоял перед лавочкой парикмахера близ Орм-Сен-Жерве. Он был наряжен в женскую шерстяную неизвестно где подобранную шаль, из которой сам соорудил себе шарф на шею. Маленький Гаврош, казалось, был очарован восковой невестой в платье с открытым лифом, с венком из флер-д'оранжа, которая вращалась в окне между двух кенкетов, улыбаясь прохожим. На самом же деле он наблюдал за лавочкой, соображая, не удастся ли ему «слямзить» с витрины кусок мыла, чтобы потом продать его за одно су парикмахеру из предместья. Ему нередко случалось позавтракать с помощью такого вот кусочка. Он называл этот род работы, к которому имел призвание, «брить брадобреев».

Созерцая невесту и все время посматривая на кусок мыла, он бормотал сквозь зубы: «Во вторник... Нет, не во вторник... Разве во вторник?.. А может, и во вторник... Да, во вторник».

Так и осталось неизвестным, к чему относился этот монолог.

Если бы он случайно имел отношение к последнему обеду Гавроша, то с тех пор прошло уже три дня, так как сейчас была пятница.

Цирюльник, бривший постоянного клиента в своей хорошо натопленной лавочке, время от времени косо поглядывал на этого врага, на этого наглого озябшего маль-

чишку, руки которого были засунуты в карманы, а мысли, повидимому, бродили бог весть где.

Покамест Гаврош изучал невесту, витрину и виндзорское мыло, двое ребят, один меньше другого, и оба меньше его, довольно чистенько одетые, на вид один семи лет, другой лет пяти, робко повернули дверную ручку и вошли в лавочку, попросив чего-то, может быть милостыни, жалобным шопотом, больше похожим на стон, чем на мольбу. Они говорили оба сразу, и разобрать их слова было невозможно, потому что голос младшего прерывали рыдания, а старший стучал зубами от холода. Рассвирепевший цирюльник, не выпуская бритвы, обернулся к ним и, подталкивая старшего правой рукой, а младшего коленом, выпроводил их на улицу и запер дверь, со словами: — Только холоду зря напустили!

Дети, плача, отправились дальше. Тем временем надвинулась туча и заморосил дождь.

Гаврош догнал их и спросил:

— Что с вами стряслось, птенцы?

— Мы не знаем, где нам спать, — ответил старший.

— Только-то? — удивился Гаврош. — Подумаешь, большое дело! Стоит из-за этого реветь. Вот так глупыши!

И, сохраняя все тот же вид несколько насмешливого превосходства, принял покровительственный мягкий тон растроганного начальства:

— Пошли за мной, малявки.

— Хорошо, сударь, — сказал старший.

И двое детей послушно последовали за ним, как последовали бы за архиепископом. Они даже перестали плакать.

Гаврош поднялся с ними на улицу Сент-Антуан, по направлению к Бастилии.

На ходу он обернулся и бросил негодующий взгляд на лавку цирюльника.

— Экий бесчувственный, настоящая вобла! — разразился он. — Верно, англичанишка какой-нибудь.

Гулящая девица, увидев трех мальчишек, идущих гуськом, с Гаврошем во главе, разразилась громким смехом. Смех указывал на отсутствие уважения к этой компании.

— Здравствуйте, мамзель Для-всех, — приветствовал ее Гаврош.

Минуту спустя, вспомнив опять парикмахера, он прибавил:

— Я ошибся насчет той скотины, это не вобла, а кобра. Эй, брадсбрей, я найду слесарей, мы приладим тебе погремушку на хвост!

Парикмахер пробудил в нем воинственность. Перепрыгивая через ручей, он обратился к бородатой привратнице, стоявшей с метлой в руках и достойной встретить Фауста на Брокене:

— Сударыня, вы всегда выезжаете на собственной лошади?

И тут же забрызгал грязью лакированные сапоги какого-то прохожего.

— Шалопай! — крикнул взбешенный прохожий.

Гаврош высунул нос из своей шали.

— На кого изволите жаловаться?

— На тебя, — ответил прохожий.

— Контора закрыта, — выпалил Гаврош. — Я больше не принимаю жалоб.

Между тем, продолжая подниматься по улице, он заметил под воротами окоченевшую нищенку лет тринадцати-четырнадцати в такой короткой одежонке, что видны были ее колени. Она уже слишком выросла из своих нарядов. Рост может сыграть такую штуку. Юбка становится короткой к тому времени, когда нагота становится неприличной.

— Бедняжка! — сказал Гаврош. — У ихней братии и штанов-то нету. Замерзла небось. На-ка, держи!

Размотав на своей шее теплую шерстяную ткань, он накинул ее на худые, посиневшие плечики нищенки, и шарф снова превратился в шаль.

Девочка изумленно посмотрела на него и приняла шаль молча. На известной ступени нужды бедняк, отупев, не жалуется больше на зло и не благодарит за добро.

— Бр-р-р, — застучал зубами Гаврош, дрожа сильнее, чем святой Мартин, который сохранил по крайней мере половину своего плаща.

При этом «бр-р-р» дождь, словно еще сильнее обозлившись, полил как из ведра. Так злые небеса наказуют за добрые деяния.

— Ах, так? — воскликнул Гаврош. — Это еще что такое? Опять полилось? Господь бог, если так будет продолжаться, я отказываюсь платить за воду!

И он снова зашагал.

— Все равно, — прибавил он, взглянув на нищенку, съезжившуюся под шалью, — у ней-то надежная шкурка.

И, взглянув на тучу, крикнул:

— Вот тебя и провели!

Дети старались поспевать за ним.

Когда они проходили мимо одной из витрин, забран-ных частой решеткой, указывающей на булочную, — ибо хлеб, подобно золоту, держат за железной решеткой, — Гаврош обернулся:

— Да, вот что, малыши, вы обедали?

— Сударь, — ответил старший, — мы не ели с самого сегодняшнего утра.

— Значит, у вас нет ни отца, ни матери? — величественно спросил Гаврош.

— Прошу извинить, сударь, у нас есть и папа и мама, только мы не знаем, где они.

— Иной раз это лучше, чем знать, — заметил Гаврош, который был мыслителем.

— Вот уже два часа, как мы идем, — продолжают старший, — мы искали чего-нибудь около тумб, но ничего не нашли.

— Знаю, — сказал Гаврош. — Собаки подобрали, они все пожирают.

И, помолчав, прибавил:

— Так, значит, мы потеряли родителей. И мы не знаем, что нам делать. Это никуда не годится, ребята. Людям в годах просто глупо вдруг заблудиться. Да, вот что! Нужно, однако, пожевать чего-нибудь.

Больше вопросов он им не задавал. Остаться без жилья — что может быть проще?

Старший мальчуган, почти совсем вернувшись к свойственной детству беззаботности, воскликнул:

— Как смешно! Ведь мама-то говорила, что в вербное воскресенье поведет нас за освященной вербой...

— Для порки, — закончил Гаврош.

— Моя мама, — начал снова старший, — настоящая дама, она живет с мамзель Мисс...

— Фу-ты-ну-ты-ножки-гнуты, — подхватил Гаврош.

Тут он остановился и стал рыться и шарить во всех тайниках своих лохмотьев.

Наконец он поднял голову с видом, долженствовавшим выражать лишь удовлетворение, но на самом деле торжествующим.

— Спокойствие, младенцы! Хватит на ужин всем троим.

Не дав малюткам времени изумиться, он втолкнул их обоих в булочную, швырнул свое су на прилавок и крикнул:

— Продавец, на пять сантимов хлеба!

«Продавец», оказавшийся самим хозяином, взялся за нож и хлеб.

— Три куса, продавец! — снова крикнул Гаврош.

И он прибавил с достоинством:

— Нас трое.

Заметив, что булочник, внимательно оглядев трех покупателей, взял пеклеванный хлеб, он глубоко засунул палец в нос и, втянувши воздух с таким надменным видом, будто угостился понюшкой из табакерки Фридриха Великого, негодуяще крикнул булочнику прямо в лицо:

— Этшкое?

Тех из наших читателей, которые имели бы поползновение счесть восклицание Гавроша русским или польским словом, или тем воинственным кличем, каким перебрасываются через пустынные пространства, от реки до реки, иоваи и ботокудосы, мы предупреждаем, что слово это они (наши читатели) употребляют ежедневно и что оно заменяет фразу: «Это что такое?» Булочник это прекрасно понял и ответил:

— Ну и что ж? Это хлеб очень хороший, хлеб второго сорта.

— Вы хотите сказать — железняк? — возразил Гаврош спокойно и холодно-негодуяще. — Белого хлеба, продавец! Чистяка! Я угощаю.

Булочник не мог не улыбнуться и, нарезая белого хлеба, жалостливо посматривал на них, что оскорбило Гавроша.

— Эй вы, хлебопек, — сказал он, — с чего это вы вздумали снимать с нас мерку?

Если бы их всех трех поставить друг на друга, то они вряд ли составили бы сажень.

Когда хлеб был нарезан и булочник бросил в ящик су, Гаврош обратился к детям:

— Лопайте.

Мальчики с недоумением посмотрели на него.

Гаврош рассмеялся:

— А, вот что! Верно, они этого еще не понимают, не выросли.

И затем прибавил:

— Ешьте.

И протянул каждому из них по куску хлеба.

Решив, что старший, по его мнению, более достойный беседовать с ним, заслуживает особого поощрения и должен быть избавлен от всякого беспокойства при удовлетворении своего аппетита, он прибавил, сунув ему самый большой кусок:

— Залепи-ка это себе в дуло.

Один кусок был меньше других; он взял его себе.

Бедные дети изголодались, да и Гаврош тоже. Усердно уписывая хлеб, они толклись в лавочке, и булочник, которому было уплачено, теперь уже смотрел на них недружелюбно.

— Выйдем на улицу, — сказал Гаврош.

Они снова пошли по направлению к Бастилии.

Время от времени, если им случалось проходить мимо освещенных лавочных витрин, младший останавливался и смотрел на оловянные часики, висевшие у него на шее на шнурочке.

— Ну не глупыши разве? — говорил Гаврош.

Потом, задумавшись, он бормотал сквозь зубы:

— Как-никак, будь у меня малыши, я бы за ними лучше смотрел.

Когда они досадили хлеб и дошли уже до угла мрачной Балетной улицы, в глубине которой виднеется низенькая и зловещая калитка тюрьмы Форс, кто-то сказал:

— Смотри-ка, это ты, Гаврош?

— Смотри-ка, это ты, Монпарнас? — отвечивал Гаврош.

К нему подошел какой-то человек, и человек этот был не кто иной, как Монпарнас; хоть он и переоделся и нацепил синие окуляры, тем не менее Гаврош узнал его.

— Вот так штука! — продолжал Гаврош. — Твоя хламида как раз такого цвета, как припарки из льняного

семени, а синие очки — точь-в-точь докторские. Все как следует, одно к одному, верь старику!

— Тише, — одернул его Монпарнас, — не ори так громко!

И он быстро оттащил Гавроша подальше от освещенных лавочек.

Двое малышей машинально пошли за ними, держась за руки.

Когда они оказались под черным сводом каких-то ворот, укрытые от взглядов прохожих и от дождя, Монпарнас спросил:

— Знаешь, куда я иду?

— В монастырь Вознесение-Поневоле¹, — ответил Гаврош.

— Шутник!

И Монпарнас продолжал:

— Я хочу разыскать Бабета.

— Ах, ее зовут Бабетой! — ухмыльнулся Гаврош.

Монпарнас понизил голос:

— Не она, а он.

— Ах, так это ты насчет Бабета?

— Да, насчет Бабета.

— Я думал, он попал в конверт.

— Он его распечатал, — ответил Монпарнас.

И он быстро рассказал мальчику, что утром Бабет, которого перевели в Консьержери, бежал, взяв налево, вместо того чтобы пойти направо, в «коридор допроса».

Гаврош подивился его ловкости.

— Ну и мастак! — сказал он.

Монпарнас прибавил несколько подробностей относительно бегства Бабета и окончил так:

— О, это еще не все!

Гаврош, слушая Монпарнаса, взялся за трость, которую тот держал в руке, машинально потянул за набалдашник, и наружу вышло лезвие кинжала.

— Ого! — сказал он, быстро вдвинув кинжал обратно. — Ты захватил с собой телохранителя, одетого в штатское.

Монпарнас подмигнул.

¹ Эшафот. (Прим. автора.)

— Чорт возьми! — продолжал Гаврош. — Уж не собираешься ли ты схватиться с фараонами?

— Как знать, — с равнодушным видом ответил Монпарнас, — никогда не мешает иметь при себе булавку.

Гаврош настаивал:

— Что же ты думаешь делать сегодня ночью?

Монпарнас снова напустил на себя важность и сказал, цедя сквозь зубы:

— Так, кое-что.

И сразу, переменив разговор, воскликнул:

— Да, кстати!

— Ну?

— На днях случилась история. Вообрази только. Встречаю я одного буржуа. Он преподносит мне в подарок проповедь и свой кошелек. Я кладу все это в карман. Минуту спустя я шарю рукой в кармане, а там — ничего.

— Кроме проповеди, — добавил Гаврош.

— Ну, а ты, — продолжал Монпарнас, — куда ты сейчас идешь?

Гаврош показал ему на своих подопечных и ответил:

— Иду укладывать спать этих ребят.

— Где же ты их уложишь?

— У себя.

— Где это у тебя?

— У себя.

— Значит, у тебя есть квартира?

— Есть.

— Где же это?

— В слоне, — ответил Гаврош.

Хотя Монпарнас по своей натуре и мало чему удивлялся, но невольно воскликнул:

— В слоне?

— Ну да, в слоне! — подтвердил Гаврош. — Штотуткоо?

Вот еще одно слово из того языка, на котором никто не пишет, но все говорят. «Штотуткоо» обозначает: «Что ж тут такого?»

Глубокомысленное замечание гамена вернуло Монпарнасу спокойствие и здравый смысл. Повидимому, он проникся наилучшими чувствами к квартире Гавроша.

— А в самом деле! — сказал он. — Слон так слон. А что, там удобно?

— Очень удобно, — ответил Гаврош. — Там и вправду отлично. И нет таких сквозняков, как под мостами.

— Как же ты тудаходишь?

— Так и вхожу.

— Значит, там есть лазейка? — спросил Монпарнас.

— Чорт возьми! Об этом помалкивай. Между передними ногами. Шпики ее не заметили.

— И ты взбираешься наверх? Так, я понимаю.

— Простой фокус. Раз, два — и готово, тебя уж нет.

Помолчав, Гаврош прибавил:

— Для этих малышей у меня найдется лестница.

Монпарнас расхохотался:

— Где, чорт тебя побери, ты раздобыл этих мальчат?

Гаврош просто ответил:

— Это мне один цирюльник подарил на память.

Вдруг Монпарнас задумался.

— Ты узнал меня слишком легко, — пробормотал он.

И вынув из кармана две маленьких штучки, попросту две трубочки от перьев, обмотанные ватой, он всунул их, по одной в каждую ноздрю. Нос сразу изменился.

— Это тебе к лицу, — сказал Гаврош, — сейчас ты уже не кажешься таким уродливым. Оставь это навсегда.

Монпарнас был красивый малый, но Гаврош был на-смешник.

— Без шуток, — сказал Монпарнас, — как ты меня находишь?

И голос тоже у него стал совсем другой. В мгновение ока Монпарнас стал неузнаваем.

— Покажи-ка нам Пет-р-рушку! — воскликнул Гаврош.

Малютки, которые до сих пор ничего не слушали и были сами заняты делом, ковыряя у себя в носу, приблизились, услышав это имя, и с радостным восхищением воззрились на Монпарнаса.

К сожалению, Монпарнас был озабочен.

Он положил руку на плечо Гавроша и произнес, подчеркивая каждое слово:

— Слушай, парень, следи глазом, ежели бы я на площади гулял с моим догом, моим дагом и моим дигом, да если бы вы мне подыграли десять двойных су, а я непрочь ведь игрануть, — так и быть, гляди, глупыши! Но ведь сейчас не масленица.

Эта странная фраза произвела на мальчика особое впечатление. Он живо обернулся, с глубоким вниманием оглядел все вокруг своими маленькими блестящими глазами и заметил в нескольких шагах полицейского, стоявшего к ним спиной. У Гавроша вырвалось: «Вон оно что!» — но он сразу сдержался и, пожав руку Монпарнасу, сказал:

— Ну, прощай, я пойду с моими малышами к слону. В случае если я тебе понадобится ночью, ты можешь меня там найти. Я живу на антресолях. Привратника у меня нет. Спросишь господина Газроша.

— Ладно, — ответил Монпарнас.

И они расстались. Монпарнас направился к Гревской площади, а Гаврош — к Бастилии. Пятилетний мальчуган, тащившийся за своим братом, которого в свою очередь тащил Гаврош, несколько раз обернулся назад, чтобы поглядеть на уходившего «Петр-р-рушку».

Непонятная фраза, которою Монпарнас предупредил Гавроша о присутствии полицейского, содержала только один секрет: звуковое сочетание *диг*, повторенное раз пять или шесть различным способом. Слог *диг* не произносится отдельно, но, искусно вставленный в слова какой-нибудь фразы, обозначает: «Будем осторожны, нельзя говорить свободно». Кроме того, в фразе Монпарнаса были еще литературные красоты, ускользнувшие от Гавроша: *мой дог*, *мой даг* и *мой диг* — выражение на арготюрьмы Тампль, обозначавшее: «моя собака, мой нож и моя жена», весьма употребительное среди шутов и скоморохов того великого века, когда писал Мольер и рисовал Калло.

Лет двадцать тому назад, в юго-восточном углу площади Бастилии, близ пристани, у канала, прорытого на месте старого рва крепости-тюрьмы, виднелся причудливый монумент, теперь уже исчезнувший из памяти парижан, но достойный оставить в ней какой-нибудь след, потому что он был воплощением мысли «члена Института, главнокомандующего египетской армией».

Мы говорим «монумент», хотя это был только его макет. Но этот самый макет, этот великолепный черновой набросок, этот грандиозный труп наполеоновской идеи, развеянной двумя-тремя порывами ветра событий и отбрасываемой ими каждый раз все дальше от нас, стал

историческим и приобрел нечто завершенное, противоречащее его временному назначению. Это был слон вышиной в сорок футов, сделанный из досок и камня, с башней на спине, наподобие дома; когда-то маляр выкрасил его в зеленый цвет, теперь же небо, дождь и время перекрасили его в черный. В этом пустынном и открытом углу площади широкий лоб колосса, его хобот, клыки, башня, необъятный круп, черные, подобные колоннам ноги, вырисовывались ночью на звездном фоне неба сграшным, фантастическим силуэтом. Что он обозначал — неизвестно. Это было нечто вроде символического изображения народной мощи. Это было мрачно, загадочно и огромно. Это было какое-то исполинское привидение, вздымавшееся у вас на глазах ввысь, рядом с невидимым призраком Бастилии.

Иностранцы редко осматривали это сооружение, прохожие вовсе не смотрели на него. Слон разрушался с каждым годом; отвалившиеся куски штукатурки оставляли на его боках после себя отвратительные язвины. «Эдилы», как выражаются на изящном аргосалонов, забыли о нем с 1814 года. Он стоял здесь, в своем углу, угрюмый, больной, разрушающийся, окруженный сгнившей изгородью, загаженный пьяными кучерами; трещины бороздили его брюхо, из хвоста выпирал прут от каркаса, высокая трава росла между ногами. Так как уровень площади в течение тридцати лет становился вокруг него все выше благодаря тому медленному и непрерывному наслоению земли, которое незаметно поднимает почву больших городов, то он очутился во впадине, как будто земля осела под ним. Он стоял загрязненный, непризнанный, отталкивающий и надменный — безобразный на взгляд мещан, грустный на взгляд мыслителя. Он чем-то напоминал груды мусора, который скоро выметут, и одновременно нечто исполненное величия, что будет вскоре развенчано.

Как мы уже сказали, ночью его облик менялся. Ночь — это подлинная стихия всего, что сродни мраку. Как только спускались сумерки, старый слон преображался; он приобретал спокойный и страшный облик в грозной невозмутимости тьмы. Принадлежа прошлому, он принадлежал ночи; мрак был к лицу исполину.

Этот памятник, грубый, шершавый, коренастый, тяжелый, суровый, почти бесформенный, но несомненно вели-

чественный и отмеченный печатью какой-то великолепной и дикой важности, исчез, и теперь там безмятежно царствует что-то вроде гигантской печи, украшенной трубой и заступившей место сумрачной девятибашенной Бастилии, почти так же как буржуазный строй заступает место феодального. Совершенно естественно для печи быть символом эпохи, могущество которой таится в паровом котле. Эта эпоха пройдет, она уже прошла; начинают понимать, что если сила и может заключаться в котле, то могущество заключается лишь в мозгу; другими словами, ведут вперед и влекут за собой мир не локомотивы, а идеи. Прицепляйте локомотивы к идеям, это хорошо, но не принимайте коня за всадника.

Как бы там ни было, но, возвращаясь к площади Бастилии, скажем одно: творец слона и при помощи гипса достиг великого; творец печной трубы и из бронзы создал ничтожное.

Эта печная труба, которую окрестили звучным именем, назвав ее Июльской колонной, этот неудавшийся памятник революции-недоноска был в 1832 году еще закрыт огромной деревянной рубашкой, об исчезновении которой мы лично сожалеем, и обширным дощатым забором, окончательно отгородившим слона.

К этому-то углу площади, едва освещенному отблеском далекого фонаря, Гаврош и направился со своими двумя «малышами».

Да будет нам дозволено здесь прервать наш рассказ и напомнить о том, что мы не извращаем действительности и что двадцать лет тому назад суд исправительной полиции осудил ребенка, застигнутого спящим внутри того же бастильского слона, за бродяжничество и повреждение общественного памятника.

Отметив этот факт, продолжаем.

Подойдя к колоссу, Гаврош понял, какое действие может оказать бесконечно большое на бесконечно малое, и сказал:

— Птенцы, не бойтесь!

Затем он пролез через щель между досок забора, очутился внутри ограды, окружавшей слона, и помог малышам пробраться сквозь отверстие. Дети, слегка испуганные, молча следовали за Гаврошем, доверяясь этому

маленькому привидению в лохмотьях, которое дало им хлеба и обещало ночлег.

Вдоль забора здесь лежала лестница, которую днем пользовались рабочие соседнего дровяного склада. Гаврош, с неожиданной в нем силой, поднял ее и прислонил к одной из передних ног слона. Там, куда упиралась лестница, можно было заметить в брюхе колосса черную дыру. Гаврош указал своим гостям на лестницу и дыру и сказал:

— Взбирайтесь и входите.

Мальчики испуганно переглянулись.

— Вы боитесь, малыши! — вскричал Гаврош.

И прибавил:

— Сейчас увидите.

Он плотно обхватил шершавую ногу слона и в мгновение ока, не удостоив лестницу внимания, очутился у трещины. Он проринк в нее наподобие ужа, скользнувшего в щель, и провалился внутрь, а мгновение спустя дети неясно различили его бледное лицо, появившееся, подобно беловатому, тусклому пятну, на краю дыры, затопленной мраком.

— Ну вот, — крикнул он, — лезьте же, младенцы! Увидите, как тут хорошо! Лезь ты! — крикнул он старшему. — Я подам тебе руку.

Дети подталкивали друг друга. Гаврош одновременно внушал им и страх и доверие, а кроме того, шел сильный дождь. Старший осмелился. Младший, увидев, что его брат поднимается, оставив его совсем одного между лап этого огромного зверя, хотел разреваться, но не посмел.

Старший, пошатываясь, карабкался по перекладинам лестницы; Гаврош тем временем подбадривал его восклицаниями, словно учитель фехтования — своего ученика или погонщик — своего мула:

— Не трусь!

— Так, правильно!

— Лезь же, лезь!

— Ставь ногу сюда!

— Руку туда!

— Смелей!

И когда уже можно было дотянуться до мальчика, он вдруг крепко схватил его за руку и подтянул к себе.

— Попался! — сказал Гаврош.

Малыш проскочил в трещину.

— Теперь, — сказал Гаврош, — подожди меня. Сударь, потрудитесь присесть.

И, выйдя из трещины таким же образом, каким вошел в нее, он с проворством обезьяны скользнул вдоль ноги слона, спрыгнул в траву, схватил пятилетнего мальчугана в охапку, поставил его на самую середину лестницы, потом начал подниматься позади него, крича старшему:

— Я его буду подталкивать, а ты тащи к себе.

В одно мгновение малютка был поднят, втащен, втянут, втолкнут, засунут в дыру, так, что не успел опомниться, а Гаврош, вскочив вслед за ним, пинком ноги сбросил лестницу в траву, захлопал в ладоши и закричал:

— Вот мы и приехали! Да здравствует генерал Лафайет!

После этого взрыва веселья он прибавил:

— Ну, карапузы, вы у меня дома!

Гаврош на самом деле был у себя дома.

О, неожиданная полезность бесполезного! Благостыня великих творений! Доброта исполинов! Этот необъятный памятник, заключавший мысль императора, стал гнездышком гамена. Ребенок был принят под защиту великаном. Разряженные буржуа, проходившие мимо слона на площади Бастилии, презрительно меряя его выпученными глазами, самодовольно повторяли: «Для чего это нужно?» Это нужно было для того, чтобы спасти от холода, инея, града, дождя, чтобы защитить от зимнего ветра, чтобы избавить от ночлега в грязи, кончающегося лихорадкой, и от ночлега в снегу, кончающегося смертью, маленькое существо, не имевшее ни отца, ни матери, ни хлеба, ни одежды, ни пристанища. Это нужно было для того, чтобы приютить невинного, которого общество оттолкнуло от себя. Это нужно было для того, чтобы уменьшить общественную вину. Это была берлога, открытая для того, перед кем все двери были закрыты. Кажалось, что жалкий, дряхлый, заброшенный мастодонт, покрытый грязью, наростами, плесенью и язвами, шатающийся, весь в червоточине, покинутый, осужденный, похожий на огромного нищего, который тщетно выпрашивал, как милостыню, доброжелательного взгляда на перекрестках, сжалился над другим нищим — над жалким пигмеем, который разгуливал без башмаков, не имел крыши над головой,

согревал руки дыханием, был одет в лохмотья, питался отбросами. Вот для чего нужен был бастильский слон. Мысль Наполеона, презренная людьми, была подхвачена богом. То, что могло стать только славным, стало величественным. Императору, для того чтобы осуществить задуманное, нужны были порфир, бронза, железо, золото, мрамор; богу было достаточно старых досок, балок и гипса. У императора был замысел гения: в этом исполинском слоне, вооруженном, необыкновенном, с поднятым хоботом, с башней на спине, с брызжущими вокруг него веселыми живительными струями воды, он хотел воплотить народ. Бог сделал нечто более великое: он дал в нем пристанище ребенку.

Дыра, через которую проник Гаврош, была, как мы упомянули, едва видимой снаружи, скрытой под брюхом слона трещиной, столь узкой, что сквозь нее могли пролезть только кошки и дети.

— Начнем вот с чего, — сказал Гаврош, — скажем привратнику, что нас нет дома.

И, нырнув во тьму с уверенностью человека, знающего свое жилье, он взял доску и закрыл ею дыру.

Затем Гаврош снова нырнул во тьму. Дети слышали потрескивание спички, погружаемой в бутылочку с фосфорным составом. Химических спичек тогда еще не существовало; огниво Фюмада олицетворяло в ту эпоху прогресс.

Внезапный свет заставил их зажмурить глаза; Гаврош зажег конец фитиля, пропитанного смолой, так называемую «погребную крысу». «Погребная крыса» больше дымила, чем освещала, и едва позволяла разглядеть внутренность слона.

Гости Гавроша, оглянувшись вокруг, испытали нечто подобное тому, что испытал бы человек, запертый в большую гейдельбергскую бочку или, еще точнее, что должен был испытать Иона во чреве библейского кита. Огромный скелет вдруг предстал пред ними и словно обхватил их. Длинная потемневшая верхняя балка, от которой на одинаковом расстоянии друг от друга отходили массивные выгнутые решетины, представляла собой хребет с ребрами; гипсовые сталактиты свешивались с них наподобие внутренностей; широкие полотнища паутины, простиравшиеся из конца в конец между боками слона, обра-

зовывали его запыленную диафрагму. Там и сям, в углах, можно было заметить большие, кажущиеся живыми, черноватые пятна, которые быстро перемещались резкими пугливыми движениями.

Обломки, упавшие сверху, со спины слона, заполнили впадину его брюха, так что там можно было ходить, словно по полу.

Младший прижался к старшему и сказал вполголоса: — Тут темно.

Эти слова вывели Гавроша из себя. Оцепенелый вид малышей настоятельно требовал некоторой встряски.

— Что вы мне голову морочите? — воскликнул он. — Мы изволим потешаться? Мы разыгрываем привередников? Вам нужно Тюильри? Ну, не скоты ли вы после этого? Отвечайте! Предупреждаю, я не из простаков! Подумаешь, детки из позолоченной клетки!

Немного грубости при испуге не мешает. Она успокаивает. Дети подошли к Гаврошу.

Гаврош, растроганный таким доверием, перешел «от строгости к отеческой мягкости» и обратился к младшему:

— Дуралей, — сказал он, смягчая ругательство ласковым тоном, — это на дворе темно. На дворе идет дождь, а здесь нет дождя; на дворе холодно, а здесь ни ветерка; на дворе куча народа, а здесь никого; на дворе нет даже луны, а у нас свеча, чорт всзьми!

Дети смелее начали осматривать помещение; но Гаврош не позволил им долго заниматься созерцанием.

— Живо! — крикнул он.

И подтолкнул их к тому месту, которое мы можем, к нашему великому удовольствию, назвать существенной частью комнаты.

Там находилась его постель.

Постель у Гавроша была настоящая, с тюфяком, с одеялом, в алькове, под пологом.

Тюфяком служила соломенная цыновка, одеялом — довольно широкая попона из грубой серой шерсти, очень теплая и почти новая. А вот что представлял собой альков:

Три довольно длинные жерди, воткнутые — две спереди и одна позади — в землю, то есть в гипсовый мусор, устилавший изнутри брюхо слона, и связанные веревкой на верхушке, образовывали нечто вроде пирамиды. На

ней держалась сетка из латунной проволоки, которая была просто-напросто наброшена сверху, но, искусно прилаженная и привязанная железной проволокой, целиком охватывала все три жерди. Ряд больших камней вокруг этой сетки прикреплял ее к полу, так что нельзя было проникнуть внутрь. Эта сетка была не чем иным, как полотнищем проволочной решетки, которой огораживают птичьи вольеры в зверинцах. Постель Гавроша под этой сетью была словно в клетке. Все вместе походило на чум эскимоса.

Эта сетка и служила пологом.

Гаврош отодвинул немного в сторону камни, придерживающие ее спереди, и два ее полотнища, прилегавшие одно к другому, раздвинулись.

— Ну, малыши, на четвереньки! — скомандовал Гаврош.

Он осторожно ввел своих гостей в клетку, затем ползком пробрался вслед за ними, подвинул на место камни и плотно закрыл отверстие.

Все втроем растянулись на цыновке.

Дети, как ни были они малы, не могли бы выпрямиться во весь рост в этом алькове. Гаврош все еще держал в руке «погребную крысу».

— Теперь, — сказал он, — дрыхните! Я сейчас потушу мой канделябр.

— Сударь, — спросил старший, показывая на сетку, — а что это такое?

— Это, — важно ответил Гаврош, — от крыс. Дрыхните!

Все же он счел нужным прибавить несколько слов в поучение этим младенцам и продолжал:

— Эти штуки из Ботанического сада. Они для диких зверей. Тамыхъсь (там их есть) целый набор. Тамтоль-нада (там только надо) перебраться через стену, влезть в окно и проползти под дверь. И бери этого добра сколько хочешь.

Собщая им все эти сведения, он в то же время закрывал краем одеяла самого младшего, который пролепетал:

— Как хорошо! Как тепло!

Гаврош устремил довольный взгляд на одеяло.

— Это тоже из Ботанического сада, — сказал он. — У обезьян забрал.

И, указав старшему на цыновку, на которой он лежал, очень толстую и прекрасно сплетенную, прибавил:

— А это было у жирафа.

Помолчав, он продолжал:

— Все это принадлежало зверям. Я отобрал у них. Они не обиделись. Я им сказал: «Это для слона».

Снова немного помолчав, он заметил:

— Перелезешь через стену, и плевать тебе на начальство. И дело с концом.

Мальчики изумленно, с боязливым почтением взирали на этого смелого и изобретательного человечка. Бездомный, как они, одинокий, как они, слабенький, как они, но в каком-то смысле изумительный и всемогущий, с физиономией, на которой гримасы старого паяца сменялись самой простодушной, самой очаровательной детской улыбкой, он казался им сверхъестественным существом.

— Сударь, — робко сказал старший, — а разве вы не боитесь полицейских?

Гаврош ограничился ответом:

— Малыш, не говорят: «полицейские», а говорят: «фараоны»!

Младший смотрел широко открытыми глазами, но ничего не говорил. Так как он лежал на краю цыновки, а старший посредине, то Гаврош подоткнул ему одеяло, как это сделала бы мать, а цыновку, где была его голова, приподнял, положив под нее старые тряпки, и устроил таким образом малышу подушку. Потом он обернулся к старшему:

— Ну как? Хорошо тут?

— Очень! — ответил старший, взглянув на Гавроша с видом спасенного ангела.

Бедные дети, промокшие насквозь, начали согреваться.

— Кстати, — снова заговорил Гаврош, — почему же это вы давеча плакали?

И, показав на младшего, продолжал:

— Такой карапуз, как этот, пусть его; но взрослому, как ты, и вдруг реветь, это соедем глупо; точь-в-точь теленок.

— Ну да! — ответил тот. — Ведь у нас не было никакой квартиры, и некуда было деваться.

— Птенец! — заметил Гаврош. — Не говорят: «квартира», а говорят: «домовуха».

— А потом мы боялись остаться ночью одни.

— Не говорят: «ночь», а говорят: «потьмуха».

— Благодарю вас, сударь, — ответил ребенок.

— Послушай, — снова начал Гаврош, — никогда не нужно хныкать из-за пустяков. Я буду заботиться о вас. Ты увидишь, как нам будет весело. Летом пойдем с Наве, моим приятелем, в Гласьер, будем там купаться и бегать голышом по плотам у Аустерлицкого моста, чтобы побесить прачек. Они кричат, злятся, если бы ты знал, какие они потешные! Потом мы пойдем смотреть на человека-скелета. Он живой. На Елисейских полях. Он худой, как щепка, этот чудак. Пойдем в театр. Я вас поведу на Фредерика Леметра. У меня бывают билеты, я знаком с актерами. Один раз я даже играл в пьесе. Мы были тогда малышами, как вы, и бегали под холстом, получалось вроде моря. Я вас определю в мой театр. И мы посмотрим с вами дикарей. Только это не настоящие дикари. На них розовое трико, видно, как оно морщится, а на локтях заштопано белыми нитками. После этого мы отправимся в оперу. Войдем туда вместе с клакерами. Клака в опере очень хорошо налажена. Ну, на бульвары-то я, конечно, не пошел бы с клакерами. В опере, представь себе, есть такие, которым платят по двадцать су, но это дурачье. Их называют затычками. А еще мы пойдем посмотреть, как гильотинируют. Я вам покажу палача. Он живет на улице Марэ. Господин Сансон. У него на дверях ящик для писем. Да, мы можем здорово поразвлечься!

В это время на палец Гавроша упала капля смолы, это и вернуло его к действительности.

— Ах, чорт! — воскликнул он. — Фитиль-то кончается! Внимание! Я не могу тратить больше одного су в месяц на освещение. Если уж лег, так спи. У нас нет времени читать романы господина Поль де Кока. К тому же свет может пробиться наружу сквозь щель наших ворот, и фараоны его заметят.

— А потом, — робко вставил старший, один только и осмеливавшийся разговаривать с Гаврошем и отвечать ему, — уголек может упасть на солому, надо быть осторожным, чтобы не сжечь дом.

— Не говорят: «сжечь дом», — поправил Гаврош, — а говорят: «подсушить мельницу».

Ненастье усиливалось. Сквозь раскаты грома было слышно, как барабанил ливень по спине колосса.

— Обставили мы тебя, дождик! — сказал Гаврош. — Забавно слышать, как по ногам нашего дома льется вода, точно из графина. Зима дураковата; зря губит свой товар, напрасно старается, ей не удастся нас подмочить; оттого она и брюзжит, старая водоноска.

Вслед за этим дерзким намеком на грозу, все последствия которого Гаврош в качестве философа XIX века взял на себя, сверкнула молния, столь ослепительная, что отблеск ее через щель проник в брюхо слона. Почти в то же мгновение неистово загремел гром. Дети вскрикнули и вскочили так быстро, что сетка почти слетела; но Гаврош повернул к ним свою смелую мордочку и разразился громким смехом:

— Спокойно, ребята! Не толкайте так наше здание. Великолепный гром, отлично! Это тебе не тихоня-молния. Браво, боженька! Честное слово, сработано не хуже, чем в театре Амбигю.

После этого он привел в порядок сетку, тихонько толкнул детей на постель, нажал им на колени, чтобы заставить хорошенько вытянуться, и вскричал:

— Раз боженька зажег свою свечку, я могу задуть мою. Ребятам нужно спать, молодые люди. Не спать — это очень плохо. Будет разить из дыхания, или, как говорят в хорошем обществе, вонять из пасти. Завернитесь-ка хорошенько в одеяло! Я сейчас гашу свет. Готовы?

— Да, — прошептал старший, — мне хорошо. Под головой словно пух.

— Не говорят: «голова», — крикнул Гаврош, — а говорят: «сорбонна».

Дети прижались друг к другу. Гаврош, наконец, уложил их на цыновке как следует, натянул на них попону до самых ушей, потом в третий раз повторил на языке посвященных приказ:

— Дрыхните!

И погасил фитилек.

Едва потух свет, как сетка, под которой лежали мальчики, стала трястись от каких-то странных толчков. Послышалось глухое трение, сопровождавшееся металлическим звуком, точно множество когтей и зубов скребло

медную проволоку. Все это сопровождалось разнообразным пронзительным писком.

Пятилетний малыш, услышав у себя над головой этот оглушительный шум и похолодев от ужаса, толкнул локтем старшего брата, но старший брат уже «дрых», как ему велел Гаврош. Тогда, не помня себя от страха, он отважился обратиться к Гаврошу, но совсем тихо, сдерживая дыхание:

— Сударь!

— Что? — спросил уже засыпавший Гаврош.

— А что это такое?

— Это крысы, — ответил Гаврош.

И снова опустил голову на цыновку.

Действительно, крысы, сотнями кишевшие в остовах слона, — они-то и были теми живыми черными пятнами, о которых мы говорили, — держались на почтительном расстоянии, пока горела свеча, но как только эта пещера, представлявшая собой как бы их владения, погрузилась во тьму, они, учуяв то, что добрый сказочник Перро называл «свежим мясом», бросились стаей на палатку Гавроша, взобрались до самой верхушки и принялись грызть проволоку, словно пытаясь прорвать этот накомарник нового типа.

Между тем мальчуган не засыпал.

— Сударь! — снова начал он.

— Ну?

— А что это такое — крысы?

— Это мыши.

Объяснение Гавроша немного успокоило ребенка. Он уже видел белых мышей и не боялся их. Однако он еще раз спросил:

— Сударь!

— Ну?

— Почему у вас нет кошки?

— У меня была кошка, — ответил Гаврош, — я ее сюда принес, но они ее съели.

Это второе объяснение уничтожило благотворное действие первого: малыш снова задрожал от страха. И разговор между ним и Гаврошем возобновился в четвертый раз.

— Сударь!

— Ну?

— А кого же это съели?

— Кошку.

— А кто съел кошку?

— Крысы.

— Мыши?

— Да, крысы.

Ребенок, изумляясь, что здешние мыши едят кошек, продолжал:

— Сударь, значит такие мыши и нас могут съесть?

— Понятно! — ответил Гаврош.

Страх ребенка достиг предела. Но Гаврош прибавил:

— Не бойся! Они до нас не доберутся. И кроме того, я здесь! На, возьми мою руку. Молчи и дрыхни!

И Гаврош взял маленького за руку, протянув свою через голову его брата. Тот прижался к этой руке и почувствовал себя успокоенным. Мужество и сила обладают таинственным свойством передаваться другим. Вокруг них снова воцарилась тишина, шум голосов напугал и отогнал крыс; когда через несколько минут они возвратились, то могли бесноваться вволю, — трое мальчуганов, погрузившись в сон, ничего больше не слышали.

Ночные часы текли. Тьма покрывала огромную площадь Бастилии, зимний ветер с дождем дул порывами. Дозоры обшаривали ворота, аллеи, ограды, темные углы и, в поисках ночных бродяг, молча проходили мимо слона; чудище, застыв в своей неподвижности и устремив глаза во мрак, имело мечтательный вид, словно радовалось доброму делу, которое свершало, укрывая от непогоды и от людей трех беглых спящих детишек.

Чтобы понять все нижеследующее, не лишним будет вспомнить, что в те времена полицейский пост Бастилии располагался на другом конце площади, и все происходившее возле слона не могло быть ни замечено, ни услышано часовым.

На исходе того часа, который предшествует рассвету, какой-то человек вынырнул из Сент-Антуанской улицы, бегом пересек площадь, обогнул большую ограду Июльской колонны и, проскользнув между досок забора, оказался под самым брюхом слона. Если бы хоть малейший луч света упал на этого человека, то, по его насквозь промокшему платью, легко было бы догадаться, что он провел ночь под дождем. Очутившись под слоном, он издал

странный крик, не имевший отношения ни к какому человеческому языку; его мог бы воспроизвести только попугай. Он повторил дважды этот крик, приблизительное понятие о котором может дать следующее начертание:

— Кирикикиу!

На второй крик из брюха слона ответил звонкий и веселый детский голос:

— Здесь!

Почти тут же дощечка, закрывавшая дыру, отодвинулась и открыла проход для ребенка, скользящего вниз по ноге слона и легко опустившегося подле этого человека. То был Гаврош. Человек был Монпарнас.

Что касается крика «кирикикиу», то, без сомнения, он обозначал именно то, что хотел сказать мальчик фразой: «Ты спросишь господина Гавроша».

Услышав этот крик, он сразу вскочил, выбрался из своего «калькова», слегка отодвинул сетку, которую потом опять тщательно задвинул, затем открыл люк и спустился вниз.

Мужчина и мальчик молча встретились в темноте. Монпарнас ограничился словами:

— Ты нам нужен. Поди, помоги нам.

Мальчик не потребовал дальнейших объяснений.

— Ладно, — сказал он.

И оба отправились к Сент-Антуанской улице, откуда и появился Монпарнас; быстро шагая, они пробирались сквозь длинную цепь тележек огородников, обычно спешивших в этот час на рынок.

Сидящие в своих тележках меж грусами салата и овощей полусонные огородники, закутанные из-за проливного дождя до самых глаз в плотные балахоны, даже не заметили этих странных прохожих.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Перипетии побега

Вот что случилось в ту же самую ночь в тюрьме Форс. Бабет, Брюжон, Живоглот и Тенардьё, хотя последний и сидел в одиночке, договорились о побеге. Что до Бабета, то он «обработал дело» еще днем, как это явствует из

сообщения Монпарнаса Гаврошу. Монпарнас должен был помогать им всем извне.

Брюжон, проведя месяц в исправительной камере, на досуге, во-первых, ссучил веревку, во-вторых, зрело обдумал план. В прежние времена эти места строгого заключения, где тюремная дисциплина предоставляет осужденного самому себе, состояли из четырех каменных стен, каменного потолка, пола из каменных плит, походной койки, зарешеченного окошечка, обитой железом двери и назывались «карцерами»; но карцер был признан слишком гнусным учреждением; теперь же места заключения состоят из железной двери, зарешеченного окошечка, походной койки, пола из каменных плит, каменного потолка, каменных четырех стен и называются «исправительными камерами». В полдень туда проникает слабый свет. Неудобство этих камер, которые, как ясно из вышеизложенного, не суть карцеры, заключается в том, что в них позволяют размышлять тем существам, которых следовало бы заставить работать.

Итак, Брюжон поразмыслил и, выйдя из исправительной камеры, захватил с собой веревку. Его считали слишком опасным для двора Шарлемань, поэтому посадили в Новое здание. Первое, что он обрел в Новом здании, был Живоглот, второе — гвоздь; Живоглот означал преступление, гвоздь означал свободу.

Брюжон, о котором уже пора составить себе полное представление, несмотря на тщедушный свой вид и умышленную, тонко рассчитанную вялость движений, был малый себе на уме, вежливый и смывленный, а кроме того, опытный вор, с ласковым взглядом и жестокой улыбкой. Его взгляд был продиктован его волей, а улыбка — натурой. Первые опыты в своем искусстве он произвел над крышами; он далеко двинул вперед мастерство «свинцодеров», которые грабят кровли домов, срезая дождевые желоба приемом, именуемым «бычий пузырь».

Назначенный день был особенно благоприятен для попытки побега, потому что кровельщики как раз в это время перекрывали и обновляли часть шиферной крыши тюрьмы. Двор Сен-Бернар теперь уже не был совершенно обособлен от двора Шарлемань и Сен-Луи. Наверху появились строительные леса и лестницы, другими словами — мосты и ступени на пути к свободе.

Новое здание, самое потрескавшееся и обветшалое здание на свете, было слабым местом тюрьмы. Стены от сырости были до такой степени изглоданы селитрой, что в общих камерах пришлось положить деревянную обшивку на своды, потому что от них отрывались камни, падавшие прямо на койки заключенных. Несмотря на такую ветхость Нового здания, администрация, совершая оплошность, сажала туда самых беспокойных арестантов, «особо опасных», как говорится на тюремном языке.

Новое здание состояло из четырех общих камер, одна над другой, и чердачного помещения, именуемого «Вольный воздух». Широкая печная труба, вероятно из какой-нибудь прежней кухни герцогов де ла Форс, начинавшаяся внизу, пересекала все четыре этажа, разрезала надвое все камеры, где она казалась чем-то вроде сплющенного столба; и даже пробивалась сквозь крышу.

Живоглот и Брюжон жили в одной камере. Из предосторожности их поместили в нижнем этаже. Случайно изголовья их постелей упирались в печную трубу.

Тенардьё находился как раз над ними, на чердаке, на так называемом «Вольном воздухе».

Прохожий, который, минуя казарму пожарных, остановится на улице Нива св. Екатерины перед воротами бань, увидит двор, усаженный цветами и кустами в ящиках; в глубине двора разворачиваются два крыла небольшой белой ротонды, оживленной зелеными ставнями, — сельская греза Жан-Жака. Не больше десяти лет тому назад над ротондой поднималась черная, огромная, страшная, голая стена, к которой примыкал этот домик. За нею-то и пролегала дорожка дозорных тюрьмы Форс.

Эта стена позади ротонды напоминала Мильтона, виднеющегося позади Беркена.

Как ни была высока эта стена, над ней вставала еще выше, еще чернее кровля по другую ее сторону. То была крыша Нового здания. В ней можно было различить четыре чердачных окошечка, забранных решеткой, — то были окна «Вольного воздуха». Крышу прорезала труба, — то была труба, проходившая через общие камеры.

«Вольный воздух», чердак Нового здания, был своего рода огромным сараем, разделенным на отдельные мансарды, с тройными решетками на окнах и дверьми, оби-

тыми листовым железом, сплошь усеянным шляпками огромных гвоздей. Если туда войти с северной стороны, то четыре слуховых оконца окажутся слева, а справа — четыре квадратных камеры, довольно обширных, обособленных, разделенных узкими проходами, сложенных до подоконников из кирпича, а дальше, до самой крыши, — из железных брусьев.

Тенардые сидел в одной из этих камер с ночи 3 февраля. Так никогда и не было выяснено, каким образом, благодаря чьему соучастию ему удалось раздобыть и спрятать бутылку вина, смешанного с тем снотворным зельем, которое изобрел, как говорят, Деро, а шайка «усыпителей» прославила.

Во многих тюрьмах есть служащие-предатели, не то тюремщики, не то воры, способствующие побегам, вероломные слуги полиции, наживающиеся всякими правдами и неправдами.

Итак, в ту самую ночь, когда Гаврош подобрал двух заблудившихся детей, Брюжон и Живоглот, зная, что Бабет, бежавший утром, поджидает их на улице вместе с Монпарнасом, тихонько встали и гвоздем, найденным Брюжоном, принялись сверлить печную трубу, возле которой стояли их кровати. Мусор падал на кровать Брюжона, таким образом не было слышно никакого стука. Сильный ливень с градом и раскаты грома сотрясали двери и весьма кстати производили ужасный шум. Проснувшиеся арестанты притворились, что снова заснули, предоставив Живоглоту и Брюжону заниматься своим делом. Брюжон был ловок, Живоглот силен. Прежде чем какой бы то ни было звук достиг слуха надзирателя, спавшего в зарешеченной камерке с окошечком на камеру, стенка трубы была пробита, дымоход преодолен, железная решетка, закрывавшая верхнее отверстие трубы, взломана, и два опасных бандита оказались на кровле. Дождь и ветер усилились, крыша была скользкой.

— Хороша потьмуха для вылета! — сказал Брюжон.

Пропасть, футов шести в ширину и восьмидесяти в глубину, отделяла их от стены у дорожки дозорных. Они видели, как в глубине этой пропасти поблескивало в темноте ружье часового. Прикрепив конец веревки, сплетенной Брюжоном в одиночке, к прутьям проломленной ими решетки наверху трубы и перекинув другой конец

через стену дозорных, они перескочили смелым прыжком через пропасть, уцепились за гребень стены, перевалили через нее, соскользнули друг за другом по веревке на маленькую крышу, примыкавшую к баням, подтянули веревку, спрыгнули во двор бани, перебежали его, толкнули у будки привратника форточку, подле которой висел шнур, открывавший ворота, дернули его, отворили ворота и очутились на улице.

Не прошло и часа с тех пор, как они поднялись в темноте на своих койках, с гвоздем в руке, с планом бегства в мыслях.

Несколько мгновений спустя они присоединились к Бабету и Монпарнасу, бродившим поблизости.

Подтягивая веревку к себе, они ее оборвали, и один ее конец, привязанный к трубе, остался на крыше. Итак, ничего дурного с ними не случилось, если не считать почти целиком содранной с ладоней кожи.

В эту ночь Тенардые был предупрежден, — каким образом, выяснить не удалось, — и не спал.

Около часа пополуночи, хотя ночь и была очень темна, он увидел, что по крыше, в дождь и бурю, мимо слухового сконца, против его камеры, промелькнули две тени. Одна из них на миг задержалась перед оконцем. То был Брюжон. Тенардые узнал его и понял. Большого ему не требовалось.

Тенардые, попавшего в рубрику весьма опасных грабителей и заключенного по обвинению в устройстве ночной засады с вооруженным нападением, зорко охраняли. Перед его камерой взад и вперед ходил сменявшийся каждые два часа караульный, с заряженным ружьем. Свеча в стенном подсвечнике освещала «Вольный воздух». На ногах заключенного были железные кандалы весом в пятьдесят фунтов. Ежедневно, в четыре часа пополудни, сторож, под охраной двух догов, — в те времена так еще делалось, — входил в камеру, клал возле его койки двухфунтовый черный хлеб, ставил кружку воды и миску с жидким супом, где плавало несколько бобов, затем осматривал кандалы и проверял рукой решетку. Этот сторож со своими догами наведывался также два раза ночью.

Тенардые добился разрешения оставить при себе нечто вроде железного шипа, чтобы «прикалывать» свой хлеб

к стене, втыкая конец шипа в одну из щелей. «Это, — говорил он, — убережет его от крыс». Так как Тенардые был под непрерывным наблюдением, то ничего предосудительного в этом шипе не нашли. Однако позднее вспомнили, что один сторож сказал: «Было бы лучше оставить ему деревянный шип».

В два часа ночи часового, старого солдата, сменил новичок. Немного погодя появился сторож с собаками и ушел, ничего не заметив, разве только слишком юный возраст и «глуповатый вид» этой «пехтуры» — часового. Два часа спустя, то есть в четыре часа, когда пришли сменить новичка, он спал, свалившись, как колода, на пол, возле клетки Тенардые. Самого же Тенардые в ней уже не было. Разбитые кандалы лежали на каменном полу. В потолке клетки виднелась дыра, а над нею — другая, в крыше. Одна доска из кровати была вырвана и, несомненно, унесена, так как ее не нашли. В камере также обнаружили наполовину пустую бутылку, содержащую остаток одурманивающего вина, которым был усыплен солдат. Штык солдата исчез.

В ту минуту, когда было сделано это открытие, Тенардые считали вне пределов досягаемости. На самом же деле он хотя и был вне стен Нового здания, но далеко не в безопасности.

Добравшись до крыши Нового здания, Тенардые нашел обрывок веревки Брюжона, свисавший с решетки, закрывающей верхнее отверстие печной трубы, но этот оборванный конец был слишком короток, и он не мог перемахнуть через дорожку дозорных, подобно Брюжону и Живоглоту.

Если свернуть с Балетной улицы на улицу Сицилийского короля, то почти тотчас же направо вам встретится грязный пустырь. В прошлом столетии там находился дом, от которого осталась только задняя развалившаяся стена, достигавшая высоты третьего этажа соседних зданий. Эта развалина приметна по двум большим квадратным окнам, сохранившимся и по сей час; то, которое ближе к правому углу, перегорожено источенной червями перекладной, напоминающей изогнутую полоску на геральдическом щите. Сквозь эти окна в прошлые времена можно было увидеть высокую мрачную стену, которая являлась частью ограды вдоль дозорной дорожки тюрьмы Форс.

Пустоту, образовавшуюся среди улицы на месте разрушенного дома, наполовину заполнял забор из сгнивших досок, подпертый пятью каменными тумбами. За ним притаилась маленькая хибарка, плотно прижавшаяся к уцелевшей стене. В заборе была калитка, несколько лет тому назад запиравшаяся только на щеколду.

На самом верху этой развалины и очутился Тенардье чуть попозже трех часов утра.

Как он добрался сюда? Этого никогда не могли ни объяснить, ни понять. Молнии должны были одновременно и мешать ему и помогать. Пользовался ли он лестницами и мостками кровельщиков, чтобы, перебираясь с крыши на крышу, с ограды на ограду, с одного участка на другой, достигнуть строений на дворе Шарлемань, потом строений на дворе Сен-Луи, потом дорожки дозорных и отсюда уже развалины на улице Сицилийского короля? Но на этом пути были такие препятствия, что преодолеть их казалось невозможным. Положил ли он доску от своей кровати в виде мостков с крыши «Вольного воздуха» на ограду дозорной дорожки и прополз на животе по гребню этой стены вокруг всей тюрьмы до самой развалины? Но стена тюрьмы Форс шла неровной и зубчатой линией. То поднимаясь, то опускаясь, она снижалась возле казармы пожарных, вздымалась подле здания бань; ее перерезали строения; она была неодинаковой высоты как над особняком Ламуаньона, так и на всей Мощеной улице, всюду на ней были скаты и прямые углы. Кроме того, часовые должны были видеть темный силуэт беглеца. Таким образом, путь, проделанный Тенардье, остается почти необъяснимым. Одним ли способом, другим ли — все равно бегство казалось невозможным. Но воспламененный той страшной жаждой свободы, которая превращает пропасти в канавы, железные решетки в ивовые плетенки, калеку в богатыря, подагрика в птицу, тупость в инстинкт, инстинкт в разум и разум в гениальность, Тенардье, быть может, изобрел и применил третий способ? Этого никогда не узнали.

Не всегда возможно понять, каким чудом осуществляется побег. Человек, спасающийся бегством, повторяем это, вдохновлен свыше; свет неведомых звезд и зарниц указывает путь беглецу; порыв к свободе не менее поразителен, чем взлет крыльев к небесам; и об убежавшем воре

говорят: «Как ему удалось перебраться через эту крышу?» так же, как говорят о Корнеле: «Где он нашел эту строчку: «Пусть умирает он»?»

Как бы там ни было, обливаясь потом, промокнув под дождем, порвав одежду в лохмотья, ободрав руки, разбив в кровь локти, изранив колени, Тенардье добрался до того места разрушенной стены, которое дети на своем образном языке называют «ножиком»; там он растянулся во всю свою длину, и силы оставили его. Отвесная крутизна высотой в три этажа отделяла его от мостовой.

Взятая им с собой веревка была слишком коротка.

Он ожидал здесь бледный, измученный, потерявший всякую надежду, пока еще скрытый ночью, но уже думая о приближающемся рассвете и испытывая ужас при мысли о том, что через несколько мгновений он услышит, как на соседней колокольне Сен-Поль пробьет четыре часа, — время, когда придут сменять часового и найдут его заснувшим под пробитой крышей; в оцепенении смотрел он при свете фонарей на черневшую внизу, в страшной глубине, мокрую мостовую, — желанную и пугающую мостовую, которая была и смертью и свободой.

Он спрашивал себя, удалось ли бежать его трем соучастникам, слышали ли они его, придут ли к нему на помощь? Он прислушивался. За исключением одного патруля, никто не прошел по улице с тех пор, как он был здесь. Почти все огородники из Монтрейля, Шарона, Венсена и Берси едут к рынку через улицу Сент-Антуан.

Пробило четыре часа. Тенардье вздрогнул. Немного спустя в тюрьме начался тот смутный и беспорядочный шум, который следует за обнаруженным побегом. До беглеца доносилось хлопанье открывавшихся и закрывавшихся дверей, скрежет решеток на петлях, шум переполюха и хриплые окрики тюремной стражи, стук ружейных прикладов о каменные плиты дворов. В зарешеченных окнах камер виднелись подымавшиеся и спускавшиеся с этажа на этаж огоньки. По чердаку Нового здания метался факел, из соседней казармы были вызваны пожарные. Их каски, освещенные факелом, блестели под дождем, мелькая там и сям вдоль крыш. В то же время Тенардье увидел со стороны Бастилии белесый отсвет, зловеще побеливший край неба.

А он лежал, вытянувшись наверху стены шириной в десять дюймов, под ливнем, меж двух пропастей, слева и справа, боясь шевельнуться, терзаемый страхом перед возможностью падения, отчего у него кружилась голова, и ужасом перед неминуемым арестом, и мысль его, подобно языку колокола, колебалась между двумя исходами: «Смерть, если я упаду, каторга, если я здесь останусь».

Весь во власти этой мучительной тревоги, он, хотя было еще совсем темно, вдруг увидел человека, пробиравшегося вдоль стен; миновав Мощеную улицу, тот остановился у пустыря, над которым как бы повис Тенардье. К этому человеку присоединился второй, шедший с такой же осторожностью, затем третий, затем четвертый. Когда эти люди собрались, один из них поднял щеколду дверцы в заборе, и все четверо вошли в ограду, где была хибарка. Они оказались как раз под Тенардье. Очевидно, эти люди сошлись на пустыре, чтобы переговорить незаметно для прохожих и часового, охранявшего калитку тюрьмы Форс в нескольких шагах от них. Не лишним будет отметить, что дождь держал этого стража под арестом в его будке. Тенардье не мог рассмотреть лица неизвестных и стал прислушиваться к их разговору с тупым вниманием несчастного, который чувствует себя погибшим.

Перед глазами Тенардье мелькнул слабый проблеск надежды: эти люди говорили на арго.

Первый сказал тихо, но отчетливо:

— Шлепаем дальше. Чего нам тутго маячить?

Второй отвечал:

— Этот дождь заплует самое дедерово пекло. Да и легавые могут прихлить. Вон один держит свечу на взводе. Еще засыпемся туткайль.

Эти два слова *тутго* и *туткайль*, оба обозначающие *тут* — первое на арго застав, второе — Тампля, были лучами света для Тенардье. По «тутго» он узнал Брюжона, «хозяина застав», а по «туткайль» — Бабета, который, не считая других своих специальностей, побывал и перекупщиком в тюрьме Тамплъ.

Старое арго восемнадцатого века было в употреблении только в Тампле, и только один Бабет чисто говорил на нем. Без этого «туткайль» Тенардье не узнал бы его, так как он совсем изменил свой голос.

Тем временем в разговор вмешался третий:

— Торопиться некуда. Подождем немного. Кто сказал, что он не нуждается в нашей помощи?

По этим словам, по этой правильной французской речи Тенардьё узнал Монпарнаса, который простер свое изящество до понимания всех аргю, однако сам не пользовался ни одним из них.

Четвертый молчал, но его выдавали широкие плечи. Тенардьё не сомневался: то был Живоглот.

Брюжон возразил запальчиво, но все так же тихо:

— Что ты там звонишь? Обойщик не мог плейтовать. Он штукарить не умеет, куда ему! Расстрочить свой балахон, подрать пеленки, скрутить шнурочек, продырявить заслонки, смастерить липу, отмычки, распилить железки, вывесить шнурочек наружу, нырнуть, подрумяниться, — тут нужно быть жохсм! Старикан этого не может, он не деловой парень!

Бабет, все на том же классическом аргю, на котором говорили Пулалье и Картуш и которое относится к наглomu, новому красочному и смелому аргю Брюжона, так же, как язык Расина к языку Андре Шенье, добавил:

— Твой обойщик сгорел. Нужно быть мазом, а это мазурик. Его провел шпик, может быть, даже насадка, с которой он покумился. Слушай, Монпарнас, ты слышишь, как вопят в академии? Видишь огни? Он завалялся, ясно! Заработал двадцать лет. Я не боюсь, не трусливого десятка, сами знаете, но пора дать винта, иначе мы у них попляшем. Не дуйся, пойдем, высушим бутылочку старого винца.

— Друзей в беде не оставляют, — проворчал Монпарнас.

— Я тебе звоню, что у него боль, — ответил Брюжон. — Сейчас обойщика душа не стоит и гроша. Мы ничего не можем сделать. Смотаемся отсюда. Я уже чувствую, как фарасн берет меня за шиворот.

Монпарнас сопротивлялся слабо; действительно, эта четверка, с той верностью друг другу в беде, которая свойственна бандитам, всю ночь бродила вокруг тюрьмы Форс, как ни было это опасно, в надежде увидеть Тенардьё на верхушке какой-нибудь стены. Но эта ночь, становившаяся, пожалуй, уж чересчур удачной, — был такой ливень, что все улицы опустели, — пробиравший их холод,

промокшая одежда, дырявая обувь, тревожный шум, поднявшийся в тюрьме, истекшее время, встреченные патрули, остывшая надежда, снова возникший страх, — все это склоняло их к отступлению. Сам Монпарнас, который, возможно, приходился в некоторой степени зятем Тенардые, и тот сдался. Еще одна минута, и они бы ушли. Тенардые тяжело дышал на своей стене, подобно потерпевшему крушение с «Медузы», который, сидя на плоту, видит, как появившийся было корабль снова исчезает на горизонте.

Он не осмеливался их позвать, если бы его крик услышал часовой, это погубило бы все; но у него возникла мысль, последний чуть брезжащий луч надежды: он вытащил из кармана конец веревки Брюжона, которую отвязал от печной трубы Нового здания, и бросил ее за ограду.

Веревка упала к их ногам.

— Удавка! — сказал Бабет.

— Мой шнурочек! — подтвердил Брюжон.

— Трактирщик здесь, — заключил Монпарнас.

Они подняли глаза, Тенардые немного приподнял голову над стеной.

— Живо! — сказал Монпарнас. — Другой конец веревки у тебя, Брюжон?

— Да.

— Свяжи концы вместе, мы бросим ему веревку, он прикрепит ее к стене, этого хватит, чтобы спуститься.

Тенардые отважился подать голос:

— Я промерз до костей.

— Согреешься.

— Я не могу шевельнуться.

— Ты только скользнешь вниз, мы тебя подхватим.

— У меня окоченели руки.

— Привяжи только веревку к стене.

— Я не могу.

— Нужно кому-нибудь из нас подняться к нему, — сказал Монпарнас.

— На третий этаж! — заметил Брюжон.

Старый оштукатуренный дымоход, выходивший из печки, которую некогда топили в лачуге, тянулся вдоль стены и доходил почти до того места, где был Тенардые. Эта труба, в то время сильно потрескавшаяся и выщерб-

ленная, позже совсем обрушилась, но следы ее видны и сейчас. Она была очень узкой.

— Можно взобраться по ней, — сказал Монпарнас.

— По этой трубе? — вскричал Бабет. — Мужчине — никогда. Здесь нужен малек.

— Нужен малыш, — подтвердил Брюжон.

— Где бы найти ребятенка? — спросил Живоглот.

— Подождите, — сказал Монпарнас. — Я придумал.

Он тихонько приоткрыл калитку ограды, удостоверился, что на улице нет ни одного прохожего, осторожно вышел, закрыл за собою калитку и бегом пустился к Бастилии.

Прошло семь или восемь минут — восемь тысяч веков для Тенардые; Бабет, Брюжон и Живоглот не проронили ни слова; калитка, наконец, снова открылась, и в ней показался запыхавшийся Монпарнас в сопровождении Гавроша. Улица из-за дождя была попрежнему совершенно пустыня.

Гаврош вошел в ограду и спокойно посмотрел на эти разбойничьи физиономии. Вода капала с его волос.

— Малыш, мужчина ты или нет? — обратился к нему Живоглот.

Гаврош пожал плечами и ответил:

— Такой малыш, как я, — мужчина, а такие мужчины, как вы, — мелюзга.

— Как у малька здорово звякает звонок! — вскричал Бабет.

— Пантенский малыш — не мокрая мышь, — добавил Брюжон.

— Ну, что же вам нужно? — спросил Гаврош.

Монпарнас ответил:

— Вскрабкаться по этой трубе.

— С этой удавкой, — заметил Бабет.

— И прикрутить шнурок, — продолжал Брюжон.

— К верху стены, — снова вступил Бабет.

— К перекладине в стекляшке, — прибавил Брюжон.

— А дальше? — спросил Гаврош.

— Все! — заключил Живоглот.

Мальчуган осмотрел веревку, трубу, стену, окна и произвел губами тот непередаваемый и презрительный звук, который обозначает:

— Только и всего!

— Там наверху человек, надо его спасти, — заметил Монпарнас.

— Согласен? — спросил Брюжон.

— Дурачок! — ответил мальчик, как будто вопрос представлялся ему оскорбительным, и снял башмаки.

Живоглот подхватил Гавроша рукой, поставил его на крышу лачуги, прогнившие доски которой гнулись под его тяжестью, и передал ему веревку, связанную Брюжоном надежным узлом во время отсутствия Монпарнаса. Мальчишка направился к трубе, в которую было легко проникнуть благодаря широкой расселине у самой крыши. В ту минуту, когда он собирался влезть в трубу, Тенардье, увидев приближающееся спасение и жизнь, наклонился над стеной; слабые лучи зари осветили его потный лоб, его посиневшие скулы, заострившийся и хищный нос, всклокоченную седую бороду, и Гаврош его узнал:

— Смотри-ка, — сказал он, — да это папаша!.. Ну ладно, пускай его!

И, взяв веревку в зубы, он решительно начал подниматься. Добравшись до верхушки развалины, он сел верхом на старую стену, точно на лошадь, и крепко привязал веревку к поперечине окна.

Мгновенье спустя Тенардье был на улице.

Как только он коснулся ногами мостовой, как только почувствовал себя вне опасности, он словно и не устал вовсе, не коченел от холода, не дрожал от страха; все ужасное, от чего он избавился, рассеялось, как дым; его странный и дикий ум пробудился и, осознав свободу, воспрянул, готовый к дальнейшей деятельности.

Вот каковы были первые слова этого человека:

— Кого мы теперь будем есть?

Не стоит объяснять смысл этого слова, до ужаса ясного, обозначавшего одновременно: убивать, мучить и грабить. Истинный смысл слова *есть* — это *пожирать*.

— Надо смываться, — сказал Брюжон. — Кончим в двух словах и разойдемся. Попалось тут хорошенькое дельце на улице Плюме, улица пустынная, дом на отшибе, сад со старой ржавой решеткой, в доме одни женщины.

— Отлично! Почему же нет? — спросил Тенардье.

— Твоя дочка Эпониная ходила туда, — ответил Бабет.

— И принесла сухарь Маньон, — прибавил Живоглот. — Делать там нечего.

— Дочка не дура, — заметил Тенардье. — А все-таки надо будет посмотреть.

— Да, да, — сказал Брюжон, — надо будет посмотреть.

Однако никто из этих людей, казалось, не обращал больше внимания на Гавроша, который во время этого разговора сидел на одном из столбиков, подпиравших забор; он подождал несколько минут, быть может, надеясь, что отец вспомнит о нем, затем надел башмаки и сказал:

— Ну все? Я вам больше не нужен, господа мужчины? Вот вы и выпутались из этой истории. Я ухожу. Мне пора поднимать своих ребят.

И он ушел.

Пять человек вышли один за другим из ограды.

Когда Гаврош скрылся из виду, свернув на Балетную улицу, Бабет отвел Тенардье в сторону.

— Ты разглядел этого малька?

— Какого малька?

— Да того, который взобрался на стену и принес тебе веревку?

— Не очень.

— Ну так вот, я не уверен, но мне кажется, что это твой сын.

— Ба, — ответил Тенардье, — ты думаешь?

АРГО

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Происхождение

Pigritia ¹ — страшное слово.

Оно породило целый мир — la régre, читайте: *воровство*; и целый ад — la régrenne, читайте: *голод*.

Таким образом, лень — это мать.

У нее сын — воровство, и дочь — голод.

Где мы теперь? В сфере арго.

Что же такое арго? Это одновременно национальность и наречие; это воровство под двумя его личинами — народа и языка.

Когда тридцать четыре года тому назад рассказчик этой мрачной и знаменательной истории ввел в одно из своих произведений ², написанных с такой же целью, как и это, вора, говорящего на арго, это вызвало удивление и негодующие вопли: «Как? Арго? Может ли быть! Но ведь арго — ужасно! Ведь это язык галер, каторги, тюрем, всего самого отвратительного, что только есть в обществе!» и т. д., и т. д.

Мы никогда не понимали возражений такого рода.

Потом, когда два великих романиста, один из которых являлся глубоким знатоком человеческого сердца, а другой — неустрашимым другом народа, Бальзак и Эжен Сю, заставили говорить бандитов на их естественном языке, как это сделал в 1828 году автор книги «Последний день приговоренного к смерти», снова раздались

¹ Лень (лат.).

² Последний день приговоренного к смерти». (Прим. автора)

вопли. Повторяли: «Чего хотят от нас писатели с этим возмутительным наречием? Арго омерзительно! Арго приводит в содрогание!»

Кто же отрицает? Конечно, это так.

Когда речь идет о том, чтобы исследовать рану, пропасть или общество, то с каких же это пор стремление проникнуть вглубь, добраться до дна стало вызывать порицание? Мы всегда считали это проявлением мужества и, во всяком случае, делом полезным и достойным того сочувственного внимания, которого заслуживает принятый на себя и выполненный долг. Почему же не разведать все, не изучить всего, зачем останавливаться на полпути? Останавливаться — это дело зонда, а не того, в чьей руке он находится.

Конечно, отправиться на поиски в самые низы общества, туда, где кончается твердая почва и начинается грязь, рыться в этих вязких пластах, ловить, хватать и выбрасывать на поверхность совсем живым и трепещущим это вытащенное на свет божий презренное наречие, сочащееся грязью, этот гнойный словарь, где каждое слово кажется мерзким звеном какого-то кольчатого чудовища, обитателя тины и мрака, — все это задача и не привлекательная и не легкая. Нет ничего более удручающего, чем созерцать при свете мысли отвратительное в своей наготе кишение арго. Действительно, кажется, что пред вами предстало гнусное исчадие ночной тьмы, внезапно извлеченное из его клоаки. Вы словно видите ужасную живую и взъерошенную заросль, которая дрожит, шевелится, смотрит на вас, угрожает и требует возвращения во мрак. Вот это слово походит на коготь, другое — на потухший и кровавый глаз; вот эта фраза как будто дергается наподобие клешни краба. И все это обладает той омерзительной живучестью, которая свойственна всему зарождающемуся в разложении.

Далее, с каких это пор ужас стал исключать исследование? С каких это пор болезнь стала изгонять доктора? Можно ли представить себе естествоиспытателя, который отказался бы изучать гадюку, летучую мышь, скорпиона, сколопендру, тарантула и швырнул бы их обратно во тьму, воскликнув: «Какая гадость!» Мыслитель, отвернувшийся от арго, походил бы на хирурга, отвернувшегося от бородавки или язвы. Он был бы подобен

филологу, не решающемуся заняться каким-нибудь языковым явлением, или философу, не решающемуся вникнуть в какое-нибудь явление общественной жизни. Ибо аргю, — да будет известно тем, кто этого не знает, — одновременно и явление литературное и следствие определенного общественного строя. Что же такое аргю в собственном смысле? Аргю — это язык нищеты.

Здесь нас могут прервать; могут обобщить приведенный факт, что иногда является средством уменьшить его значительность; могут нам сказать, что все ремесла, все профессии — к ним, пожалуй, можно было бы добавить все ступени общественной иерархии и всякую форму мышления — имеют свое аргю. Торговец, который говорит: *Монпелье наличный, Марсель хорошего качества*; биржевой маклер, говорящий: *играю на повышение, страховая премия, текущий счет*; игрок, который говорит: *хожу по всем, ника бита*; пристав на Нормандских островах, говорящий: *съемщик, на участок которого наложено запрещение, не может требовать урожая с этого участка во время заявления наследственных прав на недвижимое имущество отказчика*; водевилист, заявляющий: *пьесу освистали*; актер, сказавший: *я провалился*; философ, который сказал: *тройственность явления*; охотник, говорящий: *красная дичь, столовая дичь*; френолог, сказавший: *дружелюбие, войнолюбие, тайнолюбие*; пехотинец, имеющий ружье *кларнетом*; кавалерист, который называет своего коня *индюшонком*; учитель фехтования, говорящий: *терция, кварта, выпад*; типограф, сказавший: *набор на шпоны*, — все они, типограф, учитель фехтования, кавалерист, пехотинец, френолог, охотник, философ, актер, водевилист, пристав, игрок, биржевой маклер, торговец, говорят на аргю. Живописец, который говорит: *мой мазилка*, нотариус, который говорит: *мой попрыгун*, парикмахер, который говорит: *мой подручный*, сапожник, который говорит: *мой подпомощник*, говорят на аргю. В сущности, если угодно, различные способы обозначать правую и левую стороны также принадлежат аргю: у матроса — *штирборт* и *бакборт*, у театрального декоратора — *двор* и *сад*, у причетника — *апостольская* и *евангельская*. Есть аргю модниц, как было аргю жеманниц. Особняк Рамбулье кое в чем граничит с Двором чудес. Есть аргю герцогинь — свидетельством является

следующая фраза в любовной записочке одной великосветской дамы и красавицы эпохи Реставрации: «Во всех этих сплетках вы найдете тьможество оснований для того, чтобы мне вызволиться».

Дипломатические шифры также составлены на арго: папская канцелярия, употребляющая цифру 26 вместо Рим, *grkztntgzyal* вместо *отправка* и *abfxustgrnogrzkzitu XI* вместо *герцог Моденский*, говорит на арго. Средневековые врачи, которые вместо морковь, редиска и репа говорили: *opoponach, perfroschinum, reptitalmus, dracatholicum angelorum, postmegorum*, говорили на арго. Сахарозаводчик, почтенный предприниматель, говорящий: *сахарный песок, сахарная голова, клерованный, рафинад, жжёнка, бастер, кусковой, пиленый*, изъясняется на арго. Известное направление в критике двадцать лет тому назад, утверждавшее: *Половина Шекспира состоит из игры слов и из каламбуров*, говорило на арго. Поэт и художник, которые совершенно здраво определили бы г-на де Монморанси как «буржуа», если бы он ничего не смыслил в стихах и статуях, выразились бы на арго. Академик-классик, называющий цветы *Флорой*, плоды *Помонной*, море *Нептуном*, любовь *огнем в крови*, красоту *преlestями*, лошадь *скакуном*, белую или трехцветную кокарду *розой Беллоны*, треуголку *треугольником Марса*, — этот академик-классик говорит на арго. У алгебры, медицины, ботаники свое арго. Язык, употребляемый на кораблях, этот изумительный язык моряков, столь законченный и столь живописный, на котором говорили Жан Бар, Дюкен, Сюффрен и Дюпере, язык, сливающийся со свистом ветра в снастях, с ревом рупора, со стуком абордажных топоров, с качкой, с ураганом, шквалом, залпами пушек, — это настоящее арго, героическое и блестящее, которое перед пугливым арго нищеты — то же, что лев перед шакалом.

Это так. Но что бы там ни говорили, подобное понимание слова «арго» является расширенным его толкованием, с которым далеко не все согласятся. Что до нас, то мы сохраним за этим словом его прежнее точное значение, ограниченное и определенное, и отделим одно арго от другого. Настоящее арго, арго чистейшее, если только эти два слова соединимы, существующее с незапамятных времен и бывшее целым царством, — есть не что

иное, мы это повторяем, как уродливый, пугливый, скрытый, предательский, ядовитый, жестокий, двусмысленный, гнусный, глубоко укоренившийся роковой язык нищеты. У последней черты всех унижений и всех несчастий существует крайняя, вопиющая нищета, которая восстает и решается вступить в борьбу со всей совокупностью благополучия и господствующего права, — в борьбу страшную, где, то хитростью, то насилием, одновременно немощная и свирепая, она нападает на общественный порядок, вонзаясь в него шипами порока или обрушиваясь дубиной преступления. Для надобностей этой борьбы нищета изобрела язык битвы — арго.

Заставить всплыть из глубины и поддержать над бездной забвения пусть даже обрывок некогда живого языка, обреченного на исчезновение, то есть сохранить один из тех элементов, дурных или хороших, из которых слагается или которыми осложняется цивилизация, это значит расширить данные для наблюдения над обществом, это значит послужить самой цивилизации. Желая или не желая, Плавт оказал ей эту услугу, заставив двух карфагенских воинов говорить на финикийском языке; эту услугу оказал и Мольер, заставив говорить стольких своих персонажей на левантинском языке и всевозможных видах местных наречий. Здесь возражения снова оживают: «А, финикийский, чудесно!» Левантинский, в добрый час! Даже местные наречия, пожалуйста! Это язык наций или провинций; но арго? Какая нужда сохранять арго? Зачем вытаскивать на свет божий арго?»

На все это мы ответим только одним. Действительно, если язык, на котором говорила нация или провинция, заслуживает интереса, то есть нечто еще более достойное внимания и изучения — это язык, на котором говорила нищета.

Это язык, на котором во Франции, к примеру, говорила более четырех столетий не только какая-нибудь разновидность человеческой нищеты, но нищета вообще, всяческая нищета.

И затем, мы настаиваем на этом, изучать уродливые черты и болезни общества, указывать на них для того, чтобы излечить, — это отнюдь не является работой, где дозволен отбор материала. Историк нравов и идей облечен миссией не менее трудной, чем историк событий.

В распоряжении одного — поверхность цивилизации: он наблюдает борьбу династий, рождения престолонаследников, бракосочетания королей, битвы, законодательные собрания, крупных общественных деятелей, революции — все, что совершается на дневном свете, вовне. Другому достаются ее недра, ее глубь: он наблюдает народ, который работает, страдает и ждет, угнетенную женщину, умирающего ребенка, глухую борьбу человека с человеком, никому неведомые зверства, предрассудки, несправедливости, принимаемые, как должное, подземные предупреждающие удары закона, тайное перерождение душ, смутное содрогание масс, голодающих, босяков, голяков, бездомных, безродных, несчастных и опозоренных — все эти призраки, бродящие во тьме. Ему должно нисходить туда с сердцем, исполненным милосердия и строгости одновременно, до самых непроницаемых казематов, где попеременно пресмыкаются тот, кто истекает кровью, и тот, кто нападает, тот, кто плачет, и тот, кто проклинает, тот, кто голодает, и тот, кто пожирает, тот, кто претерпевает от зла, и тот, кто его творит. Облечены ли истории сердец и душ обязанностями меньшими, чем истории внешних событий? Допустимо ли думать, чтобы Данте мог сказать меньше, чем Макиавелли? Разве подземелья цивилизации, будучи столь глубокими и мрачными, меньше значат, нежели надземная ее часть? Можно ли хорошо знать горный кряж, если не знаешь скрытой в нем пещеры?

Впрочем, заметим это мимоходом, из предшествующих кратких замечаний могут заключить, что между двумя категориями историков есть резкое различие; однако, на наш взгляд, его не существует. Никто не может быть назван хорошим историком жизни народов, внешней, зримой, бросающейся в глаза и открытой, если он в то же время в известной мере не является историком скрытой жизни его недр; и никто не может быть назван хорошим историком внутреннего бытия, если он не сумеет стать, каждый раз, когда в этом встретится необходимость, историком бытия внешнего. История нравов и идей пронизывает историю событий и сама, в свою очередь, пронизана последней. Это два порядка различных явлений, отвечающих один другому, всегда взаимно подчиненных, а нередко и порождающих друг друга. Все черты, которыми

провидение отмечает лик нации, имеют свое темное, но отчетливое соответствие в ее глубинах, и все содрогания этих глубин вызывают изменения на поверхности. Подлинная история примешана ко всему, и настоящий историк должен вмешиваться во все.

Человек — это не круг с одним центром; это эллипс с двумя средоточиями. События — одно из них, идеи — другое.

Арго — не что иное, как костюмерная, где язык, намереваясь совершить какой-нибудь дурной поступок, переодевается. Там он натягивает на себя маски-слова и лохмотья-метафоры. Таким образом, он становится страшным.

Его с трудом узнают. Неужели это действительно французский язык, великий человеческий язык? Вот он готов взойти на сцену и подать реплику преступлению, пригодный для всех постановок, которые имеются в репертуаре зла. Он уже не идет, а ковыляет; он прихрамывает, опираясь на костыль Двора чудес, — костыль, способный мгновенно превратиться в дубинку; он именуется профессиональным нищим; он загримирован своими костюмерами — всеми этими призраками; он то ползет по земле, то поднимается — двойственное движение пресмыкающегося. Отныне он готов ко всем ролям: подделыватель документов сделал его косым, отравитель покрыл ярью-медянкой, поджигатель начернил сажей, а убийца подрумянил кровью своих жертв.

Если подойти изнутри к наружным дверям общества, то можно уловить разговор тех, кто по ту сторону двери. Можно различить вопросы и ответы. Можно расслышать, хоть и не понимая его смысла, отвратительный говор, звучащий почти по-человечески, но более близкий к лаю, чем к речи. Это — арго. Слова его уродливы и отмечены какой-то фантастической животностью. Кажется, слышишь говорящих гидр.

Это — непонятное в сокрытом мглоу. Это скрипит и шушукается, дополняя сумерки загадкой. Глубокую тьму источает несчастье, еще более глубокую — преступление; эти две сплавленных тьмы составляют арго. Мрак во круг, мрак в поступках, мрак в голосах. Страшен этот язык-жаба, он мечется взад и вперед, подскакивает, ползет, пускает слюну и отвратительно копошится в

бесконечном сером тумане, созданном из дождя, ночи, голода, порока, лжи, несправедливости, наготы, удушья и зимы, — в тумане, заменяющем ясный полдень отверженным.

Будем же снисходительны к ним. Увы! Что представляем собою мы, мы сами! Что такое я, обращающийся к вам? Кто такие вы, слушающие меня? Откуда мы? Есть ли полная уверенность в том, что мы ничего не совершили, прежде чем родились? Земля отнюдь не лишена сходства с тюремной клеткой. Кто знает, не является ли человек преступником, вторично приговоренным к наказанию божественным судом?

Взгляните на жизнь поближе. Она создана так, что всюду чувствуется кара.

На самом ли деле вы тот, кто зовется счастливым? Ну, так вот — вы грустны всякий день. Каждому дню своя большая печаль или своя маленькая забота. Вчера вы дрожали за здоровье того, кто вам дорог, сегодня боитесь за свое собственное, завтра вас беспокоят денежные дела, послезавтра наветы клеветника, вслед за этим — несчастье друга; потом дурная погода, потом какая-нибудь разбитая или потерянная вещь, потом удовольствие, за которое вам приходится расплачиваться муками совести и болью в позвоночнике, а иной раз — и положение государственных дел. Все это, не считая сердечных горестей. И так далее, до бесконечности. Одно облако рассеивается, другое лишь меняет очертания. На сто дней едва ли найдется один, полный неомраченной радости и солнца. А ведь вы принадлежите к небольшому числу тех, кто обладает счастьем! Что касается других людей, то ночь, беспросветная ночь над ними.

Умы размышляющие мало пользуются выражением: счастливы и несчастны. В этом мире, повидимому являющемся преддверием иного, нет счастливых.

Правильное деление людей таково: сияющие светом и пребывающие во мраке.

Уменьшить количество темных, увеличить количество просвещенных — такова цель. Вот почему мы кричим: «Обучения! Знания!» Научить читать — это зажечь огонь; каждый разобранный слог сверкает.

Впрочем, сказать: «свет» не всегда означает сказать: «радость». Страдают и залитые светом: его излишек

сжигает. Пламя — враг крыльев. Пылать не прекращая полета, — это и есть чудо, отмечающее гения.

Когда вы познаёте, когда вы полюбите, вы будете страдать еще больше. День рождается в слезах. Осиянные светом плачут хотя бы над пребывающими во мраке.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Корни

Арго — язык пребывающих во мраке.

Это загадочное наречие, одновременно позорное и бунтарское, волнует мысль в самых ее темных глубинах и приводит социальную философию к самым скорбным размышлениям. Именно на нем явственно видна печать кары. Каждый слог отмечен ею. Слова обычного языка являются в нем как бы покоробившимися и заскорузлыми под раскаленным железом палача. Некоторые как будто дымятся еще. Иная фраза производит на вас впечатление внезапно оголенного плеча вора с выжженным клеймом. Мысль почти отказывается быть выраженной этими словами-острожниками. Метафора бывает иногда столь наглой, что чувствуется ее знакомство с позорным столбом.

Но несмотря на все это и по причине всего этого, столь странное наречие по праву занимает свое отделение в том беспристрастном хранилище, где есть место как для позеленевшего лиара, так и для золотой медали, и которое именуется литературой. У арго, — согласны с этим или не согласны, — есть свой синтаксис и своя поэзия. Это язык. Если по уродливости некоторых слов можно распознать, что его коверкал Мандрен, то по блеску некоторых метонимий чувствуется, что на нем говорил Вийон.

Стихотворная строчка, столь изысканная и столь прославленная:

Mais où sont les neiges d'antan? ¹

написана на арго. Antan — *ante annum* — слово из арго Двора чудес, обозначающее *прошедший год* и, в более

¹ Но где снега минувших лет? (франц.)

широком смысле, *когда-то*. Тридцать лет тому назад, в 1827 году, в эпоху отбытия огромной партии каторжников, еще можно было прочесть следующее изречение, нацарапанное гвоздем на стене одного из казематов Бисетра, королем государства Арго, осужденным на галеры: *Les dabs d'antan trimaient stempre pour la pierre du coësre*. Иными словами: *Короли былых времен всегда отпращивались на коронацию*. Для этого «короля» каторга и была «коронацией».

Слово *décarade*, означающее отъезд тяжелой кареты галопом, приписывается Вийону, и он достоин его. Это слово, будто высекающее искры, передано мастерской ономотопеей в изумительном стихе Лафонтена:

Six forts chevaux tiraient un coche ¹.

С точки зрения чисто литературной, мало какое исследование могло быть любопытней и плодотворней, чем в области арго. Это настоящий язык в языке, род болезненного нароста, нездоровый черенок, который привился, паразитическое растение, пустившее корни в древний галльский ствол и расстилающее свою зловещую листву по одной из ветвей языкового древа. Таким оно кажется на первый взгляд, таково, можно сказать, общее впечатление от арго. Но перед теми, кто изучает язык как следует его изучать, то есть как геолог изучает землю, арго возникает подлинным напластованием. В зависимости от того, насколько глубоко разрывают это напластование, в арго под старым французским народным языком находят провансальский, испанский, итальянский, левантинский — этот язык портов Средиземноморья, английский и немецкий, романский в его трех разновидностях — романо-французской, романо-итальянской, романо-романской, латинский, наконец баскский и кельтский. Это глубоко залегающая и причудливая формация. Подземное здание, построенное сообща всеми отверженными. Каждое отмеченное проклятием племя отложило свой пласт, каждое страдание бросило туда свой камень, каждое сердце положило свой булыжник. Толпа преступных душ, низменных или возмущенных, пронесшихся через жизнь и исчезнувших в вечности, присутствует здесь

¹ Шесть крепких лошадей тащили экипаж (франц.).

почти целиком и словно просвечивает сквозь форму какого-нибудь чудовищного слова.

Не угодно ли испанского? Древнее готское аргó кишит испанизмами. Вот *boffette* — пощечина, происшедшее от *bofeton*; *vantane* — окно (позднее — *vanterne*), от *vantana*; *gat* — кошка, от *gato*; *acite* — масло, от *aceyte*. Не угодно ли итальянского? Вот *spade* — шпага, происшедшее от *spada*; *carvel* — судно, от *caravella*. Не угодно ли английского? Вот *bichot* — епископ, происшедшее от *bishop*; *raille* — шпион, от *rascal*, *rascalion* — негодяй; *pilche* — футляр, от *pilcher* — ножны. Не угодно ли немецкого? Вот *caleur* — слуга, от *kellner*; *hers* — хозяин, от *herzog*. Не угодно ли латинского? Вот *frangir* — ломать, от *frangere*; *affurer* — воровать, от *fur*; *cadène* — цепь, от *catena*. Есть латинское слово, появлявшееся во всех европейских языках в силу какой-то загадочной верховной его власти, это слово *magnus* — великий; Шотландия сделала из него свое *mac*, обозначающее главу клана: Мак-Фарлан, Мак-Каллюмор — великий Фарлан, великий Каллюмор¹; аргó сделало из него *meck*, а позднее *meg*, то есть бог. Не угодно ли баскского? Вот *gahisto* — дьявол, от *gaiztoa* — злой; *sorgabon* — доброй ночи, от *gabon* — добрый вечер. Не угодно ли кельтского? Вот *blavin* — носовой платок, от *blavet* — брызжущая вода; *ménesse* — женщина (в дурном смысле), от *meines* — полный камней; *barant* — ручей, от *baranton* — фонтан; *goffeur* — слесарь, от *goff* — кузнец; *guédouze* — смерть, от *guenn-du*, белое-черное. Не угодно ли, наконец, истории? Аргó называет экю *мальтийка*, в память монеты, имевшей хождение на галерах Мальты.

Кроме его филологической основы, на которую мы только что указали, у аргó имеются и другие корни, еще более естественные и порожденные, так сказать, самим разумом человека.

Во-первых, прямое словотворчество. Вот где тайна созидания языка. Уменье рисовать при помощи слов, которые, неведомо как и почему, таят в себе образ. Они простейшая основа всякого человеческого языка — то, что можно было бы назвать его строительным гранитом.

¹ Однако следует заметить, что *mac* — по-кельтски обозначает сын. (Прим. автора.)

Арго кишит словами такого рода, словами непосредственными, созданными из всякого материала, неизвестно где и кем, без этимологии, без аналогии, без производных, — словами, стоящими особняком, варварскими, иногда отвратительными, но обладающими странной силой выразительности и живыми. Палач — *кат*; лес — *оксим*; страх, бегство — *плёт*; лакей — *лакуза*; генерал, префект, министр — *ковруг*; дьявол — *дедер*. Нет ничего более странного, чем эти слова, которые и укрывают и обнаруживают. Некоторые, например *дедер*, в то же время гротескны и страшны и производят на вас впечатление какой-то гримасы циклопа.

Во-вторых, метафора. Особенностью языка, который хочет все сказать и все скрыть, является обилие образных выражений. Метафора — загадка, за которой укрывается вор, замышляющий преступление, заключенный, обдумывающий бегство. Не существует идиома, более метафорического, чем арго. *Отвинтить орех* — свернуть шею; *хрястать* — есть; *венчаться* — быть судимым; *крыса* — тот, кто ворует хлеб; *алебардит* — идет дождь, старая поразительная метафора, сама в известном смысле свидетельствующая о времени своего появления, уподобляющая длинные косые струи дождя плотному строю наклоненных пик ландскнехтов и уместающая в одном слове народную метонимию: *дойдет алебардами*. Иногда, по мере того как арго подвигается от первой стадии своего развития ко второй, слова, находившиеся в диком и первобытном состоянии, обретают метафорическое значение. Дьявол перестает быть *дедером* и становится *пекарем*, — тем, кто сажает в печь. Это умнее, но мельче; нечто, подобное Расину после Корнеля, и Еврипиду — после Эсхила. Некоторые выражения арго, относящиеся к обоим стадиям его развития, одновременно имеющие характер варварский и метафорический, походят на фантазмагории. *Потьмушники мозгуют стырить клятuru под месяцем* (бродяги ночью собираются украсть лошадь). Все это проходит перед сознанием, как группа призраков. Видишь, но что это такое — не ведаешь.

В-третьих, его изворотливость. Арго паразитирует на живом языке. Оно пользуется им, как ему вздумается, оно черпает из него наудачу и часто довольствуется, когда в этом возникает необходимость, общим грубым

искажением. Нередко, с помощью обычных слов, изуродованных таким образом, в сочетании со словами из чистого аргю, оно составляет красочные выражения, где чувствуется смесь двух упомянутых элементов — прямого словотворчества и метафоры: *Кэб брешет, сдается, пантенова тарахтелка дыбает по оксиму* — собака лает, должно быть, дилижанс из Парижа проезжает по лесу. *Фраер — балбень, фраерша — клевая, а баруля фартовая* — хозяин глуп, его жена хитра, а дочь красива. Чаше всего, чтобы сбить с толку слушателя, аргю ограничивается тем, что без разбора прибавляет ко всем словам гнусный хвост, окончание на *айль, орг, ерг* или *юш*. Так: *Находитайль ли выерг это жаркоюш хорошорг?* — находите ли вы это жаркое хорошим? Эта фраза была обращена Картушем к привратнику, чтобы узнать, подошла ли ему сумма, предложенная за побег. Окончание *мар* стали прибавлять сравнительно недавно.

Аргю, будучи наречием разложения, быстро разлагается и само. Кроме того, всегда стараясь скрыть свою сущность, оно, едва почувствует себя разгаданным, преобразуется. В противоположность любой иной форме произрастания, здесь луч света убивает все, к чему прикасается. Так и шествует вперед аргю, непрестанно распадаясь и восстанавливаясь заново; это неизвестная и противоречивая, никогда не останавливающаяся работа. В десять лет аргю проходит путь более длинный, чем язык — за десять столетий. Таким образом *larton*, хлеб, становится *lartif*; *gail*, лошадь — *gaye*; *fertanche*, солома — *fertille*; *tomignard*, малыш — *tomacque*; *siques*, одежда — *frusques*; *chique*, церковь — *érgugeoir*; *colabre*, шея — *colas*. Дьявол сначала *хаушень*, потом *дедер*, потом *некарь*; священник — *скребок*, потом *кабан*, кинжал — *двадцать два*, потом *перо*, потом *булавка*; полицейские — *кочерги*, потом *жеребцы*, потом *рыжие*, потом *продавцы силков*, потом *легавые*, потом *фараоны*; палач — *дядя*, потом *Шарло*, потом *кат*, потом *костыльщик*. В семнадцатом веке бить — *угощать табаком*, а в девятнадцатом — *натабачить*. Двадцать различных выражений прошли между этими двумя. Язык Картуша на слух Ласнера казался бы древнееврейским. Все слова этого языка находятся в непрерывном бегстве, подобно людям, их произносящим.

Однако, время от времени, и именно вследствие этого движения, старое арго возрождается и опять становится новым. У него есть свои центры, где оно удерживается. Тюрьма Тамплъ сохраняла арго семнадцатого века: Бисетр в бытность свою тюрьмой хранил арго Тюнского царства. Там можно было услышать окончания на *аниш* старых подданных этого царства. *Ты пьёанишь?* (ты пьешь?) *Он верианиш* (он верит). Но вечное движение отнюдь не перестает оставаться его законом.

Если философу удастся удержать на мгновение этот беспрестанно улетающий язык, чтобы исследовать его, им овладевают горестные, но полезные мысли. Никакое другое исследование не бывает более действенным, более плодотворным и поучительным. Нет ни одной метафоры, ни одного корня в словах арго, которые не содержали бы наглядного урока. Среди этих людей *бить* — означает *прикидываться*; они *бьют* болезнь — прикидываются больными: их сила — хитрость.

Для них идея человека неотделима от идеи тьмы. Ночь — *потьмуха*; человек — *тёмник*. Человек — производное от ночи.

Они привыкли рассматривать общество как среду, убивающую их, как роковую силу, и о своей свободе они говорят так, как принято говорить о своем здоровье. Арестованный человек — *больной*; человек осужденный — *мертвый*.

Самое страшное для заключенного в четырех каменных стенах, где он погребен, это некая леденящая чистота; он называет темницу *чистая*. В этом мрачном месте жизнь на воле всегда является ему в самом радужном свете. У заключенного на ногах кандалы; быть может, вы полагаете, что, по его мнению, ноги служат для ходьбы? Нет, он думает, что для пляски; поэтому, когда ему удастся перепилить кандалы, первая его мысль — о том, что теперь он может танцевать, и он называет пилу *скрипка*. Имя — это *сердцевина*; многозначительное уподобление. У бандита две головы: та, которая обдумывает все его действия и руководит им в течение всей жизни, и та, которая ложится под нож гильотины в день его казни; голову, которая подает ему советы в преступных делах, он называет *сорбонной*, другую, которой он платится, *отрубком*. Когда у человека на теле ничего не остается,

кроме лохмотьев, а в сердце — ничего, кроме пороков, когда он доходит до того двойного падения, материального и нравственного, которое характеризуется в обоих его значениях словом *gueux* — нищий, то он готов к преступлению, он подобен хорошо отточенному ножу с двумя лезвиями — нуждой и злобой; поэтому аргю не говорит *gueux*, оно говорит *réguisé* — наостренный. Что такое каторга? Костер для осужденных на вечные муки, ад. Каторжник называется *хворостьё*. Наконец каким же словом злодей называет тюрьму? *Академия*. Целая исправительная система может быть порождена этим словом.

У вора тоже есть свое так называемое «пушечное мясо», ге, кого можно обокрасть, — вы, я, любой прохожий: *pantre*. (*Pan* — все люди)

Хотите знать, где появилось большинство песен каторги, эти припевы, именуемые в специальных словарях *lirlonfa*?¹ Послушайте об этом.

В парижском Шатле существовал длинный подвал. Этот подвал находился на восемь футов ниже уровня Сены. В нем не было ни окон, ни отдушин, единственным отверстием являлась дверь; люди могли туда проникнуть, но воздух не проникал. Каменный свод служил потолком, а полом — десятидюймовый слой грязи. Подвал когда-то был вымощен, но туда просачивалась вода, и каменные плитки пола дали трещины и выкрошились. На высоте восьми футов от пола это подземелье пересекала из конца в конец длинная толстая балка; с балки, на некотором расстоянии друг от друга, свешивались цепи длиной в три фута, а к концам этих цепей были прикреплены ошейники. В подвал сажали людей, осужденных на галеры, до дня их отправки в Тулон. Их загоняли под эту балку, где каждого ожидали поблескивавшие во мраке кандалы. Цепи, будто свешивающиеся руки, и ошейники, точно открытые ладони, хватали несчастных за шею. Их заковывали и оставляли здесь. Цепь была слишком коротка и не давала им лечь. Они стояли неподвижно в этом подвале, в этой тьме, под этой перекладиной, почти повешенные, вынужденные тратить неслыханные усилия, чтобы дотянуться до куска хлеба или кружки с водой под

¹ *Lirlonfa* — свободно импровизируемый и лишенный смысла припев к куплетам песни.

низко нависающим над головой сводом, по щиколотку в грязи, в стекающих по телу собственных нечистотах, истерзанные усталостью, с дрожащими, подкашивающимися ногами, цепляясь руками за цепь, чтобы отдохнуть, не имея возможности уснуть иначе, как стоя, и просыпаясь каждую минуту, удушаемые ошейником. Иные из них так и не просыпались больше. Чтобы поесть, они, при помощи ступни одной ноги, поднимали по голени другой, пока его могла достать рука, тот хлеб, который им бросали в грязь. Сколько времени находились они в таком положении? Месяц, два месяца, иногда полгода; один пробыл год. Это была прихожая каторги. Сюда бросали за убитого в королевских лесах зайца. Что делали они в этом склепе, в этой преисподней? То, что можно было делать в склепе: умирать, и то, что можно делать в преисподней: петь. Потому что там, где нет больше надежды, остается песня. В мальтийских водах, при приближении галеры, сначала слышали песню, а уже потом удары весел. Бедняга браконьер Сюрвенсан, прошедший через подвальную тюрьму Шатле, говорил: *Только рифмы меня и поддерживали*. Говорят о бесполезности поэзии. На что, мол, нужны рифмы? Но именно в этом подвале и родились почти все песни арга. Именно в тюрьме Большого Шатле в Париже появился меланхоличный припев галеры Монгомери: *Тималумизен, тимуламизон*. Большинство этих песен зловещи; некоторые веселы; одна — нежная:

Туткайль театр
Малютки стрелка¹.

Сколько ни старайтесь, вы не уничтожите бессмертных останков человеческого сердца — любовь.

В этом мире темных дел хранят тайну друг друга. Тайна — общая собственность. Тайна, для этих отверженных, — связь, являющаяся основой их союза. Нарушить тайну — значит вырвать у каждого члена этого дикого сообщества какую-то часть его самого. Донести, на энергичном языке арга, обозначает *съесть кусок*. Словно доносчик отрывает по частице тела у всех и питается этим мясом.

¹ Купидона (Прим. автора)

Что значит дать пощечину? Обычная метафора отвечает: *засветить тридцать шесть свечей*. Здесь аргю вменяется и добавляет: свеча — это *камуфля*. Поэтому обычный разговорный язык нашел для пощечины синоним — *камуфлет*. Таким образом, благодаря своего рода проникновению снизу вверх, пользуясь метафорой, этой траекторией, которую невозможно вычислить, аргю поднялось из пещеры до академии. Если Пулайе сказал: *Я зажигаю мою камуфлю*, то Вольтер писал: *Ланглевель Ла Бомель заслуживает ста камуфлетов*.

Раскопки в аргю — это открытие на каждом шагу. Углубленное изучение этого странного наречия приводит к таинственной точке пересечения общества добропорядочных людей с обществом людей, заклеянных проклятием.

Аргю — это слово, ставшее каторжником.

Трудно поверить, чтобы мыслящее начало человека могло пасть столь низко, чтобы оно могло дать темной тирании рока связать себя по рукам и ногам и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло тяготеть к неведомым соблазнам этой бездны.

О, бедная мысль отверженных!

Увы! Неужели в этом мраке никто не придет на помощь душе человеческой? Неужели ее судьба в том, чтобы вечно ждать духа-освободителя, исполинского всадника, правящего пегасами и гиппогрифами, одетого в цвета зари воителя, спускающегося с лазури на крыльях, радостного рыцаря будущего? Неужели она всегда будет тщетно призывать на помощь выкованное из света копьё идеала? Неужели она навеки обречена с ужасом слышать, как в непроницаемой тьме этой бездны надвигается на нее Зло, и различать все яснее и яснее под отвратительными водами голову этого дракона, эту пасть, изрыгающую пену, это змеистое колыхание его когтистых лап, его вздувающихся и опадающих колец? Неужели она должна остаться там, без проблеска света, без надежды, отданная во власть приближающегося страшного чудовища, которое смутно чувствует ее, эта дрожащая, с разметавшимися волосами, ломающая руки, навсегда прикованная к утесу ночи печальная Андромеда, чье нагое тело белеет во мраке?

Как видите, все арго целиком, как существовавшее четыре века тому назад, так и арго нынешнего дня, проникнуто тем мрачным символическим духом, который придает всем словам то жалобный, то угрожающий оттенок. В нем чувствуется древняя свирепая печаль тех нищих Двора чудес, которые употребляли для игры свои особые колоды карт; из этих игральных карт некоторые дошли до нас. Трефовая восьмерка, например, представляла собой большое дерево с восемью огромными трилистниками — род символического изображения леса. У подножия этого дерева разложен костер, на котором три зайца поджаривают воздетого на вертел охотника, а позади, на другом костре, стоит дымящийся котелок, из которого высовывается голова собаки. Нет ничего более зловещего, чем это возмездие в живописи, на игровых картах, во времена костров для поджаривания контрабандистов и кипящих котлов, куда бросали фальшивомонетчиков. Различные формы, в которые облекалась мысль в царстве арго, даже псняя, даже насмешка, — все отмечены печатью бессилия и угнетенности. Все песни, напевы которых сохранились, смиренны и жалостны до слез. Вор называется *бедным вором*, и всегда он прячущийся заяц, спасающаяся мышь, улетающая птица. Арго почти не жалуется, оно ограничивается вздохами; одно из его стенаний дошло до нас: *«Je n'entrave que le dail comment meck, le daron des orgues, peut atiger ses mômes et ses momignards et les locher criblant sans être atigé lui-même»*¹. Отверженный, всякий раз, когда у него есть время подумать, ощущает свое бессилие перед лицом закона и ничтожество перед лицом общества; он пресмыкается, он умоляет, он вызывает о сострадании; чувствуется, что он сознает свою вину.

К середине прошлого столетия произошла перемена. Тюремные песни, запевы воров приобрели, так сказать, дерзкие разудалые ухватки. Жалобный припев *малюрэ* заменился *ларифля*. В восемнадцатом веке почти во всех

¹ Я не понимаю, как господь, отец людей, может мучить своих детей и внуков и слушать их вопли, не мучаясь сам. (Прим. автора.)

песнях галер, каторги и ссылки обнаруживается дьявольская и загадочная веселость. Их сопровождает точно светящийся фосфорическим блеском пронзительный и подпрыгивающий припев, который кажется заброшенной в лес песенкой дудящего в дудку блуждающего огонька:

Мирлябаби, сюрлябабо,
Мирлитон рибон рибет.
Сюрлябаби, мирлябабо,
Мирлигон рибон рибо.

Так распевали, приканчивая человека где-нибудь в погребе или в лесной глуши.

Это серьезный симптом. В восемнадцатом веке стародавняя печаль этих угрюмых слоев общества рассеивается. Они начинают смеяться. Они осмеивают и великого бога и великого короля. В царствование Людовика XV они называют короля Франции «маркиз Плясун». Они почти веселы. Какой-то слабый свет исходит от этих отверженных, как будто совесть не тяготит их больше. Эти жалкие племена потемок отличаются не только отчаянным мужеством своих поступков, но и беззаботной дерзновенностью духа. Это служит признаком того, что они теряют чувство своей преступности и что они ощущают даже среди мыслителей и мечтателей какую-то неведомую им самим поддержку. Это служит признаком того, что грабеж и воровство начинают просачиваться даже в доктрины и софизмы, теряя при этом некоторую долю своего безобразия и щедро наделяя им доктрины и софизмы. Наконец это служит признаком, если только не возникнет никакой помехи, пышного и близкого их расцвета.

Остановимся на мгновение. Кого мы обвиняем здесь? Восемнадцатый век? Его философию? Нет, конечно. Дело восемнадцатого века — доброе и полезное дело. Энциклопедисты, с Дидро во главе, физиократы, с Тюрго во главе, философы, с Вольтером во главе, утописты, с Руссо во главе, — это четыре священных легиона. Огромный рывок человечества вперед, к свету, — их заслуга. Это четыре передовых отряда человеческого рода, движущихся к четырем основным пунктам прогресса: Дидро к прекрасному, Тюрго к полезному, Вольтер к истинному, Руссо к справедливому. Но рядом с философами и ниже их бла-

годенствовали софисты — ядовитая поросль, присоседившаяся к здоровым растениям, цикута в девственном лесу. В то время как палач сжигал на главной лестнице Дворца правосудия великие освободительные книги эпохи, писатели, ныне забытые, издавали с королевского разрешения бог знает какую литературу, оказывающую странное, разлагающее действие и с жадностью проглатываемую отверженными. Некоторые из этих изданий, весьма опекаемых одним принцем, — забавная подробность! — числятся в «Тайной библиотеке». Эти важные, но неизвестные факты остались незамеченными на поверхности. Порою именно самая тьма, окутывающая факт, уже говорит о его опасности. Он темен, потому что происходит в подземелье. Быть может, Ретиф де ла Бретон был из всех писателей тем, кто прорыл тогда в народных толщах самую гибельную для здоровья галлерею.

Эта работа, совершавшаяся во всей Европе, произвела в Германии больше опустошения, чем где бы то ни было. В Германии, в течение известного периода времени, описанного Шиллером в его знаменитой драме «Разбойники», воровство и грабеж, самовольно завладев правом протеста против собственности и труда и усвоив некоторые общеизвестные, с виду правдоподобные, но ложные по существу, кажущиеся справедливыми, но бессмысленные на самом деле идеи, облачились в них и как бы исчезли, приняв отвлеченное название и получив таким образом видимость теории; они проникали в среду трудолюбивых людей, честных и страдающих, даже без ведома неосторожных химиков, изготовивших эту микстуру, даже без ведома масс, принимавших ее. Возникновение подобного факта всякий раз означает опасность. Страдание порождает вспышки гнева, и в то время как преуспевающие классы самоослепляются или усыпляют себя, — а в одном и другом случае глаза у них закрыты, — ненависть бедствующих классов зажигает свой факел от какого-нибудь огорченного или злобного ума, размышляющего в уединении, и начинает исследовать общество. Это исследование, проводимое ненавистью, ужасно!

Отсюда, если есть на то воля роковых времен, и вытекают ужасные потрясения, некогда названные *жакериями*, рядом с которыми чисто политические волнения — детская игра. Это уж не борьба угнетенного с

угнетателем, но стихийный бунт неблагополучия против благоденствия. И тогда все рушится.

Жакерии — это вулканические толчки в недрах народа.

Именно такой опасности, неизбежной, быть может, для Европы конца восемнадцатого века, поставила предел французская революция — этот огромный акт человеческой честности.

Французская революция, которая есть не что иное, как идеал, вооруженный мечом, встав во весь рост, одним и тем же внезапным движением закрыла ворота зла и открыла ворота добра.

Она дала свободу мысли, провозгласила истину, развеяла миазмы, оздоровила век, венчала на царство народ.

Можно сказать, что она сотворила человека во второй раз, дав ему вторую душу — право.

Девятнадцатый век унаследовал ее дело и воспользовался им, и сегодня социальная катастрофа, на которую мы только что указывали, попросту невозможна. Слепец, кто о ней предупреждает! Глупец, кто ее страшится! Революция — это прививка против жакерии.

Благодаря революции условия общественной жизни изменились. В нашей крови нет больше болезнетворных бацилл феодализма и монархии. Нет больше средневековья в нашем государственном строе. Мы больше не живем в те времена, когда ужасающее внутреннее брожение прорывалось наружу, когда под ногами слышались глухие перекаты непонятного гула, когда на поверхности цивилизации выступали невиданные холмы, таящие в себе подземные ходы кротов, когда почва раздавалась, когда свод пещер разверзался, — и вдруг из-под земли возникали чудовищные лики.

Революционное чувство — чувство нравственное. Развившись, сознание права развивает сознание долга. Всеобщий закон — это свобода, кончающаяся там, где начинается свобода другого, согласно изумительному определению Робеспьера. С 89-го года народ, весь целиком, вырастает в некую возвышенную личность; нет бедняка, который, сознавая свое право, не видел бы проблеска света; умирающий от голода чувствует в себе честность Франции; достоинство гражданина есть его внутреннее

оружие; кто свободен, тот добросовестен; кто голосует, — царствует. Отсюда неподкупность; отсюда неуспех нездоровых вожделений; отсюда героически опущенные перед соблазнами глаза. Революционное оздоровление таково, что в день, возвещающий о свободе, будь то 14 июля или 10 августа, нет больше черни. Первый клич просвещенных и нравственно возвеличившихся народных масс — это «Смерть вора!» Прогресс — честный малый; идеал и абсолют не шарят по карманам. Кто охранял в 1848 году фургоны с богатствами Тюильри? Тряпичники из Сент-Антуанского предместья. Лохмотья стояли на страже сокровищ. Добродетель придала блеск оборванцам. В этих фургонах, в ящиках, едва закрытых, а иных даже и полуоткрытых, среди сотни сверкающих драгоценностями ларцов была древняя корона Франции, вся в алмазах, увенчанная царственным бриллиантом «Регентом» и стоявшая тридцать миллионов. И босые люди охраняли эту корону.

Итак, нет больше жакерии. И я соболезную ловким людям. С нею исчез тот давний страх, который в последний раз произвел свое действие и уже никогда больше не может быть применен в политике. Главная пружина красного призрака сломана. Теперь об этом знают все. Страшилище не устрашает больше. Птицы запросто обращаются с пугалом, чайки садятся на него, буржуа над ним смеются.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Два долга: бодрствовать и надеяться

При всем этом рассеялась ли всякая социальная опасность? Нет, конечно. Жакерии не существует. Общество может быть спокойно в этом отношении, кровь не бросится ему больше в голову; но оно должно поразмыслить о том, как следует ему дышать. Апоплексии оно может не бояться, но есть еще чахотка. Социальная чахотка называется нищетой.

Подтачивающая изнутри болезнь не менее смертельна, чем удар молнии.

Будем же повторять неустанно: прежде всего должно думать о скорбящих и обездоленных, помогать им, дать

им дышать свежим воздухом, просвещать, любить, расширять их горизонт, щедро предоставлять им во всех его формах воспитание, всегда подавать им пример трудолюбия, но никогда — праздности, уменьшать тяжесть отдельного, личного бремени, углубляя познание общей цели, ограничивать бедность, не ограничивая богатства, создавать обширное поле для общественной и народной деятельности, иметь, подобно Бриарею, сто рук, чтобы протянуть их во все стороны слабым и угнетенным, общими силами выполнить великий долг, открыв мастерские для всех сноровок, школы — для всех способностей и училища — для всех умов, увеличить заработок, облегчить труд, уравновесить дебет и кредит, то есть привести в соответствие затрачиваемые усилия и возмещение, потребности и удовлетворение, — одним словом, заставить социальную систему давать страдающим и невежественным больше света и больше благ. Вот в чем первая братская обязанность — пусть сочувствующие души этого не забывают; вот в чем первая политическая необходимость — пусть эгоистичные сердца знают об этом.

Отметим, однако, что все это — только начало. Подлинная задача такова: труд не может быть законом, не будучи правом.

Мы отмечаем это, но не развиваем свою мысль, ибо здесь это неуместно.

Если природа называется провидением, общество должно называться предвидением.

Интеллектуальный и нравственный рост не менее важен, чем улучшение материальных условий. Знание — это напутствие, мысль — первая необходимость, истина — пища, подобная хлебу. Разум, изголодавшийся по знанию и мудрости, скудеет. Пожалеем же равно и о желудках и об умах, лишенных пищи. Если есть что-либо более страшное, чем плоть, погибающая от недостатка хлеба, так это душа, умирающая от жажды света.

Прогресс в целом стремится разрешить этот вопрос. Настанет день, когда все будут изумлены. С возвышением человеческого рода глубинные его слои совершенно естественно выйдут из пояса бедствий. Уничтожение нищеты свершится благодаря простому подъему общего уровня.

Такое решение благословенно, и было бы ошибкой усомниться в нем.

Правда, сила прошлого еще очень велика в наше время. Оно опять воспрянуло духом. Это оживление трупа удивительно. Прошное шествует вперед, оно все ближе. Оно кажется победителем; этот мертвец — завоеватель. Оно идет со своим воинством — суевериями, со своей шпагой — деспотизмом, со своим знаменем — невежеством; с некоторого времени оно выиграло десять сражений. Оно надвигается, оно угрожает, оно смеется, оно у наших дверей. Что до нас, то не будем отчаиваться. Продадим поле, где раскинул лагерь Ганнибал.

Мы верим, чего же нам опасаться?

Идеи не текут вспять, так же как и реки.

Но пусть те, кто не хотят будущего, поразмыслят над этим. Говоря прогрессу «нет», они осуждают отнюдь не будущее, а самих себя. Они приговаривают себя к мрачной болезни: они прививают себе прошлое. Есть только один способ отказаться от Завтра: это умереть.

Мы же не хотим никакой смерти: для тела — как можно позже, для души — никогда.

Да, загадка раскроется, сфинкс заговорит, задача будет решена. Да, образ народа, намеченный восемнадцатым веком, будет завершен девятнадцатым. Только глупец усомнится в этом! Будущий расцвет, близкий расцвет всеобщего благоденствия — явление, предопределенное небом.

Титанические порывы целого правят человеческими делами и приводят их все в установленное время к разумному состоянию, то есть к равновесию, то есть к справедливости. Человечество порождает силу, слагающуюся из земного и небесного, и она же руководит им; эта сила способна творить чудеса, волшебные развязки для нее не более трудны, чем необычайные превращения. С помощью науки, создаваемой человеком, и событий, ниспосылаемых кем-то другим, она мало страшится тех противоречий в постановке проблем, которые посредственности кажутся непреодолимыми. Она одинаково искусно извлекает решение из сопоставляемых идей, как и поучение из сопоставляемых фактов; можно ожидать всего от этого обладающего таинственным могуществом прогресса, который однажды дал очную ставку Востоку и Западу в глубине гробницы, заставив беседовать имамов с Бонапартом внутри пирамиды.

А пока — никаких привалов, колебаний, остановок в величественном шествии умов вперед. Социальная философия по существу есть наука и мир. Как целью, так и необходимым следствием ее деятельности является успокоение бурных страстей путем изучения антагонизмов. Она исследует, она допытывается, она расчленяет; после этого она соединяет наново. Она действует путем приведения к одному знаменателю, никогда не принимая в расчет ненависть.

Мы видели не раз, как рассеивалось общество в бешеном вихре, который обрушивается на людей: история полна крушений народов и государств; в один прекрасный день налетает это неведомое, этот ураган и уносит с собой все — обычаи, законы, религии. Цивилизации Индии, Халдеи, Персии, Ассирии, Египта исчезли одна за другой. Почему? Мы этого не знаем. В чем коренятся причины этих бедствий? Не ведаем. Могли ли быть эти общества спасены? Нет ли здесь их вины? Не были ли они привержены какому-нибудь роковому пороку, который их погубил? Сколько приходится на долю самоубийства в этой страшной смерти наций и рас? Все это вопросы без ответов. Мрак покрывает обреченные цивилизации. Раз они тонут, значит дали течь; нам больше нечего сказать; и мы с какой-то растерянностью глядим, как в глубине этого моря, которое именуется «прошлым», за этими огромными волнами — веками, гонимые страшным дыханием, вырывающимся из всех устьев тьмы, идут ко дну исполинские корабли — Вавилон, Ниневия, Тир, Фивы, Рим. Но там — мрак, а здесь — ясность. Мы не знаем болезней древних цивилизаций, зато знаем недуги нашей. Мы имеем право освещать ее всюду; мы созерцаем ее красоты и обнажаем ее уродства. Там, где налицо средоточие боли, мы пускаем в дело зонд, и когда недомогание установлено, изучение причины приводит к открытию лекарства. Наша цивилизация, работа двадцати веков, одновременно чудовище и чудо; ради ее спасения стоит потрудиться. И она будет спасена. Принести ей облегчение, это уже много; дать ей свет, это еще больше. Все труды новой социальной философии должны быть сведены к этой цели. Великий долг современного мыслителя — выслушать легкие и сердце цивилизации.

Мы повторяем, такое исследование придает мужество, и настойчивым призывом к мужеству мы хотим закончить эти несколько страниц — суровый антракт в скорбной драме. Под бренностью общественных формаций чувствуется человеческое бессмертие. Земной шар не умирает оттого, что там и сям на нем встречаются раны — кратеры и лишай — серные сопки; не умирает оттого, что вскрывшийся, подобно нарыву, вулкан извергает свою лаву; болезни народа не убивают человека.

И все же тот, кто наблюдает за социальной клиникой, порою покачивает головой. У самых сильных, самых сердечных, самых разумных иногда опускаются руки.

Настанет ли грядущее? Кажется почти естественным задать себе подобный вопрос, когда видишь такую страшную тьму. Так мрачно зрелище столкнувшихся лицом к лицу эгоистов и отверженных. У эгоистов — предрасудки, слепота, порождаемая богатством, аппетит, возрастающий вместе с опьянением, тупость и глухота в результате благоденствия, боязнь страдания, которая доходит у них до отвращения к страдающим, бесчувственная удовлетворенность, «я», столь раздувшееся, что заполняет собой всю душу; у отверженных — вождение, зависть, ненависть при виде чужих наслаждений, неукротимые порывы человека-зверя к утолению желаний, сердца, полные мглы, печаль, нужда, обреченность, невежество, непристойное и простодушное.

Следует ли еще устремлять наш взор к небу? Не принадлежит ли различаемая нами в высоте светящаяся точка к числу тех, что должны погаснуть? Страшно видеть идеал таким затерянным в глубинах, маленьким, едва заметным, сверкающим, но одиноким среди всех этих чудовищных глыб мрака, грозно сгрудившихся вокруг него; однако он не в большей опасности, чем звезда в пасти туч.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Яркий свет

Читатель понял, что Эпониная, узнав сквозь решетку обитательницу улицы Плюме, куда ее послала Маньон, начала с того, что отвела от улицы Плюме бандитов, потом направила туда Мариуса, а Мариус после нескольких дней, проведенных в восторженном состоянии у этой решетки, влекомый той силой, которая притягивает магнит к железу, а влюбленного — к камням, из которых сложено жилище его возлюбленной, проник, наконец, в сад Козетты, как Ромео в сад Джульетты. Ему это далось даже легче, чем Ромео: Ромео пришлось перелезть через стену, а Мариусу — лишь слегка нажать на один из прутьев ветхой решетки, который шатался в своем проржавленном гнезде, словно старческий зуб. Мариус был худощав и легко проскользнул в образовавшееся отверстие.

Обычно на улице почти никого не бывало, к тому же Мариус появлялся в саду только ночью, поэтому ему и не грозила опасность, что его увидят.

Начиная с того благословенного и святого часа, когда поцелуй обручил эти две души, Мариус приходил туда каждый вечер. Если бы Козетта в то время полюбила человека не слишком совестливого и развратного, она бы погибла, ибо есть щедрые сердца, отдающие себя целиком, и Козетта принадлежала к числу таких натур. Одно из великодушных свойств женщины — уступать. Любви на той высоте, где она совершенна, присуща некая дивная слепота стыдливости. Но каким опасностям под-

вергаетесь вы, благородные души! Часто вы отдаете сердце, мы же берем тело. Ваше сердце мы отвергаем, и вы с трепетом взираете на него во мраке. Любовь не знает середины: она или губит, или спасает. Вся человеческая судьба в этой дилемме. Никакой рок не ставит более неумолимо, чем любовь, эту дилемму: гибель или спасение. Любовь — жизнь, если она не смерть. Колыбель, но и гроб. Одно и то же чувство говорит «да» и «нет» в человеческом сердце. Из всего созданного богом именно человеческое сердце в наибольшей степени излучает свет, но, увы, оно же источает и наибольшую тьму.

По изволению божьему Козетта встретила любовь спасительную.

Пока длился май 1832 года, всякую ночь в этом запущенном скромном саду, под сенью этой чащи, с каждым днем все более благоуханной и густой, появлялись два существа, соединявшие в себе все сокровища целомудрия и невинности, полные небесного блаженства, более близкие ангелам, чем людям, чистые, благородные, опьяненные, лучезарные, сияющие один для другого во мраке. Козетте над головой Мариуса чудился венец, а Мариус вокруг Козетты видел сияние. Они прикасались друг к другу, смотрели друг на друга, держались за руки, прижимались один к другому; но был предел, которого они не преступали. Не потому, что уважали его; они не знали о нем. Мариус чувствовал преграду — чистоту Козетты, а Козетта чувствовала опору — честность Мариуса. Первый поцелуй был вместе с тем и последним. После него Мариус только прикасался губами к руке, косынке или локону Козетты. Козетта была для него ароматом, а не женщиной. Он вдыхал ее. Она ни в чем не отказывала, а он ничего не требовал. Козетта была счастлива, Мариус удовлетворен. Они жили в том восхитительном состоянии, которое можно назвать ослеплением души. То было первое невыразимое идеальное объятие двух девственных существ, двух лебедей, встретившихся на Юнгфрау.

В этот час любви, когда чувственность совершенно умолкает под всемогущим действием душевного упоения, Мариус, безупречный, ангельски-чистый Мариус был способен скорее пойти к продажной женщине, чем

приподнять до щиколотки платье Козетты. Однажды, лунной ночью, Козетта наклонилась, чтобы подобрать что-то с земли, и ее корсаж приоткрылся на груди. Мариус отвел взгляд в сторону.

Что же происходило между этими двумя существами? Ничего. Они обожали друг друга.

Ночью, когда они бывали в саду, он казался местом одушевленным и священным. Все цветы раскрывались вокруг них и струили им фимиам, а они раскрывали свои души и изливали их на цветы. Сладострастная и мощная растительность, полная соков, опьяненная, трепетала вокруг этих детей, и они произносили слова любви, от которых вздрагивали деревья.

Что же это были за слова? Дуновения. И только. Этих дуновений было довольно, чтобы потрясти и взволновать природу. Магическую власть их не поймешь, читая на страницах книги эти беседы, созданные для того, чтобы быть унесенными и рассеянными, подобно дыму, ветерком, колеблющим листья. Лишите шопот двух влюбленных мелодии, которая льется из души и вторит ему, подобно лире, и останется лишь тень; вы скажете: «Только и всего?» Да, да, ребячество, повторение одного и того же, смех по пустякам, глупости, вздор, но это все, что только есть в мире возвышенного и глубокого. Единственное, что стоит труда быть произнесенным и выслушанным!

Человек, который никогда не слышал таких пустяков и таких глупостей, человек, который никогда их не произносил, — тупица и дурной человек.

Козетта говорила Мариусу:

— Знаешь?..

(При всем сказанном, несмотря на божественную их невинность, и сами не зная, как это случилось, они перешли на «ты».)

— Знаешь? Меня зовут Эфрази.

— Эфрази? Да нет же, тебя зовут Козетта.

— Нет. Козетта довольно-таки противное имя, его мне дали, когда я была маленькой. А мое настоящее имя Эфрази. Тебе разве не нравится такое имя — Эфрази?

— Нравится, но Козетта вовсе не противное имя.

— Разве тебе оно больше нравится, чем Эфрази?

— Ну... да.

— В таком случае, мне тоже. Правда, это красиво, Козетта... Зови меня Козеттой.

И ее улыбка превратила этот разговор в идиллию, достойную райских куш.

В другой раз она пристально взглянула на него и воскликнула:

— Сударь, вы прекрасны, вы красивы, вы остроумны, вы умны, вы, конечно, гораздо учнее меня, но я помещаюсь с вами вот в чем: «Люблю тебя!»

И Мариусу, в небесном упоении, казалось, что он слышит строфу, пропетую звездой.

Или еще: легонько ударив его, когда он кашлял, она сказала:

— Не кашляйте, сударь. Я не хочу, чтобы у меня кашляли без моего позволения. Очень невежливо кашлять и тревожить меня. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя хорошо, иначе я буду очень несчастной. Что мне тогда делать?

Все это было просто божественно.

Как-то Мариус сказал Козетте:

— Представь себе, одно время я думал, что тебя зовут Урсулой.

Они смеялись над этим весь вечер.

В другой раз он среди разговора вдруг воскликнул:

— А в один прекрасный день, в Люксембургском саду, мне захотелось прикончить одного инвалида!

Но он сразу оборвал и не стал больше продолжать. Пришлось бы сказать Козетте о ее подвязке, что было для него невозможно. В этом чувствовалось неизведанное прикосновение плоти, перед которой отступала с каким-то священным ужасом эта беспредельная невинная любовь.

Мариус представлял себе жизнь с Козеттой именно так, без чего бы то ни было иного: приходить каждый вечер на улицу Плюме, отодвигать старый податливый прут решетки, садиться рядом, плечом к плечу на этой самой скамейке, смотреть сквозь деревья на мерцающие спускающейся на землю ночи, прикасаться коленями к пышному платью Козетты, поглаживать нюготок ее пальчика, говорить ей «ты», по очереди с нею вдыхать запах одного и того же цветка, — и так всегда, бесконечно. В это время высоко над ними проплывали облака. Всякий

раз, когда подует ветер, он уносит с собой больше человеческих мечтаний, чем тучек небесных.

Но все же эта почти суровая любовь не обходилась без ухаживания. «Говорить комплименты» той, которую любишь, — это первая форма ласки, робко испытывающее себя дерзновение. Комплимент — это нечто, похожее на поцелуй сквозь вуаль. Затаенная чувственность прячет в нем сладостное свое острие. Перед сладострастием сердце отступает, чтобы еще сильнее любить. Выражения нежности Мариуса, овеянные мечтой, были, если можно так выразиться, небесно-голубого цвета. Птицы, когда они летают там, в вышине, близ обители ангелов, должны слышать такие слова. К ним, однако, примешивалось все то жизненное, человеческое, положительное, на что был способен Мариус. Это были те слова, что говорят в гроте, прелюдия к тому, что будет сказано в алькове; лирическое излияние, смешение сонета и гимна, милые гиперболы воркующего влюбленного, все утонченности обожания, собранные в букет и издающие нежный, божественный аромат, несказанный лепет сердца сердцу.

— О, — шептал Мариус, — как ты прекрасна! Я не смею смотреть на тебя. Я могу лишь созерцать тебя. Ты милость божия. Я не знаю, что со мной. Край твоего платья, из-под которого показывается кончик твоей туфельки, сводит меня с ума. А когда твоя мысль приоткрывается — какой волшебный свет разливает она! Ты удивительно умна. Иногда мне кажется, что ты сновидение. Говори, я слушаю, я восторгаюсь тобой. О Козетта! Как это странно и восхитительно! Я совсем обезумел. Вы очаровательны, сударыня. Я гляжу на твои ножки в микроскоп, а на твою душу — в телескоп.

И Козетта отвечала:

— Я люблю тебя немного больше, чем любила все время с сегодняшнего утра.

Ответы и вопросы чередовались как попало в этом разговоре, неизменно сводясь к любви, подобно тому как тяготеют к центру заряженные электричеством бузинные фигурки.

Все существо Козетты было воплощением наивности, простодушия, ясности, невинности, чистоты, света. О ней

можно было сказать, что она прозрачна. На каждого, кто ее видел, она производила впечатление весны и утренней зари. В ее глазах словно блестела роса. Козетта была предрассветным сиянием в образе женщины.

Совершенно естественно, что Мариус, обожая ее, восхищался ею. Но, право, эта маленькая монастырка, прямо со школьной скамьи, беседовала с тончайшей проницательностью и порой говорила словами истины и красоты. Ее болтовня была настоящим разговором. Она не ошибалась ни в чем и судила здраво. Женщина чувствует и говорит, повинаясь кроткому инстинкту сердца, — вот откуда ее непогрешимость. Только женщина умеет сказать слова одновременно нежные и глубокие. Нежность и глубина — в этом вся женщина; в этом все небо.

Среди этого полного счастья у них каждое мгновение наворачивались на глазах слезы. Раздавленная божья коровка, перо, выпавшее из гнезда, сломанная ветка боярышника вызывали жалость: их упоение, слегка повитое грустью, казалось, просило слез. Вернейший признак любви — это умиленность, иногда почти мучительная.

А наряду с этим, — подобные противоречия лишь игра света и теней в любви, — они охотно смеялись, и с такой восхитительной свободой, так непринужденно, что порой походили на двух мальчишек. И все же, неведомо для сердец, опьяненных целомудрием, неусыпная природа всегда возле них. Она здесь, со своей грубой и высокой целью, и как бы ни были непорочны души, в самой невинной встрече наедине есть что-то очаровательное и таинственное, отличающее чету влюбленных от двух друзей.

Они боготворили друг друга.

Непреходящее и вечно движущееся существует одновременно. Люди любят друг друга, улыбаются друг другу, смеются, делают гримасы уголками губ, сплетают пальцы, говорят на «ты», и это не мешает вечности. Двое влюбленных скрываются в вечере, в сумерках, в невидимом, вместе с птицами, с розами; в ночи они обвораживают друг друга взглядом, в который вкладывают все свое сердце, они шепчут, они лепечут, и в это самое время необъятное, равномерное движение светил полнит бесконечность.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Опьянение полным счастьем

Они жили в полусне, ошеломленные счастьем. Они не замечали холеры, опустошавшей Париж именно в этот месяц. Они доверили друг другу все, что только могли, но это «все» почти не заходило дальше сообщения их имен. Мариус сказал Козетте, что он сирота, что его зовут Мариус Понмерси, что он адвокат, что он живет писанием разных статей для книготорговцев, что его отец был полковник, герой, и что он, Мариус, поссорился со своим дедом, богачом. Однажды он сказал еще, что он барон, но это не произвело никакого впечатления на Козетту. Мариус барон? Она не поняла. Она не знала, что должно означать это слово. Мариус был Мариус. О себе же она рассказала, что воспитывалась в монастыре Малый Пикпюс, что у нее, как и у него, мать умерла, что ее отца зовут Фошлеван, что он очень добрый и много помогает беднякам, но сам беден и ограничивает себя во всем, не ограничивая ее, Козетту, ни в чем.

Как ни странно, но в той своего рода симфонии, в которую обратилась жизнь Мариуса с тех пор, как он увидел Козетту, прошлое, даже самое недавнее, стало таким смутным и далеким для него, что все, рассказанное ему Козеттой, вполне его удовлетворяло. Он даже не подумал рассказать ей о ночном приключении в лачуге, о Тенардье, об ожоге, странном поведении и непонятном бегстве ее отца. Мариус мгновенно позабыл все это; вечером он даже не помнил о том, что делал утром, где завтракал, с кем разговаривал; в его ушах звучали мелодии, делавшие его глухим ко всему остальному, он существовал только в те часы, когда видел Козетту. И тогда, обретая небо, он совершенно естественно забывал землю. Истомленные, они оба несли непостижимое бремя бесплотных наслаждений. Так живут те сомнамбулы, которых называют влюбленными.

Увы! Кто не испытал всего этого? Зачем наступает час, когда мы покидаем эти небеса, и зачем жизнь продолжается дальше?

Любовь почти целиком заступает место мысли. Любовь — пламенное забвение всего остального. Потре-

буйте-ка логики у страсти! В человеческом сердце так же трудно обнаружить безупречную логическую связь, как совершенную геометрическую фигуру в небесном механизме. Для Козетты и Мариуса не существовало ничего, кроме Мариуса и Козетты. Весь мир вокруг них рухнул в пустоту. Они жили золотым мгновением. Не было ничего впереди, ничего позади. Мариус лишь с трудом представлял себе, что у Козетты есть отец. Память его затмилась, что свойственно ослеплению. О чем же разговаривали влюбленные? Мы уже знаем: о цветах, о ласточках, о солнечном закате, о восходящей луне, о всяких важных вещах. Они сказали друг другу все, за исключением «остального». Для влюбленных «остальное» — ничто. А отец, действительная жизнь, трущоба, бандиты, недавнее приключение — к чему это? И так ли уж он уверен, что тот кошмар был реальностью? Они были вдвоем, обожали друг друга, вот и все. Ничего другого и не бывало. Возможно, ад исчезает позади нас оттого, что мы достигли рая. Разве мы видели демонов? Разве они существуют? Разве мы дрожали от ужаса? Разве мы страдали? Об этом мы уже ничего не помним. Розовая дымка застилает все.

Так и жили эти два существа на недосягаемых высотах, со всей той неправдоподобностью, которая встречается в природе: ни в надире, ни в зените, между человеком и серафимом, над земною грязью, под самым эфиром, в облаке; почти бесплотные, сама душа, само упоение; уже слишком вознесенные, чтобы ходить по земле, еще слишком обремененные естеством, чтобы исчезнуть в лазури, подобные атомам, которые находятся во взвешенном состоянии перед тем как осесть; они жили, казалось, вне судьбы, не зная обычной колеи — вчера, сегодня, завтра; зачарованные, изнемогающие, парящие; порой такие легкие, что могли унести в бесконечное пространство; почти готовые к полету в вечность.

Они дремали наяву в этом баюкающем плавном качании. О дивный, сладкий сон действительности, усыпленной идеалом!

Иногда, как ни хороша была Козетта, Мариус закрывал глаза в ее присутствии. Закрывать глаза — это лучший способ видеть душу.

Мариус и Козетта не задавались вопросом, куда это их может привести. Они считали, что уже достигли конца пути. У людей странное притязание: они хотят, чтобы любовь вела их куда-нибудь.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Первые тени

Жан Вальжан ничего не подозревал.

Козетта, менее мечтательная, чем Мариус, была весела, и этого для Жана Вальжана было довольно, чтобы чувствовать себя счастливым. Ее мысли, ее сердечные тревоги, образ Мариуса, наполнявший ее душу, несколько не отразились на несравненной чистоте ее прекрасного лица, невинного и улыбающегося. Она была в том возрасте, когда девушка несет свою любовь, как ангел лилию. Итак, Жан Вальжан был спокоен. Кроме того, когда между влюбленными царит согласие, все идет очень хорошо; кто-нибудь третий, кто мог бы смутить их любовь, находится в совершенном заблуждении благодаря мелким предосторожностям, всегда одинаковым у всех влюбленных. Так, Козетта никогда не возражала Жану Вальжану. Он хочет прогуляться? Прекрасно, папочка. Он хочет остаться дома? Отлично. Он хочет провести вечер с Козеттой? Она в восхищении. Обычно он уходил к себе в десять часов вечера, поэтому Мариус появлялся в саду не раньше этого часа и лишь услышав на улице, как Козетта открывает двери подъезда. Не приходится говорить, что днем Мариуса здесь никогда не видали. Жан Вальжан позабыл о существовании Мариуса. Один только раз, утром, он сказал Козетте: «Послушай, у тебя спина в чем-то белом!» Накануне вечером Мариус, в порыве восторга, обнял Козетту, и она нечаянно прислонилась к стене.

Старуха Туссен, рано закончив работу, сразу укладывалась в постель, помышляя лишь о сне, и точно так же, как Жан Вальжан, ничего не знала.

Мариус ни разу не заходил в дом. Когда он бывал в саду с Козеттой, то, чтобы их не услышали и не увидели с улицы, они всегда укрывались в углублении возле крыльца и сидели там; часто вместо беседы они доволь-

ствовались тем, что раз двадцать в минуту пожимали друг другу руки, глядя на ветви деревьев. Если бы в эти мгновенья молния ударила в тридцати шагах от них, то они бы этого не заметили, так глубоко грезы одного погружались в грезы другого.

Невинные прозрачные души! Часы, пронизанные светом, почти всегда одинаковые. Такая любовь — это вихрь лилейных лепестков и голубиных перьев.

Между ними и улицей простирался сад. Каждый раз Мариус, приходя и уходя, тщательно вправлял прут от железной решетки на место, так что в ней не было заметно ни малейшего изъяна.

Обычно он удалялся к полночи и шел к Курфейраку. Курфейрак говаривал Баорелю:

— Можешь себе представить? Мариус начал являться домой в час ночи.

Баорель отвечал:

— Что ж такого? В тихом омуте черти водятся.

Иногда Курфейрак, принимая серьезный вид и скрестив на груди руки, говорил Мариусу:

— Молодой человек, вы сбились с пути истинного!

Курфейрак, человек деловой, неблагосклонно взирал на отблеск незримого рая на лице Мариуса; не в его обычае были неземные страсти, они выводили его из терпения, и порой он предъявлял Мариусу требование вернуться к действительности.

Однажды утром он обратился к нему со следующим увещанием:

— Дорогой мой, сейчас ты мне кажешься человеком, поселившимся на луне, в царстве грез, в округе заблуждений, в столице Мыльные пузыри. Ну, будь же добрым малым, скажи, как ее зовут!

Но ничто не могло заставить Мариуса проговориться. Он дал бы скорее вырвать себе ногти, чем произнес бы один из трех священных слогов, составлявших волшебное имя — *Козетта*. Истинная любовь лучиста, как заря, и безмолвна, как могила. Однако Курфейрак видел в Мариусе новое: его сияющую счастьем молчаливость.

В течение этого сладостного мая Мариус и Козетта познали великое блаженство:

Поссориться и говорить друг другу «вы» единственно затем, чтобы с большей приятностью говорить потом «ты»;

Долго рассказывать друг другу, и в самых мельчайших подробностях, о людях, до которых им не было никакого дела, — лишнее доказательство того, что в восхитительной опере, которая звется любовью, либретто почти ничего не значит;

Для Мариуса — слушать, как Козетта говорит о нарядах;

Для Козетты — слушать, как Мариус говорит о политике;

Прислушиваться, прижавшись друг к другу, к грохоту колясок на Вавилонской улице;

Смотреть на одну и ту же звезду в небесах или на одного и того же светляка в траве;

Вместе молчать — наслаждение еще большее, чем беседовать;

И т. д., и т. д.

Между тем надвигалась гроза.

Однажды вечером Мариус, направляясь на свидание, проходил по бульвару Инвалидов; по обыкновению, он шел опустив голову; собираясь повернуть за угол улицы Плюме, он услышал, как кто-то сказал совсем близко от него:

— Добрый вечер, господин Мариус.

Он поднял голову и узнал Эпонию.

Это произвело на него необычайное впечатление. Он ни разу не вспомнил об этой девушке с того самого дня, когда она привела его на улицу Плюме; он ее больше не видел, и она совсем исчезла из его памяти. Обязанный ей своим счастьем, он мог быть только благодарен ей, и, однако, ему была тягостна эта встреча.

Ошибочно думать, что любовь, если она счастлива и чиста, приводит человека к совершенству; она его просто ведет, мы уже это установили, к забвению. В этом состоянии человек забывает о возможности быть дурным, но он также забывает и о возможности быть хорошим. Благодарность, долг, самые значительные, самые нествязные воспоминания исчезают. Во всякое другое время Мариус совсем иначе отнесся бы к Эпонии. Поглощенный Козеттой, он даже не совсем ясно отдавал себе отчет в том, что эта девушка называлась Эпониной Тенардьё, что она носила имя, начертанное в завещании его отца, — то самое

имя, для которого несколько месяцев назад он бы с такой горячностью пожертвовал собой. Мы показываем Мариуса без прикрас. Даже образ отца слегка побледнел в его душе под яркими лучами любви.

Он ответил с некоторым замешательством:

— Ах, это вы, Эпонина?

— Почему вы мне говорите «вы»? Разве я вам сделала что-нибудь дурное?

— Нет, — ответил он.

Конечно, он ничего не имел против нее. Ровно ничего. Но только он чувствовал, что теперь не мог поступить иначе: говоря «ты» Козетте, он должен был говорить «вы» Эпонине.

Он молча смотрел на нее. Она воскликнула:

— Скажите же...

Тут она запнулась. Можно было подумать, что этому созданию, такому беззаботному и дерзкому когда-то, недоставало слов. Она пыталась улыбнуться и не могла.

— Ну!.. — снова начала она.

Потом опять замолчала, потупив глаза.

— Покойной ночи, господин Мариус, — вдруг резко сказала она и ушла.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Кэб по-английски — то, что катится, а на аргю — то, что лает

На следующий день, это было 3 июня, а 3 июня 1832 года — дата, которую следует указать по причине важных событий, нависших в ту эпоху грозowymi тучами над горизонтом Парижа, Мариус, с наступлением темноты, шел той же дорогой, что и накануне, полный тех же восторженных мыслей; вдруг между деревьями бульвара он заметил приближавшуюся к нему Эпонину. Два дня подряд — это уже было слишком. Он быстро свернул в сторону, оставил бульвар, пошел другой дорогой и направился к улице Плюме по улице Принца.

Вот почему Эпонина последовала за ним до самой улицы Плюме, чего она еще ни разу не делала. До сих пор она удовлетворялась тем, что смотрела на него, когда

он проходил по бульвару, не стараясь даже встретиться с ним. И лишь накануне она попыталась с ним заговорить.

Итак, Эпониная пошла за ним, а он этого не заметил. Она увидела, как Мариус отодвинул прут решетки и проскользнул в сад.

— Смотри-ка! — сказала она про себя. — Идет к ней в дом!

Она подошла к решетке, пощупала один за другим прутья и без труда нашла тот, который отодвинул Мариус.

Вполголоса, мрачным тоном, она пробормотала:

— Ну нет, чорта с два!

Она уселась на цоколе решетки, рядом с прутом, словно охраняя его. Это было в том темном уголке, где решетка соприкасалась с соседней стеной и где Эпонину разглядеть было невозможно.

Так она провела больше часа, не двигаясь, затаив дыхание, терзаясь своими мыслями.

Часов в десять вечера один из двух или трех прохожих на улице Плюме, старый запоздавший буржуа, торопившийся поскорее миновать это пустынное место, пользовавшееся дурной славой, поровнялся с решеткой сада и, подойдя к углу между решеткой и стеной, услышал глухой и угрожающий голос:

— Можно поверить, что он приходит сюда каждый вечер!

Прохожий осмотрелся кругом, никого не увидел, не отважился посмотреть в этот черный угол и очень испугался. Он ускорил шаги.

Прохожий имел основания торопиться, потому что немного времени спустя на углу улицы Плюме показались шесть человек, шедших порознь на некотором расстоянии друг от друга у самой стены; их можно было принять за подвыпивший ночной дозор.

Первый, подойдя к решетке сада, остановился и дождал остальных; через минуту здесь сошлись все шестеро.

Эти люди начали тихо переговариваться.

— Туткайль, — сказал один из них.

— Есть ли кэб в саду? — спросил другой.

— Не знаю. На всякий случай я захватил шарик. Дадим ему сжевать.

— Есть у тебя мастика, чтобы высадить стекляшку?

— Да.

— Решетка старая, — добавил пятый, говоривший голосом чревоушателя.

— Тем лучше, — сказал второй. — Значит не завизжит под скрипкой, и ее нетрудно будет разделать.

Шестой, до сих пор еще не открывавший рта, принялся исследовать решетку, как это делала Эпониная час тому назад, последовательно пробуя каждый прут и осторожно раскачивая его. Таким образом он дошел до прута, который был расшатан Мариусом. Лишь только он собрался схватить этот прут, чья-то рука, внезапно появившаяся из темноты, опустилась на его плечо, он почувствовал резкий толчок прямо в грудь, и хриплый голос негромко произнес:

— Здесь есть кэб.

И тут же он увидел стоявшую перед ним бледную девушку.

Он испытал то потрясение, которое свойственно вызывать неожиданности. Он словно весь ошетинился; нет ничего отвратительней и страшней зрелища потревоженного хищного зверя; один его испуганный вид уже пугает. Отступив, он пробормотал заикаясь:

— Это еще что за потаскуха?

— Ваша дочь.

Действительно, то была Эпониная, а говорила она с Тенардье.

При появлении Эпонины пять остальных, то есть Звенигрош, Живоглот, Бабет, Монпарнас и Брюжон, бесшумно приблизились, не спеша, молча, со зловещей медлительностью, присущей людям ночи.

В их руках можно было различить какие-то мерзкие инструменты. Живоглот держал кривые щипцы, которые у воров называются «косынкой».

— Ты что здесь делаешь? Чего тебе от нас надо? С ума сошла, что ли? — приглушенным голосом воскликнул Тенардье. — Пришла мешать нам работать?

Эпониная расхохоталась и бросилась ему на шею.

— Я здесь, милый папочка, потому что я здесь. Разве мне запрещается посидеть на камушках? А вот вам тут нечего делать. Зачем вы сюда пришли, раз тут сухарь? Ведь я сказала Маньон: «Здесь нечего делать». Ну, поцелуйте же меня, дорогой папочка! Как я давно вас не видела! Значит, вы на воле?

Тенардые попытался высвободиться из объятий Эпонины и прорычал:

— Отлично. Ты меня поцеловала и хватит. Да, я на воле. Уже не в неволе. А теперь ступай.

Но Эпонины не отпускала его и удвоила свою нежность:

— Папочка, как же вы это устроили? Какой вы умный, если сумели оттуда выбраться. Расскажите мне про это! А мама? Где мама? Скажите же, что с маменькой?

Тенардые ответил:

— Она здорова, впрочем, не знаю, говорю тебе,пусти меня и проваливай.

— Ни за что не хочу уходить, — жеманничала Эпонины с видом балованного ребенка, — вы прогоняете меня, а я не видела вас четыре месяца и едва успела разок поцеловать.

И она снова обняла отца за шею.

— Ах, чорт, как это глупо! — не выдержал Бабет.

— Мы теряем время! — крикнул Живоглот. — Того и гляди появятся легавые.

Голос чревовещателя продекламировал следующее двустишие:

Для поцелуев — свой черед,
У нас теперь не Новый год.

Эпонины повернулась к пяти бандигам.

— Смотри-ка, да это господин Брюжон! Здравствуйте, господин Бабет. Здравствуйте, господин Звенигрош. Разве вы меня не узнаете, господин Живоглот? Как поживаешь, Монпарнас?

— Не беспокойся, все тебя узнали! — проворчал Тенардые. — Здравствуй и прощай, брысь отсюда! Оставь нас в покое.

— В этот час курам спать, а лисицам гулять, — сказал Монпарнас.

— Ты сама понимаешь, нам надо тутго поработать, — прибавил Бабет.

Эпонины схватила за руку Монпарнаса.

— Берегись! Обрежешься, — у меня перо в руке, — предупредил тот.

— Монпарнас, миленький, — крѣтко ответила Эпонины, — люди должны доверять друг другу. Разве я не дочь

своего отца? Господин Бабет, господин Живоглот, ведь это мне поручили выяснить дело.

Примечательно, что Эпониная не говорила больше на арго. С тех пор как она познакомилась с Мариусом, этот язык стал для нее невозможен.

Своей маленькой, слабой и костлявой рукой, похожей на руку скелета, она сжала толстые грубые пальцы Живоглота и продолжала:

— Вы же знаете, что я не дура. Мне же всегда доверяют. Я вам оказывала при случае услуги. Ну так вот, я навела справки. Видите ли, вы зря подвергаете себя опасности. Ей-богу, вам нечего делать в этом доме.

— Там одни женщины, — сказал Живоглот.

— Нет. Все выехали.

— А свечи остались! — заметил Бабет.

И он показал Эпонине на свет, мелькавший сквозь верхушки деревьев на чердаке флигеля. Это бодрствовала Тусен, развешивавшая белье для просушки.

Эпониная сделала последнюю попытку.

— Ну и что ж! — сказала она. — Там совсем бедные люди, это домишко, где не найдешь ни одного су.

— Пошла к чорту! — закричал Тенардье. — Когда мы перевернем весь дом вверх дном, тогда мы тебе скажем, что там есть: рыжики, беляки или медный звон.

И он оттолкнул ее, чтобы пройти вперед.

— Господин Монпарнас, дружочек, — сказала Эпониная, — вы такой славный малый, прошу вас, не ходите туда!

— Берегись, напорешься на нож! — ответил Монпарнас.

Тенардье свойственным ему решительным тоном заявил:

— Проваливай, бесовка, и предоставь мужчинам делать свое дело.

Эпониная отпустила руку Монпарнаса, за которую она снова было уцепилась, и сказала:

— Значит, вы хотите войти в этот дом?

— Только всунуть нос! — ухмыляясь, заметил чревоушатель.

Тогда она прислонилась спиной к решетке, став лицом к вооруженным до зубов бандитам, которым ночь прида-

вала сходство с демонами, и тихим твердым голосом сказала:

— Ну, а я не хочу.

Они остолбенели от изумления. Чревовещатель, однако, все еще посмеивался. Она заговорила снова:

— Друзья, послушайте хорошенько! Не в том дело. Теперь я вам скажу. Если вы войдете в этот сад, если до тронетесь до этой решетки, я закричу, начну стучать в ворота, подыму народ, кликну полицейских, сделаю так, что вас захватят всех шестерых.

— С нее станется, — тихо сказал Тенардье Брюжону и чревовещателю.

Она тряхнула головой и прибавила:

— Начиная с моего папеньки!

Тенардье подошел к ней.

— Подальше от меня, старикан! — предупредила она.

Он отступил, ворча сквозь зубы: «Какая муха ее укусила?» И прибавил:

— Сука!

Она рассмеялась ужасным смехом.

— Как вам угодно, а все-таки вы не войдете. Я не сука, потому что я дочь волка. Вас шестеро, но что мне до того? Вы мужчины. Ну так вот: я женщина. И я вас не боюсь, не думайте. Говорю вам, вы не войдете в этот дом, потому что мне это не нравится. Только подойдите, я залаю. Я вам объяснила уже: кэб — это я. Плевать мне на вас на всех. Идите своей дорогой, вы мне надоели! Проваливайте, куда хотите, но сюда не являйтесь, я вам это запрещаю! Вы меня ножом, а я вас туплей, мне все равно. Ну-ка, попробуйте, подойдите!

Расхохотавшись, она шагнула навстречу бандитам, вид ее был ужасен.

— Ей-ей, не боюсь! Все одно, нынче летом мне голодать, а зимою мрзнуть. Просто смех с этим дурачьем-мужчинами! Они думают, что их может бояться девка! Бояться — чего? Как бы не так! Это потому, что ваши кривляки-любовницы лезут со страху под кровать, когда вы рычите, так, что ли? А я не таковская, ничего не боюсь!

Она уставилась пристальным взглядом на Тенардье и сказала:

— Даже и вас, папаша!

Потом, ожидывая бандитов горящими глазами призрака, продолжала:

— Не все ли мне равно, подберут меня завтра, зарезанной моим отцом, на мостовой Плюме, или же найдут через год в сетках Сен-Клу, а то и у Лебяжьего острова среди старых сгнивших пробок и утопленных собак!

Тут она вынуждена была остановиться, припадок сухого кашля потряс ее, дыхание с хрипом вырывалось из узкой и хилой груди.

— Стоит мне только крикнуть, — продолжала она, — сюда прибегут, и — хлоп! Вас только шестеро; а за меня весь народ.

Тенардые двинулся к ней.

— Не подходить! — крикнула она.

Он остановился и кротко сказал ей:

— Ну хорошо, не надо. Я не подойду, только не кричи так громко. Дочка, значит, ты хочешь помешать нам поработать? Ведь нужно же нам добыть на пропитание. Ты, значит, больше не любишь своего отца?

— Вы мне надоели, — ответила Эпонина.

— Нужно ведь нам, как-никак, жить, есть...

— Подышайте.

И она уселась на цоколь решетки, напевая:

И ручка так нежна,
И ножка так стройна,
А время пропадает...

Облокотившись на колено и подперши ладонью подбородок, она с равнодушным видом покачивала ногой. Сквозь разорванное платье виднелись худые ключицы. Ближний фонарь освещал ее профиль и позу. Трудно было представить себе что-либо более непреклонное и поразительное.

Шесть грабителей, мрачные и озадаченные этой девчонкой, державшей их в страхе, отошли в тень фонарного столба и стали совещаться, пожимая плечами, униженные и рассвирепевшие.

А она спокойно и сурово глядела на них.

— Что-то ей засело в башку, — сказал Бабет. — Есть какая-то причина. Влюблена она, что ли, в хозяина? А все же досадно упустить такой случай. Две женщины,

на заднем дворе старик; на окнах неплохие занавески. Старик, должно быть, еврей. Я полагаю, что дельце тут выгодное.

— Ладно, вы все ступайте туда! — вскричал Монпарнас. — Делайте дело. С девчонкой останусь я, а если она шевельнется...

И при свете фонаря блеснул открытый нож, вытасканный из рукава.

Тенардьё не говорил ни слова и, видимо, был готов на все.

Брюжон, который слыл у них оракулом и, как известно, «навел на дело», пока еще молчал. Он, казалось, задумался. У него была слава человека, который ни перед чем не останавливается, и всем было известно, что только из удальства он ограбил начисто полицейский пост. Вдобавок он сочинял стихи и песни, поэтому пользовался большим авторитетом.

Бабет спросил его:

— А ты что скажешь, Брюжон?

Брюжон с минуту помолчал, потом, повертев головой, наконец решился подать голос:

— Вот что. Сегодня утром я наткнулся на двух дравшихся воробьев, а вечером наскочил на задиристую бабу. Все это не к добру. Уйдем отсюда.

Они ушли.

По дороге Монпарнас пробормотал:

— Все равно, если б нужно было, я бы ее прикончил.

Бабет ответил:

— А я нет. Дамочек я не трогаю.

На углу улицы они остановились и, понизив голос, обменялись следующими загадочными словами:

— Где будем ночевать сегодня?

— Под Пантенем.

— Тенардьё, при тебе ключ от решетки?

— А то у кого же!

Эпони́на, не спуская с них глаз, увидела, как они отправились той же дорогой, что и пришли. Она встала и, пробираясь вдоль заборов и домов, последовала за ними. Так она проводила их до бульвара. Там они разошлись в разные стороны, и она увидела, как эти шесть человек потонули во мраке, словно растворились в нем.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Что таится в ночи

После ухода бандитов улица Плюме снова приняла свой мирный ночной облик. То, что сейчас произошло на этой улице, нисколько не удивило бы лес. Высокоствольные чащи, кустарники, вересковые заросли, тесно переплетенные ветви, высокие травы ведут сумрачное существование; копошащаяся дикая жизнь улавливает здесь внезапное появление незримого; то, что ниже человека, сквозь туман различает то, что над человеком; и вещам, неведомым нам — живым, там, в ночи, дается очная ставка. Дикая и ошетинившаяся природа пугается приближения чего-то, в чем она чувствует сверхъестественное. Силы тьмы знают друг друга, и между ними существует таинственное равновесие. Зубы и когти опасаются неуловимого. Кровожадная животность, ненасытные вожделения, алчущие добычи, вооруженные когтями и зубами инстинкты, чей источник и цель — чрево, с беспокойством принохиваются, приглядываются к бесстрастному, прозрачному, блуждающему очерку существа, облаченного в саван, которое возникает перед ними в туманном, колеблющемся своем одеянии и, чудится им, живет мертвой и страшной жизнью. Эти твари, воплощение грубой материи, смутно боятся иметь дело с необъятной тьмой, сгустком которой является неведомое существо. Черная фигура, преграждающая путь, сразу останавливает хищного зверя. Выходцы из могилы пугают и смущают выходца из берлоги; свирепое боится зловещего; волки пятятся перед оборотнем.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Мариус возвращается к действительности в такой мере, что дает Козетте свой адрес

В то время как эта разновидность дворняжки в человеческом облике караулила решетку и шесть грабителей отступили перед девчонкой, Мариус сидел возле Козетты.

Никогда еще небо не бывало таким звездным и прекрасным, деревья такими трепетными, запах трав таким пряным; никогда шорох птиц, засыпавших в листве, не

казался таким нежным; никогда безмятежная гармония вселенной не отвечала так внутренней музыке любви; никогда Мариус не был так влюблен, так счастлив, так восхищен. Но он застал Козетту печальной. Козетта плакала.

Ее глаза покраснели.

То было первое облако над восхитительной мечтой.

— Что с тобой? — были первые слова Мариуса.

— Сейчас, — начала она и, опустившись на скамью возле крыльца, пока он, трепеща от волнения, усаживался рядом с нею, продолжала: — Сегодня утром отец велел мне быть готовой, он сказал, что у него дела и что нам, может быть, придется уехать.

Мариус задрожал с головы до ног.

В конце жизни «умереть» — означает расстаться; в начале ее «расстаться» — означает умереть.

В течение полутора месяцев Мариус мало-помалу, медленно, постепенно, с каждым днем все более овладевал Козеттой. Это было чисто духовное, но совершенное обладание. Как мы уже объяснили, в пору первой любви душой овладевают гораздо раньше, чем телом; позднее телом овладевают гораздо раньше, чем душой, иногда же о душе и вовсе забывают. «Потому что ее нет», — прибавляют Фоблазы и Прюдомы, но, к счастью, этот сарказм — простое кощунство. Итак, Мариус обладал Козеттой, как обладают духи; но он заключил ее в свою душу и ревниво владел ею, непоколебимо убежденный в своем праве на это. Он обладал ее улыбкой, ее дыханием, ее благоуханием, чистым сиянием ее голубых глаз, нежностью кожи, когда ему случалось прикоснуться к ее руке, очаровательной родинкой на ее щеке, всеми ее мыслями. Они условились всякую ночь видеть друг друга во сне — и держали слово. Таким образом, он обладал и всеми снами Козетты. Он беспрестанно заглядывался на короткие завитки на ее затылке, иногда касался их своим дыханием и говорил себе, что каждый из этих завитков принадлежит ему, Мариусу. Он благоговейно созерцал все, что она носила: ленту, завязанную бантом, перчатки, рукавички, ботинки — все эти священные вещи, хозяином которых он был. Он думал, что был обладателем красивых черепаховых гребенок в ее волосах, и даже твердил про себя, — то был глухой и смутный лепет пробивающейся чувственности, — что нет ни одной тесемки на ее платье, ни одной петельки

в ее чулках, ни одной складки на ее корсаже, которые бы ему не принадлежали. Рядом с Козеттой он чувствовал себя возле своего достояния, возле своей вещи, возле своей повелительницы и рабыни. Казалось, их души настолько слились, что если бы им захотелось взять их обратно, то они не могли бы признать. «Это моя». — «Нет, это моя». — «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Это, конечно, я». — «То, что ты принимаешь за себя, — я». Мариус был какою-то частью Козетты, а Козетта — какою-то частью Мариуса. Мариус чувствовал, что Козетта живет в нем. Иметь Козетту, владеть Козеттой, для него было то же самое, что дышать. И вот в эту веру, в это опьянение, в это целомудренное обладание, неслыханное, безраздельное, в это владычество вдруг ворвались слова: «Нам придется уехать», и резкий голос действительности крикнул ему: «Козетта — не твоя!»

Мариус пробудился от сна. В продолжение полутора месяцев он, как мы говорили, жил вне жизни; слово «уехать» грубо вернуло его к этой жизни.

Он не знал, что сказать. Козетта почувствовала лишь, что его рука стала холодной, как лед. И теперь уже она спросила его:

— Что с тобой?

Он ответил так тихо, что Козетта едва расслышала:

— Я не понимаю, что ты говоришь.

Она повторила:

— Сегодня утром отец велел мне собрать все мои вещи и быть готовой; он сказал, чтобы я уложила его белье в дорожный сундук, что ему надо уехать и мы уедем, что нам нужны дорожные сундуки, большой для меня и маленький для него, что все это должно быть готово через неделю и что, может быть, мы отправимся в Англию.

— Но ведь это чудовищно! — воскликнул Мариус.

Несомненно, в эту минуту в представлении Мариуса ни одно злоупотребление властью, ни одно насилие, никакая гнусность самых изобретательных тиранов, никакой поступок Бюзириса, Тиберия и Генриха VIII по жестокости не могли сравниться с поступком г-на Фошлевана, намеревавшегося увезти свою дочь в Англию только потому, что у него там есть какие-то дела.

Он спросил упавшим голосом:

— И когда же ты уедешь?

— Он не сказал когда.

— И когда же ты вернешься?

— Он не сказал когда.

Мариус встал и холодно спросил:

— Козетта, вы поедете?

Козетта взглянула на него своими голубыми глазами, полными мучительной тоски, и сказала с какой-то растерянностью:

— Куда?

— В Англию? Вы поедете?

— Почему ты мне говоришь «вы»?

— Я спрашиваю вас, поедете ли вы?

— Но что же мне делать, скажи? — ответила она, умоляюще сложив руки.

— Значит, вы едете?

— А если отец поедет?

— Значит, вы едете?

Козетта молча взяла руку Мариуса и крепко сжала ее.

— Хорошо, — сказал Мариус. — Тогда и я уеду куда-нибудь.

Козетта скорее почувствовала, чем поняла смысл этих слов. Она так побледнела, что ее лицо казалось совершенно белым даже в темноте. Она пролепетала:

— Что ты хочешь сказать?

Мариус взглянул на нее, потом медленно поднял глаза к небу и ответил:

— Ничего.

Опустив глаза, он увидел, что Козетта улыбается ему. Улыбка любимой женщины сияет и во тьме.

— Какие мы глупые! Мариус, я придумала.

— Что?

— Если мы уедем, и ты уедешь! Я тебе скажу куда. Мы встретимся там, где я буду.

Теперь Мариус стал мужчиной, пробуждение было полным. Он вернулся на землю.

— Уехать с вами! — крикнул он Козетте. — Да ты с ума сошла! Ведь на это нужны деньги, а у меня их нет! Поехать в Англию? Но я сейчас должен, кажется, больше десяти луидоров Курфейраку, одному моему приятелю, которого ты не знаешь! На мне старая грошовая шляпа,

на моем сюртуке спереди недостает пуговиц, рубашка вся изорвалась, локти протерлись, сапоги пропускают воду; уже полтора месяца, как я перестал думать об этом, я тебе ничего не говорил. Козетта, я нищий! Ты видишь меня только ночью и даришь мне свою любовь; если бы ты увидела меня днем, ты подарила бы мне су. Поехать в Англию! Да мне нечем заплатить за паспорт!

Едва держась на ногах, заломив руки над головой, он шагнул к дереву, прижался к нему лицом, не чувствуя ни жесткой коры, царапавшей ему лицо, ни лихорадочного жара, от которого кровь стучала в висках, и застыл, напоминая статую отчаяния.

Долго стоял он так. Подобное горе — бездна, порождающая желание остаться в ней навеки. Наконец он обернулся. Ему послышался легкий приглушенный звук, нежный и печальный.

То рыдала Козетта.

Уже больше двух часов плакала она возле погруженного в горестные думы Мариуса.

Он подошел к Козетте, упал на колени и, медленно склонившись перед нею, поцеловал кончик ее ноги, выступавший из-под платья.

Она молча позволила ему это. Бывают минуты, когда женщина принимает поклонение любви, словно мрачная и бесстрастная богиня.

— Не плачь, — сказал он.

Она прошептала:

— Ведь мне, может быть, придется уехать, а ты не можешь приехать ко мне!

— Ты любишь меня? — спросил он.

Рыдая, она ответила ему теми райскими словами, которые всего пленительнее, когда их шепчут сквозь слезы:

— Я обожаю тебя!

Голосом, звучавшим невыразимой нежностью, он продолжал:

— Не плачь. Ну, ради меня не плачь!

— А ты? Ты любишь меня? — спросила она.

Он взял ее за руку.

— Козетта, я никогда никому не давал честного слова, потому что боюсь это делать. Я чувствую рядом с собой отца. Ну так вот, я даю тебе честное слово, самое нерушимое: если ты уедешь, я умру.

В тоне, каким он произнес эти слова, слышалась скорбь, столь торжественная и спокойная, что Козетта вздрогнула. Она ощутила тот холод, который ощущаешь, когда нечто мрачное и непреложное, как судьба, проносится мимо. Испуганная, она перестала плакать.

— Теперь слушай, — сказал он. — Не жди меня завтра.

— Почему?

— Ожидай меня только послезавтра.

— Почему же?

— Потом поймешь.

— Целый день не видеть тебя! Это невозможно.

— Пожертвуем одним днем, чтобы выиграть, быть может, целую жизнь.

И Мариус вполголоса, как бы про себя, прибавил:

— Этот человек никогда не изменяет своим привычкам, он принимает только вечером.

— О ком ты говоришь? — спросила Козетта.

— Я? Я ничего не сказал.

— На что же ты надеешься?

— Подожди до послезавтра.

— Ты этого хочешь?

— Да.

Она охватила его голову руками и, приподнявшись на цыпочки, чтобы стать повыше, пыталась прочесть в его глазах то, что составляло его надежду.

Мариус заговорил снова:

— Я вот о чем думаю. Тебе надо знать мой адрес, мало ли что может случиться. Я живу у моего приятеля, Курфейрака, по Стекольной улице, номер шестнадцать.

Он порылся в кармане, вытащил перочинный нож и лезвием вырезал на штукатурке стены:

Стекольная улица, № 16.

Между тем Козетта снова принялась смотреть ему в глаза.

— Скажи мне, что ты задумал, Мариус, ты о чем-то думаешь. Скажи, о чем? О, скажи мне, иначе я дурно проведу ночь!

— О чем я думаю? Вот о чем: невозможно, чтобы бог хотел нас разлучить. Жди меня послезавтра.

— Что же я буду делать до тех пор? — спросила Козетта. — Ты где-то там, приходишь, уходишь. Какие счаст-

ливцы мужчины! А я останусь совсем одна. Как мне будет грустно! Что же ты будешь делать завтра вечером? Скажи.

— Я попытаюсь кое-что предпринять.

— А я буду молиться, буду думать о тебе все время и желать тебе успеха. Я не стану тебя больше расспрашивать, раз ты этого не хочешь. Ты мой повелитель. Завтра весь вечер я буду петь из «Эврианты» то, что ты любишь и что, помнишь, однажды вечером подслушивал у моего окна. Но послезавтра приходи пораньше. Я буду ожидать тебя к ночи, ровно в девять часов, имей это в виду. Боже мой, как грустно, что дни такие длинные! Так слышишь, ровно в девять часов я буду в саду.

— И я тоже.

И безотчетно, движимые одной и той же мыслью, увлекаемые теми электрическими токами, которые держат любовников в непрерывном общении, оба, в самой своей скорби опьяненные страстью, упали в объятия друг друга, не замечая, что уста их слились, тогда как восторженные и полные слез взоры созерцали звезды.

Когда Мариус ушел, улица была пустынна. В это время Эпонина шла следом за бандитами, провожая их до самого бульвара.

Пока Мариус, прижавшись лицом к дереву, размышлял, у него мелькнула мысль, — мысль, которую, увы! он сам считал вздорной и невозможной. Он принял отчаянное решение.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Старое сердце и юное сердце друг против друга

Дедушке Жильнорману уже пошел девяносто второй год. Попрежнему он жил с девицей Жильнорман на улице Сестер страстей господних, № 6, в своем старом доме. Как помнит читатель, это был один из тех стариков прежнего склада, которые ожидают смерти, держась прямо, которых и бремя лет не сгибает и даже печаль не клонит долу.

И все же с некоторого времени его дочь стала поговаривать, что «отец начал сдавать». Он больше не отпускал оплеух служанкам, с прежней горячностью не стучал

тостью на площадке лестницы, когда Баск медлил открыть ему дверь. В течение целых шести месяцев он почти не брюзжал на Июльскую революцию. Довольно спокойно он прочел в «Монитере» следующее сочетание слов: «Г-н Гюмбло-Конте, пэр Франции». Старец несомненно впал в уныние. Он не уступил, не сдался — это не было свойственно ни его физической, ни нравственной природе, но чувствовал душевное изнеможение. В течение четырех лет он, не отступая ни на шаг, — другими словами этого не выразить, — ждал Мариуса, убежденный, что «этот скверный мальчишка» рано или поздно постучится к нему; теперь же в иные тоскливые часы ему приходило в голову, что если только Мариус заставит себя еще ожидать, то... Не смерть была ему страшна, но мысль, что, быть может, он больше не увидит Мариуса. До сих пор эта мысль ни на одно мгновение не посещала его; теперь же она начала появляться и леденила ему кровь. Разлука, как это всегда бывает при искренних и естественных чувствах, только усилила его любовь, любовь деда к неблагодарному внуку, исчезнувшему подобным образом. Так в декабрьские ночи, в трескучий мороз, мечтают о солнце. Помимо всего г-н Жильнорман чувствовал, или убедил себя, что ему, деду, совершенно невозможно сделать первый шаг навстречу внуку. «Лучше мне околеть», — говорил он. Не считая себя ни в чем виноватым, он думал о Мариусе лишь с глубоким умилением и немым отчаяньем старика, уходящего во тьму.

У него начали выпадать зубы, и это еще усилило его печаль.

Господин Жильнорман, не признаваясь самому себе, так как это взбесило бы его и устыдило, никогда ни одну любовницу не любил так, как любил Мариуса.

В своей комнате, у изголовья кровати, он приказал поставить старый портрет своей младшей дочери, покойной г-жи Понмерси, написанный с нее, когда ей было восемнадцать лет, словно желая, чтобы это было первое, что он видел, пробуждаясь ото сна. Он беспрестанно смотрел на него. Как-то, глядя на портрет, он будто невзначай сказал:

— По-моему, он похож на нее.

— На сестру? — спросила девица Жильнорман. — Ну конечно.

Старик прибавил:

— И на него тоже.

Как-то, когда он сидел в полном унынии, зябко сжав колени и почти закрыв глаза, дочь осмелилась спросить:

— Отец, неужели вы все еще сердитесь?..

Она запнулась, не решаясь продолжать.

— На кого? — спросил он.

— На бедного Мариуса.

Он поднял свою старческую голову, стукнул костлявым и морщинистым кулаком по столу и дрожащим голосом, в величайшем раздражении, крикнул:

— Вы говорите: «бедный Мариус»! Этот господин — шалопай, сквернавец, неблагодарный хвастунишка, бессердечный, бездушный, гордец, злока!

И отвернулся, чтобы дочь не заметила слезы на его глазах.

Три дня спустя, промолчав часа четыре, он вдруг обратился к дочери:

— Я имел честь просить мамзель Жильнорман никогда мне о нем не говорить.

Тетушка Жильнорман отказалась от всяких попыток и сделала следующий глубокомысленный вывод: «Отец охладел к сестре после той глупости, которую она сделала. Видно, он терпеть не может Мариуса».

«После той глупости» означало: с тех пор, как она вышла замуж за полковника.

Впрочем, как и можно было предположить, девица Жильнорман потерпела неудачу в своей попытке заменить Мариуса своим любимцем, уланским офицером. Теодюль, в роли его заместителя, не имел никакого успеха. Г-н Жильнорман не согласился на добровольное заблуждение. Сердечную пустоту не заткнешь затычкой. Да и Теодюль, хотя он здесь и чуял наследство, питал отвращение к тяжелой повинности — нравиться. Старик наскучил улану, а улан опротивел старику. Лейтенант Теодюль был, несомненно, веселым, но болтливым малым; легкомысленным, но пошловатым; любившим хорошо пожить, но плохо воспитанным; у него были любовницы, это правда, и он много о них говорил, — это тоже правда, — но говорил дурно. Все его качества были с изъяном. Г-ну Жильнорману надоело слушать рассказы о всяких его удачных

похождениях неподалеку от казарм на Вавилонской улице. Помимо того, лейтенант Жильнорман иногда появлялся в мундире с трехцветной кокардой. Это его делало уже просто невыносимым. В конце концов старик Жильнорман сказал дочери: «Хватит с меня этого Теодюля. В мирное время я не чувствую особенного пристрастия к всенным. Принимай их сама, если хочешь. Пожалуй, я даже предпочту саблю в руках рубаки, чем на боку у гуляки. Лязг клинков на поле битвы не так противен в конце концов, как стукотня ножен по мостовой. Да и к тому же пыжиться, изображать героя, стягивать себе талию, словно бабенка, носить корсет под кирасой — это вдвойне смешно. Настоящий мужчина одинаково далек и от бахвальства и от жеманства. Не фанфарон и не милашка. Бери своего Теодюля себе».

Напрасно дочь повторяла ему: «Но ведь это ваш внучатный племянник». Оказалось, что г-н Жильнорман, чувствовавший себя дедом до кончика ногтей, вовсе не собирался быть двоюродным дядей.

В сущности, так как он был умен и умел сравнивать, Теодюль только заставил его еще больше сожалеть о Мариусе.

Однажды вечером, — то было 4 июня, что не помешало старику развести жаркий огонь в камине, — он отпустил дочь, занимавшуюся шитьем в соседней комнате. Один в своей спальне, расписанной сценами из пастушеской жизни, полузакрытый широкими коромандельского дерева ширмами о девяти створках, он сидел, утонув в ковровом кресле, положив ноги на каминную решетку, облокотившись на стол, где под зеленым абажуром горели две свечи, и держал в руке книгу, которую, однако, не читал. По своему обыкновению, он был одет, как одевались щеголи времен его молодости, и был похож на старинный портрет Гарá. На улице вокруг него собралась бы толпа, если бы дочь не накидывала на него, когда он выходил из дома, нечто вроде стеганой широкой епископской мантии, скрывавшей его одеяние. У себя в комнате он надевал халат только по утрам или перед отходом ко сну. «Халат слишком старит», — говорил он.

Дедушка Жильнорман думал о Мариусе с любовью и горечью, и, как обычно, преобладала горечь. Его озлобленная нежность всегда в конце концов начинала возму-

шаться и превращалась в негодование. Он дошел до того состояния, когда человек готов покориться своей участи и примириться с тем, что ему причиняет боль. В настоящую минуту он доказывал себе, что больше нечего ждать Мариуса, что если бы он хотел возвратиться, то уже сделал бы это, и что надо отказаться от всякой надежды. Он пытался привыкнуть к мысли, что с этим кончено и ему предстоит умереть, не увидев «сего господина». Но все его существо восставало против этого; его упорное отцовское чувство отказывалось с этим соглашаться.

«Неужели, — говорил он, и это был его горестный ежедневный припев, — неужели он больше не вернется?» Его облысевшая голова склонилась на грудь, и он впериł в пепел камина скорбный и гневный взгляд. В минуту этой глубочайшей задумчивости вошел его старый слуга Баск и спросил:

— Угодно ли вам, сударь, принять господина Мариуса?

Старик выпрямился в кресле, мертвенно бледный и похожий на труп, поднявшийся под действием гальванического тока. Вся кровь прихлынула ему к сердцу. Он пролепетал, заикаясь:

— Как? Господина Мариуса?

— Не знаю, — ответил Баск, испуганный и сбитый с толку видом своего хозяина, — сам я его не видел. Николетта сказала мне: «Пришел какой-то молодой человек, доложите, что это господин Мариус».

Дед Жильнорман пробормотал еле слышно:

— Проси сюда.

Он остался сидеть в той же позе, голова его тряслась, взор был пристально устремлен на дверь. Она открылась. Вошел молодой человек. То был Мариус.

Он остановился в дверях, как бы ожидая, что его попросят войти.

Его почти нищенская одежда не была видна в тени, отбрасываемой абажуром. Можно было различить только его спокойное и серьезное, но странно печальное лицо.

Старый Жильнорман, оупевший от изумления и радости, несколько минут не видел ничего, кроме яркого света, как бывает, когда глазам предстает видение. Он чуть не лишился чувств; он различал Мариуса как бы

сквозь ослепительную завесу. Да, действительно это был он, это был Мариус!

Наконец-то! Через четыре года! Он, если можно так выразиться, вобрал его в себя одним взглядом. Он нашел его красивым, благородным, изящным, взрослым, сложившимся мужчиной, умеющим себя держать, обаятельным. Ему хотелось открыть ему объятия, позвать его, броситься навстречу, он таял от восторга, пылкие слова переполняли его и стремились вырваться из груди; наконец вся эта нежность нашла себе выход, подступила к устам и, в силу противоречия, являвшегося основой его характера, вылилась в жесткость. Он резко спросил:

— Что вам здесь нужно?

Мариус смущенно ответил:

— Сударь...

Господин Жильнорман хотел бы, чтобы Мариус бросился в его объятия. Он был недоволен и Мариусом и самим собой. Он чувствовал, что был резок, а Мариус холоден. Для бедного старика было невыносимой, все усиливавшейся мукой чувствовать, что в душе он изнывает от нежности и жалости, а выказывает лишь жестокость. Горькое чувство опять овладело им. Он угрюмо перебил Мариуса:

— Зачем же вы все-таки пришли?

Это «все-таки» обозначало: «Если вы не пришли затем, чтобы обнять меня». Мариус взглянул на лицо деда, которому бледность придавала сходство с мрамором.

— Сударь...

Старик снова прервал его суровым голосом:

— Вы пришли просить у меня прощения? Вы признали свою вину?

Он полагал, что направляет Мариуса на путь истинный и что «мальчик» смягчится. Мариус вздрогнул: от него требовали, чтобы он отрекся от отца; он потупил глаза и ответил:

— Нет, сударь!

— В таком случае, — с мучительной и гневной скорбью вскричал старик, — чего же вы от меня хотите?

Мариус сжал руки, сделал шаг и ответил слабым, дрожащим голосом:

— Сударь, сжальтесь надо мной.

Эти слова вывели г-на Жильнормана из себя; будь они сказаны раньше, они бы тронули его, но теперь было слишком поздно. Дед встал; он опирался обеими руками на трость, губы его побелели, голова тряслась, но его высокая фигура казалась еще выше перед склонившим голову Мариусом.

— Сжалиться над вами! Юноша требует жалости у девяностолетнего старика! Вы вступаете в жизнь, а я покидаю ее; вы посещаете театры, балы, кафе, бильярдные, вы умны, нравитесь женщинам, вы красивый молодой человек, а я даже летом зябну у горящего камина; вы богаты единственно подлинным богатством, какое только существует, а я — всеми немощами старости, болезнью, одиночеством! У вас целы все зубы, у вас хороший желудок, живой взгляд, сила, аппетит, здоровье, веселость, копна черных волос, а у меня уже нет даже и седых, выпали зубы, не слушаются ноги, ослабела память, я постоянно путаю названия трех улиц — Шарло, Шом и Сен-Клод, вот до чего я дошел; перед вами все будущее, залитое солнцем, а я почти ничего не различаю впереди, настолько я приблизился к вечной ночи; вы влюблены, это уже само собой разумеется, меня же не любит никто на свете, и вы еще требуете у меня жалости! Чорт возьми! Мольер упустил хороший сюжет. Если вы так забавно шутите и во Дворце правосудия, господа адвокаты, то я вас искренне поздравляю. Вы, я вижу, шалуны.

И старик снова спросил сердито и серьезно:

— Да, так чего же вы от меня хотите?

— Сударь, — ответил Мариус, — я знаю, что мое присутствие вам неприятно, но я пришел только для того, чтобы попросить вас кой о чем, после этого я сейчас же уйду.

— Вы глупец! — воскликнул старик. — Кто вам велит уходить?

Это был перевод следующих нежных слов, звучавших в глубине его сердца: *Ну попроси у меня прощенья! Кинься же мне на шею!* Г-н Жильнорман чувствовал, что Мариус вот-вот готов от него уйти, что этот враждебный прием его отталкивает, что эта жестокость гонит его вон, он понимал все это, и скорбь его возрастала, но так как эта скорбь тут же превращалась в гнев, то усиливалась

и его суровость. Он хотел, чтобы Мариус понял его, а Мариус не понимал; это приводило старика в бешенство. Он продолжал:

— Как! Вы пренебрегли мной, вашим дедом, вы покинули мой дом, чтобы уйти неведомо куда, вы причинили огорчение вашей тетушке, вы сделали это, — догадаться нетрудно, — потому что так гораздо удобнее вести холостецкий образ жизни, корчить щеголя, возвращаться домой когда угодно, развлекаться! Вы не подавали никаких признаков существования, наделали долгов, даже не попросив меня их заплатить, вы стали буйном и скандалистом, а потом, через четыре года, явились сюда, и вам ничего больше сказать мне?

Этот свирепый способ склонить внука к проявлению нежности привел Мариуса только к молчанию. Г-н Жильнорман скрестил руки — этот жест был у него особенно повелительным — и с горечью обратился к Мариусу:

— Довольно. Вы, кажется, сказали, что пришли попросить меня о чем-то? Так о чем же? Что такое? Говорите.

— Сударь, — ответил Мариус, обратив на него взгляд человека, чувствующего, что он сейчас низвергнется в пропасть, — я пришел попросить у вас позволения жениться.

Господин Жильнорман позвонил. Баск приоткрыл дверь.

— Попросите сюда мою дочь.

Минуту спустя дверь снова приоткрылась, м-ль Жильнорман показалась на пороге, но в комнату не вошла. Мариус стоял молча, опустив руки, с видом преступника; г-н Жильнорман ходил взад и вперед по комнате. Обернувшись к дочери, он сказал:

— Ничего особенного. Это господин Мариус. Поздоровайтесь с ним. Этот господин хочет жениться. Вот и все. Ступайте.

Отрывистый и хриплый голос старика возвещал об особенной силе его возмущения. Тетушка с растерянным видом взглянула на Мариуса, казалось, она едва узнала его и, не сделав ни единого движения, не издав звука, исчезла по мановению руки отца быстрее, чем соломинка от дыхания урагана.

Тем временем дедушка Жильнорман, снова прислонившись к камину, разразился следующей речью:

— Жениться? В двадцать один год! И все у вас уже улажено! Вам осталось только попросить у меня позволения! Маленькая формальность. Садитесь, сударь. Ну-с, с тех пор как я не имел чести вас видеть, у вас произошла революция. Якобинцы взяли верх. Вы должны быть довольны. Уж не превратились ли вы в республиканца с той поры, как стали бароном? Вы ведь умеете примирять одно с другим. Республика — недурная приправа к баронству. Быть может, вы получили июльский орден, сударь? Может, вы немножко помогли, когда брали Лувр? Здесь совсем близко, на улице Сент-Антуан, насупротив улицы Нонендьер, видно ядро, врезавшееся в стену третьего этажа одного дома, а возле него надпись: «28 июля 1830 года». Подите посмотрите. Это производит сильное впечатление. Ах, они натворили хороших дел, ваши друзья! Кстати, не собираются ли они поставить фонтан на месте памятника господину герцогу Беррийскому? Итак, вам угодно жениться? Можно ли, не будучи нескромным, спросить, на ком?

Он остановился и, прежде чем Мариус успел ответить, с яростью прибавил:

— Ага, значит у вас есть положение! Вы разбогатели! Сколько вы зарабатываете вашим адвокатским ремеслом?

— Ничего, — ответил Мариус с какой-то твердой и почти свирепой решимостью.

— Ничего? Стало быть, у вас на жизнь есть только те тысяча двести ливров, которые я вам даю?

Мариус ничего не ответил. Г-н Жильнорман продолжал:

— А, понимаю. Значит, девушка богата?

— Не больше, чем я.

— Что? Бесприданница?

— Да.

— Есть надежды на будущее?

— Не думаю.

— Совсем нищая? А что же такое ее отец?

— Не знаю.

— А как ее зовут?

— Мадмуазель Фошлеван.

— Фош... как?

— Фошлеван.

— Пффф! — фыркнул старик.

— Сударь! — вскричал Мариус.

Господин Жильнорман, не слушая его, продолжал тоном человека, разговаривающего с самим собой.

— Так. Двадцать один год, никакого состояния, тысяча двести ливров в год. Госпоже баронессе Понмерси придется самолично отправляться к зеленщице покупать на два су петрушки.

— Сударь, — ответил Мариус вне себя, видя, как исчезает его последняя надежда, — умоляю вас, заклинаю вас во имя неба, я простираю к вам руки, сударь, я у ваших ног, позвольте мне на ней жениться!

Старик рассмеялся пронижительным и мрачным смехом, прерываемым кашлем.

— Ха-ха-ха! Вы, верно, сказали себе: «Чем чорт не шутит, пойду-ка я разыщу это старое чучело, этого непроходимого дурака! Какая досада, что мне еще не минуло двадцати пяти лет! Я бы ему показал мое полное к нему уважение! Обошелся бы я тогда и без него! Ну, да все равно, я ему скажу: «Старый осел, счастье твое, что ты еще видишь меня, мне угодно жениться, мне угодно вступить в брак с мадмуазель — все равно какой, дочерью — все равно чьей, правда, у меня нет сапог, а у нее рубашки, сойдет и так, мне угодно наплевать на свою карьеру, на свое будущее, на свою молодость, на свою жизнь, мне угодно навязать себе жену на шею и погрязнуть в нищете, вот о чем я мечтаю, а ты не чини препятствий!» И старое ископаемое не будет чинить препятствий. Валяй, мой милый, делай, как хочешь, вешай себе камень на шею, женись на своей Шпаклеван, Пеклеван... Нет, сударь, никогда, никогда!

— Отец!

— Никогда!

По тому тону, каким было произнесено это «никогда», Мариус понял, что всякая надежда потеряна. Он медленно направился к выходу, понутив голову, пошатываясь, словно видел перед собой порог смерти, а не порог комнаты. Г-н Жильнорман провожал его взглядом, а когда дверь была уже открыта и Мариусу оставалось только выйти, он с той особенной живостью, которая свойственна вспыльчивым и избалованным старикам, подбежал к нему,

схватил его за ворот, энергично втолкнул обратно, толкнул в кресло и сказал:

— Ну, рассказывай!

Этот переворот произвело одно лишь слово «отец», вырвавшееся у Мариуса.

Мариус растерянно взглянул на него. Подвижное лицо г-на Жильнормана выражало только грубое и неизреченное добродушие. Предок уступил место деду.

— Ну, полно, посмотрим, говори, рассказывай о своих любовных делишках, выбалтывай, скажи мне все! Чорт поberi, до чего глупы эти юнцы!

— Отец, — снова начал Мариус.

Все лицо старика озарилось каким-то невыразимым сиянием.

— Так, вот именно! Называй меня отцом, и дело пойдет на лад!

В этой его грубоватости сейчас сквозило такое доброе, такое нежное, такое открытое, такое отцовское чувство, что Мариус словно был оглушен и опьянен этим внезапным переходом от отчаяния к надежде. Он сидел у стола, и жалкое состояние его одежды при свете горевших свечей так бросалось в глаза, что дед Жильнорман взирал на него с изумлением.

— Итак, отец, — начал Мариус.

— Так вот оно что! — прервал его Жильнорман. — У тебя взаправду нет ни гроша? Ты одет, как воришка.

Он порывлся в ящике, взял оттуда кошелек и положил его на стол.

— Возьми, тут сто луидоров, купи себе шляпу.

— Отец, — продолжал Мариус, — дорогой отец, если бы вы знали! Я люблю ее. Можете себе представить, в первый раз я увидел ее в Люксембургском саду — она приходила туда; сначала я не обращал на нее особенного внимания, а потом, не знаю сам, как это случилось, влюбился в нее. О, как я был несчастен! Словом, теперь я вижу с ней каждый день у нее дома, ее отец ничего не знает, вообразите только, они собираются уехать, мы видимся в саду по вечерам, отец хочет увезти ее в Англию, тогда я подумал: «Пойду к бабушке и расскажу ему об этом». Я ведь сойду с ума, умру, заболею, брошусь в воду. Я непременно должен жениться на ней, иначе сойду с ума. Вот вам вся правда, мне кажется, я ничего не забыл. Она

живет в саду с решеткой, на улице Плюме. Это недалеко от Дома инвалидов.

Дедушка Жильнорман, сияя от удовольствия, уселся возле Мариуса. Внимательно слушая его и наслаждаясь звуком его голоса, он в то же время с наслаждением медленно втягивал в нос понюшку табаку. Услышав название улицы Плюме, он задержал дыхание и просыпал остатки табаку на колени.

— Улица Плюме? Ты говоришь, улица Плюме? погоди-ка! Нет ли там казармы? Ну да, это та самая и есть. Твой двоюродный братец Теодюль рассказывал мне что-то. Ну, этот улан, офицер. Про девочку, мой дружок, про девочку! Чорт возьми, да, на улице Плюме. На той самой, что называлась Бломе. Теперь я вспомнил. Я уже слышал об этой малютке за решеткой на улице Плюме. В саду. Настоящая Памела. Вкус у тебя недурен. Говорят, прехорошенькая. Между нами, я думаю, что этот пустельга-улан слегка ухаживал за ней. Не знаю, далеко ли там зашло. Впрочем, никакой беды в этом нет. К тому же не стоит ему верить. Он бахвал. Мариус, я считаю похвальным для молодого человека быть влюбленным! Так и надо в твоём возрасте. Я предпочитаю тебя видеть влюбленным, нежели якобинцем. Уж лучше, чорт побери, быть пришитым к юбке, к двадцати юбкам, чем к господину Робеспьеру! Что до меня, то должен отдать себе справедливость: из всех этих санкюлотов я всегда признавал только женщин. Хорошенькие девчонки остаются хорошенькими девчонками, шут их возьми! Спорить тут нечего. Так, значит, малютка принимает тебя тайком от папеньки. Это в порядке вещей. У меня тоже бывали такие истории. И не одна. Знаешь, как в этом случае поступают? В раж не приходят, трагедий не разыгрывают, супружеством и визитом к мэру с его шарфом не кончают. Просто-напросто надо быть умным малым. Обладать рассудком. Шалите, смертные, но не женитесь. Надо разыскать дедушку, добряка в душе, а у него всегда найдется несколько сверточков с золотыми в ящике старого стола; ему говорят: «Дедушка, вот какое дело». Дедушка отвечает: «Да это очень просто. Смолоду перебесишься, в старости угомонишься. Я был молод, тебе быть стариком. На, мой мальчик, когда-нибудь ты вернешь этот долг твоему внуку. Здесь двести пистолей. Забав-

ляйся, чорт побери! Нет ничего лучше на свете!» Так вот дело и делается. В брак не вступают, но это не помеха. Ты меня понимаешь?

Мариус, окаменев и не в силах вымолвить ни слова, отрицательно покачал головой.

Старик разразился смехом, прищурился, хлопнул его по колену, с таинственным и сияющим видом заглянул ему в глаза и сказал, самым лукавым образом пожимая плечами:

— Дурачок! Сделай ее своей любовницей.

Мариус побледнел. Он ничего не понял из всего сказанного ему дедом. Вся эта мешанина из улицы Бломе, Памелы, казармы, улана промелькнула мимо него какой-то фантазмагорией. Это не могло касаться Козетты, чистой, как лилия. Старик бредил. Но этот бред окончился словами, которые Мариус понял и которые были смертельным оскорблением для Козетты. Эти слова «сделай ее своей любовницей» пронзили сердце целомудренного юноши, как клинок шпаги.

Он встал, поднял с пола свою шляпу и твердым уверенным шагом направился к дверям. Там он обернулся, поклонился деду, поднял голову и промолвил:

— Пять лет тому назад вы оскорбили моего отца; сегодня вы оскорбляете мою жену. Я ни о чем вас больше не прошу, сударь. Прощайте.

Дедушка Жильнорман, остолбеневший от изумления, открыл рот, протянул руки, попробовал подняться, но, прежде чем он успел произнести хотя бы одно слово, дверь закрылась и Мариус исчез.

Несколько мгновений старик сидел неподвижно, как бы пораженный громом, не в силах ни говорить, ни дышать, словно чья-то мощная рука сжимала его за горло. Наконец он сорвался со своего кресла, со всей возможной в девяносто один год быстротой подбежал к двери, открыл ее и завопил:

— Помогите! Помогите!

Явилась дочь, затем слуги. Он снова закричал жалким, хриплым голосом:

— Бегите за ним! Догоните его! Что я ему сделал? Он сумасшедший! Он ушел! Боже мой, боже мой! Теперь он уже больше не вернется!

Он бросился к окну, выходявшему на улицу, раскрыл его старческими дрожащими руками, высунулся чуть не до пояса, причем Баск и Николетта удерживали его сзади, и прокричал:

— Мариус! Мариус! Мариус! Мариус!

Но Мариус не мог услышать его; в это мгновение он уже поворачивал за угол улицы Сен-Луи.

Девяностолетний старец, с выражением тягчайшей муки, поднял два-три раза руки к вискам, шатаясь отошел от окна и грузно опустился в кресло, без пульса, без голоса, без слез, бессмысленно покачивая головой и шевеля губами, с пустым взглядом, с опустевшим сердцем, где осталось лишь нечто мрачное и беспросветное, как ночь.

Книга девятая

КУДА ОНИ ИДУТ?

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Жан Вальжан

В тот же самый день, в четыре часа, Жан Вальжан сидел на одном из самых пустынных откосов Марсова поля. Из осторожности ли, из желания ли сосредоточиться, или просто вследствие одной из тех нечувствительных перемен в привычках, которые мало-помалу назревают в жизни каждого человека, он теперь довольно редко выходил с Козеттой. Он был в рабочей куртке и в серых холщовых штанах; картуз с длинным козырьком скрывал его лицо. В настоящее время, думая о Козетте, он был спокоен и счастлив; то, что его волновало и пугало еще недавно, рассеялось; однако недели две тому назад в нем возникло беспокойство другого рода. Однажды, гуляя по бульвару, он заметил Тенардые; Жан Вальжан был переодет, и Тенардые его не узнал; но с тех пор он видел его еще несколько раз и теперь был уверен, что Тенардые бродил неспроста в этом квартале. Этого было достаточно, чтобы принять важное решение. Тенардые здесь — значит, все опасности налицо. Кроме того, в Париже было неспокойно для всякого, кто имел основания скрывать что-либо в своей жизни; политические смуты представляли неудобство в том отношении, что полиция, ставшая весьма недоверчивой и весьма подозрительной, выслеживая какого-нибудь Пепена или Морэ, легко могла разоблачить такого человека, как Жан Вальжан. Он решил покинуть Париж, и даже Францию, и переехать в Англию. Козетту он предупредил. Он хотел отправиться в путь уже на этой

неделе. Сидя на откосе Марсова поля, он глубоко задумался: его обуревали мысли о Тенардье, о полиции, о путешествии и о трудностях, связанных с получением паспорта.

Он был весьма озабочен всем этим.

Один поразивший его необъяснимый факт, под свежим впечатлением которого он находился и сейчас, особенно усиливал его тревогу. Сегодня утром, встав раньше всех и прогуливаясь в саду, когда окна Козетты еще были закрыты, он вдруг увидел надпись, нацарапанную на стене повидимому гвоздем:

Стекольная улица, № 16.

Это было сделано совсем недавно; царапины казались белыми на старой потемневшей штукатурке, а кустик крапивы у стены был обсыпан мелкой известковой пылью. По всей вероятности, надпись сделали ночью. Что это означало? Чей-то адрес? Условный знак для кого-то? Предупреждение ему? Так или иначе, было ясно, что сад этот стал доступен и туда пробрались какие-то неизвестные люди. Он вспомнил о странных случаях, уже не раз всполошивших дом. Это послужило канвой для усиленной работы мысли. Он поостерегся сказать Козетте о строчке, нацарапанной на стене, боясь ее испугать.

Среди этих тревожных размышлений он заметил потени, упавшей рядом с ним, что кто-то остановился на верхушке откоса, прямо за его спиной. Он уже хотел обернуться, но тут к нему на колени упала сложенная вчетверо бумажка, словно переброшенная чьей-то рукой через его голову. Он взял бумажку, развернул ее и прочел следующее, написанное карандашом, большими буквами, слово:

Переезжайте

Жан Вальжан быстро поднялся, на откосе уже никого не было. Осмотревшись кругом, он заметил человека, ростом побольше ребенка и поменьше мужчины, в серой блузе и табачного цвета плисовых штанах, который, перешагнув парапет, скользнул вниз, в ров Марсова поля.

Жан Вальжан в глубоком раздумье тотчас же отправился домой.

Мариус ушел от г-на Жильнормана с разбитым сердцем. Отправляясь к нему, он таил в душе надежду, а уходил в бесконечном отчаянии.

Впрочем, — те, кто изучал законы человеческого сердца, поймут это, — улан, пустельга-офицер, этот двоюродной брат Теодюль не оставил никакого следа в его сознании. Ни малейшего. По внешнему ходу событий драматург мог бы ожидать некоторых осложнений в результате разоблачения, сделанного дедом внуку. Но там, где выиграла бы драма, проиграла бы истина. Мариус был в том возрасте, когда не верят ничему дурному; позднее наступает возраст, когда верят всему. Подозрения — это те же морщины. В ранней юности их не бывает. То, что потрясает Отелло, не задевает Кандида. Подозревать Козетту! Мариусу легче было бы совершить какое угодно преступление. Он пустился бродить по улицам — обычное средство, к которому обращаются те, кто страдает. О чем он думал, он вспомнить не мог. В два часа ночи, вернувшись к Курфейраку, он, не раздеваясь, бросился на свой тюфяк. Было уже позднее утро, когда он уснул тем гнетущим, тяжелым сном, который сопровождается беспорядочной сменой образов. Проснувшись, он увидел Курфейрака, Анжольраса, Фейи и Комбефера. Все они стояли в шляпах, имели деловой вид и уже собирались уходить.

Курфейрак спросил его:

— Ты пойдешь на похороны генерала Ламарка?

Ему показалось, что Курфейрак говорит по-китайски.

Он ушел немного спустя после них. В карман он сунул пистолеты, доверенные ему Жавером во время приключения 3 февраля и оставшиеся у него. Они так и лежали заряженными до сих пор. Было бы трудно сказать, почему он взял их с собой, какая неясная мысль пришла ему в голову.

Весь день он скитался, сам не зная где; время от времени шел дождь, но Мариус его не замечал. На обед он купил в булочной хлебец за одно су, сунул его в жарман и забыл о нем. Кажется, он даже выкупался в Сене, не сознавая этого. Бывают у человека такие минуты, когда

у него под черепом словно пылает адская печь. Наступила такая минута и для Мариуса. Он больше ни на что не надеялся, он больше ничего не боялся; он перешагнул через все это со вчерашнего дня. В лихорадочном нетерпении он ожидал вечера, у него была только одна определенная мысль: в девять часов он увидит Козетту. В этом последнем счастье заключалось ныне все его будущее; дальше — тьма. Он шел по самым пустынным бульварам, и порою ему чудился какой-то странный шум, доносившийся из города. Тогда он выходил из своей задумчивости и задавался вопросом: «Не дерутся ли там?»

С наступлением темноты, точно в девять часов, Мариус, как и обещал Козетте, был на улице Плюме. Подойдя к решетке, он забыл обо всем. Прошло двое суток с тех пор, как он видел Козетту, сейчас он снова увидит ее; все другие мысли исчезли, он чувствовал лишь глубокую и невыразимую радость. Мгновения, в которые человек переживает века, всегда таят в себе нечто столь властительное и чудесное, что, посетив его, они целиком заполняют сердце.

Мариус раздвинул решетку и устремился в сад. Козетты не было на том месте, где она обычно его ожидала. Он пробрался сквозь заросль и прошел к углублению возле крыльца. «Она ждет меня здесь», — подумал он. Козетты там не было. Он поднял глаза и увидел, что ставни во всем доме закрыты. Он обошел сад, — в саду никого не было. Тогда он вернулся к дому и, обезумев от любви, одурманенный, испуганный, вне себя от горя и беспокойства, как хозяин, вернувшийся к себе в недобрый час, застучал в ставни. Он стучал, стучал еще и еще, рискуя увидеть, как откроется окно и в нем покажется мрачное лицо отца, который спросит: «Что вам угодно?» Все это было пустяки по сравнению с тем, что он предчувствовал. Постучав, он громко позвал Козетту. «Козетта!» — крикнул он. «Козетта!» — повелительно повторил он. Никто не откликнулся. Все было кончено. Никого в саду; никого в доме.

Мариус вперил отчаявшийся взор в этот мрачный дом, такой же черный, такой же безмолвный, как гробница, но пустой. Он взглянул на каменную скамью, где провел столько восхитительных часов возле Козетты. Потом сел на ступеньку крыльца; сердце его было полно нежности и

решимости. В глубине души он благословлял эту любовь и сказал себе, что теперь, когда Козетта уехала, ему остается только умереть. Вдруг он услышал голос, казалось, доносившийся с улицы, заслоненной от него деревьями:

— Господин Мариус!

Он встал.

— Что? — спросил он.

— Господин Мариус, вы здесь?

— Да.

— Господин Мариус, — снова раздался голос, — ваши друзья ожидают вас у баррикады на улице Шанврери.

Этот голос не был ему совсем незнаком. Он напоминал хриплый и грубый голос Эпонины. Мариус подбежал к решетке, отодвинул расшатавшийся прут, просунул голову и увидел какого-то человека, с виду юношу, который, убегаая, исчезал в сумерках.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Господин Мабеф

Кошелек Жана Вальжана не принес пользы г-ну Мабефу.

По своей благородной, но наивной строгости, г-н Мабеф не принял подарка звезд; он отнюдь не мог допустить, чтобы звезда способна была рассыпаться золотыми монетами. Он не догадался, что упавшее с неба было даром Гавроша, и отнес кошелек полицейскому приставу своего квартала как утерянную вещь, которую нашедший передает в распоряжение заявивших о пропаже. Теперь кошелек был действительно утерян. Само собой разумеется, что никто его не потребовал, и г-на Мабефа он ничуть не выручил.

Господин Мабеф продолжал спускаться все ниже под гору.

Опыты с индиго в Ботаническом саду удались не лучше, чем в Аустерлицком. В прошлом году он задолжал своей служанке; теперь, как известно читателю, он задолжал домохозяину. Ломбард в конце тринадцатого месяца продал медные клише его «Флоры». Какой-нибудь медник

сделал из них кастрюли. С исчезновением этих клише он не мог уже пополнить даже оставшиеся у него разрозненные экземпляры «Флоры» и уступил по дешевой цене букинисту гравюры и отпечатанный текст как *неполноценные*. У него ничего больше не осталось от труда всей его жизни. Он стал проедать деньги, полученные за проданные экземпляры. Увидев, что и этот жалкий источник иссякает, он бросил свой сад и оставил его невозделанным. Еще раньше, и давно уже, он отказался от двух яиц и куска мяса, которые съедал время от времени. Обедая хлебом и картофелем. Он продал свою последнюю мебель, затем все, без чего он мог обойтись, из постельного белья, одежды и одеял, затем свои гербарии и эстампы; но у него еще оставались самые ценные его книги, среди которых были редчайшие, как, например, «Исторические библейские четверостишия», издание 1560 года, «Свод библий» Пьера де Бесс, «Жемчужины Маргариты» Жана де Лаэ, с посвящением королеве Наваррской, книга «Об обязанностях и достоинстве посла» съера де Вилье-Хотмана, «Раввинский стихослов» 1644 года, Тибулл 1567 года с великолепной надписью: «Венеция, в доме Мануция»; наконец экземпляр Диогена Лаэртция, напечатанный в Лионе в 1644 году и включавший знаменитые варианты рукописи 411, тринадцатого века, из Ватикана, и двух венецианских рукописей 393 и 394, столь плодотворно исследованных Анри Этьеном, а также все отрывки на до-рическом наречии, имеющиеся только в знаменитой рукописи двенадцатого столетия из Неаполитанской библиотеки. Г-н Мабеф никогда не разжигал камина в своей спальне и ложился с наступлением вечера, чтобы не жечь свечи. Казалось, у него не стало больше соседей, его избегали, когда он выходил; он это замечал. Нищета ребенка внушает участие любой матери, нищета молодого человека внушает участие молодой девушке, нищета старика никому не внушает участия. Из всех бедствий — это наиболее леденящее. Однако дедушка Мабеф не утратил целиком своей детской ясности. Его глаза даже становились живее, когда он устремлял их на книги, и он улыбался, созерцая редчайший экземпляр Диогена Лаэртция. Из всей обстановки, за исключением самого необходимого, только и уцелел его книжный шкаф со стеклянными дверцами.

Однажды тетушка Плутарх сказала ему:

— Мне не на что приготовить обед.

То, что она называла обедом, представляло собой хлеб и четыре или пять картофелин.

— А в долг? — спросил Мабеф.

— Вы отлично знаете, что в долг мне не дают.

Господин Мабеф открыл библиотечный шкаф, долго рассматривал свои книги одну за другой, словно отец, вынужденный отдать на заклатие одного из своих сыновей и оглядывающий их, прежде чем сделать выбор, затем быстро взял одну, сунул ее подмышку и ушел. Он вернулся два часа спустя без книги, положил тридцать су на стол и сказал:

— Вот вам на обед.

Тетушка Плутарх заметила, что с этого времени ясно лицо старика подернулось какой-то мрачной тенью, и тень эта не исчезала больше.

Но завтра, послезавтра, каждый день — нужно было начинать сначала. Г-н Мабеф уходил с книгой и возвращался с серебряной монетой. Когда букинисты увидели, что он вынужден продавать, то стали покупать у него за двадцать су то, за что он заплатил двадцать франков иногда тем же книгопродавцам. Том за томом, вся библиотека ушла к ним. Иногда он говорил: «Мне все же восемьдесят лет», словно у него была какая-то затаенная надежда добраться до конца своих дней раньше конца своих книг. Он ушел из дому с Робером Этьеном, которого он продал за тридцать пять су на набережной Малакэ, а вернулся с Альдом, купленным за сорок су на улице Грэ. «Я задолжал пять су», — сказал он тетушке Плутарх, весь сияя. В этот день он совсем не обедал.

Он был членом Общества садоводства. Там знали о его нищете. Председатель этого Общества навестил его, обещал ему поговорить о нем с министром земледелия и торговли и выполнил обещание. «Ну как же! — воскликнул министр. — Конечно, надо помочь! Старый ученый! Ботаник! Безобидный человек! Нужно для него что-нибудь сделать!» На следующий день г-н Мабеф получил приглашение обедать у министра и, дрожа от радости, показал письмо тетушке Плутарх. «Мы спасены», — сказал он ей. В назначенный день он отправился к министру. Он заметил, что его измятый галстук, его старый фрак с прямыми

полами и плохо начищенные старые башмаки поразили привратников. Никто к нему не обратился, не исключая самого министра. Часов в десять вечера, все еще ожидая, что с ним заговорят, он услышал, как жена министра, красивая декольтированная дама, к которой он не осмеливался подойти, спросила кого-то: «А кто же этот старый господин?» Он вернулся домой пешком, в полночь, под проливным дождем. Он продал томик Эльзевира, чтобы оплатить фиакр, доставивший его в дом министра.

Каждый вечер перед сном он привык прочитывать несколько страничек из Диогена Лаэртция. Он достаточно знал греческий язык, чтобы насладиться красотами принадлежавшего ему подлинника. Теперь у него уже не оставалось иной радости. Прошло несколько недель. Внезапно заболела тетушка Плутарх. Существует нечто более огорчительное, чем невозможность уплатить булочнику за хлеб: это невозможность уплатить аптекарю за лекарства. Как-то вечером доктор прописал очень дорогую микстуру. Кроме того, болезнь усиливалась, нужна была сиделка. Г-н Мабеф открыл свой шкаф, там было пусто. Последний том был продан. У него остался только Диоген Лаэртций.

Он сунул этот уникальный экземпляр подмышку и вышел из дому; то было 4 июня 1832 года; он отправился к воротам Сен-Жак, к наследнику Руайоля, и возвратился с сотней франков. Он положил столбик пятифранковых монет на ночной столик старой служанки и молча ушел в свою комнату.

На следующий день с рассвета он уселся в своем саду на опрокинутую тумбу, и через забор можно было видеть, как он неподвижно сидел в продолжение всего утра, опустив голову и тупо устремив взор на запущенные грядки. Время от времени шел дождь; старик, казалось, этого не замечал. После полудня в Париже поднялся какой-то необычный шум. Этот шум был похож на ружейные выстрелы и крики толпы.

Дедушка Мабеф поднял голову. Заметив проходившего с лопатой на плече садовника, он спросил:

— Что это такое?

Садовник совершенно спокойно ответил:

— Бунт.

-- Какой бунт?

-- Такой. Дерутся.

-- Почему дерутся?

-- А бог их знает! — сказал садовник.

— Где же это? — снова спросил г-н Мабеф.

— Где-то возле Арсенала.

Дедушка Мабеф пошел к себе, взял шляпу, по привычке стал искать книгу, чтобы сунуть ее подмышку, не нашел и, сказав: «Ах, да, я и позабыл!», вышел из дому с растерянным видом.

Книга десятая

5 ИЮНЯ 1832 ГОДА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Внешняя сторона вопроса

Из чего слагается мятеж? Из ничего и из всего Из мало-помалу накопившегося электричества, из внезапно вырвавшегося пламени, из блуждающей силы, из проносающегося неведомого дуновения. Дуновению этому встречаются по пути головы, обладающие даром речи, умы, способные мечтать, души, способные страдать, пылающие страсти, рычащая нищета, и оно увлекает их за собой.

Куда?

На волю случая. Наперекор общественному строю, наперекор законам, наперекор благоденствию и наглости других.

Оскорбленные убеждения, озлобившийся энтузиазм, всколыхнувшееся чувство негодования, подавленные воинственные инстинкты, задор восторженной молодежи, великодушное ослепление, любопытство, вкус к перемене, жажда неожиданного, то чувство, которое заставляет с удовольствием читать афишу о новом спектакле и любить в театре внезапный свисток машиниста сцены; смутная ненависть, злоба, обманутые надежды, любое тщеславие, считающее себя обойденным судьбой; недовольство, несбыточные мечты, честолюбие, окруженное непреодолимыми преградами, всякий, чающий выхода из крушения; наконец, в самом низу, чернь, эта воспламеняющаяся грязь — таковы составные элементы мятежа.

Самое великое и самое ничтожное — существа, которые скитаются за пределами общества, ожидая удачи, празднующиеся, темные личности, бродяги предме-

ствий, все те, кто ночуют в застроенной домами пустыне, не имея иной кровли над головой, кроме равнодушных облаков, те, которые каждый день просят хлеба у случая, а не у труда, безыменные сыны нищеты и убожества, раздетые, разутые, — все они принадлежат мятежу.

Любой, кто носит в душе тайный бунт против государственного порядка, жизни или судьбы, причастен к мятежу, и стоит ему только вспыхнуть, как человек начинает оживать, он чувствует, что его подхватывает вихрь.

Мятеж — это своего рода смерч, при некоторых температурных условиях внезапно образующийся в социальной атмосфере. Вращаясь, он поднимается, мчит, гремит, вырывает, стирает с лица земли, повергает в прах, разрушает, искореняет, увлекает за собой натуры возвышенные и жалкие, умы сильные и немощные, древесный ствол и соломинку.

Горе тому, кого он уносит с собой, и тому, кого он сталкивает с пути! Он разбивает их друг о друга.

Он сообщает неведомое могущество тем, кого он подхватывает. Он наполняет первого встречного силой событий; он все претворяет в метательный снаряд. Он обращает камешек в ядро, носильщика — в генерала.

Если поверить некоторым оракулам тайной политики, то, с точки зрения власти, мятеж в небольшой дозе даже не мешает. Система их воззрений такова: мятеж укрепляет те правительства, которые он не опрокидывает. Он испытывает армию; он сплачивает буржуазию; он развивает мускулы полиции; он свидетельствует о крепости социального костяка. Это гимнастика; это почти гигиена. Власть чувствует себя лучше после мятежа, как человек после растирания.

Мятеж тридцать лет тому назад рассматривался еще и с других точек зрения.

Существует всеобъемлющая теория, которая сама себя провозглашает «здравым смыслом»; Филит против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным, она предполагает объяснение, увещание, несколько высокомерную мягкость, которая, будучи смешением хулы и прощения, воображает себя мудростью, часто оказываясь одним лишь педантством. Целая политическая школа, именуемая «золотой серединой», вышла отсюда. Это партия теплой водицы — между горячей и

холодной. Школа эта, с ее ложной глубиной и верхоглядством, изучает следствия, не восходя к причинам, и с высоты полужнания бранит народные волнения.

Если послушать эту школу, то окажется, что: «Мятежи, усложняющие переворот 1830 года, лишают в известной мере это великое событие его чистоты. Июльская революция была великолепным порывом, рожденным бурей народного гнева, внезапно сменившейся безоблачным небом. Мятежи вновь нагнали на небо тучи. Они обратили в распрю эту революцию, первоначально столь замечательную своим единодушием. В Июльской революции, как и в каждом движении вперед скачками, были скрытые места повреждений; мятеж сделал их ощутимыми. Оказалось возможным сказать: «Ага! Здесь перелом». После Июльской революции люди чувствовали только освобождение; после мятежей они почувствовали катастрофу.

Всякий мятеж закрывает лавки, понижает ценные бумаги, вызывает растерянность на бирже, приостанавливает торговлю, мешает делам, ускоряет банкротства; нет больше денег, владельцы крупных состояний обеспокоены, общественный кредит поколеблен, промышленность приходит в расстройство, капиталы припрятываются, труд обесценивается, всюду страх; во всех городах отголоски этого удара. Вот причина разверзающейся бездны. Вычислено, что первый день мятежа стоит Франции двадцать миллионов, второй — сорок, третий — шестьдесят. Трехдневный мятеж обходится в сто двадцать миллионов, — иными словами, если иметь в виду только финансовые итоги, он равнозначен громадному бедствию, кораблекрушению или проигранной битве, в которой бы погиб флот из шестидесяти линейных кораблей.

Конечно, с точки зрения исторической, мятеж отмечен своеобразной красотой; уличный бой не менее грандиозен и исполнен пафоса, чем партизанская война; в одной чувствуется душа леса, в другом чувствуется сердце города; там Жан Шуан, здесь Жанн. Мятежи озарили пусть красным, но великолепным светом все наиболее своеобразные особенности парижского характера: великодушные, самоотверженность, бурную веселость; здесь и студенчество, доказывающее, что опрометчивая смелость есть свойство просвещенного ума, и непоколебимость нацио-

нальной гвардии, и сторожевые посты лавочников, и крепостцы уличных мальчишек, и презрение к смерти у прохожих. Учебные заведения сталкивались с войсками. Впрочем, между сражающимися есть только различие возрастов, — это одна и та же раса, это те же стоические люди, умирающие в возрасте двадцати лет за свои идеи, и в сорок лет — за свои семьи. Армия, всегда опечаленная во время гражданской войны, противопоставляла отваге благоразумие. Мятежи, свидетельствовавшие о народной неустрашимости, одновременно воспитывали и мужество буржуазии.

Хорошо. Но стоит ли все это пролитой крови? А к пролитой крови прибавьте омраченное будущее, запятнанный прогресс, тревогу среди лучших, отчаяние честных либералов, чужеземный абсолютизм, радующийся этим ранам, нанесенным революции ею же самой, торжество побежденных в 1830 году, твердящих: «Что же, мы все это предвидели!» Прибавьте Париж, быть может возвеличившийся, но Францию, несомненно ослабевшую. Прибавьте — потому что следует сказать обо всем — кровопролития, слишком часто позорящие победу рассвирепевшего порядка над обезумевшей свободой. В общем итоге — мятежи были гибельны».

Так утверждает эта псевдомудрость, которой буржуазия, этот псевдонарод, удовлетворяется столь охотно.

Что до нас, то мы отбрасываем слово «мятеж», слишком широкое и, следовательно, слишком удобное. Мы отличаем одно народное движение от другого. Мы не спрашиваем себя, обходится ли мятеж в такую же цену, как битва. Прежде всего, почему именно битва? Здесь возникает вопрос о войне. Разве бич войны есть меньшее бедствие, чем мятеж? И кроме того, всякий ли мятеж является бедствием? А если бы 14 июля и обошлось в сто двадцать миллионов! Возведение Филиппа V на испанский престол стоило Франции два миллиарда. Даже за равную цену мы предпочли бы 14 июля. Впрочем, мы отбрасываем эти цифры, которые кажутся доводами, а на самом деле — только слова. Предмет наших размышлений — мятеж, исследуем поэтому его сущность. В вышеизложенном доктринерском возражении речь идет только о следствии, мы же ищем причины.

Мы уточняем.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Суть вопроса

Есть мятеж и есть восстание; это проявление двух видов гнева — один неправый, другой правый. В демократических государствах, единственных, которые основаны на справедливости, иногда малой кучке людей удается захватить власть; тогда поднимается весь народ, и необходимость отстоять свое право может заставить взяться за оружие. Во всех вопросах, вытекающих из державной власти коллектива, война целого против отдельной его части является восстанием, а нападение части на целое есть мятеж; в зависимости от того, кто занимает Тюильри, король или Конвент, нападение на Тюильри может быть справедливым или несправедливым. Одна и та же пушка, наведенная на толпу, виновна 10 августа и права 14 вандемьера. С виду схоже, по существу различно; швейцарцы защищали ложное, Бонапарт — истинное. То, что всеобщее голосование создало в сознании своей свободы и верховенства, не может быть разрушено улицей. Так же и во всем, что касается собственно цивилизации; инстинкт массы, вчера ясновидящий, может на следующий день изменить ей. Один и тот же порыв ярости законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. Поломка машин, разграбление складов, порча рельс, разрушение доков, заблуждение масс, осуждение прогресса народным правосудием, Рамюс, убитый школярами, Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней, — это мятеж. Израиль против Моисея, Афины против Фокиона, Рим против Сципиона — это мятеж; Париж против Бастилии — это восстание. Солдаты против Александра, матросы против Христофора Колумба — это бунт, бунт нечестивый. Почему? Потому что Александр сделал для Азии с помощью меча то, что Христофор Колумб сделал для Америки с помощью компаса; Александр, как Колумб, нашел целый мир. Приобщение этих миров к цивилизации означает такое усиление света, что здесь всякое противодействие преступно. Иногда народ нарушает верность самому себе. Толпа предает народ. Естречается ли, например, что-либо более странное, чем длительное и кровавое сопротивление соляных контрабандистов, этот законный непрерывный протест, который в решительный момент, в день спасения, в час народной

победы, обращивается шуанством, объединяется с троном, и восстание «против» становится мятежом «за»! Мрачные образцы невежества! Соляной контрабандист ускользает от королевской виселицы и, еще с обрывком веревки, болтающимся у него на шее, нацепляет белую кокарду. «Смерть соляной пошлине!» порождает «Да здравствует король!» Злодеи Варфоломеевской ночи, сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи, убийцы госпожи де Ламбаль, убийцы Брюна, шайки сторонников Наполеона в Испании, зеленые лесные братья, термидорианцы, банды Жегю, кавалеры Нарукавной повязки — вот мятеж. Вандея — это огромный католический мятеж. Голос возмущенного права распознать нетрудно, но он не всегда исходит от потрясенных, взбодраженных, пришедших в движение масс; есть бессмысленное бешенство, есть треснувшие колокола, не во всяком набате звучит бронза. Колебание страстей и невежества — нечто иное, чем толчок прогресса. Восставайте, пусть, но только для того, чтобы расти! Укажите мне, куда вы идете. Восстание — это только движение вперед. Всякое другое возмущение — вредно. Всякий яростный шаг назад — есть мятеж; движение вспять — это насилие над человеческим родом. Восстание — это взрыв ярости, охватившей истину; уличные мостовые, взрытые восстанием, высекают искры права. Эти же мостовые представляют мятежу только свою грязь. Дантон против Людовика XVI — это восстание; Гебер против Дантона — это мятеж.

Отсюда следует, что если восстание, подобное упомянутому выше, может быть, как сказал Лафайет, самым священным долгом, то мятеж может быть самым роковым, преступным покушением.

Существует и некоторое различие в степени накала; нередко восстание — вулкан, а мятеж — горящая солома.

Бунт, мы уже отметили это, вспыхивает иной раз в недрах самой власти. Полиньяк — мятежник; Камилл Демулен — правитель.

Порою восстание — это возрождение.

Решение всех вопросов посредством всеобщего голосования — явление совершенно новое, поэтому каждая эпоха предшествовавшей нам истории, в течение четырех тысяч лет только и говорившей что о поправном праве

и страдании народов, несла с собой свою, возможную для нее, форму протеста. При цезарях не было восстания, зато был Ювенал.

*Facit indignatio*¹ заступает место Гракхов.

При цезарях был сиенский изгнанник; был, кроме него, и человек, написавший «Анналы».

Мы не говорим о великом изгнаннике Платмоса, он также обрушил свой гнев на мир реальный во имя мира идеального, создал из своего видения чудовищную сатиру и отбросил на Рим-Ниневию, на Рим-Вавилон, на Рим-Содом пылающий отблеск Апокалипсиса.

Иоанн на своей скале — это сфинкс на пьедестале; можно его не понимать, он еврей, и язык его слишком труден; но человек, написавший «Анналы», — латинянин; выразимся точнее, — римлянин.

Царствование неронов напоминает мрачные гравюры, напечатанные меццо-тинто, поэтому надо и их самих изображать тем же способом. Работа одним гравировальным резцом вышла бы слишком бледной; следует влить в сделанные им борозды сгущенную, язвящую прозу.

Деспоты оказывают некоторое влияние на мыслителей. Слово, закованное в цепи, — слово страшное. Писатель удваивает и утраивает силу своего пера, когда молчание навязано народу властелином. Из этого молчания вытекает некая таинственная полнота, просачивающаяся в мысль и застывающая в ней бронзой. Гнет в истории порождает сжатость у историков. Гранитная прочность их прославленной прозы лишь следствие уплотнения ее тираном.

Тирания вынуждает писателя к уменьшению объема, что увеличивает силу произведения. Острые цicerоновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. Меньше размаха в строении фразы — больше напряженности в ударе. Тацит мыслит со всей мощью.

Честность великого сердца, превратившаяся в сгусток истины и справедливости, поражает подобно молнии.

Скажем мимоходом, примечательно, что Тацит исторически не противостоял Цезарю. Для него были приугото-

¹ Стих, порожденный возмущением (лат.). Ювенал, Сатира, I.

влены Тиберии. Цезарь и Тацит — два последовательных явления, встречу которых таинственным образом отклонил тот, кто в постановке веков на сцене руководит входами и выходами. Цезарь велик, Тацит велик; бог пощадил эти два величия, не столкнув их между собой. Страж справедливости, нанеся удар Цезарю, мог бы ударить слишком сильно и быть несправедливым. Господь не пожелал этого. Великие войны в Африке и в Испании, уничтожение сицилийских пиратов, насаждение цивилизации в Галлии, в Британии, в Германии, — вся эта слава искупает Рубикон. Здесь сказывается своего рода чуткость божественного правосудия, которое поколебалось выпустить на узурпатора грозного историка и спасло Цезаря от Тацита, признав за гением смягчающие обстоятельства.

Конечно, деспотизм остается деспотизмом даже при гениальном деспоте. И во времена прославленных тиранов процветает развращенность, но нравственная чума еще более отвратительна при тиранах бесчестных. В пору их владычества ничто не заслоняет постыдных дел, и мастера на примеры — Тацит и Ювенал — с еще большею пользою бичуют перед лицом человечества этот позор, которому нечего возразить.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. Низость рабов — дело рук деспота; их растленная совесть, в которой отражается их повелитель, распространяет вокруг себя миазмы; власть имущие гнусны, сердца мелки, совесть немощна, души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммодe, то же при Гелиогабале, тогда как из римского сената времен Цезаря исходит запах помета, свойственный орлиному гнезду.

Отсюда появление, с виду запоздалое, Тацитов и Ювеналов; лишь когда очевидность становится бесспорной, приходит ее истолкователь.

Но и Ювенал и Тацит, точно так же как Исайя в библейские времена, как Данте в эпоху средневековья, — это человек; мятеж и восстание — это народ, иногда неправый, иногда правый.

В наиболее частых случаях мятеж является следствием причин материального порядка; восстание —

всегда явление нравственного порядка. Мятеж — это Мазаньелло, восстание — это Спартак. Восстание в дружбе с разумом, мятеж — с желудком. Чрево раздражается, но Чрево, конечно, не всегда виновно. В случаях голода мятеж, в Бюзансе, например, имеет реальный, волнующий и справедливый повод. Тем не менее он остается мятежом. Почему? Потому что, будучи правым по существу, он неправ по форме. Свирепый, хотя и справедливый, иступленный, хотя и мощный, он поражал наугад; он шествовал, как слепой слон, все круша на пути. Он оставлял за собой трупы стариков, женщин и детей, он проливал, сам не зная почему, кровь невинных и безобидных. Накормить народ — цель хорошая, истреблять его — плохой для этого способ.

Всякий вооруженный народный протест, даже самый законный, даже 10 августа, даже 14 июля, начинается той же смутой. Перед тем как право разобьет свои оковы, поднимаются волнение и пена. Нередко начало восстания — мятеж, точно так же, как исток реки — горный поток. И обычно оно впадает в океан — Революцию. Иногда, однако, рожденное на тех горных вершинах, которые возносятся над нравственным горизонтом, на высотах справедливости, мудрости, разума и права, созданное из чистейшего снега идеала, после долгого падения со скалы на скалу, отразив в своей прозрачности небо и вздувшись от сотни притоков в величественном своем триумфальном течении, восстание вдруг теряется в какой-нибудь буржуазной трясине, как Рейн в болоте.

Все это в прошлом, будущее — иное. Всеобщее голосование замечательно тем, что оно уничтожает самые принципы мятежа и, предоставляя право голоса восстанию, обезоруживает его. Исчезновение войн, — как уличных войн, так и войн на границах государства, — вот в чем скажется неизбежный прогресс. Каково бы ни было наше Сегодня, наше Завтра — это мир.

Впрочем, восстание, мятеж, чем бы первое ни отличалось от второго, в глазах истого буржуа одно и то же, он мало разбирается в этих оттенках. Для него все это просто-напросто беспорядки, крамола, бунт собаки против хозяина, лай, тьяканье, попытка укусить, за которую следует посадить на цепь в конуру; так он думает до того

дня, когда собачья голова, внезапно увеличившись, неясно обрисовывается в полутьме, приняв львиный облик.

Тогда буржуа кричит: «Да здравствует народ!»

Чем же, после этого объяснения, является для истории июньское движение 1832 года? Мятеж это или восстание? Это восстание.

Может статься, что в изображении грозного события нам придется иногда употребить слово «мятеж», но лишь для того, чтобы определить внешние его проявления, в то же время всегда памятуя о различии между его формой — мятежом и его сущностью — восстанием.

Движение 1832 года, в его стремительном взрыве, в его мрачном угасании, было так величаво, что даже те, кто видит в нем только мятеж, говорят о нем с уважением. Для них это как бы отзвук 1830 года. Взмолвленное воображение, заявляют они, в один день не успокоить. Революция сразу не прекращается. Подобно горной цепи, спускающейся к долине, она всегда неизбежно вздымается несколько раз, прежде чем приходит к состоянию спокойствия. Без Юрского кряжа нет Альп, без Астурии нет Пиренеев.

Этот исполненный пафоса кризис современной истории, который парижане памятуяют как *эпоху мятежей*, без сомнения представляет собой характерный час среди бурных часов нынешнего века.

Еще несколько слов, прежде чем приступить к рассказу.

События, подлежащие изложению, неотделимы от той живой и драматической действительности, которою историк иногда пренебрегает за отсутствием места и времени. Однако тут, и мы настаиваем на этом, — именно тут жизнь, трепет, биение человеческого сердца. Малые подробности, как мы, кажется, уже говорили, — это, так сказать, листва великих событий, и они теряются в дали истории. Эпоха, именуемая мятежной, изобилует подробностями такого рода. Судебные следствия, хоть и по иным основаниям, чем история, но также не все выявили и, быть может, не все глубоко изучили. Поэтому мы собираемся осветить, кроме известных и попавших в печать обстоятельств, то, что не ведомо никому, — факты, над которыми прошло забвение одних и смерть других. Большинство действующих лиц этих гигантских сцен исчезло,

они умолкли уже наавтра; но мы можем дать заверение: мы сами видели то, о чем расскажем. Мы изменим некоторые имена, потому что история повествует, а не выдает, но изобразим то, что было на самом деле. В рамках книги, которую мы пишем, мы покажем только одну сторону событий и только один эпизод, и, наверное, наименее известный, — дни 5 и 6 июня 1832 года; но мы сделаем это таким образом, что читатель увидит под темным покрывалом, которое мы собираемся приподнять, подлинный облик этого страшного общественного дерзновения.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Погребение — повод к возрождению

Весной 1832 года, несмотря на то, что эпидемия холеры в течение трех месяцев леденила возбужденные умы, наложив на них печать какого-то мрачного успокоения, Париж, в котором давно назревало недовольство, готов был вспыхнуть. Как мы уже отмечали, большой город похож на артиллерийское орудие: когда оно заряжено, достаточно искры, чтобы последовал залп. В июне 1832 года такой искрой оказалась смерть генерала Ламарка.

Ламарк был человек действия и доброй славы. Последовательно, при Империи и при Реставрации, он проявил двойную доблесть, необходимую для этих двух эпох: доблесть воина и доблесть оратора. Он был так же красноречив, как ранее был отважен: его слово было подобно мечу. Как и Фуа, его предшественник, он, высоко державший знамя командования, теперь высоко держал знамя свободы. Занимая место между левой и крайней левой, он был любим народом за то, что смело смотрел в будущее, и толпой — за то, что хорошо служил императору. Вместе с графом Жераром и графом Друэ он чувствовал себя *in petto*¹ одним из маршалов Наполеона. Трактаты 1815 года задели его как личное оскорбление. Он ненавидел Веллингтона нескрываемой ненавистью, вызывавшей сочувствие у народа, и в продолжение семнадцати лет, едва замечая происходившие в это время события, вели-

¹ В душе (итал.).

чественно хранил печаль Ватерлоо. Умирая, он в свой смертный час прижал к груди шпагу, которую ему поднесли как почетную награду офицеры Ста дней. Наполеон умер со словом *армия* на устах, Ламарк — со словом *отечество*.

Близкая его смерть страшила народ, как потеря, а правительство — как повод к волнениям. Эта смерть была трауром. Как всякая скорбь, траур может обернуться взрывом. Так именно и произошло.

В канун и утро 5 июня — день, назначенный для погребения генерала Ламарка, Сент-Антуанское предместье, мимо которого должна была проходить похоронная процессия, приняло угрожающий вид. Запутанная сеть улиц наполнилась глухим ропотом толпы. Люди вооружались, как могли. Столяры запасались распорками от своих верстаков, «чтобы взламывать двери». Один из них сделал кинжал из крючка для надевания сапог, взятого у сапожника, отломив его и заточив обломок. Другой, горя желанием «итти на приступ», три дня спал не раздеваясь. Один плотник, по имени Ломбье, встретил приятеля; тот спросил: «Куда ты идешь?» — «Да, видишь ли, у меня нет оружия». — «Ну, так что же?» — «Вот я и иду на стройку за своим циркулем». — «А на что он тебе?» — «Не знаю», — ответил Ломбье. Некто Жаклин, человек предприимчивый, ловил проходивших рабочих: «Ну-ка, поди сюда!» Потом давал им десять су на вино и спрашивал: «У тебя есть работа?» — «Нет». — «Поди к Фиспьеру, что между Монрейльской и Шаронской заставами, там найдешь работу». У Фиспьера они получали патроны и оружие. Некоторые известные главари «гоняли, точно на почтовых», то есть бегали повсюду, чтобы собрать свой народ. У Бартелеми, возле Тронной заставы и у Капеля, в «Колпачке», посетители подходили друг к другу с серьезным видом. Слышно было, как они переговаривались: «Ты где держишь пистолет?» — «Под блузой». — «А ты?» — «Под рубашкой». На Поперечной улице, у мастерской Роланда, и во дворе Мезон-Брюле, против мастерской инструментальщика Бернье, шептались кучки людей. Неистойвой своей горячностью бросался в глаза некий Маво, который ни в одной мастерской не работал больше недели, — хозяева увольняли его, «потому что приходилось все время спорить с ним». Маво был убит на

баррикаде на улице Менильмонтан. Прето, которому тоже суждено было умереть в схватке, вторил Маво и на вопрос: «Чего же ты хочешь?» — отвечал: «Восстания». Рабочие, собравшись на углу улицы Берси, поджидали некоего Лемарена, революционного уполномоченного предместья Сен-Марсо. Пароль передавался друг другу почти открыто.

Итак, 5 июня, в день, попеременно то солнечный, то дождливый, по улицам Парижа, с официальной, военной пышностью, из предосторожности несколько преувеличенной, следовал похоронный кортеж генерала Ламарка. Гроб сопровождали два батальона, с барабанами, затянутыми черным крепом, и с опущенными ружьями, десять тысяч национальных гвардейцев, с саблями на боку, и артиллерийские батареи национальной гвардии. Катафалк везла молодежь. За ним шли отставные офицеры с лавровыми ветвями в руках. Затем шествовало несметное множество людей, возбужденное, необычное, — члены общества Друзей народа, студенты юридического факультета, медицинского факультета, изгнанники всех национальностей; знамена испанские, итальянские, польские, немецкие, трехцветные длинные знамена, всевозможные флаги; дети, размахивающие зелеными ветками, плотники и каменотесы, как раз бастовавшие в это время, типографщики, приметные по их бумажным колпакам, — шли по двое, по трое, крича, почти все размахивая палками, а некоторые и саблями, беспорядочно и тем не менее дружно, иногда шумной толпой, иногда колонной. Отдельные группы выбирали себе предводителей; какой-то человек, вооруженный парой отчетливо проступавших под одеждой пистолетов, казалось, делал смотр плотным рядам, которые проходили перед ним. На боковых аллеях бульваров, на сучьях деревьев, на балконах, в окнах, на крышах, всюду виднелись головы мужчин, женщин, детей; все глаза были полны тревоги. Толпа вооруженная проходила, толпа смятенная глядела.

Правительство наблюдало в свою очередь. Оно наблюдало, держа руку на эфесе шпаги. На площади Людовика XV можно было заметить в боевой готовности, с полными патронташами, с заряженными ружьями и мушкетонами, четыре эскадрона карабинеров на конях, с трубачами во главе; в Латинском квартале и в Ботаническом

саду — муниципальную гвардию, построенную эшелонами от улицы к улице; на Винном рынке — эскадрон драгун; на Гревской площади — половину 12-го полка легкой кавалерии, другую половину — на площади Бастилии; 6-й драгунский — у Целестинцев; двор Лувра запрудила артиллерия. Остальные войска, не считая полков парижских окрестностей, стояли в казармах, ожидая приказа. Встревоженные власти держали наготове, чтобы обрушить их на грозные толпы, двадцать четыре тысячи солдат в городе и тридцать тысяч в пригороде.

В процессии передавались всевозможные слухи. Говорили о происках легитимистов; говорили о герцоге Рейхштадтском, которого бог приговорил к смерти в ту самую минуту, когда толпа прочила его в императоры. Некто, оставшийся неизвестным, объявил, что в назначенный час два завербованных мастера откроют народу ворота оружейного завода. На лицах большинства людей, шедших с обнаженной головой, преобладало выражение восторженности и, одновременно, подавленности. Там и сям среди этого множества народа, находившегося во власти столь неистовых, но благородных чувств, виднелись также физиономии настоящих злодеев, виднелись гнусные рты, словно кричавшие: «Пограбим!» Существуют такого рода волнения, которые словно взбалтывают глубину болот, и тогда со дна поднимается на поверхность туча грязи. Явление это возникает не без участия «хорошо организованной» полиции.

Шествие двигалось с какой-то лихорадочной медлительностью вдоль бульваров, от дома умершего до самой Бастилии. Время от времени накрапывал дождь, но толпа не замечала его. Несколько происшествий — гроб, обнесенный вокруг Вандомской колонны, камни, брошенные в замеченного на балконе герцога Фицжама, который не обнажил головы при виде шествия, галльский петух, сорванный с одного народного знамени и втоптаный в грязь, полицейский, раненный ударом сабли у ворот Сен-Мартен, офицер 12-го легкого кавалерийского полка, громко провозгласивший: «Я республиканец», Политехническая школа, неожиданно вырвавшаяся из своего вынужденного заточения и появившаяся здесь, крики: «Да здравствует Политехническая школа! Да здравствует

Республика!» — отметили путь процессии. У Бастилии длинные ряды любопытных устрашающего вида, спустившись из Сент-Антуанского предместья, присоединились к похоронному кортежу, и какое-то грозное волнение всколыхнуло толпу.

Слышали, как один человек сказал другому: «Видишь вон того, с рыжей бородкой, он-то и скажет, когда надо будет стрелять». Кажется, эта самая рыжая бородка снова появилась позднее, в той же самой роли, но во время другого выступления, в деле Кениссе.

Похоронная колесница миновала Бастилию, проследовала вдоль канала, пересекла маленький мост и достигла эспланады Аустерлицкого моста. Там она остановилась. Если бы в это время взглянуть на толпу с высоты птичьего полета, то она показалась бы кометой, голова которой находилась у эспланады, а хвост распускался на Колокольной набережной, площади Бастилии и тянулся по бульвару до ворот Сен-Мартен. У колесницы образовался круг. Огромная толпа умолкла. Говорил Лафайет, он прощался с Ламарком. Это была умилительная и торжественная минута. Все головы обнажились, забились все сердца. Внезапно среди толпы появился всадник в черном, с красным знаменем в руках, а некоторые говорили — с пикой, увенчанной красным колпаком. Лафайет отвернулся. Эксельманс покинул процессию.

Красное знамя подняло бурю и исчезло в ней. От Колокольного бульвара до Аустерлицкого моста по толпе прокатился гул, подобный шуму морского прибоя. Раздались громогласные крики: *Ламарка в Пантеон! Лафайета в ратушу!* Молодые люди при одобрительных восклицаниях толпы впряглись в похоронную колесницу и фиакр и повлекли Ламарка через Аустерлицкий мост, а Лафайета по Морландской набережной.

В толпе, окружавшей и приветствовавшей Лафайета, люди, заметив одного немца, по имени Людвиг Шнейдер, показывали на него друг другу; этот человек, умерший впоследствии столетним стариком, тоже участвовал в войне 1776 года, дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета.

Тем временем на левом берегу двинулась вперед муниципальная кавалерия и загородила мост, на правом —

драгуны тронулись от Целестинцев и развернулись на Морландской набережной. Народ, сопровождавший катафалк Лафайета, внезапно заметил их на повороте набережной и закричал: «Драгуны!» Драгуны, с пистолетами в кобурах, саблями в ножнах, мушкетами в чехлах при седлах, молча двигались вперед шагом, с видом мрачного выжидания.

В двухстах шагах от маленького моста они остановились. Фиакр Лафайета достиг их, они разомкнули ряды, пропустили его и снова сомкнулись. В это время драгуны и толпа вошли в соприкосновение. Женщины в ужасе бросились бежать.

Что произошло в эту роковую минуту? Никто не сумел бы ответить. Это было смутное мгновение, когда две тучи слились в одну. Кто говорил, что со стороны Арсенала была услышана фанфара, подавшая сигнал к атаке, а другие — что какой-то мальчик ударил кинжалом драгуна, с этого и началось. Несомненно лишь одно: внезапно раздались три выстрела, первым был убит командир эскадрона Шоле, вторым — глухая старуха, закрывавшая окно на улице Контрэскарп, третий задел эполет у одного офицера; какая-то женщина закричала: «Начали слишком рано!..» — и тут же, со стороны, противоположной Морландской набережной, показался остававшийся до сих пор в казармах эскадрон драгун, с саблями наголо, мчавшийся галопом по улице Бассомпьера и Колокольному бульвару, сметая все перед собой.

Теперь кончено: разражается буря, летят камни, гремят ружейные выстрелы, многие стремглав бегут вниз по скату и перебираются через малый рукав Сены, в настоящее время засыпанный; тесные дворы сстрова Лувье, этой обширной естественной крепости, наводнены сражающимися; здесь вырывают из оград колья, стреляют из пистолетов, воздвигается баррикада; молодые люди, оттесненные назад, пронесся бегом с похоронной колесницей по Аустерлицкому мосту и нападают на муниципальную гвардию, прибегают карабинеры, драгуны рубят саблями, толпа рассыпается в разные стороны, шум войны разносится по всем четырем концам Парижа, люди кричат: «К оружию!», люди бегут, падают, отступают, сопротивляются. Гнев раздувает мятеж, как ветер раздувает огонь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Волнения былых времен

Нет ничего более изумительного, чем первые часы закипающего мятежа. Все вспыхивает всюду и сразу. Было ли это предвидено? Да. Было ли подготовлено? Нет. Откуда это исходит? От уличных мостовых. Откуда это падает? С облаков. Здесь восстание имеет характер заговора, там — внезапного порыва гнева. Первый прохожий завладевает потоком толпы и направляет его куда хочет. Начало, исполненное ужаса, к которому примешивается какая-то зловещая веселость. Сперва раздаются крики, магазины запираются, вмиг исчезают выставки товаров; потом слышатся отдельные выстрелы; люди бегут; удары прикладов сотрясают ворота; слышно, как во дворах хохочут служанки, приговаривая: «Ну, теперь начнется потеха!»

Не прошло и четверти часа, как в двадцати различных местах Парижа почти в одно и то же время произошло следующее:

На улице Сент-Круа-де-ла Бретоннери десятка два молодых людей, длинноволосых и бородатых, вошли в кабачок и минуту спустя вышли оттуда с трехцветным длинным знаменем, обернутым крепом, и тремя вооруженными людьми во главе, — один из них держал саблю, другой ружье, третий пику.

На улице Нонендьер хорошо одетый буржуа, лысый, с брюшком, с высоким лбом, черной бородой и жесткими торчащими усами, звучным голосом открыто предлагал прохожим патроны.

На улице Сен-Пьер-Монмартр люди с засученными рукавами несли черное знамя, на нем белыми буквами начертаны были слова: *Республика или смерть!* На улицах Постников, Часовой, Монторгейль, Мандар появились кучки людей со знаменами, на которых блестели написанные золотыми буквами слова *секция* и номер. Одно из этих знамен было красное с синим и чуть заметной промежуточной белой полоской.

На бульваре Сен-Мартен разгромили оружейную мастерскую и три лавки оружейников, — одну на улице Бобур, вторую на улице Мишель-ле-Конт, третью на улице Тамплъ. В несколько минут тысячерукая толпа расхва-

тала и унесла двести тридцать ружей, — почти все двухствольные, — шестьдесят четыре сабли, восемьдесят три пистолета. Чтобы вооружить побольше людей, один брал ружье, другой — штык.

Напротив Гревской набережной молодые люди, вооруженные карабинами, располагались для стрельбы в квартирах, где остались только женщины. У одного из них было кремневое ружье. Эти люди звонили у дверей, входили и принимались делать патроны. Одна из женщин рассказывала: «Я и не знала, что это такое — патроны, мой муж потом сказал мне».

Толпа людей на улице Вьей-Одриет взломала двери лавки редкостей и унесла оттуда ятаганы и турецкое оружие.

Труп каменщика, убитого ружейным выстрелом, валялся на Жемчужной улице.

И всюду — на левом берегу, на правом берегу, на всех набережных, на бульварах, в Латинском квартале, в квартале рынков — запыхавшиеся мужчины, рабочие, студенты, члены секций, читали прокламации и кричали: «К оружию!», били фонари, распрягали повозки, разбирали мостовые, взламывали двери домов, вырывали с корнем деревья, шарили в погребах, выкатывали бочки, громоздили булыжник, бут, мебель, доски, строили баррикады.

Они заставляли буржуа помогать им. Заходили к женщинам, требовали у них сабли и ружья отсутствующих мужей, потом испанскими белилами писали на дверях: *Оружие сдано*. Некоторые ставили «собственное имя» на расписке в получении ружья и сабли, говоря при этом: *Завтра пошлите за ними в мэрию*. На улицах разоружали часовых-одиночек и национальных гвардейцев, шедших в муниципалитет. С офицеров срывали эполеты. На улице Кладбище Сен-Николà офицеру национальной гвардии, которого преследовала толпа, вооруженная палками и рапирами, с большим трудом удалось укрыться в одном доме, откуда он мог выйти только ночью и переодетый.

В квартале Сен-Жак студенты целыми роями выходили из своих меблированных комнат и поднимались по улице Сен-Иасент к кафе «Прогресс» или спускались вниз к кафе «Семь бильярдov» на улице Матюринцев. Там молодые люди, стоя на каменных тумбах у подъездов, распределяли оружие. На улице Трансннен, чтобы

построить баррикады, разнесли лесной склад. Лишь в одном только месте — на углу улиц Сент-Авуа и Симон-де-Фран — жители оказали сопротивление и сами разрушили баррикаду. И лишь в одном только месте повстанцы отступили: обстреляв отряд национальной гвардии, они оставили баррикаду, начатую на улице Тамплъ, и бежали по Канатной улице. Отряд подобрал на баррикаде красное знамя, пакет с патронами и триста пистолетных пуль. Гвардейцы разорвали знамя и унесли клочья на своих штыках.

То, что мы здесь рассказываем медленно и последовательно, происходило сразу во всем городе, среди невероятной суматохи, подобно множеству молний, вспыхнувших при одном раскате грома.

Меньше чем за час двадцать семь баррикад выросли точно из-под земли в одном только квартале рынков. Средоточием их был тот знаменитый дом № 50, который служил крепостью Жанну и его ста шести соратникам; защищенный с одной стороны баррикадой Сен-Мерри, а с другой — баррикадой на улице Мобюз, он господствовал над улицами — Арси, Сен-Мартен и улицей Обри-ле-Буше, являвшейся его фронтом. Две баррикады заходили под прямым углом — одна с улицы Монторгейль на улицу Большая Бродяжная, другая — с улицы Жофруа-Ланжевен на улицу Сент-Авуа. Это не считая бесчисленных баррикад в двадцати других кварталах Парижа, в Марэ, на горе Сент-Женевьев; не считая еще одной — на улице Менильмонтан, где виднелись ворота, сорванные с петель, и другой — возле маленького моста Отель-Дье, сооруженной из опрокинутой двуколки, в трехстах шагах от полицейской префектуры.

У баррикады на улице Гудочников какой-то хорошо одетый человек раздавал деньги ее строителям. У баррикады на улице Гренета появился всадник и вручил тому, кто казался начальником баррикады, сверток, похожий на сверток с монетами. «Вот, — сказал он, — на расходы, на вино и прочее». Молодой блондин, без галстука, переходил от баррикады к баррикаде, сообщая пароль. Другой, в синей полицейской фуражке, с обнаженной саблей, расставлял часовых. Кабачки и помещения привратников внутри, за баррикадами, были превращены в караульные посты. К тому же мятеж вел себя согласно законам иску-

нейшей военной тактики. Узкие, неровные, извилистые улицы, с бесчисленными углами и поворотами, были выбраны превосходно, в особенности окрестности рынков, представляющие собой сеть улиц, более запутанную и беспорядочную, чем лес. Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием в квартале Сент-Авуа. Человек, убитый на улице Понсо, как установили, обыскав его, имел при себе план Парижа.

В действительности же правила мятежом какая-то неведомая стремительная сила, носившаяся в воздухе. Восстание, мгновенно построив баррикады одною рукою, другою захватило почти все сторожевые посты гарнизона. Меньше чем в три часа, подобно вспыхнувшей пороховой дорожке, повстанцы отбили и заняли на правом берегу Арсенал, мэрию на Королевской площади, все Марэ, оружейный завод Попенкур, Галиот, Шато-д'О, все улицы возле рынков; на левом берегу — казармы Ветеранов, Сент-Пелажи, площадь Мобер, пороховой погреб Двух мельниц, все заставы. К пяти часам вечера они уже были хозяевами Бастилии, Ленжери, квартала Белые мантии; их разведчики вошли в соприкосновение с площадью Победы и угрожали Французскому банку, казарме Пти-Пер, Почтамту. Третью Парижа была в руках повстанцев.

Битва завязалась всюду с гигантским размахом; разоружения, домашние обыски, быстро захваченные лавки оружейников свидетельствовали о том, что сражение, начатое градом камней, продолжалось ливнем оружейных выстрелов.

К шести часам вечера пассаж Сомон стал полем боя. Мятежники заняли один его конец, войска — другой, противоположный. Перестреливались от одной решетки к другой. Наблюдатель, мечтатель, автор этой книги, отправившись взглянуть на вулкан поближе, оказался в пассаже между двух огней. Он мог укрыться от пуль, только спрятавшись за полуколоннами, разделявшими лавки; почти полчаса он провел в этом щекотливом положении.

Тем временем пробили сбор, национальные гвардейцы торопливо одевались и вооружались, отряды выходили из мэрий, полки из казарм. Против Якорного пассажа один барабанщик получил удар кинжалом. Другой, на Лебязьей улице, был окружен тридцатью молодыми

людьми, которые прорвали его барабан и отобрали саблю. Третий был убит на улице Гренье-Сен-Лазар. На улице Мишель-ле-Конт три офицера пали мертвыми один за другим. Много муниципальных гвардейцев, раненных на Ломбардской улице, отступили.

Перед Батавским подворьем отряд национальной гвардии обнаружил красное знамя с такой надписью: *Республиканская революция, № 127*. Была ли это революция на самом деле?

Восстание превратило центр Парижа в какую-то недоступную, в извилинах улиц, огромную цитадель.

Там находился очаг восстания; очевидно, все дело было в нем. Остальное представляло собою лишь мелкие стычки. В центре до сих пор еще не дрались, это и доказывало, что вопрос решался именно там.

В некоторых полках солдаты колебались, и это увеличивало ужасающую неизвестность исхода. Они вспоминали народное ликование, с которым была встречена в июне 1830 года нейтральность 53-го линейного полка. Два человека, бесстрашные и испытанные в больших войнах, маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками, — Бюжо под начальством Лобо. Огромные патрули, состоявшие из пехотных батальонов, окруженные ротами национальной гвардии и предшествоваемые полицейскими приставами в шарфах, производили разведку занятых повстанцами улиц. А повстанцы ставили дозоры на перекрестках и дерзко высылали патрули за линию баррикад. Обе стороны наблюдали друг за другом. Правительство, располагая целой армией, все же было в нерешительности; близилась ночь, и слышался набат Сен-Мерри. Тогдашний военный министр, маршал Сульт, видевший Аустерлиц, смотрел на это мрачно.

Эти старые морские волки, привыкшие к правильным военным приемам и обладавшие в качестве источника силы и руководства только знанием тактики — этого компаса сражений, совершенно растерялись при виде необозримой бурлящей стихии, которая зовется народным гневом. Ветром революции управлять нельзя.

Национальные гвардейцы предместья прибежали второпях в беспорядке. Батальон 12-го легкого полка прибыл на рысях из Сен-Дени, 14-й линейный пришел из Курб-

вуа, батареи военной школы заняли позиции на площади Карусель; из Венсенского леса спустились пушки.

В Тюильри становилось пустынно, но Луи-Филипп сохранял полное спокойствие.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Своеобразие Парижа

Как мы уже говорили, Париж в течение двух лет видел не одно восстание. Обычно, за исключением взбунтовавшихся кварталов, ничто не отличается столь удивительным спокойствием, как облик Парижа во время мятежа. Париж очень быстро свыкается со всем, — ведь это всего лишь мятеж, а у Парижа так много дел, что он не беспокоится из-за всякого пустяка. Только такие огромные города могут представлять собой подобное зрелище. Только в их бесконечных пределах совместима гражданская война с какой-то странной невозмутимостью. Каждый раз, когда в Париже начинается восстание, когда слышится барабан, сигналы сбора и тревоги, лавочник ограничивается тем, что говорит:

— Кажется, на улице Сен-Мартен заварилась каша. Или:

— В предместье Сент-Антуан.

Часто он беззаботно прибавляет:

— Где-то в той стороне.

Позже, когда уже можно различить мрачную и раздражающую душу трескотню перестрелки и ружейные залпы, лавочник говорит:

— Дерутся там, что ли? Так и есть, пошла драка!

Немного спустя, если мятеж приближается и берет верх, хозяин лавки быстро закрывает ее и поспешно напяливает мундир, иначе говоря, спасает свои товары и подвергает опасности самого себя.

Пальба на перекрестке, в пассаже, в тупике. Захватывают, отдают и снова берут баррикады; течет кровь, картечь решетит фасады домов, пули убивают людей в постелях, трупы усеивают мостовые. А пройдя несколько улиц, можно услышать стук бильярдных шаров в кофейнях.

Театры открыты, там разыгрываются водевили; любопытные беседуют и смеются в двух шагах от улиц, где торжествует война. Проезжают фиакры, прохожие идут обедать в рестораны, и иногда в тот самый квартал, где сражаются. В 1831 году стрельба была приостановлена, чтобы пропустить свадебный псезд.

Во время восстания 12 мая 1839 года на улице Сен-Мартен маленький хилый старичок, тащивший увенчанную трехцветной тряпкой ручную тележку, в которой стояли графины с какой-то жидкостью, переходил от баррикады к осаждавшим ее войскам и от войск к баррикаде, услужливо предлагая стаканчик настойки то правительству, то анархии.

Нет ничего более поразительного, но такова характерная особенность парижских мятежей; ни в одной из других столиц ее не встретишь. Для этого необходимы два условия — величие Парижа и его веселость. Надо быть городом Вольтера и Наполеона.

Однако на этот раз, в вооруженном выступлении 5 июня 1832 года, великий город почувствовал нечто, быть может более сильное, чем он сам. Он испугался. Всюду, в наиболее отдаленных и «безучастных» кварталах, виднелись запертые среди бела дня двери, окна и ставни. Храбрецы вооружались, трусы прятались. Исчез и праздный и занятой прохожий. Многие улицы были безлюдны, словно в четыре часа утра. Передавались тревожные подробности, распространялись зловещие слухи о том, что *они* овладели Французским банком; что в одном только монастыре Сен-Мерри шестьсот человек укрепились в церкви и засели за проделанными в стенах бойницами; что пехотные войска ненадежны; что Арман Карель видел маршала Клозеля, и маршал сказал: *Сначала раздобудьте полк*; что Лафайет болен, но тем не менее заявил им: *Я ваш. Я буду с вами всюду, где только найдется место для носилок*; что нужно быть настороже; что ночью явятся люди, которые пойдут грабить уединенные дома в пустынных уголках Парижа (здесь можно узнать разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства); что целая батарея заняла позицию на улице Обри-ле-Буше, что Лобо и Бюжо согласовали свои действия и в полночь, или, самое позднее, на рассвете четыре колонны одновременно

выступят к центру восстания — первая от Бастилии, вторая от ворот Сен-Мартен, третья от Гревской площади, четвертая от рынков; что, впрочем, возможно, войска оставят Париж и отступят к Марсову полю; что вообще неизвестно, чего надо ждать, но на этот раз дело обстоит несомненно серьезно. Всех тревожила нерешительность маршала Сульта. Почему он не атакует немедленно? Было очевидно, что он крайне озабочен. Казалось, старый лев учуял в этом мраке какое-то неведомое чудовище.

Наступил вечер, театры не открылись, патрули, разъезжая с сердитым видом, обыскивали прохожих, арестовывали подозрительных. К десяти часам было задержано более восьмисот человек; полицейская префектура была переполнена, тюрьма Консьержери переполнена, тюрьма Форс переполнена. В частности, в Консьержери длинное подземелье, именовавшееся «Парижской улицей», было все покрыто охапками соломы, на которых валялось множество арестованных; некто Лагранж, лионец, мужественно поддерживал их своим красноречием. Шуршание соломы под этими копошащимися на ней людьми казалось шумом ливня. В других местах задержанные спали вповалку под открытым небом, во внутренних дворах тюрем. Повсюду чувствовалась тревога и какой-то мало свойственный Парижу трепет.

В домах баррикадировались; жены и матери выражали беспокойство, только и слышалось: «Боже мой, он еще не вернулся!» Изредка доносился отдаленный грохот повозок. Стоя на порогах дверей, прислушивались к гулу голосов, крикам, суматохе, к глухому и неясному шуму, о котором говорили: «Это кавалерия» или: «Это мчатся артиллерийские повозки»; прислушивались к рожкам, барабанам, ружейной трескотне, а больше всего к надрывному набату Сен-Мерри. Ждали первого пушечного выстрела. На углах улиц вдруг появлялись люди и исчезали, крича: «Идите домой!» И все торопились запереть двери на засовы. Спрашивали друг друга: «Чем все это кончится?» С минуты на минуту, по мере того как сгущалась ночь, на Париж, казалось, все гуще ложились зловещие краски грозного зарева восстания.

Книга одиннадцатая

АТОМ БРАТАЕТСЯ С УРАГАНОМ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Несколько разъяснений относительно корней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию

В тот миг, когда восстание, вспыхнувшее при столкновении народа и войска перед Арсеналом, вызвало движение передних рядов назад, в толпу, сопровождавшую погребальную колесницу и, так сказать, навалившуюся всей длиной бульваров на головную часть процессии, начался ужасающий отлив людей. Все это скопище дрогнуло, ряды расстроились, все бросились бежать, уходить, спасаться, — одни, призывая к сопротивлению, другие, поблуднев от страха. Огромная река людей, покрывавшая бульвары, мгновенно разделилась, выступила из берегов направо и налево и разлилась потоками по двумстам улицам, струясь ручьями, как из прорвавшейся плотины. В это время какой-то оборванный мальчишка, спускавшийся по улице Менильмонтан с веткой цветущего дрока, которую он сорвал на высотах предместья Бельвиль, обнаружил на лотке торговли всяким хламом старый седельный пистолет. Он бросил ветку на мостовую и, крикнув: «Мамаша, как бишь тебя звать, я забираю твою машинку!» — убежал с пистолетом.

Минуты две спустя волна перепуганных буржуа, устремившаяся по улице Амело и по Нижней, встретила мальчика, который размахивал пистолетом и напевал:

Днем видно все, зато ночами
Мы ни черта не видим с вами!
Любой забористый стишок
Для буржуа — что вилы в бок
Эи, колпаки! Господь — свидетель,
Вы позабыли добродетель.

То был маленький Гаврош, отправлявшийся на войну. На бульваре он заметил, что у пистолета нет собачки. Кто сочинил этот куплет, в такт которому он шагал, и все другие песни, которые он охотно распевал при случае? Бог знает. Возможно, они были его собственные. Помимо того Гаврош хорошо знал все ходячие народные песенки и присоединял к ним свое собственное щебетание. Проказливый гном и уличный мальчишка, он создавал попури из голосов природы и голосов Парижа. К птичьему репертуару он добавлял все песенки рабочих мастерских. Он водился с подмастерьями живописцев, этим родственным ему племенем. Кажется, он работал три месяца типографским учеником. Как-то ему даже пришлось выполнить поручение для господина Баур-Лормиана, одного из сорока Бессмертных. Гаврош был гамен, причастный к литературе.

Кстати сказать, Гаврош и не подозревал, что в ту ненастную, дождливую ночь, когда он предложил двум карапузам воспользоваться гостеприимством своего слона, он выполнил роль провидения для собственных братьев. Братья вечером, отец утром — вот какова была его ночь. Покинув на рассвете Балетную улицу, он поспешно вернулся к слону, мастерски извлек оттуда обоих малышей, разделил с ними кой-какой изобретенный им завтрак, затем ушел, доверив их той доброй матери-улице, которая, можно сказать, воспитала его самого. Расставаясь с ними, он назначил им свидание вечером здесь же и на прощание произнес следующую речь: «Теперь драла, иначе говоря, я даю тягу, или, как выражаются при дворе, удираю. Ребята, если вы не найдете папу-маму, возвращайтесь сюда вечером. Я вам дам поужинать и уложу спать». Оба мальчика, подобранные полицейским сержантом и уведенные в участок, или украденные каким-нибудь фокусником, или просто заблудившиеся в огромной китайской головоломке Парижа, не возвратились. На дне нашего общества полно таких исчезнувших следов. Гаврош больше их не видел. Два с половиной или три месяца протекло с той ночи. Не раз Гаврош почесывал себе затылок, приговаривая: «Куда, к чорту, девались мои ребята?»

Между тем он прибыл, с пистолетом в руке, на улицу Капустный мост. Он заметил, что на этой улице осталась

открытой только одна лавчонка, и притом, что заслуживало внимания, лавчонка пирожника. Это был ниспосланный провидением случай поесть еще разок яблочного пирожка, перед тем как ринуться в неизвестность. Гаврош остановился, пошарил во всех своих карманах и кармашках, вывернул их и, не найдя ничего, даже одного су, закричал: «Караул!»

Тяжело лишаться последнего в жизни пирожка!

Это не помешало, однако, Гаврошу продолжать свой путь.

Через две минуты он был на улице Сен-Луи. Переходя улицу Королевский парк, он почувствовал потребность вознаградить себя за недоступный яблочный пирожок и доставил себе глубочайшее удовлетворение, принявшись срывать среди бела дня театральные афиши.

Немного подалее, увидев группу пышущих здоровьем прохожих, показавшихся ему домовладельцами, он пожал плечами и послал им вслед плевков философской желчи:

— До чего они жирные, эти самые рантье! Знай едят. Набивают себе зобы до отказа. А спросите-ка их, что они делают со своими деньгами? Они и сами не скажут. Они их прожирают, вот что! Жрут сколько влезет в брюхо.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гаврош в походе

Размахивать среди улицы пистолетом без собачки — занятие, имеющее весьма важное общественное значение, и Гаврош чувствовал, что его пыл возрастает с каждым шагом. Между обрывками распеваемой им Марсельезы он выкрикивал:

— Все идет отлично! У меня здорово болит левая лапа, я ушиб мой ревматизм, но я доволен, граждане. Держитесь, буржуа, вы у меня зачихаете от моих зажигательных песенок. Что такое шпики? Собачья порода. Нет, чорт возьми, не надо оскорблять собак! Мне так нужна собачка в пистолете. Друзья мои, я шел бульваром, там варится, там закипает, там бурлит. Пора снимать пенку с горшка. Мужчины, вперед! Пусть вражья

«Кровь поля зальет! Я за отечество умру, не видеть мне моей подружки! О да, Нини, конец, ни-ни! Но все равно, да здравствует веселье! Будем драться, чорт побери! Хватит с меня деспотизма!»

В эту минуту упала лошадь проезжавшего мимо улана национальной гвардии; Гаврош положил пистолет на мостовую, поднял всадника, затем помог поднять лошадь. После этого он подобрал свой пистолет и пошел дальше.

На улице Торињи все было тихо и спокойно. Это равнодушие, присущее Марэ, представляло резкий контраст с огромным возбуждением вокруг. Четыре кумушки беседовали у входа в дом. Если в Шотландии известны трио ведьм, то в Париже — квартеты кумушек, и «Ты будешь королем» столь же мрачно могло быть брешено Бонапарту на перекрестке Бодуайе, как в свое время Макбету — в переске Армиюра. Это было бы почти такое же карканье.

Но кумушки с улицы Торињи — три привратницы и одна тряпичница с корзиной и крюком — занимались только собственными делами.

Казалось, все четыре стоят у четырех углов старости — одряхления, немощи, нужды и печали.

Тряпичница была смиренной. В этом обществе, живущем на вольном воздухе, тряпичница кланяется, привратница покровительствует. Причина этого коренится в куче отбросов за уличной тумбой: она бывает такой, какой создают ее привратницы, скромной или постылой, — по прихоти того, кто сгребает кучу. Случается, что метла добросердечна.

Тряпичница была благодарна поставщицам ее мусорной корзинки, она улыбалась трем привратницам, и какой улыбкой! Разговоры между ними шли примерно такие:

— А ваша кошка все такая же злоюка?

— Боже мой, кошки, сами знаете, от природы враги собак. Собаки — вот кто может на них пожаловаться.

— Да и люди тоже.

— Однако кошачьи блохи не переходят на людей.

— Это пустяки, вот собаки — те опаснее. Я помню год, когда развелось столько собак, что пришлось писать об этом в газетах. Это было в те времена, когда в

Тюильри большие бараны возили маленькую колясочку Римского короля. Вы помните Римского короля?

— А мне больше нравился герцог Бордоский.

— А я знала Людовика Семнадцатого. Я больше люблю Людовика Семнадцатого.

— Говядина-то как вздорожала, мамаша Патагон!

— Ах, и не говорите, мясники это просто мерзавцы! Мерзкие мерзавцы. Одни только обрезки и получаешь.

Тут вмешалась тряпичница.

— Да, сударыни мои, с торговлей дело плохо. В отбросах ничего не найдешь. Ничего больше не выкидывают. Все поедают.

— Есть люди и победнее вас, тетушка Варгулем.

— Что правда, то правда, — угодливо согласилась тряпичница, — у меня все-таки есть профессия.

После недолгого молчания тряпичница, уступая потребности похвастаться, присущей натуре человека, прибавила:

— Как вернусь утром домой, так сразу разбираю плетенку и принимаюсь за сервировку (повидимому, она хотела сказать: сортировку). И все раскладываю по кучкам у меня в комнате. Потом я убираю тряпки в корзину, огрызки фруктов — в лохань, простые лоскутья — в шкаф, шерстяные — в комод, бумагу — в угол под окном, съедобное — в миску, осколки стаканов — в камин, стоптанные башмаки — за двери, кости — под кровать.

Гаврош, остановившись позади, слушал.

— Старушки, — спросил он, — по какому это случаю вы завели разговор о политике?

Целый залп ругательств, учетверенный силой четырех глоток, обрушился на него.

— Еще один злодей тут как тут!

— Что это он держит в своей культияпке? Пистолет?

— Скажите на милость, этакий негодный мальчишка!

— Такие не успокоятся, пока не сбросят правительство!

Гаврош, исполненный презрения, ограничился вместо всякого возмездия тем, что щедро, всей пятерней, сделал им нос.

Тряпичница крикнула:

— Ах ты, бездельник босопятый!

Та, что именовалась мамашей Патагон, яростно всплеснула руками:

— Быть беде, это уж наверняка. Есть тут по соседству один молодчик с бороденкой, он мне попадался каждое утро с красоткой в розовом чепце под ручку, а нынче смотрю, — уж у него ружье под ручкой. Мамаша Баше мне говорила, что на прошлой неделе была революция в... в... — ну, там, где этот теленок! — в Понтуазе. А теперь посмотрите-ка на этого с пистолетом, на этого мерзкого озорника! Кажется, у Целестиншев полно пушек. Что же еще может сделать правительство с негодяями, которые сами не знают, что выдумать, лишь бы не давать людям жить, и ведь только-только начали успокаиваться после всех несчастий! Господи боже мой, я-то видела нашу бедную королеву, как ее везли на телеге! И опять из-за всего этого вздорожает табак! Это подлость! А тебя-то, разбойник, я уж, наверное, увижу на гильотине!

— Ты сопишь, старушенция, — ответил Гаврош. — Высморкай получше свой хобот.

И отправился дальше.

Когда он дошел до Мощеной улицы, он вспомнил о тряпичнице и разразился следующим монологом:

— Напрасно ты ругаешь революционеров, мамаша Мусорная Куча. Этот пистолет на тебя же поработает. Чтобы ты нашла побольше съедобного для своей корзинки.

Внезапно он услышал шум позади: погнавшаяся за ним привратница Патагон издали грозила ему кулаком и кричала:

— Ублюдок несчастный!

— Плевать мне на это с высокого дерева, — ответил Гаврош.

Немного погодя он прошел мимо особняка Ламуаньона. Здесь он испустил следующий клич:

— Вперед, на бой!

Но тут его охватила тоска. С упреком посмотрел он на свой пистолет, казалось, пытаюсь его растрогать.

— Я иду биться, — сказал он, — а ты вот не бьешь!

Одна собачка может отвлечь внимание от другой. Мимо пробежал тощий пуделек. Гаврош разжалобился. — Бедненький мой тьяв-тяв, — сказал он ему, — ты, верно, проглотил целый бочонок, у тебя все обручи наружу.

Затем он направился к Орм-Сен-Жерве.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Справедливое негодование парикмахера

Достойный парикмахер, выгнавший двух малышей, для которых Гаврош разверз гостеприимное чрево слона, в это время был занят в своем заведении бритьем старого солдата-легионера, служившего во время Империи. Между ними завязалась беседа. Разумеется, парикмахер говорил с ветераном о мятеже, затем о генерале Ламарке, а от Ламарка перешли к императору. Если бы Прюдом присутствовал при этом разговоре брадсбрея с солдатом, он его приукрасил бы и назвал: «Диалог бритвы и сабли».

— Сударь, — спросил парикмахер, — а как император держался на лошади?

— Плохо. Он не умел падать. Поэтому он никогда не падал.

— А хорошие кони были у него? Должно быть, прекрасные?

— В тот день, когда он мне пожаловал крест, я разглядел его лошадь. То была рысистая кобыла, вся белая. У нее были очень широко расставленные уши, глубокая седловина, изящная голова с черной звездочкой, очень длинная шея, крепкие колени, выпуклые бока, покатые плечи, мощный круп. И немного больше пятнадцати пядей ростом.

— Славная лошадка, — сказал парикмахер.

— Да, это была верховая лошадь его величества.

Парикмахер почувствовал, что после таких значительных слов подобает немного помолчать; он сообразовался с этим, затем снова начал:

— Император был ранен только раз, не правда ли, сударь?

Старый солдат ответил спокойным и важным тоном человека, который присутствовал при этом:

— В пятку. Под Ратисбоном. Я его никогда не видел так хорошо одетым, как в тот день. Он был чистенький, как новая монетка.

— А вы, господин ветеран, надо думать, были ранены не раз?

— Я? — спросил солдат. — Пустяки! Под Маренго получил два удара саблей по затылку, под Аустерлицем — пулю в правую руку, другую — в левую ляжку под Иеной, под Фридландом — удар штыком, вот сюда, под Москвой — семь или восемь ударов пикой куда попало, под Люценом осколок бомбы раздробил мне палец... Ах да, еще в битве при Ватерлоо я получил картечную пулю в бедро. Вот и все.

— Как прекрасно умереть на поле боя! — с пиндарическим пафосом воскликнул цырюльник. — Что касается меня, то, честное слово, вместо того чтобы подышать на дрянной постели от какой-нибудь болезни, медленно, понемногу, каждый день, с лекарствами, припарками, спринцовками и слабительными, я предпочел бы получить в живот пушечное ядро!

— У вас губа не дура, — сказал солдат.

Едва он это сказал, как оглушительный грохот потряс лавочку. Стекло витрины внезапно украсилось звездобразной трещиной.

Парикмахер побледнел как полотно.

— О боже, — воскликнул он, — это то самое!

— Что?

— Пушечное ядро.

— Вот оно, — сказал солдат.

И он поднял что-то, катившееся по полу. То был булыжник.

Парикмахер подбежал к разбитому стеклу и увидел Гавроша, убежавшего со всех ног к рынку Сен-Жан. Проходя мимо лавочки парикмахера, Гаврош, таивший в себе обиду за малышей, не мог воспротивиться желанию приветствовать его по-своему и швырнул камнем в окно.

— Понимаете ли, — прохрипел цырюльник, у которого бледность перешла в синеву, — они делают пакости лишь бы напакостить! Чем его обидели, этого мальчишку?

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Ребенок удивляется старику

Между тем на рынке Сен-Жан, где уже успели разоружить пост, произошло стратегическое соединение Гавроша с кучкой людей, которую вели Анжольрас, Курфейрак, Комбефер и Фейи. Почти все были вооружены. Баорель и Жан Прувер разыскиали их и увеличили собою отряд. У Анжольраса была охотничья двустволка, у Комбефера ружье национальной гвардии с номером легисна, а за поясом — два пистолета, высывавшихся из-под расстегнутого сюртука; у Жана Прувера старый кавалерийский мушкетон, у Баореля карабин; Курфейрак размахивал тростью, из которой вытащил спрятанный в ней клинок. Фейи, с обнаженной саблей в руке, шествовал впереди, крича: «Да здравствует Польша!»

Они шли с Морландской набережной, без галстуков, без шляп, запыхавшиеся, промокшие под дождем, с горящими глазами. Гаврош спокойно подошел к ним.

— Куда мы идем?

— Иди с нами, — ответил Курфейрак.

Позади Фейи шел, или, вернее, прыгал, Баорель, чувствовавший себя среди мятежа, как рыба в воде. Он был в малиновом жилете и имел при себе запас слов, способных сокрушить все, что угодно. Его жилет потряс какого-то прохожего, который, потеряв голову от страха, закричал:

— Красные пришли!

— Красные, красные! — подхватил Баорель. — Что за нелепый страх, буржуа! Я вот, например, нисколько не боюсь алых маков, и красная шапочка не внушает мне никакого ужаса. Поверьте мне, буржуа, предоставим бояться красного только рогатому скоту.

Где-то на стене он заметил листок бумаги самого миролюбивого свойства — разрешение есть яйца; это было великопостное послание парижского архиепископа своей «пастве».

Баорель воскликнул:

— Паства! Это вежливый способ сказать: «стадо».

И он сорвал со стены послание, покорив этим сердце

Гавроша. С этой минуты он стал присматриваться к Баорелю.

— Баорель, — заметил Анжольрас, — ты неправ. Тебе бы следовало оставить это разрешение в покое, не в нем дело, ты зря расходуешь гнев. Береги боевые припасы. Не следует открывать огонь в одиночку, ни ружейный, ни душевный.

— У каждого своя манера, — возразил Баорель. — Эти епископские упражнения в прозе меня оскорбляют, я хочу есть яйца без всякого разрешения. У тебя манера — кипеть под ледком, ну а я развлекаюсь. К тому же я вовсе не расходую себя, я беру разбег; а послание я разорвал, клянусь Геркулесом, только чтобы войти во вкус!

Слово «Геркулес» поразило Гавроша. Он пользовался всяким случаем чему-нибудь поучиться, а к этому срыва-телю объявлений он возымел почтительные чувства. Он спросил его:

— Что это значит «Геркулес»?

Баорель ответил:

— По-латыни это обозначает: чорт меня побери.

Здесь Баорель увидел в окне смотревшего на них бледного молодого человека с черной бородкой, повидимому одного из Друзей азбуки, и крикнул ему:

— Живо патронов! *Para bellum!*¹

— Красивый мужчина! Это верно, — сказал Гаврош, теперь уже понимавший латынь.

Их сопровождала шумная толпа — студенты, художники, молодые люди, состоявшие членами Кугурды из Экса, рабочие, портовые грузчики, вооруженные дубинами и штыками, а иные и с пистолетами за поясом, как Комбефер. В этой толпе шел какой-то старик, с виду очень дряхлый. Он был без всякого оружия, но старался не отставать, хотя и казался погруженным в какие-то думы. Гаврош заметил его.

— Этшкое? — спросил он.

— Так, старичок.

То был г-н Мабеф.

¹ *Para bellum* — готовься к войне (лат.). Произношение *bellum* (лат.) — война сходно с *bel homme* (франц.) — красивый мужчина.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Старик

Расскажем о том, что произошло.

Анжольрас и его друзья проходили по Колокольному бульвару, мимо казенных хлебных амбаров, когда драгуны бросились в атаку. Анжольрас, Курфейрак и Комбефер принадлежали к числу тех, кто двинулся по улице Бассомпьера с криком: «На баррикады!» На улице Ледигера они встретили медленно шедшего старика.

Их внимание привлекло то, что старика шатало из стороны в сторону, точно пьяного. К тому же, хотя все утро морссило, да и теперь шел довольно сильный дождь, шляпу он держал в руке. Курфейрак узнал дедушку Мабефа. Он был с ним знаком, так как не раз провожал Мариуса до самого его дома. Зная мирный и более чем робкий нрав бывшего церковного старосты и любителя книг, он изумился, увидев в этой сутлоке, в двух шагах от надвигающейся конницы, старика, который разгуливал с непокрытой головой, под дождем, среди пуль, почти в самом центре перестрелки; он подошел к нему, и здесь между двадцатипятилетним бунтовщиком и восьмидесятилетним старцем произошел следующий диалог:

— Господин Мабеф, ступайте домой.

— Почему?

— Начинается суматоха.

— Отлично.

— Будут рубить саблями, стрелять из ружей, господин Мабсф.

— Отлично.

— Палить из пушек.

— Отлично. А куда вы все идете?

— Мы идем свергать правительство.

— Отлично.

И он пошел с ними. С этого времени он не произнес ни слова. Его шаг сразу стал твердым; рабочие хотели взять его под руки, он отказался, отрицательно покачив головой. Он шел почти в первом ряду колонны, и все его движения были как у человека бодрствующего, а лицо — как у спящего.

— Что за странный старикан, — перешептывались

студенты. В толпе пронесся слух, что это старый член Конвента, старый цареубийца.

Все это скопище народа вступило на Стекольную улицу. Маленький Гаврош шагал впереди, во все горло распевая песенку и как бы изображая собой живой рожок горниста. Он пел:

Вот луна поднялась в небеса
— Не пора ли? Ложится роза, —
Молвил Жан несговорчивой Жанне.

Ту, ту, ту
На Шату.

Король, да бог да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Чтобы клюкнуть, — не смейтесь, друзья! —
Встали дó свету два воробья
И росы наладились в тимьяне.
Зи, зи, зи
На Пасси.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Точно пьяницы, в дым напились,
Точно два петуха подрались, —
Тигр от смеха упал на поляне.
Дон, дон, дон
На Медон.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Чертыхались на все голоса.
— Не пора ли? Ложится роса. —
Молвил Жан несговорчивой Жанне.
Тен, тен, тен.
На Пантен.

Король, да бог, да рваный сапог, да ломаный грош —
все мое богатство.

Они направлялись к Сен-Мерри.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Новобранцы

Толпа увеличивалась каждое мгновение. Возле Щепной улицы к ней присоединился высокий седоватый человек; Курфейрак, Анжольрас и Комбефер заметили его

вызывающую и грубую внешность, но никто из них не знал его. Гаврош шел, поглощенный пением, свистом, шумом, движением вперед, постукивал в ставни лавочек рукояжкой своего увечного пистолета и вовсе не обратил внимания на этого человека.

Случилось так, что, свернув на Стекольную улицу, толпа проходила мимо подъезда Курфейрака.

— Это очень кстати, — сказал Курфейрак, — я забыл дома кошелек, и я потерял шляпу. — Он оставил толпу и быстро, шагая через четыре ступеньки, взбежал к себе наверх. Там он взял старую шляпу и кошелек, а также захватил с собой довольно объемистый квадратный ящик, который был запрятан у него в грязном белье. Когда он бегом спускался вниз, его окликнула привратница:

— Господин де Курфейрак!

— Привратница, как вас зовут? — в ответ спросил Курфейрак.

Привратница опешила.

— Но вы же хорошо знаете, что меня зовут тетушка Вевен.

— Ну так вот, если вы еще раз назовете меня господин де Курфейрак, то я вас буду звать тетушка де Вевен. А теперь говорите, в чем дело? Что такое?

— Здесь кто-то вас спрашивает.

— Кто такой?

— Не знаю.

— Где он?

— У меня, в привратничкой.

— К чорту! — крикнул Курфейрак.

— Но он уже больше часа ждет вас, — заметила привратница.

В это время из каморки привратницы вышел юноша, по виду молодой рабочий, худой, бледный, маленький, веснушчатый, в дырявой блузе и заплатах плисовых панталонах, больше похожий на переряженную девушку, чем на мужчину, и обратился к Курфейраку, причем голос его, кстати сказать, несколько не походил на женский.

— Могу я повидать господина Мариуса, позвольте вас спросить?

— Его нет.

— Вернется он сегодня вечером?

— Я ничего не знаю.

И Курфейрак прибавил:

— Что до меня, то я не вернусь.

Молодой человек пристально взглянул на него и спросил:

— Почему?

— Потому.

— Куда же вы идете?

— А тебе какое дело?

— Можно мне понести ваш ящик?

— Я иду на баррикаду.

— Можно мне пойти с вами?

— Как хочешь! — ответил Курфейрак. — Улица свободна, мостовые — для всех.

И он бегом бросился догонять своих друзей. Нагнав их, он поручил одному из них нести ящик. Только через четверть часа он заметил, что молодой человек действительно последовал за ними.

Толпа никогда не идет именно туда, куда хочет. Мы объяснили уже, что ее несет, словно порывом ветра. Она миновала Сен-Мерри и оказалась, сама хорошенько не зная каким образом, на улице Сен-Дени.

Книга двенадцатая

«КОРИНФ»

ГЛАВА ПЕРВАЯ

История «Коринфа» со времени его основания

Нынешние парижане, входя на улицу Рамбюто со стороны Центрального рынка, замечают направо, против улицы Мондетур, лавку корзинщика, вывеской которому служит корзина, изображающая императора Наполеона Первого со следующей надписью:

**НАПОЛЕОН
ИЗ ИВЫ ЗДЕСЬ СПЛЕТЕН**

Однако они нисколько не подозревают о тех страшных сценах, свидетелем которых был этот самый квартал каких-нибудь тридцать лет тому назад.

Именно здесь была улица Шанврери, которая в старину писалась Шанверери, и прославленный кабачок, именуемый «Коринфом».

Вспомним все, что говорилось о воздвигнутой в этом месте баррикаде, которую, впрочем, затмила баррикада Сен-Мерри. На эту-то замечательную баррикаду по улице Шанврери, теперь покрытую глубоким мраком забвения, мы и хотим пролить немного света.

Да будет нам дозволено для ясности рассказа прибегнуть к простому способу, уже примененному нами при описании Ватерлоо. Кто пожелал бы достаточно точно представить себе массивы домов, возвышавшихся в то время поблизости от церкви Сент-Эташ, в северо-восточном углу Центрального рынка, где сейчас начинается улица Рамбюто, должен лишь мысленно начертить букву N, взяв вершиной улицу Сен-Дени, а основанием — рынок;

вертикальные ее черточки обозначали бы улицы Большую Бродяжную и Шанврери, а поперечина — улицу Малую Бродяжную. Старая улица Мондетур перерезала все три линии буквы N под самыми неожиданными углами. Таким образом, путаный лабиринт этих четырех улиц создавал на пространстве в сто квадратных туазов, между Центральным рынком и улицей Сен-Дени — с одной стороны, и улицами Лебяжьей и Проповедников — с другой, семь маленьких кварталов причудливой формы, различной величины, расположенных вкривь и вкось, как бы случайно, и едва отделенных друг от друга узкими щелями, подобно каменным глыбам на стройке.

Мы говорим «узкими щелями», так как не можем дать более ясного понятия об этих темных улочках, тесных, коленчатых, окаймленных ветхими восьмиэтажными домами. Эти развалины были столь преклонного возраста, что на улицах Шанврери и Малой Бродяжной фасады подпирались рядом балок, тянувшихся от дома к дому. Улица была узкой, а сточная канава широкой, прохожие брели по вечно мокрой мостовой, пробираясь возле лавчонок, похожих на погреба, возле толстых каменных тумб с железными обручами, возле невыносимо зловонных мусорных куч и ворот с огромными вековыми решетками. Улица Рамбюто стерла все это.

Название Мондетур¹ отлично передает извилистость всех этих улиц. Еще выразительнее говорит об этом название улицы *Пируэт*, примыкающей к улице Мондетур.

Прохожий, свернувший с улицы Сен-Дени на улицу Шанврери, видел, что она мало-помалу суживается перед ним, как если бы он вошел в удлинненную воронку. В конце этой коротенькой улочки он обнаруживал, что впереди со стороны Центрального рынка путь преграждает ряд высоких домов, и мог полагать, что попал в тупик, если бы не замечал направо и налево двух темных проходов, которыми он мог пробраться. Это и была улица Мондетур, одним концом соединявшаяся с улицей Проповедников, а другим — с улицами Лебяжьей и Малой Бродяжной. В глубине этого своего рода тупика, на углу правого прохода, стоял дом пониже остальных и выдававшийся на улицу наподобие мыса.

¹ Mondétour (франц.) — извилистая гора.

Именно в этом доме, только о двух этажах, бойко обосновался на целых три столетия знаменитый кабачок. Он наполнял шумным весельем то самое место, которое старик Теофиль отметил следующим двустишием:

Там качается страшный скелет,
То повесился бедный влюбленный.

Место для этого заведения было подходящее, кабатчики наследовали его от отца к сыну.

Во времена Матюрена Ренье кабачок назывался «Горшок роз», а так как тогда были в моде ребусы, то вывеску ему заменял столб, покрашенный в розовый цвет¹. В прошлом столетии почтенный Натуар, один из причудливых живописцев, ныне презираемый чопорной школой, многократно напиваясь в этом кабачке за тем самым столом, где пил Ренье, из благодарности нарисовал на розовом столбе кисть коринфского винограда. Восхищенный кабатчик изменил свою вывеску и велел под этой кистью написать золотом «Коринфский виноград». Отсюда и название «Коринф». Для пьяниц нет ничего более естественного, чем пропустить слово. Пропуск слова — это извилина фразы. Название «Коринф» мало-помалу вытеснило «Горшок роз». Последний представитель династии кабатчиков, дядюшка Гюшлу, уже совершенно не зная предания, приказал покрасить столб в синий цвет.

Зала внизу, где была стойка, зала на втором этаже, где был бильярд, узкая винтовая лестница, проходившая через потолок, вино на столах, жопоть на стенах, свечи среди бела дня — вот что представлял собою кабачок. Лестница с люком в нижней зале вела в погреб. На третьем этаже жил сам Гюшлу. Туда поднимались по лестнице, скорее по лесенке, за незаметной дверью в большую залу второго этажа. Под крышей находились две чердачных каморки — приют служанок. Первый этаж делили между собой кухня и зала со стойкой.

Дядюшка Гюшлу, возможно, родился химиком, да вышел поваром; в его кабачке не только пили, но и ели. Гюшлу изобрел изумительное блюдо, которым можно было лакомиться только у него, а именно — фарширован-

¹ Pot aux Roses (горшок роз) произносится так же, как Pot-au-rose (розовый столб).

ных карпов, которых он называл *carpes au gras*¹. Их ели при свете сальной свечи или кенкетов времен Людовика XVI, за столами, где прибитая гвоздями клеенка заменяла скатерть. Сюда приходили издалека. В одно прекрасное утро Гюшлу счел уместным уведомить прохожих о своей «специальности»; он обмакнул кисть в горшок с черной краской, и так как у него была своя орфография, равно как и своя кухня, то он изобразил на стене следующую примечательную надпись:

Carpes ho gras.

Зиме, ливням и граду заблагорассудилось стереть букву *s*, которой кончалось первое слово, и *g*, которой начиналось третье, после чего осталось:

Carpe ho ras.

При помощи непогоды и дождя скромное гастрономическое извещение стало глубоко осмысленным советом.

Таким образом оказалось, что, не зная французского, Гюшлу знал латинский, что кухня помогла ему создать философское изречение и, желая только затмить Карема, он сравнился с Горацием². Было поразительно и то, что сие изречение означало также: «Зайдите в мой кабачок».

Теперь от всего этого не осталось и следа. Лабиринт Мондетур был разворочен и широко открыт в 1847 году и, по всей вероятности, сейчас не существует. Улица Шанврери и «Коринф» исчезли под мостовой улицы Рамбюто.

Как мы упоминали, «Коринф» был местом встреч, если не сборным пунктом, для Курфейрака и его друзей. Открыл «Коринф» Грантэр. Он зашел туда, привлеченный надписью *Carpe ho ras*, и возвратился ради *carpes au gras*. Здесь пили, здесь ели, здесь кричали; мало ли платили, плохо ли платили, вовсе ли не платили, — здесь всякого ожидал радушный прием. Дядюшка Гюшлу был добряк.

Да, Гюшлу был добряк, как мы сказали, но вместе с тем трактирщик-войка — забавная разновидность. Кажалось, он всегда пребывал в скверном настроении, он словно стремился застрашать своих клиентов, ворчал на

¹ Скоромные карпы (франц.).

² *Carpe horas* (лат.) — лови часы — напоминает известную строчку Горация *Carpe diem* — лови день.

посетителей и с виду был больше расположен затеять с ними ссору, чем подать им ужин. И тем не менее, мы подтверждаем это, здесь всякого ожидал радушный прием. Такая чудаковатость хозяина привлекала в его заведение посетителей и была приманкой для молодых людей, приглашавших туда друг друга со словами: «Ну-ка, пойдем послушаем, как дядюшка Гюшлу будет брюзжать». Когда-то он был учителем фехтования. Порою он вдруг разражался оглушительным хохотом. У кого громкий голос, тот добрый малый. В сущности это был шутник с мрачной внешностью; для него не было большего удовольствия, чем напугать; он напоминал табакерку в форме пистолета, выстрел из которой вызывает только чихание.

Его жена, тетушка Гюшлу, была бородатое и весьма безобразное создание.

В 1830 году Гюшлу умер. С ним исчезла тайна приготовления «скоромных карпов». Его безутешная вдова продолжала вести дело. Но кухня ухудшилась и стала отвратительной; вино, которое всегда было скверным, стало ужасным. Курфейрак и его друзья продолжали, однако, ходить в «Коринф», — «из жалости», как говорил Боссюэ.

Одышка и безобразие не мешали вдове Гюшлу предаваться воспоминаниям о сельской жизни. Благодаря ее произношению они утрачивали слащавость. У нее была особенная манера выражаться, что придавало соль ее экскурсиям в свое деревенское и девическое прошлое. «В девушках слушаю, бывало, пташку-малиновку, как она заливается в кустах боярки, и ничего мне на свете больше не нужно», — рассказывала она.

Зала во втором этаже, где помещался «ресторан», представляла собой большую, длинную комнату, уставленную табуретками, скамеечками, стульями, длинными лавками и столами; в ней же стоял и старый, хромо́й бильярд. Туда поднимались по винтовой лестнице, кончавшейся в углу залы четырехугольной дырой, наподобие корабельного трапа.

Эта зала с одним-единственным узким окном освещалась всегда горевшим кенкетом и была похожа на чердак. Любая мебель, снабженная четырьмя ножками, вела себя в ней так, как будто была трехногой. Единственным

украшением выбеленных известкой стен было следующее четверостишие в честь хозяйки Гюшлу:

В десяти шагах удивляет, а в двух пугает она.
В ее ноздре волосатой бородавка большая видна.
Ее встречая, дрожишь: вот-вот на тебя чихнет,
И нос ее крючковатый провалится в черный рот.

Это было написано углем на стене.

Госпожа Гюшлу, весьма сходная с портретом, изображенным в этих стихах, с утра до вечера совершенно невозмутимо ходила взад и вперед мимо них. Две служанки, Матлота и Жиблота, известные только под этими именами¹, помогали г-же Гюшлу ставить на столы кувшинчики с красным скверным вином и всевозможную бурду, подававшуюся голодным посетителям в глиняных мисках. Матлота, жирная, круглая, рыжая и крикливая, в свое время любимая султанша покойного Гюшлу, была безобразнее любого мифологического чудовища, но так как служанке всегда подобает уступать первое место своей хозяйке, то она и была менее безобразна, чем г-жа Гюшлу. Жиблота, долговязая, тощая, с лимфатической бледностью в лице, с синевой под глазами и всегда опущенными ресницами, изнуренная, изнемогающая, можно было бы сказать — пораженная хронической усталостью, вставала первой, ложилась последней, прислуживала всем, даже другой служанке, молча и кротко улыбаясь какой-то неопределенной усталой, сонной улыбкой.

У входа в залу кабачка взгляд посетителя останавливали на себе следующие строчки, написанные на дверях мелом рукой Курфейрака:

Коли можешь — угости,
Коли смеешь — сам поешь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Чем закончилась веселая попойка

Легль из Мо, как известно, имел пребывание главным образом у Жоли. Он находил жилье так же, как птица, — на любой ветке. Оба друга жили вместе, ели вместе,

¹ Matelote (матлот) — рыбное блюдо; gibelotte (жиблот) — фрикасе из кролика.

спали вместе. Все у них было общим, даже отчасти Мюзикетта. Эти своеобразные близнецы никогда не расставались. Утром 5 июня они отправились завтракать в «Коринф». Жоли был простужен и гнусавил от сильного насморка, насморк начинался и у Легля. Сюртук у Легля был поношенный, Жоли был хорошо одет.

Было около девяти часов утра, когда они толкнулись в двери «Коринфа».

Они поднялись на второй этаж.

Их встретили Матлота и Жиблота.

— Устриц, сыру и ветчины, — приказал Легль.

Затем они уселись за стол.

В кабачке никого не было; они сидели только вдвоем.

Жиблота, узнав Жоли и Легля, поставила бутылку вина на стол.

Только они принялись за устриц, как чья-то голова появилась в лестничном трапе и чей-то голос произнес:

— Шел мимо. Почувствовал на улице восхитительный запах сыра бри. Зашел.

То был Грантэр.

Он взял табурет и уселся за стол.

Жиблота, увидев Грантэра, поставила две бутылки вина на стол.

Итого — три.

— Ты разве собираешься выпить обе бутылки? — спросил Легль у Грантэра.

— Тут все люди с умом, один ты недоумок, — ответил Грантэр. — Где это видано, чтобы две бутылки удивили мужчину?

Друзья начали с еды, Грантэр с вина. Полбутылки было живо опорожнено.

— Дыра у тебя в желудке, что ли? — спросил Легль.

— Дыра у тебя на локте, — ответил Грантэр.

И, допив свой стакан, прибавил:

— Да, да Легль — орел надгробных речей, сюртук-то у тебя старенок.

— Надеюсь, что так, — отвечивал Легль. — У нас согласная домашняя жизнь, у моего сюртука и у меня. Он сам принял форму моего тела, нигде не жмет, прилегает к моей нескладной фигуре, снисходительно относится к моим движениям; я его чувствую только потому, что мне в нем тепло. Старое платье — что старые друзья.

— Вод эдо правда, — воскликнул Жоли, вступив в разговор, — сдарый сюрдук — все равдо, что сдарый друг.

— Особенно в устах человека с насморком, — согласился Грантэр.

— Грантэр, — спросил Легль, — ты с бульвара?

— Нет.

— А мы с Жоли видели начало шествия.

— Чудесное зрелище, — сказал Жоли.

— А как спокойно на этой улице! — воскликнул Легль. — Кто бы подумал, что все в Париже вверх дном? Чувствуется и сейчас, что здесь когда-то были одни монастыри! Дю Брель и Соваль приводят их список, и аббат Лебеф также. Они тут были повсюду. Все так и кишело обутыми, разутыми, бритыми, бородатыми, серыми, черными, белыми францисканцами Франциска Ассизского, францисканцами Франциска де Поль, капуцинами, кармелитами, малыми августинцами, большими августинцами, старыми августинцами... Их расплодилось видимо-невидимо.

— Не будем говорить о монахах, — прервал Грантэр, — от этого хочется чесаться.

Потом он разразился:

— Брр! Я только что проглотил скверную устрицу. Гипохондрия снова овладевает мной! Устрицы испорчены, служанки безобразны. Я ненавижу род людской. Сейчас я проходил по улице Ришелье мимо большой книжной лавки. Эта куча устричных раковин, именуемая библиотекой, отбивает у меня охоту мыслить. Сколько бумаги! Сколько чернил! Сколько мазни! И все это написано людьми! Какой же это плут сказал, что человек — двуногое без перьев? А потом я встретил одну знакомую хорошенькую девушку, прекрасную, как весна, достойную называться Флореалью, и она была в восхищении, в восторге, на седьмом небе от счастья, презренная, потому что вчера некий омерзительный банкир, рябой от оспы, удостоил пожелать ее! Увы! Женщина подстерегает и старого откупщика и молодого щеголя; кошки охотятся и за мышами и за птицами. Не прошло еще и двух месяцев, как эта мамзель вела благонравную жизнь в мансарде, она вставляла медные колечки в петельки корсета, или как это у них там называется. Она шила, спала на складной кровати, у нее был горшок с цветами, и она была

счастлива. Теперь она банкирша. Это превращение произошло сегодня ночью. Я встретил жертву ныне утром развеселой. И всего омерзительней то, что бесстыдница сегодня была так же красива, как и вчера. Сделка с финансистом не отразилась на ее лице. Рсзы в том отношении лучше или хуже женщин, что следы, оставляемые на них гусеницами, заметны. Ах, нет более нравственности на земле! В свидетели я призываю мирт — символ любви, лавр — символ войны, оливу, эту глупышку, — символ мира, яблоню, которая промахнулась, не заставив Адама подавиться ее семечком, и смоковницу — эту прародительницу прекрасного пола. Вы говорите — право? Хотите знать, что такое право? Галлы зарятся на Клузиум, Рим оказывает покровительство Клузиуму и спрашивает их, в чем же Клузиум виноват перед ними. Бренн отвечает: «В том же, в чем были виноваты перед вами Альба, Фидены, в чем виноваты эквы, вольски и сабиняне. Они были ваши соседи. Жители Клузиума — наши. Мы понимаем соседство так же, как вы. Вы захватили Альбу, мы берем Клузиум». Рим отвечает: «Вы не возьмете Клузиум». Тогда Бренн взял Рим. После этого он вскричал: *Vae victis!*¹ Вот что такое право. Ах, сколько в этом мире хищных тварей! Сколько орлов! Прямо мороз по коже подирает!

Он протянул свой стакан, Жоли наполнил его, Грантэр выпил и продолжал, почти не прервав своих разглагольствований, — этот стакан вина словно и не был никем замечен, даже им самим.

— Бренн, завладевающий Римом, — орел; банкир, завладевающий гризеткой, — орел. Здесь не меньше бесстыдства, чем там. Так не будем же верить ничему. Истина — лишь в вине. Каково бы ни было наше мнение, будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис, — неважно, пейте. Вы спрашиваете меня о бульваре, шествии и прочем. Вот как! Значит, опять наклеывается революция? Меня удивляет такая скудость средств у господ бога. Ему то и дело приходится смазывать маслом пазы событий. Там цепляется, тут не идет. Живо, революцию! У господ бога руки всегда в этом скверном смазочном

¹ Горе побежденным! (лат.)

масле. На его месте я поступил бы проще: я бы не занимался каждую минуту починкой моей механики, я плавно вел бы человеческий род, нанизывал бы события, петля за петлей, не разрывая нити, мне бы не нужны были запасные средства, у меня не было бы экстренных постановок. То, что иные прочие называют прогрессом, преуспевает при помощи двух двигателей: людей и событий. Но как это ни печально, время от времени необходимо что-нибудь из ряда вон выходящее. Для событий, как и для людей, заурядного недостаточно: среди людей должны быть гении, а меж событий — революции. Чрезвычайные события — это закон; мировой порядок вещей не может обойтись без них; вот почему при появлении кометы нельзя удержаться от соблазнительной мысли, что само небо нуждается в актерах для своих театральных постановок. В ту минуту, когда этого меньше всего ожидают, бог вывешивает блуждающее светило на стене небесного свода. Появляется нежданно какая-то чудная звезда с огромным хвостом. И это служит причиной смерти Цезаря. Брут наносит ему удар кинжалом, а бог — кометой. Трах! — и вот северное сияние, вот — революция, вот — великий человек; девяносто третий год дается крупной прописью, с красной строки — Наполеон, наверху афиши — комета тысяча восемьсот одиннадцатого года. Ах, прекрасная голубая афиша, вся усеянная нежданными сверкающими звездами! Бум! бум! Редкое зрелище! Смотрите вверх, зеваки! Все тут в беспорядке — и светила и пьеса. Бог мой, это чересчур, и вместе с тем этого недостаточно. Такие способы, применяемые в исключительных случаях, кричат о великолепии, но означают скудость. Друзья, провидение прибегает здесь к крайним средствам. Революция — что этим доказывается? Что господь исеяк. Он производит переворот, потому что налицо разрыв связи между настоящим и будущим и потому что он, бог, не мог связать концы с концами. Право, меня это утверждает в моих предположениях относительно материального положения Иеговы. Видя столько неблагополучия наверху и внизу, столько мелочности, скряжничества, скарденности и нужды в небесах и на земле, начиная с птицы, у которой нет ни зернышка проса, и кончая мной, у которого нет ста тысяч ливров годового дохода; видя нашу человеческую долю, даже долю королевскую, столь

потертой — до самой веревочной основы, чему свидетель повесившийся принц Конде; видя зиму, являющуюся не чем иным, как прорехой в зените, откуда дует ветер; видя столько лохмотьев даже в совершенно свежем пурпуре утра, одевающем вершины холмов; видя капли росы — этот поддельный жемчуг; видя иней — этот стеклярус; видя разлад среди человечества, и заплаты на событиях, и столько пятен на солнце, и столько трещин на луне, видя всюду столько нищеты, я подозреваю, что бог не богат. Правда, у него есть видимость богатства, но я чувствую тут безденежье. Под небесной позолотой я угадываю бедную вселенную. Он дает революцию, как банкир дает бал, когда у него пуста касса. Не следует судить о богах по одной видимости вещей. Все в их творениях говорит о несостоятельности. Вот почему я и недоволен. Смотрите, сегодня пятое июня, а почти темно; с самого утра я жду наступления дня, но его нет, и я держу пари, что он так и не наступит нынче. Это неаккуратность плохо оплачиваемого приказчика. Да, все скверно устроено, одно не прилажено к другому, старый мир совсем скособочился, я перехожу в оппозицию. Все идет вкривь и вкось; вселенная только дразнит. Все равно, как детей: тем, которые чего-то хотят, ничего не дают, а тем, которые не хотят, дают. Словом, я сердит. Кроме того, меня огорчает вид этого плешивца Легля из Мо. Унизительно думать, что я в том же возрасте, как это голое колено. Впрочем, я критикую, но не оскорбляю. Мир таков, каков он есть. Я говорю без дурного умысла, а просто для очистки совести. Прими, отец предвечный, уверение в моем совершенном уважении. Ах, клянусь всеми святыми ученого Олимпа и всеми кумирами райка, я не был создан, чтобы стать парижанином, то есть чтобы всегда отскакивать, как мяч, между двух ракеток, от толпы бездельников к толпе буянов! Мне бы родиться турком, целый день созерцать глуповатых дочерей востока, исполняющих восхитительные танцы Египта, сладострастные, подобно сновидениям целомудренного человека, мне бы родиться босеронским крестьянином, или венецианским вельможей, окруженным прелестными синьоринами, или немецким князьком, поставляющим половину пехотинца германскому союзу и посвящающим досуги сушке своих носков на плетне, то есть на границах собственных владений! Вот для чего я

был предназначен! Да, я сказал, что рожден быть турком, и не отрекаюсь от этого. Не понимаю, почему обычно так плохо судят о турках; у Магомета есть кое-что и хорошее. Почет изобретателю сераля с гуриями и рая с одалисками! Не будем оскорблять магометанство — единственную религию, возвеличившую роль петуха в курятнике! Засим выпьем. Земной шар — неимсверная глупость. Похоже на правду, что они идут драться, все эти дураки, идут разбивать друг другу морды, резать друг друга, и когда же? — в разгар лета, в июне, когда можно отправиться с каким-нибудь милым созданием под руку в поле и вдохнуть полной грудью чайный запах необъятного моря скошенной травы! Нет, право, делается слишком много глупостей. Старый разбитый фонарь, который я только что заметил у торговца рухлядью, внушил мне такую мысль: пора просветить человеческий род! Увы, я снова печален! Вот что значит проглотить такую устрицу и пережить такую революцию. Я снова мрачнею. О, этот ужасный старый мир! Здесь силы напрягают, со службы увольняют, здесь унижают, здесь убивают, здесь ко всему привыкают!

После этого припадка красноречия Грантэр стал жертвой вполне им заслуженного приступа кашля.

— Кстати, о революции, — сказал Жоли, — виддо Мариус влюблед по-дастоящему.

— В кого, не знаешь? — спросил Легль.

— Дет.

— Нет?

— Я же тебе говорю — дет!

— Любовные истории Мариуса! — воскликнул Грантэр. — Я наперед знаю все. Мариус — туман, и он, наверное, нашел свое облачко. Мариус из породы поэтов. Поэт — значит безумец. *Timbroeus Apollo*¹. Мариус и его Мари, или его Мария, или его Мариетта, или его Марион, — должно быть, забавные влюбленные. Отлично представляю их роман. Тут такие восторги, что забывают о поцелуе. Они хранят целомудрие здесь, на земле, но соединяются в бесконечности. Это неземные души, но с земными чувствами. Они воздвигли себе ложе среди звезд.

¹ Тимбрейский Аполлон (лат.).

Грантэр уже собрался приступить ко второй бутылке и, быть может, ко второй речи, как вдруг новая фигура вынырнула из квадратного отверстия люка. Появился мальчишка лет десяти, оборванный, очень маленький, желтый, с остреньким личиком, с живым взглядом, вихрастый, промокший под дождем, однако с виду вполне довольный.

Не колеблясь, он сразу сделал выбор между тремя собеседниками и, хотя не знал ни одного, обратился к Леглю из Мо.

— Не вы ли господин Боссюэ? — спросил он.

— Это мое уменьшительное имя, — ответил Легль. — Что тебе надо?

— Вот что. Какой-то высокий блондин на бульваре спросил меня: «Ты знаешь тетушку Гюшлу?» — «Да, — говорю я, — на улице Шанврери, вдова старика». Он и говорит: «Поди туда. Там ты найдешь господина Боссюэ и скажешь ему от моего имени: «Азбука». Он вас разыгрывает, что ли? Он дал мне десять су.

— Жоли, дай мне займы десять су, — сказал Легль; потом повернулся к Грантэру: — Грантэр, дай мне займы десять су.

Таким образом, составилось двадцать су, и Легль дал их мальчику.

— Благодарю вас, сударь, — сказал тот.

— Как тебя зовут? — спросил Легль.

— Наве. Я приятель Гавроша.

— Оставайся с нами, — сказал Легль.

— Позавтракай с нами, — сказал Грантэр.

— Не могу, — ответил мальчик, — я иду в процессии, ведь это я кричу: «Долой Полиньяка!»

И, скользнув одной ногой далеко назад, что является наиболее почтительным из всех возможных приветствий, он удалился.

Когда мальчик ушел, взял слово Грантэр:

— Вот это чистокровный гамен. Есть много разновидностей этой породы. Гамен-нотариус зовется попрыгуном, гамен-повар — котелком, гамен-булочник — колпачником, гамен-лакей — грумом, гамен-моряк — юнгой, гамен-солдат — барабанщиком, гамен-живописец — мазилкой, гамен-лавочник — мальчишкой на побегушках, гамен-царе-

дворец — пажом, гамен-король — дофином, гамен-бог — младенцем.

Тем временем Легль размышлял; потом он сказал вполголоса:

— «Азбука» — иначе говоря, «Похороны Ламарка».

— А высокий блондин, — установил Грантэр, — это Анжольрас, уведомивший тебя.

— Пойдем? — спросил Боссюэ.

— Да улице дождь, — заметил Жоли. — Я поклялся итти в огодь, до де в воду. Я де хочу простудиться.

— Я остаюсь здесь, — сказал Грантэр. — Я предпочитаю завтрак похоронным дорогам.

— Короче, мы остаемся, — заключил Легль. — Отлично! Выпьем в таком случае. Тем более что можно пропустить похороны, не пропуская мятежа.

— А, батеж! Я за дего! — воскликнул Жоли.

Легль потер себе руки и сказал:

— Вот и взялись подправить революцию тысяча восемьсот тридцатого года! В самом деле, она жмет народу подмышками.

— Для меня она почти безразлична, ваша революция, — сказал Грантэр. — Я не питаю отвращения к нынешнему правительству. Это корона, укрощенная ночным колпаком. Это скипетр, заканчивающийся дождевым зонтом. В самом деле, я думаю, что сегодня Луи-Филипп благодаря непогоде может воспользоваться своими королевскими атрибутами двояко: поднять скипетр против народа, а зонт — против дождя.

В зале стало темно, тяжелые тучи совсем заволокли небо. Ни в кабачке, ни на улице никого не было: все пошло «смотреть на события».

— Полдень сейчас или полночь? — вскричал Боссюэ. — Ничего решительно не видно. Жиблота, огня!

Грантэр мрачно продолжал пить.

— Анжольрас презирает меня, — бормотал он. — Анжольрас сказал: «Жоли болен, Грантэр пьян». И он послал Наве к Боссюэ, а не ко мне. А приди он за мной, я пошел бы с ним. Тем хуже для Анжольраса! Я не пойду на эти его похороны.

Приняв такое решение, Боссюэ, Жоли и Грантэр остались в кабачке. К двум часам дня стол, за которым они заседали, был уставлен пустыми бутылками. На нем

горели две свечи, одна в медном, совершенно позеленевшем подсвечнике, другая в горлышке треснувшего графина. Грантэр пробудил в Жоли и Боссюэ вкус к вину; Боссюэ и Жоли помогли Грантэру вновь обрести веселое расположение духа.

Сам Грантэр после полудня уже бросил пить вино — этот незамысловатый источник мечты. У настоящих пьяниц вино пользуется только уважением, не больше. Что касается хмеля, то здесь существует черная и белая магия; вино всего лишь белая магия. Грантэр был великий охотник до зелья грез. Тьма опасного опьянения, приоткрывавшаяся ему, вместо того чтобы остановить, притягивала его. Он оставил рюмки и принялся за кружку. Кружка — это бездна. Не имея под рукой ни опиума, ни гашиша и желая затемнить сознание, он прибегнул к той ужасающей смеси водки, пива и абсента, которая вызывает страшное оцепенение. Три вида паров — пива, водки и абсента — ложатся на душу свинцовой тяжестью. Это тройной мрак; душа — этот небесный мотылек — тонет в нем; и в слоистом дыму, который, сгущаясь, принимает смутные очертания крыла летучей мыши, возникают три немые фигуры — Кошмар, Ночь, Смерть, парящие над заснувшей Психеей.

Грантэр еще не дошел до такого прискорбного состояния, отнюдь нет. Он был возмутительно весел, и Боссюэ и Жоли, чокаясь с ним, разделяли его веселье. Грантэр подчеркивал причудливость своих мыслей и слов непринужденностью движений. Важно опершись кулаком левой руки на колено и выставив вперед локоть, он сидел верхом на табурете, с развязавшимся галстуком, с полным стаканом вина в правой руке, и обращал к толстухе Матлоте следующие торжественные тирады:

— Да откроют ворота дворца! Да будут все академиками и да получают право обнимать мадам Гюшлу! Выпьем!

И, повернувшись к тетушке Гюшлу, он прибавил:

— О женщина античная и древностью освященная, приблизься, дабы я созерцал тебя!

А Жоли кричал:

— Батлота и Жиблота, де давайте больше пить Грантэру. Од растратил субасшедшие дедьги. Од уже прожрал

с сегодняшнего утра с чудовищной расточительностью два фрадда девяносто пять садтибов!

А Грантэр снова вопиял:

— Кто же это без моего позволения сорвал с неба звезда и поставил их на стол под видом свечей?

Боссюэ, сильно упившийся, сохранял обычное спокойствие.

Он сидел на подоконнике открытого окна, подставив спину поливавшему его дождю, и взирал на своих друзей.

Внезапно он услышал позади какой-то смутный шум, быстрые шаги и крики: «К оружию!» Он обернулся и увидел на улице Сен-Дени, где кончалась улица Шанврери, Анжольраса, шедшего с карабином в руке, Гавроша с пистолетом, Фейи с саблей, Курфейрака со шпагой, Жана Прувера с мушкетом, Комбефера с ружьем, Баорея с ружьем и все вооруженное шумное сборище людей, следовавшее за ними.

Улица Шанврери в длину не превышала расстояния ружейного выстрела. Боссюэ, приставив ладони рупором ко рту, крикнул:

— Курфейрак, Курфейрак! Ого-го!

Курфейрак услышал призыв, заметил Боссюэ, сделал несколько шагов по улице Шанврери, и «Чего тебе надо?» Курфейрака скрестилось с «Куда ты идешь?» Боссюэ.

— Строить баррикаду, — ответил Курфейрак.

— Отлично, иди сюда! Место хорошее! Строй здесь!

— Правильно, Орел, — ответил Курфейрак.

И по знаку Курфейрака вся ватага устремилась на улицу Шанврери.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Ночь начинает опускаться на Грантэра

Место действительно было указано превосходно: улица с въезда была широкая, потом суживалась, превращаясь в глубине в тупик, где ее перехватывал «Коринф»; загородить улицу Мондетур справа и слева не представляло труда; таким образом атака была возможна только с улицы Сен-Дени, то есть в лоб и по открытой местности. У пьяного Боссюэ был острый глаз трезвого Ганнибала.

При вторжении этого сборища страх охватил всю улицу. Не было ни одного прохожего, который не поспешил бы скрыться. С быстротой молнии по всей улице, направо, налево, заперлись лавочки, мастерские, подъезды, окна, жалюзи, мансарды, ставни всевозможных размеров, начиная с первого этажа до самой крыши. Какая-то перепуганная старуха, чтобы заглушить ружейную стрельбу, закрыла свое окно тюфяком, укрепив его при помощи двух жердей для сушки белья. Только кабачок оставался открытым, и по уважительной причине, ибо в него ворвалась толпа. «Боже мой! Боже мой!», — вздыхала тетушка Гюшлу.

Боссюэ сошел вниз, навстречу Курфейраку.

Жоли, высунувшись в окно, кричал:

— Курфейрак, почебу ты без зодтика, ты простудишься!

Тем временем в несколько минут из зарешеченных нижних окон кабачка было вырвано двадцать железных прутьев и разобрано десять туалет мостовой. Гаврош и Баорель остановили и опрокинули проезжавшие мимо роспуски некоего Ансо, торговца известью; на этих роспусках стояли три бочонка с известью, которые тут же были завалены грудami булыжника из развороченной мостовой. Анжольрас поднял дверцу погреба, и все пустые бочки вдовы Гюшлу отправились прикрывать с флангов эти бочонки с известью. Фейи, пальцы которого привыкли разрисовывать тонкие пластинки вееров, подпер бочки и роспуски двумя внушительными кучами щебня, появившегося внезапно, как и все остальное, и взятого неизвестно где. С фасада соседнего дома были сорваны подпиравшие его балки и положены на бочки. Когда Боссюэ и Курфейрак обернулись, половина улицы уже была перегорожена валом выше человеческого роста. Ничто не может сравниться с рукою народа, когда необходимо построить все то, что строят разрушая.

Матлота и Жиблота присседились к работающим. Жиблота ходила взад и вперед, таская для строителей щепень. Ее равнодушная усталость пришла на помощь баррикаде. Она подавала булыжник, как подавала бы вино, — словно во сне.

В конце улицы показался омнибус, запряженный двумя белыми лошадьми.

Боссюэ перескочил через груды булыжника, побежал за ним, остановил кучера, заставил выйти пассажиров, помог сойти «дамам», отпустил кондуктора и, взяв лошадей под уздцы, возвратился с экипажем к баррикаде.

— Омнибусы, — сказал он, — не проходят перед «Коринфом». *Non licet omnibus adire Corinthum*¹.

Мгновение спустя распряженные лошади отправились куда глаза глядят по улице Мондетур, а омнибус, поваленный на бок, довершил заграждение улицы.

Потрясенная тетушка Гюшлу укрылась во втором этаже.

Глаза ее блуждали, она смотрела на все невидящим взглядом и тихо подвывала. Вопль испуга словно не осмеливался вылететь из ее глотки.

— Светопреставление, — бормотала она.

Жоли запечатлел поцелуй на жирной, красной и морщинистой шее тетушки Гюшлу, сказав при этом Грантэру: «Здаешь, бой билый, жедская шея всегда была для бедя чеб-то бескодечдо изыскаддым».

Но Грантэр достиг высот дифирамбического красноречия. Он схватил за талию поднявшуюся во второй этаж Матлоту и раскатисто хохотал у открытого окна.

— Матлота безобразна! — кричал он. — Матлота — идеал безобразия Матлота — химера. Тайна ее рождения такова: некий готический Пигмалион, делавший фигурные рыльца для водосточных труб на крышах соборов, в один прекрасный день влюбился в самое страшное из них. Он умолил Любовь одушевить его, и оно стало Матлотои. Взгляните на нее, граждане! У нее рыжие волосы, как у любовницы Тициана, и она славная девушка. Ручаюсь, что она будет драться хорошо. В каждой славной девушке сидит герой. А уж тетушка Гюшлу — та старый вояка. Посмотрите, что у нее за усы! Она их унаследовала от своего супруга. Женщина-гусар, вот она кто! Она тоже будет драться. Они вдвоем нагонят страху на все предместье. Товарищи, мы свалим правительство, это так же верно, как верно то, что существует пятнадцать промежуточных кислот между кислотой муравьиной и кислотой маргариновой. Впрочем, наплевать мне на это. Господа, отец всегда презирал меня за то, что я не понимал мате-

¹ Не всем дано достигнуть Коринфа (лат) — античная поговорка.

матику. Я понимаю только любовь и свободу. Я Грантэр — добрый малый! У меня никогда не бывает денег, я к ним не привык, а потому никогда в них и не нуждаюсь; но если бы я был богат, больше бы не осталось бедняков! Вы бы увидели! О, если бы у добрых людей была толстая мошна! Насколько все пошло бы лучше! Представляю себе Иисуса Христа с состоянием Ротшильда! Сколько бы добра он сделал! Матлота, поцелуй меня! Ты сладострастна и робка! Твои щеки жаждут сестринского поцелуя, а губки — поцелуя любовника!

— Замолчи, пивная бочка! — сказал Курфейрак.

— Я член муниципального совета Тулузы и магистр игр в честь Флоры там же! — ответил с важностью Грантэр.

Анжольрас, стоявший с ружьем в руке на гребне заграждения, поднял свое прекрасное строгое лицо. Анжольрас, как известно, был из породы спартанцев и пуритан. Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем.

— Грантэр, — крикнул он, — пойди куда-нибудь, проспись. Здесь место опьянению, а не пьянству. Не позорь баррикаду!

Эти гневные слова произвели на Грантэра необычайное впечатление. Ему словно выплеснули стакан холодной воды в лицо. Он, казалось, сразу протрезвился, сел, облокотился на стол возле окна, с невыразимой кротостью взглянул на Анжольраса и сказал ему:

— Позволь мне поспать здесь.

— Ступай для этого в другое место! — крикнул Анжольрас.

Но Грантэр, не сводя с него нежного и мутного взгляда, ответил:

— Позволь мне тут поспать, пока я не умру.

Анжольрас презрительно взглянул на него.

— Грантэр, ты неспособен ни верить, ни думать, ни хотеть, ни жить, ни умирать.

— Ты увидишь, — серьезно ответил Грантэр.

Он пробормотал еще несколько невнятных слов, потом его голова тяжело упала на стол и, мгновение спустя он уже спал, что довольно обычно для второй стадии опьянения, к которой его сразу и резко подтолкнул Анжольрас.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Попытка утешить тетушку Гюшлу

Баорель, в восторге от баррикады, кричал:

— Вот улица и декольтирована! Любо смотреть!

Курфейрак, продолжая понемногу растаскивать кабачок, старался утешить вдову кабатчика:

— Тетушка Гюшлу, вы как будто жаловались, что полиция составила на вас протокол, когда Жиблота встряхнула постельный коврик в окно?

— Да, да, дорогой господин Курфейрак. Ах, боже мой, неужели вы собираетесь втащить и столик на эту вашу ужасную штуку? А за коврик да за горшок с цветами, который вывалился из чердачной каморки на улицу, правительство взяло с меня сто франков штрафа. Подумайте, какая гнусность!

— Вот видите, тетушка Гюшлу, мы мстим за вас.

Но тетушка Гюшлу, кажется, не слишком понимала, какое благодеяние оказывают ей подобным возмещением убытков. Ей предлагали такое же удовлетворение, как той арабской женщине, которая, получив пощечину от мужа, пошла жаловаться своему отцу, требуя отмщения. «Отец, — сказала она, — ты должен воздать моему мужу оскорблением за оскорбление». Отец спросил: «В какую щеку он ударил тебя?» — «В левую». Отец ударил ее в правую и сказал: «Теперь ты можешь быть довольна. Поди скажи своему мужу, что если он дал пощечину моей дочери, то я дал пощечину его жене».

Дождь прекратился. Желающие драться прибывали. Рабочие принесли под блузами бочонок пороху, корзинку, наполненную бутылками с купоросом, два или три карнавальных факела и плетенку с плошками, оставшимися от праздника «тезоименитства короля», каковой состоялся совсем недавно, 1 мая. Говорили, что этими припасами снабдил их один лавочник из Сент-Антуанского предместья, некий Пепен. На улице Шанврери разбили единственный фонарь, затем стоящий против него фонарь на улице Сен-Дени и все фонари на окрестных улицах, — Мондетур, Лебязьей, Проповедников, Большой и Малой Бродяжной.

Анжольрас, Комбефер и Курфейрак руководили всем. Одновременно строились две баррикады, обе опиравшиеся

на «Коринф» и образовавшие прямой угол; большая замыкала улицу Шанврери, а другая — улицу Мондетур со стороны Лебяжьей. Меньшая баррикада, очень узкая, была построена из одних бочек и булыжника. Здесь собралось около пятидесяти рабочих; тридцать из них были вооружены ружьями, так как по дороге они сделали внушительный «заем» в лавке оружейника.

Трудно представить себе что-либо более причудливое и пестрое, чем это сборище людей. Один был в куртке с кавалерийской саблей и двумя седельными пистолетами, другой в жилете, в круглой шляпе и с пороховницей на боку, третий был в нагруднике из девяти листов серой бумаги и вооружен шилом шорника. Был один, который кричал: «Истребим всех до последнего и умрем на острие наших штыков!» Как раз у него-то и не было штыка. У других поверх сюртука красовалась кожаная португеза и патронташ национальной гвардии, на крышке которого красной шерстью была вышита надпись: «Общественный порядок». Здесь было много ружей с номерами легионов, мало шляп, полное отсутствие галстуков, много обнаженных рук, несколько пик. Прибавьте к этому все возрасты, все разнообразие лиц, бледных подростков, загорелых портовых рабочих. Все торопились и, помогая друг другу, говорили о своей надежде на успех: о том, что к трем часам утра подойдет помощь, что можно рассчитывать на один из полков, что весь Париж поднимется. То были страшные слова, к которым примешивалось какое-то сердечное веселье. Эти люди казались братьями, но они даже не знали имен друг друга. Великая опасность прекрасна тем, что выявляет братство незнакомых.

На кухне развели огонь, и в формочке для отливки пуль плавил жбаны, ложки, вилки, все оловянное «серебро» кабачка. Тут же пили. На столах меж стаканов вина были рассыпаны капсулы и крупная дробь. В бильярдной тетушка Гюшлу, Матлота и Жиблота, по-разному изменившиеся от страха — одна отупев, другая запыхавшись, третья проснувшись, — рвали старые полотенца и щипали корпию; им помогали трое повстанцев, — трое волосатых, бородатых и усатых молодцов, внушавших им ужас и раздиравших холст с ловкостью приказчиков из бельевого магазина.

Человек высокого роста, замеченный Курфейраком, Комбефером и Анжольрасом в ту минуту, когда он пристал к отряду на углу Щепной улицы, работал на малой баррикаде и оказался там полезным. Гаврош работал на большой. А молодой человек, который поджидал Курфейрака у него на дому и спрашивал про Мариуса, исчез незадолго до того, как опрокинули омнибус.

Гаврош, полный вдохновения, сияющий, взял на себя задачу пустить все дело в ход. Он сновал взад и вперед, поднимался вверх, спускался вниз, снова поднимался, шумел, сверкал радостью. Казалось, он явился сюда для того, чтобы всех подбадривать. Была ли у него для этого какая-нибудь побудительная причина? Да, конечно, — его нищета. Были ли у него крылья? Да, конечно, — его веселость. Это был какой-то вихрь. Гавроша видели непрерывно, его слышали непрестанно. Он как бы наполнял собою воздух, присутствуя одновременно всюду. То была своего рода вездесущность, почти раздражающая; он не давал передышки. Огромная баррикада чувствовала его на своем хребте. Он приставал к бездельникам, подстегивал ленивых, оживлял усталых, досаждал медлительным, веселил одних, вдохновлял других, сердил третьих, всех расшевеливал, жалил студента, язвил рабочего; он останавливался, присаживался, снова убегал, носился над всею этою суматохой и работой, прыгал от одних к другим, жужжал, звенел и изводил всю упряжку, — настоящая муха, суетившаяся возле исполинской колесницы Революции.

Его маленькие руки действовали без усталости, а маленькое горло неустанно исторгало крики:

— Смелей! Давай еще булыжника! Еще бочек! Еще какую-нибудь штуку! Где бы ее взять? Вали сюда корзину со щебнем, заткнем эту дыру. Она совсем маленькая, ваша баррикада. Ей надо подрасти. Бросай в нее все, швыряй в нее все, втыкай в нее все! Ломайте дом. Баррикада — это крошка из всякой крошки. Глянь-ка, вон застекленная дверь!

Один из работавших воскликнул:

— Застекленная дверь! На что она, по-твоему, нужна, пузырь?

— Подумаешь, сам богатырь! — отпарировал Гаврош. — Застекленная дверь на баррикаде — превосход-

ная вещь! Атаковать баррикаду она не мешает, а взять помешает. Разве вам никогда не приходилось воровать яблоки и перелезать через стену, где понатыкано донышек от бутылок? Стеклянная дверь! Да она срежет все мозоли на ногах национальной гвардии, когда та полезет на баррикаду. Чорт побери, со стеклом не шутите! Эх, плохо вы соображаете, приятели!

Впрочем, он был взбешен своим пистолетом без со-
бачки. Он ходил от одного к другому и требовал: «Ружье,
давайте ружье! Почему мне не дают ружья?»

— Ружье, тебе? — удивился Комбефер.

— Вот те на! — возмутился Гаврош. — А почему бы
нет? Было ведь у меня ружье в тысяча восемьсот тридца-
том году, когда поспорили с Карлом Десятым.

Анжольрас пожал плечами.

— Когда ружей хватит для мужчин, тогда их дадут
детям.

Гаврош гордо повернулся к нему и объявил:

— Если тебя убьют раньше меня, я возьму твое.

— Мальчишка! — крикнул Анжольрас.

— Молокосос! — не остался в долгу Гаврош.

Заблудившийся щеголь, бродивший в конце улицы, от-
влек его внимание.

Гаврош крикнул:

— Идите к нам, молодой человек! Как насчет нашей
старушки-родины? Неужели нет желанья ей помочь?

Щеголь поспешно скрылся.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Подготовка

Газеты того времени, сообщавшие, что баррикада на
улице Шанврери, «сооружение почти неодолимое», дости-
гала уровня второго этажа, заблуждались. На деле она
была в среднем не выше шести-семи футов. Ее построили
с таким расчетом, чтобы сражавшиеся могли по своему
желанию или исчезать за нею, или показываться над за-
граждением и даже взбираться на верхушку его при
помощи четырех рядов камней, положенных друг на друга
и образующих с внутренней стороны ступени. Сложенная

из куч булыжника, из бочек, укрепленных балками и досками, концы которых были просунуты в колеса роспусков Ансо и опрокинутого омнибуса, баррикада словно оцети-нилась и снаружи, с фронта, казалась неприступной.

Между стеной дома и наиболее отдаленным от ка-бачка краем баррикады была оставлена щель, достаточ-ная для того, чтобы сквозь нее мог пройти человек, — таким образом, возможен был выход. Дышло омнибуса поставили стоймя и привязали веревками; красное знамя, прикрепленное к этому дышлу, реяло над баррикадой.

Малая баррикада Мондетур, скрытая позади кабачка, была незаметна. Обе соединенные баррикады представ-ляли собой настоящий редут. Анжольрас и Курфейрак не сочли нужным забаррикадировать другой конец улицы Мондетур, открывавший через улицу Проповедников вы-ход к Центральному рынку, без сомнения желая сохранить возможность сообщаться с внешним миром и не слишком страшась нападения со стороны опасной и трудно прохо-димой улицы Проповедников.

Таким образом, если не считать этого выхода, который Фолар на своем военном языке назвал бы «коленом тран-шей», а также узкой щели, оставленной на улице Шан-врери, внутренность баррикады, где кабачок образовывал резко выступавший угол, представляла собой неправиль-ный четырехугольник, закрытый со всех сторон. Между большим заграждением и высокими домами, расположен-ными в глубине улицы, имелся промежуток шагов в два-дцать, таким образом, баррикада, можно сказать, при-крывала свой тыл этими, хотя и населенными, но запер-тыми сверху донизу домами.

Вся работа была произведена без помехи, меньше, чем за час; перед горсточкой этих смелых людей ни разу не появилась ни меховая шапка гвардейца, ни штык. Из-редка попадавшиеся буржуа, которые еще отваживались пройти по улице Сен-Дени, ускоряли шаг, взглянув на улицу Шанврери и заметив баррикаду.

Как только были закончены обе баррикады и водру-жено знамя, из кабачка вытащили стол, на который тут же взобрался Курфейрак. Анжольрас принес квадратный ящик, и Курфейрак открыл его. Ящик был наполнен патронами. Среди самых храбрых, когда они увидели

патроны, пробежал трепет, и на мгновение воцарилась тишина.

Курфейрак раздавал их улыбаясь.

Каждый получил тридцать патронов. У многих повстанцев был порох, и они принялись изготавливать новые патроны, забивая в них отлитые пули. Что касается бочонка пороха, то он стоял в сторонке на столе возле дверей, и его не тронули, оставив про запас.

Сигналы боевой тревоги, разносившиеся по всему Парижу, все не умолкали, но, превратясь в конце концов в какой-то однообразный шум, уже более не привлекали внимания. Этот шум то отдалялся, то приближался с заунывными раскатами.

Все одновременно, не спеша, с торжественной важностью, зарядили ружья и карабины. Анжольрас расставил перед баррикадами трех часовых — одного на улице Шанврери, другого на улице Проповедников, третьего на углу Малой Бродяжной.

А когда баррикады были построены, места назначены, ружья заряжены, дозоры поставлены, тогда, одни на этих страшных безлюдных улицах, одни, среди безмолвных и словно мертвых домов, в которых не ощущалось никаких признаков человеческой жизни, окутанные нараставшими тенями сумерек, оторванные от всего мира, в этой тьме и в этом молчании, где чувствовалось приближение чего-то трагического и ужасающего, повстанцы, полные решимости, вооруженные, спокойные, стали ждать.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В ожидании

Что делали они в эти часы ожидания?

Нам следует рассказать об этом, ибо это принадлежит истории.

Пока мужчины изготавливали патроны, а женщины корпию, пока широкая кастрюля, предназначенная для отливки пуль, полная расплавленного олова и свинца, дымилась на раскаленной жаровне, пока дозорные, с оружием в руках, наблюдали за баррикадой, а Анжольрас, которого ничем нельзя было отвлечь, наблюдал за дозо-

рами, Комбефер, Курфейрак, Жан Прувер, Фейи, Боссюэ, Жоли, Баорель и некоторые другие отыскиали друг друга и собрались вместе, как в самые мирные дни студенческой дружбы. В уголке кабачка, превращенного в каземат, в двух шагах от воздвигнутого ими редута, прислонив заряженные и приготовленные карабины к спинкам своих стульев, эти грекрасные молодые люди на пороге смертного часа начали читать любовные стихи.

Какие стихи? Вот они:

Ты помнишь ту пленительную пору,
Когда клокочет молодостью кровь
И жизнь идет не под гору, а в гору, —
Костюм поношен, но свежа любовь.

Мы не могли начислить даже сорок,
К твоим годам прибавив возраст мой.
А как нам был уют укромный дорог,
Где и зима казалась нам весной!

Наш Манюэль тогда был на вершине,
Париж святое правил торжество,
Фуа гремел, и я храню доныне
Булавку из корсажа твоего.

Ты всех пленяла. Адвокат без дела,
Тебя водил я в Прадо на обед.
И даже роза в цветниках бледнела,
Завистливо косясь тебе вослед.

Цветы шептались: «Боже, как прелестна!
Какой румянец! А волос волна!
Иль это ангел низошел небесный,
Иль воплотилась в девушку весна?»

И мы, бывало, под руку гуляем,
И нам в лицо глядя с улыбкой все,
Как бы дивясь, что рядом с юным маем
Апрель явился в праздничной красе.

Все было нам так сладостно, так ново!
Любовь, любовь! Запретный плод и цвет!
Бывало, молвить не успею слово,
Уже мне сердцем ты даешь ответ.

В Сорбонне был уют мой безмятежный,
Где о тебе всечасно я мечтал,
Где пленным сердцем карту Страсти нежной
Я перенес в студенческий квартал.

И каждый день заря нас пробуждала
В душистом нашем, свежем уголке.
Надев чулки, ты ножками болтала,
Звезда любви — на нищем чердаке!

В те дни я был поклонником Платона,
Мальбранш и Ламенне владели мной.
Ты, приходя с букетом, как мадонна,
Сияла мне небесной красотой.

О, наш чердак! Мы, как жрецы, умели
Друг другу в жертву приносить сердца!
Как, по утрам, в сорочке встав с постели,
Ты в зеркальце гляделась без конца!

Забуду ли те клятвы, те объятья,
Восходом озаренный небосклон,
Цветы и ленты, газовое платье,
Речей любви пленительный жаргон!

Считали садом мы горшок с тюльпаном,
Окну служила юбка вместо штор,
Но я, простым довольствуясь стаканом,
Тебе японский подносил фарфор.

И смехом все трагедии кончались:
Рукав сожженный иль пропавший плед!
Однажды мы с Шекспиром распрощались,
Продав портрет, чтоб раздобыть обед

И каждый день мы новым счастьем пьяны,
И поцелуям новый счет я вел.
Смеясь, уничтожали мы каштаны,
Огромный Данте заменял нам стол.

Когда впервые, уловив мгновенье,
Твой поцелуй ответный я сорвал,
И, раскрасневшись, ты ушла в смятенье, —
Как, побледнев, я небо призывал!

Ты помнишь эти радости, печали,
Разорванных косынок лоскуты,
Ты помнишь все, чем жили, чем дышали,
Весь этот мир, все счастье — помнишь ты?

Час, место, ожившие воспоминания юности, редкие
звезды, загоравшиеся в небе, кладбищенская тишина пу-
стынных улиц, неизбежность неумолимо надвигавшихся
событий — все придавало волнующее очарование этим
стихам, прочитанным вполголоса в сумерках Жаном Пру-

вером, который, — мы упоминали о нем, — был нежным поэтом.

Тем временем зажгли плошку на малой баррикаде, а на большой — один из тех восковых факелов, которые на масленице можно увидеть впереди колясок с ряжеными, отправляющимися в Куртиль. Эти факелы, как мы знаем, доставили из Сент-Антуанского предместья.

Факел был помещен в своего рода клетку из булыжника, закрытую с трех сторон для защиты его от ветра, и установлен таким образом, что весь свет падал на знамя. Улица и баррикада оставались погруженными в тьму, и было видно только красное знамя, грозно освещенное как бы огромным потайным фонарем.

Этот свет придавал багрецу знамени какой-то злоедающий кровавый отблеск.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Человек, завербованный на Щепной улице

Уже совсем наступила ночь, а все оставалось попрежнему. Слышался только смутный гул, порой ружейная стрельба, но редкая, прерывистая и отдаленная. Затянувшаяся передышка свидетельствовала о том, что правительство стягивает свои силы. На баррикаде пятьдесят человек ожидали шестидесяти тысяч.

Анжольрасом овладело нетерпение, испытываемое сильными душами на пороге опасных событий. Он пошел за Гаврошем, который занялся изготовлением патронов в нижней зале при неверном свете двух свечей, поставленных из предосторожности на прилавок, так как на столах был рассыпан порох. На улицу от этих двух свечей не проникало ни одного луча света. Повстанцы позаботились также о том, чтобы не зажигали огня в верхних этажах.

В эту минуту Гаврош был очень занят, и отнюдь не одними своими патронами.

Только что в нижнюю залу вошел человек со Щепной улицы и уселся за наименее освещенный стол. На снаряжение ему досталось солдатское ружье крупного калибра, которое он поставил между колен. До сих пор Гаврош,

отвлеченный множеством «занятных» вещей, даже не замечал этого человека.

Когда он вошел, Гаврош, восхитившись его ружьем, машинально проводил его взглядом, потом, когда человек сел, мальчишка вновь вскочил со своего места. Тот, кто проследил бы за ним до этого мгновения, заметил бы, что человек со Щепной улицы внимательно наблюдал решительно за всем происходившим на баррикаде и в отряде повстанцев; но, едва войдя в залу, он погрузился в какую-то сосредоточенную задумчивость и, казалось, перестал замечать окружающее. Мальчик подошел к этому задумавшемуся человеку и начал вертеться вокруг него на цыпочках, как это делают, когда боятся кого-нибудь разбудить. В то же время на его детском лице, одновременно дерзком и рассудительном, легкомысленном и серьезном, веселом и скорбном, замелькали одна за другой все те выразительные стариковские гримасы, которые обозначают: «Вздор! Не может быть! Мне померещилось! Разве это не... Нет, не он! Конечно, он! Да нет же!» и т. д. Гаврош раскачивался на пятках, сжимал кулаки в карманах, вытягивал шею, как птица, и выпячивал нижнюю губу — свидетельство того, что он пустил в ход всю свою проницательность. Он был озадачен, нерешителен, неуверен, убежден, восхищен. Ужимками своими он напоминал начальника евнухов, отыскивавшего на невольничьем рынке среди дебелих бабищ Венеру, или знатока, распознавшего среди бездарной мазни картину Рафаэля. Все в нем пришло в движение: инстинкт его что-то учуял, ум его что-то сопоставлял. Было очевидно, что Гаврош натолкнулся на важное открытие.

В самый разгар его усиленных размышлений к нему и подошел Анжольрас.

— Ты маленький, — сказал Анжольрас, — тебя не заметят. Выйди за баррикаду, прошмыгни вдоль домов, пошатайся немножко по улицам, потом вернешься и расскажешь мне, что там происходит.

Гаврош выпрямился.

— Значит, и маленькие на что-нибудь годятся! Очень приятно! Иду. А покамест доверяйте маленьким и не доверяйте большим... — Затем, подняв голову и понизив голос, Гаврош прибавил, показав на человека со Щепной улицы:

— Вы хорошо видите этого верзилу?

— Ну и что же?

— Это сыщик.

— Ты уверен?

— Не прошло и двух недель, как он стащил меня за ухо с карниза Королевского моста, где я уселся подышать свежим воздухом.

Анжольрас быстро отошел от мальчика и тихо прошептал несколько слов оказавшемуся здесь портовому рабочему. Тот вышел из залы и почти тотчас вернулся обратно в сопровождении трех товарищей. Четверо мужчин, четыре широкоплечих грузчика незаметно встали позади стола, на который облокотился человек со Щепной улицы, явно готовые броситься на него.

Тогда Анжольрас подсел к нему и спросил:

— Кто вы такой?

При этом неожиданном вопросе человек вздрогнул. Пристально взглянув в ясные глаза Анжольраса, он в их глубине, казалось, прочел его мысль. Он улыбнулся самой презрительной, самой смелой и решительной улыбкой, какую только можно вообразить, и ответил с высокомерной важностью:

— Я вижу, что... Ну да!

— Вы сыщик?

— Я представитель власти.

— Ваше имя?

— Жавер.

Анжольрас сделал знак четырем рабочим. В мгновение ока, прежде чем Жавер успел обернуться, он был схвачен за шиворот, опрокинут на землю, связан, обыскан.

У него нашли маленькую круглую карточку, вделанную между двух стекол, с гербом Франции и оттиснутой вокруг надписью: «Надзор и Бдительность» на одной стороне, а на другой — «ЖАВЕР, полицейский надзиратель, пятидесяти двух лет» и подпись тогдашнего префекта полиции Жиске.

Кроме того, у него были обнаружены часы и кошелек с несколькими золотыми монетами. Кошелек и часы ему оставили. Под часами, в глубине жилетного кармана, нащупали и извлекли вложенный в конверт листок бумаги. Развернув его, Анжольрас прочел пять строк, написанных рукой того же префекта полиции:

«Выполнив свою политическую задачу, полицейский надзиратель Жавер должен удостовериться особым розыском, действительно ли замечены следы злоумышленников на откосе правого берега Сены, возле Иенского моста».

Окончив обыск, Жавера поставили на ноги и, скрутив ему руки за спиной, привязали к тому знаменитому столбу, стоящему посредине нижней залы, который некогда дал название кабачку.

Гаврош, присутствовавший при этой сцене, вынес всему свое молчаливое одобрение кивком головы, потом подошел к Жаверу и сказал ему:

— Вот мышь и поймала кота.

Все было выполнено столь быстро, что когда об этом узнали люди, толпившиеся возле кабачка, дело было кончено. Жавер ни разу не крикнул. Услышав, что Жавер привязан к столбу, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Комбефер и повстанцы с обеих баррикад сбежались в нижнюю залу.

Жавер, стоявший у столба и так оплетенный веревками, что не мог пошевелинуться, поднял голову с неустрашимым спокойствием никогда не лгавшего человека.

— Это сыщик, — сказал Анжольрас.

И, обернувшись к Жаверу, добавил:

— Вас расстреляют за десять минут до того, как баррикада будет взята.

В ответ Жавер высокомерным тоном спросил:

— Почему же не сейчас?

— Мы бережем порох.

— В таком случае прикончите меня ударом ножа.

— Шпион, — ответил красавец Анжольрас, — мы судьи, а не убийцы.

Затем он позвал Гавроша:

— Ну, а ты отправляйся по своим делам! Выполни, что я тебе сказал.

— Иду, — крикнул Гаврош.

И уже на пороге, на минутку задержавшись, сказал:

— Кстати, вы мне отдадите его ружье! — И прибавил: — Я оставляю вам музыканта, но хочу получить кларнет.

Мальчик отдал честь по-военному и весело проскользнул в проход большой баррикады.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*Несколько вопросительных знаков по поводу некоего
Кабюка, который, быть может, и не именовался
Кабюком*

Трагическое описание, предпринятое нами, не было бы полным, и читатель не увидел бы во всей их строгой и жизненной выразительности эти великие часы рождения революции, часы высоких социальных усилий, сопряженных с мучительными судорогами, если бы мы опустили в начатом здесь наброске исполненный эпического и дикого ужаса случай, последовавший тотчас после ухода Гавроша.

Скопища людей, как известно, подобны снежному кому; катясь вперед, они обрастают шумной человеческой массой, в которой не спрашивают, кто откуда пришел. Среди прохожих, присоединившихся к сборищу, руководимому Анжольрасом, Комбефером и Курфейраком, находился некто, одетый в потертую на спине куртку грузчика; он размахивал руками, вопил и был похож на буйного пьяницу. Этот человек, именовавшийся или принявший имя Кабюк, по сути совершенно неизвестный тем, которые утверждали, будто его знают, сильно подвыпивший или притворявшийся пьяным, сидел с несколькими повстанцами за столом, который они вытащили из кабачка. Этот Кабюк, приставая с угощением к тем, кто отказывался пить, казалось, в то же время внимательно оглядывал большой дом в глубине баррикады, пять этажей которого возвышались над всей улицей и глядели в сторону Сен-Дени. Внезапно он вскричал:

— Товарищи, знаете что? Вон из какого дома нам следует стрелять. Если мы там засядем за окнами, тогда — чорта с два! — никто не пройдет по улице!

— Да, но дом заперт, — сказал один из его собутыльников.

— А мы постучимся.

— Не откроют.

— Высадим дверь!

Тут Кабюк бежит к двери, возле которой висит весьма увесистый молоток, и стучится. Дверь не открывают. Он стучит во второй раз. Никто не отвечает. Третий раз. То же молчание.

— Есть тут кто-нибудь? — кричит Кабюк.

Никаких признаков жизни.

Тогда он хватает ружье и начинает бить в дверь прикладом. Дверь была старинная, сводчатая, низкая, узкая, крепкая, из цельного дуба, обитая изнутри листовым железом, с железной оковкой, — настоящая потайная дверь крепости. Дом задрожал от ударов, но дверь не поддавалась.

Тем не менее жильцы дома, вероятно, встревожились: на третьем этаже осветилось и открылось, наконец, слуховое квадратное оконце. В оконце показалась свеча и благообразное испуганное лицо седовласого старика привратника.

Кабюк перестал стучать.

— Что вам угодно, господа? — спросил привратник.

— Отворяй! — потребовал Кабюк.

— Господа, это невозможно.

— Отворяй сейчас же.

— Нельзя, господа!

Кабюк взял ружье и прицелился в привратника, но так как он стоял внизу и было очень темно, то привратник этого не видел.

— Ты отворишь? Да или нет?

— Нет, господа!

— Ты говоришь — нет?

— Я говорю — нет, милостивые...

Привратник не договорил. Раздался выстрел; пуля ударила ему под подбородок и вышла сквозь затылок, пронизав шейную вену. Старик свалился без единого стога. Свеча упала и потухла, и ничего больше нельзя было различить, кроме неподвижной головы, лежавшей на краю оконца, и беловатого дымка, поднимавшегося к крыше.

— Так! — сказал Кабюк, опустив ружье прикладом на мостовую.

Едва он произнес это слово, как почувствовал чью-то руку, взявшую его за плечо со всей мощью орлиной хватки, и услышал голос:

— На колени.

Убийца обернулся и увидел перед собой бледное и холодное лицо Анжольраса. Анжольрас держал в руке пистолет.

Он пришел на звук выстрела.

Левой рукой он схватил ворот блузы, рубаху и подтяжки Кабюка.

— На колени, — повторил он.

И властным движением согнув, как тростинку, коренастого, здоровенного крючника, хрупкий двадцатилетний юноша поставил его на колени в грязь. Кабюк пытался сопротивляться, но, казалось, был схвачен рукой сверхчеловеческой силы.

Бледный, с обнаженной шеей и разметававшимися волосами, Анжольрас женственным своим лицом напоминал в эту минуту античную Фемиду. Раздувавшиеся ноздри и опущенные глаза придавали его строгому греческому профилю то выражение неумолимого гнева и чистоты, которое, в представлении древнего мира, подобает правосудию.

Сбежавшиеся с баррикады люди стали поодаль, чувствуя невозможность произнести хотя бы слово перед тем, что им предстояло увидеть.

Побежденный Кабюк не пытался больше отбиваться и дрожал всем телом. Анжольрас отпустил его и вынул часы.

— Соберись с силами, — сказал он. — Молись или размышляй. У тебя осталась одна минута.

— Пощадите! — пролепетал убийца; потом он опустил голову и пробормотал несколько невнятных ругательств.

Анжольрас не сводил глаз с часовой стрелки; выждав минуту, он сунул часы в карман. Потом, схватив за волосы Кабюка, который, скорчившись и завывая, жался к его коленям, он приблизил к его уху дуло пистолета. Многие из этих отважных людей, так спокойно отправившихся на самое рискованное и страшное предприятие, отвернулись.

Раздался выстрел, убийца упал ничком на мостовую, Анжольрас выпрямился и оглядел всех уверенным и строгим взглядом.

Потом он толкнул ногою труп и сказал:

— Выбросьте это вон.

Три человека подняли тело негодяя, еще дергавшееся в последних произвольных судорогах уходящей жизни, и перебросили его через малую баррикаду на улицу Мондетур.

Анжольрас стоял задумавшись. Выражение какого-то мрачного величия медленно проступало на его грозном и спокойном челе. Вдруг он заговорил. Все затихли.

— Граждане, — сказал Анжольрас, — то, что сделал этот человек, гнусно, а то, что сделал я, — ужасно. Он убил, и вот почему я убил его. Я обязан был так поступить, ибо у восстания должна быть своя дисциплина. Убийство здесь — большее преступление, чем где бы то ни было: на нас взирает революция, мы жрецы Республики, мы священные жертвы долга, и не следует давать другим повод оклеветать нашу борьбу. Поэтому я осудил этого человека и приговорил его к смерти. Принужденный сделать то, что я сделал, хотя и чувствовал к этому отвращение, я осудил также и себя, и вы скоро увидите, к чему я себя приговорил.

Слушавшие содрогнулись.

— Мы разделим твою участь, — крикнул Комбефер.

— Пусть так, — ответил Анжольрас. — Еще одно слово. Казнив этого человека, я повиновался необходимости, но необходимость — чудовище старого мира; там необходимость называлась Роком. Закон же прогресса в том, что чудовища рассеиваются перед лицом ангелов и Рок исчезает перед лицом Братства. Сейчас не время для слова «любовь». И все же я его произношу, и я прославляю его. Любовь — тебе будущее! Смерть, я прибегнул к тебе, но я тебя ненавижу! Граждане, в грядущем не будет ни мрака, ни неожиданных потрясений, ни свирепого невежества, ни кровавого возмездия. Так же, как не будет больше Сатаны, не будет больше и Михаила Архангела. В грядущем никто не станет никого убивать, земля будет сиять, род человеческий — любить. Граждане, он придет, тот день, когда все станет согласием, гармонией, светом, радостью и жизнью, он придет! И вот, для того чтобы он пришел, мы идем на смерть.

Анжольрас умолк. Его целомудренные уста сомкнулись; неподвижно, точно мраморное изваяние, стоял он на том самом месте, где пролил кровь. Его застывший взгляд принуждал окружающих говорить вполголоса.

Жан Прувер и Комбефер молча сжимали друг другу руки и, прислонившись один к другому в углу баррикады, с восторгом, к которому примешивалось сострадание,

смотрели на строгое лицо этого юноши, палача и жреца, светлого, как кристалл, и твердого, как скала.

Скажем тут же, что позднее, после боя, когда трупы были доставлены в морг и обысканы, у Кабюка нашли карточку полицейского агента. Автор этой книги располагал в 1848 году особым рапортом, представленным по этому поводу префекту полиции в 1832 году.

Добавим также, что, если верить странному, но, вероятно, обоснованному полицейскому преданию, Кабюк был не кто иной, как Звенигрош. Во всяком случае после смерти Кабюка больше никто не слышал о Звенигроше. Исчезнув, Звенигрош не оставил за собой никакого следа; казалось, он слился с невидимым. Его жизнь была мраком, его конец — тьмою.

Весь повстанческий отряд был еще под впечатлением этого трагического судебного дела, столь быстро расследованного и быстро законченного, когда Курфейрак снова увидел на баррикаде невысокого молодого человека, который утром спрашивал у него про Мариуса.

Этот юноша, смелый и беззаботный на вид, с наступлением ночи вернулся, чтобы вновь присоединиться к повстанцам.

Книга тринадцатая

МАРИУС УХОДИТ ВО МРАК

ГЛАВА ПЕРВАЯ

От улицы Плюме до квартала Сен-Дени

Голос в сумерках, позвавший Мариуса на баррикаду улицы Шанврери, показался ему голосом рока. Он хотел умереть, и ему представился к этому случай; он стучался в ворота гробницы, и рука во тьме протягивала ему ключ от них. Зловещий выход, открывающийся во мраке отчаянью, всегда полон соблазна. Мариус раздвинул прутья решетки, столько раз пропускавшей его, вышел из сада и сказал: «Пойдем!»

Обезумев от горя, не в силах принять какое-либо твердое решение, неспособный отныне согласиться ни с чем, что предложила бы ему судьба после этих двух месяцев опьянения молодостью и любовью, одолеваемый самыми мрачными мыслями, какие только может внушить отчаяние, он хотел лишь одного — скорее покончить с жизнью.

Он пошел быстрым шагом. У него были при себе пистолеты Жавера, таким образом он оказался вооруженным.

Молодой человек, которого он мельком увидел, скрылся из виду где-то на повороте улицы.

Мариус, выйдя с улицы Плюме бульваром, пересек эспланаду и мост Инвалидов, Елисейские поля, площадь Людовика XV и очутился на улице Риволи. Здесь магазины были открыты, под аркадами горел газ, женщины делали покупки в лавках; в кафе «Летер» ели мороженое, а в английской кондитерской — пирожки. Лишь несколько почтовых карет пронеслись галопом, выехав из гостиниц «Пренс» и «Мерис».

Через пассаж Делорм Мариус вышел на улицу Сент-Оноре. Здесь лавки были заперты, торговцы переговаривались у полуотворенных дверей, по тротуарам сновали прохожие, фонари были зажжены, все окна, начиная со второго этажа, были освещены, как обычно. На площади Пале-Рояль стояла кавалерия.

Мариус пошел по улице Сент-Оноре. По мере того как он удалялся от площади Пале-Рояль, освещенных окон попадалось все меньше, лавки были наглухо закрыты, на порогах домов никто не переговаривался, улица становилась все темнее, а толпа людей все гуще, ибо прохожие теперь собирались толпой. В этой толпе никто как будто не произносил ни слова, и, однако, оттуда доносилось глухое, низкое гудение.

По дороге к фонтану Арбр-Сэк попадались «сборища» — неподвижные и мрачные группы людей, которые среди прохожих напоминали камни в потоке воды.

У въезда на улицу Прувер толпа больше не двигалась. То была стойкая, внушительная, крепкая, плотная, почти непроницаемая глыба из тесно сгрудившихся людей, которые тихонько толковали между собой. Тут почти не было сюртуков или круглых шляп, — всюду рабочие балахоны, блузы, фуражки, взъерошенные волосы и землистые лица. Все это скопище смутно колыхалось в ночном тумане. В глухом говоре толпы был хриплый отзвук закипающих страстей. Хотя никто не двигался, слышно было, как переступают ноги в грязи. По ту сторону этой толщи людей, на улицах Руль, Прувер и в конце улицы Сент-Оноре, не было ни одного окна, в котором горел бы огонек свечи. Виднелись только убегающие вдаль и меркнувшие в глубине улиц цепочки фонарей. Фонари того времени напоминали подвешенные на веревках большие красные звезды, отбрасывавшие на мостовую тень, похожую на громадного паука. Улицы не были пустынные. Там можно было различить ружья в козлах, покачивавшиеся штыки и стоявшие биваком войска. Ни один любопытный не переходил этот рубеж. Там движение прекращалось. Там кончалась толпа и начиналась армия.

Мариус стремился туда с настойчивостью человека, потерявшего надежду. Его позвали, значит, нужно было идти. Ему удалось пробиться сквозь толпу, сквозь биваки отрядов, он ускользнул от патрулей и избежал

часовых. Сделав крюк, он вышел на улицу Бетизи и направился к рынку. На углу улицы Бурдоне фонарей больше не было.

Миновав зону толпы, он перешел границу войск и очутился среди чего-то страшного. Ни одного прохожего, ни одного солдата, ни проблеска света, никого; безлюдие, молчание, ночь; неведомый, пронизывающий холод. Войти в такую улицу все равно, что войти в погреб.

Он продолжал двигаться вперед.

Он сделал несколько шагов. Кто-то бегом промчался мимо. Кто это был? Мужчина? Женщина? Было ли их несколько? Он не мог этого сказать. Тень мелькнула и исчезла.

Окольными путями он вышел в переулок, решив, что это Гончарная улица; в середине этой улицы он натолкнулся на препятствие. Он протянул руки вперед. То была опрокинутая тележка; он чувствовал под ногами лужи, выбоины, разбросанный и наваленный булыжник. Здесь была начатая и покинутая баррикада. Перебравшись через кучи булыжника, он очутился по другую сторону заграждения. Он шел у самых уличных тумб и находил дорогу по стенам домов. Ему показалось, будто немного поодаль от баррикады промелькнуло что-то белое. Он приблизился, и это белое приняло определенную форму. То были две белые лошади, — те, которых Боссюэ утром выпряг из омнибуса. Они брели весь день наугад, из улицы в улицу и в конце концов остановились здесь с тупым терпением животных, которые в такой же степени постигают действия человека, в какой человек — пути providения.

Мариус прошел мимо них. Когда он подходил к улице, показавшейся ему улицей Общественного договора, откуда-то грянул ружейный выстрел, и просвистевшая совсем близко от него пуля, наугад прорезая мрак, пробила над его головой медный таз для бритья, висевший над дверью цирюльника. Еще в 1846 году на улице Общественного договора в углу рыночной колоннады можно было увидеть этот продырявленный таз для бритья.

Ружейный выстрел был все же проявлением жизни. Но с этой минуты больше ничего не случилось.

Весь его путь походил на спуск по черным ступеням. И все же Мариус шел вперед.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Париж — глазами совы

Существо, наделенное крыльями летучей мыши или совы, которое парило бы в это время над Парижем, увидело бы мрачную картину.

Весь старый квартал Центрального рынка, пересеченный улицами Сен-Дени и Сен-Мартен, образующий как бы город в городе, являющийся местом окрещения тысячи переулков и превращенный повстанцами в свой оплот и укрепление, предстал бы перед этим крылатым существом какой-то громадной темной ямой, вырытой в самом сердце Парижа. Здесь взгляд погружался в пропасть. Разбитые фонари, закрытые окна — это исчезновение всякого света, всякой жизни, всякого шума, всякого движения. Невидимый дозор мятежа бодрствовал повсюду и поддерживал порядок, то есть ночной мрак. Погрузить малое количество людей во всеобъемлющую тьму, так сказать, умножить число бойцов с помощью всех тех средств, которыми эта темнота располагает, — вот необходимая тактика восстания. На исходе дня каждое окно, где зажигали свечу, разбивалось пулей. Свет потухал, а иногда лишался жизни и обитатель. Поэтому все замерло там. В домах царили только страх, печаль и оцепенение; на улицах — какой-то священный ужас. Нельзя было различить ни длинных рядов окон и этажей, ни зубчатых выступов труб и крыш, ни тех смутных бликов, которыми отсвечивает грязная и влажная мостовая. Око, взиравшее с высоты на этот сгусток тьмы, быть может, уловило бы там и сям мерцавший свет, подобный огонькам, блуждающим среди развалин; этот свет выхватывал из мрака ломаные и причудливые линии, очертания странных сооружений: там были баррикады. Остальное представлялось озером темноты, туманным, гнетущим, унылым. Над ним вставали неподвижные и зловещие силуэты: башня Сен-Жак, церковь Сен-Мерри и два или три других громадных здания, которые человек создает гигантами, а ночь превращает в призраки.

Всюду, вокруг этого пустынного и внушавшего тревогу лабиринта, в кварталах, где парижская суматоха не стихла окончательно и где горело несколько редких фонарей, воздушный наблюдатель мог бы различить

металлическое поблескивание сабель и штыков, глухой грохот артиллерии и движение молчаливых батальонов, возраставшее с каждой минутой; он увидел бы страшный пояс, который стягивался и медленно смыкался вокруг восставших.

Обложенный войсками квартал был теперь чем-то вроде чудовищной пещеры; там все казалось уснувшим или неподвижным, и, как мы видели, каждая улица, в которую удавалось пробраться, встречала человека только мраком.

Мраком первобытным, полным ловушек, чреватых неизвестными и опасными столкновениями, куда страшно было проникнуть и где жутко было остаться; входящие трепетали перед теми, кто поджидал их, ожидавшие дрожали перед теми, кто приближался. За каждым поворотом улиц — невидимые бойцы в засадах, грозящие смертью западни, скрытые в толщах мрака. Тут был конец всему. Никакой надежды отныне на иной свет, кроме вспышки ружейного выстрела, на иную встречу, кроме внезапного и короткого знакомства со смертью. Где? Как? Когда? Никто не знал. Но это было бесспорно и неизбежно. Здесь, в этом месте, избранном для борьбы, правительство и восстание, национальная гвардия и народ, буржуазия и мятежники собирались схватиться врукопашную ощупью, наугад. Для одних и для других необходимость этого была одинаковой. Отныне оставался лишь один исход — выйти отсюда победителями или сойти в могилу. Положение было настолько напряженным, тьма настолько непроницаемой, что самые робкие проникались решимостью, а самые смелые — ужасом.

Впрочем, обе стороны не уступали друг другу в ярости, ожесточении и решимости. Для одних идти вперед — значило умереть, и никто не думал отступать, для других остаться — значило умереть, но никто не думал бежать.

Необходимость требовала, чтобы завтра все закончилось, чтобы победу одержала та или другая сторона, чтобы восстание стало революцией или оказалось лишь неудавшимся дерзким предприятием. Правительство это понимало так же, как и повстанцы; ничтожнейший буржуа чувствовал это. Отсюда и мучительное беспокойство, усугубляемое беспросветным мраком этого квартала, где все

должно было решиться, отсюда и нарастающая тревога вокруг этого молчания, которому предстояло разразиться катастрофой. Здесь был слышен только один звук, раздражающий сердце, как хрипение, угрожающий, как проклятие: набат Сен-Мерри. Нельзя было представить ничего более леденящего душу, чем растерянный, полный отчаянья вопль этого колокола, жалостно сетующего во мгле.

Как это часто бывает, природа, казалось, дала согласие на то, что люди готовились делать. Ничто не нарушало горестной гармонии целого. Звезды исчезли, тяжелые облака затянули весь горизонт своими угрюмыми складками. Над мертвыми улицами распростерлось черное небо, точно исполинский саван над исполинской могилой.

Пока битва, еще всецело политическая битва, готовилась на том самом месте, которое уже видело столько революционных событий, пока юношество, тайные общества, школы — во имя принципов, а средний класс — во имя корысти, приближались друг к другу, чтобы столкнуться и повергнуть друг друга во прах, пока каждый торопил и призывал последний и решительный час, — вдали и вне рокового квартала, в глубочайших бездонных низинах того старого отверженного Парижа, который теряется в блеске Парижа счастливого и пышущего изобилием, слышалось глухое рокотанье сурового голоса народа.

Голоса, устрашающего и священного, который слезается из рычания зверя и из слова божьего, который ужасает слабых и предупреждает мудрых, который звучит одновременно снизу, как львиный рык, и с высоты, как глас громовый.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Последний рубеж

Мариус дошел до Центрального рынка.

Здесь все было еще безмолвнее, еще мрачнее и неподвижнее, чем на соседних улицах. Казалось, леденящий покой гробницы изошел от земли и распростерся под небом.

Какое-то красноватое зарево, однако, вырисовывало на этом черном фоне высокие кровли домов, заграждавших улицу Шанврери со стороны церкви Сент-Эташ. То был отблеск факела, горевшего на баррикаде «Коринфа». Мариус двинулся по направлению к этому зареву. Оно привело его к Свекольному рынку, и Мариус разглядел мрачное устье улицы Проповедников. Он вошел туда. Сторожевой пост повстанцев, карауливший на другом конце, не заметил его. Он чувствовал близость того, что искал, и шел, легко и бесшумно ступая. Так он добрался до крутого поворота улочки Мондетур, короткий отрезок которой, как помнит читатель, служил единственным средством сообщения с внешним миром, которое сохранил Анжольрас. Выглянув из-за угла последнего дома с левой стороны, Мариус осмотрел отрезок переулка Мондетур.

Немного подальше от черного угла этого переулка и улицы Шанврери, отбрасывающего широкое полотнище тени туда, где он схоронился, он увидел тусклый блик на мостовой, смутно различил кабачок, а за ним мигавшую плоску, которая стояла на какой-то бесформенной стене, и людей, прикорнувших с ружьями на коленях. Все это находилось туазах в десяти от него. То была внутренняя часть баррикады.

Дома, окаймлявшие улочку справа, скрывали от него остальную часть кабачка, большую баррикаду и знамя.

Мариусу оставалось сделать только один шаг.

Тогда несчастный юноша присел на тумбу, скрестил руки и стал думать о своем отце.

Он думал о героическом полковнике Понмерси, об отважном солдате, который при Республике охранял границы Франции, а при императоре достиг границ Азии, который видел Геную, Александрию, Милан, Турин, Мадрид, Вену, Дрезден, Берлин, Москву, который проливал свою кровь на всех бранных полях Европы, — ту же кровь, что текла в жилах Мариуса, — и поседел раньше времени, подчиняясь сам и подчиняя других жесткой дисциплине; который прожил жизнь в мундире, с застегнутой портупеей, с густой, свисающей на грудь бахромой эполет, с почерневшей от пороха кокардой, с каской, давящей на лоб, в полевых бараках, в лагерях, на биваках, в госпиталях, и который после двадцати лет великих войн вернулся с рубцами на лице, улыбающийся, простой, спо-

койный, ясный и чистый, как дитя, все сделав для Франции и ничего против нее.

Мариус говорил себе, что и его день настал, и его час, наконец, пробил, что по примеру отца он также должен быть смелым, неустрашимым, отважным, должен идти навстречу пулям, подставлять свою грудь под штыки, проливать свою кровь, искать врага, искать смерти, что и он, в свою очередь, будет воевать и выйдет на поле битвы, что это поле битвы — улица, а эта война — гражданская война.

Он увидел гражданскую войну, разверзшуюся перед ним, подобно пропасти, и в эту пропасть ему предстояло ринуться.

Тогда он содрогнулся.

Он вспомнил отцовскую шпагу, которую его дед продал старьевщику и о которой он так горько сожалел. Он говорил себе, что она правильно поступила, эта доблестная и незапятнанная шпага, ускользнув от него и гневно уйдя во мрак; что, если она так бежала, значит, она была одарена разумом и предвидела будущее, значит, она предчувствовала мятеж, войну в сточных канавах, уличную войну, стрельбу через отдушины погребов, удары, наносимые и получаемые в спину; что она, эта шпага, вернувшаяся с полей Маренго и Фридланда, не хотела идти на улицу Шанврери и, после подвигов, свершенных с отцом, иного свершать с сыном не желала! Он говорил себе, что если бы эта шпага была с ним, если бы, приняв ее у изголовья умершего отца, он осмелился бы взять ее и принести с собой на это ночное сражение французов с французами на уличном перекрестке, она, наверное, обожгла бы ему руки и запылала перед ним, как меч архангела! Какое счастье, говорил он себе, что она исчезла. Как это хорошо, как справедливо! Какое счастье, что дед его оказался подлинным хранителем славы отца: ведь лучше шпаге полковника быть проданной с молотка, достаться старьевщику, быть брошенной в железный лом, чем обгаживать сегодня кровью грудь отечества.

И он горько заплакал.

Это было ужасно. Но что же делать? Жить без Козетты он не мог. Раз она уехала, остается только умереть. Ведь он поклялся ей, что умрет! Она уехала, зная об этом, значит, она хочет, чтобы он умер. Ясно, что она его

больше не любит, если исчезла, даже не уведомив его, не сказав ни слова, не послав письма, хотя знала его адрес! Ради чего и зачем теперь жить? И потом, как же это? Прийти сюда и отступить! Приблизиться к опасности и бежать! Увидеть баррикаду и улизнуть! Улизнуть, дрожа от страха и думая про себя: «Довольно, с меня хватит, я видел, и этого достаточно; это гражданская война, я ухожу!» Покинуть друзей, которые его ожидают, которые, быть может, в нем нуждаются! Эту горсточку, противостоявшую целой армии! Изменить всему сразу: любви, дружбе, слову! Оправдать свою трусость патриотизмом! Но это было невозможно. Если бы призрак отца появился здесь, во мраке, и увидел, что сын отступил, то отстегал бы его ножнами шпаги и крикнул бы ему: «Иди же, трус!»

Раздираемый противоречивыми мыслями, Мариус опустил голову.

Но вдруг он снова поднял ее. Нечто вроде торжественного просветления свершилось в его уме. Близость могилы расширяет горизонт мысли; когда стоишь перед лицом смерти, глазам открывается истина. Видение битвы, в которую он чувствовал себя готовым вступить, предстало перед ним, но уже не жалким, а величественным. Благодаря какой-то неведомой внутренней работе души уличная война внезапно преобразилась перед его умственным взором. Все неразрешимые вопросы, осаждавшие его во время раздумья, снова вернулись к нему беспорядочной толпой, но не смущали его более. На каждый из них был теперь ответ.

Рассудим, почему отец мог возмутиться? Разве не бывает случаев, когда восстание возвышается до степени исполняемого долга? В какой же мере для сына полковника Понмерси могло быть унижительным завязывающееся сражение? Это не Монмирайль, ни Шампобер, это нечто другое. Борьба идет не за священную землю отчизны, но за святую идею. Родина скорбит, пусть так; зато человечество приветствует восстание. Впрочем, действительно ли родина скорбит? Франция истекает кровью, но свобода радуется; а если свобода радуется, Франция забывает о своей ране. И затем, если смотреть на вещи шире, то что можно сказать о гражданской войне?

Гражданская война! Что это значит? Разве есть война с иноземцами? Разве всякая война между людьми — не война между братьями? Война определяется лишь ее целью. Нет ни войн с иноземцами, ни войн гражданских; есть только война несправедливая и война справедливая. До того дня, когда будет заключено великое человеческое соглашение, война, по крайней мере та, которая является порывом спешащего будущего против мешкотного прошлого, может быть необходимой. В чем могут упрекнуть такую войну? Война становится постыдной, а шпага становится кинжалом убийцы только тогда, когда она наносит смертельный удар праву, прогрессу, разуму, цивилизации, истине. В этом случае война, — будь она гражданской или против иноземцев, — равно несправедлива, и имя ее — преступление. Помимо этого священного условия — справедливости, по какому праву одна форма войны будет презирать другую? По какому праву шпага Вашингтона может служить отрицанием пики Камилла Демулена? Леонид против иноземца, Тимoleon против тирана, — который из них более велик? Один защитник, другой освободитель. Возможно ли клеймить позором всякое вооруженное выступление внутри государства, не задаваясь вопросом о его цели? В таком случае наложите печать бесчестия на Брута, Марселя, Арну де Бланкенгейма, Колиньи. Партизанская война? Уличная война? Почему же нет? Ведь такова война Амбиорикса, Артевелде, Марникса, Пелагия. Но Амбиорикс боролся против Рима, Артевелде против Франции, Марникс против Испании, Пелагий против мавров; все — против внешнего врага. Так вот, монархия — это и есть внешний враг; угнетение — внешний враг; «священное право» — внешний враг. Деспотизм нарушает моральные границы, подобно тому как вторжение врага нарушает границы географические. Изгнать тирана или изгнать англичан — это в обоих случаях значит: освободить свою территорию. Наступает час, когда недостаточно только возражать; за философией должно следовать действие; живая сила заканчивает то, что наметила идея. «Скованный Прометей» начинается, Аристогитон заканчивает. «Энциклопедия» просвещает души, 10 августа их воспламеняет. После Эсхила — Фразибул; после Дидро — Дантон. Народ стремится найти руководителя. В массе он сбрасывает с себя

апатию. Толпу легко сплотить в повиновении. Людей нужно расшевеливать, расталкивать, не давать покоя ради самого блага их освобождения, нужно колоть им глаза правдой, метать в них грозный свет полными пригоршнями. Нужно, чтобы они сами были слегка поражены собственным спасением; этот ослепительный свет пробуждает их. Отсюда необходимость набатов и битв. Нужно подняться великим воинам, озарить народы дерзновением и встряхнуть это несчастное человечество, над которым нависает мрак священного права, цезаристской славы, грубой силы, фанатизма, безответственной власти и самодержавных величеств; встряхнуть это скопище, тупо созерцающее мрачное торжество ночи во всем его сумеречном великолепии. Долой тирана! Как? О ком вы говорите? Вы называете Луи-Филиппа тираном? Нет, не больше, чем Людовика XVI. Оба они из тех, кого история обычно называет «добрыми королями»; но принципы не дробятся, логика истины прямолинейна, а свойство истины не оказывать снисхождения; стало быть, никаких уступок; всякое нарушение человеческих прав должно быть пресечено; Людовик XVI воплощает «священное право», Луи-Филипп тоже, *потому что он Бурбон*; оба в известной мере олицетворяют захват права и, чтобы устранить всемирно распространенную узурпацию права, должно с ними сразиться; так нужно, потому что всегда начинала именно Франция. Когда во Франции ниспровергается властелин, он ниспровергается всюду. Словом, вновь утвердить социальную правду, вернуть свободе ее престол, вернуть народ народу, вернуть человеку верховную власть, вновь возложить красный убор на голову Франции, восстановить разум и справедливость во всей их полноте, подавить всякий зародыш враждебности, возвратив каждого самому себе, уничтожить препятствие, которое королевская власть ставит всеобщему величайшему согласию, вновь поднять человечество на один уровень с правом, — какое дело может быть более справедливым и, следовательно, какая война более великой? Такие войны создают мир. Огромная крепость предрассудков, привилегий, суеверий, лжи, лихоимства, злоупотреблений, насилий, несправедливостей и мрака все еще возвышается над миром со своими башнями ненависти. Нужно ее ниспровергнуть. Нужно

обрушить эту чудовищную громаду. Победить при Аустерлице — великий подвиг; взять Бастилию — величайший.

Нет человека, который не заметил бы по собственному опыту, что душа — и в этом чудо ее единства, сопряженного с вездесущностью, — обладает странной способностью рассуждать почти хладнокровно при самых крайних обстоятельствах, и нередко безутешное любовное горе, глубочайшее отчаяние в самых мучительных, в самых мрачных своих монологах обсуждают и оспаривают те или иные положения. К буре чувств примешивается логика, и нить силлогизма вьется, не разрываясь, в скорбном неистовстве мысли. Именно в таком состоянии и находился Мариус.

Размышляя подобным образом, изнеможенный, то полный решимости, то колеблясь и, в конечном счете, треща перед тем, что он собирался сделать, Мариус окидывал блуждающим взором внутреннюю часть баррикады. Там вполголоса разговаривали не покидавшие своих мест повстанцы, и чувствовалось то обманчивое спокойствие, которое знаменует собою последнюю фазу ожидания. Над ними, в слуховом окне третьего этажа, Мариус различал какого-то зрителя или наблюдателя, казавшегося ему как-то по-особому внимательным. То был убитый Кабюком привратник. В отблесках факела, скрытого в груди булыжника, снизу едва можно было разглядеть его голову. Ничто не могло быть более необычным, чем это озаряемое колеблющимся мрачным светом иссиня-бледное, неподвижное, удивленное лицо под вставшими дыбом волосами, с открытыми и застывшими глазами и разинутым ртом, словно из любопытства наклонившееся над улицей. Можно было подумать, что тот, кто умер, всматривается в тех, кому предстоит умереть. От оконца красноватыми струйками спускалась вниз длинная кровавая дорожка, обрываясь на втором этаже.

Книга четырнадцатая

ВЕЛИЧИЕ ОТЧАЯНИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Знамя. Действие первое

Все еще никто не появлялся. На Сен-Мерри пробило десять часов. Анжольрас и Комбефер уселись с карабинами в руках возле прохода, оставленного в большой баррикаде. Они сидели молча и прислушивались, стараясь уловить хотя бы даже самый глухой, самый отдаленный шум шагов.

Внезапно в этой зловещей тишине раздался звонкий молодой, веселый голос, казалось доносившийся с улицы Сен-Дени, и отчетливо, на мотив старой народной песенки «При свете луны», зазвучали стишки, кончавшиеся возгласом, подобным крику петуха:

Друг Бюго, не спишь ли?
Я от слез опух.
Ты жандармов вышли
Поддержать мой дух.

В голубой шинели,
Кивер на боку.
Пули засвистели!
Ку-кукурику!

Они сжали друг другу руки.

— Это Гаврош, — сказал Анжольрас.

— Он нас предупреждает, — добавил Комбефер.

Стремительный бег нарушил тишину пустынной улицы, какое-то существо, более проворное, чем клоун, перелезло через омнибус, и запыхавшийся Гаврош спрыгнул внутрь баррикады, воскликнув:

— Где мое ружье? Они идут!

Электрический ток пробежал по всей баррикаде, слышался шорох рук, нащупывающих ружья.

— Хочешь взять мой карабин? — спросил мальчика Анжольрас.

— Я хочу большое ружье, — ответил Гаврош.

И он взял ружье Жавера.

Двое часовых оставили свои посты и вернулись на баррикаду почти одновременно с Гаврошем. Один — стоявший на посту в конце улицы, другой — дозорный с Малой Бродяжной. Дозорный из переулка Проповедников остался на своем месте, — очевидно, со стороны мостов и рынков никто не появлялся.

Пролет улицы Шанверри, где при отблесках света, падавшего на знамя, лишь кое-где с трудом можно было различить булыжник мостовой, казался повстанцам какими-то огромными черными воротами, смутно зиявшими в тумане.

Каждый занял свое боевое место.

Сорок три повстанца, среди них Анжольрас, Комбедер, Курфейрак, Боссюэ, Жоли, Баорель и Гаврош, стояли на коленях внутри большой баррикады, держа головы на уровне ее гребня, с ружьями и карабинами, наведенными на мостовую словно из бойниц, настороженные, безмолвные, готовые открыть огонь. Шесть повстанцев под командой Фейи, с ружьями на прицеле, стояли в окнах обоих этажей «Коринфа».

Прошло еще несколько мгновений, затем гул размеренных, грузных шагов ясно слышался со стороны Сен-Ле. Этот гул, сначала слабый, затем более отчетливый, затем тяжелый и звучный, медленно приближался, нарастая безостановочно, непрерывно, с каким-то грозным спокойствием. Ничего, кроме этого шума, не было слышно. То было и молчание и гул движущейся статуи Командора, но этот каменный шаг заключал в себе что-то огромное и множественное, вызывающее представление о какой-то толпе и в то же время о призраке. Можно было подумать, что это шаг страшной статуи, чье имя Легион. Шаги приближались; они приблизились еще и остановились. Казалось, с конца улицы доносится дыхание большого скопища людей. Однако там ничего нельзя было рассмотреть, только в самой глубине этот

густой тьмы мерцало множество металлических нитей, тонких, как иглы, и почти незаметных, мелькавших наподобие тех фосфорических, не поддающихся описанию сетчатых сплетений, которые возникают в дремоте, под сомкнутыми веками, в первом тумане сна. То были стволы и штыки ружей, неясно освещенные далеким отблеском факела.

Опять настало молчание, точно обе стороны чего-то выжидали. Внезапно из глубины мрака чей-то голос, особенно зловещий потому, что никого не было видно, — казалось, заговорила сама тьма, — крикнул:

— Кто идет?

В то же время послышалось звяканье опускаемых ружей.

— Французская революция, — взволнованно и гордо ответил Анжольрас.

— Огонь! — скомандовал голос.

Вспышка молнии озарила багровым светом все фасады домов, как если бы вдруг растворилась и сразу захлопнулась дверца пылавшей печи.

Ужасающий грохот пронесся над баррикадой. Красное знамя упало. Залп был такой неистовый и такой плотный, что срезал древко, то есть верхушку поставленного стоймя дышла омнибуса. Пули, отскочившие от карнизов домов, попали внутрь баррикады и ранили нескольких человек. Этот первый залп произвел жуткое впечатление. Атака оказалась жестокой и заставила задуматься самых бесстрашных. Было очевидно, что повстанцы имеют дело по меньшей мере с целым полком.

— Товарищи, — крикнул Курфейрак, — не будем зря тратить порох. Подождем отвечать, пока они не продвигнутся дальше по улице.

— И прежде всего, — сказал Анжольрас, — поднимем снова знамя!

Он подобрал знамя, упавшее прямо к его ногам.

За баррикадой слышался стук шомполов в стволах; отряд снова заряжал ружья.

— У кого из вас хватит отваги? — продолжал Анжольрас. — Кто водрузит знамя над баррикадой?

Никто не ответил. Взойти на баррикаду, когда вся она, без сомнения, опять была взята на прицел, — попро-

сту значило умереть. Самому мужественному человеку трудно решиться вынести себе смертный приговор. Даже Анжольрас содрогнулся. Он повторил:

— Никто не возьмется?

ГЛАВА ВТОРАЯ

Знамя. Действие второе

С тех пор как повстанцы дошли до «Коринфа» и начали строить баррикаду, никто больше не обращал внимания на дедушку Мабефа. Однако г-н Мабеф не покинул отряда. Он вошел в первый этаж кабачка и уселся позади стойки. Там он как бы целиком погрузился в самого себя. Казалось, он ни на что не смотрит, ни о чем не думает. Курфейрак и другие несколько раз подходили к нему, предупреждая об опасности и предлагая ему удалиться, но, повидимому, он их не слышал. Когда его оставляли в покое, его губы шевелились, словно он беседовал с кем-то, но стоило заговорить с ним, как его губы смыкались, а глаза потухали. За несколько часов до того, как баррикада была атакована, он принял позу, которую ни разу с тех пор не изменил. Его сжатые в кулаки руки лежали на коленях, голова наклонилась вперед, словно он заглядывал в пропасть. Ничто не могло вывести его из этого положения; казалось, мысль его витает далеко от баррикады. Когда каждый отправился к своему боевому посту, в нижней зале не осталось никого, кроме привязанного к столбу Жавера, караулившего его повстанца с обнаженной саблей и Мабефа. Во время атаки, при залпе, он почувствовал сотрясение воздуха, и это как бы пробудило его; он вдруг поднялся, прошел через залу, и как раз в то мгновение, когда Анжольрас повторил свой вопрос: «Никто не возьмется?» — старик появился на пороге кабачка.

Его появление глубоко взволновало повстанцев. Пытались крики:

— Это тот, кто голосовал за казнь короля! Член Конвента! Представитель народа!

Возможно, г-н Мабеф не слышал этого.

Он направился прямо к Анжольрасу, — повстанцы расступились перед ним с каким-то благоговейным страхом, — вырвал знамя у Анжольраса, который, попятившись назад, окаменел от изумления, затем этот восьмидесятилетний старец, с трясущейся головой, начал твердым шагом медленно всходить по лесенке из булыжника, устроенной на баррикаде; никто не осмелился ни остановить его, ни предложить ему помощь. Это было столь мрачно и столь величественно, что все вокруг вскричали: «Шапки долой!» То было страшное зрелище! С каждой следующей ступенькой эти седые волосы, старческое лицо, огромный облысевший и морщинистый лоб, эти впалые глаза, полуоткрытый от удивления рот, дряхлая рука, поднимавшая красный стяг, выступали из тьмы, вырастая в кровавом свете факелов, и чудилось, что призрак Девяносто третьего года вышел из-под земли со знаменем террора в руках.

Когда он достиг верхней ступеньки, когда это дрожащее и грозное привидение, стоя на груде обломков против тысячи двухсот невидимых ружей, выпрямилось перед лицом смерти, словно было сильнее ее, вся барригада приняла во мраке сверхъестественный, грандиозный вид.

Наступило молчание, какое бывает только при лицезрении чуда.

Среди этого молчания старик взмахнул красным знаменем и крикнул:

— Да здравствует Революция! Да здравствует Республика! Братство! Равенство! И смерть!

На баррикаде услышали быстрый и тихий говорок, похожий на шопот торопящегося закончить молитву священника. Вероятно, то был полицейский пристав, который с другого конца улицы предьявлял именем закона требование «разойтись».

Затем тот же громкий голос, что спрашивал: «Кто идет?», крикнул:

— Уходите прочь!

Господин Мабеф, мертвенно бледный, исступленный, со зловещими огоньками безумия в глазах, поднял знамя над головой и повторил:

— Да здравствует Республика!

— Огонь! — скомандовал голос.

Второй залп, подобный урагану картечи, обрушился на баррикаду.

У старика подогнулись колени, затем он снова выпрямился, уронил знамя и упал, как доска, навзничь, на мостовую, вытянувшись во весь рост и раскинув руки.

Ручейки крови побежали из-под него. Старческое бледное и печальное лицо было обращено к небу.

Одно из тех чувств, над которыми не властен человек и которые заставляют забыть даже об опасности, охватило повстанцев, и они с почтительным страхом приблизились к труп.

— Что за люди эти цареубийцы! — воскликнул Анжольрас.

Курфейрак прошептал ему на ухо:

— Скажу только одному тебе, я не хочу охлаждать восторг. Да он меньше всего цареубийца. Я был с ним знаком. Его звали дедушка Мабеф. Не знаю, что с ним случилось сегодня, но этот скудоумный оказался храбрым. Ты только взгляни на его лицо.

— Голова скудоумного, а сердце Брута, — ответил Анжольрас.

Затем он повысил голос:

— Граждане! Вот пример, который старики подают молодым. Мы колебались, а он решился. Мы отступили перед опасностью, а он пошел ей навстречу! Вот чему те, кто трясется от старости, учат тех, кто трясется от страха! Этот старец исполнен величия перед лицом родины. Он долго жил и со славой умер! А теперь укроем в доме этот труп, пусть каждый из нас защищает этого мертвого старика, как защищал бы своего живого отца, и пусть его присутствие среди нас сделает баррикаду непобедимой!

Гул угрюмых и решительных голосов, выражающий согласие, последовал за этими словами.

Анжольрас наклонился, приподнял голову старика и, попрежнему суровый, поцеловал его в лоб, затем, отведя назад его руки и с нежной осторожностью касаясь мертвеца, словно боясь причинить ему боль, он снял с него сюртук, показал всем окровавленные дыры и сказал:

— Отныне вот наше знамя.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

*Гаврош сделал бы лучше, если бы согласился взять
нарабин Анжольраса*

Дедушку Мабефа покрыли длинной черной шалью вдовы Гюшлу. Шесть человек сделали из своих ружей носилки, положили на них тело и, обнажив головы, ступая с торжественной медлительностью, отнесли его на большой стол в нижней зале.

Эти люди, целиком занятые тем священным и важным, что они делали, больше не думали о грозившей им опасности.

Когда труп проносили мимо Жавера, хранившего свою невозмутимость, Анжольрас сказал шпиону:

— Скоро и тебя!

В это время Гаврошу, единственному, кто не покинул своего поста и остался в дозоре, показалось, что какие-то люди тихонько подкрадываются к баррикаде. Он тотчас закричал:

— Берегись!

Курфейрак, Анжольрас, Жан Прувер, Комбефер, Жоли, Баорель, Боссюэ беспорядочной гурьбой выбежали из кабачка. Уже почти не оставалось времени. Они увидели густое поблескивание штыков, колыхавшихся над баррикадой. Рослые солдаты муниципальной гвардии, одни, перелезая через омнибус, другие, воспользовавшись проходом, пробрались внутрь, оттесняя мальчика, который, хотя и отступал назад, но не бежал.

Мгновение было решительным. То была первая опасная минута наводнения, когда река поднимается в уровень с насыпью и вода начинает просачиваться сквозь щели в плотине. Еще секунда, и баррикада была бы взята.

Баорель бросился на первого появившегося гвардейца и убил его выстрелом в упор; второй заколол Баореля ударом штыка. Третий уже опрокинул наземь Курфейрака, кричавшего: «Ко мне!» Самый высокий из всех, настоящий великан, шел на Гавроша, выставив вперед штык. Мальчуган поднял своими ручонками огромное ружье Жавера, решительно нацелился в гиганта и спустил курок. Выстрела не последовало. Жавер не зарядил ружья. Гвардеец расхохотался и занес над ребенком штык.

Прежде чем штык коснулся Гавроша, ружье вывалилось из рук солдата: чья-то пуля ударила его прямо в лоб, и он упал на спину. Вторая пуля ударила в самую грудь гвардейца, напавшего на Курфейрака, и свалила его на мостовую.

То был Мариус, только что появившийся на баррикаде.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Бочонок с порохом

Скрываясь за поворотом улицы Мондетур, Мариус, охваченный трепетом и сомнением, присутствовал при начале боя. Однако он не мог долго противиться тому таинственному и неодолимому безумию, которое можно было бы назвать призывом бездны. Безмерная опасность, смерть г-на Мабефа — эта скорбная загадка, убитый Баорель, крик Курфейрака: «Ко мне!», ребенок на краю гибели, друзья, взывавшие о помощи или отмщении, — все это сразу рассеяло его нерешительность, и он с пистолетами в руках бросился в свалку. Первым выстрелом он спас Гавроша, вторым освободил Курфейрака.

Под грохот выстрелов и крики раненых гвардейцев осаждающие взобрались на укрепление, на гребне которого теперь по пояс виднелись фигуры смешавшихся в одну толпу муниципальных гвардейцев, кадровых солдат и национальных гвардейцев предместья, с ружьями наготове. Они занимали уже более двух третей заграждения, но не прыгали внутрь баррикады, точно колебались, боясь какой-то ловушки. Они смотрели вниз в темноту, словно в львиное логово. Свет факела озарял только их штыки, меховые шапки и беспокойные, раздраженные лица.

У Мариуса не было больше оружия, он бросил свои разряженные пистолеты, но в нижней зале, возле дверей, он заметил бочонок с порохом.

Когда, полуобернувшись, он смотрел в ту сторону, какой-то солдат стал в него целиться. Солдат уже взял его на мушку, как вдруг чья-то рука схватила конец дула и закрыла его. Это был бросившийся вперед молодой рабочий в плисовых штанах. Раздался выстрел, пуля пробила руку и, быть может, грудь рабочего, потому что он

упал, — но не задела Мариуса. Все это, казалось, скорее могло померещиться в дыму, чем произойти в действительности. Мариус, входивший в нижнюю залу, едва заметил это. Однако он смутно видел направленный на него ствол ружья, руку, закрывшую дуло, и слышал выстрел. Но в такие минуты все, что видит человек, мелькает перед ним, несется, и он ни на чем не останавливает внимания. Он лишь неясно чувствует, что этот вихрь увлекает его к еще большему мраку, и все вокруг него в тумане.

Повстанцы, захваченные врасплох, но не уstraшенные, вновь стянули свои силы. Анжольрас крикнул: «Подождите! Не стреляйте наугад!» Действительно, в первые минуты замешательства они могли ранить друга друга. Большинство повстанцев поднялось во второй этаж и в чердачные помещения, оттуда они могли из окон обстреливать осаждающих. Самые решительные, в их числе Анжольрас, Курфейрак, Жан Прувер и Ксмбефер, открыто отошли к домам, поднимавшимся позади кабачка, и гордо встали лицом к лицу с солдатами и гвардейцами, занявшими гребень баррикады.

Все это было сделано неторопливо, с той особенной грозной серьезностью, которая предшествует рукопашной схватке. Противники целились друг в друга, в упор, на таком близком расстоянии, что могли переговариваться. Достаточно было одной искры, чтобы вспыхнуло пламя. Офицер, в металлическом нагруднике и густых эполетах, протянул шпагу вперед и крикнул:

— Сдавайтесь!

— Огонь! — ответил Анжольрас.

Оба залпа раздались одновременно, и все исчезло в дыму.

Дым был едкий и удушливый, и в нем, слабо и глухо стелая, ползли раненые и умирающие.

Когда дым рассеялся, стало видно, как поредели ряды противников по обе стороны баррикады, но, оставаясь на своих местах, они молча заряжали ружья.

Внезапно послышался громовой голос:

— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!

Все обернулись в ту сторону, откуда раздавался голос.

Мариус, войдя в нижнюю залу, взял там бочонок пороха, затем, воспользовавшись дымом и туманной мглой, застилавшими все огражденное пространство, проскольз-

нул вдоль баррикады до той каменной клетки, где был укреплен факел. Вырвать факел, поставить на его место бочонок с порохом, подтолкнуть под него кучу булыжника, причем дно бочонка с какой-то страшной податливостью тотчас же продавилось, — все это отняло у Мариуса столько времени, сколько требуется для того, чтобы наклониться и снова выпрямиться; и теперь все — национальные гвардейцы, гвардейцы муниципальные, офицеры, солдаты, столпившиеся на другом конце баррикады, остолбенев от ужаса, смотрели, как он, встав на булыжники с факелом в руке, гордый, одушевленный роковым своим решением, наклонял пламя факела к этой страшной груди, где виднелся разбитый бочонок с порохом, и грозно воскликнул:

— Убирайтесь прочь, или я взорву баррикаду!

Мариус, заступивший на этой баррикаде место восьмидесятилетнего старца, казался видением юной революции после призрака старой.

— Взорвешь баррикаду? — воскликнул какой-то сержант. — Значит, и себя вместе с ней!

Мариус ответил:

— И себя вместе с ней!

И он приблизил факел к бочонку с порохом.

Но на баррикаде уже никого не было. Нападавшие, бросив своих убитых и раненых, отхлынули беспорядочной толпой к другому концу улицы и снова исчезли в ночи. Это было настоящее паническое бегство.

Баррикада была освобождена.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Конец стихам Жана Прувера

Все окружили Мариуса. Курфейрак бросился ему на шею.

— Ты здесь?

— Какое счастье! — воскликнул Комбефер.

— Ты пришел кстати! — сказал Боссюэ.

— Без тебя меня бы уже не было на свете! — вставил Курфейрак.

— Без вас меня бы ухлопали! — прибавил Гаврош. Мариус спросил:

— Кто тут начальник?

— Ты, — ответил Анжольрас.

Весь этот день мозг Мариуса был подобен пылающему горнилу, теперь же его мысли превратились в вихрь. Этот вихрь, заключенный в нем самом, казалось ему, бушует вокруг и уносит его с собой. Ему представлялось, что он уже отдалился от жизни на бесконечное расстояние. Два светлых месяца радости и любви, внезапно оборвавшиеся у этой ужасной пропасти, потерянная для него Козетта, эта баррикада, г-н Мабеф, принявший смерть за Республику, он сам во главе повстанцев — все это казалось ему чудовищным кошмаром. Он должен был напрячь весь свой разум и память, чтобы все, происходившее вокруг, стало для него действительностью. Мариус слишком мало жил, он еще не познал, что нет ничего неотвратимее, чем невозможное, и что должно всегда предвидеть непредвиденное. Словно непонятная для зрителя пьеса, пред ним развертывалась драма его собственной жизни.

В тумане, заволакивавшем его мысль, он не узнал привязанного к столбу Жавера, который не повернул головы во время штурма баррикады и смотрел на разгромившееся вокруг него восстание с покорностью жертвы и величием судьбы. Мариус даже не заметил его.

Между тем нападавшие больше не появлялись; слышно было, как они топчутся и копошатся в конце улицы, однако они не отваживались снова обрушиться на этот неприступный редут, ожидая, быть может, приказа, быть может, подкрепления. Повстанцы выставили часовых; некоторые, студенты медицинского факультета, принялись перевязывать раненых.

Из кабачка выставили все столы, за исключением двух, оставленных для корпии и патронов, и стола, на котором лежал дедушка Мабеф; вынесенные столы добавили к баррикаде, а в нижней зале заменили их тюфяками вдовы Гюшлу и служанок. На эти тюфяки положили раненых. Что касается трех бедных созданий, живших в «Коринфе», то было неизвестно, что с ними случилось. Однако впоследствии их нашли спрятавшимися в погребе.

Горестное событие омрачило радость освобожденной баррикады.

Когда сделали переключку, одного из повстанцев не оказалось. И кого же? Одного из самых любимых, самых мужественных — Жана Прувера. Поискали среди раненых — его не было. Поискали среди убитых — его не было. Очевидно, он попал в плен.

Комбефер сказал Анжольрасу:

— Они взяли в плен нашего друга; зато у нас их агент. Тебе очень нужна смерть этого сыщика?

— Да, — ответил Анжольрас, — но меньше, чем жизнь Жана Прувера.

Все это происходило в нижней зале возле столба Жавера.

— Отлично, — ответил Комбефер, — я привяжу носовой платок к моей трости и пойду в качестве парламентаря предложить им обмен пленными.

— Слушай, — сказал Анжольрас, положив руку на плечо Комбефера.

В конце улицы раздалось многозначительное бряцанье оружия.

Послышался мужественный голос, крикнувший:

— Да здравствует Франция! Да здравствует будущее!

То был голос Прувера.

Мелькнула молния, и грянул залп.

Снова наступила тишина.

— Они его убили! — воскликнул Комбефер.

Анжольрас взглянул на Жавера и сказал:

— Твои друзья сами тебя расстреляли.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Томление смерти после томления жизни

Особенность войны этого рода в том, что баррикады почти всегда атакуются в лоб, и нападающие, как правило, воздерживаются от обхода, быть может опасаясь засады или боясь углубляться далеко в извилистые улицы. Поэтому-то все внимание повстанцев было направлено на большую баррикаду, которая, очевидно, являлась наиболее угрожаемым местом, где неминуемо

должна была снова начаться схватка. Мариус все же подумал о маленькой баррикаде и пошел туда. Она была пустынна и охранялась только плошкой, мигавшей среди булыжников. Впрочем, в переулке Мондетур и на перекрестках Малой Бродяжной и Лебяжьей улиц было совершенно спокойно.

Когда Мариус, произведя осмотр, возвращался обратно, он услышал, как в темноте кто-то тихо позвал его:

— Господин Мариус!

Он вздрогнул, узнав голос, окликнувший его два часа тому назад сквозь решетку на улице Плюме.

Но теперь этот голос казался лишь вздохом.

Он оглянулся и никого не заметил.

Мариус решил, что ослышался, что это был обман чувств, добавленный воображением к тем необыкновенным событиям, которые совершались вокруг. И он сделал еще шаг, желая выйти из того закоулка, где находилась баррикада.

— Господин Мариус! — повторил голос.

На этот раз сомнения не было, Мариус ясно слышал голос; он снова осмотрелся и никого не увидел.

— Я здесь, у ваших ног, — сказал голос.

Он нагнулся и увидел во мраке очертания какого-то живого существа. Оно тянулось к нему. Оно ползло по мостовой. Именно оно и обращалось к нему.

Свет плошки позволял разглядеть блузу, порванные панталоны из грубого плиса, босые ноги и что-то похожее на лужу крови. Мариус различил бледное, поднятое к нему лицо и услышал слова:

— Вы меня не узнаете?

— Нет.

— Эпониная.

Мариус быстро наклонился. Действительно, перед ним была эта несчастная девочка. Она была одета в мужское платье.

— Как вы очутились здесь? Что вы тут делаете?

— Я умираю, — сказала она.

Есть слова и события, пробуждающие людей, подавленных горем. Мариус воскликнул, как бы внезапно проснувшись:

— Вы ранены! Подождите, я отнесу вас в дом. Там вас перевяжут. Вас тяжело ранили? Как мне поднять вас,

чтобы не сделать вам больно? Где у вас болит? Боже мой! Помогите! И зачем вы сюда пришли?

Он попытался подсунуть под нее руку, чтобы поднять ее с земли.

При этом он задел ее кисть.

Эпониная слабо вскрикнула.

— Я сделал вам больно? — спросил Мариус.

— Чуть-чуть.

— Но я дотронулся только до вашей руки.

Она подняла руку, и Мариус увидел посреди ладони темное отверстие.

— Что с вашей рукой? — спросил он.

— Она пробита!

— Пробита?

— Да.

— Чем?

— Пулей.

— Каким образом?

— Вы видели наведенное на вас ружье?

— Да, и руку, закрывшую дуло.

— То была моя рука.

Мариус содрогнулся.

— Какое безумие! Бедное дитя! Но тем лучше, если так; это пустяки. Дайте мне отнести вас на постель. Вам сделают перевязку, от простреленной руки не умирают.

Она прошептала:

— Пуля прострелила руку, но вышла через спину. Не стоит брать меня отсюда! Я скажу вам сейчас, как мне помочь намного лучше, чем это сделает доктор. Сядьте возле меня на этот камень.

Он повиновался; она положила голову к нему на колени и, не глядя на него, сказала:

— О, как хорошо! Как мне приятно! Вот и не больно!

Помолчав с минуту, она с усилием подняла голову и взглянула на Мариуса:

— Знаете, господин Мариус? Меня злило, что вы ходите в тот сад, — это глупо, потому что я сама показала вам дом, и, кроме того, я должна была понимать, что такой молодой человек, как вы...

Она остановилась и, отгоняя какие-то мрачные мысли, видимо промелькнувшие в ее уме, снова заговорила с раздирающей душу улыбкой:

— Я казалась вам некрасивой, правда? Вот что, — продолжала она, — вы погибли! Теперь никому не уйти с баррикады. Ведь это я привела вас сюда. Вы скоро умрете; я на это и рассчитывала. И все-таки, когда я увидела, что в вас целются, я закрыла рукой дуло ружья. Как чудно! А это потому, что я хотела умереть раньше вас. Когда в меня попала пуля, я притащилась сюда, меня не видели, не подобрали. Я ожидала вас, я думала: «Неужели он не придет?» Ах, если бы вы знали! Я от боли рвала зубами блузу, я так страдала! А теперь мне хорошо. Помните тот день, когда я вошла в вашу комнату и когда я смотрелась в ваше зеркало, и тот день, когда я вас встретила на бульваре возле прачек? Как распевали там птицы! Это было совсем недавно. Вы мне дали сто су, я вам сказала: «Не нужны мне ваши деньги». Подняли вы по крайней мере монету? Вы ведь небогаты. Я не догадалась сказать вам, чтобы вы ее подняли. Солнце ярко светило, было тепло. Помните, господин Мариус? О, как я счастлива! Все, все скоро умрут.

У нее было безумное и серьезное выражение лица, раздирающее душу. Сквозь разорванную блузу виднелась ее обнаженная грудь. Разговаривая, она прижимала к ней простреленную руку, — там, где было другое отверстие, из которого порой выбивалась струйка крови, как вино из бочки с вынутой втулкой.

Мариус с глубоким состраданием смотрел на эту несчастную девушку.

— Ох, — внезапно простонала она, — опять! Я задыхаюсь!

Она вцепилась зубами в блузу, и ноги ее вытянулись на мостовой.

В этот момент на баррикаде раздался резкий петушиный голос маленького Гавроша. Мальчик, собираясь зарядить ружье, влез на стол и весело распевал популярную в то время песенку:

Увидев Лафайста,
Жандарм не взвидел света:
Бежим! Бежим! Бежим!

Эпониная приподнялась, прислушалась, потом прошептала:

— Это он.

И, повернувшись к Мариусу, добавила?

— Там мой брат. Не надо, чтобы он меня видел. Он будет меня ругать.

— Ваш брат? — спросил Мариус, с горечью и болью в сердце думая о своем долге семейству Тенардье, который завещал ему отец. — Кто ваш брат?

— Этот мальчик.

— Тот, который поет?

— Да.

Мариус хотел встать.

— Не уходите! — сказала она. — Теперь уж недолго ждать!

Она почти сидела, но ее голос был едва слышен и прерывался икотой. Временами его заглушало хрипение. Эпониная приблизила, насколько могла, свое лицо к лицу Мариуса и прибавила с каким-то странным выражением:

— Слушайте, я не хочу разыгрывать с вами комедию. В кармане у меня лежит письмо для вас. Со вчерашнего дня. Мне поручили отправить его почтой. А я его оставила у себя. Мне не хотелось, чтобы оно дошло до вас. Но, быть может, вы за это будете сердиться на меня там, где мы вскоре опять свидимся. Ведь там встречаются, правда? Возьмите письмо.

Она судорожно схватила руку Мариуса своей простреленной рукой, — казалось, она уже не чувствовала боли. Затем сунула его руку в карман своей блузы. Мариус в самом деле нащупал там какую-то бумагу.

— Возьмите, — сказала она.

Мариус взял письмо.

Она одобрительно и удовлетворенно кивнула головой.

— Теперь обещайте мне за мой труд...

И она запнулась.

— Что? — спросил Мариус.

— Обещайте мне!

— Обещаю.

— Обещайте поцеловать меня в лоб, когда я умру. Я почувствую.

Она бессильно опустила голову на колени Мариуса, и ее веки сомкнулись. Он подумал, что эта бедная душа отлетела. Эпониная не шевелилась; внезапно, когда уже Мариус решил, что она навеки уснула, она медленно

открыла глаза, в которых стала проступать мрачная глупина смерти, и сказала ему с нежностью, казалось идущей уже из другого мира:

— А ведь знаете, господин Мариус, я думаю, что была немного влюблена в вас.

Она попыталась еще раз улыбнуться и умерла.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Гаврош глубокомысленно вычисляет расстояния

Мариус сдержал слово. Он запечатлел поцелуй на мертвенном лбу, покрытом капельками холодного пота. То не была измена Козетте; то было задумчивое и нежное прощание с несчастной душой.

Он не без внутреннего трепета взял письмо, переданное ему Эпониной. Он сразу почувствовал, что в нем сообщается о чем-то важном. Ему не терпелось прочитать его. Так уж создано мужское сердце: едва бедное дитя закрыло глаза, как Мариус подумал о письме. Он тихонько опустил Эпонину на землю и отошел от нее. Какое-то чувство ему говорило, что он не должен читать это письмо возле умершей.

Он подошел к свече в нижней зале. То была маленькая записка, изящно сложенная и запечатанная с женской заботливостью. Адрес, написанный женской рукой, был следующий:

«Господину Мариусу Понмерси, кв. г-на Курфейрака, Стекольная улица, № 16».

Он сломал печать и прочел:

«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта. 4 июня».

Чистота их любви была такова, что Мариус даже не знал почерка Козетты.

То, что произошло, может быть рассказано в нескольких словах. Все это устроила Эпонина. После вечера 3 июня она приняла двойное решение: расстроить замы-

слы отца и бандитов относительно дома на улице Плюме и разлучить Мариуса с Козеттой. Она обменялась своими лохмотьями с первым встречным молодым шалопаем, которому показалось забавным переодеться в женское платье, отдав Эпонине мужское. Это она на Марсовом поле сделала Жану Вальжану многозначительное предупреждение: *Переезжайте*. Жан Вальжан, вернувшись домой, действительно сказал Козетте: «Сегодня вечером мы уезжаем на улицу Вооруженного человека, вместе с Тусен. Через неделю мы будем в Лондоне». Козетта, сраженная этим неожиданным ударом, спешно написала несколько строк Мариусу. Но как отнести письмо на почту? Она не выходила одна из дому, а Тусен, не привычная к таким поручениям, непременно и тотчас же показала бы письмо Фошлевану. Терзаясь беспокойством, Козетта вдруг увидела сквозь решетку переодетую в мужское платье Эпони́ну, все время бродившую вокруг сада. Козетта подозвала «этого молодого рабочего», дала ему пять франков и письмо, сказав: «Отнесите сейчас же это письмо по адресу». Эпонина положила письмо в карман. Утром, пятого июня, она отправилась к Курфейраку на поиски Мариуса, но не для того, чтобы отдать ему письмо, а чтобы «увидеть его», — это поймет каждая ревнивая и любящая душа. Там она поджидала Мариуса или хотя бы Курфейрака — все для того же, чтобы «увидеть его». Когда Курфейрак сказал ей: «Мы идем на баррикады», ее вдруг озарила мысль броситься навстречу этой смерти, как она бросилась бы навстречу всякой другой, и толкнуть туда Мариуса. Она последовала за Курфейраком и удостоверилась, в каком месте строится баррикада. Мариуса никто не предупреждал, письмо она перехватила; глубоко убежденная, что с наступлением ночи он, как обычно вечером, придет на свидание, она подождала его на улице Плюме и, от имени друзей, обратилась к нему с тем призывом, который, как она надеялась, должен был привести его на баррикаду. Она рассчитывала на отчаяние Мариуса, потерявшего Козетту, и не ошиблась. После этого она вернулась на улицу Шанврери. Мы уже видели, что она там свершила. Она умерла с мрачной радостью, свойственной ревнивым сердцам, которые увлекают за собой в могилу любимое существо, твердя: «Пусть никому не достанется!»

Мариус покрыл поцелуями письмо Козетты. Значит, она его любит! На мгновение у него мелькнула мысль, что теперь ему не надо умирать. Потом он сказал себе: «Она уезжает. Отец увозит ее в Англию, а мой дед не хочет, чтобы я на ней женился. Ничто не изменилось в злой моей участи». Мечтателям, подобным Мариусу, свойственны минуты крайнего упадка духа, отсюда и вытекают отчаянные решения. Бремя жизни невыносимо, смерть — лучший выход. И тогда он подумал, что ему осталось выполнить два долга: уведомить Козетту о своей смерти, послав ей последнее прощание, и спасти Гавроша от неминуемой гибели, которую приуготовил себе бедный мальчуган, брат Эпонины и сын Тенардье.

У него был при себе тот самый бумажник, в котором хранилась тетрадка, куда он вписал для Козетты столько мыслей о любви. Он вырвал из тетрадки одну страничку и карандашом набросал следующие строки:

«Наш брак невозможен. Я просил позволения у моего деда, он отказал; у меня нет средств, и у тебя тоже. Я спешил к тебе, но уже не застал тебя. Ты знаешь, какое слово я тебе дал, я его сдержу. Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя, она улыбнется тебе».

Мариусу нечем было запечатать это письмо, он просто сложил его вчетверо и написал адрес:

«Мадмуазель Козетте Фошлеван, кв. г-на Фошлевана, улица Вооруженного человека, № 7».

Сложив письмо, он немного подумал, снова взял бумажник, открыл его и тем же карандашом написал на первой странице тетради три строки:

«Меня зовут Мариус Понмерси. Прошу доставить мой труп к моему деду г-ну Жильнорману, улица Сестер страстей господних, № 6, в Марэ».

Сунув бумажник в карман сюртука, он позвал Гавроша. На голос Мариуса тотчас появилась веселая и выражающая преданность рожица мальчугана.

— Хочешь сделать кое-что для меня?

— Все, что угодно, — ответил Гаврош. — Господи боже мой! ~~Да без вас, ей-ей, мне бы~~ бы уже крышка.

— Видишь это письмо?

— Да.

— Возьми его. Уходи сейчас же с баррикады (Гаврош, забеспокоившись, стал почесывать у себя за ухом) и завтра утром вручи его по адресу, мадмуазель Козетте, проживающей у господина Фошлевана на улице Вооруженного человека, номер седьмой.

Маленький герой ответил:

— Ну хорошо, но... за это время могут взять баррикаду, а меня здесь не будет!

— По всем признакам, баррикаду не атакуют раньше, чем на рассвете, и не ~~возьмут~~ раньше, чем завтра к полудню.

Новая передышка, которую нападающие дали баррикаде, действительно затянулась. То был один из тех нередких во время ночного боя перерывов, после которого противник атакует с удвоенным ожесточением.

— Слушайте, а если я отнесу ваше письмо завтра утром? — спросил Гаврош.

— Будет слишком поздно. Баррикаду, вероятно, окружают, на всех улицах поставят дозоры, и тогда тебе отсюда не выйти. Ступай сейчас же.

Гаврош не нашелся, что ответить, и стоял в нерешительности, печально почесывая за ухом. Вдруг, по обыкновению встрепенувшись, как птица, он взял письмо.

— Ладно, — сказал он.

И пустился бегом по переулку Мондетур.

Его осенила мысль, о которой он умолчал, боясь, как бы Мариус не нашел какого-либо возражения.

Вот она эта мысль:

«Еще нет и двенадцати часов, улица Вооруженного человека недалеко, я успею отнести письмо и во-время вернуться».

УЛИЦА ВООРУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бювар-болтун

Что значит бурное волнение целого города в сравнении с душевной бурей? Человек — глубина еще более бездонная, чем народ. Жан Вальжан был во власти ужасного возбуждения. Все бездны снова разверзлись в нем. Он содрогался так же, как Париж, на пороге грозного и неизвестного переворота. Для этого оказалось достаточно нескольких часов. Его жизнь и его совесть внезапно омрачились. О нем можно было сказать так же, как и о Париже: «Вот две силы. Дух света и дух тьмы схватились на мосту, над бездной. Который из двух низвергнет другого? Кто кого одолеет?»

Вечером, накануне дня 5 июня, Жан Вальжан в сопровождении Козетты и Тусен перебрался на улицу Вооруженного человека. Там его ждала внезапная перемена судьбы.

Козетта не без сопротивления покинула улицу Плюме. В первый раз, с тех пор как они жили вместе, желание Козетты и желание Жана Вальжана не совпали и если не вступили в борьбу, то все же противостояли друг другу. Возражения одной стороны встречали непреклонность другой. Неожиданный совет: *переезжайте*, брошенный незнакомцем Жану Вальжану, встревожил его до такой степени, что он потребовал от Козетты беспрекословного повиновения. Он был уверен, что его выследили и преследуют. Козетте пришлось уступить.

Оба прибыли на улицу Вооруженного человека, молчаливые, не сказав друг другу ни слова, каждого обу-

вали собственные заботы. Жан Вальжан был так обеспокоен, что не замечал печали Козетты; Козетта была так печальна, что не замечала беспокойства Жана Вальжана.

Жан Вальжан взял с собой Тусен, чего никогда не делал в прежние отлучки. Он предвидел, что, быть может, не вернется больше на улицу Плюме, и не мог ни оставить там Тусен, ни открыть ей тайну. К тому же он считал ее преданным и надежным человеком. Измена слуги хозяину начинается с любопытства. Но Тусен, словно ей от века предназначено было служить у Жана Вальжана, не знала любопытства. Заикаясь, она повторяла, вызывая смех своим говором барневильской крестьянки: «Какая уродилась, такая пригодилась; свое дело сполняю; достальное меня не касается».

Уезжая с улицы Плюме, причем отъезд этот был скорее похож на бегство, Жан Вальжан захватил с собой только маленький благоухающий чемоданчик, который Козетта окрестила «неразлучным». Тяжелые сундуки потребовали бы носильщиков, а носильщики — это свидетели. Позвали фиакр к калитке, выходящей на Вавилонскую улицу, и уехали.

Тусен лишь с большим трудом добилась позволения уложить немного белья, одежды и кое-какие туалетные принадлежности. А Козетта взяла с собой только шкапулку со всем, что нужно для письма, и бювар.

Чтобы их исчезновение прошло еще незаметнее и спокойнее, Жан Вальжан распорядился отъездом с улицы Плюме не раньше вечера, что дало возможность Козетте написать записку Мариусу. На улицу Вооруженного человека они прибыли, когда уже было совсем темно.

Спать улеглись молча.

Квартира на улице Вооруженного человека выходила окнами на задний двор, была расположена на третьем этаже и состояла из двух спальных комнат, столовой и прилегавшей к столовой кухни с антресолями, где стояла складная кровать, поступившая в распоряжение Тусен. Столовая, разделявшая спальни, служила в то же время прихожей. В жилище этом имелась вся необходимая домашняя утварь.

Люди поддаются успокоению почти так же безрассудно, как и тревоге, — такова человеческая природа.

Едва Жан Вальжан очутился на улице Вооруженного человека, как его беспокойство стихло и постепенно рассеялось. Есть места, которые умиротворяюще действуют на нашу душу. То была безвестная улица с мирными обитателями, и Жан Вальжан почувствовал, что словно заражается безмятежным покоем этой улочки старого Парижа, такой узкой, что она закрыта для проезда положенным на два столба поперечным брусом, безмолвной и глухой посреди шумного города, сумрачной среди белого дня и, если можно так выразиться, защищенной от волнений двумя рядами своих высоких столетних домов, молчаливых, как и подобает старикам. На этой улице застыло забвение. Жан Вальжан свободно вздохнул. Как его могли бы отыскать здесь?

Его первой заботой было поставить «неразлучный» возле своей постели.

Он спал хорошо. Утро вечера мудренее, можно прибавить: утро вечера веселее. Жан Вальжан проснулся почти счастливым. Ему показалась прелестной отвратительная столовая, в которой стояли старый круглый стол, низкий буфет, с наклоненным над ним зеркалом, дряхлое кресло и несколько стульев, заваленных свертками Тусен. Из одного свертка выглядывал мундир национальной гвардии Жана Вальжана.

Что касается Козетты, то она велела Тусен принести ей в комнату бульону и не выходила до самого вечера.

К пяти часам Тусен, хлопотавшая над несложным устройством их новой квартиры, подала на стол в столовой холодных жареных цыплят, которых Козетта, чтобы не огорчать отца, согласилась отведать.

Затем, сославшись на сильную головную боль, она пожелала Жану Вальжану спокойной ночи и заперлась в своей спальне. Жан Вальжан с аппетитом съел крылышко цыпленка и, облокотившись на стол, постепенно успокоившись, снова стал чувствовать себя в безопасности.

Во время этого скромного обеда он два или три раза смутно слышал, как Тусен, заикаясь, говорила: «Сударь, крик-шум кругом, дерутся в Париже». Но поглощенный множеством своих соображений, он не обратил внимания на эти слова. Говоря по правде, он их толком и не разобрал.

Он встал и принялся расхаживать от окна к двери и от двери к окну, испытывая все большую умиротворенность.

Лишь только он успокоился, Козетта, его единственная забота, вновь завладела его мыслями. И не потому, что он был встревожен ее головной болью, этим небольшим нервным расстройством, девичьим капризом, мимолетным облачком, — все это минует через день или два; но он думал о будущем и, как обычно, думал о нем с нежностью. Что бы там ни было, он не видел никаких препятствий к тому, чтобы снова вошла в свою колею их счастливая жизнь. В иную минуту все кажется невозможным, в другую — все представляется легким; у Жана Вальжана была такая счастливая минута. Она обычно приходит после дурной, как день после ночи, по тому закону чередования противоположностей, которое составляет самую сущность природы и умами поверхностными именуется антитезой. В мирной улице, где Жан Вальжан нашел убежище для себя и Козетты, он освободился от всего, что его беспокоило с некоторого времени. Именно потому, что он долго видел перед собой мрак, он начинал различать в нем просветы. Выбраться из улицы Плюме без осложнений и каких бы то ни было происшествий — было уже хорошим началом. Пожалуй, разумнее всего покинуть Францию хотя бы на несколько месяцев и отправиться в Лондон. Да, надо уехать. Не все ли равно, жить во Франции или в Англии, раз возле него Козетта! Козетта была его отечеством, Козетты было довольно для его счастья; мысль же о том, что самого его, быть может, недостаточно для счастья Козетты, — эта мысль, раньше вызывавшая у него озноб и бессонницу, теперь даже не приходила ему в голову. Все его прежние горести потускнели, и он был полон надежд. Ему казалось, что если Козетта подле него, значит она принадлежит ему; то был оптический обман, действие которого всем знакомо. Мысленно он устраивал, и со всеми возможными удобствами, отъезд с Козеттой в Англию и уже видел, как где-то там, в далеких просторах мечты, возрождается его счастье.

Медленно расхаживая взад и вперед, он неожиданно заметил нечто странное.

Прямо напротив, в зеркале, наклонно висевшем над низким буфетом, он увидел и ясно прочел следующие четыре строки:

«Мой любимый! Увы, отец требует, чтобы мы уехали немедленно. Сегодня вечером мы будем на улице Вооруженного человека, № 7. Через неделю мы будем в Англии.

Козетта. 4 июня».

Жан Вальжан остановился, ничего не понимая.

Приехав, Козетта положила свой бювар на буфет под зеркалом и, томясь мучительной тревогой, позабыла его там. Она даже не заметила, что оставила его открытым именно на той странице, где просушила четыре строчки своего письма, которое она передала молодому рабочему, проходившему по улице Плюме. Строчки эти отпечатались на пропускной бумаге бювара.

Зеркало отражало написанное.

Здесь имело место то, что в геометрии называется симметричным изображением; строки, опрокинутые в обратном порядке на пропускной бумаге, приняли в зеркале правильное положение, и слова обрели свой настоящий смысл; перед глазами Жана Вальжана предстало письмо, написанное накануне Козеттой Мариусу.

Это было просто и оглушительно.

Жан Вальжан подошел к зеркалу. Он перечел четыре строчки, но не поверил глазам. Ему казалось, что они возникли в блеске молнии. Это была галлюцинация. Это было невозможно. Этого не было.

Мало-помалу его восприятие стало более точным; он взглянул на бювар Козетты, и чувство действительности вернулось к нему. Он взял бювар и сказал: «Это отсюда». С лихорадочным возбуждением он стал всматриваться в четыре строчки, отпечатавшиеся на бюваре; опрокинутые отпечатки букв образовывали какую-то причудливую вязь, лишенную, казалось, всякого смысла. Тогда он подумал: «Но ведь это ничего не означает, здесь ничего не написано», и с невыразимым облегчением вздохнул полной грудью. Кто не испытывал этой глупой радости в страшные минуты? Душа не предается отчаянию, не исчерпав всех иллюзий.

Он держал бювар в руке и смотрел на него в бессмысленном восторге, почти готовый рассмеяться над одурачившей его галлюцинацией. Внезапно он снова взглянул в зеркало, и повторилось то же явление. Четыре строчки обозначались там с неумолимой четкостью. Теперь это не было миражем. Повторившееся явление — уже реальность; это было очевидно, это было письмо, правильно восстановленное зеркалом. Он понял.

Жан Вальжан, пошатнувшись, выронил бювар и тяжело опустился в старое кресло, стоявшее возле буфета; голова его поникла, взгляд остекленел, рассудок его мутился. Он сказал себе, что все это было правдой, что свет навсегда померк для него, что это было написано Козеттой кому-то. Тогда он услышал, как его вновь озлобившаяся душа испускает во мраке глухое рычание. Попробуйте взять у льва из клетки мясо!

Как это ни было странно и печально, но Мариус еще не получил письмо Козетты; случай предательски преподнес его Жану Вальжану, раньше чем вручить Мариусу.

До этого дня Жан Вальжан не был побежден испытаниями судьбы. Он подвергался тяжким искусам; ни одно из насилий, совершаемых над человеком злой его участью, не миновало его; свирепый рок, вооруженный всеми средствами кары и всеми предрассудками общества, избрал его своей мишенью и яростно преследовал его. Он же не отступал и не склонялся ни перед чем. Когда требовалось, он принимал самые отчаянные решения; он поступился своей вновь завоеванной неприкосновенностью личности, отдал свою свободу, рисковал своей головой, всего лишился, все выстрадал и остался бескорыстным и стоическим до такой степени, что порою его, подобно мученику, можно было считать отрешившимся от самого себя. Его совесть, закаленная в борьбе со всевозможными бедствиями, могла казаться навеки неодолимой. Но если бы теперь кто-нибудь заглянул вглубь его души, то был бы вынужден признать, что она ослабевает.

Из всех мук, которые он перенес в долгой пытке, уготованной ему судьбой, эта мука была самой страшной. Хватки этих раскаленных клещей он до сих пор не знал. Он ощутил таинственное оживление всех дремавших в нем чувств. Он ощутил укол в неведомый ему

нерв. Увы, величайшее испытание, скажем лучше: единственное испытание — это утрата любимого существа!

Бедный старый Жан Вальжан, конечно, любил Козетту только как отец; однако, мы уже отметили выше, самое сиротство его жизни включило в это отцовское чувство все виды любви: он любил Козетту как дочь, любил ее как мать и любил ее как сестру. Но у него никогда не было ни любовницы, ни жены, а природа — это кредитор, не принимающий опротестованного векселя, поэтому чувство любви к женщине, наиболее стойкое из всех, смутное, слепое и чистое чистотой ослепления, безотчетное, небесное, ангельское, божественное, применялось ко всем другим. Оно было даже скорее инстинктом, чем чувством, скорее влечением, чем инстинктом, неосязаемое и невидимое, но реальное; и в его огромной нежности к Козетте любовь в собственном смысле была подобна золотой жиле, неведомой и нетронутой в недрах горы.

Пусть теперь читатель припомнит, чем было полно его сердце; выше мы упоминали об этом. Никакой брак не был возможен между ними, даже брак духовный; и тем не менее их судьбы тесно переплелись. За исключением Козетты, то есть за исключением ребенка, Жан Вальжан за всю свою долгую жизнь не знал ничего, что можно было любить. Страсти и любовные увлечения, сменяющие друг друга, не оставили в его сердце следов, тех, сменяющих друг друга, оттенков зелени — светлых и темных, — какие можно заметить на перезимовавшей листве и на людях, переваливших за пятый десяток. В итоге, — как мы уже не раз упоминали, — все это внутреннее слияние чувств, все это целое, равнодействующей которого явилась высокая добродетель, привело к тому, что Жан Вальжан стал отцом Козетты. Это был странный отец, сочетавший в себе деда, сына, брата и мужа; отец, в котором чувствовалась и мать; отец, любивший и боготворивший Козетту, ибо она стала для него светом, пристанищем, семьей, родиной, раем.

И когда он понял, что это кончилось безвозвратно, что она от него убегает, выскальзывает из его рук, неуловимая, подобно облаку или воде; когда ему предстала эта убийственная истина и он подумал: «К кому-то другому стремится ее сердце, в ком-то другом вся ее жизнь, у нее есть возлюбленный, а я — только отец, я больше не

существую»; когда у него не осталось больше сомнений, когда он сказал себе: «Она уходит от меня!», скорбь, испытанная им, перешла черту возможного. Сделать все, что он сделал — и вот итог! Как же так? Оказывается, он — ничто? Тогда, как мы уже говорили, он задрожал от возмущения. Каждой частицей своего существа он ощутил бурное пробуждение себялюбия, и «я» зарычало в безднах души этого человека.

Бывают внутренние катастрофы. Уверенность, приводящая к отчаянию, не может проникнуть в человеческую душу, не разбив и не разметав некие глубочайшие ее основы, которые составляют нередко самое существо человека. Скорбь, дошедшая до такого предела, означает поражение и бегство всех сил, какими располагает совесть. Это опасные, роковые минуты. Немногие из нас переживают их, оставшись верными самим себе и непреклонными в выполнении долга. Когда чаша страданий переполнена, добродетель, даже самая непоколебимая, приходит в смятение. Жан Вальжан снова взял бювар и снова убедился в страшной истине; не сводя с него глаз, он застыл, согнувшись и как бы окаменев над четырьмя неопровержимыми строчками; можно было подумать, что все, чем полна эта душа, рушится, — такой мрачной печалью веяло от него.

Он вникал в это открытие, преувеличивая его размеры в болезненном своем воображении, и внешнее его спокойствие пугало — ибо страшно, когда спокойствие человека превращается в безжизненность статуи.

Он измерял ужасный шаг, сделанный его судьбой без его ведома, он вспоминал опасения прошлого лета, столь легкомысленно им отстраненные; он вновь увидел пропасть, — все ту же пропасть; только теперь Жан Вальжан находился не на краю ее, а в самой глубине.

Случилось нечто неслыханное и мучительное: он свалился туда, не заметив этого. Свет его жизни померк, а он воображал, что всегда будет видеть солнце.

Однако инстинкт указал ему верный путь. Жан Вальжан сблизил некоторые обстоятельства, некоторые числа, припомнил, в каких случаях Козетта вспыхивала румянцем, в каких бледнела, и сказал себе: «Это он». Прозорливость отчаяния — это своего рода таинственный лук, стрелы которого всегда попадают в цель. С первых же

догадок он попал на след Мариуса: он не знал имени, но тотчас нашел его носителя. В глубине неумолимо возникших воспоминаний он отчетливо увидел неизвестного, что бродил в Люксембургском саду, этого жалкого искалителя любовных приключений, праздного героя сентиментальных романов, дурака и подлеца, — ведь это подлость строить глазки девушке в присутствии отца, который так ее любит.

Твердо установив, что главный виновник того, что случилось, — этот юноша и что он — источник всего, Жан Вальжан, нравственно возродившийся человек, который столько боролся со злом в своей душе и приложил столько усилий, чтобы вся его жизнь, все бедствия и несчастия обратились в любовь, всмотрелся в самого себя и увидел призрак — Ненависть.

Великая скорбь подавляет. Она разочаровывает в жизни Человек, познавший скорбь, чувствует, как что-то уходит от него. В юные годы ее прикосновение бывает мрачным, позже — зловещим. Увы! Даже и тогда, когда кровь горяча, волосы темны, голова держится прямо, как пламя факела, когда свиток судьбы еще почти не развернут, когда биениям сердца, полного чистой любви, еще отвечает другое, когда есть время исправить ошибки, когда все женщины, все улыбки, все будущее и вся даль — впереди, когда вы полны жизненной силы, — даже и тогда отчаяние страшно. Но каково же оно в старости, когда годы, все более и более тускнея, ускоряют бег навстречу тому сумрачному часу, достигнув которого начинаешь различать перед собой звезды могильного мрака!

Пока он размышлял, в комнату вошла Тусен. Жан Вальжан встал и спросил ее:

— Где это происходит? Вы не знаете?

Озадаченная Тусен только и могла спросить:

— Что вам угодно?

Жан Вальжан спросил снова:

— Ведь вы мне, кажется, говорили, что где-то дерутся?

— Ах, да, сударь! — ответила Тусен. — В стороне Сен-Мерри.

Нам свойственны бессознательные побуждения, вызванные без нашего ведома самой затаенной нашей

мыслью. Вероятно, под влиянием такого побуждения, которое едва ли сознавал он сам, Жан Вальжан через пять минут очутился на улице.

С обнаженной головой он сидел на тумбе у своего дома. Казалось, он к чему-то прислушивался.

Наступила ночь.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Гаврош — враг освещения

Сколько времени он провел так? Каковы были приливы и отливы его мрачного раздумья? Воспрянул ли он? Лежал ли поверженный во прах? Пал ли духом до такой степени, что оказался сломленным? Мог ли он снова воспрянуть и найти в своей душе какую-нибудь твердую точку опоры? По всей вероятности, он и сам не мог бы ответить.

Улица была пустынна. Несколько встревоженных горожан, поспешно возвращавшихся к себе домой, вряд ли его заметили. В опасные времена каждому только до себя. Фонарщик, как обычно, пришел зажечь фонарь, висевший против ворот дома № 7, и удалился. Если бы кто-нибудь различил Жана Вальжана в этом мраке, то не подумал бы, что это живой человек. Он сидел на тумбе у ворот, неподвижный, словно превратившийся в ледяную статую призрака. Одно из свойств отчаяния — замораживать. Слышался набат и отдаленный гневный ропот толпы. Перекрывая гул торопливых беспорядочных ударов колокола, сливавшихся с шумом мятежа, башенные часы Сен-Поль, торжественно и не торопясь, пробили одиннадцать; ибо набат — дело рук человеческих, время — дело божье. Бой часов не произвел никакого впечатления на Жана Вальжана; он не шелохнулся. Но почти сейчас же раздался ружейный залп со стороны Центрального рынка, и затем снова, еще более оглушительный; вероятно, то началась атака баррикады на улице Шанврери, которую, как мы только что видели, отбил Мариус. При этом двойном залпе, ярость которого, казалось, возрастала в безмолвии ночи, Жан Вальжан вздрогнул. Встав, он обернулся в ту сторону, откуда

донесся грохот, потом опять опустился на тумбу, скрестив руки, и голова его вновь медленно склонилась на грудь.

Он возобновил мрачную беседу с самим собою.

Вдруг он поднял глаза, — по улице кто-то шел, неподалеку от него слышались шаги; он взглянул и, при свете фонаря, у здания Архива, где кончается улица, увидел бледное, юное и веселое лицо.

На улицу Вооруженного человека пришел Гаврош.

Он поглядывал вверх и, казалось, что-то разыскивал. Он отлично видел Жана Вальжана, но не обращал на него внимания.

Поглядев вверх, Гаврош стал смотреть вниз; поднявшись на цыпочки, он осматривал двери и окна первых этажей; все они были закрыты, заперты на замки и засовы. Проверив пять или шесть входов в дома, забаррикадированные таким образом, гамен пожал плечами и определил положение вещей следующим восклицанием:

— Чорт побери!

Потом снова начал смотреть вверх.

Жан Вальжан, который за минуту до того при душевном своем состоянии ни к кому сам не обратился бы и даже не ответил бы на вопрос, почувствовал непреодолимое желание заговорить с этим мальчиком:

— Малыш, — сказал он, — что тебе надо?

— Мне надо поесть, — откровенно ответил Гаврош. И прибавил: — Сами вы малыш.

Жан Вальжан порылся в кармане и достал пятифранковую монету.

Но Гаврош, принадлежавший к породе трясогузок и быстро перескакивавший с одного на другое, уже подвигал камень. Он увидел фонарь.

— Смотрите-ка, — сказал он, — у вас тут еще есть фонари! Вы не подчиняетесь правилам, друзья. Это непорядок. А ну-ка разобьем это светило.

И он бросил камнем в фонарь; стекло разлетелось с таким треском, что обыватели, засевшие за своими укрытиями в доме напротив, закричали: «Вот и начинается девяносто третий год!»

Фонарь, сильно качнувшись, потух. На улице сразу стало темно.

— Так, так, старушка-улица, — одобрил Гаврош, — надевай свой ночной колпак.

И, повернувшись к Жану Вальжану, спросил:

— Как называется этот большущий сарай, что торчит тут у вас в конце улицы? Архив, что ли? Пообломать бы эти толстые дурацкие колонны и соорудить баррикаду, вот было бы славно!

Жан Вальжан подошел к Гаврошу.

— Бедняжка, — пробормотал он про себя, — он хочет есть.

И сунул ему в руку пятифранковую монету.

Гаврош задрал нос, удивленный величиной этого «су»; он смотрел на него в темноте, и поблескивание большой монеты ослепило его. Понаслышке он знал о пятифранковых монетах; их слава была ему приятна, и он пришел в восхищение, видя одну из них так близко. Он сказал: «Поглядим-ка на этого тигра».

Несколько мгновений он восторженно созерцал ее, потом, повернувшись к Жану Вальжану, протянул ему монету и величественно сказал:

— Буржуа, я предпочитаю бить фонари. Возьмите себе вашего дикого зверя. Меня не подкупишь. Он о пяти когтях, но меня не оцарапает.

— Есть у тебя мать? — спросил Жан Вальжан.

— Уж скорей, чем у вас, — не задумываясь, ответил ему Гаврош.

— Тогда возьми эти деньги для твоей матери, — продолжал Жан Вальжан.

Гавроша это тронуло. Кроме того, он заметил, что говоривший с ним человек был без шляпы. Это внушило ему доверие.

— Вправду? — спросил он. — Это не для того, чтобы я не бил фонари?

— Бей, сколько хочешь.

— Вы славный малый, — заметил Гаврош.

И опустил пятифранковую монету в карман.

Доверие его возросло, и он прибавил:

— Вы живете на этой улице?

— Да, а что?

— Можете вы мне показать дом номер семь?

— Зачем тебе дом номер семь?

Мальчик запнулся, побоявшись, что сказал слишком

много, и, яростно запустив всю пятерню в волосы, ограничился восклицанием:

— Да так!

У Жана Вальжана мелькнула догадка. Душе, объятай тревогой, свойственны такие озарения.

— Может быть, ты принес мне письмо, которого я ожидаю? — спросил он.

— Вам? — сказал Гаврош. — Вы не женщина.

— Письмо адресовано мадмуазель Козетте, не так ли?

— Козетте? — проворчал Гаврош. — Как будто там так и написано. Смешное имя!

— Ну так вот, — ответил Жан Вальжан, — я-то и должен передать ей письмо. Давай его сюда.

— В таком случае вы, конечно, знаете, что я послан с баррикады?

— Конечно, знаю.

Гаврош сунул руку в другой свой карман и вытащил сложенную вчетверо бумагу.

Затем он сделал под козырек.

— Почет депеше, — сказал он. — Она от временного правительства.

— Давай, — сказал Жан Вальжан.

Гаврош держал бумажку, подняв ее над головой.

— Не думайте, что это любовная цыдулка. Она написана женщине, но во имя народа. Мы, мужчины, воюем, но уважаем слабый пол. У нас не так, как в высшем свете, где франтики посылают секретки всяким дурищам.

— Давай.

— Право, вы, кажется, славный малый, — продолжал Гаврош.

— Давай скорей.

— Нате.

Он вручил бумажку Жану Вальжану.

— И поторапливайтесь, господин Икс, а то мамзель Иксета ждет не дождется.

Гаврош был весьма доволен своей остроотой.

— Куда отнести ответ? — спросил Жан Вальжан. — К Сен-Мерри?

— Ну и ошибетесь немножко, — воскликнул Гаврош, — как говорится, пирожок — не лепешка. Это письмо

с баррикады на улице Шанврери, и я возвращаюсь туда. Покойной ночи, гражданин.

С этими словами Гаврош ушел, или, лучше сказать, упорхнул, как вырвавшаяся на свободу птица, туда, откуда прилетел. Он вновь погрузился в темноту, словно просверливая в ней дыру, с неослабевающей быстротой метательного снаряда; улица Вооруженного человека опять стала безмолвной и пустынной; в мгновение ока этот странный ребенок, в котором было нечто от тени и сновидения, утонул во мгле между рядами черных домов, потерявшись там, как дымок во мраке. Можно было подумать, что он растаял и исчез, если бы через несколько минут громкий треск разбитого стекла и раскатистый грохот фонаря, обрушившегося на мостовую, вдруг снова не разбудил негодующих обывателей. То орудовал Гаврош, пробегая по улице Шом.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пока Козетта и Тусен спят...

Жан Вальжан вернулся к себе с письмом Мариуса.

Довольный темнотой, как сова, которая несет в гнездо добычу, он ощупью поднялся по лестнице, тихонько отворил и закрыл дверь своей комнаты, прислушался, нет ли какого-нибудь шума, и установил, что, по всей видимости, Козетта и Тусен спят. Ему пришлось обмакнуть в пузырек со смесью Фюмада три или четыре спички, прежде чем он зажег одну, так сильно дрожала его рука; то, что он сейчас делал, было похоже на воровство. Наконец свеча была зажжена, он облокотился на стол, развернул записку и стал читать.

Когда человек глубоко взволнован, он не читает, а, можно сказать, набрасывается на бумагу, сжимает ее, словно жертву, мнет ее, вонзает в нее когти ненависти или ликования; он перебегает к концу, перескакивает к началу. Внимание его лихорадочно возбуждено; оно схватывает в общих чертах, приблизительно, лишь самое существенное; оно останавливается на чем-нибудь одном, все остальное исчезает. В записке Мариуса Жан Вальжан увидел лишь следующие слова:

«...Я умираю. Когда ты будешь читать это, моя душа будет уже подле тебя».

Глядя на эти две строчки, он ощутил чудовищную радость; была минута, когда стремительная смена чувств словно раздавила его, и он смотрел на записку Мариуса с каким-то пьяным изумлением; ему представилось великолепное зрелище — смерть ненавистного существа.

В душе он испустил дикий вопль восторга. Итак, все это кончилось. Развязка наступила скорей, чем он смел надеяться. Существо, ставшее на его пути, исчезнет. Этот Мариус уходит из жизни сам, без принуждения, по доброй воле. Без его, Жана Вальжана, участия, без какой бы то ни было вины с его стороны, «этот человек» скоро умрет. А может быть, уже умер. Тут, в лихорадочном своем возбуждении, он стал прикидывать в уме. Нет. Он еще не умер. Письмо было, повидимому, послано с расчетом на то, чтобы Козетта прочла его завтра утром; после двух залпов, раздавшихся между одиннадцатью часами и полночью, ничего не произошло; баррикаду по-настоящему атакуют только на рассвете; но все равно, с той минуты, как «этот человек» вовлечен в восстание, можно считать его погибшим, он попал между зубчатых колес. Жан Вальжан почувствовал, что пришло его освобождение. Итак, он опять будет вдвоем с Козеттой. Конец соперничеству, вновь открывалось перед ним будущее. Для этого надо лишь спрятать в карман записку. Козетта никогда не узнает, что случилось с «этим человеком». «Остается только не препятствовать тому, чему суждено свершиться, — думал он. — Этот человек не может спастись. Если он еще не умер, то, несомненно, умрет. Какое счастье!»

Сказав себе все это, он стал мрачен.

Затем он спустился вниз и разбудил привратника.

Приблизительно час спустя Жан Вальжан вышел из дома, с оружием, в полной форме национального гвардейца. Привратник без труда раздобыл для него у соседей недостающие части снаряжения. У него было заряженное ружье и сумка, полная патронов. Он направился в сторону Центрального рынка.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Излитый пол Гавроша

Тем временем с Гаврошем произошло приключение. Добросовестно разбив камнем фонарь на улице Шом, он вышел на улицу Вьейль-Одриет и, не встретив там «даже собаки», нашел случай подходящим, чтобы затянуть одну из тех песенок, которые он знал. Пение не замедлило его шагов, наоборот, ускорило. Вдоль заснувших или напуганных домов посыпались следующие зажига-тельные куплеты:

Злословил дрозд в тени дубравы:
«Недавно с девушкой одной
Какой-то русский под сосной..»
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Дружок Пьерро, ну что за нравы, —
Ты, что ни день, всегда с другой!
К чему калейдоскоп такой?
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Подчас любовь страшней отравы!
За горло нежной взят рукой,
Терял я разум и покой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

О, где минувших дней забавы!
Лизон играть хотела мной,
Раз, два... и обожглась игрой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Когда Сюжетта — боже правый! —
Метнет, бывало, взгляд живой,
Я весь дрожу, я сам не свой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Я перелистываю главы,
Мадлен со мной в тиши ночной,
И что мне черти с сатаной!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Но как причудницы лукавы!
Приманят ножки наготой —
И упорхнут... Адель, постой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Бледнели звезды в блеске славы,
Когда с кадрили, ангел мой,
Со мною Стелла шла домой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Распевая, Гаврош усиленно жестикулировал. Жест — точка опоры для припева. Он корчил причудливые рожи, и его физиономия, неисчерпаемая сокровищница гримас, передергивалась, точно прорехи рваного белья, которое сушится на сильном ветру. К сожалению, он был один, дело происходило ночью, и этого никто не мог увидеть и не увидел. Так пропадают даром таланты.

Внезапно он остановился.

— Прервем романс, — сказал он.

Его кошачьи глаза только что разглядели в темноте, в углублении ворот, то, что в живописи называется «ансамблем», иначе говоря, некое существо и некую вещь; вещь была ручной тележкой, а существо — спавшим на ней овернцем.

Ручки тележки упирались в мостовую, а голова овернца упиралась в передок тележки. Он лежал, съежившись на этой наклонной плоскости, касаясь ногами земли.

Гаврош, искушенный в житейских делах, сразу признал пьяницу.

Это был какой-то уличный возчик, крепко выпивший и крепко спавший.

«Вот на что годятся летние ночи, — подумал Гаврош. — Овернец засыпает в своей тележке, после чего тележку берут для Республики, а овернца оставляют монархии».

Его ум только что осенила следующая блестящая идея: «Тележка отлично подойдет для нашей баррикады».

Овернец храпел.

Гаврош тихонько потянул тележку за передок, а овернца, как говорится, за нижние конечности, то есть за ноги, и минуту спустя пьяница как ни в чем не бывало покоился, растянувшись на мостовой.

Тележка была свободна.

Гаврош, привыкший во всеоружии встречать неожиданности, носил при себе все свое имущество. Он порылся в карманах и извлек оттуда клочок бумажки и огрызок красного карандаша, подтибранный у какого-то плотника.

Он написал:

«Французская республика.»

Тележка получена».

И подписался:

«Гаврош».

Затем он засунул записку в карман плисового жилета продолжавшего храпеть овернца, взялся обеими руками за оглобли и, толкая перед собой грохочущую тележку, пустился во всю прыть в сторону Центрального рынка, торжествуя свою победу.

Это грозило опасностью. Возле королевской типографии находилась караульня. Гаврош не подумал об этом. Ее занимал отряд национальных гвардейцев предместья. Встревоженный отряд начал шевелиться, и головы то и дело поднимались на походных койках. Два фонаря, разбитые один за другим, песенка, распеваемая во все горло, — всего этого было слишком много для улиц-трусих, для улиц, где с самого заката тянет ко сну и где так рано надеваются на свечи гасильники. А уже с час уличный мальчишка бесновался в этой мирной округе подобно забившейся в бутылку мухе. Сержант околотка прислушался. Он выжидал. Это был человек осторожный.

Отчаянный грохот тележки переполнил меру терпения и вынудил сержанта к попытке произвести расследование.

— Они здесь, целой шайкой! — воскликнул он. — Пойдем посмотрим потихоньку.

Было ясно, что гидра анархии вылезла из своего логова и бесчинствует в квартале.

И сержант, бесшумно ступая, отважился выйти из караульни.

Внезапно, как раз у выхода с улицы Вьейль-Одриет, Гаврош и его тележка столкнулись вплотную с мундиром, кивером, плюмажем и ружьем.

Он разом остановился вторично.

— Смотри-ка, — удивился Гаврош, — он тут как тут. Добрый вечер, господин общественный порядок.

Удивление Гавроша всегда длилось очень недолго.

— Ты куда идешь, оборванец? — закричал сержант.

— Гражданин, — ответил Гаврош, — я вас еще не называл буржуа. Почему же вы меня оскорбляете?

— Ты куда идешь, шалопай?

— Сударь, — ответил Гаврош, — может быть, вчера вы и были умным человеком, но сегодня утром вас лишили этого звания.

— Я тебя спрашиваю, куда ты идешь, негодяй?

— Вы разговариваете очень мило. Право, вам нельзя дать ваши годы. Почему бы вам не продать свою шевию по сто франков за волосок? Вы выручили бы целых пятьсот франков.

— Куда ты идешь? Куда идешь? Куда? Говори, бандит!

— Какие скверные слова, — заметил Гаврош. — В следующее кормление, перед тем как дать грудь, пусть вам лучше вытрут рот.

Сержант выставил штык.

— Ты скажешь, наконец, куда ты идешь, злодей?

— Господин генерал, — ответил Гаврош, — я ищу доктора для моей супруги, она родит.

— К оружию! — закричал сержант.

Спасти при помощи того, что вам угрожало гибелью. — вот верх искусства сильных людей; Гаврош сразу оценил положение вещей. Раз тележка его подвела, значит, тележка должна и выручить.

В тот миг, когда сержант готов был ринуться на Гавроша, тележка, превратившись в метательный снаряд, пущенный изо всей мочи, бешено покатила на него, и сержант, получив удар в самое брюхо, кувырком полетел в канаву, причем ружье его тут же разрядилось в воздух.

На крик сержанта гурьбой высыпали солдаты; ружейный выстрел повлек за собой общий беспорядочный залп, затем караульные перезарядили ружья и снова начали стрелять.

Эта пальба наугад продолжалась добрых четверть часа, и пули поразили насмерть несколько оконных стекол.

Тем временем Гаврош, без памяти бросившийся назад, остановился за пять или шесть улиц от места происшествия и, запыхавшись, уселся на тумбу, отмечающую угол улицы Красных сирот.

Он внимательно прислушался.

Отдышавшись, он обернулся в ту сторону, откуда доносилась неистовая стрельба, и три раза подряд левой рукой сделал нос, одновременно хлопая себя правой по затылку. Сей выразительнейший жест, в который парижские гамены вложили всю французскую иронию, повидимому, живуч, так как он держится уже с полвека.

Но веселое настроение Гавроша вдруг омрачилось горестной мыслью.

«Так, — подумал он, — я хихикаю, помираю со смеху, пахотался всласть, но я потерял дорогу. Хочешь не хочешь, а придется дать крюк. Только бы во-время вернуться на баррикаду!»

Вслед за этим он продолжал свой путь.

«Ах, да, на чем же это я остановился?» — стал он вспоминать на бегу.

И он снова запел свою песенку, быстро ныряя из улицы в улицу, а в темноте, постепенно затихая, звучало:

Скосило время вас, как травы,
Но тверд иных бастилий строй.
Друзья, долой режим гнилой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Сразимся в кегли для забавы!
Где шар? Один удар лихой —
И трон Бурбонов стал трухой.
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Бледнея, в Лувре ждут расправы.
Народ, монархию долой!
Мети железною метлой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Решетки не задержат лавы!
Ах, Карл Десятый, срам какой,
Летит за дверь — и в грязь башкой!
Мои красавицы, куда вы
Умчались пестрой чередой?

Вооруженное выступление караула не оказалось безрезультатным. Тележка была захвачена, пьяница взят в плен. Тележка была отправлена под арест, а пьяница впоследствии слегка наказан военным судом как соучастник. Этот случай свидетельствует о неутомимом рвении прокуратуры тех времен в деле охраны общественного порядка.

Приключение Гавроша, сохранившееся в преданиях квартала Тампль, является одним из самых страшных воспоминаний старых буржуа Марэ и запечатлено в их памяти нижеследующим образом: «Ночная атака на караульное помещение 'Королевской типографии'».

КОММЕНТАРИИ

Стр. 7. *Плавт* — известный древнеримский драматург (II в. до н. э.).

Стр. 9. *Достаточно одного его присутствия... чтобы этот... трюм превратился в парадиз*. — Игра слов основана на том, что по-французски слово «парадиз» обозначает одновременно и рай и театральный раек (галлерею верхнего яруса).

Стр. 10. *Адамастор* — гигант, персонаж историко-героической поэмы «Лузиады» Камозенса, португальского поэта XVI в.

...пассивное восприятие... и неиссякаемая инициатива; Прюдом и Фуйу. — *Прюдом* — см. т. VI, прим. к стр. 67. — *Фуйу* Жак — французский дворянин XVI в., страстный охотник и автор книги о псовой охоте, выдержавшей двадцать изданий.

Стр. 11. *...ионийцем или беотийцем?* — Имеется в виду стих из «Одиссеи»: «... станет ли он ионийцем со светлым умом или тупым беотийцем?» — *Ионийцы* — жители Ионии, одной из наиболее культурных областей античной Греции; *беотийские* земледельцы считались отсталыми и невежественными.

...превратит кружку в амфору. — Имеется в виду стих Горация из «Науки поэзии»: «Ты работал амфору, // И вертел ты, вертел колесо, а сработалась кружка».

Стр. 15. *Кольбер* Жан-Батист (1619—1683) — выдающийся деятель французского абсолютизма, министр Людовика XIV, фактический руководитель внутренней и внешней политики Франции.

Стр. 16. *Барбье* Эдмон (XVIII в.) — адвокат парижского парламента, автор «Исторического и анекдотического дневника царствования Людовика XV».

Стр. 17. *Сансон и аббат Монтес* — ...самые популярные имена. *Сансон* — парижский палач 30-х годов XIX в. — *Аббат Монтес* — священник, сопровождавший осужденных к месту казни.

Ласнер, Дотен, Папавуан, Авриль, Лекуфе — уголовные преступники, публично казненные в Париже в 20—30-х годах XIX в.

Толерон — см. т. VI, прим. к стр. 140.

Лувель — см. т. VI, прим. к стр. 141.

Бориес — один из четырех сержантов гарнизона крепости Ла-Рошель, казненных в 1822 г. по обвинению в организации кружков карбонариев во французской армии.

Стр. 18—19. *С 1815 по 1830 год он подражал крику индюка. С 1830 по 1848 — малевал на всех стенах груши.* — Король Людовик XVIII, славившийся своим обжорством, был прозван в народе индюком; король Луи-Филипп Орлеанский, изображение которого было на золотых монетах (луидорах), получил в народе насмешливое прозвище «Груша».

Поклен — Жан-Батист Поклен — настоящее имя великого французского драматурга XVII в. Мольера.

Стр. 20. *Камилл Демулен был жителем предместий.* — *Камилл Демулен* (1760—1794) — выдающийся деятель французской буржуазной революции конца XVIII в., талантливый оратор и журналист; был близок к Дантону и гильотинирован вместе с ним.

Шампионе... вырос на парижской мостовой... он... отдал команду и фиалу св. Януария. — В Неаполе, в храме св. Януария дважды в год показывалось «чудо»: на глазах у верующих в двух стеклянных фиалах закипала якобы хранившаяся там «кровь святого». Если этого не происходило, считалось, что городу грозят бедствия. Когда в 1799 г. в результате народного восстания и при поддержке французских революционных войск вместо Неаполитанского королевства была установлена Парthenопейская республика, реакционное духовенство заявило, что чудо святого Януария не может совершиться. Французский генерал *Шампионе*, пригрозив бомбардировкой города, заставит монахов произвести «чудо» и успокоить возбужденную толпу.

Измерьте всю широту размаха от Мольера до Бард. — *Бард* Жозеф — герой французской революции, двенадцатилетний мальчик; в 1793 г. сражался против мятежников Вандеи, будучи окружен роялистами, отказался произнести слова «Да здравствует король» и упал, пронзенный штыками, с возгласом: «Да здравствует республика!»

Стр. 21. *Капитолий* — храм Юпитера в Риме, где иногда происходили заседания сената. — *Парфенон* — главный храм в древних Афинах, посвященный богине Афине Палладе. — *Авентинский*

холм — одна из наиболее населенных частей Рима, где жили плебен. — *Сент-Антуанское предместье* — рабочий район Парижа. — *Сорбонна* — университет в Париже. — *Башня ветров* — восьмиугольная мраморная башня в Афинах со скульптурными изображениями восьми ветров с солнечными и водяными часами.

Гемония («Лестница вздохов») — крутой спуск с Авентинского холма в Риме, по которому владели к Тибру тела казненных.

Транстеверинец, ладзарони, кокней. — *Транстеверинец* — житель квартала бедняков в Риме. — *Ладзарони* — итальянский нищий. — *Кокней* — уроженец восточной части Лондона, человек, принадлежащий к социальным низам.

...*Сократ, конечно, был бы брошен в Венсенский замок, а Дидро засажжен Агорой в тюрьму...* — *Сократ* (469—399 до н. э.) — древнегреческий философ-идеалист, враг демократии. Был заключен в темницу и по приговору Агоры, т. е. собрания афинян, происходившего обычно на городской площади Агоре, выпил кубок яду. Впоследствии легенда сделала из Сократа героя и мученика. — *Дидро* был в 1749 г. заключен по обвинению в вольнодумстве в Венсенский замок, служивший политической тюрьмой.

Стр. 22. *Племянник Рамо* — персонаж одноименного произведения Дидро; тип циничного паразита.

Д'Эгрфейль (маркиз) и *Камбасерес* славились как гурманы. *Д'Эгрфейлю* был посвящен «Альманах гурманов» Гримо де ла Реньера (см. т. VI, прим. к стр. 161).

Гермоген — римский певец, упоминающийся в одной из сатир Горация.

Бобеш — фарсовый актер французских бульварных театров первой половины XIX в.

Дезожье — см. т. VI, прим. к стр. 167.

Балатрон — в древнеримской литературе (например, у Горация) тип шута-паразита, лакомки.

Пер-Лашез — кладбище в Париже; *Эсквилин* — кладбище в древнем Риме.

Содержимое чана Трофония найдется в сосуде Месмера... — *Трофоний* — древнегреческое божество-оракул, предсказания которого воспринимались людьми в подземной пещере в состоянии гипнотического сна. — *Месмер* — псевдоученый, шарлатан, лечивший «животным магнетизмом» при помощи «чудесного сосуда» и имевший шумный успех во французском светском обществе в конце XVIII в.

Калиостро — граф Калиостро (иначе — Жозеф Бальзамо) — авантюрист конца XVIII в., якобы обладавший секретом философского камня; был известен своими похождениями во всей Европе,

так же как *граф Сен-Жермен*, который подвизался при дворе французского короля Людовика XV.

У Парижа есть свой Эзоп — Майе, своя Канидия — девица Ленорман. — *Эзоп* — древнегреческий баснописец (VI в. до н. э.). — *Майе* — литературный персонаж, очень популярный во французских сатирических журналах 1830—1848 гг., ограниченный и самодовольный остряк, которому приписывались циничные словечки и пошлые эпиграммы. — *Канидия* — колдунья древнего Рима, часто упоминаемая в стихах Горация. — *Девица Ленорман* — «ясновидящая» наполеоновских времен.

Дельфы — город в древней Греции, где находился знаменитый оракул.

Додона — древнейшее святилище Зевса в Эпире, с оракулом — священным дубом.

Стр. 23 *Сделав месиво из Диогена, Иова и Паяца... он производит... Шодрюка Дюкло.* — *Диоген* из Синопа (404—323 до н. э.) — греческий философ школы киников; выражая пассивный протест против господствовавшего строя, отрицал культуру, как противоречащую природе человека; по преданию, жил в бочке, отказываясь от всех жизненных удобств, бродил по свету с фонарем — в поисках правды — *Иов* — по библии — бедняк, безропотно переносивший все несчастия и унижения, посланные ему как испытание. — *Шодрюк Дюкло* — своеобразная политическая фигура времен Реставрации; считая себя жертвой неблагодарности Бурбонов, ничем не наградивших его за борьбу против Наполеона, он в течение шестнадцати лет, одетый в лохмотья, бродил по улицам Парижа, за что получил прозвище «Современный Диоген».

. *при Сулле и Домициане Рим был смирен...* — *Сулла* — см. т. VI, прим к стр 163. — *Домициан* Тит Флавий — римский император (81—96 гг. н. э.), правление которого отмечено жесточайшим деспотизмом.

Лета (антич. миф.) — река забвения.

Шарле — французский живописец и литограф времен Реставрации

Стр 24 *Адонай* — наименование бога в иудейской религии.

Силен — читай Рампоно. — *Рампоно* — владелец модного в XVIII в. парижского кабака; безобразная внешность и веселый характер доставили ему прозвище Силен. — *Силен* (антич. миф.) — приемный отец бога вина Бахуса.

Сибарис — богатый древнегреческий город, жители которого были известны изнеженностью нравов и привычкой к роскоши. (Слово «сибарит» стало нарицательным.)

Пантен — пригород Парижа, ставший в 1814 г. местом героического сопротивления войскам Священного союза; на воровском жаргоне Пантен означает Париж социального дна.

Стр. 25. ...беспримерное 14 июля, принесшее освобождение миру... — 14 июля 1789 г. — день взятия и разрушения Бастилии восставшим народом Парижа — начало Первой французской буржуазной революции.

...клятву в Зале для игры в мяч... — 20 июля 1789 г. депутаты Национального собрания, найдя зал заседаний закрытым по приказу короля, собрались в Зале для игры в мяч, принадлежавшем графу д'Артуа, и поклялись не расходиться до тех пор, пока во Франции не будет утверждена конституция.

...ночь на 4 августа.. — На ночном заседании 4 августа 1789 г. Национальное собрание в страхе перед крестьянской революцией провозгласило в принципе ликвидацию феодального строя, отменило без выкупа личные сеньюральные повинности, церковную десятину и некоторые другие феодальные привилегии.

Вашингтон Джордж (1732—1799) — выдающийся американский государственный деятель, главнокомандующий американскими войсками во время войны с Англией за независимость, первый президент США. — **Костюшко Тадеуш (1746—1817)** — вождь польского восстания 1794 г. — **Боливар Симон (1783—1830)** — один из руководителей войны за независимость испанских колоний в Южной Америке — **Боцарис Марко** — один из вождей национально-освободительной борьбы греков против Турции в 20-х годах XIX в. — **Риего Рафаэль** — испанский революционер, в 1820 г. поднял восстание против абсолютистской реакции. — **Бем Иосиф** — польский генерал, участник варшавского восстания 1830 г и главный организатор сопротивления правительственным войскам во время революции 1848 г. в Вене. — **Манин Даниель** — президент Венецианской республики 1848 г., руководивший обороной при ее осаде в августе 1849 г. — **Лопец Нарсиско** — в 1849—1851 гг. организатор борьбы за независимость о. Кубы от испанского владычества — **Джон Браун** — американский фермер, возглавивший восстание негров-рабов в штате Виргиния в 1859 г. — **Гарибальди Джузеппе (1807—1882)** — знаменитый итальянский революционер, республиканец и патриот, борец за объединение Италии, ставший национальным героем.

...на пароле в Харперс-Ферри... — **Харперс-Ферри** — город, в котором был схвачен Джон Браун с большой группой соратников.

...и патриотам Анконы... — **Анкона** — крепость на берегу Адриатического моря в Италии. В 1849 г. революционный гарнизон патрио-

тов Анконы выдержал осаду австрийских войск и сдался лишь после ожесточенной бомбардировки крепости.

Он родит Канариса, Квиругу, Пизакане... — *Канарис* Константин (1790—1877) — капитан греческого флота, один из героев национально-освободительной борьбы греческого народа против турецкого ига в 20-х годах XIX в. — *Квируга* Антонио (1784—1841) — испанский генерал, участник народной войны 1808 г. против наполеоновского вторжения в Испанию и деятель испанской революции 1820 г. — *Пизакане* Карло (1818—1857) — итальянский революционер, мелкобуржуазный социалист, представитель левого крыла революционного движения в Италии времен борьбы за ее политическое объединение.

...Байрон умирает в Миссолонги, а Мазе в Барселоне... — Великий английский поэт *Байрон* умер в 1824 г. в городе *Миссолонги*, куда он отправился, чтобы участвовать в национально-освободительной борьбе греческого народа против турецкого ига. — *Мазе* — французский врач, который в 1821 г. приехал в *Барселону* для борьбы с чумой и сам погиб от этой болезни.

Ренье Матюрен — французский поэт-сатирик начала XVII в.

Декарт Рене (1596—1650) — известный французский философ-рационалист и ученый.

Жан-Жак — имеется в виду великий французский революционный писатель эпохи Просвещения *Жан-Жак Руссо* (1712—1778).

Стр. 26. *Монтескье* Шарль-Луи (1689—1755) — французский писатель эпохи Просвещения, теоретик конституционной монархии, родоначальник французского умеренного либерализма; главное его произведение «О духе законов».

Кондорсе Жан-Антуан (1743—1794) — математик и писатель, принимавший участие в «Энциклопедии» (см. прим. к стр. 57). Во время Первой французской буржуазной революции — член Законодательного собрания и Конвента, примыкал к жирондистам.

Аруэ — Франсуа-Мари Аруэ — настоящее имя Вольтера.

Стр. 27. *Берк* Эдмонд — английский реакционный публицист и политический деятель конца XVIII в., ожесточенный враг французской революции.

Стр. 35. *...герцога Нивернезского, которого он называл герцогом Неверским.* — *Герцог Нивернезский* — второстепенный политический деятель конца XVIII в., происходивший из знатного рода герцогов Неверских, один из которых, посредственный литератор XVII в., пользовался покровительством всемогущего кардинала Мазарини.

Стр. 37. *Оно может, например, сделаться национальным имуществом...* — намек на декреты Конвента в период Первой французской

буржуазной революции, согласно которым владения аристократов-эмигрантов были конфискованы и объявлены национальным имуществом.

Стр. 44. *Бональд Луи-Габриель*, виконт (1753—1840) — французский публицист и политический деятель, один из главных идеологов аристократической и клерикальной реакции в период реставрации Бурбонов.

Стр. 46. *«Буонапартистов на фонарь»* — эта строка пародирует строку: «Аристократов на фонарь» — из боевой песни народных низов Парижа *«Ça ira»* («Дело пойдет на лад»), возникшей в годы Первой французской буржуазной революции.

Во время... процесса Фюальдеса здесь симпатизировали Бастиду и Жозиону... — Имеется в виду сенсационный уголовный процесс в связи с убийством бывшего наполеоновского государственного прокурора *Фюальдеса* роялистами *Бастидом* и *Жозионом*.

...Ламот, что был причастен к делу об ожерелье. — *Граф де Ламот*, муж авантюристки *Ламот-Валуа* (происходившей из королевского дома *Валуа*), был вместе со своей женой замешан в деле о похищении у королевы *Марии-Антуанетты* драгоценного ожерелья. В период Реставрации он написал «Мемуары» об этом деле и получил за них большую пенсию от *Людовика XVIII*.

Дюбарри, выведший в люди небезызвестную Вобернье... — *Фаворитка Людовика XVI*, г-жа *Дюбарри*, происходила из низов и на самом деле называлась *Жанной Бекю*. Чтобы сделать ее официальной любовницей короля, ловкий царедворец *граф Дюбарри* сперва объявил ее дочерью дворянина *Гомар де Вобернье*, а затем женил на ней своего брата.

Высший свет — тот же Олимп. Меркурий и принц де Геменэ чувствуют себя там как дома. Туда примут и вора, лишь бы он был богом. — *Меркурий* по древнеримской мифологии считался покровителем воров. — *Принц де Геменэ* — выходец из знатного французского рода *Роганов*, в конце XVIII в. прокутил 33 миллиона франков, отказался заплатить долги и разорил своих многочисленных кредиторов.

Стр. 48. *«Луарский разбойник».* — В начале Реставрации остатки наполеоновской армии были отведены к реке *Луаре* и там расформированы.

Стр. 49. *Суланж Боден* (1774—1846) — французский ученый агроном, один из главных организаторов Института садоводства в Париже.

Стр. 52. *...воины, в которых жила частичка души Ганнибала...* — *Ганнибал* (или *Аннибал*) *Барка* — знаменитый карфагенский полководец, одержавший ряд блестящих побед во второй Пунической

войне (218 г. до н. э.); по преданию, в детстве дал клятву вечной ненависти к Риму; отравился, чтобы не попасть в руки врагов.

Стр. 56. *...граф д'Артуа, Аристотель, Кампасна, девица Гимар...* — Философ *Аристотель* был воспитателем греческого царя Александра Македонского (IV в. до н. э.). — *Кампасна* — возлюбленная царя. — *Мария Гимар* (1743—1816) — французская танцовщица, известная своими великосветскими любовными интригами; ее имя упомянуто в связи со скандальными похождениями графа *д'Артуа* (впоследствии короля Карла X).

Бальи — чиновник в средневековой Франции, имевший судебные, административные и военные полномочия.

Стр. 57. *«Энциклопедия»* — грандиозное издание (1751—1780), предпринятое Дидро в сотрудничестве с Даламбером; вокруг этого издания собрались крупнейшие писатели и ученые XVIII в.; «Энциклопедия» стала центром французского Просвещения и явилась мощным орудием идейной борьбы с феодализмом.

Сорок Бессмертных — так называются неизменные по числу сорок членов Французской академии.

Стр. 58. *«Отец Дюшен»* — см. прим. к т. VI, стр. 56.

Граф Беньо был принят сюда с условием исправиться. — *Граф Беньо* — депутат Законодательного собрания, перешедший затем на сторону Наполеона, а с приходом к власти Бурбонов переметнувшийся в их лагерь и назначенный министром и начальником полиции.

Стр. 59. *Здесь Мафусаил просвещал Эпименида.* — *Мафусаил* — по библии долговечнейший из людей. — *Эпименид* — полумифический жрец древней Греции, прорицатель будущего и толкователь прошлого.

Стр. 61. *Скапен* — персонаж комедии Мольера «Плутни Скапена» — ловкий и хитрый слуга-интриган.

...г-н Мартенвиль считался мудрее Вольтера. — *Мартенвиль* — драматург и журналист, известный циничным остроумием и политической беспринципностью; с 1819 г. редактор ультрароялистской газеты «Белое знамя».

Здесь веровали в Фьеве. — *Фьеве* Жозеф — журналист и писатель, начал карьеру во времена Первой французской буржуазной революции, успешно приспосабливался ко всем правительствам; при Реставрации сотрудничал в роялистской прессе.

Здесь законодательствовал г-н Ажье. — *Ажье* — в прошлом деятель революции, с наступлением реакции сделал карьеру юриста.

Стр. 62. *После 5 сентября с дворянством старой монархии стали обращаться так же, как после 8 июля обращались с дворянством*

Империи. — 5 (точнее 2—5) сентября 1792 г. происходили массовые казни врагов революции, заключенных в парижских тюрьмах; 8 июля 1815 г. — Людовик XVIII в обозе интервентов вступил в Париж. После этого начался белый террор.

Стр. 63. ...*выступление Конгрегации знаменует второй.* — Конгрегация — союз виднейших аристократических фамилий, тайно руководимый иезуитами, для борьбы с либеральным движением во Франции в царствование Карла X.

...*воспоминания...*, имеют отношение к его матери. — Мать Гюго была роялисткой.

Стр. 72. ...*всевозможными страшными масками, от Тиберия — до нелепого пугала...* — Тиберий — римский император (14—37), известный жестокостью и коварством.

Стр. 74. ...*одежды аристократа, якобита...* — Якобитами назывались английские дворяне, приверженцы короля Якова II, изгнанного в 1688 г. окрепшей английской буржуазией, которая посадила вместо него на престол своего короля, Вильгельма Оранского (Вильгельма III).

Стр. 88. *Тугендбунд* (Союз добродетели) — тайное общество, организованное в 1808 г. в Пруссии под руководством буржуазной и либерально-дворянской интеллигенции (по преимуществу студенчества) в целях освобождения Германии от наполеоновского владычества и осуществления некоторых буржуазных реформ.

Союз карбонариев — тайная революционная организация в Италии в первой трети XIX в. и во Франции в период Реставрации, ставившая своей целью освобождение и объединение Италии и установление республики. — *Кугурда* — тайное республиканское общество с центром в городе Экс, на юге Франции.

Котерия — узкий замкнутый кружок людей.

«Кастрат у лагерного костра». — Византийский полководец Нарсес (472—568), сыгравший видную роль при вытеснении варварских племен с территории Италии, в молодости служил евнухом у императора Юстиниана I. Во главе армии Нарсес был поставлен уже восьмидесятилетним стариком.

«Варвары и Барберини». — Барберини — знатная флорентийская фамилия, из которой в XVI—XVII вв. вышли кардиналы и папа. Согласно молве, семейство Барберини, известное ненасытной алчностью, похитило камни из развалин древнеримского цирка Колизея, чтоб построить себе дворец. На этот факт и намекает эпиграмма, высеченная на цоколе так называемой статуи Пасквина в Риме: «Чего не сделают варвары, то сделают Барберини».

«На страже закона — восстание». — Имеется в виду эпизод из испанской истории. В 1590 г. секретарь короля Филиппа II Антонио Перес, запутавшись в политических интригах, бежал в Арагон. Попытка Филиппа II насильственным путем вернуть Переса была воспринята арагонцами как посягательство центральной власти на их местные вольности («законы»). В результате вспыхнуло восстание и были сожжены несколько особняков испанской знати и духовенства. Об этих событиях, по преданию, Антонио Перес и выразился: «На страже закона — восстание» (буквально «огонь»).

«Ты Петр — камень, и на сем камне...» — Здесь используется созвучие в греческом и латинском языках слова камень и имени Петр. Имеются в виду слова Иисуса Христа, будто бы обращенные им к апостолу Петру, считавшемуся основоположником католической церкви: «Я говорю тебе: ты Петр — камень, и на сем камне я построю церковь мою...»

Стр. 89. *...походил на Антиноя, но только сурового.* — *Антиной* — любимец и постоянный спутник римского императора Адриана (II в. н. э.), известный по преданию и по многочисленным, дошедшим до нас изображениям как прекрасный юноша с вдумчивым и меланхолическим выражением лица.

Стр. 90. *На Авентинском холме он был бы Гракхом, в Конвенте — Сен-Жюстом.* — *Гай Гракх* (153—121 до н. э.), так же как и брат его Тиберий, — римский трибун, боровшийся против сената за проведение аграрных законов. После провала на перевыборах в трибуны Гай Гракх со своими сторонниками занял *Авентинский холм*, но, потерпев поражение в битве с войсками сената, был, по собственному его приказанию, убит рабом. — *Сен-Жюст* Луи-Антуан (1767—1794) — один из виднейших деятелей Первой французской буржуазной революции, близкий друг и единомышленник Робеспьера, видный теоретик партии монтаньяров; вел огромную организационную работу в армии.

...как и для Гармодия, цветы годились лишь на то, чтобы прятать в них меч. — *Гармодий* и *Аристогитон* (конец VI в. до н. э.) — афинские юноши аристократы, убившие Гиппарха, брата тирана Гиппия, и казненные за это. Убийство было совершено во время праздника, на которое друзья отправились, спрятав мечи в пучках мирта. Афиняне чтят память Гармодия и Аристогитона, как патриотов-«тираноубийц», и воздвигли в их честь статуи.

Стр. 91. *Араго* (1786—1853) — известный французский астроном, физик.

Жоффруа Сент-Илер (1772—1844) — французский зоолог, один из наиболее выдающихся ученых эволюционистов до Дарвина.

...штудировал Пюисегюра и Делеза... — Пюисегюр — наполеоновский генерал, естественный испытатель, сторонник псевдонаучной теории «животного магнетизма». — Делез — создатель подобного же рода «учения» о магнетическом сомнамбулизме. Оба пользовались известностью в 20-е годы XIX в.

Стр. 93. ...осуждал революцию... за голову Андре Шенье. — *Андре Шенье* (1762—1794) — французский поэт-лирик и публицист, гильотинированный по подозрению в сношениях с монархистами. Романтики создали культ Шенье, видя в нем то жертву революции, то певца свободы.

Агриппа д'Обинье (1552—1630) — французский писатель-гуманист; во время гражданских войн сражался на стороне гугенотов и написал пламенную сатиру против католицизма «Трагические поэмы».

Стр. 95. «*Минерва*» (точнее — «Французская Минерва») — популярный еженедельный журнал времен Реставрации, среди редакторов которого был Бенжамен Констан (см. прим. к стр. 146).

Стр. 98. ...подписывался *Легль* (из *Мо*). *Товарищи звали его для краткости Боссюэ*. — *Легль* (l'Aigle) по-французски — орел; «Орлом из *Мо*» был прозван Боссюэ (см. т. VI, прим. к стр. 56), назначенный епископом в *Мо*. Отсюда и приведенный у Гюго каламбур.

Стр. 100. *Фельяны* — политическая группировка времен Первой французской буржуазной революции, сторонники монархической конституции 1791 г., враги якобинцев. (Название произошло от бывшего монастыря ордена фельянов, в помещении которого они заседали.)

Доктринеры — см. т. VI, прим. к стр. 145. — Руайе-Коллар.

Стр. 101. ...*Робеспьер ли младший или Луазероль*. — Комиссар якобинского правительства Огюстен *Робеспьер*, младший брат Максимилиана Робеспьера, заявил, что хочет разделить участь брата, и был казнен вместе с ним. — *Луазероль*, по рассказам современников, был ошибочно присужден к казни вместо своего сына, но скрыл судебную ошибку из отцовской любви и был гильотинирован якобинцами.

Стр. 102. ...люди, как бы рожденные служить... оборотной стороной другого... *Поллуксы, Патроклы, Низусы, Эвдамидасы, Гефестионы, Пехмейи*. — *Поллукс* и *Кастор* — близнецы, вылупившиеся из яйца, снесенного Ледой (греч. миф.). — *Патрокл* — друг греческого героя Ахилла («Илиада»). — *Низус* — неразлучный друг героя Эвриала («Энеида» Вергилия). — *Эвдамидас* — друг Арете и Хариксена («Диалог о дружбе» греческого писателя Лукиана Самосатского — II в.). — *Гефестион* — друг Александра Македонского, которого последний

называл своим Патроклом. — *Пехмейя* — друг видного французского философа XVIII в. Рейналя.

Орест и Пилад (греч. миф.) — неразлучные друзья.

Стр. 105. *Буало Никола* (1636—1711) — французский поэт и критик, теоретик классицизма.

Стр. 108. *Эсхил* — великий древнегреческий трагик (V в. до н. э.).

Стр. 109. *Гейдельбергская бочка* — винная бочка огромных размеров, хранившаяся в подвалах старинного замка близ Гейдельберга

Екклезиаст — одна из книг библии, проникнутая религиозным скептицизмом. Авторство ее приписывалось царю Соломону.

Стр. 110. *Гро* — французский живописец, ученик Давида, популярный во времена Реставрации.

Битва при Пидне. — Сражение, в ходе которого македонский царь Персей был разбит римлянами (168 г. до н. э.).

Толбиак Хлодвига. — *Толбиак* — город недалеко от Кельна; в средневековых хрониках упоминается как место, где франкский король *Хлодвиг* из династии *Меровингов* (конец V в.) нанес решительное поражение аллеманам и заставил их признать свою власть.

Стр. 111. *Афиняне, эти парижане древности, убили Фокиона*. — *Фокион* — афинский полководец (IV в. до н. э.), сторонник объединения Греции под эгидой македонского правителя. Был приговорен к смерти в возрасте восьмидесяти лет.

...направляется сравнение с убийством Колиньи. — *Адмирал Колиньи* — один из вождей французского кальвинизма (гугенотов), деятельный участник религиозных войн XVI в.; во время резни, организованной католической церковью с согласия короля Карла IX в ночь перед праздником св. Варфоломея (24 авг. 1572 г.), был убит одним из первых.

Пизистрат (ок. 600—527 до н. э.) — тиран афинский. При нем Афины стали одним из крупнейших политических и культурных центров древней Греции.

Плиний (I—II вв.) — римский писатель и историк, современник и друг Тацита.

...не означает ли мой отказ от похвалы *Джону Булю* желание похвалить брата *Джонатана*? — *Джон Буль* — прозвище англичан. — *Джонатан* — прозвище американцев.

Стр. 112. *Трабукеры* — в начале XIX в. испанские контрабандисты и пираты, вооруженные особыми короткими мушкетами (трабуко).

Далай-лама — титул верховного правителя в Тибете, соединяющего светскую и духовную власть.

Стр. 113. *...жест Гиппократ, отвергающего презренный дар Артаксеркса...* — Имеется в виду сюжет картины французского художника Жироде (1767—1824). — *Гиппократ* — ученый врач древней Греции; *Артаксеркс* — персидский царь.

Стр. 117. *Восемнадцать* — роковое число для Бонапарта. — 18 брюмера (9 ноября 1799 г.) Наполеон произвел государственный переворот (уничтожение Директории и создание Консульства, а затем Империи). После свержения Наполеона на французский престол был возведен Людовик XVIII.

Стр. 118. *Юстиниан* — восточно-римский (византийский) император (527—565), создатель знаменитого юридического Кодекса (свода законов).

Стр. 119. *Мерлен* — политический деятель Первой французской буржуазной революции, в 1792 г. голосовавший за казнь короля, а после 9 термидора преследовавший якобинцев.

Стр. 131. *Сентябрист.* — Имеются в виду сентябрьские казни 1792 г.

Стр. 137. *Эльзевир* — так называются высоко ценимые знатоками-библиографами издания книг, выпущенных семьей голландских типографов-издателей XVI—XVII вв., Эльзевиров.

Стр. 138. *Аллегри* (1580—1652) — итальянский композитор, прославившийся своей музыкой к псалму «Мизерере», исполнявшемуся папской капеллой в Риме.

Стр. 141. *Пажоль, Белавен, Фририон* — наполеоновские генералы.

Стр. 145. *Карна* — см. т. VI, прим. к стр. 142. — *Фуше* Жозеф — французский политический деятель, в молодости священник, потом якобинец, участвовал в контрреволюционном перевороте 9 термидора, содействовал перевороту 18 брюмера; при Наполеоне — министр полиции, после Ватерлоо перешел к Бурбонам. Продажный карьерист и стяжатель, Фуше последовательно предавал все правительства, которым служил.

Стр. 146. *Год назад все бегали на «Эрнани».* — Речь идет о сенсационной постановке романтической драмы Гюго «Эрнани» (в театре Французской Комедии в 1830 г.).

Бенжамен Констан (1767—1830) — французский писатель и политический деятель; при Реставрации — один из идеологов буржуазно-либеральной оппозиции; подвергался ожесточенным нападкам «ультрароялистов». В 1830 г. способствовал возведению на престол Луи-Филиппа и был назначен председателем Государственного совета.

Тьерселен — комический актер парижского театра «Варьете» в 20—30-е годы XIX в.

Стр. 147. *Все они подобны Сьейесу... чтобы потом их величали... графами.* — *Сьейес* Эмманюэль (1748—1836), аббат — деятель Первой французской буржуазной революции, автор брошюры «Что такое третье сословие» — манифеста буржуазии, один из составителей «Декларации прав человека и гражданина» 1789 г. В Конвенте он занял позицию, враждебную Робеспьеру; вновь выдвинулся после 9 термидора; сыграл крупную роль в подготовке бонапартистского переворота 18 брюмера, после которого был назначен одним из трех консулов, а в 1809 г. получил от Наполеона титул *графа*.

Стр. 161. *Они пошли в театр Порт-Сен-Мартен смотреть Фредерика...* — Театр *Порт-Сен-Мартен* — крупнейший театр парижских предместий первой трети XIX в., привлекавший широкие массы демократического зрителя постановкой буржуазных мелодрам и романтических драм. Славу театру создали его выдающиеся актеры, в первую очередь *Фредерик* Леметр (1800—1876).

Стр. 161—162. *...в словарях и просодиях Кишерà.* — *Кишерà* Лун-Мари (1799—1884) — крупный французский филолог, автор французско-латинского и латино-французского словарей и ряда научных трудов по французской и латинской версификации, в том числе «Новой латинской просодии».

Стр. 164. *Прериальский ветер.* — *Прериаль* — название месяца (от 20 мая до 18 июня) по республиканскому исчислению.

Стр. 165. *...Бартоло, таящийся в Керубино...* — *Бартоло* — старый ревнивец (комедия Бомарше «Севильский цирюльник»). — *Керубино* — влюбленный паж («Женитьба Фигаро»).

Стр. 166. *Марсовы обломки.* — *Марс* — бог войны в древнеримской мифологии.

Стр. 170. *Кальвин хватает за волосы Содзини.* — *Кальвин* Жан (1509—1564) — один из вождей Реформации, основатель кальвинизма. — *Лелио Сосен* (или *Содзини*) — итальянский еретик XVI в., враждебный кальвинистам, имел резкое столкновение с Кальвином в Цюрихе.

Ян Гус (1369—1415) — вождь широкого социального и национально-освободительного движения в Чехии против католического немецкого духовенства и чешского дворянства. Сожжение Яна Гуса как еретика послужило толчком к так называемым гуситским войнам.

Лютер Мартин (1483—1546) — основатель религиозного протестантизма. «95 тезисов» Лютера стали знаменем широкого антифеодального общественного движения, которое в условиях XVI в. приняло форму религиозной реформации и достигло своего апогея в крестьянской войне против князей, дворян и духовенства. Сам Лютер относился к крестьянской войне резко враждебно.

Бабеф Гракх (1760—1797) — выдающийся революционер, представитель утопического коммунизма; после падения якобинской диктатуры возглавил «Заговор равных» для борьбы за новую революцию и преобразование общества на коммунистических началах. Был выдан предателем и гильотинирован.

Стр. 171. *Уголино* — делла Герардеска — правитель Пизанской коммуны в XIII в. Архиепископ Руджиери обвинил его в измене, запер с сыновьями в башню, где и уморил их голодом. Данте в «Божественной комедии» помещает Уголино в самый глубокий, девятый, круг Ада, где он вечно грызет череп своего убийцы Руджиери.

Стр. 172. *Шиндерганнес* — атаман разбойничьей шайки, казненный в Майенсе в 1803 г.

Стр. 174. ...он был причастен к убийству маршала Брюна... — Один из бывших наполеоновских офицеров *маршал Брюн* был зверски убит бандой роялистов в городе Авиньоне во время белого террора в начале Реставрации.

Стр. 176. *Протей* (греч. миф.) — один из морских богов, подвластных Посейдону; ускользая от погони, постоянно менял обличье (как об этом говорится в приведенном у Гюго стихе из «Одиссеи»).

Видок — французский полицейский сыщик, в прошлом уголовный преступник, приключения которого легли в основу весьма пошлых, рассчитанных на сенсацию «Мемуаров Видока» (1828).

ИДИЛЛИЯ УЛИЦЫ ПЛЮМЕ И ЭПОПЕЯ УЛИЦЫ СЕН-ДЕНИ

Стр. 280. ...променяли бы Цезаря на Прузия, а Наполеона на короля Ивето... — Прузий Второй (II в. до н. э.) — вифинский царь, покорный союзник римлян, выдавший им в 183 г. Ганнибала (см. прим. к стр. 52). — *Король Ивето* — популярный во Франции сказочный персонаж, миролюбивый добряк в бумажном колпаке вместо короны; этот образ создал Беранже, противопоставивший его в одноименной сатирической песенке Наполеону.

...первый перегон сделали с Мирабо... — *Мирабо* Оноре-Габриэль-Риккети (1749—1791) — знаменитый деятель и оратор первых лет французской буржуазной революции конца XVIII в.

...Англия требовала от Стюартов после протектората... — *Протекторат* — годы правления Кромвеля. После поражения революции в 1660 г. на английском престоле была восстановлена династия Стюартов в лице Карла II.

Стр. 281. *9 термидора* (27 июля 1794 г.) — день контрреволюционного переворота в период французской буржуазной революции конца XVIII в.; Робеспьер и его соратники были казнены, якобинская

диктатура уничтожена и утверждено господство крупной буржуазии, задушившей народное движение и расчистившей путь Наполеону.

Маренго — см. т. VI, прим. к стр. 376.

Стр. 282. *Июльские ордоанасы* — см. прим. к стр. 302. — *Полиньяк*.

Карл I Стюарт — английский король, обезглавленный во время буржуазной революции в 1649 г.

Стр. 283. *...слова Гильома дю Вэра, сказанные им после дня баррикад...* — *День баррикад* — день восстания общественных низов Парижа 12 мая 1588 г., потребовавших от короля Генриха III восстановления городских вольностей. Король бежал, и власть в Париже ненадолго перешла в руки городского самоуправления, составленного из ремесленников и мелких торговцев. Но зажиточные горожане, испугавшись размаха восстания, открыли ворота Парижа войскам Генриха Бурбона, впоследствии короля Генриха IV. — *Гильом дю Вэр* — писатель-моралист и политический деятель, способствовавший воцарению Генриха IV.

Стр. 284. *Макьявелли это вовсе не злой дух...* — *Макьявелли* Николо (1469—1527) — итальянский писатель и государственный деятель эпохи Возрождения; в своей политической программе выдвигал принцип единой сильной власти, которая способна была бы уничтожить феодальную раздробленность Италии. (Трактат «Государь», 1513.) Цинично оправдывал любые средства для достижения этой власти: лицемерие и жестокость, вероломство и убийство.

Стр. 285. *Итурбиде* Августин — реакционный мексиканский политический деятель, один из усмирителей восстаний индейцев. Спекулируя на национально-освободительных стремлениях народа, он провозгласил в 1821 г. отделение Мексики (которая была испанской колонией) от революционной тогда Испании; некоторое время возглавлял республиканское правительство, в 1822 г. объявил себя императором Мексики (под именем Августина I), но был вскоре низложен и изгнан. При попытке восстановления Империи был схвачен и расстрелян.

Стр. 286. *1830 год воспользовался... теорией, уже примененной в Англии в 1688 году.* — В результате английской так называемой «славной революции» 1688 г. на престол был возведен буржуазией король Георг III; в результате французской революции 1830 г. на престоле водворился ставленник финансовой олигархии «король-буржуа» Луи-Филипп.

Стр. 288. *Голоса двухсот двадцати одного сделали Луи-Филиппа королем.* — 15 марта 1830 г. палата депутатов большинством голосов (221 голос из 402) приняла «адрес 221», выражавший ее оппо-

зицию правительству Карла X (министерству Полиньяка — см. прим. к стр. 302); это было прологом к Июльской революции.

Лафайет взял на себя труд миропомазания. — *Лафайет* (1757—1834) — французский политический деятель конца XVIII и первой трети XIX в., умеренный либерал — «конституционалист»; участвовал в Первой французской буржуазной революции, при Реставрации играл видную роль в либеральном движении; в дни Июльской революции был начальником национальной гвардии и, пользуясь своей популярностью, содействовал воцарению Луи-Филиппа.

Парижская ратуша заменила собор в Реймсе. — До Первой французской буржуазной революции французские короли короновались в Реймском соборе.

Стр. 290. ...смелый по отношению к Австрии в Анконе, упрямый по отношению к Англии, в Испании, он бомбардирует Антверпен и платит Притчарду... — *Анкона* — крепость в Папской области, оккупированная в 1832 г. войсками Луи-Филиппа, не желавшего допустить преобладание Австрии в Италии (см. прим. к стр. 25). В связи с изменением политики французского правительства, в середине 30-х годов XIX в. происходит ухудшение отношений с Англией; поводом для конфликтов не раз служили испанские и бельгийские дела. В 1844 г. французские власти арестовали *Притчарда*, английского консула на о. Гаити (французская колония), по обвинению в подстрекательстве туземного населения против Франции; дело грозило разрастись в вооруженный конфликт с Англией; Луи-Филипп предпочел отделаться формальным извинением и денежным вознаграждением Притчарду.

...генерал — при Вальми, солдат — при Жемапе... — *Вальми* — французская деревня, ставшая 20 сентября 1792 г. местом первой встречи войск революционной Франции с монархическими войсками союзников. После целого дня артиллерийского боя пруссаки отступили. Этот первый успех произвел огромное впечатление и поднял моральный дух французских войск; через месяц они разбили английские войска в битве при Жемапе.

Стр. 291. *Улица Транснонен* — место зверской расправы буржуазии над восставшими ремесленниками и рабочими Парижа в 1834 году.

Стр. 292. ...вероломство по отношению к Абд-эль-Кадеру... — Эмир *Абд-эль-Кадер* вел с Францией войну за независимость Алжира; в 1847 г. был взят в плен и со всей семьей привезен во Францию, несмотря на обещание отправить его в Александрию.

...Блей, подкупленный Дейц, оплаченный Притчард... — *Блей* — крепость на берегу Бискайского залива, куда была заключена

в 1832 г. вдова убитого Лувелем герцога Беррийского, претендовавшая на французскую корону для своего сына при поддержке отсталых вандейских крестьян. — *Дейц* — один из приверженцев герцогини Беррийской, впоследствии выдавший ее министру Июльской монархии Тьеру за крупную сумму (ок. одного миллиона франков). *Притчард* — см. прим. к стр. 290.

Меттерних Клеменс, князь (1773—1859) — австрийский дипломат, организатор Священного союза, главный вдохновитель европейской реакции в первой половине XIX в.

«*Принц Равенство*». — Отец короля Луи-Филиппа; участвовал в Первой французской буржуазной революции под именем Филиппа Эгалитэ (Равенство); в 1793 г. был казнен по обвинению в попытке подготовить роялистский переворот.

Стр. 293. ...*железную клетку в Мон-Сен-Мишеле*... — Аббатство *Мон-Сен-Мишель* — старинный монастырь на скалистом острове у берегов Нормандии; с конца XVII в. служил государственной тюрьмой; там к заключенным применялась распространенная в средневековые пытка, состоявшая в том, что их помещали (иногда на целые годы) в тесный и низкий железный каземат, в котором они не могли ни выпрямиться, ни двигаться.

Капет — официальное наименование Людовика XVI после его низложения, происшедшего в результате народного восстания в Париже 10 августа 1792 г. Как и прочим дворянам, ему было предложено отказаться от титулов и принять свою фамилию.

Стр. 294. ...*строгий и прославленный историк Луи Блан*... — *Луи Блан* (1811—1882) — мелкобуржуазный социалист, автор ряда исторических работ, в том числе «Истории десяти лет», содержащей резкую критику Июльской монархии; во время революции 1848 г. проводил тактику соглашений с буржуазией.

Стр. 295. *Казимир Перье* — богатый банкир, один из представителей финансовой олигархии, хозяйничавшей во Франции при Луи-Филиппе; в 1831 г. возглавлял кабинет министров; был главным палачом первого лионского восстания ткачей.

Беккариа — см. т. VI, прим. к стр. 25.

После взрыва адской машины Фиески... — Республиканец *Фиески* с группой заговорщиков в 1835 г. совершил неудачное покушение на короля Луи-Филиппа, установив на пути его следования адскую машину.

Стр. 296. ...*подобно колоссу Родосскому, сразу на двух берегах*... — *Колосс Родосский* — огромная (32 метра высотой) бронзовая статуя бога солнца Гелиоса, воздвигнутая в 280 г. до н. э. на грече-

ском острове Родосе при входе в гавань и разрушенная землетрясением в 224 г. до н. э. Считалась одним из семи чудес света.

Стр. 301. ...насилованным путем, как умерла Венеция... — Венеция, некогда могущественная купеческая республика, в 1797 г. была захвачена французами и позже включена Наполеоном в его Итальянское королевство.

Стр. 302. *Полиньяк* — министр и личный друг короля Карла X, ярый реакционер и мракобес. В 1829 г. возглавил ультрароялистское министерство, вызывающе реакционный курс которого ускорил события Июльской революции.

Стр. 302—303. *Фердинанд Испанский и Мигель Португальский*. — *Фердинанд VII* — испанский король, которого Наполеон заставил уступить престол Жозефу Бонапарту. Вернувшись в Испанию после падения Наполеона, Фердинанд VII отдал страну в полное распоряжение иезуитов и монахов; в 1823 г. пользовался помощью Священного союза против своего восставшего народа. — *Мигель Португальский* в 1828 г. узурпировал власть у своего брата, португальского короля дона Педро, уничтожил либеральную конституцию и ввел систему жесточайшего террора. В стране началась гражданская война, в результате которой Мигель был вынужден в 1834 г. отречься от престола.

Стр. 303. ...суд пэров, прикрывающийся Беккарией, чтобы спасти четыре головы от законного приговора... — После Июльской революции, в декабре 1830 г., в Париже происходил суд над реакционными министрами свергнутого короля Карла X (в том числе над ненавистным народу Полиньяком). Прогрессивная общественность требовала для четырех из них смертной казни; народные толпы не раз грозили приступом взять тюрьму. Гюго, известный своими выступлениями против смертной казни, на сей раз публично присоединился к требованию народа. Однако суд пэров приговорил министров к пожизненному заключению, а через несколько лет они были амнистированы.

Бенжамен Констан — см. прим. к стр. 146.

Стр. 306. *Бабувист* — последователь Бабефа — см. прим. к стр. 170.

Жиске — один из крупнейших финансистов и промышленников Июльской монархии; в 1831 г. — полицейский префект.

Стр. 316. ...мне известен «Общественный договор», я знаю назубок конституцию Второго года! — «Общественный договор» — социально-политический трактат французского просветителя Жан-Жака Руссо (1762), многие положения которого легли в основу так

называемой конституции Второго года, принятой якобинским Конвентом в 1793 г.

Стр. 317. *Эбертист* — последователь Эбера (см. т. VI, прим. к стр. 56. — «Отец Дюшен»).

Кугурда — см. прим. к стр. 88.

Стр. 323. *Избыток мечтательности создает Эскусов и Лебра.* — Девятнадцатилетний Виктор Эскус и шестнадцатилетний Огюст Лебра — поэты, близкие к прогрессивным романтикам, участники уличных боев в дни Июльской революции, — покончили самоубийством после провала их пьесы «Раймон», в 1832 г.

Стр. 325. *Рейсдаль* Якоб (1628—1682) — голландский художник-пейзажист.

Это здесь Ульбах убил пастушку из Иври... — см. т. VI, прим. к стр. 491.

Стр. 335. *...контроверзы Ганса и Савиньи...* — Ганс — немецкий профессор-юрист, занимавший в 1826 г. кафедру в Берлинском университете; выступал против реакционной, возглавлявшейся Савиньи «исторической школы» права.

Стр. 336. «*Ежедневник*» («Котидьен») — реакционная газета периода Реставрации, воспевавшая трон и алтарь и заслужившая прозвище «Кровавой монархии».

Стр. 351. *...один... вообразил себя преемником Ламуаньона, а другой... Ленотра...* — Ламуаньон Гильом — президент парижского парламента, при котором создавал свои парки Ленотр (см. т. VI, прим. к стр. 356).

Стр. 372. *...фура... была снабжена разбитыми решетками, которые казались... орудиями старинного позорного наказания.* — Имеется в виду решетка, к которой припрягали лошадей и влачили на ней по улицам трупы преступников и самоубийц.

Сбирь — городские стражники в Италии.

Стр. 374. *...попурри из... «Весталки» Дезожье...* — «Весталка» — пародия Дезожье (см. т. VI, прим. к стр. 167) на оперу Спонтини того же названия, впервые поставленную в Париже при Наполеоне.

Стр. 421. *Калло* Жак (XVII в.) — французский гравер и живописец; мастер своеобразного реалистического гротеска.

Стр. 422. *Эдилы* — выборные должностные лица в древнем Риме, заведовавшие городским благоустройством, рынками и зрелищами.

Стр. 430. *Поль де Кок* (1794—1871) — французский писатель, автор широко популярных бульварных «романов-фельетонов» из жизни мелкой буржуазии, написанных в пошло-развлекательном духе.

Стр. 450. *Особняк Рамбулье кое в чем граничит с Двором чудес.* — Литературно-политический салон маркизы *Рамбулье* в Париже стал в середине XVII в. средоточием «прециозной» (жеманной, галантной) культуры. Кружок этого салона ставил себе задачей внедрение во французскую литературу аристократического жаргона. Высмеян Мольером в «Смешных жеманницах». — *Двор чудес* — труппы в средневековом Париже, заселенные людьми социального дна, которые говорили на особом жаргоне («арго»); описаны Гюго в «Соборе Парижской богородицы».

Стр. 451. *Жан Бар* (XVII в.), маркиз Абрагам *Дюкен* (XVII в.), *Сюфрен* де Сен-Тропес (XVIII в.) и барон *Дюпери* (первая половина XIX в.) — прославленные морские офицеры Франции, с именами которых связаны военные победы французского флота.

Стр. 456. *Вийон* Франсуа (род. ок. 1431) — крупнейший французский поэт XV в., связанный с деклассированными слоями средневекового города.

Стр. 461. *...хранил арго Тюнского царства.* — В средневековом Париже *Тюнским царством* именовалось своеобразное братство профессиональных нищих и воров, селившихся во Дворах чудес и управлявшихся выборным главарем.

Стр. 464. *Андромеда* (греч. миф.) — прекрасная девушка, принесенная в жертву морскому чудовищу. Согласно мифу, она была прикована к прибрежной скале, но спасена героем Персеем.

Стр. 466. *...физиократы, с Тюрго во главе...* — *Тюрго* — французский экономист XVIII в., виднейший представитель школы физиократов, которых Маркс называл «отцами современной политической экономии».

Стр. 467. *Ретиф де ла Бретон* (1734—1806) — сын крестьянина, ставший писателем; в его многочисленных романах дана грубо-откровенная картина испорченности нравов разных слоев французского общества.

Стр. 467. *...ужасные потрясения, некогда названные жакериями.* — *Жакерия* — крупное восстание французских крестьян в 1358 г. (Название происходит от презрительного прозвища Жак-Простак, данного феодалами крестьянам.) Слово «*жакерия*» стало во Франции нарицательным для обозначения крестьянских волнений.

Стр. 470. *Бриарей* (рим. миф.) — сторукий, пятидесятиголовый гигант, сын Неба и Земли, восставший против Юпитера.

Стр. 494. *Фоблазы и Приюдомы.* — *Фоблаз* — герой фривольного романа французского писателя XVIII в. Луве де Кувре «Приключения кавалера Фоблаза» (1787), бездушный развратник; его имя стало нарицательным. — *Жозеф Приюдом* — см. т. VI, прим. к стр. 67.

Стр. 495. *Тиберий* — см. прим. к стр. 72.

Стр. 499. *«Эврианта»* — опера Вебера (впервые поставлена на сцене в 1823 г.).

Стр. 513. *...выслеживая... Пенена или Морэ... — Пепен* (мелкий торговец) и *Морэ* (рабочий-шорник) — участники народных восстаний 1830 и 1832 гг.; позже примкнули к заговору Фиески (см. прим. к стр. 295) и были казнены в 1836 г.

Стр. 515. *...похороны генерала Ламарка.* — В конце мая 1832 г. умер от холеры реакционный министр Казимир Перье, которому были устроены пышные похороны. В ответ на это либеральная буржуазия организовала манифестацию на похоронах умершего от той же болезни бывшего наполеоновского генерала *Ламарка*, который считался близким к республиканцам и пользовался широкой популярностью. Похороны Ламарка вызвали волнение в Париже и вылились в народное восстание 5—6 июня 1832 г., сопровождавшееся баррикадными боями и жестоко подавленное регулярными войсками и национальной гвардией.

Стр. 519. *...вернулся с Альдом, купленным за сорок су...* — Альдами назывались старинные книги в издании Альдов, итальянских печатников XV—XVI вв.

Стр. 523. *...Филинт против Альцеста, добровольный посредник между истинным и ложным...* — В пьесе Мольера «Мизантроп» нетерпимый и резкий правдоискатель *Альцест* противопоставлен *Филинту*, который приспособился к придворному обществу и пытается примирить с ним Альцеста.

Стр. 524. *...там Жан Шуан, здесь Жанн.* — *Жан Шуан* — бретонский угольщик, контрабандист, один из вожakov контрреволюционных банд в восстании шуанов, поднятом французским дворянством и духовенством при поддержке Англии среди крестьян отсталой Вандеи и Бретани во время Первой французской буржуазной революции. — *Жанн* — см. прим. к стр. 540.

Стр. 526. *Одна и та же пушка... виновна 10 августа и права 14 вандемьера.* — *10 августа* — см. т. VI, прим. к стр. 159. *14 вандемьера* (6 октября 1795 г.) армия Конвента (под начальством Барраса, передоверившего свои полномочия Наполеону Бонапарту) подавила роялистский мятеж в Париже.

...законен против Террея и бессмыслен против Тюрго. — *Террей* — аббат, назначенный по протекции фаворитки Людовика XV маркизы Помпадур генеральным контролером французских финансов; вызывал глубокую ненависть в народе; когда в 1774 г. Террей пал и был заменен *Тюрго* (см. прим. к стр. 466), на улицах Парижа сжигались чучела, изображавшие ненавистного аббата.

...Рамюс, убитый школярами... — *Рамюс* (или *Раме*) Пьер — французский ученый и философ XVI в., выступавший против схоластической средневековой науки и подвергавшийся гонениям со стороны ее оплота — университета Сорбонны; в Варфоломеевскую ночь 1572 г. был зверски убит в своем рабочем кабинете при очевидном участии одного из своих противников, профессора Сорбонны Жана Шарпантье.

...Руссо, изгнанный из Швейцарии градом камней... — В 1765 г., когда Руссо жил в Швейцарии (графство Нефшатель, местечко Мотье), группа людей, натравленных на Руссо реакционным духовенством, забросала камнями окна и двери его дома.

...Афины против Фокиона, Рим против Сципиона... — *Фокион* — см. прим. к стр. 111. — *Публий Сципион Африканский Младший* (II в. до н. э.) — римский полководец, закончивший Третью Пуническую войну взятием и разрушением Карфагена (146 г. до н. э.) и сокрушением последнего его оплота в Испании — крепости Нумансии. В Риме враги возбудили против Сципиона политический процесс по обвинению в утайке денег.

Стр. 527. *...сентябристы 1792 года, авиньонские душегубы, убийцы Колиньи...* — *Сентябристы 1792 года* — см. прим. к стр. 131. — *Колиньи* — см. прим. к стр. 111.

Госпожа де Ламбаль — приближенная ненавистной народу королевы Марии Антуанетты, замешанная в роялистских интригах, была убита толпой во время сентябрьских казней 1792 г. При Реставрации ряд лиц, неугодных Бурбонам, обвинялся в ее смерти. В частности, под этим предлогом был убит бандой монархистов в г. Авиньоне наполеоновский маршал Брюн (см. прим. к стр. 174).

Банды Жегю — роялистские отряды, образованные на юге Франции во время термидорианской реакции; под видом охраны земельной собственности они учинили кровавую резню среди республиканцев.

Кавалеры Нарукавной повязки — роялистская свита герцога Ангюлемского, высадившегося в Бордо в 1814 г.

Стр. 528. *Ювенал Децим Юлий* (I—II вв.) — знаменитый римский поэт-сатирик. В дошедших до нас сатирах он с огромной силой бичует развращенность нравов римской аристократии.

«Анналы» — одно из главных произведений римского историка Тацита (I—II вв.), в котором рассказана история римских императоров от смерти Августа до смерти Нерона.

Изгнанник Патмоса. — По церковному преданию, один из двенадцати апостолов, Иоанн Богослов, был сослан за проповедь христианства на остров *Патмос*; там он якобы имел откровение, составившее содержание книги «Апокалипсис», где в туманных и мрачных

образах обличалась порочность мира и предсказывались ему страшные бедствия.

Ниневия — столица Ассирийского государства (ок. XIV—VII вв. до н. э.), занимавшая огромную территорию, известная в древности богатством и распущенностью нравов.

Вавилон — один из древнейших городов Вавилонии, сохранявший политическое, экономическое и культурное значение с конца третьего тысячелетия до III в. (до н. э.). В позднейшей христианской литературе Вавилон фигурирует как символ внешнего величия, пышности и разврата. — *Содом* — по библии, город в долине реки Иордана, жители которого отличались чудовищной развращенностью; за это Содом, вместе с Гоморрой, был испепелен небесным огнем и провалился в бездну.

Острые цicerоновского периода, едва ощутимое для Верреса, совсем затупилось бы о Калигулу. — *Веррес* Кай (I в. до н. э.) — римский наместник в Сицилии, злоупотреблявший властью ради наживы. — *Цицерон* разгромил Верреса в ряде обвинительных речей. — *Калигула* Гай Цезарь — римский император (37—41); требовал, чтобы ему воздавали божеские почести, истощил Рим безумной роскошью, конфискациями и непосильными поборами. Убит своими воинами — преторианцами.

Стр. 529. *...вся эта слава искупает Рубикон.* — В 49 г., выступив из Галлии против Помпея, Юлий Цезарь перешел реку *Рубикон* — запретную для галльских войск границу между собственно римскими землями и завоеванной Галлией. Этим Цезарь объявил открытую войну Римской республике.

Рим смердит отвратительнее при Вителлии, чем при Сулле. — *Вителлий* — один из четырех римских императоров, быстро сменивших друг друга во время гражданской войны в середине I в.; личность глубоко аморальная, Вителлий стал императором в 69 г. и уже через несколько месяцев был растерзан ненавидевшим его народом. — *Сулла* — см. т. VI, прим. к стр. 163.

При Клавдии и Домициане отвратительное пресмыкательство соответствует мерзости тирана. — *Клавдий* — римский император (41—54), правление которого представляло временный компромисс между старой патрицианской аристократией и всадниками. Он был отравлен своей женой Агриппиной с целью передачи власти сыну ее, Нерону. — *Домициан* — см. прим. к стр. 23.

...власть ищущие гнусны... души зловонны; то же при Каракалле, то же при Коммодe, то же при Гелмогабале. — *Каракалла* — Марк Аврелий Антоний — римский император (нач. III в.), известный кро-

вавыми расправами и грабежами среди покоренных племен; убил своего брата Гету и казнил двадцать тысяч его сторонников; был убит своими солдатами. — *Коммод* Луций Аврелий — римский император (конец II в.), прославившийся жестокостью и деспотизмом. По приговору сената был задушен гладиатором. — *Гелсогабал* — римский император (нач. III в.), оставил по себе память в истории как развратный деспот. Убит участниками заговора преторианцев.

Стр. 530. *Мятеж* — это *Мазаньелло*, *восстание* — это *Спартак*. — *Мазаньелло* — сокращенное имя рыбака Томазо Аньелло (1623—1647), вождя народного восстания 1647 г. в Неаполе, разоренном поборами завоевателей-испанцев. После бегства вице-короля все налоги были отменены, и Мазаньелло провозглашен главой Неаполя; был убит наемником вице-короля. Неаполитанское восстание получило отклик в Англии, где начиналась буржуазная революция, и во Франции, где подготавливалось антиабсолютистское движение Фронды. — *Спартак* — имеется в виду знаменитый фракийский гладиатор, вождь восстания рабов в древнем Риме (74—70 до н. э.).

Стр. 532. *Фуа* Максимилиан — см. т. VI, прим. к стр. 401.

Вместе с графом Жераром и графом Друэ... — Граф *Жерар* — наполеоновский генерал; при Реставрации — депутат либералов; после революции 1830 года — военный министр и маршал. — Граф *Друэ д'Эрлон* — наполеоновский маршал, которому в 1807 г. сдался Данциг; участник Ватерлоо; в 1834 г. был назначен генерал-губернатором Алжира.

Стр. 535. *Герцог Рейхштадтский* — см. т. VI, прим. к стр. 142. — Римский король.

Вандомская колонна — колонна, воздвигнутая в 1806 г. на Вандомской площади в Париже в память военных побед Наполеона.

...камни, брошенные в... герцога Фицжама... — Герцог *Фицжам* Эдуард — французский аристократ из английской фамилии, крайний реакционер; после Июльской революции присягнул Луи-Филиппу, но уже в 1832 г. подвергся аресту за политические связи с герцогиней Беррийской.

...галльский петух, сорванный с одного народного знамени и втоптаный в грязь... — *Галльский петух* — одна из национальных эмблем Франции; во времена Первой французской буржуазной революции изображался на государственных знаменах; в 1830 г. был принят как государственный герб вместо лилии; при Второй империи был заменен орлом.

Стр. 536. *Эксельманс* — наполеоновский генерал, примкнувший к императору во время Ста дней; при Реставрации — был в изгнании, при Июльской монархии — маршал и пэр Франции.

...дрался при Трентоне под командой Вашингтона и при Брендивайне под командой Лафайета. — Трентон — город в Соединенных Штатах, где 21 сентября 1776 г., во время американской войны за независимость, Вашингтон одержал победу над англичанами. — Брендивайн — река, на берегах которой 11 сентября 1777 г. Вашингтон потерпел поражение; в этом сражении принимал участие на стороне американцев генерал Лафайет (см. прим. к стр. 288).

Стр. 537. *Остров Лувье* — до 40-х годов XIX в. отделялся ныне не существующим узким рукавом Сены от района парижского Арсенала.

Стр. 540. ...*Жанну и его ста шести соратникам...* — Жанн — глава баррикады и организатор обороны республиканцев на улице Сен-Мерри, один из наиболее популярных героев народных восстаний 1830 и 1832 гг.

Стр. 541. *Говорили, что общество Друзей народа взяло на себя руководство восстанием...* — *Друзья народа* — одно из наиболее известных республиканских обществ периода Июльской монархии, объединявшее мелкобуржуазных революционеров — якобинцев, карбонариев и сенсимонистов.

Стр. 542. *Батавское подворье* — торговые ряды в Париже.

...*маршал Лобо и генерал Бюжо, командовали войсками...* — *Маршал Лобо* командовал парижской национальной гвардией после отставки Лафайета. — *Генерал Бюжо* — в прошлом наполеоновский офицер, при Июльской монархии — главный палач народного восстания 1834 г., организатор резни на улице Транснотен (см. прим. к стр. 291).

...*послышался набат Сен-Мерри.* — Набатный звон с колокольной монастыря *Сен-Мерри* был сигналом к народному восстанию 1832 г. Монастырская ограда и примыкавшие к ней баррикады стали главной цитаделью республиканцев, центром их героического сопротивления королевским войскам и национальной гвардии.

Стр. 544. *Арман Карель* — журналист, автор нескольких исторических работ; с 1830 г. вместе с Тьером и Минье издавал газету «Националь», популярную среди кругов республиканской буржуазии, оппозиционных Июльской монархии. *Маршал Клозель* — во время Ста дней сражался на стороне Наполеона и занял город Бордо, оплот роялистов. При Реставрации был приговорен к смерти, но получил помилование; с 1827 г. вошел в парламент. При Июльской монархии стал одним из первых колонизаторов Алжира.

...*разыгравшееся воображение полиции, этой Анны Ратклиф в услужении у правительства...* — *Анна Ратклиф* (1764—1823) — английская писательница, автор популярных в конце XVIII и начале

ХІХ в. «готических», «страшных» романов, где описывались таинственные преступления («Удольфские тайны») и др.

Стр. 549. *«Ты будешь королем»*. — В трагедии Шекспира «Макбет» это предсказание ведьм возбуждает честолюбие героя и толкает его на преступление.

Стр. 554. *Да здравствует Польша!* — отклик на польское восстание 1830 года.

Стр. 562. *Старик Теофиль* — Теофиль Готье (1811—1872) — поэт-романтик, соратник молодого Гюго в борьбе с классицизмом, одна из центральных фигур французского романтического движения 30-х годов ХІХ в. Позже отошел от бунтарских настроений и защищал теорию «искусства для искусства».

Матюрен Ренье — см. прим. к стр. 25.

Стр. 563. *...желая... затмить Карема...* — *Карем* (1784—1833) — прославленный кулинар, служивший у богачей и при королевских дворах.

Стр. 567. *Дю Брель и Соваль приводят их список, и аббат Лебеф также*. — *Дю Брель Жак* (1528—1614) — французский историк, которому, в частности, принадлежат книги «Роскошь и древности Парижа» и «Старинные строительные расширения города Парижа». — *Соваль Анри* (XVII в.) — автор ряда трудов по истории города Парижа («Старый и Новый Париж» и др.). — *Аббат Лебеф Жан* (1687—1760) — французский историк, в частности автор «Истории города Парижа и его приходов» (1754).

Стр. 568. *Галлы зарятся на Клузиум...* — *Клузиум* — город в Этрурии, осажденный около 390 г. до н. э. галлами, призвал себе на помощь римлян, что послужило поводом к походу галлов под предводительством Бренна против римлян. По преданию, он в 388 г. до н. э. вторгся в Италию, разграбил и сжег Рим.

...будете ли вы за тощего петуха, вместе с кантоном Ури, или за петуха жирного, вместе с кантоном Гларис... — намек на религиозную вражду между католическими и протестантскими кантонами Швейцарии.

Стр. 578. *Он умер бы при Фермопилах вместе с Леонидом и сжег бы Дрохеду вместе с Кромвелем*. — *Фермопилы* — горный проход из Фессалии в Среднюю Грецию, знаменитый по героической защите его в 480 г. до н. э. семитысячной армией греков и спартанцев под предводительством царя Спарты *Леонида* от стотысячного войска персов. — *Дрохеда* — город в Ирландии, взятый после штурма *Кромвелем* в 1649 г., причем весь гарнизон города был уничтожен.

Стр. 583. *Фолар* — см. т. VI, прим. к стр. 365.

Стр. 593. ...напоминал в эту минуту античную Фемиду. — *Фемид* — богиня правосудия (греч. миф.).

Стр. 604. *Это не Монмирайль, не Шампобер...* — *Шампобер* и *Монмирайль* — места кровопролитных сражений 9 и 11 февраля 1814 г., в которых Наполеон разбил войска союзников.

Стр. 605. *Леонид против иноземца, Тимолеон против тирана...* — *Леонид* — см. прим. к стр. 578. — *Тимолеон* (VI—V вв. до н. э.) — полководец и политический деятель древней Греции, направленный в Сицилию для борьбы с тиранами, угнетавшими греческие города; освободил от тиранов Сиракузы и провел там демократические реформы.

Марсель *Этьен* — купеческий старшина (прево) Парижа; глава восстания 1356—1358 гг., предсказывавшего попытку нарождавшейся буржуазии ограничить королевскую власть.

Амбиорикс — вождь галльского восстания (54—50 гг. до н. э.), в ходе которого был истреблен почти весь римский гарнизон в бельгийской Галлии.

Артевелде *Якоб* (ок. 1285—1345) — возглавлял правительство гентских купцов и ремесленников, восставших в начале Столетней войны против графа Людовика I; не будучи в состоянии разрешить классовые противоречия внутри страны, *Артевелде* призвал английских принцев для восстановления королевства и был убит восставшими ткачами Гента.

Марникс *Филипп* (1538—1598) — деятель восстания Нидерландов против испанского владычества.

Пелагий (ум. ок. 737 г.) — король Астурии и Овиедо, объединивший силы вестготских феодалов для борьбы с нашествием мавров на Испанию.

...«*Скованный Прометей*» *начинает*, *Аристогитон заканчивает*. — «*Скованный Прометей*» — тираноборческая трагедия Эсхила (V в. до н. э.). — *Аристогитон* — афинский «тираноубийца» (см. прим. к стр. 90 — *Гармодий* и *Аристогитон*).

После Эсхила — *Фразибул...* — *Фразибул* (IV в. до н. э.) — выдающийся афинский полководец, свергнувший правление тридцати тиранов и восстановивший демократическое устройство.

СОДЕРЖАНИЕ

Часть третья

ПАРИЖ

Перевод Н. Д. Эфрос

Книга первая

ПАРИЖ, ИЗУЧАЕМЫЙ ПО ЕГО АТОМУ

Глава первая Parvulus	7
Глава вторая. Некоторые отличительные его признаки .	8
Глава третья. Он не лишен привлекательности	9
Глава четвертая. Он может быть полезным	10
Глава пятая. Границы его владений	11
Глава шестая. Немножко истории	14
Глава седьмая. Гамены могли бы образовать индийскую касту	16
Глава восьмая, в которой прочтут об одной милой шутке последнего короля	18
Глава девятая. Древний дух Галлии	19
Глава десятая. Ессе Paris, ессе homo	20
Глава одиннадцатая. Глумясь, властвовать	24
Глава двенадцатая. Будущее, таящееся в народе	26
Глава тринадцатая. Маленький Гаврош	27

Книга вторая

ВАЖНЫЙ БУРЖУА

Глава первая. Девяносто лет и тридцать два зуба	31
Глава вторая. По хозяину и дом	33
Глава третья. Лука-Разумник	34

<i>Глава четвертая.</i> Претендент на столетний возраст . .	35
<i>Глава пятая.</i> Баск и Николетта	36
<i>Глава шестая,</i> в которой промелькнет Маньон с двумя своими малютками	38
<i>Глава седьмая.</i> Правило: принимай у себя только по вечерам	40
<i>Глаза восьмая.</i> Две, но не пара	40

Книга третья

ДЕД И ВНУК

<i>Глава первая.</i> Старинный салон	44
<i>Глава вторая.</i> Один из кровавых призраков того времени	48
<i>Глава третья.</i> Requiescant	55
<i>Глава четвертая.</i> Смерть разбойника	63
<i>Глава пятая.</i> Чтобы стать революционером, подчас полезно ходить к обеду	67
<i>Глава шестая.</i> К чему может привести встреча с церков- ным старостой	69
<i>Глава седьмая.</i> Какая-нибудь юбка	76
<i>Глава восьмая.</i> Нашла коса на камень	81

Книга четвертая

«ДРУЗЬЯ АЗБУКИ»

<i>Глава первая.</i> Кружок, чуть было не ставший историческим	87
<i>Глава вторая.</i> Надгробное слово Боссюэ профессору Блондо	102
<i>Глава третья.</i> Мариус все больше изумляется	106
<i>Глава четвертая.</i> Заднее помещение кафе «Мюзен» . .	109
<i>Глава пятая.</i> Расширение кругозора	117
<i>Глава шестая.</i> Res angusta	121

Книга пятая

ПРЕИМУЩЕСТВО НЕСЧАСТЬЯ

<i>Глава первая.</i> Мариус в нищете	125
<i>Глава вторая.</i> Мариус в бедности	127
<i>Глава третья.</i> Мариус вырос	131
<i>Глава четвертая.</i> Г-н Мабеф	136
<i>Глава пятая.</i> Бедность и нищета — добрые соседи . . .	141
<i>Глава шестая.</i> Заместитель	143

Книга шестая
ВСТРЕЧА ДВУХ ЗВЕЗД

<i>Глава первая.</i> Прозвище как способ образования фамилии	149
<i>Глава вторая.</i> Lux facta est.	152
<i>Глава третья.</i> Действие весны	154
<i>Глава четвертая.</i> Начало серьезной болезни	156
<i>Глава пятая.</i> Громы небесные раздражаются над головой мамаши Бурчуны	158
<i>Глава шестая.</i> Взят в плен	160
<i>Глава седьмая.</i> Приключение с буквой «У» и догадки относительно этой буквы	162
<i>Глава восьмая.</i> Даже инвалиды могут быть счастливы..	164
<i>Глава девятая.</i> Затмение	166

Книга седьмая
ПЕТУШИНЫЙ ЧАС

<i>Глава первая.</i> Рудники и рудокопы	169
<i>Глава вторая.</i> Самое дно	171
<i>Глава третья.</i> Бабет, Живоглот, Звенигрош и Монпарнас	173
<i>Глава четвертая.</i> Состав шайки	176

Книга восьмая
КОВАРНЫЙ БЕДНЯК

<i>Глава первая.</i> Мариус, разыскивая девушку в шляпке, встречает мужчину в фуражке	180
<i>Глава вторая.</i> Находка	182
<i>Глава третья.</i> Четырехликий	184
<i>Глава четвертая.</i> Роза в нищете	189
<i>Глава пятая.</i> Потайное оконце, указанное провидением	196
<i>Глава шестая.</i> Хищник в своем логове	198
<i>Глава седьмая.</i> Стратегия и тактика	202
<i>Глава восьмая.</i> Луч света в притоне	206
<i>Глава девятая.</i> Жондрет чуть не плачет	208
<i>Глава десятая.</i> Такса наемного кабриолета: два франка в час	212
<i>Глава одиннадцатая.</i> Нищета предлагает услуги горю.	215
<i>Глава двенадцатая.</i> На что была истрачена пятифранковая монета г-на Белого	218
<i>Глава тринадцатая.</i> Solus cum solo, in loco remoto, non cogitabuntur orare pater noster	223

<i>Глава четырнадцатая, в которой полицейский дает адвокату два карманных пистолета</i>	226
<i>Глава пятнадцатая. Жондрет делает закупки</i>	230
<i>Глава шестнадцатая, в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году .</i>	232
<i>Глава семнадцатая. На что была истрачена пятифранковая монета Мариуса</i>	236
<i>Глава восемнадцатая. Два стула Мариуса ставятся один против другого</i>	240
<i>Глава девятнадцатая. Остерегайтесь темных углов . .</i>	242
<i>Глава двадцатая. Западня</i>	246
<i>Глава двадцать первая. Надо было бы всегда начинать с ареста пострадавших</i>	271
<i>Глава двадцать вторая. Малыш, плакавший во второй части нашей книги</i>	274

Часть четвертая

Идиллия улицы Пломе и эпоса улицы Сен-Дени

Перевод К. Г. Локса

Книга первая

НЕСКОЛЬКО СТРАНИЦ ИСТОРИИ

<i>Глава первая. Хорошо скроено</i>	279
<i>Глава вторая. Дурно сшито</i>	284
<i>Глава третья. Луи-Филипп</i>	288
<i>Глава четвертая. Трещины под основанием</i>	296
<i>Глава пятая. Факты, порождающие историю, но ею не признаваемые</i>	303
<i>Глава шестая. Анжольрас и его помощники</i>	315

Книга вторая

ЭПОНИНА

<i>Глава первая. Жаворонково поле</i>	320
<i>Глава вторая. Зародыши преступления в тюремном гнездилище</i>	326
<i>Глава третья. Видение дедушки Мабефа</i>	330
<i>Глава четвертая. Видение Мариуса</i>	334

Книга третья

ДОМ НА УЛИЦЕ ПЛЮМЕ

<i>Глава первая.</i> Таинственный дом	340
<i>Глава вторая.</i> Жан Вальжан — национальный гвардеец	344
<i>Глава третья.</i> Foliis ac frondibus	347
<i>Глава четвертая.</i> После одной решетки другая	351
<i>Глава пятая.</i> Роза замечает, что она стала орудием войны	356
<i>Глава шестая.</i> Битва начинается	360
<i>Глава седьмая.</i> За одной печалью печаль еще бо́льшая	363
<i>Глава восьмая.</i> Кандальники	363

Книга четвертая

ПОМОЩЬ СНИЗУ МОЖЕТ БЫТЬ ПОМОЩЬЮ СВЫШЕ

<i>Глава первая.</i> Рана снаружи, исцеление внутри	379
<i>Глава вторая.</i> Тетушка Плутарх без труда объясняет некое явление	381

Книга пятая,

КОНЕЦ КОТОРОЙ НЕ СХОДЕН С НАЧАЛОМ

<i>Глава первая.</i> Уединенность в сочетании с казармой	390
<i>Глава вторая.</i> Страхи Козетты	392
<i>Глава третья,</i> обогащенная комментариями Тусен	395
<i>Глава четвертая.</i> Сердце под камнем	398
<i>Глава пятая.</i> Козетта после письма	402
<i>Глава шестая.</i> Старики существуют, чтобы во-время ухो- дить из дома	404

Книга шестая

МАЛЕНЬКИЙ ГАВРОШ,

<i>Глава первая.</i> Злая шалость ветра	408
<i>Глава вторая,</i> в которой маленький Гаврош извлекает выгоду из великого Наполеона	411
<i>Глава третья.</i> Перипетии побега	434

<i>Глава первая.</i> Происхождение	448
<i>Глава вторая.</i> Корни	456
<i>Глава третья.</i> Арго плачущее и арго смеющееся	465
<i>Глава четвертая.</i> Два долга: бодрствовать и надеяться .	469

<i>Глава первая.</i> Яркий свет	474
<i>Глава вторая.</i> Опьянение полным счастьем	480
<i>Глава третья.</i> Первые тени	482
<i>Глава четвертая.</i> Кэб по-английски — то, что катится, а на арго — то, что лает	485
<i>Глава пятая.</i> Что таится в ночи	493
<i>Глава шестая.</i> Мариус возвращается к действительности в такой мере, что дает Козетте свой адрес	493
<i>Глава седьмая.</i> Старое сердце и юное сердце друг против друга	499

<i>Глава первая.</i> Жан Вальжан	513
<i>Глава вторая.</i> Мариус	515
<i>Глава третья.</i> Господин Мабеф	517

<i>Глава первая.</i> Внешняя сторона вопроса	522
<i>Глава вторая.</i> Суть вопроса	526
<i>Глава третья.</i> Погребение — повод к возрождению . . .	532
<i>Глава четвертая.</i> Волнения былых времен	538
<i>Глава пятая.</i> Своеобразие Парижа	543

Книга одиннадцатая
АТОМ БРАТАЕТСЯ С УРАГАНОМ

<i>Глава первая.</i> Несколько разъяснений относительно кор- ней поэзии Гавроша. Влияние некоего академика на эту поэзию	546
<i>Глава вторая.</i> Гаврош в походе	548
<i>Глава третья.</i> Справедливое негодование парикмахера .	552
<i>Глава четвертая.</i> Ребенок удивляется старику	554
<i>Глава пятая.</i> Старик	556
<i>Глава шестая.</i> Новобранцы	557

Книга двенадцатая
«КОРИНФ»

<i>Глава первая.</i> История «Коринфа» со времени его осно- вания	560
<i>Глава вторая.</i> Чем закончилась веселая попойка	565
<i>Глава третья.</i> Ночь начинает опускаться на Грантэра .	575
<i>Глава четвертая.</i> Попытка утешить тетушку Гюшлу . .	579
<i>Глава пятая.</i> Подготовка	582
<i>Глава шестая.</i> В ожидании	584
<i>Глава седьмая.</i> Человек, завербованный на Щепной улице	587
<i>Глава восьмая.</i> Несколько вопросительных знаков по по- воду некоего Кабюка, который, быть может, и не име- новался Кабюком	591

Книга тринадцатая
МАРИУС УХОДИТ ВО МРАК

<i>Глава первая.</i> От улицы Плюме до квартала Сен-Дени .	596
<i>Глава вторая.</i> Париж — глазами совы	599
<i>Глава третья.</i> Последний рубеж	601

Книга четырнадцатая
ВЕЛИЧИЕ ОТЧАЯНИЯ

<i>Глава первая.</i> Знамя. Действие первое	608
<i>Глава вторая.</i> Знамя. Действие второе	611
<i>Глава третья.</i> Гаврош сделал бы лучше, если бы согла- сился взять карабин Анжольраса	614

<i>Глава четвертая.</i> Бочонок с порохом	615
<i>Глава пятая.</i> Конец стихам Жана Прувера	617
<i>Глава шестая.</i> Томление смерти после томления жизни	619
<i>Глава седьмая.</i> Гаврош глубокомысленно вычисляет рас- стояния	624

Книга пятнадцатая

УЛИЦА ВООРУЖЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

<i>Глава первая.</i> Бювар-болтун	628
<i>Глава вторая.</i> Гаврош — враг освещения	637
<i>Глава третья.</i> Пока Козетта и Тусен спят...	641
<i>Глава четвертая.</i> Излишний ~~шл~~ Гавроша	643
Комментарии <i>С. Брахман</i>	649
Перевод стихов в тексте романа сделан <i>В. Левиком</i> .	

Редакторы

С. Рошаль и Н. Хуцишвили

Оформление художника С. Пожарского

Художественный редактор А. Ермаков

Технический редактор Г. Каунина

Корректор О. Ладышкина

*

Сдано в набор 7/V 1954 г.

Подписано к печати 24/IX 1954 г.

А 05979. Бумага 84×108¹/₃₂. 43 печ. л. =

35,26 усл. печ. л. 34,6 уч.-изд. л. Тираж

150 000. Заказ № 1307. Цена 12 р.

Гослитиздат

Москва, Ново-Басманная, 19

*

Министерство культуры СССР,
Главное Управление полиграфической
промышленности, 2-я типография
«Печатный Двор» им. А. М. Горького,
Ленинград, Гатчинская, 26.